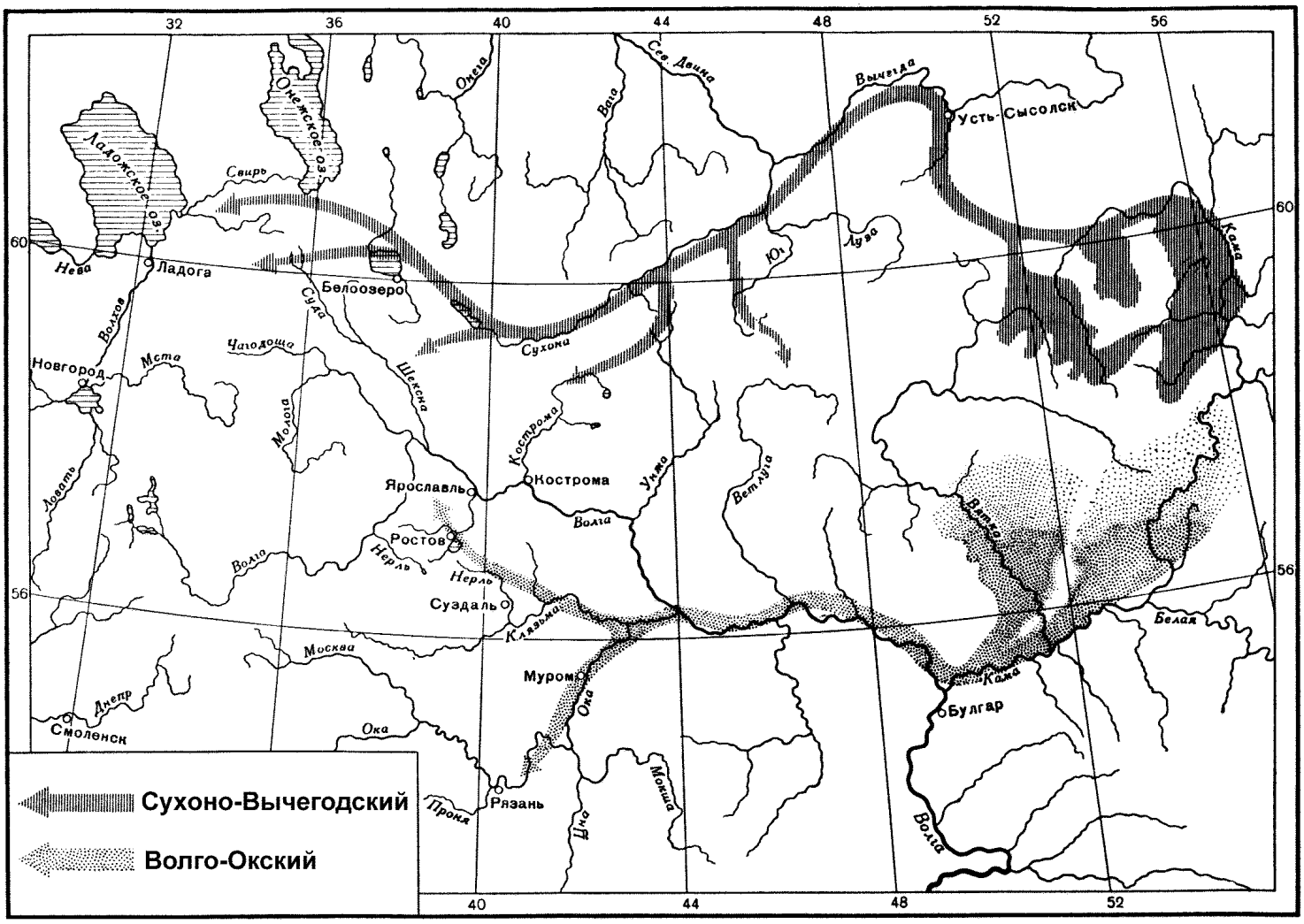
О.Б.Ткаченко

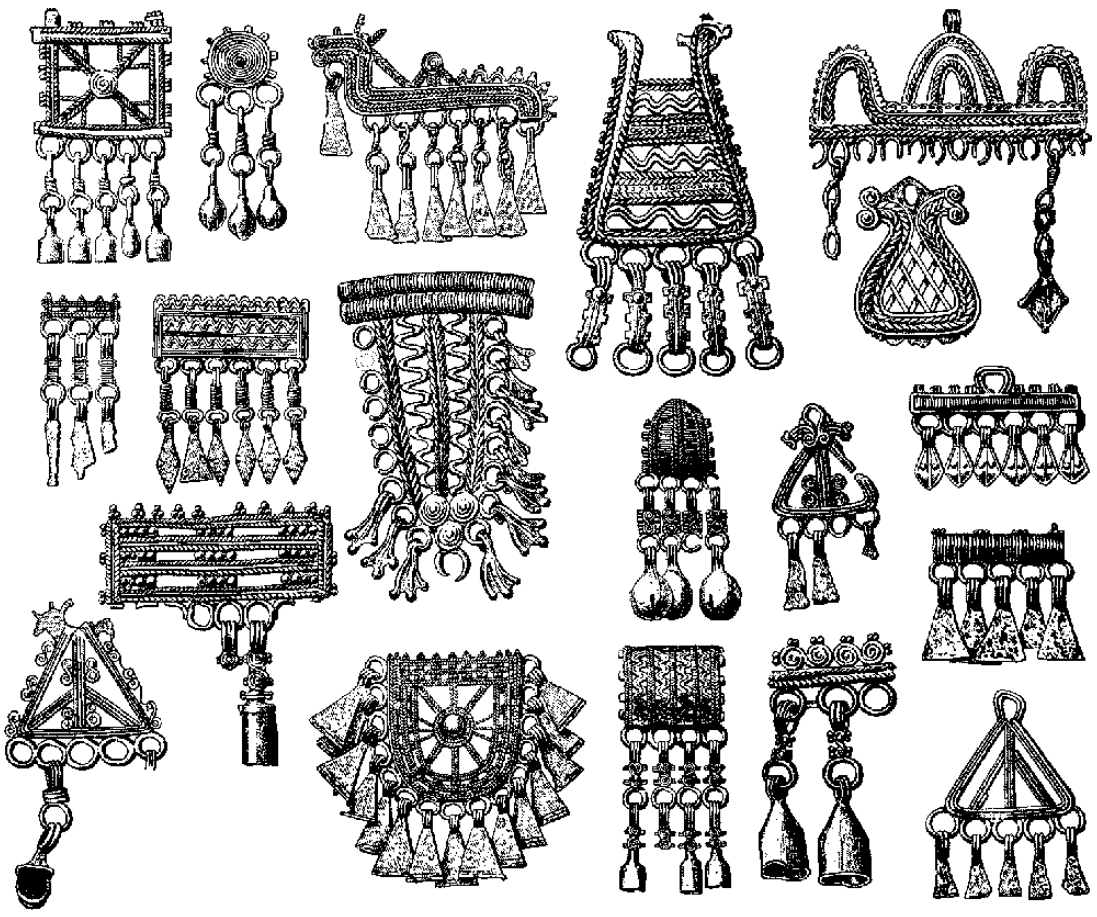
Исследования по мерянскому языку

Кострома
2007

Древние речные пути торговли и миграций народов

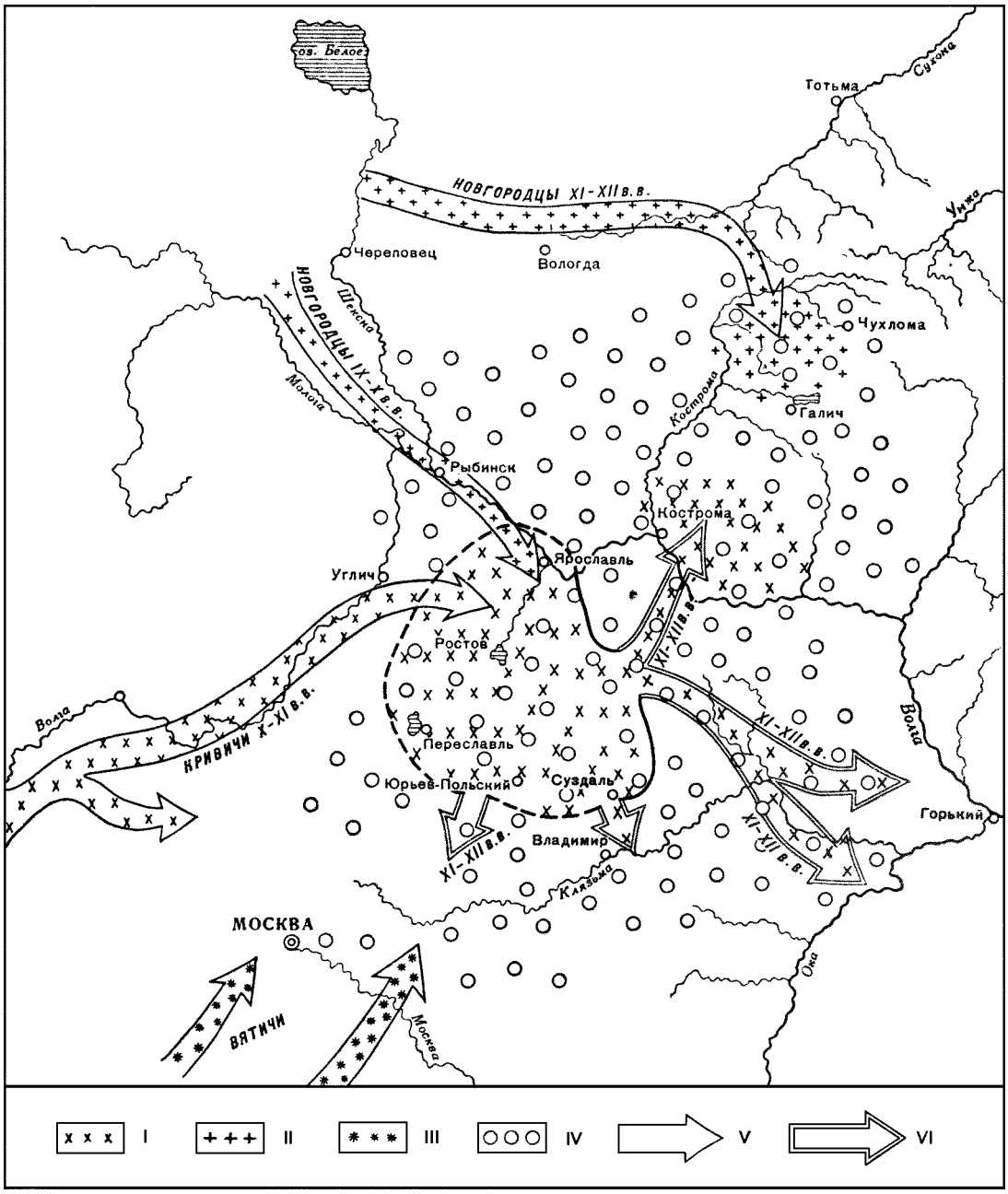


[22, стр. 9]



Украшения центральной группы мери (X - перв. пол. XI в.)
[22, стр. 100]

Славянская колонизация Ростово-Суздальской земли (X-XII вв.)



I — кривичи; II — новгородцы; III — вятичи; IV — меря;
V — первый этап колонизации (X — конец XI в.); VI — второй этап (конец XI — XII в.)
[22, стр. 184]

Ткаченко Орест Борисович

Исследования по мерянскому языку

Издательство ООО «Инфопресс»
156002, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 73а, оф. 5.
Тел. (4942) 37-23-65, факс (4942) 37-19-70, e-mail review@kmtn.ru

Тираж 300 экз. (1-й завод 1-60). Подписано в печать 02.12.2007 г.
Все права на тексты О.Б.Ткаченко сохранены за автором.

Отпечатано в типографии ООО «Полиграфресурс»,
156961, г. Кострома, ул. Галичская, 130.
тел. (4942) 55-72-43, 45-20-00.

Цветная печать обложки выполнена
типографией ООО «ПолиПринт»,
156002, г. Кострома, ул. Борьбы, 62.
тел./факс (4942) 35-11-45,
e-mail: www.polyprint@kmtn.ru

Много тысячелетий пролежал огромный валун на вершине горы, зовущейся сегодня Александровой. А когда в этих местах появились люди, валун сразу привлек их внимание своими размерами и необычным темно-сизым цветом. Он сделался предметом поклонения племени меря. Они чтили его как бога, приносили ему жертвы.

И славяне, позднее колонизировавшие эти края, обожествляли камень. Они назвали валун Синь-камнем. Его считали сердцем языческого бога Солнца Ярилы, украшали цветами и лентами, водили вокруг святыни хороводы. С приходом христианства камень, служивший алтарной плитой древнего святилища, был объявлен «мерьским богом», а окружающие его обряды – греховными, но многие люди продолжали поклоняться камню. А примерно в километре от святилища возник городок Клещин – предшественник Переславля и в то время сильнейшее укрепленное поселение славян в окрестностях Плещеева озера.

В летописи Переславля Синий камень впервые упоминается в XVI в., и весьма нелестно: «Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в боярку, в нем же вселися демон, мечты творя и прилагая к себе ис Переславля людей: мужей и жен и детей их и разсевая сердца в праздник великих верховных апостолов Петра и Павла. И они слушаху его и к нему стечахуся из году в год, и творяху ему почесть».

(По материалам сайта http://puteshestvie-vs.livejournal.com/2902.html; фото слева – с сайта http://www.utro.ru/articles/2004/09/22/353262.shtml.)

О.Б.Ткаченко

Исследования по мерянскому языку

Кострома
2007

ББК 81
Т48

Реконструкция мерянского поселка VI-VII вв. н.э. *[22, стр. 84]*

Ткаченко О.Б.

Исследования по мерянскому языку. – Кострома: Инфопресс, 2007. – 352 с.

В сборнике представлены работы по системной реконструкции мерянского, мертвого финно-угорского языка, распространенного в прошлом в Центральной России (на территории современных Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Московской, Владимирской областей), на всех его уровнях – фонетическом, грамматическом, лексическом, на базе теоретического осмысления проблемы языкового субстрата и практического применения разработанных подходов в социолингвистическом исследовании конкретных субстратных языков (на материале реконструированного мерянского).

Для языковедов, специалистов по общему, финно-угорскому, русскому и славянскому языкознанию, историков, археологов, этнографов, преподавателей и студентов вузов.

Содержание

Часть 1. Мерянский язык

ПРЕДИСЛОВИЕ 8
ВВЕДЕНИЕ 9
ФОНЕТИКА 14
Фонетические особенности мерянского языка (на основании русских диалектных слов немерянского происхождения) 16
Фонетические свойства мерянского языка (на основании русской лексики и ономастики мерянского происхождения) 32
Вокализм 33
Консонантизм 44
Выводы 63
ГРАММАТИКА 66
Морфология 66
Имена 66
Существительное 66
Фрагменты системы мерянского именного склонения 66
Другие именные части речи 71
Прилагательное 71
Числительное 73
Местоимение 75
Фрагменты мерянской глагольной системы (спрягаемые формы) 76
Неспрягаемые (именные) глагольные формы 80
Причастие / отглагольное прилагательное 80
Отглагольное существительное на -ma. Вопрос о мерянском инфинитиве 83
Другие части речи 84
Наречие и предикатив 84
Союз 85
Частица 85
Междометие 86
Синтаксис (Некоторые замечания) 86
Выводы 87
ЛЕКСИКА 89
Этимологический характер реконструируемых элементов мерянской лексики 90
Этимолого-лексикологический анализ мерянского словаря 115
Исконная финно-угорская лексика 116
Лексический слой уральского происхождения 116
Лексический слой финно-угорского происхождения 118
Лексический слой финно-пермского происхождения 120
Лексический слой финского происхождения 121
Предполагаемые мерянские слова, имеющие соответствия в прибалтийско-финских (и саамском) языках 122
Случаи соответствий с марийским и мордовскими языками 122
Выводы 123
ФРАЗЕОЛОГИЯ 126
Выводы 135
Список сокращений к главе «Фразеология» 136
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 137
ТЕКСТЫ 140

Часть 2. Очерки теории языкового субстрата

ПРЕДИСЛОВИЕ 141

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА 142

I. Особенности возникновения субстрата. Социолингвистические предпосылки 142
1. Языковой субстрат и его место в развитии языков 142
2. Социолингвистические причины и особенности возникновения субстрата 149
II. Особенности влияния языкового субстрата на язык-преемник 164
1. Роль субстрата в формировании лексики 165
2. Роль субстрата в формировании грамматики 181
3. Роль субстрата в развитии фонетики 193
4. Воздействие фразеологии субстрата на язык-преемник 198

ИСТОРИКО-СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К МЕРЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 201

Контуры мерянской истории 203

I. Социолингвистический комментарий к внешнеисторическим фактам мерянского языка 213
1. Начало протомерянской эпохи. Проблемы протомеряно-(пра)-угорских (протовенгерских) языковых контактов. Их социолингвистический характер (7-6 тыс. до н.э.) 213
2. Позднейший период протомерянской и начальный период собственно мерянской эпохи. Контакты с протославянами (6 тыс. до н.э. – V в. н.э.) 215
3. Некоторые из других этно-языковых контактов (прото)мери того же и более позднего периода. Связи с булгарами 220
4. Начало собственно мерянской эпохи. Связи с балтами. Их характер (1 тыс. до н.э. – VI-VII вв. н.э.) 222
5. Дальнейшие периоды (собственно) мерянской эпохи. Начало контактов с восточными славянами. Обстоятельства христианизации мери (X-XII вв.) 223
6. Меряно-(славяно-)русское двуязычие (XI в. – 1730/50 г.). Его следы и этапы развития 227
7. Социолингвистическая оценка мерянского языка в период взаимодействия со славяно-русским (XI в. – 1730/50 г.). Постепенное ее снижение 233
8. Лингвистические данные о конечной границе существования мерянского языка 236
9. Периодизация истории мерянского языка 238
II. Социолингвистический комментарий к фактам внутренней истории мерянского языка (преимущественно в период субстратизации) 245
1. Проблема степени стойкости разных составных частей мерянского языка в элементах его субстрата 245
2. Проблема адаптации фонетических элементов при взаимодействии мерянского субстратного языка с русским языком-преемником 251
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 253

Часть 3. Merianica

ПРЕДИСЛОВИЕ 256

О некоторых особенностях реконструкции мерянского языка 257
К исследованию финно-угорского субстрата в русском языке 260
1. Языковая неоднородность финно-угорского субстрата в русском языке и значение его исследования для финно-угроведения 260
2. Значение исследования финно-угорского субстрата в русском языке для русского и славянского языкознания 262
3. О методах исследования 264

Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов 265
Проблемы и принципы реконструкции лексики дославянских субстратных языков. Источники и критерии (На материале мерянского языка) 278
Проблемы и принципы реконструкции лексики мерянского языка (Источники и критерии) .. 279
Славянские заимствования в неславянских языках как источник древнейших славянских реконструкций 288
Проблема реконструкции мерянского языка 297
К этнокультурному аспекту древнейших финно-угорских славизмов 300
Этимология русских диалектных слов предполагаемого мерянского происхождения из картотеки «Костромского областного словаря» 303
Мерянистика как особая область русского субстратного финно-угроведения 307
К происхождению компонента -бал(о) (-бол/-пол) в топонимах Центральной России 308

Условные сокращения

Сокращения источников 311
Сокращения названий языков и диалектов (говоров) 314
Сокращения единиц административно-территориального деления (области – районы; губернии – уезды) 315
Сокращения ремарок 316

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 318

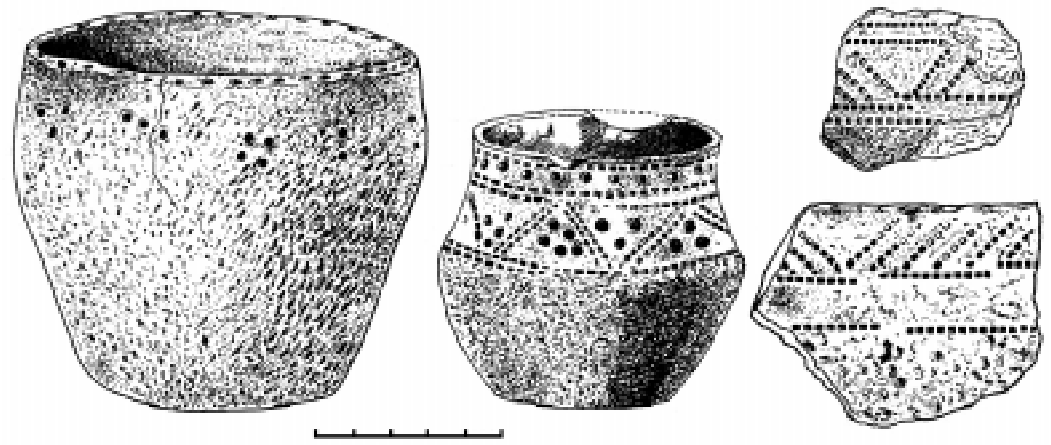
Приложения

Автор о языках и о себе

О языках (Попытка некоторых личных и общих объяснений) 324
Биография 341
Из справки, составленной в начале 2002 г. о заведующем отделом общего языкознания Института языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины О.Б.Ткаченко 344
Моя ближайшая родословная (и комментарии к ней) 344

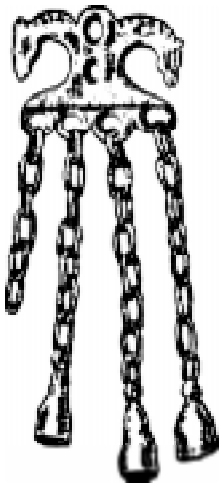
В.С.Баранов. Костромское средневековье по данным археологии. (К иллюстрациям) 349

От издателя 351



Образцы мерянской «дьяковской» керамики из ранних слоёв костромских городищ. *[22, стр. 24]*

Светлой памяти
дорогого деда
Якова Ивановича Косолапова
с любовью свои книги
посвящает его внук
О.Б. Ткаченко (А.Б. Косолапов)



Ольге Шиловой

Ты будешь говорить на древнем языке,
Внимательно молчать, вы-слушивая звуки,
И буквы выводить на черновом листке,
Одушевляясь опытом разлуки.

Быть может, ты одна, живущая сейчас,
На за-предельный зов отозвалась слезами...
Забытый всеми род века назад угас,
Лишь реки названы их странными словами.

Ты будешь подпевать морщинистой Луне,
Когда ночных дорог размыты силуэты.
Бордовая герань в распахнутом окне
Приобретёт таинственность приметы.

Что может обещать увядший лепесток?
Судьбу предсказывают, вроде бы, светила...
Твой мерянский язык отчаян как исток,
И в отзвуках его магическая сила!

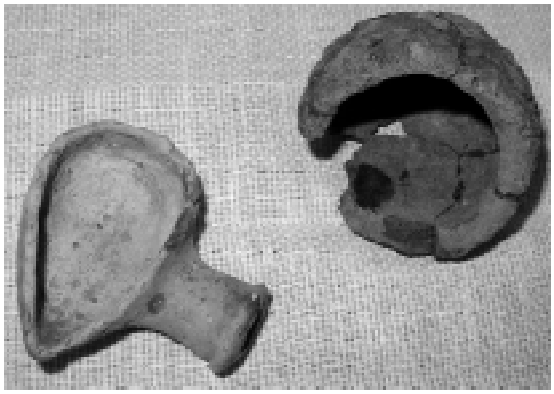
Галина Божкова
6.02.2005 г.

Стихотворение, поэтический эпиграф к сугубо прозаической книге, представлялось её автору драгоценной находкой как живой отклик современности на *дела давно минувших дней, преданья старины глубокой*. Его автор – Галина Валентиновна Божкова, одна из участниц работы над книгой, обращается в нём к подруге по той же работе. – *О.Т.*

Рис. – Филигранные мерянские кони-олени. Поволжье. IX-XI вв.
[http://nauka.relis.ru/16/9911/16911062.html]

ЧАСТЬ 1

МЕРЯНСКИЙ ЯЗЫК



Керамическая посуда и бронзолитейные льячка и тигель из фондов ГУК КГИАХМЗ.
Поповское городище (Мантуровский р-он Костромской обл.) 2 пол. 1 тыс. н.э.

ПРЕДИСЛОВИЕ*

Предлагаемое исследование посвящено возможной ныне реконструкции мертвого и бестекстного мерянского языка, принадлежащего к финно-угорской семье. Мерянский язык в разрозненных сохранившихся элементах полностью растворен в русском языке, преимущественно на территории своего былого распространения. В связи с этим его изучение предполагает как распознание и сбор всех сохранившихся остатков языка, так и выяснение их исходной формы, а тем самым — реконструкцию восстановимых фрагментов языковой системы в ее исконных и заимствованных элементах. Усилия, сделанные в этих направлениях, будучи до сих пор разрозненными и малоинтенсивными, дали сравнительно небольшое количество фактов, поэтому бóльшую часть мерянского материала еще только предстоит собрать и исследовать. Результаты, полученные в немногочисленных исследованиях, посвященных мерянскому языку, не всегда и не во всем убедительны и требуют в связи с этим проверки. Тем не менее материал, предположительно связанный с мерянским языком, — исследовавшийся в работах Т.С.Семенова [82, с. 229-249], М.Фасмера [158, с. 351-418], О.В.Вострикова [15; 16] и собранный в диалектных словарях и списках диалектных и арготических слов с постмерянской территории или хранящийся в картотеках диалектных словарей, — достаточно велик, чтобы только на его основании составить представление о мерянском языке и попытаться реконструировать его на всех уровнях — фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом.

Задача данного исследования — дать подобное описание языка, опираясь как на наиболее достоверные мерянские данные, полученные уже предшественниками, так и на те не использованные ими языковые факты, которые в качестве мерянских представлялись автору. Ввиду того, что реконструктивное описание мерянского языка могло строиться только на основе критически проверенных фактов, а это требовало особо тщательного обследования каждого из них, количеству следовало предпочесть качество. Этим объясняется то, что даже данные, привлекавшиеся из исследований, использовались только в той части, которая смогла быть подвергнута критическому анализу. Такой строгий подход к мерянскому материалу диктовался особой сложностью его истолкования и необходимостью с самого начала по возможности избежать ошибок при воссоздании системы языка.

Максимальная достоверность проведенного исследования представлялась особенно необходимой также в связи с желанием вызвать интерес к изучению мерянского языка, показать его перспективность, лучшим доказательством чего могла служить только убедительность результатов реконструкции.

При всем стремлении к достоверности предложенного объяснения мерянского языкового материала автор сознает возможность отдельных недостаточно бесспорных истолкований рассмотренных фактов, вызываемых сложностью и неразработанностью затронутых вопросов, и будет благодарен за все замечания, способствующие уточнению его положений и выяснению научной истины.

---

* Автор считает своим долгом выразить глубокую признательность заведующему кафедрой русского языка Костромского пед. ин-та[1] канд. филол. наук Н.П.Киселевой и сотруднице этой кафедры канд. филол. наук Н.С.Ганцовской, директору Костромского историко-архитектурного музея-заповедника канд. ист. наук В.С.Соболеву, проф. Г.Г.Мельниченко[2], заведующему кафедрой русского языка Ярославского пед. ин-та[3], проф. Ф.П.Сороколетову, заведующему сектором словарей Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР, любезно предоставившим ему в 1979-1982 гг. возможность ознакомиться с материалами картотек «Костромского областного словаря», архива Костромского научного общества, «Ярославского областного словаря», «Словаря русских народных говоров», использованных в его книге.

Текст данного издания воспроизводит в основном без изменений текст книги О.Б.Ткаченко «Мерянский язык» (Киев, «Наукова думка», 1985, 208 с.). Исключение составляет глава «Фразеология», подготовленная автором для указанного издания, но не включенная в него и публикуемая сейчас впервые.

[1] В настоящее время — Костромской государственный университет *(прим. ред.)*

[2] 1907-1994 гг. *(прим. ред.)*

[3] В настоящее время — Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского *(прим. ред.)*

ВВЕДЕНИЕ

Мерянский (друс. *мер(ь)ский*), ныне мертвый, финно-угорский язык в период наибольшего распространения занимал, очевидно, территорию современных центральных областей европейской части РСФСР — (полностью) Ярославской, Ивановской, Костромской, (частично) Калининской (Кашинский р-н), Московской (за исключением юго-западной части), Владимирской (к северу от Клязьмы и отчасти к югу от нее, за исключением земель муромы, другого финно-угорского племени, у впадения Клязьмы в Оку) [22, с. 38; 108, с. 136; 92, с. 81-82; 132, с. 146][1]. Соседями мери до распространения на соседних землях восточных славян были с юго-запада балтийские племена, в частности голядь, с запада и северо-запада — вепсы (друс. весь), одно из древнейших прибалтийско-финских племен. С севера земли мери граничили с землями заволоцкой чуди, видимо, также прибалтийско-финской этнической группы, хотя и не вполне установленного состава [70, с. 71-72]. С северо-востока мерянская этническая территория, видимо, соприкасалась с областью пермских племен, скорее всего предков коми [83]. С востока с мерей граничили марийцы; а с юга — мордовские племена: мурома и, возможно, мещера. Позже западными соседями мери стали восточнославянские племена — кривичи, новгородские словене и вятичи, с рубежа X-XI вв. начавшие проникать на мерянские земли. Если первоначально область мери была почти со всех сторон, кроме запада, окружена землями родственных финно-угорских племен, то со славизацией муромы, мещеры, соседней с мерей части вепсов и заволоцкой чуди и с расселением славян на мерянской этнической территории меря, за исключением крайнего востока, оказалась в славяно-русском[2] окружении в виде отдельных, все более разобщаемых мерянских «островов». Постепенное растворение мери в славяно-русском языковом окружении, связанное с ее ассимиляцией, привело к ее полному исчезновению как отдельного финно-угорского этноса и к слиянию мери с формирующейся на ее бывших землях частью (велико)русской народности.

Археологические данные современной науки позволяют считать возможным образование мери в отдельное финно-угорское племя (группу племен) на своей исторически засвидетельствованной территории уже в I тыс. до н.э. [39, с. 312-314]. Непосредственными предшественниками мери были, очевидно, индоевропейцы, представители так называемой фатьяновской культуры, вытесненные и ассимилированные пришедшими с востока финно-уграми, предками мери [48]. Включение в состав этой части финно-угров (протомери) индоевропейцев-фатьяновцев могло способствовать их окончательному обособлению от других финно-угорских племен. Первое историческое упоминание о мере готского историка Иордана (VI в. н.э.), где меряне (Merens «мерян») [37, с. 150] упоминаются среди племен, плативших дань готскому королю Германариху, несомненно свидетельствует о существовании в это время мери как отдельного финно-угорского племени. Следующие упоминания о мере относятся уже к IX-X вв. и появляются в древнерусском историческом источнике — «Ипатьевской летописи», где

[1] Не исключено, что и вне этой территории, компактно заселенной мерей, в частности к северу от нее, имелись группы носителей мерянских диалектов или близкородственного мерянскому языка, о чем говорят топонимы типа р. *Вёкса*, р. *Ягрыш* (Вологодская обл.), *(Солом)бала* (Архангельская обл.), близкие к распространенным на бывших несомненно мерянских землях. Однако ввиду полной неизученности этого вопроса, как и вопроса о части мери, по преданию, переселившейся, избегая христианизации, к марийцам [46, с. 30-31] или мордовцам [80, с. 103] и, видимо, здесь ассимилированной, в данном исследовании они не рассматриваются.

[2] Понятие «славяно-русский» (сокращение более точного «(восточно)славяно-(велико)русский») служит общим наименованием для обоих исторически взаимосвязанных языковых (и этнических) образований — местных говоров языка древнерусского и развившегося из него (велико)русского языка (и соответственно их носителей — части восточных славян и развившегося из них (велико)русского народа).

о ней сказано как о союзнике восточных славян – в связи с собиранием дани варягами с древнерусских и соседних с ними племен (859 г.), по поводу походов Олега на Киев (882 г.) и на Царьград (907 г.), в которых наряду с варягами и восточными славянами принимала участие и меря [38, с. 16, 17, 21]. В другом древнерусском летописном источнике о мере говорится как об особом этносе со своим языком, выделяемом на фоне других финно-угорских племен, известных в XI в. восточным славянам: «... а на Ростовьском озеръ Меря, а на Клещинѣ озеръ Меря же; а по Оцѣ рѣцѣ, гдѣ потече в Волгу же, Мурома языкъ свой, и Черемиси свой языкъ, Моръдва свой языкъ...» [51, с. 10-11]. На основании, в частности, того, что после X-XI вв. меря перестает упоминаться в древнерусских летописных сводах, в дореволюционных отечественных работах бытовало мнение, что к тому же периоду относится и полная ассимиляция мери восточными славянами [46, с. 63-64]. Это мнение, встречающееся иногда и в некоторых зарубежных работах даже в 60-х годах 20-го века [132, с. 145], в свете исследований советских историков следует признать устаревшим. Данные этих исследований, опирающихся на не использованные ранее исторические источники, показывают, что и после событий IX-X вв., упомянутых в Ипатьевской летописи, меря еще долго существовала на своих землях, куда с X-XI вв. стали проникать восточные славяне [22, с. 5]. В целом ряде мест своего проживания меря сохраняла этноязыковой облик еще в XV-XVI вв. [108, с. 135-137], а на наиболее периферийных (восточных) территориях и в лице отдельных групп или лиц, носителей языка, – возможно, и в XVII в. [108, с. 136] и даже в начале XVIII в. В пользу этого говорит упоминание административного понятия «Мерский» (стан) в документе середины XVIII в.: «Георгиевская (церковь. – *О.Т.*), что в Мерском» [108, с. 137].

Достоверные сведения современной советской исторической и археологической науки полностью подтверждают мысль о мирном проникновении славян на мерянские земли, высказанную еще В.О.Ключевским: «Происходило заселение, а не завоевание или вытеснение туземцев» [41, с. 295]. Это было связано как с редкостью мерянского населения, позволявшей славянам занимать многочисленные пустовавшие земли, так и с различием в занятиях мерян (преимущественно скотоводов, охотников и рыбаков) [22, с. 129] и славян (преимущественно земледельцев). Обе группы населения в низших и средних слоях как бы дополняли друг друга, постепенно срастаясь в единое социально-экономическое целое. Видимо, такое же срастание происходило и в социальных верхах Владимиро-Суздальской Руси: мерянская знать сближалась со славяно-русской, образуя вместе с ней господствующие слои княжества. Единственное известное истории крупное восстание (1071), охватившее мерянское население, как справедливо полагает современная наука, вызывалось имущественным и классовым расслоением в мерянской среде, а не каким-либо славяно-мерянским национальным антагонизмом: «Нет никаких данных в пользу того, что восстание местных смердов было направлено против русских феодалов» [108, с. 141]. Восстание вызвало, по местному преданию, переселение части мери к родственным марийским [46, с. 30, 31] или мордовским [80, с. 103] племенам, где она впоследствии ассимилировалась. Очевидно, мирный характер славянского проникновения в мерянские земли относится к сфере как социально-экономических, так и культурно-языковых отношений. Помимо косвенного свидетельства, которое можно усматривать в длительности сохранения мерянского этнического элемента на данной территории, имеется и прямое, говорящее о том, что хорошее владение мерянским языком в конце XI в. расценивалось как обстоятельство, достойное упоминания в житии крупного церковного сановника, первого ростовского епископа Леонтия, очевидно, в связи с успешным использованием мерянского языка при христианизации мери: «Се бѣ блаженный и костянтина града ражай и въспѣтаніе русскій же и мерьский язык добрѣ умѣяше книгамъ роуским и гречьскимъ велми хытрословесенъ сказатель» [32, с. 11]. Упоминание в житии мерянского языка вместе с русским, наряду с русскими и греческими книгами, говорит о том, что в знании этого языка усматривалась довольно высокая ценность, видимо, обусловленная его ролью во Владимиро-Суздальском княжестве, тогда еще этнически смешанном славяно-мерянском крае. Так не могли относиться к языку созна-

тельно игнорируемому, тем более преследуемому. В более поздний период, когда в связи с ростом славяно-русского населения и частичной ассимиляцией мери количество мерянского населения уменьшилось и оно располагалось отдельными «островами», «районы, населенные мерей, были выделены в специальные территориальные единицы (Мер(ь)ские станы. — *О.Т.*). Таким образом, мерянские «острова» получили в свое время, так сказать, официальное признание» [108, с. 135]. Данные факты не оставляют сомнения в том, что положение мерян во Владимиро-Суздальской (> Московской) Руси не напоминало положение угнетенного племени. Скорее, оно было похоже на положение юридически и социально равноправного этнического элемента, сначала союзников, а затем сограждан одного из наиболее могущественных княжеств Киевской Руси, ставшего центром Русского государства и формирования (велико)русской народности (> нации). Если в дальнейшем здесь не обнаруживается меря как отдельный этнический элемент, как, впрочем, и славянские племена, проникавшие сюда, — новгородские словене, кривичи и вятичи, а выступает монолитное ядро новой отдельной славянской (велико)русской народности, то причину следует искать в обстоятельствах объективно сложившегося процесса экономической и этноязыковой консолидации, протекавшего здесь. Мирно сложившийся и развивавшийся симбиоз привел к срастанию славяно-русской и финно-угорской частей в одно этноязыковое единство с перевесом славян, что явилось предпосылкой дальнейшей постепенной славизации мерянского населения. Важными причинами, обусловившими именно такое направление ассимиляционного процесса, были количественный перевес славян над местными финно-уграми и более высокий уровень их экономики, социального строя и культуры по сравнению с мерей [108, с. 116, 154]. Эти вполне объективно действовавшие причины сопровождались уходом славян из южных древнерусских областей, подвергавшихся в XI-XII вв. жестоким ударам кочевников. Славизация мерян могла быть особенно усилена последствиями золотоордынского нашествия, вызвавшего массовый уход славяно-русского населения на здешние земли и надолго отрезавшего мерю от родственных финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, связи с которыми в былом могли поддерживать и питать здешнюю финно-угорскую культуру.

К числу до сих пор не выясненных принадлежит вопрос о происхождении и значении самого этнонима «меря». Исходя из его сходства с самоназванием марийцев «мари», финский ученый А.Кастрен высказал предположение, что этноним «меря» возник из этнонима «мари» ввиду особой близости мери к марийцам как видоизменение в устах славян [128, с. 16]. Его поддержали позднее Т.Семенов [82, с. 228, 229] и М.Фасмер [110, т. 2, с. 606], придерживавшиеся, как и А.Кастрен, мнения об особой близости мерянского языка к марийскому и считавшие его близкородственным марийскому, если не одним из его диалектов, что было в дальнейшем отвергнуто так же, как и мысль о близости указанных языков. Предположение А.Кастрена неприемлемо хотя бы потому, что этноним «меря» зафиксирован в близкой к нему форме Merens (готская форма вин.п. мн.ч., то есть «мерян», очевидно, на основе дмер. *merä «меря») у готского историка Иордана уже в VI в., задолго до каких-либо меряно-славянских языковых контактов. О древности этнонима свидетельствует и употребление его в форме Mirri в «Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum» Адама Бременского [132, с. 147, 148], отражающей, скорее всего, его арабскую передачу, где при ограниченности вокализма (ă, ĭ, ŭ возможно было только подобное воспроизведение исходного дмер. *merä. При известной логичности не является вполне убедительным также взгляд А.Л.Погодина [148, с. 326] и Ю.Мягистэ [147, с. 114-116], сближавших этноним «меря» с ф. meri «море; диал. (большое) озеро» в связи с обитанием части мери у больших озер: Неро (Ростовского), Клещина (Плещеевского) и Галичского. Вопрос о происхождении названия «меря» остается нерешенным не только из-за недостаточной убедительности предложенных до сих пор объяснений, но и потому, что еще не выяснены два вопроса, без предварительного решения которых, как представляется, невозможно серьезно говорить о его этимологическом истолковании. До сих пор не ясно, является ли этноним «меря» самоназванием мерян (в целом или одного из мерянских племен) или так они были на-

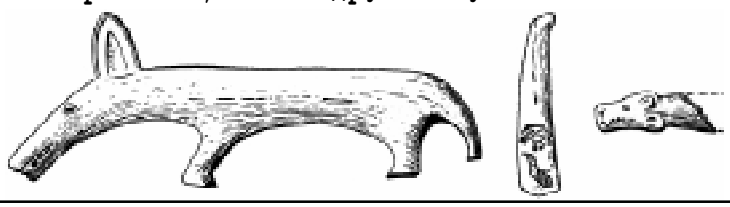
званы одним из соседних народов. Название «меря», явно аналогичное ряду других финно-угорских этнонимов типа эрзя, мокша, вод. vad'-d'a «водский» (эст. vadja «то же», ф. vatja «водский язык»), требует объяснения со словообразовательной точки зрения. В свою очередь, решение этих вопросов нуждается как в углублении знания истории финно-угорских народов, так и в выяснении принципов словообразования финно-угорских этнонимов, где могут сохраняться особенно архаические структурные типы.

С вопросом о происхождении этнонима «меря» тесно связан вопрос о происхождении мерянского языка, его месте в семье финно-угорских языков, который также еще не нашел своего окончательного решения. Если принадлежность мерянского языка к финно-угорской группе никогда не вызывала особых сомнений[3], то значительно сложнее было решить, к какому финно-угорскому языку (группе языков) он особенно близок. А.Кастрен предполагал особую близость мери и марийцев и их языков [128, с. 16]. Первая серьезная попытка подтвердить эту гипотезу, как и вообще изучить мерянский язык на основе его остатков, была сделана Т.С.Семеновым, учителем марийского языка при Казанской учительской семинарии, в статье «К вопросу о родстве и связи мери с черемисами», опубликованной в 1891 г. На основе сравнения 403 местных названий предполагаемого мерянского происхождения с марийскими словами и названиями Т.С.Семенов нашел, что «данные из языка и факты из быта и истории мерян и черемис... действительно допускают возможность очень близкого родства между этими народами» [82, с. 229]. В то же время он считал, что окончательно определить место мерянского языка среди других финно-угорских можно будет «только тогда когда меряне... по остаткам своего языка будут сопоставлены или сравнены со всеми народностями финского племени» [82, с. 229]. По стопам Т.С.Семенова в опубликованной значительно позже (1935) работе «Merja und Tscheremissen» [158, с. 351-418] шел фактически М.Фасмер, на основании более тщательно собранного и исследованного ономастического материала старавшийся доказать близость мерянского языка к марийскому. Относительная ограниченность привлеченных данных (только топонимы) и стремление во что бы то ни стало связать их лишь с марийским языком (например, в объяснениях по поводу названий *Кера* [158, с. 386], *Ура, Курга* [158, с. 392-393], *Тума* [158, с. 398], *Лочма/Лотьма* [158, с. 401]) привели М.Фасмера к выводу, что «должно быть допущено тесное родство мери и марийцев (черемисов)» [158, с. 411]. Неправомерность подобного вывода подверг критике финский исследователь П.Равила, считавший, что мерянский язык более обоснованно рассматривать в качестве связующего звена между прибалтийско-финскими и мордовскими языками [149, с. 25, 26]. Работа М.Фасмера, таким образом, не способствовала решению вопроса о положении мерянского среди финно-угорских языков. П.Равила, справедливо критиковавший М.Фасмера за односторонность и необъективность освещения языковых фактов, тоже не обосновал своего мнения конкретным исследованием мерянского языкового материала, но с этого времени, а отчасти и вследствие работ археологов, опровергающих тесную связь мери с марийцами [90, с. 124], гипотеза об особой близости мерянского языка с марийским была окончательно отвергнута [89, с. 179]. Учитывая взгляды предшественников и на основании результатов собственных исследований, А.И.Попов пришел к выводу о том, что «... несмотря на несомненные общности в словаре с другими финно-уграми ... меря (в языковом отношении) отличалась от марийцев, как и от мордвы и других финно-угров...» [70, с. 101]. Этот взгляд подтверждается и отрицательными результатами предшествующих попыток усмотреть в мерянском особую близость к какому-либо из финно-угорских языков, и явным своеобразием ряда мерянских слов, о чем говорит А.И.Попов, – таких, как *урма* «белка», *яхр(е)* «озеро», *бол* «селение» и под. [70, с. 100, 101]. При всей его логичности этот вывод также нуждается в обосновании, поскольку подвергнутый исследованию материал предполагаемого мерянского

[3] Здесь, конечно, не принимаются во внимание явно устаревшие взгляды, например Д.Ходаковского [118, с. 23], считавшего мерю «славянским племенем», а следовательно, и носителем славянского языка.

происхождения изучен недостаточно. Обращает на себя внимание однотипность этого материала: почти весь он относится к ономастике. Возможные мерянские элементы из диалектных апеллятивов и социолектов (арго) с бывшей мерянской территории до последнего времени не исследовались. Кроме того, почти никто из исследователей, кроме отчасти Фасмера, обратившего внимание на звуковую сторону мерянских включений в русском [158, с. 384], не вышел за круг чисто лексико-этимологических вопросов. Ученые, уделившие внимание мерянскому языку, в большинстве случаев ограничивались приведением списков названий предполагаемого мерянского происхождения, обосновывая их истолкование параллелями из других финно-угорских языков. Несколько расширить исследование попытался О.В.Востриков [15; 16], привлекая данные диалектных апеллятивов, в частности связанные с местной географической номенклатурой, что позволило ему найти ряд новых интересных мерянских включений в русских говорах. При всех несомненных достоинствах работ О.В.Вострикова их, однако, как и работы его предшественников, характеризует отсутствие системного подхода к предполагаемому мерянскому материалу. Это могло быть связано с тем, что исследуемая им территория (Волго-Двинское междуречье) была в прошлом населена носителями не только мерянского, но и других финно-угорских языков, и О.В.Востриков не ставил перед собой задачи специального исследования мерянского языка, его мерянские находки сделаны как бы попутно. Между тем мерянский, как и другие субстратные языки, уже давно ожидает не отдельных случайных, хоть и интересных, работ, появляющихся через значительные промежутки времени, а целеустремленных, специальных исследований, где бы полнота и разнообразие материала сочетались с системностью и всесторонностью его рассмотрения. Возможность подобных исследований подготовлена всем предшествующим развитием финно-угристики, в частности возросшей изученностью смежных с мерянским финно-угорских – вепсского, мордовских, марийского, пермских – языков. Об их актуальности свидетельствует появление с 60-х годов целого рада работ, посвященных финно-угорским субстратам в русском языке и принадлежащих отечественным и зарубежным ученым, в частности В.И.Лыткину [52], Б.А.Серебренникову [86; 88], А.К.Матвееву [58; 59], В.Т.Ванюшечкину [12], О.В.Вострикову [15; 16], О.Б.Ткаченко [98-101, 103, 104], В.Фенкеру [159], Г.Стипе [155]. Работа в области финно-угорских субстратов в русском языке, в частности мерянского субстратного языка, должна стимулироваться также социально-экономическими процессами – преобразованием природы, миграцией населения, переездом сельского населения в города и т.п., – которые ведут к исчезновению местных русских говоров, включающих в себя субстратные элементы.

Всё изложенное говорит о необходимости поторопиться как с фиксацией сохранившихся остатков мерянского языка, так и с их изучением, дающим возможность реконструировать его в допустимых пределах. Попыткой ответить на это требование современной науки и является настоящая работа.*



«Дьяковские» изделия из кости и рога.
[22, стр. 133]

* Приступая к рассмотрению конкретного материала, представляющегося связанным с мерянским языком, нельзя не высказать предварительного замечания. Части читателей, возможно, покажутся нецелесообразными нередкие в книге повторения (по разному поводу) тех же финно-угорских фактов. Не лучше ли было бы сосредоточить их в одном месте, а затем к ним отсылать, что могло бы к тому же значительно уменьшить объем книги? В чём-то эти читатели будут, конечно, правы, но только отчасти: в таком случае пришлось бы то и дело отрываться от чтения и заглядывать в то место книги, куда отсылают, занятие утомительное и неудобное. Этим, собственно, и вызваны эти представлявшиеся неизбежными повторы, которые дают зато возможность получить сразу же в нужном месте все необходимые сведения.

ФОНЕТИКА

Поскольку в настоящее время наука только подходит к синтезу доступного ей мерянского материала, а синтезу неизбежно должен предшествовать анализ, задача воссоздания фонетической системы мерянского языка в ее полном объеме и конкретности должна быть признана преждевременной. Чтобы выяснить с максимально возможной полнотой особенности мерянской фонетики в их историческом развитии и пространственной приуроченности, то есть определить инвентарь ее фонем, их вариантов и особенностей сочетаемости, в том числе слогоделения, а также особенности ударения и количества, необходимы следующие предварительные условия: 1) со всех русских языковых фактов, мерянских по происхождению или испытавших мерянское воздействие, которыми мы сейчас располагаем при реконструкции мерянского языка, должны быть сняты наслоения славяно-русского языкового влияния; 2) все они — каждый в отдельности — должны быть расположены в соответствующей хронологической плоскости, связанной со временем их заимствования (включения) в славяно-русский язык; 3) факты русского языка, доказанные в качестве мерянских по происхождению или испытавших влияние мерянского языка, должны быть подвергнуты истолкованию с пространственной точки зрения как факты лингвогеографии, относящиеся к тем или иным группам мерянских говоров. Только выяснив совокупность данных всего мерянского материала и каждый входящий в него факт с точки зрения этих трех задач, можно будет решить задачу воссоздания мерянской фонетики. Пока это не сделано и на пути к более сложным и конкретным заданиям стоит элементарная, хоть и не менее ответственная, задача собирания явлений, представляющихся мерянскими, и доказательства их мерянского происхождения, вопрос об особенностях мерянской фонетики может быть решен только в наиболее общих чертах с обязательной оговоркой вынужденной предварительности и известной гипотетичности предлагаемого ответа.

Материалом, на основании которого уже теперь можно до некоторой степени судить о мерянской фонетике, являются, с одной стороны, факты русского языка, а именно слова и названия, которые можно рассматривать в качестве мерянских по происхождению, а с другой — те славянские по происхождению слова русского языка с мерянских в прошлом территорий, своеобразие фонетического облика которых дает основание рассматривать их в качестве подвергшихся влиянию со стороны финно-угорского, то есть на данной территории, очевидно, мерянского языка. Поскольку исчезновению мерянского языка в области его распространения должен был предшествовать более или менее длительный период славяно-(русско-)мерянского двуязычия, вполне обоснованно можно предположить, что какая-то часть русских слов заимствовалась из славяно-русского языка мерянским и в форме, приобретенной в нем, влилась затем в русский язык местного населения. Близко к ним, по-видимому, стоит другая группа русских слов с чертами финно-угорской, мерянской фонетики, мерянского фонетического «акцента». Это те слова русского (< восточнославянского) языка, которые, хоть и не вошли в состав мерянского, могли употребляться в русской речи мерянского населения еще в тот период, когда мерянский язык не был им полностью утрачен. В мерянский язык эти лексические элементы русского языка могли попадать только в качестве окказионализмов в процессе неизбежной при двуязычии языковой интерференции. Однако, поскольку мерянское население в это время еще употребляло параллельно с русским мерянский язык, влияние его фонетики, возможно, уже в меньшей степени, могло сказаться и на этой части русских слов. Благодаря словообразовательным (деривационным) связям некоторые фонетические особенности, связанные с двумя данными

группами слов, могли быть перенесены на их производные. Наиболее стойкие фонетические тенденции, обязанные своим возникновением и существованием мерянскому языковому субстрату, именно те, которые не вступали в резкое противоречие со славяно-русской фонетической системой, могли влиять на русские слова даже в тот период, когда мерянский язык, а с ним и мерянско-русское двуязычие исчезли и население бывших мерянских (позже русско-мерянских) территорий стало сплошь одноязычным. Здесь мы не будем останавливаться специально на вопросе о том, каково происхождение каждого из русских слов с необычной, по-видимому мерянской, фонетикой. К этому вопросу предстоит еще вернуться при рассмотрении истоков формирования лексики мерянского происхождения, сохраненной русским языком. Следует, однако, подчеркнуть ценность использованного источника сведений об особенностях мерянской фонетики. Ценность эта определяется тем, что данный материал в территориальном отношении не вызывает сомнений: он почерпнут из картотек костромского и ярославского областных словарей, то есть с той языковой территории, где в прошлом была распространена меря. Пренебречь этим источником нельзя хотя бы потому, что довольно ограниченный пока русский лексический материал, рассматриваемый в качестве происходящего из мерянского языка, не во всех случаях вполне доказан как мерянский, аргументировать полностью его «мерянскость» в ряде случаев еще предстоит. К тому же даже если нет оснований для того, чтобы усомниться в его мерянском происхождении, далеко не всегда имеется полная уверенность в том, что русские слова и названия мерянского происхождения полностью (или, по крайней мере, без значительных отклонений от исходной мерянской формы) сохраняют свои фонетические особенности. Уже априорно можно предположить, что все мерянские слова и названия, употребляемые (или употреблявшиеся) в русском языке, должны были в большей или меньшей степени в нем изменяться, приспосабливаясь к его фонетической и грамматической системам. В результате этого апеллятивы и собственные имена мерянского происхождения подверглись разнообразным, в том числе и фонетическим, изменениям, которые предстоит установить. Лексемы славяно-русского происхождения в связи с этим имеют по сравнению с мерянскими неоспоримое преимущество, — являясь совершенно определенно словами русского языка, главным образом славянскими по происхождению, они в то же время недвусмысленно обнаруживают отличия от соответствующих русских слов в литературном русском языке и русских диалектах, расположенных вне сферы финно-угорских, в частности мерянских, влияний. Это в сопоставлении с предполагаемыми лексемами мерянского происхождения дает возможность с большей полнотой и обоснованностью судить о чертах мерянской фонетики. Сложность интерпретации фонетического материала, его неоднозначность при оперировании словами славяно-русского происхождения заключается в следующем: поскольку диалекты данных территорий не находились в изоляции, а беспрерывно взаимодействовали как с русским литературным языком, так и с русскими говорами, которым их особенности были чужды, эти своеобразные фонетические черты не представляют собой чего-то застывшего, раз и навсегда данного, в процессе взаимодействия с инодиалектными (в том числе литературными) особенностями они подвергались определенным сдвигам, в том числе связанным с явлением гиперкоррекции. Это, как и вообще работа с указанными особенностями, требует дополнительных уточнений, которые можно и следует почерпнуть как из материала мерянского происхождения, так и из фактов других финно-угорских языков.

В связи со своеобразием каждого из упомянутых источников сведений о мерянской фонетике, из которых славяно-русский может дать о ней лишь наиболее общее представление, так сказать, только в первом приближении, а факты мерянской по происхождению лексики при всей их неполноте значительно уточняют и конкретизируют выводы, полученные из первого источника, представляется целесообразным, идя от более известного к менее извест-

ному, начать именно с русских слов с чертами финно-угорской (мерянской) фонетики, своеобразие которых лежит на поверхности. В дальнейшем особенности мерянской фонетической системы будут рассмотрены на основе лексики и ономастики предполагаемого мерянского происхождения, что даст возможность уточнить данные, полученные в результате анализа русской лексики немерянского происхождения с мерянскими фонетическими чертами. Окончательные выводы будут получены в результате обобщения сведений, полученных из обоих источников.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (НА ОСНОВАНИИ РУССКИХ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ НЕМЕРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)[1]

Как и всегда в случаях языкового взаимодействия, наиболее заметны сдвиги в области консонантизма, более тонкими, менее уловимыми являются изменения гласных. Именно поэтому необходимо как можно более полное экспериментально-фонетическое исследование соответствующих говоров, чем в настоящее время исследователь мерянской фонетики не располагает. В связи с этим основное внимание здесь будет уделено предполагаемым явлениям мерянского консонантизма, как они представляются на основе анализа диалектного материала немерянского происхождения. Явления вокализма будут затронуты в значительно меньшей степени.

При обращении к данным русских говоров постмерянских территорий, в частности костромских и ярославских, обращают на себя внимание глухость согласных, которым в литературном языке (или в других говорах, не связанных с данными территориями) соответствуют звонкие, и, наоборот, замена звонкими согласными характерных для литературного языка (и других говоров) глухих. Примеры употребления глухих согласных вместо обычных для русского литературного языка (и большинства говоров) звонких обнаруживаются в следующих случаях:

1) *аграматный* «огромный» (Яр. губ.) КЯОС 25 — рус. (лит.) *громадный*; 2) *веркало* «праща» (Яр — Рост) ЯОСК — рус. (лит.) *извергать*; 3) *заката* «то же, что (диал.) *загата* (= соломенная обкладка вокруг дома для утепления)» (Яр — Тут) ЯОСК; 4) *кадюка* (Яр — Рост) ЯОСК — рус. (лит.) *гадюка*; 5) *збуторажить* «возмутить» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 77 — рус. (лит.) *взбудоражить*; 6) *кокотки* «ногти на руках» (Яр. губ. — Углич) КЯОС 89, *кокоток* «ноготь» (Яр. губ.) КЯОС 89 — рус. (лит.) *коготок*; 7) *падог* «палка, посох» (Яр. губ. — Пош); «часть ткацкого станка» (Яр. губ.); «палка у молотила, приузи» (Яр. губ. — Пош); «короткая палка цепа» (Яр — Угл) КЯОС 140 — рус. (диал.) *батог* «кнут; бильная часть цепа; палка, посох» СРНГ II 144–145; 8) *папа* «бабушка» (Костр. губ. — Кин); «старуха» (Костр. губ. — Гал) МКНО; «обращение к бабушке» (Костр — Макар) КОСК — рус. (диал.) *баба* «мать отцова или материна, жена деда» Даль I 32; 9) *пахча* «различные овощи (свекла, брюква, огурцы)» (Яр — Рыб) ЯОСК — рус. (лит.) *бахча* «участок, засеянный арбузами, дынями»; 10) *тритенья* «около трех дней» (Костр — Костр) КОСК — рус. (диал.) *треденство* (чьей смерти) «три дня, трои сутки» Даль IV 432; 11) *фика* (Яр. губ.) КЯОС 208 — рус. (лит.) *фига*; 12) *кон* «часть поля, в котором каждый домохозяин получает полосу; участок земли с почвой разного достоинства и удобным подъездом к нему» (Яр. губ.) КЯОС 91 — рус. (диал.) *гон* «участок пахотной земли, принадлежащей одному хозяину; полоса пахотной земли, которую при пахоте пахарь проходит до поворота; мера измерения площади» СРНГ

[1] Отсутствие пока широкой работы по изучению говоров Владимирской, Ивановской, Московской и Калининской [с 1991 г. — Тверской. *Прим. ред.*] обл., в прошлом полностью или частично населенных мерей, вынудило автора там, где использованы диалектные (арготические) апеллятивы, привлекать в основном факты ярославских и костромских говоров. Диалектные сведения с других постмерянских территорий использованы в значительно меньшей степени.

VI 356–358; 13) *хлипец* «хлеб» (Яр. губ.) КЯОС 210 – рус. (лит.) *хлебец* «небольшой хлеб» (укр. *хлібець* «то же»); 14) *синька* «московка (птица), Parus sibiricus L., синица сибирская; Poecile palustris L., гаичка бурая» (Яр. губ.) КЯОС 184 – рус. (диал.) *зинька* «птица, Parus major (вид синички)» СРНГ XI 283 (ср. также рус. (диал.) *зиньковый соловей* «соловей, который начинает свое пение с позыва синички» СРНГ XI 283).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в шести из приведенных 14 примеров, причем тех, которые могут относиться к наиболее традиционным словам (независимо от того, употреблялись ли они в мерянском языке), а именно в словах *кадюка*, *пахча*, *падог, папа, кон, синька*, глухой вместо звонкого выступает как первый звук соответствующих слов[2]. В двух словах замена звонкого глухим прослеживается в начале первого корневого слога (*заката*) или второго компонента композита (*тритенья*). В трех случаях замена звонкого глухим отмечена либо в позиции между двумя глухими (*кокоток*), либо в конце слова после слога с начальным глухим, в том числе в сопровождении сонорного (*фика*, *хлипец*). Только в трех из приведенных примеров замена выступает в положении неблагоприятном для оглушения звонкого в интервокальной позиции между звонким и сонорным (*збуторажить*) или в позиции между сонорными (*веркало*, *аграматный*), где скорее можно было бы ожидать сохранения звонкости или – при первоначальном глухом – его озвончения. Ввиду этого три последних случая есть основания рассматривать в качестве обусловленных стремлением к гиперперкоррекции.

Противоположное явление – появление звонких согласных вместо выступающих в русском литературном языке и других русских говорах глухих – наблюдается в следующих случаях: 1) *базлёны* «красивые, нарядные девушки» (Яр – Брейт) ЯОС I 45 – рус. (диал.) *баса́* «красота» СРНГ II 127, *басёна* «щеголиха, щеголь» СРНГ II 128; 2) *сбахтать* «(о масле) сбить» (Костр. губ. – Кин) МКНО – рус. (обл.) *пахтать* «сбивать (масло из сливок или сметаны)» Даль III 26; 3) *бриткий(-кой)* «быстро делающий, выполняющий что-либо; скорый в работе» (Яр – Пош) ЯОС II 23 – рус. (лит.) *прыткий*; 4) *бужеваться* «метаться, быть непостоянным, ненадежным, не держать слова» (Яр) ЯОС II 28 – рус. (лит.) *бушевать*; 5) *гачуля* (Яр – Пош, Рыб) ЯОСК – рус. (лит.) *качели*; 6) *голея* «тропинка в поле» (Яр. губ. – Мол) ЯОСК – рус. (лит.) *колея*; 7) *Главдéя* (Яр – Гавр.-Ям) ЯОСК – рус. (лит.) *Клавдия* (имя); 8) *загра́ба́здить* (Яр – Некоуз, Тут) ЯОСК – рус. (лит.) *заграбастать*; 9) *жужукать* (Яр – Дан) – рус. (лит.) *шушукать*; 10) *зéргало* (Костр – Буй; Яр – Тут, Угл) ЯОСК – рус. (лит.) *зеркало*; 11) *зерга́льный* (Яр – Пош) ЯОСК – рус. (лит.) *зеркальный*; 12) *клубни́га* (Яр – Тут) ЯОСК рус. (лит.) *клубника*; 13) *лéнда* (Костр – Нер) КОСК (Костр. губ. – Кин) МКНО – рус. (лит.) *лента*; 14) *логоть* (Костр – Буй) КОСК – рус. (лит.) *локоть*; 15) *педистенок* «спальня» (Яр – Дан) ЯОСК – рус. (диал.) *пятистенок* «деревянный дом, разделенный на две части капитальной стеной» СРГНО 452; 16) *подог* «длинная палка, на которую опираются при ходьбе» (Костр – Солигал) КОСК – рус. (лит.) *батог*; 17) *сабог* (Костр – Нер, Сусан) КОСК, (Яр – Дан, Рыб, Щерб, Гавр.-Ям, Тут; Костр – Крас) ЯОСК – рус. (лит.) *сапог*; 18) *сабожник* (Яр – Мышк) ЯОСК – рус. (лит.) *сапожник*; 19) *хли́бает* (Костр. губ. – Гал) – рус. (лит.) *всхлипывает*; 20) *чевери́ги* «черевики, женские башмаки» (Костр. губ. – Кин) МКНО – рус. (диал.) *чеверики* «то же» Даль IV 586, рус. (обл.) *черевики* «женские сапожки на высоких каблуках» Даль IV 590; 21) *крыжа* (Яр. губ. – Рост) КЯОС 97 – рус. (лит.) *крыша*; 22) *сди́брить* (Яр. губ. – Пош) КЯОС 182 – рус. (разг.) *стибрить*; 23) *свире́бой* (Яр – Мышк) КЯОС 181 – рус. (лит.) *свирепый*; 24) *со́йга* (птица) (Яр. губ.) КЯОС 189 – рус. (лит.) *сойка*.

Из 24 рассмотренных выше примеров 19, то есть около 80%, приходится на случаи, где звонкий согласный вместо обычного для литературного языка и остальных говоров глухого выступает в середине слова, и только пять, то есть 20%, – на случаи, где звонкий вместо глухого отмечен в его начале, ср.: *базлёны, сбахтать, бужеваться, загра́ба́здить, зéргало, зерга́льный, клубни́га,*

[2] В слове *папа* < **паба*, очевидно, под влиянием начала слова оглушение коснулось также начала второго слога.

ле́нда, логоть, педистенок, подог, сабог, сабожник, хли́бает, чевери́ги, крыжа, сди́брить, свире́бой, со́йга — бриткий, гачуля, голея, Главде́я, жужукать. Если учесть при этом, что в одном из случаев речь идет об одновременном озвончении глухого также в середине слова (*жужукать*), который, таким образом, не типичен как пример озвончения начального глухого, то процент случаев озвончения начальных глухих станет еще меньше. Интересен также пример *подог* (костр.) (яросл. *падог*), где одновременно наблюдается глухой согласный в начале слова при звонком в середине как соответствие слав. (рус.) *батог* с противоположным распределением согласных по звонкости-глухости. О том, что с исходной славянской формой имеем дело именно в последнем, а не в первом случае, вполне отчетливо, помимо рус. *батог*, говорят все его инославянские соответствия, ср.: друс. *батогъ* «бич», рус. *батог* «палка, трость; простая из лесного дерева палка; бильная часть цепа; палка, посох», укр. *батіг* «кнут, плеть; усы у огурцов, дынь», п. batog «здоровенная дубина», batogi (мн.) «битье палкой», кашуб. (словин.) bãtag «бич, плеть», ч. batoh «дорожная заплечная котомка», ст. batoh «плетка», схв. *ба̏тог* «палка; сушеная рыба», восходящие к псл. *batogъ (ЭССЯ в. I, 165-166). Рассмотренный иллюстративный материал позволяет сделать вывод, что восточнославянские слова (и тем последовательнее, чем к более древнему периоду славяно-неславянских языковых контактов они восходят) переделывались согласно свойственным им языковым навыкам носителями языка, в котором противопоставление глухих и звонких согласных не имело фонематического значения, а было обусловлено чисто позиционно. Имеется в виду, по-видимому, язык, где существовали, не считая сонантов, только глухие согласные фонемы. Эти фонемы были абсолютно глухими в начале слова, если данное слово не объединялось особенно тесными связями (например, как второй компонент композита) с предшествующим звонким (сонорным или гласным исходом). В интервальной позиции или между сонантами глухая фонема могла озвончаться. Однако этот звонкий («озвонченный») вариант воспринимался носителями данного неславянского языка лишь как позиционно обусловленный вариант той же глухой фонемы, поскольку оба проявления звука не могли быть противопоставлены в одной позиции и служить в речи в качестве смыслоразличительных сигналов (фонем). Скорее всего, речь могла идти не о звонких, а о полузвонких (точнее, полуглухих) звуках, подобных эстонским [B], [D], [G] (ср. эст. luba «разрешение», edasi «вперед», nõukogu «совет») или близким к ним, но более глухим финским p, t, k в интервокальной или постсонантной позиции (ср. ф. apu «помощь», katu «улица», ranta «берег»)[3]. В целом, можно говорить о том, что в начале слова глухой согласный в дославянском (мерянском) языке произносился более сильно и, следовательно, глухо, в середине же слова сила его произношения спадала, следствием чего могло становиться его озвончение или при еще большем ослаблении силы произношения — спирантизация, переход в соответствующий проточный согласный. Оба явления наблюдаются (в разной степени) как в прибалтийско-финских и саамском, так и в волжско-финских языках. Если финский тяготеет в основном к ослаблению интервокальных согласных с их частичной спирантизацией, что дало чередование ступеней (ср. ф. joki «река» — joen (jo(γ)en, род.п. ед.ч.), käte «рука» (kätellä «здороваться за руку») — käden (диал. käðen, род.п. ед.ч.), lapa «лопасть; лопатка» — lavan (laβan род.п. ед.ч.), то марийский наиболее последовательно из волжско-финских языков проводит спирантизацию взрывных согласных (ср. мар. Г *йогы*, фон. joγə̑ «течение; поток», мар. *шӱдӧ*, фон. šüðö «сто» при ф. sata, мар. *кувo*, фон. kuβo «мякина» при эст. kõba «кора (дерева)»). Менее последовательно спирантизация проведена в мордовском языке, который занимает как бы промежуточное положение между прибалтийско-финскими и марийским: с одной стороны, здесь видны (в случае исходных прафинно-угорских k, p) конечные

[3] В связи с последним интересна характеристика произношения этих звуков в учебнике финского языка, предназначенном для эстонцев: «k, p, t произносятся внутри слова почти так же, как эстонские g, b, d (немного сильнее)...» [151, с. 5].

результаты спирантизации данных звуков в середине слова, ср. морд. Э *явомс* «делить» и мар. *коваште* «кожа; шкура» при ф. jakaa «делить» и эст. kõba «кора (дерева)», с другой — рефлекс исходного ф.-уг. t сохраняет в мордовском, как и в финском, взрывной характер, тогда как в марийском здесь была проведена спирантизация, ср. морд. Э *сядо* «сто» при ф. sata и мар. *шӱдӧ*, фон. šüδö «то же» [53, с. 135-137].

Еще трудно с полной определенностью выяснить, какое положение занимал мерянский язык. Можно только говорить о том, что во внутрисловном консонантизме он обнаруживал некоторые черты, сближавшие его с марийским языком и отдалявшие от прибалтийско-финских и мордовского, однако степень сходства с марийским языком в рефлексации исходных праязыковых взрывных в середине слова на основании имеющихся, тем более только славяно-русских, данных определить трудно. Ясно одно. Поведение взрывных согласных фонем в начале и середине слова, а также их подбор и позиционная вариативность не оставляют сомнений как в исконно финно-угорском характере языкового субстрата на бывших мерянских территориях, так и в том, что язык, породивший данный субстрат, не мог исчезнуть быстро. Иначе бы следы его фонетического влияния не были столь явственны и не оставались бы в такой степени типично финно-угорскими.

Как и другие финно-угорские языки, унаследовавшие эту особенность от финно-угорского праязыка, мерянский, по-видимому, не терпел больше одного согласного в начале слова. Ср. в связи с этим следующую характеристику данной особенности финно-угорских языков: «В начале слова в финно-угорском языке-основе стоял только один согласный (или один гласный). Такое положение в общем сохранилось и в современных финно-угорских языках. Правда, теперь в начале слов мы нередко встречаем сочетание согласных, но эти слова большей частью позднейшего происхождения. К ним относятся, например, следующие: а) изобразительные слова: мр. *крак-крак*, к. *крав*, у. *крок-крок* — карканье вороны; б) заимствования: мр. *краж*, к. *краж* «кряж», «толстое короткое бревно», у. *кран* «кран»; но заимствования часто приспосабливаются к фонетической системе языка, например, к. *дӧва* < русск. *вдова*, ф. koulu < швед. skola (диал. skoula) «школа»; в) новообразования, возникшие вследствие определенных звуковых изменений (чаще всего выпадения гласного первого слога): м. *пси* «горячий, жаркий» < **писи* (диал. *писи*), ср. к. *пось* «горячий»...» [53, с. 119].

Подобной особенностью, по всей видимости, обладал и мерянский язык, в связи с чем славянские слова, проникавшие в него, претерпевали изменения, имевшие целью приспособить их к его фонетической системе.

Достигалось это, как и в других языках, двумя путями, которые позволяли устранять скопление согласных в начале слова: 1) путем отбрасывания «лишних» с точки зрения финно-угорской фонетики согласных и сохранения только одного из них, ср. эст. torm «буря», снн., дат., швед. storm «то же»; 2) путем вставки гласного в скопление согласных начала слова, ср. венг. király «король» < слав. (юго-зап., сев.-зап.), схв. krâlj, слн. králj, слц. král′, ч. král «то же» [142, т. I, l. 268-269], что опять-таки позволяло оставить в качестве начального один согласный, за которым сразу же следовал гласный. Одним из путей, приводивших к этому, — в случае двух начальных согласных с гласной после них — могла быть также метатеза группы «второй согласный + гласный». Примерами первого способа устранения скопления согласных в начале слова могут быть следующие случаи: *е́лица* «метель» («На улице елица, на дворе метелица») (Яр — Пересл) ЯОСК < **вје́лица*, орф. *вье́лица* < *вья́лица* < *ве́ялица* вследствие диалектного перехода -je- < -ja-; *морга́ть* «сморкать» (Костр. губ. — Нер; ООВС 116) КОСК < *сморгать* < *сморкать*[4]; *нараха́ть* «напугать» (Яр — Мышк, Пош, Брейт) ЯОСК < *настрахать*, *нараха́ться* «испугаться, струсить» (Ярославль) ЯОСК < *настрахаться*, *нарахну́ть* «напугать» (Яр — Некр, Пересл) ЯОСК < *настрахнуть*; *оса́рки* (мн.)

[4] В примере обращает на себя внимание также уже отмеченное явление озвончения глухого в позиции между сонорным и гласным: переход -к- в -г-.

«шкварки» (Яр — Брейт, Пош) ЯОСК < *(о)скварки*, где о-, очевидно, является вторично введённым звуком; *мотре́ть* «смотреть» (Яр) КЯОС 113 < *смотреть*; *паси́бо* (Яр — Люб) ЯОСК < *спасибо* (ср. морд. Э *пасиба* «спасибо»); *пе́велы* «головня» (Яр — Мол) ЯОСК < *плевелы*; *ричать* «кричать» (Яр. губ. — Пош) ЯОСК < *кричать*; *рык* «крик, громкий зов» (Яр — Ерм) КЯОС 178 < струс. *крык* вместо совр. *крик*; *не рой его* «не тронь его» (Костр. губ. — Кин) МКНО < *не (т)рој его* < *не тронь его*, где переход ј < нь объясняется, очевидно, особой палатальной (среднеязычной) вместо обычной для рус. -нь палатализованной артикуляцией, что дало ему возможность перейти в ј(й); *чёра́сетко* «вчера» (Костр — Нер) КОСК < *вчёрасетко*, уменьш. от *вчера*; *ши* «щи» (Костр — Нер) КОСК < *ши*, фон. *шчи*; *пыск* «легкий налет на углях, золе» (Яр. губ.) КЯОС 170 < *прыск* «жар угольный» Даль III 530, ср. также укр. *присок* «горячая зола с огнем».

Примеры другого способа устранения скопления согласных в начале слова можно обнаружить в следующих случаях: *бат* «братец» (Костр. губ. — Нер) МКНО; *брат* (Яр. губ.) ЯОС I 77, (Костр — Антр; Яр — Борисогл, Гавр.-Ям) КЯОС 29[5]; *берслет* «браслет» (Яр. губ.) КЯОС 31 (рус. (диал.) *бреслет* — путем его метатезы, ср. рус. (диал.) *браслетка* «браслет» (Яр) КЯОС 35); *гарусть* «грусть» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50 < *грусть* с рядом производных типа *гарустить* «наводить уныние, досаждать» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50, *гаруститься* «печалиться, унывать, скучать» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50, *гарусткий* «грустный, скучный» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50 и с другим вставным звуком (-о-) *горусткий* «грустный, скучный» (Яр. губ. — Рост); *терёзвый* «трезвый» (Яр — Гавр.-Ям, Рыб, Пош) ЯОСК (< *трезвый*).

По-видимому, мерянскому языку были чужды также скопления согласных как в конце слова, так и, по крайней мере некоторых, в середине его. Об этом говорят такие примеры: (в конце слова) *весь*, «весть» (Яр. губ.) КЯОС 41 < *весть*; *стол* «кол» (Костр. губ. — Мак) МКНО < *столб*, фон. *столп*[6]; (в середине слова) *взатре* «завтра» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 42 < (диал.) *взавтре*; *запанья* «подъемная дверь в подполье» (Яр — Мышк) < *западня*; *затре* «завтра» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 76 < (диал.) *завтре*; *запраский* «настоящий» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 74 < *заправский*; *кошик* «ковшик» (Яр. губ.) КЯОС 95 < *ковшик*; *русол* «рассол» (Костр. губ. — Кин) МКНО < (диал.) *россол*, фон. *руссол* как результат перехода -о- в -у- в предударной позиции; *госыподь* «господь» (Яр — Пош, Тут — употребляется изредка в речи стариков) ЯОСК < *господь*. Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что мерянский язык не терпел в конце слова сочетания двух согласных с конечным взрывным. Подобные сочетания упрощались путем отбрасывания конечного взрывного или устранением предшествующего согласного (даже сонорного). В середине слова в мерянском языке устранялись сочетания двух одинаковых согласных (ср. *русол* вместо *рассол*). Это может говорить о том, что в отличие от прибалтийско-финских языков здесь отсутствовали долгие глухие согласные. Избегались также скопления трех

[5] Очевидно, слово возникло или путем вставки гласного с позднейшей редукцией и выпадением гласного конечного слога ((д)рус. *брат(ъ)* > **барат* > **барѣт* > **барт*, ср. венг. barát «друг, приятель; монах; любитель»), или путем метатезы, о чем говорит существование зват. *ба́рте* (*Послушай, барте* «Послушай, брат») (Костр. губ. — Ветл) МКНО; можно думать поэтому, что исчезновению -р- в позиции перед -т в абсолютном конце слова могла предшествовать стадия его перехода в глухое [Р] с его дальнейшей полной ассимиляцией следующему за ним -т, то есть переходом -Р(т) > -т(т), и исчезновением, вызванным тем, что в мерянском языке отсутствовали долгие глухие согласные (как и конечные геминаты). Производным от данного слова является, видимо, глагол *батовать* «(ирон.) домовничать, быть временно хозяином» (Яр — Пош) ЯОС I 78, «выступать в роли (старшего) брата» (?).

[6] Наиболее вероятно представить себе упрощение звукосочетания -лб, фон. -лп как следствие перехода звонкого -л в глухое с дальнейшей его ассимиляцией со стороны -п, что должно было бы дать -пп > п, то есть п долгое. Поскольку такого звука в мерянском, видимо, не имелось, в результате должно было появиться краткое конечное -п. Подобные процессы в случае конечной группы «сонант + глухой взрывной» характерны из финно-угорских языков, в частности, для мокша-мордовского (ср. морд М: *ломатть* (< **ломаН(ь)ть*, *ломан(ь)ть*) «люди» при *ломань* «человек»).

согласных (возможно, с известными ограничениями), ср. *взатре*, *затре*. Судя по тому, что в данном случае сочетание взрывного с сонантом -р- в середине слова сохраняется, тогда как сочетания двух других согласных устраняются вставкой гласного между ними или отбрасыванием одного из них (*запанья*, *кошик*, *госыподь*), можно думать, что сочетания двух зубных (-дн- — *западня*), двух спирантов (-фш-, орф. вш-) или спиранта с последующим взрывным (-сп-) в мерянском языке не употреблялись.

Из других особенностей фонетики мерянского языка, о которых можно судить по части русских слов славянского происхождения, обращает на себя внимание в области вокализма отсутствие звука -ы-. Об этом говорят такие примеры, как *зибель* «грязное, топкое, трудно проходимое место» (Яр — Некоуз) ЯОСК, ср. (лит.) *зыбь*, *зыбкий*; *бриткий* при (лит.) прыткий (Яр — Пош) КЯОС 35; *ручаг* «рычаг; дубинка, палка» (Яр — Пош) КЯОС, где в первых двух случаях налицо замена звука -ы- звуком -и-, а в третьем — того же -ы- звуком -у- (ср. такую же передачу первоначального -ы- в эрзя-мордовском языке: морд. Э *куслят* «кисель» — друс. *кысель* «то же»).

Несмотря на единичность, подобные факты не могут быть упущены и не учтены, поскольку сам объект исследования, исчезнувший язык, не может дать многочисленных показаний и приходится довольствоваться относительно скудными, фрагментарными данными. Нередко подобные данные являются лишь своеобразными сигналами, симптомами, позволяющими высказывать только те или иные более или менее обоснованные предположения. Однако в общей сумме собранных материалов, рассматриваемых в системе, даже эти единичные детали могут сыграть положительную роль в деле воссоздания, реконструкции фонетической системы языка, способствуя ее полноте. В особенности полезными они могут оказаться в том случае, если в ходе дальнейшего исследования удастся обнаружить дополнительные (подобные) сведения, подтверждающие закономерность, первоначально выведенную лишь из отдельных примеров. Именно поэтому, несмотря на их известную проблематичность, исследователь не имеет права умалчивать даже о единичных характерных фактах, могущих представлять интерес для воссоздания мерянского языка, в том числе его фонетики.

К числу подобных интересных, хотя и единичных (возможно, ранее более распространенных), явлений, обнаруживаемых в словах славянского происхождения ярославских и костромских говоров, относятся такие примеры, как *бёзли* «возле» (Костр. губ. — Юрьев); *рюсская* (Яр. губ.) КЯОС 178 при (диал. сев.) *русской* «русский»; *рюхнуть* «провалиться, рухнуть» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 178.

Наличие -ё- (-'о) вместо -о- и -ю- (-'у-) вместо -у-, то есть -о- и -у- со смягчением предшествующего согласного вместо тех же звуков с твердостью предшествующих согласных, характерных для русского литературного языка и подавляющего большинства русских говоров, скорее всего свидетельствует о том, что в данном случае на русский (славянский) язык повлиял финно-угорский (в данном случае мерянский) (другой язык в данном случае предположить трудно), в котором в ряде случаев вместо славяно-русских о (лат. o) и у (лат. u) выступали переднерядные, лабиализованные звуки ӧ и ӱ (ф. орф. *ӱ*), характерные из финно-угорских языков для прибалтийско-финских (в том числе эстонского, финского, карельского и вепсского, территориально смежного в прошлом с мерянским), марийского (также в прошлом территориально смежного с мерянским) и венгерского языков. Ср. в связи с упомянутым ф. ryssä (народное, также пренебрежительное) «русский; русский язык; вприсядку (букв. — по-русски) — о танце», а также ryssänjänis «русак (заяц)», где также вместо рус. -у- (лат. u) выступает ф. -ӱ-, то есть -ӱ-.

Ввиду нехарактерности в целом для славянских языков, в том числе восточнославянских, лабиализованных гласных переднего ряда ӧ и ӱ можно полагать, что в данном случае они проникли из мерянского языка, в котором, по крайней мере частично, видимо, употреблялись. Впоследствии мерянские ӧ и ӱ могли быть заменены близкими им русскими звукосочетаниями -'о- (-о- со смягчением предшествую-

щего согласного, орф. -ё-) и -′у- (-у- со смягчением предшествующего согласного, орф. -ю-), ср. подобную замену при передаче тех же звуков в словах французского происхождения: фр. chauffeur, buvard, – рус. шофёр, бювар. В русскоязычной постмерянской среде, где в данных или связанных с ними словах произошла предполагаемая замена гласных заднего ряда -о-, -у- (лат. u) их переднерядными соответствиями -ö-, -ü-, она была вызвана, очевидно, тем, что эти заднерядные гласные должны были выступать перед слогами с гласными переднего ряда (*βoZl′i, фон. *возл′и* «возле», *ruskäjä «русская», rušit′ «рушить»), что вызвало выравнивание вокализма по этим гласным *βöZl′i > рус. (диал.) *бёзли*, *rüskäjä > рус. (диал.) *рюсская*, rüšit′ > рус. (диал.) **рюшить* «рушить», откуда по аналогии (диал.) *рюхнуть*). Подобная перестройка гласных, отраженная в данных словах, свидетельствует о том, что, по крайней мере, части мерянских говоров был свойствен своеобразный сингармонизм.

Более заметными, как и в уже рассмотренных случаях, являются в русских постмерянских говорах отклонения в области консонантизма, позволяющие судить об особенностях мерянской фонетики. Здесь обращает на себя внимание своеобразный факт весьма частой замены звука х звуком к, ср.: *бу́кало* «(уст.) филин» (Яр. губ.) ЯОСК – рус. (диал.) *бу́хало* «то же» Даль I 146; *вараклó* (Яр. губ.) КЯОС 39 – рус. (лит.) *барахло́*; *вийкóтка* «метелка» (Ярославль) ЯОСК – рус. (диал.) *вехотка*, на которое, возможно, повлияло рус. (диал. сев.) *виять* «веять», «пучок сена, соломы; стелька в лапоть; щипанная мочалка для мытья посуды; тряпка, ветошь» Даль I 336; *жмы́ки́* (Яр. губ.) КЯОС 66 – рус. (лит.) *жмыхи́*; *прижукнуться* «притихнуть» (Ярославль) ЯОСК, по-видимому, связанное с *жу́хнуть* «тускнуть, померкать, терять вид, лоск» (Даль I 548) и, следовательно, предполагающее исходное *прижухнуть* (в отношении семантики ср. такой же переход в рус. (лит.) *стушеваться* «незаметно исчезнуть, удалиться совсем откуда-нибудь; оробеть, смутиться» от первоначального «слиться с фоном при слишком сильном тушевании фигур на чертеже, картине (карандашом)»); *ка́мочка* «хорошо одетая деревенская девочка» (Яр. губ. – Угл) КЯОС 84, очевидно, связано с *хам* «(бранное) прозвище лакеев, холопов или слуг; крепостной» Даль IV 542; *коровóд* «хоровод» (Яр. губ. – Пош) КЯОС 93, *коровóдиться* «хороводиться» (Яр. губ. – Пош) КЯОС 93; большое количество слов, связанных с глаголом *хоронить(ся)*: *корони́ть* «прятать» (Костр – Судисл; Яр – Мышк) ЯОСК, *корони́ть* «хоронить» (Яр. губ.) КЯОС 93, *корони́ться* «прятаться (букв. – хорониться)» (Яр – Борисогл, Брейт, Рост, Мышк, Ярославль; Ив – Ильин) ЯОСК, *скороня́ть* «схоронить, спрятать» (Яр. губ.) КЯОС 186, *скорониться* «спрятаться» (Яр. губ. – Рост) КЯОС 186, (Костр – Костр) КОСК, *ускоронить* «спрятать» (Костр – Нер) КОСК, *вскоронёшки* «игра в прятки» (Яр – Брейт) ЯОСК, *короня́чки* «прятки (игра)» (Яр – Пересл, Некоуз, Угл) ЯОСК, *коро́нки* «прятки (детская игра)» (Яр – Большес), *коронýхи* (Яр – Некр, Гавр.-Ям) ЯОСК, *коронýшки* (Яр – Мышк, Борисогл, Брейт, Рост, Некоуз, Некр; Ив – Аньк, Ильин; Костр – Костр, Нер), *коронёчки* (Яр – Пересл) ЯОСК, *коронёшки* «то же» (Яр – Брейт) ЯОСК, *короня́* «пряча» (дееприч.) (Яр – Брейт); «прятки» («Давайте в короня́ играть» – Яр) ЯОСК, *короняки* «прятки» (Ив – Ильин.-Хов) ЯОСК, *короня́чки* (Яр – Яр; Костр – Костр, Нер) ЯОСК, *короня́шки* «то же» (Яр – Гавр.-Ям) ЯОСК, *укоро́нку* «тайком» (Костр) КОСК; *зао́кать* «застонать» (Яр – Пречист) – рус. (лит.) *заохать*; *затклецы́* «задохнувшиеся в яйцах цыплята» (Костр – Гал) – рус. (лит.) *затхлый*, (диал.) *затхнуться* «задохнуться от недостатка воздуха» СРНГ XI 115; *прохлаждаться* «не торопиться (букв. – прохлаждаться)» (Костр. губ. – Гал) МКНО; *клев* (Костр – Антр, Буй, Гал, Ней, Судисл, Сусан; Яр – Брейт, Дан, Мышк, Некоуз, Некр, Пош) ЯОСК, (Костр – Костр) КОСК – рус. (лит.) *хлев*; *кужу́к* < **кожук* (с переходом предударного -о- в -у-) «верхний выступ в передней части русской печи; нижняя часть русской печи» (Яр – Брейт, Пош) ЯОСК – рус. (диал.) *кожу́х* «округлая покрышка, свод; навес над чувалом, очагом; нижний раструб дымовой трубы над русской печью; свод банной печи, каменки» Даль II 130; *закомякивать* «есть с жадностью» («Хватит тебе закомякивать, щеки лопнут» – Яр – Рыб) ЯОСК, – по-видимому, от (диал.) *комяк*

«хомяк (грызун с большими защечными мешками, куда он набивает пищу)», первоначальное значение слова – «есть жадно, как хомяк»; *кро́пкой* < **кру́пкой* < *хрупкий* (Яр. губ.) КЯОС 97 – рус. (лит.) *хрупкий*; *кулига́н*, *кулига́нить* (Яр. губ. – Пош) КЯОС 99 – рус. (лит.) *хулига́н*, *хулига́нить*. Иногда, видимо вторично, первоначальное к, употребленное вместо русского литературного и свойственного большинству русских диалектов х, переходило в начале слова перед гласным в г. Таким образом появлялись слова типа *голстинка* «головной платок» (Яр. губ.) КЯОС 53 или – явно позднейшее – *гулиган* «хулиган» (Яр. губ. – Пош) КЯОС 56, где с первым вполне сравнимы рус. (лит.) *холст*, рус. (диал.) *холстинка* «бумажная полосатая и клетчатая ткань, цветной миткаль» Даль IV 560. Круг слов, где русскому литературному и обычному диалектному х в ярославских, костромских и ивановских говорах соответствует к, мог быть шире, о чем свидетельствуют слова, существующие в настоящее время в упомянутых говорах. К ним в числе прочих могло относиться такое важное слово, как *колст* (*холст*). Видимо, в противовес фонетической (более ранней) тенденции замены обще(велико)русского звука х звуком к в тех же говорах возникло гиперическое явление замены обще(велико)-русского к звуком х, ср.: *балхон* «чердак» (Яр – Некоуз) ЯОС I 57 – рус. (лит.) *балкон* (с другим значением, однако несомненно связанное с данным словом); *хлеть* (Костр. губ. – Варн) МКНО – рус. (лит., диал.) *клеть*; *холпак* «крыша» (Костр. губ. – Солигал) МКНО – рус. (лит.) *колпак* «головной убор конусообразной или овальной формы; покрышка такой формы к разным предметам».

Замену звука х в словах славянского (и вообще немерянского) происхождения звуком к в русских говорах с бывшей мерянской территории есть все основания рассматривать также как одно из явлений, возникших вследствие воздействия мерянской фонетической системы на славяно-русскую. Очевидно, в мерянском языке подобно большинству других финно-угорских языков, в том числе смежных с ним территориально, отсутствовал звук, аналогичный русскому (и славянскому вообще) х. Надо сказать, что к настоящему времени этот звук проник в фонетическую систему марийского и мордовских (эрзя и мокша) языков, расположенных в прошлом по соседству с мерянской языковой территорией. Однако произошло это, по всей видимости, сравнительно поздно и только под влиянием других языков: для мордовских – русского; для марийского – русского, а также чувашского и татарского. Первоначально звука х не было ни в марийском, ни в мордовском языке, он, как и в ярославских, костромских и ивановских русских говорах, передается в наиболее древних славяно-русских заимствованиях звуком к, ср.: мар. *роско́т* (МарРС 507) – рус. *расход*; мар. *сукара́* (МарРС 547) – рус. *сухари*; мар. В *мо́ко* (МарРС 328) – рус. *мох*; мар. *плока́* (МарРС 433) – рус. *плохой*; мар. *лака́н* (МарРС 280) – рус. *лохань*; мар. *окота́* (МарРС 376) – рус. *охота*; мар. *са́кыр* (МарРС 517) – рус. *сахар*; мар. *мана́к* (МарРС 314) – рус. *монах*; мар. Г *коромина* «хоромина, пустое жилище, без имущества и людей» (МарРС 224) – рус. *хоромина*, *хоромы*[7], морд. Э *коцт* < **хотст* < *холст(ъ)* (ЭрзРС III) – рус. *холст*; морд. Э *крён* (ЭрзРС 112) – рус. *хрен*; морд. Э *козяйка* «жена» (РЭрзС 98) – рус. *хозяйка*; морд. Э *сока* (ЭрзРС 198) – рус. *соха*; морд. Э *колка* «пук, пучок, клок, клочок (волос, шерсти, травы); холка (у лошади)» (ЭрзРС 105) – рус. *холка*; морд. М *крамой* (РМокшС 627) – рус. *хромой*; морд. М *крень* (РМокшС 627) – рус. *хрен*; морд. М *со́ка* (МокшРС 253) – рус. *соха́*.

Приведенные выше русские (постмерянские) диалектные слова с заменой звука х звуком к в целом отражают ту же особенность консонантизма, которая характерна для марийского и мордовских языков. И там и здесь к служит для передачи славяно-русского х независимо от его положения в слове – в начале, середине или конце.

[7] Судя по примерам, приводимым Л.П.Грузовым, раньше количество слов подобного типа в марийском языке было больше, теперь же под влиянием русского языка оно постепенно уменьшается: «В старых изустных заимствованиях ф передавался п или в, а х – согласным к или иногда г, например ... *крен* «хрен», *кром* «хром»... *лемек* «лемех»... *Сакар* «Захар» ... и др. Подобная ситуация в современных заимствованиях наблюдается в основном лишь в речи старшего поколения» [25, с. 214].

Важной особенностью консонантизма тех же русских народных говоров является и то, что в них неоднократно встречаются случаи, когда общерусскому (литературному и диалектному) звуку б соответствует в или, наоборот, где в русском литературном языке и большинстве говоров выступает в, появляется звук б. Примерами замены первого рода (в вместо б) служат следующие слова: *ваш-ваш* < **баш-баш* < **бяш-бяш* «подзывные слова для овец» (Яр — Толбух) ЯОСК — рус. (лит., диал.) *бяш-бяш* «призывная кличка овец» Даль I 159; *варакло* «тряпье, старье» (Яр. губ.) ЯОСК — рус. (лит., диал.) *барахло*; *вердо́* (*вёрдо*) «часть ткацкого станка» (Яр — Первом, Толбух) ЯОСК — рус. (лит.) *бе́рдо* «принадлежность ткацкого стана, род гребня, для прибоя утока, для чего каждая нить основы продета в набор или зубья берда, вложенного в набилки» Даль I 81; *вес* (Костр. губ. — Мант) МКНО — рус. (лит.) *бес*; *вудень* («Не надевай в вудень хорошее платье») (Яр — Рост. Рыб) ЯОСК — рус. (лит.) *будень*; *извисоваться* «расшалиться» (Ив — Ильин.-Хов) ЯОСК — рус. (диал.) *избесить* (*избесновать*) «приучить беситься, бесноваться, выходить из себя», *избесноваться* «привыкнуть к необузданной резвости или к вспыльчивости, злости» Даль II 12-13; *коловушки* «вид печенья круглой формы, приготовленного из пресного теста» (Костр — Остр) КОСК — рус. (диал.) *колобушки* «небольшие пирожки» (Костр — Солигал) КОСК, *колобушка* «скатанный ком, шар, груда, валенец, катанец; небольшой круглый хлебец; кокурка, толстая лепешка, клецка из пресного теста, иногда на молоке; пряженец кислого теста, круглый пирог с толокном» Даль II 138; *баловёс* «шалун» (Яр. губ.) КЯОС 28 — рус. (лит.) *балбёс*; *ба́ка* < **бавка* < *бабка*, «стрекоза» (Яр. губ. — Угл) КЯОС 27 — рус. (диал.) *бабка* «бабочка», ср. также укр. *бабка* «стрекоза».

Противоположное явление (замена звука в звуком б) встречается в следующих словах: *балу́й* «съедобный гриб» (Яр — Мышк, Пош, Тут, Яр) ЯОС I 57 — рус. (диал.) *валу́й* «гриб Agaricus emeticus? foetens? integer? близкий сыроежке» Даль I 162; *уболить* «позволить» («Она лишнего себе ничего не уболит (— не позволит)») (Костр — Солигал) ЯОСК — рус. (лит.) *уволить* «освободить»; *бёзли* (Костр. губ. — Юрьев) МКНО — рус. (лит.) *возле*; *бетвина* «ветвина, ветка» (Костр. губ. — Кин) МКНО — рус. (диал.) *ветвина* «вица, вязок, напр. для связки двух кольев изгороди» Даль I 334; *побреди́ть* (Костр. губ. — Костр) МКНО — рус. (лит.) *повредить*; *кабардак* (Яр — Борисогл) — рус. (лит.) *кавардак*; *бя́кнуть* «сказать что-нибудь необдуманно, невпопад» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 38 — рус. (диал.) *вя́кать* (*вя́кнуть*) «врать, пустословить, болтать вздор» Даль I 338; *болту́зиться* «возиться» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 34 — рус. (диал.) *волту́зиться* «возиться, бороться; канителиться; драться (иногда в шутку)» СРНГ V 76.

Поскольку в других говорах русского языка и славянских языках вообще подобное смешение б и в не наблюдается, его можно объяснить только особенностью финно-угорского мерянского языка, который стал языковым субстратом местных русских говоров, образовавшихся в большей или меньшей степени в результате усвоения мерянским населением славяно-русского языка и смешения мери с восточными славянами, поселившимися на этих землях. Черта смешения б и в, вызванная тем, что вместо данных звуков там выступает звук β, занимающий между ними как бы промежуточное положение, свойственна из финно-угорских языков, в частности, марийскому, где при усвоении русского языка марийцами также наблюдается подобное смешение [68, с. 35]. Очевидно, и в мерянском языке двум славяно-русским фонемам — б и в — противостояла одна фонема β, вследствие чего слова русского языка, в которых выступал один из этих звуков, передавались неточно: в ряде случаев вместо б в них произносилось в, а вместо в — б. Первоначально, очевидно, местное мерянское население, усваивая славяно-русские фонемы б и в, подставляло всюду вместо них свою фонему β. Затем в связи с необходимостью различать оба славяно-русских звука, каждый из которых имел фонематическую значимость, местным финно-угорским населением была, по-видимому, усвоена одна из славяно-русских фонем, скорее всего б, как на это указывает пример марийского

языка [25, с. 213]. Мерянская же фонема β могла выполнять роль звука, передающего славяно-русское в. Однако в связи с тем, что фонетическая близость мерянского β к славяно-русскому б, как и марийского β к русскому б (ср. рус. *буфет* – мар. *вуфет*, рус. *боевой* – мар. *воевой*, рус. *бинт* – мар. *винт* и т.п.), давала также возможность передачи славяно-русского б с помощью мерянского β, сближаемого с русским в, это служило поводом для смешения со стороны мерянского населения в усваиваемых им славяно-русских словах фонем б и в. Вместе с тем в словах мерянского происхождения (в частности, топонимах) при распространении славяно-русского языка и полном вытеснении им мерянского в силу того, что мерянскому β в славяно-русской речи не мог соответствовать с точностью ни один звук, субституироваться он мог наиболее близкими звуками – б и в, так что единый, в сущности, звукотип передавался двумя славяно-русскими фонемами.

Наряду со случаями замены звука в звуком б в русских диалектных словах славянского происхождения на бывших мерянских территориях встречается замена в звуком м. Переход этот отмечается, в частности, в непосредственной позиции перед н, ср.: *мнук* «внук» (Костр Мант) КОСК, (Яр – Брейт, Пересл, Рост, Тут, Ареф, Борисогл, Гавр.-Ям, Дан, Мышк, Некоуз, Первом, Угл, Яр, Рост; Костр – Костр) ЯОСК, *мнука* «внучка» (Костр – Игод) ЯОСК, *мнуке* (зват. ед.ч. от *мнук*: «На, мнуке, пряник») (Яр – Рыб) ЯОСК, *мнучата* (мн.ч.) «внуки» (Яр – Рост, Пересл) ЯОСК, *мнучек* (уменьш.-ласк. от *мнук*) (Яр – Тут, Борисогл, Брейт; Костр – Буй, Чухл) ЯОСК, *мнучка* «внучка» (Яр – Яр, Большес, Борисогл, Брейт, Бурм, Влад, Гавр.-Ям, Дан, Мол, Мышк, Нагор, Некоуз, Некр, Первом, Петр, Пош, Пречист, Рост, Рыб, Рязанц, Серед, Толбух, Тут, Угл; Костр – Антр, Буй, Игод, Костр, Красное, Ней, Солигал, Сусан) ЯОСК, *мнучок* «внучек» (Яр – Некр, Некоуз, Рыб) ЯОСК.

Кроме случаев, когда м выступает непосредственно перед н, подобная замена встречается в позиции непосредственно перед т, ч, ц (перед т иногда даже в том случае, когда в отделено от него гласным е), а также изредка перед р (будучи отделенным от него гласным е). Общим для всех этих случаев является то, что м появляется в том случае, когда после в в непосредственной близости от него или будучи отделенным гласным е выступает зубной звук. Примеры указанного явления встречаются в следующих словах: *мтаха* «птица (букв. – птаха)» Костр. губ. – Кин, Нер) КОСК [ООВС 117], (Костр – Нер) ЯОСК; *мташка* (Костр. губ. – Кин, Нер) МКНО, (Яр – Брейт, Дан, Некр) ЯОСК; *мтица* (Костр. губ. – Кин, Нер) КОСК [ООВС 117], (Яр – Гавр.-Ям, Люб, Брейт, Некр; Костр – Костр) ЯОСК; *мтичка* (Яр – Брейт, Гавр.-Ям, Некоуз, Ярославль; Костр – Чухл, Нер) ЯОСК, *мтишечка* (Яр – Бурм, Гавр.-Ям, Тут; Костр – Костр); *мчела* «пчела» (Костр. губ. – Юрьев) МКНО, (Яр – Рыб) ЯОСК; *мцела* (Костр. губ.) МКНО; *мчёлка* (Костр – Солигал) ЯОСК; *мчельник* (Костр – Костр) ЯОСК, *мчёльник* (*мчольник*) (Костр – Костр) МКНО; *метвина* «ветвина, гибкая ветка» (Костр. губ. – Костр) МКНО; *мерлога* «берлога» (Яр – Пош) ЯОСК.

Значительно реже, видимо, как результат гиперистического отталкивания от диалектного м, которому в литературном языке соответствует в, обнаруживаются в тех же говорах случаи, когда, напротив, вместо м, которое непосредственно (или опосредственно, отделенное гласным е) предшествует н, появляется звук в. Еще реже подобная замена происходит перед р, отделенным от м гласным е, ср.: *вного* «много» (Костр. губ. – Чухл, Ветл) МКНО; *угувенник* «место позади дома, заросшее травой» (Костр – Красное) ЯОСК – рус. (диал.) *огуменник* «место около гумен и овинов» Даль II 649; *береститься* «казаться» (Костр. губ. – Костр) МКНО – рус. (диал.) *мереститься* «казаться (букв. – мерещиться)» (Костр. губ. – Костр) МКНО. Интересно отметить, что марийскому языку также свойственна замена в, фон. β звуком м (реже м – звуком в). Основной причиной перехода в(β) > м в марийском языке является ассимиляция – влияние на в(β) последующего н, – что наблюдается и в случае перехода *внук* > *мнук*. Более сложны для истолкования случаи, где вместо н выступают другие звуки.

В области консонантизма русских говоров областей Центральной России, населенных в прошлом мерей, обращают на себя

внимание также специфические явления, которые при всем их своеобразии и многообразии с наибольшей вероятностью можно объяснить связью с различными проявлениями палатальности (среднеязычности) соответствующих согласных. Это случаи взаимоперехода таких пар согласных, как к/т (т/к), г/д (д/г), и перехода этих звуков (например, д и г), а также л в -й- (j). Указанные явления сочетаются с приобретением во многих случаях данными звуками максимальной степени палатальности, особенно заметной тогда, когда она касается звука исходно заднеязычного, выступающего к тому же перед гласными заднего ряда. В противовес случаям перехода л′ > j изредка встречается явление, когда j заменяется л′. Ср. примеры переходов г/д, к/т и приобретения палатальности звуком к: *андел* (Яр. губ. – Рост) КЯОС 26 – рус. (лит.) *ангел*; *верéньтя* «корзина» (Яр. губ. – Рост) КЯОС 40 – рус. (диал.) *верéнька* «плетеная корзина» СРНГ IV 130; *дейша* «женское пальто любого покроя» (Яр. губ. – Пош) КЯОС 58 – рус. (диал.) *гейша* «женское пальто, полупальто» СРНГ IV 165-166; *апекит* (Яр. губ. – Рост) КЯОС 26 – рус. (лит.) *аппетит*; *девта* (Яр. губ.) КЯОС 56 (видимо, по аналогии с *девти* > *девки*) – рус. (лит.) *девка*; *зобéньтя* «корзинка с крышкой из луба или дранок» (Яр. губ. – Рост) КЯОС 79 – рус. (диал.) *зобéнька* «то же» СРНГ XI 323; *кесьма* (Яр. губ. – Рост) КНОС 86 – рус. (лит.) *тесьма*; *Кит* (Яр. губ. – Рост) КЯОС 86 – рус. (лит.) *Тит* (имя); *гля* (Яр. губ. – Рост, Пош) КЯОС 51 – рус. (лит.) *для*; *дóмскёй* «свой, собственный; домовой, свой, собственный» (Яр. губ. – Мол) КЯОС 60 – рус. (диал.) *домскóй* «свой собственный, домашний» СРНГ VIII 123; *Евдений* (Яр. губ.) КЯОС 63, *Евденья* (Яр. губ.) КЯОС 63 – рус. (лит.) *Евгений*, *Евгения* (имена); *мамонтя* (Яр. губ.) КЯОС 108 – рус. (лит.) *маменька* (букв. *мамонька*).

Взаимное смешение к и т, г и д происходит в том случае, когда заднеязычные к и г и переднеязычные т и д становятся среднеязычными, вследствие чего их артикуляции сближаются, способствуя смешению этих звуков. Именно этим объясняется то, что их графическое обозначение, отражающее в основном происхождение, а также акустическое восприятие, отражающее их слуховое впечатление (и в значительной степени артикуляцию), как правило, не совпадают: причем в целом ряде случаев в графике используются буквы для обозначения звуков к, г (k, g), к которым добавляются знаки, указывающие на их среднеязычную артикуляцию, при объяснении же артикуляции исходят из их переднеязычных соответствий т, д, указывая на их чрезвычайную мягкость или – при более точном (научном) объяснении – на среднеязычный характер артикуляции. Так, среднеязычные взрывные звуки славянского македонского языка г и к (*веґа* «бровь», *врéка* «мешок») объясняются подобным образом: «Македонские ґ и ќ (*веґа*, *врéка*) мягче сильно смягченных русских д′ и т′ (*дьяк*, *кутья*)...» [36, с. 550]. Среднеязычные взрывные звуки латышского языка также обозначаются латинскими буквами, служащими для передачи на письме заднеязычных звуков, с добавлением знака, указывающего на среднеязычное произношение соответствующего звука. Произношение соответствующих звуков, обозначаемых в латышском языке буквами ģ и ķ, объясняется следующим образом: «Согласный ģ произносится примерно так же, как в русском языке д перед и, е, например: ģimene (семья), kuģis (корабль). Согласный ķ произносится почти так же, как в русском языке т перед и, е, например: zaķis (заяц), kaķis (кошка)» [13, с. 14]. Менее последовательна в этом отношении орфография венгерского языка, где среднеязычное (палатальное) ɟ обозначается сочетанием букв gy, а среднеязычное палатальное c′ – сочетанием букв ty, то есть в первом случае, как и в македонском или латышском языке, используется буква, служащая обозначением заднеязычного звука, а во втором – буква, обозначающая глухой взрывной переднеязычный звук.

По всей видимости, в приведенных примерах русских диалектных слов речь идет также о среднеязычных палатальных звуках, связанных, с одной стороны, с переходом палатализованных г′ и к′ в палатальные д′ и т′ (*андел* < *ангел*, *веренья* < *веренька* / *веренька*), а с другой – как результат гиперкоррекции, с заменой эти-

мологических д и т вторичными г и к (*гля* < *для*, *апекит* < *аппетит* и т.п.). Случаи проявления замены к звуком т, не связанные с палатальностью, по-видимому, следует объяснять действием аналогии, вызвавшим перенесение этого звука даже на те падежные формы, где он фонетически не оправдан, в связи с появлением т (именно т′) палатального в части падежных форм и обобщения его на всю парадигму (ср. *девта* вместо *девка* в связи с формой им.п. мн.ч. *девти* < *девки*). Возможно и другое объяснение случаев, подобных приведенному, — «исправление» по образцу других форм. Форма *девта* могла возникнуть из первоначального *девтя* < *девкя*, будучи «исправленной» в сторону замены палатального звука твердым по образцу *девкя* > *девка*.

Очевидно, как следствие развития палатальности, достигшей еще большей степени, надо рассматривать те случаи, где вместо г′ либо д′ русского литературного языка, то есть соответствующих палатализованных звуков, выступает j или — с его выпадением — нуль звука: *еги́ль* < **дегиль* < *дягиль*; (Яр — Угл) КЯОС 63 — рус. (лит.) *дягиль*; *ерой* (Яр. губ.) КЯОС 64 — рус. (лит.) *герой*; *еипецкий* (Яр. губ.) КЯОС 64 — рус. (лит.) *египетский*. По-видимому, следствием того же процесса развития сильной палатальности (уже в позиции перед гласными не переднего, а заднего ряда) надо объяснять появление такой формы, как *замия́ть* «замигать» (Яр. губ. — Мол) ЯОСК, где фонетическое развитие следует представить следующим образом: *замигать* > **замиѓать* > *замиять*.

Если вышеуказанные процессы рассматривать как следствие влияния субстратного мерянского языка на наслоившиеся на него русские говоры, — а для этого есть все основания, — то можно считать, что они являются сигналами существования в мерянском языке палатального взрывного согласного t′(D′) с двумя позиционными вариантами. Однако этим согласным состав палатальных звуков в мерянском языке не исчерпывался. Видимо, здесь существовало и палатальное l′, которое в ряде случаев могло переходить в j. На возможность существования подобного звука указывает такой пример, как *ная́гомо* < **наля́гомо* «перед сном» (то есть перед тем как лечь спать) (Яр. губ. — Мол) ЯОСК 121, где явно виден случай перехода л в j. Поскольку подобный переход в палатальный j мог произойти только с палатальным л′, по всей видимости, здесь речь идет именно о нем. О том, что случаи подобных переходов в русских говорах на бывшей мерянской территории были нередки, в связи с чем звукосочетание -ja-, орф. -я- могло часто восприниматься как возникшее из первоначального этимологического и литературного -ля-, свидетельствует случай несомненной гиперкорректной диалектной формы *оделяло* «одеяло» (Яр. губ.) КЯОС 130, которая возникла именно в силу отталкивания от возможного неправильного, нелитературного -я- как следствия его возникновения из первоначального -ля-.

Таким образом, есть основание полагать, что в мерянском языке могли существовать наряду с твердыми палатальные согласные. К ним должны были относиться палатальные t′ и l′. У t′ палатального, по-видимому, мог быть полузвонкий, позиционно обусловленный вариант D′. Поскольку для твердых мерянских сонантов r и l можно предположить существование глухих вариантов R, L (ср. формы типа *бат* (при *барте*) «брат» и *стоп* < *stoLp), возможно, палатальный звук (фонема) l′ также мог иметь свой глухой, позиционно обусловленный вариант L′.

Наличие диалектного (Ярославского) *ебро* (*ёбро*) (Яр. губ. — Мол, Рост) КЯОС 63 вместо характерного для русского литературного языка и большинства русских народных говоров *ребро* (*рёбро*) в связи с тем, что замена согласного звуком j характерна именно для среднеязычных (палатальных) согласных, говорит о том, что, поскольку данного явления нет в русском и других славянских языках, мерянский язык, видимо, мог иметь наряду с палатальными t′ и l′ также палатальное r′ и эту черту передал сменившим его русским народным говорам, где палатальное p′ могло быть в дальнейшем заменено палатальным j. Кроме того, в мерянском, очевидно, существовало также палатальное n′, о чем косвенно свидетельствует уже приводившийся пример: рус. (диал.) *не рой его* < * *не (т)ронь его* «не тронь его» (Костр. губ. — Кин) МКНО, где

переход -нь в j (й) указывает на несомненный палатальный характер n'[8].

К особенностям консонантизма мерянского языка, возможно диалектным, усвоенным от него русскими говорами-преемниками, относятся, видимо, и своеобразные черты ротацизма, заключающиеся в появлении р перед -з- или вместо первоначального д, ср.: *курзово́к* «плетенная из прутьев корзина круглой формы с широкой ручкой» (Яр – Первом) ЯОСК – рус. (лит., диал.) *кузово́к* «короб из лыка или бересты»; *сварьба* (Костр. губ. – Ветл, Нер) МКНО – рус. (лит.) *свадьба; усарьба* (Яр, Костр) ЯОСК – рус. (лит.) *усадьба*. Нечто подобное наблюдается в части марийских говоров, а именно в северо-западных и горных, территориально особенно близких к мерянскому языку. Здесь встречаются, в частности, такие связанные с ротацизмом изменения, как появление группы -рдн- вместо -чн- (*парднем* вместо *пачнем* «хочу открыть»), -рдм- вместо -чм- (*пӹрдма́ш* вместо *пычмаш* «резка, резание»), -рш- (-рс-) вместо ч(ц) (*теҥершӹ* вместо *теҥеце* «вчерашний») [25, с. 239]. Русский диалектный ротацизм в какой-то степени сопоставим с приведенными выше примерами подобного фонетического процесса в марийских говорах, в связи с чем можно предположить, что в обоих случаях речь идет о появлении звука р перед согласным или группой из двух согласных, которая затем могла претерпеть упрощение, связанное с выпадением среднего согласного. Следовательно, формы *сварьба*, *усарьба* могли возникнуть из предшествующих образований **свардьба*, **усардьба* < *свадьба*, *усадьба*, а форма *курзовок* – из предшествующей *кузовок*. Учитывая возможную взаимозамену звуков β/m в мерянском языке, отражаемую постмерянскими русскими говорами как б/м и позволяющую сблизить предполагаемую группу -рдьб- с марийской -рдм-, а также то, что в мерянском звук Z (рус. з) – это позиционный вариант фонемы s (рус. с), что позволяет сблизить группу -рз- с группой -рс-, предполагаемой для диалектного марийского, можно прийти к заключению, что ротацизм, в столь близкой форме обнаруживаемый марийскими говорами, является в русском диалектном языке Ярославской и Костромской обл. наследием местного вымершего финно-угорского мерянского языка.

Уже в связи с наличием ротацизма в русских постмерянских говорах, очевидно, отражавшим одну из черт субстратного мерянского языка, территориально смежного с марийским, возникает сомнение в справедливости предположения Л.П.Грузова о чувашском происхождении ротацизма в марийском языке: «История ротацизма в марийском языке еще не изучена. Ю.Вихман считает, что в древности это явление носило более широкий характер. При этом он исходит из того, что ротацизм встречается не только в западных диалектах, но иногда он обнаруживается и в восточном диалекте. Однако такое утверждение Ю.Вихмана, по-видимому, нельзя считать окончательным. Здесь может быть другое объяснение. Как известно, ротацизм представляет собой характерное явление для чувашского языка. Поэтому можно предположить, что он развился в марийском языке под влиянием соседнего чувашского языка» [25, с. 240]. Предположение о чувашском влиянии как причине возникновения марийского ротацизма вызывает сомнение уже в связи с тем, что среди марийских говоров он характерен преимущественно для западных (горных), хотя булгаро-чувашское влияние испытывали не в меньшей степени и восточные говоры, то есть относящееся к луговому и восточному марийским диалектам. В еще меньшей степени чувашское (или булгарское) влияние могло быть действенным в отношении мерянских говоров, фонетические особенности которых отразились в связанных с ними территориально русских говорах. Скорее всего, речь идет о финно-угорской фонетической изоглоссе, распространявшейся на часть мерянских и марийских говоров. Каковы бы ни были причины возникновения этой изоглоссы – то ли спонтанные локальные фин-

[8] О том, что палатальность характерна в целом и для других русских говоров, сформировавшихся на бывшей мерянской территории, говорят следующие примеры из их среднерусской, владимиро-поволжской, группы: *тислой* «кислый», *дибель* «гибель», *ру́ти* «руки», *но́ди* «ноги», *Ваньтя* «Ванька», *Ольдя* «Ольга» [76, с. 293].

но-угорские, то ли привнесенные извне каким-либо третьим языком (возможно, субстратным), то ли следствие взаимодействия обеих указанных причин, — воздействие со стороны булгаро-чувашских тюркских говоров скорее всего исключается. В связи с этим следует, по-видимому, усомниться и в том, является ли ротацизм органично чувашской чертой. Поскольку этой особенностью чувашский язык близок к финно-угорским, марийскому и мерянскому, не исключено, что она могла быть привнесена не в марийский из чувашского, а в чувашский из марийского. Другим объяснением данной общности может быть то, что три упомянутых языка подверглись влиянию какого-то четвертого, возможно, субстратного.

Палатальность в мерянском языке — в отличие от русской палатализации — относилась только к согласным т (D), л, н, (?) р, возможно, также к с (Z), то есть к переднеязычным (зубным), однако не могла быть связана с губными. Об этом свидетельствует, в частности, наличие такого примера, как *вязка* «охапка соломы, сена; большой сноп льна, ржи» (Яр — Серед) ЯОСК, с отсутствием смягчения (палатализации) после в — рус. (диал.) *вязка* «всякая веревка, шнурок; жгут из соломы для связывания снопов; шнурок для обуви; прут, соединяющий копелья полозьев саней; ручка косы» СРНГ VI 75, рус. (лит.) *вязанка*. Замена общерусского палатализованного в′ твердым в, очевидно, объясняется отсутствием палатализованных звуков в мерянском и отсутствием (невозможностью) палатального в, что привело к необходимости передачи славяно-русского палатализованного в′ постмерянским русским (диалектным) твердым в. В связи с этим в приводившемся выше примере *бёзли*, фон. *б′озли* «возле» (Костр. губ. — Юрьев) МКНО имеется основание звукосочетание ′о (о со смягчением предшествующего согласного) рассматривать как позднейшее видоизменение первоначального (постмерянского) **βöZl′i*, где под влиянием гласного переднего ряда і следующего слога гласный заднего ряда о был заменен его переднеязычным соответствием ö. Последующее -′о-, орф. -ё- ввиду, по-видимому, первоначального отсутствия смягчения губных в постмерянских русских говорах, как и в повлиявшем на них мерянском языке, следует рассматривать как позднейшую замену -ö- наиболее близким ему русским звукосочетанием, что (вместе с вытеснением мерянского языка) было вызвано все большим сближением фонетической системы его непосредственных русских говоров-преемников с фонетикой остальных русских диалектов чисто славянского происхождения. Последствием этого было вытеснение таких чуждых славяно-русскому языку звуков, как переднерядные ö и ü.

Наряду с уже отмеченными фонетическими особенностями русских говоров бывшей мерянской территории (в основном из области консонантизма), в которых они отклоняются от русского литературного языка и других русских говоров, обращают на себя внимание те черты, которыми эти говоры сближаются, иногда в отличие от других русских диалектов, с русским литературным языком. В какой-то степени, как и рассмотренные выше дифференциальные черты, эти особенности могут быть связаны со свойствами мерянского языка, отражать его фонетическое своеобразие.

К числу подобных особенностей русских говоров постмерянской территории следует отнести в основном вполне четкое различение свистящих с, з и шипящих ш, ж, что сближает эти говоры с литературным языком и большинством других русских говоров и одновременно отличает от той части диалектов, в том числе контактировавших с финно-угорскими языками, например псковскими, где наблюдается смешение этих звуков [76, с. 72]. Вместе с тем нельзя не отметить, что некоторым говорам этой территории, в частности владимирским, свойственно «особое произношение мягких с′ — з′, связанное с повышением степени их палатальности» [77, с. 86]. В связи с тем что говорам постмерянских территорий свойственна палатальность еще других переднеязычных (зубных) согласных (т, д, н, л, р), кроме с, з, причем палатальность согласных может быть следствием мерянского субстратного языка, есть основания считать, что палатальность (или значительная ее степень) в произношении мягких с и з во владимирских говорах вызвана той же причиной. Очевидно, по

крайней мере, части его говоров были свойственны палатальные s′ и z′[9]. Вместе с тем различение в русских постмерянских говорах свистящих с, з и шипящих ш, ж свидетельствует о том, что в мерянском эти звуки должны были различаться.

Другой чертой консонантизма русских говоров постмерянской территории, сближающей их с литературным языком, является отсутствие цоканья (и чоканья). Случаи этих явлений (прежде всего цоканья) здесь чрезвычайно спорадичны (единственный пример — *мцела* «пчела» (Костр. губ.) МКНО) и относятся, скорее всего, к говорам пограничным с вологодскими, представляя собой иногда отдельные лексикализованные заимствования из них. На это явление (отсутствие цоканья и чоканья, то есть смешения этимологических аффрикат ц и ч или употребления одной из них) указывают и авторитетные издания по русской диалектологии: «Различение аффрикат ч′ и ц: (ч′)ай, (ч′)и́сто, до́(ч′)ка, но(ч′); ку́ри(ц)а, кон(ц)а́, коне́(ц) — характерно для большинства говоров южного наречия и говоров ряда центральных областей (Московская, большая часть Калининской, Ярославской, Костромской, Горьковской), а также для литературного языка» [77, с. 82]. В связи с указанным следует полагать, что в мерянском, как и в мордовских и марийском языках, в отличие от прибалтийско-финских существовало две фонемы — с и č, поэтому местное финно-угорское население при усвоении славяно-русского языка могло произносить как славяно-русское ц, так и ч и не смешивать их. Как известно, явление цоканья объясняется влиянием на русский язык прибалтийско-финских, где возможна, хотя и изредка, аффриката с (ц) и полностью отсутствует аффриката č (ч), в связи с чем оба звука (ц и ч) в случае отсутствия специальной подготовки для усвоения звука ч передаются одной аффрикатой ц.

Менее ясны в совпадениях со славяно-русскими фонетическими особенностями и своей специфике, которая частично уже отмечалась, черты мерянского вокализма, насколько на них могут указывать особенности системы гласных местных русских говоров Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и других областей, совпадающих с территорией, в прошлом занимаемой мерей. В принципе, — отвлекаясь от особенностей конкретной реализации соответствующих звуков, мерянских и славяно-русских, — можно говорить о значительном совпадении количества и состава гласных фонем мерянского и местного диалектного северно-(велико)русского языков. Своеобразие мерянского вокализма могло заключаться в том, что ему была чужда фонема ы, о чем говорят уже приводившиеся примеры ее замены в ряде местных слов звуками у и и, ср. *ручаг* «рычаг», *бриткий* «прыткий». Другой особенностью мерянского вокализма, возможно диалектной, могло быть наличие фонем (или их вариантов) в виде двух предполагаемых переднерядных лабиализованных звуков — ӧ и ӱ, соответствующих лабиализованным заднерядным о и у. Не исключено, что, поскольку в костромской группе северно-русских говоров, к которой относятся говоры Костромской и Ярославской обл., как и в других северно-русских говорах, различаются два типа е — открытое е (рефлекс древнерусского е) и закрытое е̣ (рефлекс древнерусского ѣ, иногда ему соответствует и или дифтонг и͡е), это явление было поддержано существованием в мерянском, а также в прибалтийско-финском языках двух близких им фонем — ӓ (очень открытого звука, среднего между е и а) и е (закрытого е). В связи с тем, что некоторым русским окающим говорам, расположенным на бывшей территории распространения мерянского языка, в частности владимирским, свойствен особый тип ока-

[9] Возможно, этой особенностью мягких с, з во владимирских говорах и их первоначальной близостью к мягким в прошлом ш, ж следует объяснять то, что именно здесь, как частично и в костромских говорах, встречаются формы типа *молосный* с заменой фонетического -шн- в *молочный*, *пшеничный*, *яичница* звукосочетанием -сн- [77, с. 293]. Поскольку подобная замена выступает явно в позиции перед твердым согласным, где должно было употребляться не палатальное, а твердое -с-, если в данной особенности усматривать (пост)мерянскую черту, невольно напрашивается предположение, не приближалось ли в части говоров любое мерянское s по своей артикуляции и акустическому эффекту к финскому s, которое также воспринимается как среднее между русскими с и ш [24, с. 22].

нья, связанный с редукцией[10], тогда как другим окающим говорам редукция не свойственна, можно думать, что она появилась там под влиянием мерянского языка, в котором в таком случае должны были выступать два редуцированных звука — переднего и заднего ряда ə̲ и ə̲̂. Очевидно, в прошлом явление редукции северно-русским окающим говорам, распространенным на бывшей мерянской территории, было свойственно еще шире, чем теперь. Об этом говорят такие примеры из ярославских говоров, как *борновать* < **бороновать* «боронить» (Яр. губ.) КЯОС 34 и *борноволок* < **бороноволок* «лошадь двух лет (букв. — лошадь, которая уже может волочить борону)» (Яр. губ.) КЯОС 34. Поскольку на бывшей территории мерянского языка в прошлом были распространены лишь окающие говоры северно-русского типа, из которых только в некоторых, например московских, позднее под влиянием южнорусского диалекта распространилось аканье, следует думать, что в самом мерянском языке было, возможно, оканье, то есть употребление о̲ в безударной (как правило, предударной) позиции, однако оно было связано с редукцией в других, более отдаленных от ударного, слогах.

Таковы наиболее характерные фонетические черты русских говоров на территории былого распространения мерянского языка. Они дают возможность высказать более или менее обоснованные предположения о фонетике мерянского языка, которые сводятся в основном к следующему.

В мерянском языке употреблялись глухие взрывные фонемы p̲, t̲, k̲, сохранявшие полностью глухость только в (абсолютном) начале слова. В интервокальной позиции, которая, очевидно, могла возникать на стыке двух слов при особо тесной их связи, а также в положении между гласным и сонантом, внутри слова, глухие взрывные частично озвончались. Возникающие таким образом позиционные варианты глухих взрывных не приобретали полной звонкости, а являлись соответствующими полузвонкими (точнее, полуглухими) B̲, D̲, G̲. Принять возможность полного их озвончения нельзя ввиду того, что в мерянском выступал звук β̲ (средний между b̲ и v̲), одновременное сосуществование которого с b̲ совершенно исключалось. Ввиду полузвонкости интервокального варианта p̲, то есть его реализации в качестве B̲ а не b̲, такими же полузвонкими, то есть D̲ и G̲ должны были являться соответственно позиционные варианты глухих взрывных фонем t̲ и k̲. Таким образом, в мерянском языке по причине невозможности противопоставления глухих и звонких (полузвонких) в одной фонетической позиции отсутствовало фонологическое противопоставление взрывных согласных фонем по глухости-звонкости. Частичное озвончение характеризовало лишь позиционные варианты глухих взрывных фонем.

Кроме полузвонкого B̲ как позиционного варианта p̲, в мерянском языке существовало звонкое β̲, которое исходно могло возникнуть как следующая (после B̲) позиционно обусловленная степень ослабления p̲ (вытеснив и заменив ф.-уг. *w̲ > *v̲, β̲ позже могло выступать в двоякой роли — в качестве связанного и с праязыковым по происхождению p̲ и с w̲(v̲)). Возникли ли и существовали ли здесь соответственно δ̲ и γ̲ как следующая после D̲ и G̲ степень ослабления t̲ и k̲, на основании немерянских (в основном славянских по происхождению) лексических элементов русских говоров постмерянской территории установить невозможно. По крайней мере, промежуточную стадию развития глухих взрывных в определенной позиции (очевидно, в конце слова) для мерянского языка исключить нельзя, хотя сделать это можно с помощью немерянских данных только чисто теоретически.

В мерянском языке очевидно, существовали также глухие фрикативные — свистящий и шипящий — звуки s̲ и š̲. Подобно глухим взрывным они имели, видимо, не фо-

[10] Ср. характеристику этого типа оканья: «Полное окакье, т.е. различение (а) и (о) во всех безударных слогах, свойственно свр. (= северно-русским. — *О.Т.*) говорам, кроме владимиро-поволжских, где распространено неполное оканье с редукцией безударных гласных, кроме первого предударного. Другими словами, владимиро-поволжские (*гъвУо̄р'и́т*), (*хърУо̄шо́*) противопоставлены произношению (*го̄во̄р'и́т*), (*хо̄ро̄шо́*) остальных свр. говоров. Бо́льшая полновесность предударного слога во владимиро-поволжских говорах определяется характерной интонацией, свойственной им, и объясняет редукцию остальных безударных слогов» [76, с. 99].

нематически противопоставленные им звонкие соответствия, а только позиционные полузвонкие варианты Z̲ и Ž̲.

В инвентарь мерянских фонем должны были также входить две аффрикаты — c̲ и č̲. Чисто априорно, так как славяно-русские материалы соответствующих данных не предоставляют, следует и для них принять возможность существования позиционно обусловленных (в положении между гласными или гласным и сонантом) вариантов — соответствующих полузвонких ʒ̲ и ǯ̲.

В мерянском языке отсутствовал звук (фонема) χ̲, однако это не исключает возможность существования в нем звука h̲, хотя на основании данных немерянского происхождения из русских говоров постмерянской территории установить или доказать это нельзя.

В мерянском языке могли употребляться сонанты j̲, l̲, m̲, n̲, r̲, по крайней мере для двух из которых -l̲ и r̲- следует принять существование глухих вариантов L̲ и R̲.

Для мерянской фонетики в области консонантизма, кроме того, были, очевидно, характерны палатальные (среднеязычные) звуки t̲′ (D̲′), l̲′, n̲′, s̲′, возможно, также r̲′. По крайней мере, в отношении t̲′, l̲′, n̲′, s̲′ можно предположить фонематичность.

Из гласных для мерянского языка можно предположить существование звуков a̲, o̲, u̲, i̲, предположительно также e̲ и ä̲. По-видимому, ему были также свойственны два редуцированных (переднего и заднего ряда — ə̲ и ə̲̂. Очевидно, здесь (возможно, только диалектно) употреблялись также переднерядные лабиализованные ö̲ и ü̲. Установить, все ли данные звуки были фонемами или часть из них являлась лишь вариантами фонем, на основании рассмотренного материала невозможно.

Как и в других финно-угорских языках, в начале слова в мерянском языке мог выступать только один согласный (или гласный). Очевидно, мерянскому языку (возможно, только диалектно и в известный период) было также не чуждо явление своеобразного сингармонизма.

На основании рассмотренных данных нельзя ничего сказать о характере мерянского ударения.

Такой в основных чертах представляется фонетика мерянского языка на основании показаний немерянской (как правило, славяно-русской) лексики русских говоров бывшей мерянской языковой территории. Эти следы мерянского субстратного «акцента» в русских словах нуждаются, однако, в дополнении и уточнении, чтобы сделанные с их помощью предположения приобрели бóльшую степень достоверности.

Рассмотрение фонетических особенностей русской лексики и ономастики предполагаемого мерянского происхождения, чему посвящен следующий раздел, позволит уточнить, проверить и дополнить сведения о фонетике мерянского языка, полученные здесь.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (НА ОСНОВАНИИ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ И ОНОМАСТИКИ МЕРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

Для наиболее полного представления о фонетике мерянского языка необходимо рассмотреть также тот фонетический материал, который можно почерпнуть из включенных в местную русскую лексику и ономастику слов и названий мерянского происхождения. Поскольку в предшествующих исследованиях, касавшихся мерянского языка, изучались, как правило, только русские топонимы, реже географическая лексика предполагаемого мерянского происхождения, в сущности, преимущественно они представляют относительно готовый, не требующий предварительной этимологической аргументации материал для необходимого здесь фонетического анализа. Поэтому именно эти уже в известной степени изученные факты (прежде всего, представлявшиеся наиболее убедительными) будут рассмотрены в данном разделе. Данные этимологических разысканий автора настоящего исследования привлечены в ограниченном объеме, так как отягощенные большим числом этимологических доказательств они не могли способствовать желательной четкости изложения фонетических свойств мерянского языка в их наиболее существенных и доступных проявлениях.

Особой осторожности требует пока решение вопроса о фонемном составе ме-

рянского языка, поскольку при настоящем ограниченном представлении о мерянской лексике о фонематичности того или иного звука можно говорить только предположительно, опираясь не столько на факты самого мерянского языка, сколько на свидетельства других финно-угорских языков, – критерий относительный и недостаточно надежный. Более уверенно можно говорить о позиционно ограниченном употреблении тех или иных звуков, а следовательно, и об их возможной функции вариантов, а не самих фонем. Опираясь на эти внутренние свидетельства мерянского языка, каким он представляется сквозь призму русской лексики и ономастики мерянского происхождения, можно косвенно установить возможный круг его фонем. Однако при настоящей степени исследованности мерянской лексики эти выводы о мерянской фонетике (точнее, фонологии) могут носить только предварительный, предположительный характер. Окончательная их аргументация будет принадлежать тому времени, когда накопленного мерянского лексического материала окажется достаточно для выяснения фонемной противопоставленности (непротивопоставленности, неотмеченности) всех обнаруженных мерянских звуков. В данном исследовании речь будет идти главным образом о мерянских звукотипах, под которыми будут пониматься предполагаемые мерянские звуки безотносительно к тому, фонемы это или их варианты. Предположения об их возможной фонематичности (нефонематичности) будут высказаны в дальнейшем.

Поскольку предполагаемый примерный перечень мерянских звукотипов был уже дан в конце предыдущего раздела, основное содержание данной части работы составят проверка и уточнение высказанных там предположений как в отношении конкретных намеченных звукотипов, так и фонетики в целом.

Вокализм

Звукотип i. К числу слов и названий предполагаемого мерянского происхождения, отражающих данный звукотип, можно отнести следующие: *il′Doma (-Də̑mə̑) «безжизненный, лишенный жизни» – р. *Ильдомка* (Костр. губ.) Семенов 233 (ср. мар. *илыдыме* «нежилой, необитаемый»); *śi «этот (эта, это)» – рус. (арг.) *си(ень)* «есть (букв. – это есть)» (Яр. губ. – Угл) КЯОС 184 (ср. ф. se(on) «это (есть)», хант. sĭ «это» < урал. *ći/*će «это») ОФУЯ I 399; *lil′ «душа» – рус. (диал.) *лили* «женские груди» (Твер. губ. – Каш) Смирнов 86 (ср. ф. löyly «пар», эст. leil «то же», хант., манс. lil «душа», венг. lélek < ф.-уг. *lewle «дыхание, дух, душа») ОФУЯ I 424; *ika(*ikə̑) «один» – рус. (арг.) *иканя* «копейка» (Яр. губ. – Угл) КЯОС 81 (ср. ф. yksi «один», эст. üks (ühe), саам. ok′tâ, морд. Э *вейке*, мар. *ик*, манс. äk (äke) < ф.-уг. *ikte/*ükte) ОФУЯ I 423. Фонетический характер данного звукотипа, одинаковый или несущественно различающийся на определенном, отраженном данными лексемами, синхронном срезе еще не предопределяет, что всегда в истории этих слов на месте звукотипа i выступал тот же звук. Напротив, есть основания предполагать, что только местоимение śi «этот (эта, это)» отражает первоначальное финно-угорское i. В слове *il′Doma, судя по лексеме того же корня *elä «живой» (ср. *Элино* – Костр. губ. – Кол), i – появилось секундарно в условиях нового закрытого слога. Не исключено также, что мер. *ika (*ikə̑), реконструируемое на основе рус. (арг.) *иканя* «(одна) копейка», хотя бы вначале могло иметь звук ü- вместо i-. Во всяком случае, независимо от его происхождения бесспорным является факт существования звукотипа i в мерянской фонетической системе.

Звукотип u. Данный звукотип отражен в целом ряде предполагаемых слов и названий мерянского происхождения, в частности таких, как *kutka (kutkə̑) «орел» – д. *Кутко(бал)* (*< KutkoBal) «Орлиная (букв. – Орел) деревня» (Яр. губ. – Угл) Vasmer 417 (ср. ф. kotka «орел», мар. *куткыж* «беркут», коми *кутш* «орел», ф.-уг. *kočka «то же») КЭСКЯ 148; *juk (род.п. juGen/-ə̑n «река» – р. *Юг* (Jug) (Вл. губ. – Горох) Vasmer 394 (ср. ф. joki «река», эст. jõgi, коми *ю*, хант. *юхан*, венг. ст. jó < ф.-уг. jokᵩ- «то же») КЭСКЯ 334; *urma «белка» – рус. (диал.) *урма* «то же» (ср. ф. orava «белка», эст. orav, саам. Н oarre, морд., мар., коми *ур* < ф.-уг. *ora(*8ra) «то же»,

ф. -va и мер. *-ma < *βa под влиянием *-n в *urβa-n, род. п. ед.ч. – суффикс (ф.-уг. *-pa) КЭСКЯ 297-298, Хакулинен I 125-126; *tuDoβa (*-Dəβə) «знающий, осознающий, чувствующий» – рус. (диал.) *при-о-тудобеть* «окрепнуть» (Костр. губ. – Кол) МКНО, *о-тутовать* «отойти (прийти в обычное состояние)» (Костр – Антр) КОСК (ср. ф. tunteva «знающий; чувствующий» от tuntea «знать; чувствовать», связанного с саам. H dow'dât «то же», коми *тӧдны* «знать», удм. *тодыны* «то же», венг. tudni «знать, уметь, мочь», нен. *ту́мдӑ(сь)* «узнать; заметить» < урал. *tumtę- «знать (*< видеть)») КЭСКЯ 283, ОФУЯ I 405; *kut'a «собака, щенок» – рус. (диал.) *ку́тя* (м. р.) «кутенок, щенок» (Яр – Борисогл, Рост, Пересл; Костр – Нер) ЯОСК, *кутя-кутя* «слова подзыва для собаки или щенка» (Яр – Яр; Ив – Ильин) ЯОСК (ср. коми *кути*, *кутян*, *кутю* «щенок», удм. *куча(пи)*, хант. *кətюв* «то же», манс. *кӯтюв* «собака», венг. kutya, возможно, также эст. kutsikas «щенок», нен. *хутю* «молодая собака; (детск.) собака» (? урал. *kut'-(-ŭ)a) «(молодая) собака») КЭСКЯ 147.

Примеры свидетельствуют о полной реальности в мерянском языке звукотипа u, который может быть как продолжением финно-угорской (и даже уральской) фонемы u, так и следствием трансформации какого-либо другого звукотипа, существовавшего на его месте в предшествующий период развития (прото)мерянского языка. С несомненностью это относится к тем случаям, где мерянскому u в новом закрытом слоге соответствует o (в первоначально открытом слоге) других финно-угорских языков: мер. *urma < *urβa – с переходом -β- > -m- под влиянием -n в *urβa-n, род.п. ед.ч. < *oraβa < *orapa – ср. ф. orava < *oraβa < *orapa. Здесь u возникло, видимо, в результате выпадения (через стадию редукции) гласного предшествующего слога, что вызвало компенсирующее удлинение и сужение гласного (в данном случае o-) в новом закрытом слоге с последующим переходом в гласный следующей, более высокой степени подъема (u-) при утрате его долготы (*urβa < *ō̆rβa < *orə̂βa < *oraβa). Подобный переход отражен в мерянском *ul'ša(-šə̑) «бывший (перен. – умерший, покойник)» – рус. (арг.) *ульшага* «умерший, покойник» (Углич) Свеш 92 (ср. мар. *улшо* «присутствующий» от *улаш* «быть», родственного ф. olla, эст. olema, морд. *улемс* «то же», коми *волі* «был», хант. *вəл'ты* «быть», манс. *ӑлуӈкве* «то же», венг. volt «был» (ф.-уг. *wolę- «быть») ОФУЯ 417, что дает основания предположить возникновение указанной мерянской формы из предшествующего *oleša (-šə) > *oləša > *ō̆l'ša «бывший».

Звукотип o. Отражен в ряде русских диалектных названий, явные финно-угорские этимологические связи которых, а также известное их своеобразие и фиксация на бывшей территории распространения мерянского языка позволяют усматривать в них мерянские субстратные включения, реконструируя на основании этого соответствующие исходные мерянские лексемы, напр.: *tolGa (*tolGə̑) «перо» – д. *Толго(бол)* (Tolgobol) (Яр. губ. – Яр) Vasmer 416 (ср. саам. H dol'ge «перо (птицы)», морд. *толга*, мар. *(пыс) тыл*, удм. *тылы*, коми *тыв*, хант. (вах.) tŏγəl, манс. (тавд.) tool, венг. toll, ст. toul «то же», нен. tō «крыло» < *tuo < *tuə̑j < урал. *tulka «перо, крыло») ОФУЯ 400; SW 166; *joń < *on «есть (является)» – рус. (арг.) *(си)ень* «есть (букв. – (это) есть)» (Яр. губ. – Углич) КЯОС 184 (ср. ф., кар., вод., эст. on «есть (является)», иж. ono, вепс. om, лив. um «то же» < *omi < *oma «свой») SKES II 430-431; *n'ero «болото» – рус. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро (характерное болотистыми берегами)» (Костр. губ. – Галич) Вин 48 < *n'ero-n, род.п. ед. ч. от *n'ero в *N'eron (jähre) «Болотное (букв. – болота) (озеро)» (ср. ф. noro «ложбинка, болотистая лощина», мар. *нӧрӧ* «сырой», удм. *нюр* «болото; влага; сырость», коми *нюр* «болото», хант. (казым.) *нёрум* «то же», (сургут.) n'urəm «болотистая местность», (вост.) n'or «муть (в воде); пыль», манс. (сев.) нӑр «болото», (конд) n'ē̆r, (тавд.) n'ēr «то же», венг. nyirok «сырость», сельк. njarre (n'ary) «болото, тундра» < урал. *ńōr∧ (*ńora) «влага, влажный; мокрое место, (болото)») MSzFUE III 486-487, КЭСКЯ 201, SKES II 393, ОСНЯ I, XXVII; II 89; *kolema «смерть; (тяжелая) болезнь» – рус. (диал.) *коле́ма* «болезнь» < *ко́лема под влиянием *коле́ть* (яросл.) «(о скотине) умирать» КЯОС 90, *коле́тый* (моск.) «худой, тощий, изможденный» СРНГ XIV 132 и под.

(Костр — Ветл) СРНГК), *коле́мать* «болеть, хворать» (там же) (ср. ф. kuolema «смерть», эст. koolma «умирать < умирание, смерть», иж. kǭlema «смерть», лив. kùǭl'imi < *kōlimine/*kōlę̄ma «умирание», морд. *кулома* «смерть», мар. *колыма́-ш*, коми *кулӧм* «то же», хант. (казым.) *хал′-ты*, удм. *кулыны* «умирать», манс. (ср.-лозьв.) khåli «умирает», венг. halni «умирать», нен. *хась* < урал. *kolę̄-(/*kōlę̄) «то же») ОФУЯ I 407, MSzFuE II 250-251; *toma (*tomə̂) «дуб» — р. *Тома* (Тома) (Костр. губ. — Солигал) Vasmer 380 < *Toma (juk) «Дубовая (букв. — дуб) (река)») (ср. ф. tammi «дуб», эст. tamm, морд. Э *тумо*, морд. М *тума*, мар. *тумо*, мар. Г *тум*, удм. *тыпы* «то же», дперм. *тупу* «дуб(?)» (*Тупи(-шор)* («дубовый (ручей)»?), где ф., морд., мар. слова происходят из *tomma «дуб» (Collinder 155), раннепермское (с протофинским?) — из *tum-pu «то же» (КЭСКЯ 286)); *-Bol, ст. *-Balo < *palo- второй компонент двучленных композитов-топонимов — «деревня, село»: д. *(Ки)бол*/Kibol < *(Ки)бало*, Kibalo (1578 г.) «Каменная (букв. — камень) (деревня)» (Вл. губ. — Сузд) Vasmer 417 (ср. хант. (вост.) puγəl «деревня, населенный пункт» СВХД 381, манс. *па̄выл*, (конд.) *павəл′*, *пагəл′*, *пӓ^{O}йəл* Баландин — Вахрушева 75, венг. falu, мн.ч. faluk/falvak «то же», (?) саам. (вост.) pūlKą̄z «район выпаса (Weidegebiet)» Lagercrantz II 621, (?) кар. < ? саам. palvi «место жительства», угор. (саам.?) palγз «деревня; селение < ? *стоянка кочевников у места выпаса скота»).

В рассмотренных примерах всюду на синхронном срезе прослеживается звукотип о. Однако если в ряде случаев его можно считать унаследованным из предшествующих, более или менее отдаленных периодов в качестве исходного звука: *jon′ «есть (являться)» — из финского, общего для прибалтийско-финского и мерянского, SKES II 428-429; *kolema «смерть; (тяжелая) болезнь» — из уральского; *n′ero «болото» — из протомерянского, ср. мар. *нӧрӧ* «сырой»; *toma «дуб» — из прафинского, общего для мерянского с прибалтийско- и волжско-финским (Collinder 155), то в некоторых случаях — как результат развития других звуков. В компоненте сложных слов *-Bol «деревня, селение», развившем свою форму в интервокальной позиции (между гласным и сонантом) из исходного pol, обнаруживается характерная для мерянского языка закономерность — переход гласного менее высокого подъема в гласный более высокой степени образования в случае, если он оказывался в новом закрытом слоге. Об этом свидетельствует более древняя форма слова (компонента), засвидетельствованная в XVI в. Поскольку слог в это время еще был открытым, вместо -о- выступал гласный -а-, ср. *(Ки)бало*, дающее возможность реконструировать более раннюю форму мерянского слова как *palo. Почти полное формальное совпадение мер. *palo «деревня, селение» с венг. falu «то же» < *palu свидетельствует либо об общем происхождении с венгерским (и другими угорскими), либо о заимствовании (прото)мерянским в период контактов этого языка с угорскими языками. Явно вторичным является -о- также в реконструируемом мер. *tolGa, где исходным было прауральское -u- (*tulka). Интересно сходство в развитии вокализма мерянского и мордовских языков с уральскими языками восточной ориентации: развитие исходного -u- в -о-, помимо мерянского и мордовских, произошло во всех угорских и ненецком языках.

Звукотип а. Данный звукотип содержит целый ряд слов и названий предполагаемого мерянского происхождения. С наибольшей уверенностью о нем можно говорить применительно к первому слогу слова, так как именно он, вероятнее всего, нес на себе ударение. О других слогах слова — в какой степени там графическое отображение а и его произношение в современных, преимущественно окающих, русских говорах на постмерянской территории соответствует истинному положению в самом мерянском языке (даже в наиболее близкий нам позднемерянский период), — сказать значительно труднее. Судя по ряду примеров, в частности связанных с появлением новых закрытых слогов, о чем уже говорилось, в мерянском языке гласные, находившиеся в безударной позиции, могли выпадать. Этому мог предшествовать их переход из гласных полного образования в гласные неполного образования, то есть редуцированные. Уже в связи с этим можно

предположить, что и ряд гласных, сохранившихся в безударной позиции, произносился относительно ослабленно, нечетко, частично переходя в соответствующие редуцированные переднего или заднего ряда. Исходя из сказанного, а также того, что, хотя старославянский и древнерусский имели редуцированные (как и знаки для их передачи графически), эта традиция не получила развития в (велико)русской орфографии, современное графическое (и фонетическое) а непервых слогов, в особенности многосложных слов мерянского происхождения, нельзя во всех случаях принять с полной уверенностью за отражение звукотипа а. В части случаев — установить их с полной определенностью пока невозможно — а непервых слогов может, видимо, отражать мерянский редуцированный ряда ə̂/ə (иногда в непервых слогах слова его может, очевидно, передавать буква о). Ввиду этого здесь будут приведены только те случаи, где звукотип а выступает в первом слоге слова, то есть является наиболее вероятным. К их числу можно отнести, в частности, следующие примеры из диалектных апеллятивов и ономастики: *anDoβa «кормящий (-ая), дающий (-ая)» — р. *Андоба* (приток р. Костромы — План р. Костромы 8) (ср. ф. antava «дающий» от antaa «давать», эст. andev, фон. aǹDev «дающий» от andma «давать», саам. Н. vuow'det «продавать», морд. *андомс* «кормить», удм. *удыны* «поить», коми *удны* (в парном слове *вердны-удны* «кормить-поить (= угощать)»), (диал.) *удны* «поить», венг. adni «давать; продавать» < ф.-уг. *amta «давать») КЭСКЯ 295-296, MSzFUE I 69, ОФУЯ 418; *atä (at'ə) / *ača «отец» — д. *Ате(бал)* (Atebal) «Отцовская (букв. — отец) (деревня)» (Моск. губ. — Дмитр) Vasmer 418, р. *Ача* (Костр. губ. — Гал) КГЗ, 83 (ср. ф. ati «тесть; свекор», ätti «отец», ättä, ätä, кар. ätti, вод. ätä «то же», эст. ätt «отец, дед; старик», (диал.) att «то же», морд. Э *атя* «старик; муж», морд. М *а́тя* «старик; дед», мар. *ача́* «отец; свекор», мар. Г *а̋тя* «отец», удм. *атай* «то же», венг. atya «отец; монах», где нет уверенности в праязыковом происхождении всех слов, некоторые, например удм. *атай* (тат. *ата* «отец», зват. *атай*), можно считать заимствованиями, в связи с чем их праформа не ясна) SKES I 28, MSzFUE I 100-101; *palo (*-Balo) «деревня, село» — д. *(Ки)-бало* (Kibalo) «Каменная (букв. — камень) (деревня)» (Вл. губ. — Сузд) Vasmer 417 ср. также *(Нуш)поло* (Nušpolo), — очевидно, ошибочно вместо *(Нуш)-пало* (Вл. губ. — Александр) (ср. хант. (вост.) puγəl «деревня, населенный пункт», манс. *па̄выл*, (конд.) *пагəл* Баландин — Вахрушева 75, венг. falu «то же» < угор. *palγз-; более подробно см. по поводу звукотипа о); *matkoma (*matkə̂ma) «езда, путешествие» — р. *Маткома* < *Matkoma (juk) «Ездовая (букв. — езда) (река)», то есть удобная для езды, плавания (Яр. губ. — Пош) Дитмар 62 (ср. ф. matka «путь, дорога», matkata «путешествовать, ездить», кар. matka «путь, дорога», matata «идти по дороге; ездить; бегать», вепс. matk «путь, расстояние», вод. matka «путь, дорога», эст. matk «путешествие; поход; странствие; прогулка; поездка, экскурсия», matkama «совершать поход; путешествовать; странствовать» < прибалт.-фин. *matka «путь, дорога» с дериватами); *paŋGa «гриб» (в том числе растущий на дереве) — рус. *панга* «губа, губка на древесных породах» (Костр. губ. — Ветл) МКНО (ср. морд. М *панга* «гриб», морд. Э *панго*, мар. *понго*, мар. Г *понгы* «то же» Саваткова 122, нган. fanka «быть пьяным (после опьяняющего напитка с грибом)» < (урал. *paŋka «гриб») Востриков ФУЛЭ 32-33, Alvre II 57, Collinder 408, однако с другим вокализмом мер. *poŋGa «гриб», реконструируемое на основе названия р. *Понга* (Ponga) (*PoŋGa(juk) «Грибная (букв. — гриб) (река)») (Костр. губ. — Кол) Vasmer 377; *kanDo-(ms) «носить» — рус. (диал. груб.) *кандёхать* «работать» (из рус. (арг. постмер.) **кандать* «носить, таскать», осложненного суффиксом -ёх-, под влиянием форм типа *несладёха*, *растерёха* и т.п. (Яр — Ярославль) ЯОСК (ср. ф. kantaa «носить», эст. kandma, саам. Н guod'det, морд. *кандомс*, мар. *конда́ш*, хант. (вас.) k̓aṇ̀ṭəm «поднимать на спине», манс. khunti «то же», нен. hāňnā «носить», эн. kaddabo (haddabo) «нести, уводить», нган. kuanda'ama «уносить», сельк. kuandau «носить» < урал. *kanta- «то же») SKES I 157-158, Collinder 406, однако konDo-βa «несущий(-ая)» в на-

звании р. *Кондоба* (приток р. Нельши — Костр — Ней), где в первом слоге отражен другой вокализм. Как показывают рассмотренные примеры, в основном мерянскому языку свойственно сохранять унаследованный из предшествующих периодов звукотип а в случае, если слоговая структура слова не претерпевала изменений. Когда в результате выпадения гласного последующего слога слог с а секундарно становился закрытым, этот звук переходил в о (ср. *-Bol «(-)деревня» < *-Balo «то же»). Однако, как свидетельствуют два последних примера, иногда в мерянском а переходило в о при сохранении всех его гласных. Очевидно, это связано с расхождением, существовавшим между отдельными мерянскими диалектами, одни из которых (сохранявшие а) сближались этой особенностью с прибалтийско-финскими и мордовскими языками, а другие (где а переходило в о) — с марийским языком. Как и рядом других отношений, этой чертой мерянский, расположенный между прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками, с лингвистической точки зрения представлял собой связующее звено, переходную зону между ними.

В отличие от рассмотренных звукотипов более сложны для установления остальные мерянские гласные, конкретные фонетические особенности которых можно только предположить сквозь две основные преграды, мешающие их реконструкции, — неизбежное сближение со славянорусской фонетической системой (и соответственно отдаление от исходной финно-угорской, мерянской), а также несовершенство отражения звуковой фонетической системы средствами ее графической передачи.

Есть основания думать, что в мерянской фонетике не было единого звукотипа е. Скорее всего, в мерянском существовало два звукотипа — гласный е переднего ряда среднего подъема и гласный ä переднего ряда низкого подъема. Оба звукотипа в роли фонем предполагаются для финно-угорского праязыка [53, с. 159]. Оба звука преимущественно как фонемы сохраняет до сих пор большинство финно-угорских языков — финский, эстонский, карельский, вепсский, ижорский, водский, ливский, мордовский-мокша, мордовский-эрзя (диалектно), марийский (луговой и восточный, диалектно), марийский (горный), саамский. Отсутствует звукотип ä только в мордовском-эрзя литературном, марийском литературном, а также во всех пермских (коми-зырянском, коми-пермяцком, удмуртском) и угорских (хантыйском, мансийском, венгерском) языках.

Наиболее убедительное отражение существования звукотипов е и ä обнаруживается в формах единственного и множественного числа реконструируемых мер. *βen′ «двурогие грабли» (ед.ч.) и βänək «то же» (мн.ч.), восстанавливаемых на основе русских диалектных форм с -е-/-и- и -я- в корне слова, причем -е-/-и- преобладает в вариантах слова, не осложненных -к-, а -я- — в его разновидностях с -к- в основе, непосредственно следующим за корнем, ср.: *бени* «вилы с двумя длинными зубьями» (Яр) ЯОСК, *бини* «двурогие вилы для разбрасывания навоза на поле» (Яр) ЯОСК, *веечки* «двурогие деревянные вилы, которыми трясут солому при обмолоте» (Костр) ЯОСК — *бянки* «деревянные вилы с двумя зубьями» (Яр) ЯОСК, *бяньки* «деревянные вилы с двумя зубьями для уборки соломы при молотьбе» (Вл. губ.) СРНГ III 360, *вянки* «вилы небольшие двурогие, тупые» (Костр) СРНГ VI 79. Диалектографическая характеристика форм данного слова (его распространенность на бывшей мерянской территории или — в результате переселений — к востоку от нее), его финно-угорская и мерянская типичность (наличие одного согласного вместо предполагаемых исходных двух в начале слова; колебание б-/в-, отражающее характерный для мерянского звук β; переход в новом закрытом слоге гласного более низкого подъема в гласный более высокого подъема) дают основание рассматривать его как включение из субстратного мерянского языка. В мерянском языке его можно считать заимствованием из какого-то индоевропейского языка, скорее всего — ассимилированных мерей носителей индоевропейской фатьяновской культуры, предполагаемое слово языка которых *dwäni (мн.ч.) «(вилы-)двойни» было видоизменено в мерянском согласно его фонетическим и грамматическим закономерностям в дмер. βäni (ед.ч. «вилы с

двумя зубьями» (более подробную этимологию см. в гл. «Лексика»). При дальнейшей утрате конечного гласного в форме единственного числа слова возник новый закрытый слог, что привело к переходу -ӓ- > -е- (*βen′ < *βä̮n′ < *βänə < *βäni (ед. ч.) «вилы с двумя зубьями»). Поскольку в форме множественного числа слова корневой слог оставался открытым и удлинения и сужения гласного ӓ с дальнейшим его переходом в е там не происходило, форма множественного числа и при редукции конечного гласного основы сохраняла первоначальный вокализм *βänək < *βänik (мн.ч.) «грабли с двумя зубьями»). При усвоении восточными славянами форм мерянского слова, переведенного по образцу других подобных лексем в категорию существительных типа pluralia tantum (по модели *грабли*, *вилы*, *сани* — без формы единственного числа), где формы *бени* — *бян(ь)ки* воспринимались как образования, идентичные чисто славянским (типа *сани* — *санки*), мерянский звук -ӓ- стал передаваться звукосочетанием -′а-, орф. -я-, то есть -а- со смягчением предшествующего согласного. Что касается мерянского -е-, имевшего, очевидно, в отличие от очень открытого гласного -ӓ- довольно закрытый характер, то оно было субституировано восточными славянами наиболее близким к мерянскому славяно-русским звуком -ѣ- (-ě-), который в северно-(велико)-русских говорах и, очевидно, их прото(велико)русских говорах-предках древнерусского языка в качестве закономерного рефлекса имел ę̇ (е закрытое) или возникшее из него и [76, с. 40]. Отсюда звук -е- или -и- как закономерное отражение северно-русского рефлекса друс. -ѣ-, отражающего, в свою очередь, мерянское е. Если бы в корне мерянского слова выступал звук -е-, при образовании нового закрытого слога его бы всюду закономерно заменил -и-, то есть существовала бы только форма *бини* без параллельного ей фонетического варианта с -е- как результата отражения -ѣ- (-ě-) (мер. ę̇) в северно-русских (постмерянских) говорах. С другой стороны, мерянское -а- (со смягчением или без смягчения предшествующего согласного) при возникновении нового закрытого слога должно было бы закономерно дать рус. (постмер.) *бёни < мер. β′oń < β′ä̮n < *β′ani или *бони < мер. *βoń < *βāń < *βani с отражением соответственно формы мерянского множественного числа как *бян(ь)ки (*бан(ь)ки)*. Таким образом, единственно возможным объяснением русских звуков -е-/-и- (в формах *бен(и) / бин(и) / вен(ечки)*) и -я-, фон: ′-а- (в формах *бян(ь)ки*/*вян(ь)ки*) является их интерпретация в качестве передачи мерянских звукотипов е и ӓ при отсутствии смягчения предшествующего мерянского губного согласного. Следовательно, русская буква я в словах мерянского происхождения может служить не только для передачи сочетания предшествующего мягкого (палатального) согласного, в том числе j (й), с последующим -а-, но и передавать звук ӓ подобно тому, как она используется для передачи этого звука в финских и эстонских географических названиях: ф. Jyväskylä — Ювяскюля, Jänisjärvi — Янисъярви, Järvenpää — Ярвеня, Jääski — Я(а)ски [114, с. 794]; эст. Vändra — Вяндра, Munamägi — Мунамяги, Jägala — Ягала, Järvakandi — Ярваканьди [160, с. 627, 630, 635]. Сложность расшифровки случаев употребления звукотипов ӓ и е в мерянском языке на основании их графического отражения в русских словах и названиях мерянского происхождения, как показывают уже примеры передачи звука ӓ в финских и эстонских топонимах, очень велика. Вызвано это прежде всего тем, что специфический для мерянского языка и чуждый русской фонетической системе звук ӓ выступает не в мерянских текстах, где было бы закономерным стремление точно его передать, а в словах и названиях, являющихся лишь субстратными включениями в русском языке, приспособлявшимися к особенностям его фонетики. Ввиду отсутствия звука ӓ в русской фонетической системе, а также соответствующей ему буквы, средствами русской графики невозможно его передать, что видно, в частности, на примере современной мокша-мордовской орфографии, располагающей только русскими буквами: здесь звук ӓ передается в начале слова буквой э (*эши*, «колодец»), в середине — буквой я (*мярьги* «скажет»), в конце — буквами е или я (*веле* «село», но

вальмя «окно») [113, с. 271]. В ходе исторического развития в фонетике мерянского языка могла измениться как роль звукотипов e и ä (утратив унаследованную ими из праязыка фонематичность, они могли стать вариантами одной фонемы), так и былое их распределение в случае сохранения обоих звуков в качестве фонем (в отдельных случаях рефлексы финно-угорского e могли переходить в ä и, напротив, ä могло заменяться e). Поэтому в настоящее время невозможно определить точно, особенно для позднемерянского периода, случаи употребления в мерянских словах обоих звукотипов. Можно их только с известной степенью достоверности предположить на основании соответствий в родственных языках, сохраняющих обе фонемы, а также опираясь на их отражение в графике.

Наличие звукотипа -e, по крайней мере для раннего периода истории языка, можно предположить в следующих словах мерянского происхождения: *peZa/peZə̂ «гнездо» — н.п. *Пезо(бал)* на р. *Пеза* *PeZa(juk) «Гнездовая (букв. — гнездо) (река)» (ср. ф. Pesäjärvi «Гнездовое (букв. — Гнездо) озеро»), ф. pesä «гнездо», эст. pesä, саам. Н bæsse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжа́ш*, мар. Г *пы̆́жа́ш*, коми *поз* «то же», удм. *пуз* «яйцо», хант. (конд.) pìt «гнездо», манс. *пити*, венг. fészek, ст. feze, нен. *пидя*, эн. fide, нган. φą̊t̆te, сельк. pəD, кам. phidä < урал. *pesä); *lejma < *leŽ'mä < *lešmä «корова» — рус. (диал.) *лейма* «то же» (Костр. губ. — Гал) ООВС 102 (ср. ф., кар., иж., вод. lehmä «корова», вепс. l'ehm, эст. lehm, лив. ni'em, ni'emə̂ «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», (диал.) išḿe «то же», морд. М *лишме* «конь (только о красивом или игрушечном коне)» < *lešmä «(дойная) кобыла», откуда, очевидно, семантическое развитие в двух направлениях: 1) (в мордовских языках) лошадь вообще; 2) (в прибалтийско-финских и мерянском) > дойное животное (кобыла, корова) > корова)[11] SKES II 284, Nirvi 257[12]; *kera (*kerə̂) «кора, лубок» — р. *Кера* (Костр. губ. — Нер) Vasmer 386, КГЗ 237 (ср. ф. keri «новая кора березы, появляющаяся на месте содранной бересты», саам. Н gârrâ «кора», морд. Э *керь* «кора, лубок», морд. М *кяр* «то же», мар. *кӱр* «лубок», мар. Г *кӹр*, удм. *кур* «то же», коми *кор* «то же; кожура, шелуха», хант. (вост.) kir «тонкий наст, тонкая корка льда», манс. kēr «кора; кожура, скорлупа», венг. kérëg «кора; корка; скорлупа», ст. kér (в (has)kér «брюшина (букв. — живот(а) кора)») < ф.-уг. kere «кора»); pel'ma < *peləma «боязнь» — рус. (арг.) *пельмать* «знать < бояться» (Костр. губ. — Гал) Вин 49 (ср. ф. pelätä «бояться», pelko «страх, боязнь», эст. pelgama «бояться», морд. *пелема* «боязнь», удм. (диал.) puli̯ni̯ «бояться», коми *повны* «то же». *полӧм* «боязнь», хант. (казым.) *палты* (*пӓлты*) «бояться», манс. *пилуŋкве*, венг. félni «то же», félelem «боязнь», нен. *пилюць* «бояться» < урал. *pele- «то же») MSzFUE I 198, КЭСКЯ 223.

Исходное прафинно-угорское (прауральское) -e-, как и в основном сохранение той же закрытости звука (иногда рефлексация его в виде -i-) в большинстве финно-угорских (уральских) языков, дает основание полагать, что во всех приведенных реконструированных мерянских словах, во всяком случае в ранний период их истории, на месте праязыкового -e- выступал мерянский звукотип e.

В противоположность этому с большим основанием можно предположить наличие звукотипа ä в таких предполагаемых мерянских словах: käGa (käGə/-ə̂) «кукушка» — р. *Кега* (Kega) (Костр. губ. — Буй) Vasmer 382 (ср. ф. käki «кукушка», уменьш. käkö, кар. kägi «кукушка», вепс. ḱäǵi, kägi, вод. čäko, эст. kägu, (диал.) kägi VMS I 352,

[11] Не исключена связь исходного *lešmä «кобыла» с тюркским alaša [ЭСТЯ I 136-137], лежащим в основе чув. < * булг. *лаша* (laša) «лошадь» (?läšemä < laša-emä «лошадь-мать»); в таком случае слово могло бы рассматриваться как возникшее на основе древнего заимствования из булгарского языка.

[12] Фонетическое своеобразие слова, как и место фиксации, исключают возможность его заимствования из прибалтийско-финских языков [SKES II 284], заставляя как наиболее оправданное принять его исконно мерянское происхождение. Ср. также работу Калима [138, с. 151], ставившего под сомнение заимствованный характер слова.

лив. ke'G, kä'G, саам. H giekkâ (? балт., ср. лит. gegẽ (gẽgė) «то же») SKES II 259; *jähre/-ê «озеро» < *jäγrə < JäG(ə)rə — р. *Яхрен* < *Jähren (juk) «озерная (букв. озера) (река)» (Вл) Смол 208, н.п. *Яхро(бол)* (Jachrobol) < * Jährə(Bol) «озерная (букв. озера) (деревня)» (Яр. губ. — Дан) Vasmer 416 (ср. ф., кар. järvi «озеро», вепс. järv, jäŕV, jäŕf, вод. jarvi, эст. järv, лив. jā̆ra, саам. H jaw're, морд. Э *эрьке*, морд. М *эрьхке*, (диал.) jɛrʻḱɛ (морд. < -ке < *-kkä по происхождению — суффикс уменьшительности, присоединенный к основной форме (j)äŕ), мар. *ер*, мар. Г *йӓр* «то же») SKES I 132; мер. βäha/-ê «мало» — рус. (диал.) *вяха* «немного (Костр — Парф); пустяк (Яр — Рост)» ЯОСК (ср. ф. vähä «малый», vähän «мало», вепс. vähä(n) «мало», эст. vähe «мало», морд. Э *вишка* «малый, маленький», *вишкине* «маленький», *веж(гель)* «(анат.) язычок (букв. — малый (язык)» < *веш(е) (кель)* < *väšä (keli).

Мерянское и саамское соответствия ф. järvi и под. особенно ясно показывают, что в основе всех этих слов лежит заимствование из незасвидетельствованного древнего индоевропейского языка Волго-Окского междуречья — скорее всего носителей фатьяновской культуры, — отраженное данными финно-угорскими языками и реконструируемое с их помощью как *jə̆ə̆gere(-) < и-е. *aĝhero- (форма местного падежа?) «озеро», родственное псл. *ezero (рус. *озеро*) и лит. ežeras (ažeras) «то же», что дало исходное ф. *jäkere, послужившее отправным пунктом своеобразного развития в каждом из языков. В мерянском через стадию jäG(ə)rə, отраженную, очевидно, в рус. (диал., арх.) *ягра* «выдающаяся в море и заливаемая во время прилива часть морского берега; песчаная отмель в устьях рек, покрываемая при приливе водой» Мурз 263, слово путем фрикатизации -G- (*jäγ(ə)rə) приобрело позднейшую форму jährə, отраженную рус. (постмер.) *Яхре-*. В прибалтийско-финских языках -k-, находившееся в середине слова, закономерно перешло в -v- [53, с. 135], что дало *jäv(ə)re/-i, очевидно, отраженное в саам. H jaw're, которое могло быть заимствовано из прибалтийско-финского, а также в лив. jā̆ra < *jäv(ə)rə с секундарным удлинением корневого гласного, вызванным выпадением -v(ə)-. В остальных прибалтийско-финских языках вследствие метатезы возникла форма типа ф. järvi, эст. järv. Что касается мордовских и марийского языков, то в них вследствие закономерного выпадения -k- и его рефлексов в середине слова [там же] должна была возникнуть форма *järə, получившая затем своеобразное развитие в каждом из языков. Мягкость r' в мордовском, как и в вепсском, указывает на то, что конечный гласный в финно-угорских языках, а также в индоевропейском языке-источнике был гласным переднего ряда. Об этом, а также о первоначальном своеобразном сингармонизме всех данных финно-угорских языков говорит отражение и -e, начального ja- с гласным заднего ряда в виде jä-, то есть перевод его в передний ряд.

Не менее сложен вопрос о возможности существования в мерянском языке лабиализованных гласных переднего ряда ö и ü, из которых ü принимается для вокализма финно-угорского праязыка [53, с. 159], оба же звука характерны для почти всех прибалтийско-финских, марийского и венгерского языков. Ввиду полной чуждости этих звуков фонетической системе русского языка их существование в мерянском можно предположить лишь на основании косвенных данных, да и то в единичных случаях. Чтобы судить о том, насколько широко употреблялись рассматриваемые звуки в мерянском языке, насколько они были типичны для его фонетической системы, данных у науки пока нет. Исходя из того, что их употребление было связано с явлением своеобразного «обратного сингармонизма»[13] (влияния

[13] Связывать прямо эту своеобразную межслоговую гармонию гласных, больше напоминающую германский умлаут, чем сингармонизм, с этим последним не представляется возможным. Скорее это явление напоминает один из тех процессов выравнивания вокализма основы, который, по мнению В.М.Иллича-Свитыча, мог быть связан в алтайских и уральских языках с переходом от досингармонического состояния к сингармонизму: «Наличие в алтайских языках в ряде случаев переднерядных и заднерядных вариантов основы свидетельствует, по мысли автора (В.М.Иллича-Свитыча. — *О.Т.*), о том, что в пе-

гласных конца слова на начальные), можно считать эти звуки достаточно для него характерными, хотя этого не достаточно, чтобы говорить одновременно об их фонематичности.

Помимо славяно-русского по происхождению примера *бёзли*, свидетельствующего о возможности существования формы βöZli «возле» с этим мерянским звукотипом, о его употреблении в мерянском говорит и слово, по всей видимости, чисто мерянского происхождения, сохранившееся в названии р. Вёкса на бывшей мерянской территории (Костр — Гал) (КГЗ, 78)[14]. Поскольку мерянскому языку не были свойственны мягкие (палатализованные) губные, характерные для русского языка, о чем косвенно свидетельствует форма *вазка* вместо *вязка* в одном из русских постмерянских говоров, русское -ё-, фон. -о- со смягчением предыдущего согласного следует рассматривать в качестве передачи средствами русской фонетики мерянского звукотипа ӧ, ср. аналогичную субституцию того же звука в немецком и французском языках: нем. Goethe — рус. *Гёте*, нем. Köln — рус. *Кёльн*, фр. chauffeur — рус. *шофёр*, фр. coiffeur — рус. *куафёр*.

Название *Вёкса* дано реке, которая, в отличие от остальных рек, связанных с Галичским озером, не впадает в него, а вытекает из него, впадая в р. Кострому и являясь как бы каналом, протоком между рекой и озером. Есть основания сопоставить русское (постмерянское) *Вёкса* со связанными с ним семантически и формально ф. vuoksi (ст. vooxi, то есть vooksi «(большое) течение, поток; струя, река; прилив» SKES VI 1813), а также с коми *вис* «проток, канал (соединяющий озеро с рекой)» (*виск*, ср. *виска ты* «озеро с протокой (проточное озеро)». Здесь ф. -uo- соответствует коми -и- (ср. ф. vuotso «длинное, узкое болото; мокрое место» — коми *видз* «луг, пожня»), а ф. -ks- — коми -с(к)- (-s(k)-) (ср. ф. maksa «печень» — коми *мус* (*муск*-) «то же») (Лыткин Ист. вок. 178; КЭСКЯ 21), следовательно, оба слова одного происхождения. Эти явно генетически связанные, хотя, насколько известно, еще не сравнивавшиеся слова (SKES VI 1813-1814, КЭСКЯ 58), очевидно, этимологически тождественны реконструируемому с их помощью и на основе его русского (постмерянского) отражения *Вёкса* исходному мер. *βöksə (?> -ə̑) «проток; река, соединяющая озеро с другой рекой»[15]. Появление в мерянском ӧ, соответствующего старофинскому -oo-, наиболее вероятно объяснить в данном случае тем, что этот переднерядный звук появился под влиянием гласного переднего ряда в следующем за ним слоге, скорее всего -ə. Сохранение в финском -oo- перед -i- объясняется, очевидно, тем, что -i- — рефлекс более древнего прибалтийско-финского звука среднего ряда -i̯- [7, с. 293], перед которым могли выступать, не переходя в свои переднерядные соответствия, гласные заднего ряда. Появление конечного -а в рус. постмер. *Вёкса* вместо *Вёксе* может быть вызвано естественным для славянской системы речных названий воздействием женского рода: река *Десна*, *Москва*, *Волга* ... *Вёкс-а*. Другим, менее вероятным, было бы объяснение изменения окончания чисто внутренним мерянским процессом вторичной утраты вокальной гармонии и в связи с этим замены переднерядных редуцированных в конце слов их заднерядным соответствием (*βöksə > *βöksə̑) с дальнейшим включением топонима в ряд существительных женского рода на -а уже под влиянием русской грамматической системы.

Так же единичны и, пожалуй, еще менее надежны предполагаемые случаи отра-

---

риод, предшествующий сингармоническому, первый и второй гласный основы относились к разным рядам. Это в дальнейшем устранялось обобщением в одном случае ряда первого слога, а в другом — второго... Подобными соображениями руководствовался, по-видимому, автор и в реконструкции досингармонического состояния уральских языков» [28, с. IX].

[14] О произношении *Вёкса* и его старой традиции помимо современного произношения названия у местных жителей, хотя в написании это часто не отражено, свидетельствует передача названия как *Віокса* на одной из старинных карт Галичского озера, хранящихся в Галичском краеведческом музее.

[15] Следовало бы проверить, не связан ли также с ними этимологически вероятнее всего финно-угорский субстратный (муромский?) топоним *Выкса* (отражение исходного *vükse?) в юго-западной части Горьковской [с 1990 г. — Нижегородской. — *Прим. ред.*] обл.

жения возможного в мерянском языке звукотипа ӱ. Учитывая, что он совершенно чужд русской фонетике, его можно усматривать в мерянских словах, где постмер. и(і) в прибалтийско-финских языках соответствует ӱ (фин. y). Чаще всего звук ӱ в русском, особенно в словах, проникших книжным путем, субституируется ю (у с прейотацией или после смягченного согласного): нем. Günter – рус. *Гюнтер*, нем. über – рус. *юбер*, фр. Humanité – рус. *Юманите*, фр. surréalisme – рус. *сюрреализм*. Однако при устном заимствовании он в силу своей артикуляционной связи в русском как с -у- (по лабиализованности), так и с -и- (по принадлежности к звукам переднего ряда высокого подъёма) мог передаваться также звуком и, например, в проникшем устным путем из немецкого *фриштык* (разг.) «завтрак» < нем. Frühstück, ср. также рус. (шутл.) «Морген фри нос утри» < нем. morgen früh «завтра утром» по поводу легкости немецкого завтрака. Поэтому нельзя исключить, что постмерянское рус. (арг.) *икания(-не)* «одна копейка» (Яр. губ. – Углич) Свеш 82, (Костр. губ. – Кин) ТОЛРС XX 138, где корню ик(а) соответствуют мар. *ик* (ik) «один», эст. üks, ф. yksi, может отражать не мер. ikan'a (ikane) «(уменьш.) один (единичка)», а ükańa. Не исключено, что первоначально существовавший в мерянском языке звукотип ӱ постепенно, с развитием меряно-русского двуязычия и все большим влиянием русской фонетики на мерянскую, был заменен звуком і. В таком измененном виде соответствующие мерянские слова вошли в русский в качестве мерянских субстратных включений. С этой точки зрения показателен пример ливского языка, в котором под влиянием латышского, фонетической системе которого также чужды звуки ӧ и ӱ, эти звуки постепенно исчезли, заменившись соответствующими нелабиализованными, ср.: «Гласные ӧ, ӱ были утрачены ливским языком в результате делабиализации (ӱ > і, ӧ > е), которая распространилась под влиянием латышского языка…» [18, с. 139]. О том, что этот процесс протекает в ливском буквально на глазах истории, свидетельствует следующее замечание исследователя ливского языка Э.Э.Вяари: «В восточноливском говоре гласными фонемами являются а, ä, о, u, е̯, е, о, і, в западном говоре – а, ä, о, u, е̯, е, і (у более пожилых ливов также ӱ)» [Там же]. Более показательны, однако, не подобные случаи, где, опираясь на факты и аналогичные процессы родственных языков, можно ограничиться только предположениями, а те примеры постмерянских включений, где отражен, – видимо, диалектный, – факт перехода мер. u в ӱ (или і), причем иногда отражено даже колебание между -'у-(-ю-) и -и-, что, скорее всего, является свидетельством наличия в данном случае звука ӱ, передаваемого то с помощью русского ю, то русским и, ср. названия рек: *Шордик* (Šordik) (Костр. губ. – Кол) Vasmer 377; *Шарниха* (Šarnicha) (Костр. губ. – Юрьев) Vasmer 383; *Пенюх*/*Пениx* (Penjuch, Peńuch/Penich) (Вл. губ. – Горох) Vasmer 934; *Ландих* (Landich) (Вл. губ. – Горох) Vasmer 394-395; *Тюних*/*Тюниха* (Tjunich/Tjunicha) (Вл. губ. – Шуй) Vasmer 395; *Вондюха* (Vondjucha) (Вл. губ. – Александр) Vasmer 400[16]. Увязывая первый компонент этих названий преимущественно с марийскими словами, М.Фасмер по-разному трактует второй компонент. Так, в гидрониме *Шордик*, говоря о его связи с мар. šarδə «лось», он совершенно не касается компонента -ик, который, поскольку наименование не является славяно-русским по происхождению, вряд ли может рассматриваться как русская морфема. Гидроним *Шарниха* рассматривается им как состоящий из мар. šarnə «ракита» (Salweide) + рус. суффикс -иха. Что касается названия р. *Пенюх* (*Пениx*), где едва ли засвидетельствован другой компонент (скорее всего, лишь его вариант), то его он находит возможным рассматривать в качестве составной части соответствующего мерянского, в его понимании диалектного марийского, слова, сопоставляя с мар. рəńеүə, puńеүə, (pińəiүə) «щенок», отличающимся от данного гидронима как корневой, так и суффиксальной частью, ср. мар. *пинéге* «щенок», мар. г *пӹнéгы* «то же». Гидроним *Ландих* (Landich) рассматривается М.Фасмером как

[16] Возможно, как первоначально связанное с этими названиями следует рассматривать и название р. *Микшица* (Mikšica) < **Микшиха*? (Костр. губ. – Кин) Vasmer 384.

сложившийся из трех частей, сопоставимых с мар. *ландака* «небольшая низина, низкое место (особенно в лесу)» + мар. joγə «река» + мар. суффикс -ика. Название *Тюних* анализируется в качестве связанного с мар. təŋ/tüŋ «устье реки» + преобразованное мар. joγə «река». Точно так же, то есть на соответствующее связанное с марийским слово βondo «стебель, камыш» + мар. joγə «река», членит он и гидроним *Вондюха*. Очевидно, более логично видеть во всех указанных вторых компонентах результат диалектного развития исходного мер. *joGə(< -ə), возможно, подвергшегося влиянию со стороны близкого по форме русского суффикса -иха. Однако для того, чтобы подобное сближение стало допустимым, фонетическое развитие мерянского слова должно было идти вначале в сторону сужения гласного -o- в -u-, а затем, очевидно, под влиянием еще сохранившегося гласного переднего ряда -ə- — в сторону его перехода в гласный переднего ряда -ü-. Это преобразование вокализма сопровождалось, видимо, трансформацией интервокального -G- во фрикативный -γ-, поэтому слово через стадии *joGe > joγə > *juγə > *jüγ(ə) должно было приобрести форму *jüγ > *jüh «река», что в северно-русской речи при отсутствии звуков, адекватных мер. ü и γ/h, неизбежно давало -их или -юх. Поскольку в славянском языковом сознании слово «река» связано с представлением о женском роде, постмерянское -их могло быть вторично сближено с русским суффиксом -иха, что вызвало появление соответствующей формы в гидронимах постмерянской языковой территории. Следовательно, есть основания считать возможным существование в мерянском звукотипов ö и ü.

Данные сохранившихся мерянских по происхождению апеллятивов и ономастики позволяют предположить наличие в этом языке также редуцированных звуков. На это указывают случаи выпадения гласных, ср.: *ul'ša «бывший» — рус. (арг.) *ульшага* «покойник < бывший» (Яр. губ. — Углич) Свеш 92); *ul'šma «гибель, смерть < бывшенье, переход в бывшее» — рус. р. *Ульшма* (Костр.); *juk «река» — р. *Юг* (Вл) < *joGə (<-ə); *urma «белка» — рус. (диал.) *урма* (Костр. губ. — Кол ООВС 240) < *oraβa, ф. orava «то же». Указанные изменения не могли происходить минуя стадию перехода гласных полного образования в редуцированные, которые затем выпадали, давая нуль звука (с палатальностью в случае редукции гласного переднего ряда). Поскольку вызвавшая эти переходы причина, — очевидно, сильное инициальное ударение, — продолжала существовать, наряду с выпадением гласных должна была происходить редукция вокализма послеударных слогов, приводившая не к исчезновению их, во всяком случае сразу, а к появлению редуцированных. Отсутствие в русском языке редуцированных в качестве отдельных фонем и существование их только как позиционных вариантов гласных полного образования, связанное с отсутствием необходимости передачи их на письме особыми знаками, а также то, что все постмерянские лексические единицы в качестве неотъемлемой части русской лексики подвергались в ее системе неизбежной адаптации, крайне затрудняет обнаружение мерянских редуцированных и точное установление их характера. Наиболее вероятно их употребление в конце слова, хотя подобный вывод можно делать, скорее исходя из косвенных данных.

О существовании редуцированного (скорее всего ə̂, то есть заднерядного) свидетельствует монотонность конца слов у мерянских существительных по сравнению с их соответствиями в родственных языках. Ряду гласных высокого и среднего подъема в постмерянских словах противостоит один звук а, ср.: р. *Кега* (Костр. губ. — Кин) Vasmer 382 — ф. käki «кукушка»; р. *Кера* (Костр. губ. — Нер) Vasmer 386 — ф. keri «кора, выросшая на березе на месте содранной бересты»; р. *Тома* (Костр. губ. — Солигал) Vasmer 380 — ф. tammi «дуб»; рус. (диал.) *вяха* «немного, пустяк» (Яр, Костр) КЯОС — эст. vähe «мало»; рус. (диал.) *ведьма* «перемет (бечевка или леска, на которой укреплен ряд крючков для ловли рыбы)» (Костр — Галич) Востр II 28 — морд. Э *ведьме* «повод, ремень; завязка, бечевка; конец, обрывок нити»; р. *Ширтья* (Костр. губ. — Ветл) Vasmer 374 — ф. saarni «ясень»; р. *Локша* (Костр. губ. — Кин) Vasmer 383 — ф. laakso «долина»; р. *Курга* (Яр.

губ. — Мышк) Vasmer 392-393 — ф. kurki «журавль»; р. *Нула* (Вл. губ. — Горох) Vasmer 394 — ф. nuoli «стрела». Подобное сведение нескольких гласных к одному может быть только результатом их недостаточно четкой артикуляции, то есть редукции, которой в первую очередь подвергались гласные высокого подъема (как типологическую параллель ср. праславянские (старославянские, древнерусские) редуцированные, которым в других индоевропейских языках, как правило, соответствуют краткие u, i: стсл. *сынъ* — лит. sūnus, псл. *mьgla — лит. migla). Очевидно, возникавший редуцированный в зависимости от предшествующего ему гласного переднего или заднего ряда мог соответственно также относиться к переднему или заднему ряду, то есть представлять собой звукотип ə или ə̂. Реальное существование обоих звукотипов в мерянском, как правило, не даёт возможности предположить непосредственные данные, поскольку в конце слова, несмотря на то, что чаще всего здесь можно допустить переднерядный гласный полного образования, всюду выступает а, который скорее представляет собой отражение заднерядного редуцированного ə̂. По-видимому, наличие -а следует рассматривать не столько как отражение действительного тембра редуцированного, сколько как результат адаптации переднерядного редуцированного, передаваемого в русском языке субституцией -е, системе славяно-русских родовых окончаний, где в названиях рек было естественным тяготение к формам женского рода. Таким образом, оправданным представляется предположение о том, что рус. (постмер.) а возникло в конце мерянских слов как отражение двух мерянских редуцированных — ə̂ и ə.

Рассмотрение лексического материала мерянского происхождения позволяет говорить о том, что для мерянского вокализма в целом были свойственны следующие звукотипы: а, о, u, i, е, ä, ö, ü, ə̂, ə. Среди них с наибольшим основанием в качестве фонем можно рассматривать а, о, u, i, е, ä (возможно, две последние являлись позиционными вариантами одной фонемы). Что касается переднерядных лабиализованных ö, ü и редуцированных ə̂, ə, то из-за недостаточной определенности их употребления нельзя абсолютно точно говорить об их роли в фонетической системе. Не исключено, что все эти звуки были в мерянском языке только вариантами фонем. На основании имеющихся данных трудно говорить также о явлении сингармонизма в мерянском. Непосредственных данных, подтверждающих его существование, в настоящее время нет.

Точно так же ничего не свидетельствует прямо о возможности существования в мерянском различения долгих и кратких гласных, хотя русский язык, как не имеющий количества, вряд ли мог бы его отразить. Косвенные данные — отсутствие количества в языках, окружающих мерянский, в том числе прибалтийско-финском вепсском, — заставляют предположить, что оно отсутствовало также в мерянском, хотя отдельные случаи появления в нем долгих гласных (в новых закрытых слогах) можно допустить.

Как указывает ударение в русских топонимах мерянского происхождения (*Ко́стома*, *Ки́нешма*, *Не́ро*, *Я́хрома*, *Чу́хлома*, диал. *Ко́строма* КЯОС 94), в мерянском, как во многих финно-угорских языках, оно было скорее всего инициальным, начальным. Явление редукции конечных и выпадения срединных слогов свидетельствует о том, что оно было сильным и имело центрированный характер, то есть побочное ударение не возникало или было очень слабым.

Консонантизм

В отличие от вокализма, характеризующегося в противоположность прибалтийско-финскому относительной бедностью состава (отсутствие дифтонгов, а также, видимо, долгих гласных), мерянский консонантизм имел значительно большее количество звукотипов.

В состав мерянского консонантизма, в частности, входили глухие взрывные p, t, k.

Звукотип p, засвидетельствованный в ряде топонимов, распространенных на мерянской территории, в том числе особенно типичных для нее названиях населенных пунктов со вторым компонентом -бал(о), -бол «деревня», и в ряде апеллятивов мерянского происхождения отличался в ме-

рянском языке позиционной ограниченностью. Во всех примерах он расположен или в начале слова, или рядом с другим глухим согласным: *peZa(-ə̑) «гнездо» – н.п. *Пезо(бал)* (Pezobal) (Костр. губ. – Кол) Vasmer 417, р. *Пеза* КГЗ 158 (ср. ф. pesä «гнездо», эст. pesa, саам. Н bæsse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжа́ш*, мар. Г *пӹжаш* «то же», удм. *пуз* «яйцо», коми *поз* «гнездо», хант. (конд.) p`it, манс. *пити*, венг. fészek, нен. *пидя* < *урал. pesä MSzFUE I 205, ОФУЯ 404, КЭСКЯ 223, SKES III 531; *peń(ə) «собака» – р. *Пенях*/*Пениx* (Penjuch, Peńuch/Penich) (Вл. губ. – Горох) Vasmer 394 < Peńjüy/h «Собачья (букв. – собака) (река)»[17] (ср. ф. (народно-поэт.) peni «собака», (лит.) penikka «щенок», эст. (диал.) peni «собака», pini, саам. Л pā̄na, морд. *пине*, мар. *пий*, удм. *пуны*, коми *пон* «то же», венг. fene < *pene «?» (в проклятии: egye meg a fene «пусть съест его fene (собака?)», как семантическая параллель – рус. *пес его заешь!)* < ф.-уг. *pene-) NSzFUE I 200, КЭСКЯ 224-225; *palo «деревня, село» – н.п. **(Нуш)поло* ((Nuš)polo) < **(Нуш)пало*, возможно, вследствие сближения с *поле*, (Nuš)palo «(Крапивная) (букв. – крапива) деревня», *nuš «крапива» – мар. *нуж* «то же» (Вл. губ. – Александр) Vasmer 418; н.п. *(Муш)пол*/(Muš)pol, где первый компонент, по мнению М.Фасмера, этимологически сопоставим с мар. *мӱкш* «пчела» (Яр. губ. – Пош) Vasmer 417; н.п. *(Ки)бало*/(Ki)balo (1578 г.) < *(Ki)Balo «(Каменная) (букв. – камень) деревня» (Вл. губ. – Суздаль) Vasmer 417. Всюду в качестве второго компонента выступает слово *palo, иногда видоизмененное в результате утраты конечного гласного или в интервокальной позиции (мер. palo этимологически связано с хант. (вост.) puγəl «деревня», манс. *па̄выл*, венг. falu, мн.ч. faluk/falvak «то же» < угор. (-мер.?) * palγs «деревня, селение» MSzFUE I 180-181).

Единичен случай употребления р в середине слова, причем в интервокальной позиции: мер. *šopo(-ms) «рубить, колоть», *šopamo «рубка, колка (дерева, дров)» – рус. *шопа́ть* «колоть лучину специальным ножом» (Костр – Краснос) (ср. морд. М *шапомс* «рубить (только о срубе)», морд. Э *чапомс* «рубить (сруб); делать зарубку; отбивать (жернов)», коми *тшапны* «зарубить, засечь, сделать зарубку» < ф.-уг. *čarpz- >[18]. Очевидно, сохранение р в интервокальной позиции здесь следует объяснять тем, что он является рефлексом ф.-уг. -рр-.

В интервокальной позиции и положении между сонорным и гласным вместо п в постмерянских включениях русской ономастики выступает регулярно б, напр.: *Атебал* (Atebal) (Моск. губ. – Дмитр) Vasmer 418; *Куткобал* (Kutkobal) (Яр. губ. – Угл) Vasmer 417; *Пезобал* (Pezobal) (Костр. губ. – Кол) Vasmer 417; *Толгобол* (Tolgobol) (Яр. губ. – Яр) Vasmer 416; Шенбалка (Šenbalka) (Вл. губ. – Пересл) Vasmer 417. Очевидно, в приведенных и аналогичных примерах рус. б нельзя воспринимать как отражение мер. b, то есть звонкого взрывного. Этому противоречит то обстоятельство, что параллельно в мерянском должен был существовать звук β, по своему характеру средний между б и в, – об этом говорят нередкие случаи замены б на в и в на б, встречающиеся до сих пор в русских говорах на постмерянской территории (типа *варахло* вместо *барахло* или *бёзли* вместо *возле*), о которых говорилось выше. Одновременное существование б и β в одинаковых позиционных условиях, что можно было бы предположить на основе их написаний, в рамках одной и той же фонетической системы совершенно исключается. Между тем в русских (постмерянских) отражениях мерянских слов находим графему б и в тех случаях, где на основании сравнительных данных можно предположить звук β, и там, где подобное б является позиционным вариантом мер. р (рус. п). Разница между ними заключается в том, что если первому б в родственных языках может соответствовать v (ср. рус. гидроним *Андоба* при ф. antava «дающий», эст. andev «то же»), то второму б в других позициях самого мерянского

[17] Менее убедительным представляется сопоставление М.Фасмера [там же] с мар. рəńeγə, pińeγə, (pińeiγə) (мар. (лит.) *пинéге* «щенок»).

[18] В.И.Лыткин и Е.С.Гуляев [КЭСКЯ 291] в качестве праформы дают *čарз-, которая противоречит ее рефлексам в мордовских и коми языках: -р- как у рефлексов праязыкового -рр-, а не как отражения -р- звуком -v-(-в-) в мордовских языках и ø звука в коми языке [КЭСКЯ 14, 15].

языка должно было соответствовать только п̲ (р̲). Тот же звук выступает (или выступал) в соответствиях родственных языков (ср. рус. (постмер.) *(Толго)бол* при *(Муш)пол* и их инофинно-угорские соответствия: манс. *па̄выл* «село», венг. falu < *palu «то же»). Следовательно, можно говорить о двух постмерянских б̲, отражающих, по-видимому, два разных мерянских звука: один — смешивающийся с в̲ в словах немерянского происхождения русских (постмерянских) говоров и соответствующий v̲ других финно-угорских языков в словах мерянского происхождения, второй — никогда не смешивающийся с в̲, являясь постоянно позиционным вариантом п̲ в мерянском языке, которому в других финно-угорских языках также соответствует р̲ (рус. п̲). Эта разница, существующая между указанными двумя постмерянскими б̲, заставляет видеть в них внешне (графически) одинаковое отражение двух разных по акустическим и артикуляционным характеристикам звуков. Очевидно, подобное единообразие графического отражения вызвано не столько действительным их сходством, тем более тождеством, сколько тем, что особенность русской фонетической системы не давала возможности уловить специфику каждого из них, а несовершенство русской графики, не приспособленной для их передачи, не предоставляло средств для адекватного отражения на письме. Подобная неточность тем более понятна и оправдана, что речь шла не о точном воспроизведении мерянского текста или мерянских слов как таковых, а об органическом включении лексем мерянского происхождения в ткань русского языка, его фонетической системы, что предусматривало не сохранение фонетического своеобразия мерянских слов, а их приспособление к особенностям русских звуков. Все это дает основание предположить, что в б̲, чередующемся (смешивающемся) с в̲, следует усматривать звук β̲, который носители языка с фонетикой, не имеющей его, но располагающей звуками б̲ и в̲, близкими к нему, смешивают с двумя этими звуками (с другой стороны, смешивание звуков б̲ и в̲ характерно для носителей языка, где нет этих звуков, но имеется согласный β̲). Что касается б̲, являющегося позиционным вариантом п̲ (мер. *р̲), то его следует понимать как несовершенное графическое отражение полузвонкого В̲. Поскольку все звуки, входящие в фонетику определенного языка, связаны между собой системными отношениями, принимая мысль о существовании в фонетической системе мерянского языка не звонкого b̲, а полузвонкого В̲ в качестве позиционного варианта глухого р̲ (возможность звонкого b̲ исключалась фактом одновременного наличия в мерянском звука β̲), необходимо принять положение, что под всеми русскими (постмерянскими) графическими отражениями типа д̲ и г̲ кроется также передача не соответствующих мерянских звонких d̲, g̲, а полузвонких D̲ и G̲. Конечно, нельзя исключить полностью то обстоятельство, что по мере усвоения мерянами славяно-русского языка в их язык могли проникать русские звуки, в том числе b̲, d̲, g̲. Однако смешивание глухих со звонкими, тяготение их к определенным позициям, смешивание б̲ и в̲, отмечаемое в русских говорах постмерянских территорий даже спустя длительное время после окончательного исчезновения мерянского языка, заставляют считать, что полное проникновение звонких и вытеснение ими полузвонких вряд ли могло произойти в самом мерянском языке. Это, скорее всего, произошло только при окончательном усвоении русской речи мерянским населением, что часто было связано с полной заменой языка и, таким образом, на мерянский язык повлиять не могло.

Все слова, в которых отмечается отражение полузвонкого В̲, позиционного варианта глухого взрывного мерянского р̲, — несомненные лексемы мерянского происхождения, это подтверждается как их связью с бывшей мерянской территорией, так и тем, что в значительной своей части это наиболее типичные мерянские названия поселений, включающие компонент -бол (-бал(о)).

Звукотип t̲ характерен, как и звукотип р̲, для позиции в начале слова, перед или после глухого согласного и, очевидно, также в абсолютном конце слова, хотя примеры подобного употребления отсутствуют: *tolGa (-ə̑) «перо» — н.п. *Толгобол* (Tolgobol) (Яр. губ. — Яр) Vasmer 416 (ср. саам. H dŏl'ge «перо (птицы)», морд. *толга*,

мар. *(пыс) тыл*, удм. *тылы*, коми *тыв* «то же», хант. (вах.) tŏγəl «крупное перо с крыла или хвоста птицы», манс. toul «крыло» КМРС 104, венг. toll «перо; перо (писчее)», нен. *то* «крыло (птицы)», сельк. (таз.) tuu «перо; крыло», матор. tu «перо», tu-da «крыло» < урал. *tulka «перо, крыло») КЭСКЯ 292, ОФУЯ 400, MSzFUE III 637; *matkoma (-ə̑ma) «путешествие, езда» — р. *Маткома* (Яр. губ. — Пош)[19] Дитмар 66 (ср. ф. matka «путь, дорога», эст. matkama «путешествовать», саам. H muot̄'ke «расстояние, отрезок пути» < ф.-уг. (диал.) *matka «путь, дорога») SKES II 337; *tohta «гнилое дерево, гнилая сердцевина дерева» — рус. (диал.) *тохта* «то же» (Костр — Костр, Кол, Меж, Чухл) (ср. ф. (диал.) tohko «гнилое дерево; старая вещь», эст. tõheta, tõhkeda «становиться больным; крошиться, гнить» < ф.-уг. (диал.) *toht/k- «становиться гнилым, трухлявым») Востр I 50-51; SKES V 1321.

В середине слова между гласными или гласным и сонантом, как показывают примеры, в мерянском языке вместо t выступает его позиционный вариант D. Эта закономерность, напоминающая соотношение между p и B, также выступающими в разных позициях и, следовательно, не способными противостоять друг другу в качестве смыслоразличительных звукотипов, показывает, что в мерянском среди взрывных не было фонематического противопоставления по глухости-звонкости: глухой и полузвонкий взрывной звукотипы представляли собой лишь варианты одной фонемы. Примеры употребления полузвонкого D: *anDoβa «кормящий» < «дающий» — р. *Андоба* (Костр. губ. — Костр) КГЗ 160 (ср. ф. antava «дающий», antaa «давать», эст. andev «дающий», andma «давать», саам. H vuow'det «распределять пищу», морд. *андомс* «кормить», удм. *удыны* «подать питье», коми *удны* (в парном словосочетании *вердны-удны* «кормить-поить»), венг. adni «давать» < ф.-уг. *amta- «давать») MSzFUE I 69; *βäDrä «сильный, здоровый» — рус. (диал.) *неведря* «человек слабый, болезненный» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 122 (ср. морд. Э *вадря* «хороший, красивый; добрый; качественный», морд. М *вадря* «гладкий, приглаженный (о ворсе, шерсти, волосах)»[20]; *tuDoβa «знающий, осознающий» — рус. (диал.) *при-о-тудоб-еть* «окрепнуть» (Костр. губ. — Кол) МКНО (ср. ф. tunteva «чувствующий; знающий», tuntea «чувствовать; знать», эст. tundev, фон. tuǹDev «чувствующий; знающий», tundma «чувствовать; знать», саам. H dow'dât «то же», удм. *тӧдыны* «знать; узнать; помнить», коми *тӧдны* «то же; (уст.) обладать прозорливостью, даром предвидения», *тыдавны* «виднеться; просвечивать», нен. *ту́мдӑ(сь)* «узнать; отметить», эн. tuddabo «узнавать, угадывать», нган. tụmtụ'ama «угадывать», кам. t'əmnɛm «знать, понимать», койб. tymne-mym «(я) знаю» < урал. *tumtę- «знать» < «видеть») ОФУЯ 405, КЭСКЯ 283, 292, MSzFUE III 646-648. Единственный случай, когда D (рус. д) отмечается в начале слова, — рус. (арг.) *дульяс* «огонь» (Костр. губ. — Гал) Вин 45, на основании которого реконструируется мер. Dule (*tulə) «то же», — очевидно, объясняется тем, что его основой послужила форма не в абсолютном начале, а в середине предложения, где в составе синтагмы в позиции после гласного или сонанта мог происходить переход глухого в начале слова в полузвонкий. Следовательно, и этот случай не является исключением из общего правила, допускавшего переход мерянских глухих в полузвонкие только в позиции между гласными или гласным и сонантом (или сонантом и гласным), что в абсолютном начале слова не было возможно.

То же правило относилось, судя по имеющимся данным, к паре позиционных вариантов k-G, где k обнаруживается в (абсолютном) начале слова, перед глухими или после них и, по-видимому, в абсолютном конце (слова и предложения). Что же касается варианта G, то он выступает в интервокальаой позиции и положении между гласным и сонантом (или наоборот), напр.:

1) (употребление звукотипа k) *kutka(-ə̑) «орел» — н.п. *Кутко(бал)* (Kutkobal) (Яр. губ. — Угл) Vasmer 417 (ср. ф. kotka «орел»,

[19] О реальности данного слова как мерянского свидетельствует также явно с ним связанное рус. (диал.) *с-мат-ил* «с пути свел» (Вл. губ. — Судог) ТОЛРС XX 211, зафиксированное в другой части бывшей мерянской территории.

[20] Подробнее см. в разделе «Прилагательное».

эст. kotkas, саам. H goas'kem, морд. kut's'kan «то же», мар. *ку́ткыж* «беркут», *ку́чкыж* «орел», удм. kutš «птица, похожая на орла, но меньше размером», коми *кутш* «орел» < ф.-перм. kočka «то же») SKES II 224-225, КЭСКЯ 148; *šakša «сор, мусор; грязь» — рус. (диал.) *шакша* «снег и лед, плывущие по реке» (Костр — Меж, Пыщ, Шар; Волог — Никол); «грязный сырой снег» (Костр — Меж, Пыщ; Волог — Никол); «отходы при обмолоте клевера или конопли» (Волог — Никол)» Востр II 41 (ср. морд. *сэкс* «грязь», удм. *шакшы* «неряшливый, грязный», *шакта* «сор, мусор, грязь», коми *шактар* «древесный хлам, сор (нанесенный весенним половодьем)», а также кар. tšaks «шкварки от топленого масла» и, возможно, — с другим вокализмом — морд. Э *шукш* «сор, мусор», связанные, несомненно, с предполагаемым мерянским словом) Востр II 41-43; *juk (< *joGə) — р. *Юг* (Костр. губ. — Макар) КГЗ 208 < мер. *juk, отраженного в русском языке как *Юг* согласно русской орфографической традиции и восприятию слова как русского со звонким г, переходящим в конечной позиции в к (ср. ф. joki «река», эст. jõgi, лив. jo'uG, саам. H jokkâ «то же», морд. Э *Ёв* «река Мокша», мар. Г *йо́гы* «течение, поток», удм. *ю* (в парном слове *ю-шур*, где *шур* — также «река»), коми *ю* «река», хант. (казым.) *юхан* «речка», манс. *ӣ* «река», венг. (ст.) jó, нен. *яха*, эн. joha, jaha, сельк. kî, ke «то же», кам. t'aγa «река, поток; речка; ручей» < урал. *jokę «река») ОФУЯ 403, КЭСКЯ 334, SKES II 118, MSzFUE II 339-340;

2) (употребление звукотипа G) *käGâ(-a) «кукушка» — р. *Кега* (Kega) (Костр. губ. — Буй) Vasmer 382 (ср. ф. käki «кукушка», эст. kägu, вепс. kägi, вод. čäko, лив. kä'G, саам. H giekkâ, — вызывавшая сомнение гипотеза о заимствовании этих слов из балтийского (ср. лит. gẽgė «то же») SKES II 259 приобретает еще большую проблематичность в связи с мерянским соответствием); *tolGâ(-a) «перо» — н.п. *Толго(бол)* (Tolgobol) (Яр. губ. — Яр) Vasmer 416 (ср. морд. *толга* «перо», коми *тыв*, хант. (вост.) tŏγəl, венг. toll «то же», нен. *то* «крыло (птицы)» < урал. *tulka «перо, крыло») КЭСКЯ 292, ОФУЯ 400.

Среди собранных примеров, правда, отсутствует случай, когда полузвонкий G выступает в позиции после гласного перед сонантом, однако, исходя из того, что подобная позиция отмечается для полузвонкого D как позиционного варианта глухого t, следует думать, что это объясняется просто ограниченностью примеров, а не принципиальной ее невозможностью. Следовательно, глухой и полузвонкий звукотипы взрывных согласных, соответственно p-B, t-D, k-G, образовывали в мерянском языке позиционно ограниченные варианты, не дававшие возможности их фонематического противопоставления, что исключало их существование в качестве фонем. Отдельные отклонения от этого правила, обусловленные позицией слова в синтагме или происхождением определенных звуков, в силу своей спорадичности не могли существенно изменить положение. Так, в некоторых, очень редких, примерах как будто нарушается это фонетическое правило — иногда глухой находится в интервокальной позиции. Однако при внимательном рассмотрении истории слова обычно обнаруживается, что соответствующий глухой является рефлексом предшествующей геминаты, имевшейся еще в праязыке, или сочетания согласных звуков, которое затем, по-видимому, развилось в геминату, но не образовало долгого согласного из-за их отсутствия в мерянском (как и в мордовских языках). Таким образом, соответствующий глухой в интервокальной позиции сменил предшествующую геминату (сочетание согласных) и, возникнув в период, когда уже перестал действовать закон частичного озвончения согласных в этом положении, не мог подвергнуться его влиянию. Подобный пример, очевидно, представляет собой мер. *ikanä (-ə)/ *ükanä(-ə) (уменьш.) «один» — рус. (арг.) *иканя(-не)* «одна копейка» (Яр. губ. — Углич) Свеш 82, ТОЛРС XX 167, где, казалось бы, следовало ожидать форму *IGanä/*üGanä (-ə), то есть в русском отражении **иганя* (**игане*). Однако, поскольку форма числительного восходит здесь к праязыковому ikte/*ükte, а не *ike/*üke, что, в частности, подтверждается ф. yksi (ükte) «один», эст. üks, саам. ok'tâ (ОФУЯ 423), естественно, что в мерянском, где -k- относительно поздно сменило предшествующее -kt- (возможно, через стадию -kk-),

оно и должно было остаться в этой позиции, неравнозначным обычному -k-, развивавшемуся совершенно иначе[21].

Если не по артикуляции, то по месту образования со звукотипами p и D непосредственно связан звукотип β, представляющий собой губной фрикативный. Исходя из того, что в рассмотренных русских диалектных словах немерянского происхождения, зафиксированных на постмерянской территории, наблюдается смешение б и в, что характерно для языков, имеющих вместо них звук β, — например для марийского, в прошлом смежного с мерянским, — логично предположить, что тот же звук был характерен для мерянского языка[22]. Поскольку звук β обычно не сосуществует со звуком v или w, следует думать, что это относится и к мерянскому языку. Следовательно, во всех тех случаях, где рус. (постмер.) б или в соответствует v прибалтийско-финских или мордовских языков, — часть из них (в начале слова) может продолжать праязыковое w, часть (в середине слова) — праязыковое p, — исследователь вправе предположить употребление мер. β. Только в единичных случаях (подробнее см. в гл. «Грамматика», разделы «Частица» и «Междометие») можно допустить употребление вместо β неслогового u̯, что относилось к словам междометного и близкого к ним значения: *u̯aj — рус. (диал.) *вай* «возглас удивления» (Яр — Пош; Костр — Сусан) ЯОСК; *jou̯ «вот» — рус. (диал.) *ёв* «вот» (Яр — Щерб). Здесь деформация β и его замена u̯ могли вызываться междометным или близким к нему характером слов, с чем были связаны меньшая четкость артикуляции и возможность употребления звуков, в целом нетипичных для фонетики. В остальном мерянское β должно было употребляться и в случаях исконного праязыкового w, и там, где оно возникло закономерно как результат ослабления артикуляции праязыкового p в середине слова и перехода его в соответствующий фрикативный ср.: *anDoβa «кормящий» (р. *Андоба* — Костр) — ф. antava < *antapa «дающий» (о переходе финского суффиксального -pa > -va см. у Л.Хакулинена [116, ч. I, с. 125-126]); *konDoβa «несущий» (р. *Кондоба* — Костр) — ф. kantava < *kantapa «то же»; *tudoβa «знающий, осознающий» (рус. (диал.) *при-о-тудоб-еть* «окрепнуть» — Костр. губ. — Кол, МКНО) — ф. tunteva «чувствующий, знающий»; *βäDrä «сильный, здоровый» (рус. (диал.) *неведря* «хилый, больной» — Яр — Пош КЯОС 122) — морд. Э *вадря* «хороший, красивый; добрый; качественный», морд. М *вадря* «гладкий» (о ворсе, шерсти, волосах); *βähə̑(-a) «мало» (рус. (диал.) *вяха* «немного (Костр — Парф); пустяк — Яр — Рост, ЯОСК)» — ф. vähä(n) «мало», эст. vähe «то же»; *βeD′mə «перемет» (рус. (диал.) *ведьма* «то же» (Костр — Гал) Востр II 28) — морд. Э *ведьме* «повод, ремень; завязка, бечевка; конец, обрывок нити»; *kirβäs «топор» (рус. (арг.) *кирбяс* (Яр. губ. — Углич) Свеш 89) — ф. kirves «то же» < балт., ср. лит. kir̃vis «топор», SKES I 200[23]; *urma

[21] Не исключена возможность подобного объяснения для мер. koka «тетя; крестная (ср. рус. (диал.) *кока* «тетя по родству; название старшей дочери для младших детей; крестная мать» (Яр — Рост, Первом) ЯОСК — мар. *кока́* «тетя»). Марийское и мерянское слова, очевидно, этимологически связаны с морд. Э *кака* «дитя, дитятко» (возможно, первоначально ласковое название первенца, первой дочери), о чем говорит и фонетическая закономерность: марийское (вторичное) (-)o- в начале слова часто соответствует a других финно-угорских языков, в частности мордовских [25, с. 103-106]. Имея в виду аффективно-ласкательный характер слова, вполне возможно допустить здесь существование в древний период геминаты, наблюдаемой и в некоторых других аналогичных случаях, ср. ф. ati «тесть, свекор» как соответствие венг. atya «отец» и варианты с долгими согласными (геминатами): ф. ätti «отец», эст. ätt «отец; дедушка; старик». Следовательно, мар. *кока́*, мер. *kóka, морд. Э *кака* могут восходить к незасвидетельствованному *kakka «ребенок (особенно первый)», что еще требует проверки с привлечением дополнительных данных.

[22] Об этом также, как уже отмечалось, свидетельствует колебание б/в в формах постмерянского диалектного русского слова мерянского происхождения (ср. *бянки — вянки*, *бени — венечки* «двурогие вилы»), хотя в самом мерянском это слово представляет собой субстратное включение из индоевропейского языка Волго-Окского междуречья.

[23] Не исключено, что предполагаемое мерянское слово, в свою очередь, является заимствованием из прибалтийско-финского (ср. вепс. kirvez «топор»), однако прибалт.-фин. -v- соответствует рус. -б-, а это явный довод в пользу -β- в мерянском. Предположение о непосредственном заимствовании

< *urβa < *oraβa «белка» (рус. (диал.) *урма* «то же» — Костр. губ. — Кол, ООВС 240) — ф. orava < *orapa.

Следовательно, мер. *β̲ выступает и в тех случаях, где в праязыке употреблялся w̲, и там, где (в середине слова) первоначально вступал звук р̲, который затем в результате ослабления был заменен в ряде финно-угорских языков другими звуками или — как в прибалтийско-финских — чередовался с ними в слабых ступенях.

Важно отметить, что звук *β̲ как рефлекс праязыкового *р̲ в середине слова и как предшественник современного v̲ (в слабой ступени) предполагается также для прибалтийско-финских языков, в частности финского, ср.: v̲* < β̲ — lavan, род.п. от lapa «лопатка, лопасть», kivuton «безболезненный» (~kipu «боль»), levätä «отдыхать» (~lepää «(он) отдыхает)» [116, ч. I, с. 58]. В то же время для марийского, где в настоящее время отсутствуют звуки v̲ и w̲ [42, с. 38] и употребляется только β̲, выступающее на месте и праязыкового -р̲- в середине слова [53, с. 137], и праязыкового w̲ (ср. мар. βerγe / βärγə «(анат.) почки» — коми börk (vörk) «то же») [42, с. 38; 54, с. 68], в прошлом был характерен звук w̲ (как и для всех финно-угорских языков, унаследовавших праязыковые звуки) [53, с. 118]. Очевидно, это различие в прибалтийско-финской и марийской фонетике следует объяснять тем, что марийский длительное время сохранял w̲, выступавшее еще при ослаблении праязыкового р̲ в середине слова и переходе его в *β̲, а в прибалтийско-финских языках праязыковое w̲ было заменено согласным v̲. Поскольку согласные β̲ и w̲ чрезвычайно близки по своей артикуляции (звука b̲ в марийском в это время не имелось, даже теперь он входит в него только с заимствованиями), один из этих звуков неизбежно вытеснялся другим. В марийском, очевидно, после периода параллельного употребления обоих звуков и их смешивания, перевес оказался на стороне β̲, он вытеснил полностью даже этимологически исконный w̲. В прибалтийско-финских языках, где употреблялся звук v̲, фонетически более далекий от β̲, и также отсутствовал b̲ (как возможная частичная замена звука β̲, ср. субституции мерянских слов с β̲ в русских говорах), звук v̲ как более традиционный, сохранив все свои унаследованные от праязыкового w̲ позиции, вытеснил *β̲ даже в тех местах, где тот закономерно заменял праязыковое внутрисловное *р̲ и где v̲ никогда прежде не употреблялся, то есть произошла субституция β̲ звуком v̲. Указанный процесс привел к тому, что в настоящее время марийскому абсолютно не свойствен w̲, прежде в нем употреблявшийся, а в прибалтийско-финских языках не получил развития закономерно появившийся в нем как позиционный вариант *р̲, согласный β̲. Мерянский язык, в котором, судя по имеющимся данным, был широко распространен звук β̲, вытеснивший более древний w̲, в этом отношении отличается от прибалтийско-финских и мордовских языков и стоит ближе к марийскому.

Вместе с тем мерянский, мордовские и марийский языки от прибалтийско-финских отличает еще одна особенность. В нем отсутствует чередование ступеней согласных, характерное для большинства прибалтийско-финских языков, благоприятной почвой для развития которого в них могло послужить сохранение геминат, утраченных мерянским, мордовскими и марийским языками. В связи с этим следует заметить, что потенциально возможная оппозиция трех ступеней, связанных со взрывным р (р̲-В̲-β̲), в мерянском едва ли представлена, поскольку вариант с В̲ в середине слова в обнаруженных примерах характерен только для композит, в частности для начала второго компонента. Других случаев сохранения р̲ в виде его полузвонкого варианта В̲ в середине слов не обнаружено. Единственный несомненный случай праязыкового -р̲- в середине слова (суффикс -β̲a/-β̲ə̂ < *-р̲a в слове *tudoβa и под.) свидетельствует о том, что он в этой позиции переходил в -β̲-. Следовательно, скорее всего, мер. -р̲- в отличие от прибалтийско-финских и саамских языков в середине (простого) сло-

---

слова из вепсского (тем более балтийского) в русский маловероятно из-за удаленности этих языков, наиболее обоснованно считать его субстратным включением в русский непосредственно из мерянского, в пользу чего говорит и -б̲- как отражение мер. -β̲-; русский язык передал бы прибалт.-фин. и балт. -v̲- своим -в̲-.

ва никогда не сохранялось, переходя в β, как и в марийском языке. Происходил ли также здесь переход -р- > -j-, как это наблюдается в марийском языке (ср. мар. *шӱй* «шея» при ф. serä «передняя часть саней»), или мерянскому языку в этой позиции свойствен был только переход -р- > -β- подобно тому, как в мордовском здесь возможен только переход -р- > -v- [53, с. 135, 137], на основании имеющихся данных сказать невозможно.

Мы можем предположить, что, находясь в середине слова (в интервокальной позиции и положении между гласным и сонантом), мер. t регулярно переходило в полузвонкое D. Так как, судя по всему, t в середине слова могло сохраняться только рядом с глухим согласным, в сущности, в группе (паре) согласных, и этой чертой мерянский язык больше напоминает волжско-финские, а не прибалтийско-финские и саамские языки, где t в интервокальной позиции вполне возможно и где оно образует основу для чередования ступеней согласных. Чередованием вариантов t (в начале слова) и D (в середине слова) мерянский похож на мордовские языки, где соответственно выступают варианты t-d (ср. морд. Э *тумо* «дуб» — *сядо* «сто»). Однако не исключено, что, по крайней мере диалектно, мерянскому языку в данной позиции так же, как и марийскому, мог быть свойствен и межзубный фрикативный δ как соответствие начальному t. На такую возможность указывает название р. *Илезома* (Костр. губ. — Кол) КГЗ 144, образующее явную параллель с названием р. *Ильдомка* (Костр. губ.) Семенов 233 (ср. также н.п. *Ильдомское*, *Ильдом* — Яр. губ. — там же). Как известно, звук δ носителями языков, где он отсутствует, обычно смешивается с д или з[24]. Поэтому пример передачи одного и того же названия, где в одном случае употреблено -д-, а в другом — -з-, может быть сигналом того, что идет речь о межзубном мер. -δ- и попытках передать его с помощью средств русской фонетики. Очевидно, переход праязыкового t в δ в середине слова (в интервокальной позиции) типа il′(ə)δoma вместо обычного il′Doma «безжизненный» (ср. мар. *илыдыме*, фон. iləδəme «нежилой; необитаемый») не был для мерянского языка повсеместным явлением, иначе он бы нашел отражение в значительно большем количестве примеров. Судя по месту фиксации примера (быв. Кологривский уезд Костромской губ.), данное явление скорее всего было характерно для крайней восточной части мерянской языковой территории, там, где она соприкасалась с территорией марийского языка. Не исключено, что своим возникновением эта, по-видимому диалектная, черта мерянского языка была обязана марийскому языковому влиянию.

Исходя из того, что в интервокальной позиции k в мерянском языке, как правило, только частично озвончалось, переходя в полузвонкое G (ср. уже упоминавшиеся примеры типа р. *Кега*), а отражения мерянских слов с x соответствуют прибалтийско-финским (реже венгерским) словам с h (ср.: р. (диал.) *вяха* «немного» (Яр, Костр.) ЯОСК, *тохта* «гнилое дерево» (Костр.) Востр I 50, *халеть* (Костр. губ. — Кин) «умирать» МКНО — ф. (диал.) tohko «гнилое дерево, старая вещь», эст. vähe «мало», венг. (meg) halni «умирать»), можно считать, что и для мерянского языка было характерно положение, сложившееся в прибалтийско-финских языках, сохраняющих, — правда, в чередовании с -v- (< *γ), — с частичным озвончением k в интервокальной позиции и развивших звук h, который в северно-русских (постмерянских) говорах передается в словах мерянского происхождения как x. Особенно показательны в этом отношении названия рек, сохраняющие второй компонент *joGə «река», ср.:

1) (примеры, отражавшие исходную форму *joGə) р. *Шордога* (Šordoga) (Вл. губ. — Юр.-Пол), первая часть сопоставляется с мар. šorδə «лось» — Vasmer 399; р. *Шорнога* (Šornoga) (Вл. губ. — Александр), первый

[24] Оба способа этой несовершенной передачи межзубного (например, в английском языке) носителями русского языка широко известны и получили отражение в русской литературе, ср.: 1) (как д) Тебя ослепило, ты осовел. Но как барабанная дробь, из тьмы по темени: «Кофе Максвел гуд ту ди ласт дроп» (= good to the last drop «хорош до последней капли») (В.В.Маяковский, Бродвей); 2) (как з) «Зе воркс оф Шакеспеаре» (= The works of Shakespeare) ...Шекспир! Гулять идете и то книжку с собой берете, да еще на английском языке! (В.Вересаев, Супруги).

компонент сопоставляется с мар. šarDńe «ветла, ракита», ф. saarni «ясень» — Vasmer 400; р. *Вандога* (Vandoga) (Вл. губ. — Переясл), первый компонент сопоставляется с мар. βondo «стебель; камыш» — Vasmer 401;

2) (примеры более поздней формы *juGə) р. *Колюга* (Koljuga) (Костр. губ. — Варнав), первая часть сопоставляется с мар. kol «рыба» — Vasmer 374; р., н.п. *Вичуга* (Vičuga) (Костр. губ. — Кин), первая часть сопоставляется с мар. viče «название р. Белой (в Башкирии)» — Vasmer 383; р. *Ванчуга* (Vančuga) (Вл. губ. — Судог), первая часть сопоставляется с мар. βanžem «перехожу, переезжаю» — Vasmer 396-397.

О том, что полузвонкий взрывной согласный G, позже перешедший в конце слова в соответствующий глухой (G > k) сохранялся здесь до полного исчезновения конечного гласного, свидетельствуют формы с глухим -k в конце наиболее поздней формы *juk, передаваемой согласно русской орфографической традиции как *юг* (*Юг*)[25], ср.: р., н.п. *Портюг* (Portjug) (Костр. губ. — Кол), в первой части сравнимое с мар. pört «дом, изба, хата», ф. pirtti «изба» — Vasmer 376; р. *Юг* (Jug) (Костр. губ. — Макар; Яр. губ. — Пош; Вл. губ. — Горох), сопоставляемое с мар. jaγə̑ «течение, поток», хотя с семантической и формальной стороны здесь больше оснований для сравнения с ф. joki «река», эст. jõgi «то же» — Vasmer 377-378, 391, 394. Возможно, сюда же относится (очевидно, отражающее диалектную форму *jük «река») и название р. *Шордик* (Šordik) (Костр. губ. — Кол), в первой части сопоставляемое с мар. šorδə «лось» — Vasmer 377, хотя сам М.Фасмер никакого объяснения конечной части слова, — видимо, его второму компоненту — не дает.

В отличие от приведенных форм, совершенно определенно отражающих сохранение мер. k (с частичным озвончением) в интервокальной позиции, засвидетельствованы и другие формы того же слова, где вместо рус. к и г как отражений мер. k и G выступает х. По-видимому, данное явление в мерянском языке носило сугубо локальный, ограниченно диалектный характер, так как в противоположность формам с k (G), засвидетельствованным в разных, часто совершенно противоположных частях бывшей мерянской территории (в быв. Ярославской, Костромской и Владимирской губ.), формы с х отмечаются на сравнительно ограниченном пространстве, связанном в основном с ее юго-востоком (быв. Александровский, Гороховецкий и Шуйский уезды Владимирской губ. и Юрьевецкий уезд Костромской губ.):

1) (второй компонент -юха) р. *Вондюха* (Vondjucha) (Вл. губ. — Александр), первый компонент сопоставим с мар. βondo «стебель, камыш» — Vasmer 400;

2) (второй компонент -иха) н.п. *Шарниха* (Šarnicha) (Костр. губ. — Юрьев), первый компонент сближается с мар. šarńə «ракита» — Vasmer 383;

3) (второй компонент -их) р. *Ландих* (Landich) (Вл. губ. — Горох), первый компонент сближается с ф. lanto «низменность, низкое место, долина», эст. laas (ген. laane) «пуща, бор» — Vasmer 391-395;

4) (колебание в форме второго компонента: -юх/-их) р. *Пенюх*/*Пениx* (Penjuch, Peńuch/Penich) (Вл. губ. — Горох), слово в целом сопоставляется М.Фасмером с мар. pəńeγə «щенок», хотя логичнее видеть в нем сложное образование из мар. peń(ə) «собака» и второго компонента, связанного с мер. *joGə «река» — Vasmer 395. Приведенные примеры свидетельствуют, что в части мерянских говоров -k- в интервокальной позиции (очевидно, через стадию G) постепенно переходило во фрикативное γ, как в марийском языке в целом (ср. мар. *йог-* (joγ-) «течь» при ф. joki «река»). Возможно, это γ позже было заменено звуком h. Другой случай перехода предполагаемого первоначального интервокального -k- в -γ-, а затем в -h-, получивший, видимо, более широкое распространение в мерянском языке, отражен в мер. *jährə «озеро», возникшем на основе предполагаемого и-е. (субстр.) *jə̑gero-/-e. Стадия -γ- (с его дальней-

[25] Причиной появления конечного -г, произносимого в русском литературном языке и северно-русских говорах как -к, могло быть и то, что в косвенных падежах мерянского слова -k-, оказавшись между гласными, произносилось как полузвонкое G (напр., *juGen, род.п. ед.ч. «реки»), воспринимавшееся русскими как русское г.

шим переходом в -v̲-) была на определенном этапе исторического развития свойственна и прибалтийско-финским языкам (рефлекс этого -γ̲-, перешедшего затем в -w̲-, находим, очевидно, отраженным в саам. Н jaw're «озеро», лив. jā̊re и — с метатезой — в ф. järvi эст. järv). Разница между мерянским и прибалтийско-финскими языками заключается в том, что прибалтийско-финский это -γ̲- заменил звуком -v̲- или утратил (ср. ф. joki «река», ген. joen < *joγen), а мерянский его сохранил, очевидно, позже преобразовав в h̲. Из данных примеров видно, что в части своих говоров (очевидно, большей) мерянский в развитии интервокального -k̲- пошел по пути развития прибалтийско-финских языков, но в отличие от их большинства не развил чередования ступеней согласных. В другой части мерянских говоров (видимо, меньшей) переход -k̲- в -γ̲- (возможно, с переходом позже -γ̲- > -h̲-) получил большее развитие, в чем они приближались к марийскому языку, хотя пока не известно, касался ли переход интервокального -k̲- в -γ̲- всех случаев его употребления, как в марийском языке, или был чем-то ограничен. Судя по имеющимся и доступным исследованию фактам, в отношении трех фрикативных -β̲-, -δ̲- и -γ̲-, развившихся в мерянском языке из интервокальных -p̲-, -t̲-, -k̲-, можно констатировать три изоглоссы, проходящие по мерянской территории. Если изоглосса перехода -p̲- в -β̲- наиболее широка, охватывая, по-видимому, всю мерянскую языковую территорию (ср. мер. *kirβäs на ее крайнем западе, в Угличе), то территория, охваченная изоглоссой широкого перехода -k̲- > G̲- в -γ̲-, касающаяся только юго-восточных районов, значительно уже. Совсем небольшой, видимо, была область, где отмечается переход -t̲- > -D̲- в δ̲ в середине слова. В целом по признаку спирантизации взрывных в середине слова область мерянского языка представляется переходной зоной от марийского и мордовского языков к прибалтийско-финским языкам.

Кроме заднеязычного взрывного глухого k̲ с его полузвонким вариантом G̲, в отношении мерянского на основании ограниченного количества примеров можно, очевидно, предположить существование звукотипа ŋ̲, заднеязычного звонкого носового, известного еще финно-угорскому праязыку [53, с. 118], ср.: р. *Конгора* (мер. *koŋ(G)ora (Kongora) (Яр. губ. — Пош), сопоставимое с ф. kangar, kankare «песчаный холм» — Vasmer 392; н.п. *Шунга* (*мер. šuŋ(G)ə̂/ *šüŋ(G)ə (Костр. губ. — Костр), сопоставляется с мар. šüŋgä «маленький холм» — Vasmer 385; *paŋ(G)ə̂ «гриб», рус. (диал.) *панга* «губа, губка на древесных породах» (Костр. губ. — Ветл) МКНО, сопоставимое с морд. М *па́нга* «гриб», морд. Э *панго*, мар. *понг'о* «то же», манс. *па̄ӈх* «мухомор», нган. fanka «быть пьяным (от напитка из грибов)» < (урал. *paŋka «гриб»[26] — Alvre II 57, Collinder 408. На основании имеющихся данных определить фонематическую значимость данного звукотипа невозможно.

Среди слов, явно связанных по происхождению с мерянским языком, обнаруживается довольно много примеров, при воспроизведении которых употребляется буква x̲, отражающая их произношение в современных русских говорах с постмерянской территории. Здесь можно усматривать противоречие, поскольку звука x̲ в мерянском языке, как в финно-угорском праязыке и большинстве современных финно-угорских языков, не существовало. Об этом говорят постмерянские особенности русской диалектной фонетики, часть которых может обнаруживаться в славяно-русских заимствованиях мерянского: здесь русское x̲ передается звуком к̲. Объяснить это кажущееся противоречие можно исходя из того, что русское x̲ является отражением абсолютно несвойственного северно-русским говорам h̲ или — реже — γ̲. Как известно, здесь даже в тех случаях, где в русском литературном языке употребляется γ̲ фрикативное (например, в междометиях *ага*, *ого*), последовательно выступает звук x̲. В связи с тем, что там, где в постмерянских словах русских говоров выступает x̲, в прибалтийско-финских (реже венгерском) ему, как правило, соответствует h̲, есть

[26] Другое объяснение слова, вряд ли более убедительное, дает О.В.Востриков [16, с. 32-33], который, исходя из семантики «гнилое дерево», сближает слово с саам. po̯ⁿk̯'k̯ᴱ «гнилое дерево».

основания считать, что в мерянском в соответствующих словах употреблялся глухой ларингальный согласный h[27]. Этот согласный, в частности, можно предположить в следующих словах мерянского происхождения: *jährə «озеро» – н.п. *Яхро(бол)* (Jachrobol) (Яр. губ. – Дан) Vasmer 416, р. *Яхрен* (Вл) Смол 196 (ср. ф. järvi «озеро», эст. järv, лив. jȭra, jā̆ra, саам. H jaw're, морд. Э *эрьке*, морд. М *эрьхке*, (диал.) jɛ́ŕ'kɛ, мар. *ер*, мар. Г *йӓр* «то же» < и-е. (фатьян.) jä̆gero-/-e SKES II 132; *βähê «мало» – рус. (диал.) *вяха* «немного (Костр – Парф); пустяк (Яр – Рост)» ЯОСК (ср. ф. vähä(n) «мало», эст. vähe «то же», морд. Э *вишка* «малый, маленький», *веж(гель)* «язычок (букв. – малый язык: **веш кель* < ф.-уг. (прибалт.-фин., мер., морд.) *wäše «малый») SKES VI 1830-1831; *tohtê «гнилое дерево, гнилая сердцевина дерева» – рус. (диал.) *тохта* «то же» (Костр – Костр, Кол, Меж) Востр I 50 (ср. ф. (диал.) tohko «гнилое дерево, старая вещь», эст. (диал.) tõheta «становиться больным < гнилым» < ф.-уг. (прибалт.-фин., мер.) *tohk- «гнить», с характерной для мерянского заменой звуков -hk- ~ -ht-, возможно, связанной с таким же колебанием среднеязычных) Востр I 50-51.

Широкое распространение на бывшей мерянской территории слова *βähê (рус. (диал.) *вяха*), по-видимому, исключает возможность его заимствования из прибалтийско-финского языка. Предшествующее прибалтийско-финскому (и мерянскому?) -š-, сохраненное мордовскими языками, переходило в мерянском, как и в прибалтийско-финских языках, в h. Насколько широким был этот процесс, совпадал ли он полностью с прибалтийско-финским или имел специфически мерянские ограничения, должен показать дальнейший внимательный этимологический анализ русской лексики (в том числе ономастики) мерянского происхождения. Пока не будет точно установлена ее этимология и несомненно доказано мерянское происхождение соответствующих лексем, решить окончательно этот вопрос нельзя. Однако на бывшей мерянской территории обращает на себя внимание обилие субстратных топонимов, содержащих звук -x- (отражение мер. h), ср.: (Яр) *Юхоть* (Мышк), *Лахость* (Гавр.-Ям), *Сохоть*, *Луха* (Пош), *Ухра* (Рыб), *Ухтома* (Первом), *Пахма* (Яр); (Моск) *Яхрома* (Дмитр); *Пахра* (Подольск), *Пехра* (Балаш); (Вл) *Махра* (Александр), *Лухтоново* (Судог), *Нерехта* (Ковр), *Лехтово* (Мелен); (Иван) *Лахость*, *Ухтома* (Ильин), *Ухтохма*, *Сорохта* (Комс), *Кохма* (Иван); (Костр) *Нерехта* (Нер), *Чухлома* (Чухл), *Ухтынгирь* (Кадый), *Вохтома* (Парф), *Тоехта* (Макар), *Вохма* (Вох). Большое количество топонимов с x < мер. h, из которых некоторые повторяются в разных местах, говорит о несомненной характерности данного звукотипа для мерянского языка, что в какой-то степени подтверждает возможность его самостоятельного развития, но он может и совпадать с аналогичным прибалтийско-финским явлением.

Из других фрикативных, кроме заднеязычных, мерянскому языку были свойственны свистящий и шипящий s и š.

Звукотип s встречается в ряде слов предполагаемого мерянского происхождения, напр.: *sorjəs «(рыба) хариус» – рус. (диал.) *сорьез*, *сорьёз*, *сорьяз*, *сорьяс* «то же» (Костр – Костр, Кол, Меж, Чухл) (ср. ф. harjus «хариус», кар. harjuš, вепс. haŕd'uz, haŕǵus, где с известным сомнением считается словом германского происхождения от герм. *harzus/*harrius «то же») SKES I 58, Востр I 46-50[28]; *rast(ə) «столб, дорожный указатель, веха» – рус. (диал.) *растовая дорога* «тракт, главная дорога, хорошая столбовая дорога» (Костр – Кол) (ср. ф. rasti «дорожный указатель, веха», rastia «помечать дорогу», кар. rašti «дорожный указатель») Востр II 34-35, SKES III 742[29]; *βostêrə

[27] Это утверждение нуждается в окончательной проверке на большем количестве примеров, так как в некоторых случаях, особенно диалектно, в мерянском мог употребляться также фрикативный γ, причем ввиду близости обоих звуков они могли смешиваться.

[28] Соответствие s- прибалт.-фин. h- О.В.Востриков [15, с. 48-49] пытается объяснить как связанное с саамским языком. Не исключено, действительно, что в мерянский язык слово могло проникнуть через это посредство.

[29] Судя по разобщенности прибалтийско-финского и мерянского ареалов, *rast(ə) может быть скорее общим наследием этих языков, чем заимствованием из прибалтийско-финского в мерянский. Не исключено также, что в какой-то связи с ним, одновременно подтверждая его мерянскую принадлежность, находятся другие слова и топонимы

«прут, хлыст; банный веник» — р. *Востырь* (Vostyŕ) (Костр. губ. — Костр) Vasmer 385 (ср. мар. *во́штыр* «прут, лоза, проволока», мар. Г *ваштырь* «прут, лоза; веник», ф. vasta «(банный) веник», кар. vašta (vasta) «то же», *васту* «веник (вообще)» РКС 23, вепс. vast (шв. ст. qvasta «бить себя веником в бане» (пгерм. *kwastu, kwasta, друс. хвостъ «хвост; (банный) веник» SKES V 1667) или их соответствие из субстратного и-е. языка Волго-Окского междуречья, в пользу чего говорит ареал распространения слова[30]; -s (как формант иллатива) — рус. (диал.) *дульяс* «огонь» (Костр. губ. — Гал) Вин 45 < мер. *D-/tuĺjas «в огонь» ср. морд. *толс* «в огонь», ф. ylös «наверх», мар. *чодраш* < *čodras «в лес») [7, с. 300; 20, с. 49].

В тех случаях, когда s оказывалось в середине слова, в интервокальной или интервокально-сонантной позиции, оно подобно взрывным переходило в свое полузвонкое соответствие Z, ср.: *peZə̂(-a) «гнездо» — н.п. *Пезо(бал)* (Pezobal) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 417 (ср. ф. pesä «гнездо», эст. pesa, саам. Н bæsse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжаш* «то же», удм. *пуз* «яйцо», коми *поз*. «гнездо», хант. p̮i̯ṯ, манс. *пити*, венг. fészék, нен. *пидя* < урал. *pesä «то же») КЭСКЯ 223, ОФУЯ 404; *piZləjə «рябина» — н.п. *Пизлеево* (Pizlejevo) (Вл. губ. — Переясл) Vasmer 401 (ср. ф. pihlaja «рябина», эст. pihlakas «то же», морд. Э *пизёл* «рябина (ягоды)», морд. М *пи́зел* «то же», мар. *пызле* «рябина», мар. Г *пӹзы́лмы* «рябина (дерево и ягоды)», удм. *палэзь* «рябина (ягода)», коми *пелысь*, хант. (каз.) *пасяр (пӓ̈сяр)*, манс. *пасяр* < ф.-уг. *pićlä КЭСКЯ 218, SKES III 542, Collinder 413.

Звукотип š встречается в многочисленных лексемах предполагаемого мерянского происхождения из бывшей области распространения мерянского языка. Как и глухие взрывные p, t, k и звукотип s, он встречается, как правило, только в начале слова и в положении рядом с глухим согласным, напр.: *jukšə «лебедь» — р. *Юкша* (Jukša) (Костр. губ. — Юрьев) Vasmer 382 (ср. ф. joutsen «лебедь», эст. (поэт.) jõudsin, (диал.) joos, сам. Н njuk'čâ, морд. Э *локсей*, мар. *йӱксӧ*, мар. В *йӱкчӧ*, удм., коми *юсь*, манс. (ст.) još(voj) (voj «птица») < ф.-уг. *joŋkće) КЭСКЯ 336, SKES I 121, ОФУЯ 416; *šolə(-ä) «вяз, ильм» — р. *Шоля* (Šolja/Šol'a) (Костр. губ. — Варнав) Vasmer 375 (ср. ф. salava «ива ломкая», морд. Э *селей* «вяз», морд. М *сяли*, мар. *шоло*, венг. szil(fa) (fa «дерево») < ф.-уг. *śala) SKES IV 954, MSzFUE III 587-588; *šarnə̂/šornə(-a) «ракита, ветла» — н.п., р. *Шарна* (Šarna) (Яр. губ. — Люб) Vasmer 388, н.п. *Шарниха* (Šarnicha) (Костр. губ. — Юрьев) Vasmer 383, р. *Шарновка* (Šarnovka) (Костр. губ. — Буй) Vasmer 381, р. *Шорна* (Šorna) (Вл. губ. — Шуй) Vasmer 395 (ср. ф. saarni «ясень», эст. saar, лив. särna, мар. *шертне* «верба; ракита», šarDńi̯ < ф. (прибалт.-фин., мер., мар.) *śarDənə̮ «ясень; верба») SKES IV 939.

В середине слова в положении между гласными или рядом с сонантом звукотипу š соответствует Ž, напр.: sinŽə(-a) (sinŽan, ген. ед.ч.) «глаз; (перен.) источник» — н.п. *Синжан* (SinŽan) (мер. * SinŽən (Balo) «Источниковая (букв. — источника) (деревня)» (Вл. губ. — Меленк) Vasmer 397 (ср. ф. silmä «глаз», саам. Н čal'bme, морд. *сельме*, мар. šińd'ža «глаз; источник», удм. *син* «глаз», *ошмес-син* «родник (букв. — ключевой/родниковый глаз)», коми *син* «глаз; родник», хант. *сəм* «глаз», *мӗ̈усəм* «родник (букв. — глаз земли)», манс. *сам* «глаз», венг. szem, нен. *сэв*, эн. sei, нган. śäime , сельк. sai, кам., койб. sima, тайг. šime-dä < урал. *śilmä)[31].

того же корня в постмерянском ареале: н.п. *Растовцы*, *Белый Раст* (Моск. обл. — Дмитр), *раст* «время (конец мая — июнь), когда хорошая пастьба скота: майская свежая, молодая трава» (Яр — Рост, Углич) ЯОСК.

[30] Менее убедительно сближение мар. *воштыр*, мер. *βostə̂rə с ф. vihta «(банный) веник» (Vasmer 385) или венг. vas «железо» (КЭСКЯ 331-332). Интересно соответствие мер. s || мар. š, сближающее мерянский с мордовскими и прибалтийско-финскими языками и отдаляющее его от марийского.

[31] Отсюда нельзя еще делать вывод о том, что данное слово, наиболее тесно связанное с мар. *шинча* «глаз» (даже в указанном переносном значении), являлось в мерянском единственным для обозначения этого понятия, ср. другие топонимы бывшей мерянской области, позволяющие реконструировать мер. *sel'me(-ä)/*sälme(ä) «глаз»: р. *Сельма* (Костр. губ. — Солигал) КГЭ 243, р. *Сальма* (Костр. губ. — Ветл), КГЭ 68, — более близкие к ф. silmä «глаз», морд. *сельме* «то же». Очевидно, речь идет только о диалектном явлении, связанном с частью мерянского языка.

По сравнению со звукотипом s согласный š был распространен в мерянском языке значительно шире. Об этом свидетельствует большое количество названий с бывшей мерянской территории, включающих этот звук, которые, не являясь такими этимологически ясными, как приведенные выше примеры, все же обнаруживают несомненное финно-угорское происхождение, ср.: *Шуда* (Šuda) (Костр. губ. — Варнав) Vasmer 375; *Ошуя* (Ošuja) (Костр. губ. — Варнав) Vasmer 375; *Шордик* (Šordik) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 377; *Нельша* (Nel'ša) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 377; *Локша* (Lokša) (Костр. губ. — Кин) Vasmer 383; *Шунга* (Šunga) (Костр. губ. — Костр) Vasmer 385; *Пекша* (Pekša) (Яр. губ. — Яр) Vasmer 387; *Шарма* (Šarma) (Яр. губ. — Пош) Vasmer 391; *Шегола* (Šegola) (Яр. губ. — Пош) Vasmer 392; *Шуга* (Šuga) (Вл. губ. — Суздаль) Vasmer 398; *Шорнога* (Šornoga) (Вл. губ. — Александр) Vasmer 400 и др.

Большое количество слов явно финно-угорского происхождения, включающих звук š и связанных с мерянской территорией, причем в разных ее частях, показывает, что он был чрезвычайно характерен для мерянской фонетической системы. Не исключено, что именно с этим связана известная ограниченность примеров со звукотипом s: š в мерянском языке могло его в какой-то степени потеснить. Это могло объясняться и тем, что звук s в мерянском имел артикуляцию, отличающую его от обычного славяно-русского s (с русского и украинского типа) и несколько приближающуюся к артикуляции š, то есть близкую к финской: «Шумные щелевые переднеязычные апикальные s, ss (финского языка. — *О.Т.*) на слух несколько шепелявые. Они произносятся следующим образом: кончик языка направлен к верхней десне, края языка прижимаются к боковым зубам и к части твердого неба, прилегающего к ним таким образом, что посредине между кончиком языка и твердым небом образуется узкая щель в форме желобка. Струя воздуха, проходя через эту щель, дает шум с присвистом. Таким образом, финские согласные s, ss акустически воспринимаются как средние между русскими с и ш» [24, с. 22]. О близком к финскому характере мерянского s очевидно, свидетельствуют слова не только славяно-русского происхождения из русских говоров, распространенных на постмерянской территории, но и собственно мерянского происхождения. В частности, об этом говорит колебание древнерусского с/ш при передаче мерянского слова *moska «конопля» (ср. морд. М *мушка* «волокно, кудель», морд. Э *мушко* «конопля»), лежащего в основе названия р. *Москва* (ср. другое чисто славянское название верхней части ее течения — Коноплевка, калькирующее мерянское) [117]. В Галицко-Волынской части Ипатьевской летописи отмечается как форма местного падежа *на Мосцѣ* (от *Моска*), в другом списке той же летописи — форма этого падежа в варианте *на Можцѣ* (очевидно, с гиперистическим -ж- от *Мошка*). Данный пример может быть объяснен только как результат колебания при выборе звука, вызванного тем, что ни друс. с, ни ш не могли точно отразить мерянский звук, представляющий собой, видимо, что-то среднее между тем и другим. Очевидно, закреплению русского звука с в данном и аналогичном примерах, кроме возможных изменений в самом мерянском языке, могло способствовать то обстоятельство, что при первоначальном соприкосновении с мерянским языком звук ш в языке восточных славян был еще мягким, и это сближало его артикуляционно-акустически с мерянским s. По мере того как славяно-русское ш в речи (прото)великорусов отвердевало, все менее оправданно становилось мерянское s передавать славяно-русским ш, и в (прото)великорусском языке мерянское s стало передаваться только с помощью звука с[32].

[32] С фонетической точки зрения первоначальная мерянская форма названия р. *Москва* *Móska(ə̑), отраженная, видимо, не только в вышеупомянутых древнерусских свидетельствах, но и в итал. Mósca, интересна еще тем, что с несомненностью свидетельствует о заднерядном редуцированном в конце этого слова, воспринятом восточными славянами — тогда, видимо, еще не имевшими в своем языке новых (велико)русских редуцированных — как звук близкий или идентичный -ы (в словах типа *цьркы* (*цьркъве*) «церковь», *свекры* (*свекръве*) «свекровь» и т.п.). Это и стало позже причиной создания по образцу данных слов форм (более старой) *Московь* (1147 г.) (как *церковь*), отраженной в англ. Moscow, нем. Moskau, фр. Moscou, и более поздней (и современной) *Москва* (под влиянием слов *буква*, *смоква*, рус. (диал.) *церква*) [117, с. 131]. Таким образом, ввиду этого недвусмысленного свидетельства появляется возможность реконструировать лежащее в основе данного топонима мер. *móskə̑

Сравнительно малочастотные (на основании свидетельства топонимов) в мерянском аффрикаты č и c все же не были чужды его фонетической системе, о чем свидетельствуют не только косвенные показания русских говоров постмерянской территории (с отчетливым, как правило, разграничением звуков ц и ч), но и данные самого мерянского языка в словах предполагаемого мерянского происхождения, напр.: *ačə/-a (at′ə) «отец» — р. *Ача* (Костр. губ. — Гал) КГЗ, 83 (ср. ф. ati «свекор; тесть», ätti «отец», эст. ätt «то же», морд. *атя* «старик», мар. *ачá* «отец», удм. *атай* «то же», венг. atya «отец; монах», эн. at′a «отец» (при обращении), нган. t′a «то же», возможно, < *at′(t′)a «отец; старик») MSzFUE I 100-101; *Почеболка* (Počebolka (Яр. губ. — Пош), сопоставляемое с мар. Г *пу́чы* (putšə) «олень», мар. *пӱчӧ* «то же» — Vasmer 417, где в пользу мерянского происхождения слова (независимо от правильности предложенной этимологии) говорит его употребление в типичной для мерянского языка композите, обозначении деревни, со вторым компонентом -бол- < *-Bol «деревня».

Еще реже в мерянском употреблялась, видимо, аффриката c. Единственным несомненным мерянским примером, иллюстрирующим ее употребление, является не вполне ясное по составу и происхождению приветствие «Цолонда — в доме: здравствуй, хозяин(?)» (с. Давшино — Яр. губ. — Пош) КЯОС 212 [Архангельский А. Село Давшино, Ярослав. губ., Пошехон. уезда: Написано в 1849 г. — Этнографический сборник, вып. 2. Спб., 1854, с. 1-80]. Можно не сомневаться в мерянском происхождении слова, поскольку оно записано в Пошехонье, на бывшей мерянской территории, сохранявшей и частично сохраняющей особенно много мерянских пережитков. Исходя из того, что в основе приветствия лежит всегда какое-то пожелание, в прошлом — целая фраза, видимо, здесь выступает приветственная формула, очень деформированная и сократившаяся (синкопированная) в результате частого и быстрого ее произнесения. К этому могло добавиться и некоторое искажение, вызванное утратой языка, на фоне которого она только и могла пониматься. Итак, пока можно только догадываться о первоначальном содержании и составных частях этой формулы. Поскольку в приветствии скорее всего высказывалось пожелание здоровья, первым ее элементом *цол* < мер. *cə̑lə̑ с редким для мерянского звуком c могло быть субстратное включение из какого-то индоевропейского языка, где, как в славянском, балтийском и германском, было слово с корнем koil- > псл. *cělъ «целый, невредимый, здоровый», прус. kails «здоров(ый) (в заздравной формуле)», гот. hails «здоровый», пережившее переход k > c. Заимствованное слово cə̑lə̑, очевидно, имело значение «здоровый; здоровье». Его употребление в приветственной формуле свидетельствует о том, что в мерянском языке оно приобрело глубоко традиционный характер, о чем, в частности, говорит его сохранение даже после утраты самого языка. Тем самым органично, хоть и ограниченно, должна была войти в фонетику языка и аффриката c.

В связи с тем, что аффриката č могла в некоторых случаях появляться на месте среднеязычного (палатального) t′ ср. *ačə (р. *Ача*) (Костр. губ. — Гал) КГЗ 83 при форме at′ə (н.п. *Ате(бал)* (At′ebal) Моск. губ. — Дмитр) Vasmer 418, ясно, что мер. č было мягким, а не твердым звуком, своей мягкостью в какой-то степени напоминавшим русское ч. Этим, видимо, объясняется так-

«конопля» (с заднерядным редуцированным и инициальным ударением, ср. итал. Mósca), а вместе с тем говорить с большей уверенностью о конечном редуцированном мерянских слов. Что касается собственно этимологической стороны, то мер. *móskə̑ «конопля», родственное морд. М *му́шка* «волокно; кудель», морд. Э *мушко* «конопля, кудель», мар. *муш* «пенька, кудель», связано, видимо, с финно-угорскими глаголами того же корня со значением «стирать, мыть; вымачивать (в том числе коноплю)» (ср. эст. (диал.) mõskma «мыть», морд. Э *муськемс*, морд. М *муськомс*, мар. *мушка́ш* «мыть, умывать; стирать, полоскать (белье)», удм. *миськыны* «мыть, купать», коми *мыськавны* (*мыськыны*) «мыть, стирать», венг. mosni «мыть; стирать», нен. масă(сь) «смазать, намазать; (большезем.) «умыть; вымыть; помыть», эн. masua-bo «(я) вымыл, вытер», кам. bа́zа́l′am «мыть», сельк. musau «(я) вымыл» < урал. *muśke - (*mośkᵩ) «мыть, стирать») КЭСКЯ 184, MSzFUE II 450-451, ОФУЯ 406. Однако само мерянское слово могло возникнуть и вторично как результат переосмысления первоначального и.-е. (? балт.) слова (см.: Фасмер ЭСРЯ II 660-661).

же то, что носители мерянских говоров сравнительно легко, не смешивая его с ц, усвоили русское ч. В отличие от мерянского эрзя-мордовский язык с его твердым ч (č) русское мягкое ч передавал в старых заимствованиях с помощью мягкого ц′ (c′) (ср. морд. Э *цюдавомс*, *цюлан, цюлка* — рус. *чудиться*, *чулан*, *чулок*). С другой стороны, в мерянском языке аффриката c была скорее всего твердой (ср. то же *cʊ̈lənDə(-a) > рус. (диал.) *цолонда*). Поскольку русское ц также является твердым, это способствовало правильному различению звуков ц и ч в русском языке и воспрепятствовало их смешению при усвоении славяно-русской речи мерянским населением, а в конечном счете привело к тому, что явление цоканья и чоканья (смешения ц и ч) для возникших здесь русских говоров не характерно. Следует полагать, что и аффрикаты c и č подобно взрывным и фрикативным s и š сохраняли полностью свою глухость только в абсолютном начале слова, его абсолютном конце, если они могли там выступать, и в непосредственном соседстве с глухими. В других позициях (прежде всего, в интервокальной) они частично озвончались. Однако из-за их малой частотности и отсутствия традиции передачи собственных аффрикативных звонких вариантов в русском языке (ср. дочь была, отец был, где слышатся, но не обозначаются на письме звонкие аффрикаты ǯ и ʒ) в графике русской передачи мерянских лексических элементов это не получило никакого выражения.

Довольно большой частотностью (в отличие от аффрикат) в мерянском языке, как и в других финно-угорских, характеризовались сонорные m, n, l, r, напр.:

1) (звукотип m) *moskə̑ «конопля» — рус. (ст.) **Моска* «Москва» (*на Мосцѣ*, 1208 г. — Смол 287) (ср. морд. М *му́шка* «волокно; кудель», морд. Э *мушко* «конопля, кудель», мар. *муш* «пенька, кудель», очевидно, < урал. *mośkᵩ- /*muśkᵩ- «мыть, стирать; вымачивать (о конопле)») [72]; *lejmə «корова» < *leǯ′mä) — рус. (диал.) *лейма* «корова» (Костр. губ. — Гал) (ср. ф. lehmä «корова», эст. lehm, лив. ni′emə «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», морд. М *ли́шме* «конь (только о красивом или игрушечном коне)» SKES II 284 — в основе, очевидно, лежит заимствование из древнебулгарского (ср. чув. *лаша* «лошадь») со значением «кобыла»); *seZ′um «семь», рус. (арг.) *сезюм* (Костр. губ. — Гал) Вин 49 (ср. ф. seitsemän «семь», эст. seitse, саам. Н. čieǯâ, морд. *сисем*, мар. *шым(ыт)*, удм. *сизьым*, коми *сизим* < *ф.-перм. *s′eŋč′emä «то же» < какой-то индоевропейский язык балто-славянского типа — Серебр. Ист. морф. перм. яз. 221) SKES IV 991, КЭСКЯ 255; *kolema(-ə̑) «смерть; умирание, тяжелая болезнь» — рус. (диал.) *коле́ма* «болезнь» (Костр — Ветл) СРНГК (ср. ф. kuolema «смерть», эст. (диал.) koolma «умирать, умирание», морд. *кулома* «смерть», мар. *колыма́ш*, удм. *кулэм*, коми *кулӧм*, хант. (каз.) *хал′ты* «подохнуть», манс. khåli «умирает», венг. (meg) halni «умирать», нен. *хась* «умереть», эн. kādo′ «умирать», нган. kū′am «(он) умер», сельк. ḳuak «(я) умираю», кам. ḳ̓ɯl′em «то же» < урал. *kolᵩ-/*kōlᵩ «умирать») SKES II 239, MSzFuE II 250-251, КЭСКЯ 143, ОФУЯ 407;

2) (звукотип n) anDoβa (-ə̑) «кормящий < дающий» — р. *Андоба* (Костр. губ. — Костр) КГЗ, 160 (ср. ф. antaa «давать», antava «дающий», эст. andma «давать», andev «дающий», саам. Н. vuow′det «продавать», морд. *андомс* «кормить», удм. *удыны* «поить», коми *удны* (в составе *вердны-удны* «кормить-поить»), венг. adni «давать; продавать» < ф.-уг. *amta «давать») SKES I 20, MSzFUE I 69, КЭСКЯ 295-296, ОФУЯ 418; *-n (показатель ген. ед.ч.) — рус. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро» Вин 48, р. *Яхрен* (Вл. губ.) Смол 208 (мер. *N′eron (jährə) «Болотное (букв. — болота) (озеро)», Jähren (juk) «Озерная (букв. — о́зера) (река)» (ср. ф. järvi «озеро» — ген. ед.ч. järven, морд. Э *эрьке* «озеро» — ген. ед.ч. *эрькень*, (диал.) *лоўун ломань* «снежный (букв. — снега) человек» (морд. -нь < -н) — Серебр. Ист. морф. морд. яз. 16-17, мар. *ер* «озеро» — ген. ед.ч. *ерын* < ф. *-n) Галкин 39-41, Серебр. Осн. лин. разв. 68-70;

3) (звукотип l) *jelmə̑(-a) < *ńelmə/-ä «язык, речь» — рус. (арг.) *елманский* «древний галицкий» (= мерянский) язык» Вин 45, дмер. *(merän) jelmə̑n (-an) «(мерянского) языка (= принадлежащий к мерянскому языку, говорящий на нем)» (ср. саам. Н njal′bme «рот», мар. *йылме* «язык (анат., лингв.)», хант. (каз.) *нялум* (анат.), манс. *нӗлум* «то же», венг.

nyelv < ф.-уг. (вост.) *ńälmä) MSzFUE III 480; *palo(-ə̑) «деревня, село», (поздн.) *pol – н.п. *(Нуш)поло* (очевидно, из фон. **Нушпало*) (Nušpolo) (Вл. губ. – Александр) Vasmer 418, н.п. *(Ки)бол* (Kibol) (Вл. губ. – Суэд) Vasmer 417, н.п. *(Ки)бало* (Kibalo) (там же, 1578 г.) Vasmer 417 (ср. хант. (вост.) puγəl «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)», манс. *пӑвыл* «деревня, поселок, селение», венг. falu (< *palu) «деревня, село» < угор. (= мер.?) *palγs «то же») MSzFUE I 180-181;

4) (звукотип r) *urma(-ə̑) < *urβə̑ (-a) вследствие влияния -n, ген. ед.ч., *orə̑βa «белка» – рус. (диал.) *урма* «белка» (Костр. губ. – Кол) ООВС 240 (ср. ф. orava «белка», эст. orav «то же» – ф. -va, эст. -v, мер. *-ma < *-βa – суффикс < *-pa, саам. H oar're, морд., мар., коми *ур* < ф.-перм. *ora «то же») SKES II 436, КЭСКЯ 297-298, ОФУЯ 428; *kerə(-a) «кора» – р. *Кера* (Kera) (Костр. губ. – Нер) Vasmer 386, КГЗ, 217 (ср. ф. (диал.) keri «береста, выросшая на березе на месте ободранной коры», саам. H gârrâ «кора», морд. Э *керь* «кора, лубок», морд. М *кяр* «то же», мар. *кӱр* «лубок», удм. *кур* «то же», коми *кор* «кожура, шелуха», хант. kät «кора», венг. kérëg «кора; корка; скорлупа» < ф.-уг. *kere) SKES I 183, MSzFUE II 353-354, КЭСКЯ 133, ОФУЯ 415.

Относительно мерянских сонорных можно заметить следующее.

1) Мер. l в связи с существованием, очевидно, находившегося с ним в оппозиции l′ среднеязычного (палатального) скорее всего было твердым звуком.

2) Как показывают данные лексики немерянского происхождения с постмерянской территории, для звукотипов l и r имелись глухие соответствия L и R. Как известно, в мокша-мордовском, имеющем так же, как и мерянский, глухие сонанты, кроме R и L существуют еще R′, L′ и J [72, с. 326]. Существовали ли подобные звуки в мерянском, на основании имеющихся данных установить нельзя. Однако были они или нет, употреблялись они скорее всего как варианты соответствующих звонких (сонантов).

3) По-видимому, позиционно ограниченным звукотипом (фонемой) был в мерянском r. Если сонорные m, n, l наблюдаются здесь во всех частях слова, в том числе в его начале (ср. р. *Моска* > *Москва*) (Моск) Смол 287, Халипов 129-131; н.п. *Нушполо* (Вл. губ. – Александр) Vasmer 418; р. *Лочма*/*Лотьма* (Вл. губ. – Переясл)), к тому же для всех подобных примеров обнаруживаются финно-угорские соответствия, что говорит об исконности соответствующих лексем, то не так обстоит дело со словами, которые начинаются на r (рус. р). Параллели к ним или ограничиваются прибалтийско-финскими языками, причем сами предполагаемые мерянские слова не обнаруживают ничего специфического (*rast(ə) «растовая дорога» Востр II 34-35), что может говорить об их заимствованном (из прибалтийско-финских) характере, или же относятся к случаям несомненного заимствования (ср. р. < н.п. *Руж(бал)* (Ružbal) (Костр. губ. – Кол), дающее возможность реконструировать мер. *ruš «русский» < прибалт.-фин. (ст.) rūtsi < друс. Русь). Очевидно, мерянский, не терпя в начале слова больше двух согласных, воспринимал звук r как близкий группам из двух и больше согласных. Как отдельный согласный (точнее, часть геминаты) здесь, видимо, воспринималась каждая из вибраций r, что делало невозможным (или ограниченным) его положение в начале слова. Этим можно объяснить начало слова со значением «русский» в таких особенно строгих к инициальным скоплениям согласных языках, как венгерский и тюркские, где оно всегда имеет приставной гласный, будто речь идет о слове, начинающемся с двух согласных: венг. orosz «русский», тат. (ст.) *урыс*, чув. *вырӑс* «то же» и др.

Все рассмотренные до сих пор согласные мерянского языка относились к твердым. Кроме них, как это обнаружилось при рассмотрении особенностей мерянской фонетики на немерянском (преимущественно славяно-русском) лексическом материале, в мерянском еще имелись палатальные (среднеязычные) согласные. Мерянский материал показывает, что к ним с наибольшим основанием можно причислить звукотипы t′ (с вариантом D′), s′ (с вариантом Z′), а также сонанты j, l′, n′.

Звукотип t′/D′ обнаруживает свою среднеязычность в том, что у ряда слов появляется (как следствие большой степени палатальности) параллельная форма,

где произошел переход t′ > č. Сюда, в частности, относятся следующие слова: at′ə(-a)/ačə(-a) «отец» — н.п. *Ате(бал)* (Atebal) (Моск. губ. — Дмитр) Vasmer 418, р. *Ача* (Костр. губ. — Гал) КГЗ, 83 (ср. ф. ati «свекор, тесть», ätti «отец», эст. ätt, ген. äti «то же», морд. *атя* «старик», мар. *ачá* «отец», удм. *атай* «то же», венг. atya «отец; монах», эн. at′a «отец (при обращении)», нган. t′a «то же» < ? урал. *at′(ť)a «отец; старик») MSzFUE I 100-101; *lot′mə̑(-a)/*ločmə̑(-a) «ложбина, долина» — р. *Лотьма*/*Лочма* (Lot′ma/Ločma) (Вл. губ. — Переясл) Vasmer 401 (ср. ф. lotma, lotmo «то же», морд. Э ložmo «углубление», *лашмо* «долина», коми *лажмыд* «отлогий, пологий, покатый» (SKES II 301) < ? ф.-перм. *lat(ę)ma «углубление, покатое место»). Вариант D′ обнаруживается в предполагаемом мерянском слове *βeD′mə(-a) — рус. (диал.) *ведьма* «перемет» (Костр — Гал) Востр II 28 (ср. морд. Э *ведьме* «повод, ремень; завязка, бечевка; конец, обрывок нитки» — дальнейшие связи предполагаемого мерянского и мордовского слов не ясны). Обращают на себя внимание случаи, где t′, несмотря на соседство сонанта, не переходит в D′. Очевидно, они могут объясняться тем, что в прошлом вместо простого (одинарного) согласного в них выступал геминат или группа согласных.

Звукотип s′/Z′ в своих двух вариантах рассматривается как относящийся к палатальным в связи не столько с конкретными свидетельствами слов мерянского происхождения, сколько с требованиями системности: трудно представить себе, что все смягченные согласные мерянского языка относились к палатальным, за исключением данных. Косвенным свидетельством существования палатального s′ (с его, по-видимому, шепелявым оттенком) здесь может служить предполагаемый, близкий к финскому, характер любого мер. s. Возможно, он сложился в результате влияния мерянского палатального с его шипящим оттенком. Палатальное s′ в мерянском произносилось как s′, а не как Z′, только в начале слова, конце и, очевидно, также, хоть подобные примеры отсутствуют, рядом с соседним глухим в середине слова, напр.:

1) (звукотип s′) s′i «этот (-a, -o)» — рус. (арг.) *сиень* «есть» < мер. *s′i joń «это есть» (ср. ф. se on, эст. see on «то же») (Яр. губ. — Углич) ЯОСК 184 (ТОЛРС XX 117) (ср. ф. se «этот (-a, -o)», эст. see «то же», морд. Э *се* «тот», мар. В *седе* «вот этот», хант. (каз.) *си* «этот (-a, -o)», нган. sete «он» < урал. *śi/*śe) ОФУЯ 399; *joluś «пусть будет» — рус. (диал.) *елусь поелусь* «приветствие во время еды» < мер. *joluś pa joluś < *joloZe pa joloZe (**tenän seγe(-) -juγe(-) «пусть будет и будет (у тебя еда-питье)» (ср. морд. *улезэ* «пусть будет», мар. *лийжэ* «то же», саам. bottus «пусть приходит», содержащие формант -s- со значением показателя 3-го лица повел. (побудит.) наклонения, — Серебр. Ист. морф. морд. яз. 167; корневая часть связана с ф. olla «быть», эст. olema, морд. *улемс*, мар. *улáш*, удм. *вал* «(он) был», коми *вöлі* «то же», хант. (каз.) *вəл′ты* «быть; жить, находиться», манс. *ӧлуӈкве* «быть; иметься, жить; находиться», венг. volt «был» < *wolę — «быть») SKES II 427; MSzFUE III 669, КЭСКЯ 67, ОФУЯ 417;

2) (звукотип -Z′-) *s′eZ′um «семь» — рус. (арг.) *сезюм* «то же» (Костр. губ. — Гал) Вин 49 (ср. ф. seitsemän «семь», эст. seitse, саам. Н ciеǯâ, морд. *сисем*, мар. *шым(ыт)*, (диал.) šišim, šəsəm, удм. *сизьым*, коми *сизим* < ф.-перм. *s′eŋč′emä, слова какого-то и.-е. языка) SKES IV 991, КЭСКЯ 255, Серебр. Ист. морф. перм. яз. 221.

Интересно отметить, что реконструируемая мерянская форма *s′eZ′um совпадает с пермскими по озвончению (в данном случае частичному) палатального согласного в середине слова, чем противостоит, за исключением саамского, остальным финно-угорским языкам. Очевидно, частичное озвончение в мерянском было вызвано, как и в пермских языках, упрощением интервокальной группы согласных, произошедшим очень рано, в период, когда одинарные согласные в интервокальной позиции могли произноситься слабее. Своеобразие реконструируемой формы является одним из аргументов ее принадлежности к мерянскому языку.

Звукотип l′ чрезвычайно характерен для мерянского языка. На основании имевшегося в распоряжении материала мерянского происхождения определить его конк-

ретно (вне априорных предпосылок системности) не удается. Однако случаи взаимозамены русских й-л в постмерянских местностях указывают на палатальный характер л как причину этой замены (ср. венг. király, фон. kiráj, где j также развился из предшествующего ly, то есть l′ палатального). Одним из подобных примеров является рус. (диал.) *альда* < *айда* «айда» (Яр — Пош). Гиперкорректное *альда* вместо *айда* говорит о возможности противоположной замены л′ (l′) на й (j), где близость л′ к наиболее типичному палатальному звуку, в свою очередь, свидетельствует о палатальности (пост)мер. l′ (л′). Примеры звукотипа l′: *l′ejmə̑(-a) < *l′eǯ′mä «корова» — рус. (диал.) *лейма* «то же» (Костр. губ. — Гал) ООВС 102 (ср. ф. lehmä «корова», эст. lehm, лив. ni′em «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», морд. М *ли́шме* «конь (только красивый или игрушечный)») SKES II 284 < ф. (прибалт.-фин., мер., морд.) *leš(e)mä «кобыла (дойная)», где источником слова был, очевидно, древнебулгарский (тюркский) язык: чув. *лаша* «лошадь»; *il′Domə̑(-a) «безжизненный» — р. *Ильдомка* (Костр. губ.) Семенов 233 < мер. *elä «живой»[33] + суффикс лишительности — tom(ə̑) (ср. ф. elää «жить», эст. elama, саам. H ællet, морд. *эрямс* (< *eläm(ä)-s), мар. *ила́ш*, удм. *улыны*, коми *овны* «то же», хант. jel «ключ, источник», манс. jəlwälə- «оживляться», jələw «новый», венг. élni «жить», нен. *иле(сь)*, эн. jire-do, нган. ńiletm, сельк. elak «то же», кам. t′ilīl′ɛm «снова оживить», d′ili «живой» < урал. *elä «жить»; ф. voima-ton «бессильный», саам. H < čalme-tebme «слепой (безглазый)», морд. Э *узер-теме* «без топора», мар. *вий-дыме* «бессильный», удм. *син-тэм* «слепой (безглазый)», коми *син-тӧм* < ф.-перм. *ttoma «формант лишительности» < ф.-уг. *-tt- «то же» SKES I 37-38, MSzFUE I 145-146, ОФУЯ 405 [55, с. 358].

Звукотип n′ отражает свою палатальность в словах мерянского происхождения с переходом этого звука в j, что является несомненным доказательством его среднеязычности, напр.: мер. *jelmə̑(-a) «язык» — рус. (арг.) *елманский* «древний галицкий язык» (Костр. губ. — Гал) Вин 45, где j-, как и в мар. *йылме*, появилось из n′ (ср. саам. H njal′bme «рот», хант. *нялум* «язык (анат.)», манс. *нӣлум* «то же», венг. nyelv «язык (анат., лингв.)» < ф.-уг. (вост.) *n′älmä). Следовательно, мер. n′ — типичный палатальный звук. Одним из наиболее надежных является пример *n′ero «болото» — рус. (арг.) *Нерон* < N′eron(jähre) «Болотное (букв. — болота) (озеро)» (Костр. губ. — Гал) Вин 48 (ср. ф. noro «болотистая лощина», саам. (сев.) njoaâ- «выйти из воды (о водоплавающих птицах)», мар. nörö «сырой», удм. ńur «болото, влага, сырость», коми ńur «болото», хант. ńor «муть (в воде)», манс. ńār «болото», венг. nyirok «сырость», сельк. ńary «болото» < урал. *ńōr∧/*ńora «болото, топь; влажный») ОСНЯ I, XXVII, II 89.

Среди мерянских палатальных согласных, установленных с помощью анализа фонетики немерянских слов, удалось обнаружить пример, свидетельствующий о возможности палатального r′, ср.: *ебро* < **p′ебро* «ребро», *ёбро* < **p′обро* «то же» (Яр. губ. — Мол, Рост) КЯОС 63. Очевидно, случаи подобного перехода, — возможно, частично обусловленные тем, что мерянский избегал начального r, — должны были существовать и в самих мерянских словах. Однако в доступном исследованию материале их не удалось обнаружить. Нужно полагать, что в фонетической системе мерянского языка r′ палатальное относилось к явлениям спорадичным, периферийным.

Последним из рассматриваемых палатальных согласных и в то же время наиболее типичным и распространенным из них был звук j. Как показывает этимологическое исследование мерянских слов (ср., например, мер. *jelmə̑ «язык» из предшествующего *n′elmä «то же»), иногда j мог появляться секундарно, развиваясь из других среднеязычных, в частности n′. Звук j — один из наиболее распространенных звукотипов мерянского, поэтому его можно обнаружить в разных позициях — в начале, середине и конце слова. В ряде случаев сочетания j с предшествующим гласным давали что-то

[33] Мер. *elä реконструируется на основе формы, зафиксированной в одной из ревизских сказок 50-х годов XIX в., хранящейся в Кологривском краеведческом музее: д. *Элино* < мер. *El′ən palo «Эли (букв. — Живого, Бойкого) деревня».

напоминающее дифтонги. Однако подобных примеров удалось обнаружить немного, кроме того, нет полной уверенности в том, что часть из них не заимствовалась в мерянский из какого-нибудь прибалтийско-финского языка, прежде всего вепсского. Окончательно установить их дифтонгичность в связи с определенной фонематической значимостью может только накопление в большем количестве несомненно мерянского материала. Данные, которыми в настоящее время располагает исследователь мерянского языка, не позволяют решить данный вопрос. Примеры звукотипа j: *juk < *joGə «река» — р. *Юг* (Jug) (Костр. губ. — Макар; Яр. губ. — Пош; Вл. губ. — Горох) Vasmer 377-378, 391, 394 (ср. ф. joki, эст. jõgi, лив. jo'G, jo'uG, саам. H jokkâ, морд. M Jov «название р. Мокша», мар. *йогы* «течение, поток» (? — допускается возможность связи с чув. jox- «течь»), удм. *ю* (*ю-шур: шур* «река»), коми *ю* «река», хант. *юхан* «речка» (?), манс. *ӣ* «река» (?), венг. (ст.) jó, нен. *яха*, эн. joha, сельк. ke «то же», кам. t'aγa «река, речка; ручей» < урал. *jokę) SKES I 118, MSzFUE II 339-340, КЭСКЯ 334, ОФУЯ 403; *pujka < *puj < *pojə + -ka «мальчик, подросток» — рус. (диал.) *пуйка* — «то же» (Яр) ЯОСК (ср. ф. poika «сын; мальчик; юноша», эст. poeg «сын», мар. Г *пӱ* (только в сложных словах: *пӱэргы* «мужчина»?), морд. Э bujo, pijo «внук» (?), удм. *пи* «мальчик, парень», коми *пи* «сын; мальчик», хант. (каз.) *пух* (*пӱх*) «парень, мальчик; сын», манс. *пыг* (*пӣг*) «сын; парень; юноша», венг. fiú (fi) «сын, мальчик, ребенок; детеныш всякого животного» < ф.-уг. *poika (своеобразный корневой вокализм (пост)мерянского слова, видимо, свидетельствует о существовании в прошлом формы puj, ср. морд. Э bujo)) SKES III 590-591, MSzFUE I 206-207, КЭСКЯ 221, ОФУЯ 413; *-j (как формант звательной формы (поздн.) *mamaj «мама!», возможно, также *kokoj! «дядя; крестный отец» — рус. (диал.) *мамай* «(зват.) мама» (Яр — Первом) ЯОСК (ср. морд. Э *авай* (от *ава* «мать») «мама» (в обращении), морд. М *тядяй* (от *тядя* «мать»), мар. *ава́й* «то же», где тот же формант объясняется, в частности для мордовских языков влиянием тюркских, ср. тат. babaj! «дедушка» (в обращении, от baba — Серебр. Ист. морф. морд. яз. 31), однако для мерянского подобное объяснение менее убедительно).

На материале слов и форм предполагаемого мерянского происхождения был установлен состав звукотипов мерянского консонантизма, куда входят следующие согласные: p, B, t, D, k, G, β, u̯ (?), δ (диал.?), γ (диал.?), h, ŋ, s, Z, š, Ž, č, c, m, n, l, r, t′, D′, s′, Z′, l′, n, j. Кроме того, на основании изучения слов немерянского (славяно-русского) происхождения для мерянского были установлены как возможные также глухие сонанты L, R и палатальное r′. Учитывая позиционную обусловленность части звуков, представляющих собой, очевидно, варианты фонематически значимых звукотипов, можно предположить в качестве фонем (частично — их вариантов) следующие согласные звуки: p/B, t/D, k/G, β/(?u̯), h, s/Z š/Ž, č, c, m, n, l/L, r/R, t′/D′, s′/Z′, l′, n′, j. Согласные δ, γ, ŋ, r′ точно не определены в отношении их фонематичности. Таким образом, для мерянского можно предположить 32 звукотипа согласных. На основании анализа их употребления следует говорить, видимо, о существовании 18 согласных фонем. Четыре согласные (δ, γ, ŋ, r′), находящиеся на периферии системы, возможно, частично диалектные (δ, γ, r′), не могут быть пока определены с точки зрения их фонематичности (нефонематичности). Рассмотрение гласных и согласных мерянского языка позволяет представить их в виде двух таблиц (табл. 1, 2).

Таблица 1.
Гласные мерянского языка

Подъем	Ряд		
	передний	средний	задний
высокий	i ü?		u
средний	e ö?[ə]		o [ô]
низкий	ä	a	

Примечание. Подчеркнутые знаки здесь и в табл. 2 обозначают фонемы (иногда их варианты).

Таблица 2.
Согласные мерянского языка

Участие голоса и шума	Способ образования	Место образования				
		губные	передне-язычные	средне-язычные	задне-язычные	ларин-гальные
шумные	взрывные	p/B	t/D	t′/D′	k/G	
	фрикативные	β/(u̯)	s/Z, š/Ž δ?	j, s′/Z′	γ?	h
	аффрикаты		c č			
сонорные	носовые	m	n	n′	ŋ	
	боковые		l/L	l′		
	дрожащие		r/R	r′?		

ВЫВОДЫ

Фонетика мерянского языка характеризуется особенностями, унаследованными от финно-угорского (и частично уральского) праязыка и чертами, выработанными ею вместе с близкими генетически и ареально родственными языками или представляющими собой сугубо мерянские новообразования.

Чертами, восходящими, очевидно, еще к праязыковому периоду, являются у мерянского инициальное ударение, отсутствие фонологического противопоставления по глухости-звонкости и закономерности структуры (абсолютного) начала слова, при которых в нем допускался только гласный или не больше одного согласного, причем из согласных допустимы только шумные глухие и сонанты. Видимо, из-за приравнивания к геминатам ограниченно допустим в начале слова также звук r. К чертам, восходящим к праязыковому периоду, следует отнести в мерянском, вероятно, и наличие палатальных согласных, преимущественно противопоставленных парным с ними непалатальным (t′/D′ – t/D, s′/Z′ – s/Z, l′ – l, n′ – n, возможно, отчасти также r′ – r. Эта особенность сближает мерянский с финно-угорскими языками, связанными с восточной частью прародины, в частности венгерским, и отдаляет от прибалтийско-финских.

В мерянском языке не сохранились от праязыкового периода и не получили развития геминаты, вследствие чего не возникло противопоставление кратких и долгих согласных. Видимо, в нем отсутствовали также долгие гласные. В словах предполагаемого мерянского происхождения крайне редко встречаются дифтонгические сочетания гласных и палатального j. Это говорит о том, что здесь не получили развития дифтонги как регулярное и распространенное фонетическое явление. Тем самым мерянский язык отличается от современных финно-угорских языков западного ареала – прибалтийско-финских (с их системой противопоставления кратких и долгих гласных и согласных, а также большим количеством дифтонгов) и венгерского (с противопоставлением кратких и долгих гласных и согласных).

На чисто фонетической основе в мерянском языке возникало в некоторых случаях явление, напоминающее три ступени согласных (ср. *juk «река», *käGə̑ «кукушка», *jährə(-e) < *jäγre «озеро») в прибалтийско-финских языках, то есть k-G-h < γ, в какой-то степени также p-B-β: *peZə̑ «гнездо», -Balo «деревня» (в сложных словах типа *(Ki)Balo), *anDoββ̑(-a) «кормящий»; очевидно, диалектно еще t-D-δ: *tolGə̑ «перо», *anDoββ̑(-a) «кормящий», *iləδoma «безжизненный». В том, что оно не получило развития, очевидно, не последнюю роль сыграло отсутствие противопоставления по краткости-долготе гласных и согласных, на фоне которого элементы трехступенчатости в произносительной силе согласных не смогли приобрести морфонологической значимости и стать системой чередований.

С фонетикой мордовских и марийского языков в целом мерянскую фонетику связывает богатство консонантизма — наличие s и š, аффрикат c и č. Однако в отличие от мордовских здесь не получили развития звонкие, в противоположность марийскому — не стали повсеместным явлением фрикативные β, δ, γ, возникавшие как ступень ослабления глухих взрывных p, t, k. Все эти согласные, видимо, развились только в самой восточной части мерянской языковой территории, в наибольшей близости к марийскому языку.

Общей чертой фонетики мерянского, мокша-мордовского и отчасти хантыйского языков (казымский и сургутский диалекты) является наличие глухих сонорных, однако в мерянском они, видимо, остались на положении фонетических, вариантов соответствующих звонких фонем l и r, не став самостоятельными фонемами.

Есть основания говорить о сильном, инициальном, как свидетельствует топонимика бывших мерянских областей, ударении в мерянском языке. Видимо, им были обусловлены выпадение гласных и наличие особых редуцированных гласных переднего и заднего ряда ə и ə̂, характерных для заударных, в частности конечных, слогов. Наличием редуцированных мерянский язык напоминает мокша-мордовский (и, по-видимому, древнемордовский в целом), марийский и обско-угорские языки, а из прибалтийско-финских — ливский, наиболее архаичный из них и хранящий черты, связывающие его с волжско-финскими языками, утраченные другими языками той же группы.

Очевидно, в мерянском существовали лабиализованные гласные переднего ряда ö и ü, имеющиеся также в прибалтийско-финских, марийском и венгерском языках. Ввиду недостаточности имеющихся о них сведений трудно сказать, насколько они были для него характерны и как широко распространены, поэтому решать вопрос об их фонематичности пока несвоевременно.

Вместе с марийским языком мерянский развил (из ослабленного p) и сохранил в составе своего консонантизма фонему β, очевидно, вытеснившую более древнее, праязыковое по происхождению w. Но в отличие от марийского в нем скорее всего только диалектно существовали фрикативные δ и γ, связанные как ослабленные варианты с глухими взрывными t и k.

Полузвонкими B, D, G мерянский язык напоминает прибалтийско-финские языки, в частности эстонский. Однако из-за того, что в мерянском в отличие от эстонского полузвонкие варианты глухих взрывных не приобрели морфонологической значимости в качестве элемента чередования ступеней согласных, они не стали фонемами, оставшись на стадии одного из вариантов фонемы.

Как и многие современные финно-угорские языки, в частности прибалтийско-финские, мокша-мордовский и горно-марийский, мерянский сохранял унаследованные от праязыкового периода фонемы e и ä.

Очевидно, мерянский не развил (или не сохранил) сингармонизма. Здесь можно обнаружить только черты явления, по-видимому, приведшего впоследствии к его развитию в ряде финно-угорских языков, в частности, установление гармонии между гласными первых двух слогов, где они часто выравнивались не по началу, а по концу слова, по типу германского умлаута, ср.: рус. (постмер.) *бёзли* < *βöZl′i < «возле», возможно, также *jähre (< *jə̑kere) «озеро».

Только мерянской фонетической особенностью, не встречающейся в других финно-угорских языках, является переход гласных в новых закрытых слогах на ступень выше — из более нижнего подъема в гласные более высокого подъёма: *palo > *pol «деревня»; *orə̂mə̂ (< *oraβa) > *urma «белка»; *päni > *βen′ «вилы» (ед.ч.) при *pänək «вилы (мн.ч.)»; *eləDə̂m(-omə̂) > *il′Də̂mə̂(-omə̂) «безжизненный».

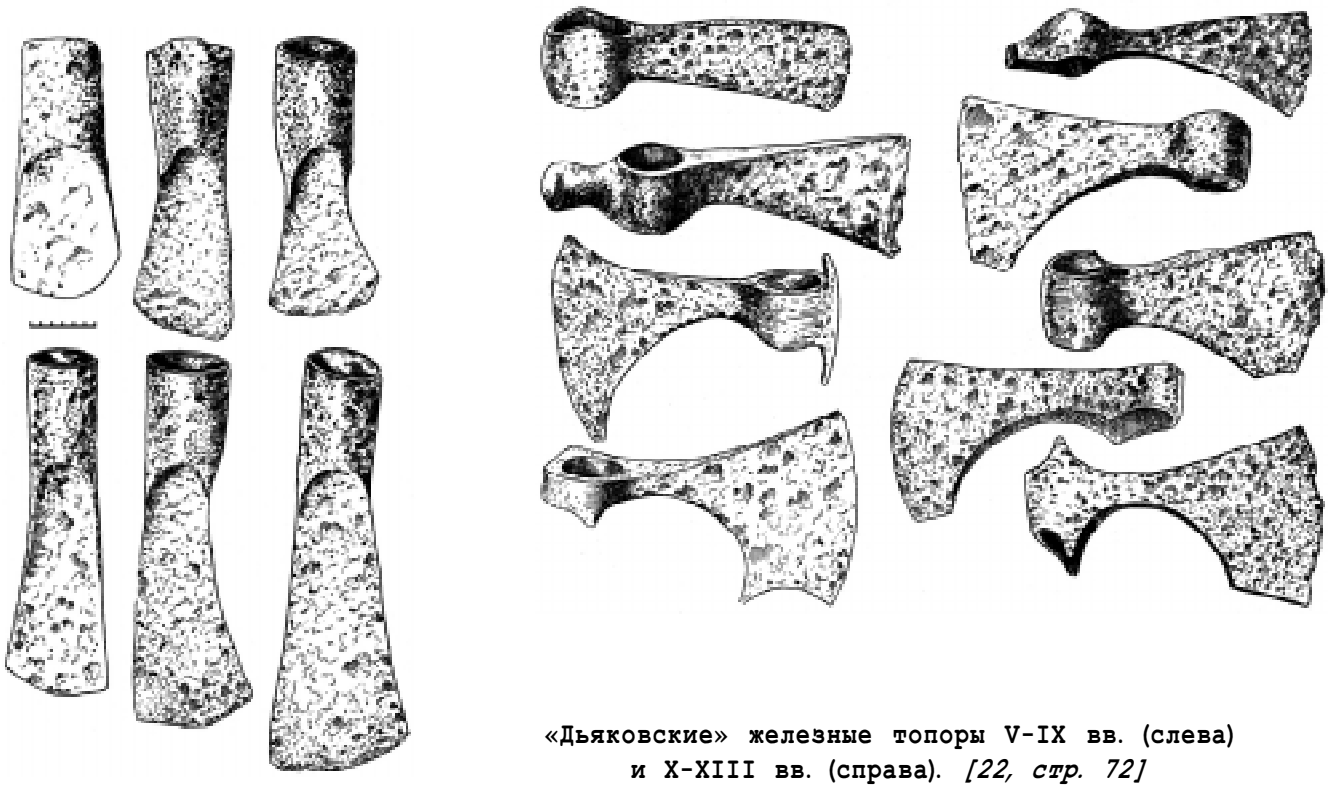
Для мерянского с наибольшей несомненностью устанавливается существование 24 фонем (гласных и согласных). Исходя из того, что в финно-угорских языках насчитывается, как правило, свыше 30 фонем, это количество следует признать недостаточным. Возможно, часть тех звукотипов, которые при настоящем состоянии их изученности не смогли быть с определенностью отнесены к фонемам, впоследствии будет ими признана. Поскольку в этом ис-

следовании (при общей слабой изученности мерянского языка) одной из главных целей было достижение максимальной достоверности реконструированных фактов, задача определения полного состава фонем как нереальная на данном этапе не могла ставиться. Решить ее можно только при гораздо большем количестве собранных и реконструированных, прежде всего лексических, мерянских фактов.

В целом фонетическая система мерянского языка наиболее близка к фонетике родственных языков того же (волжского) ареала. Однако некоторые отдельные черты до известной степени приближают ее к фонетике прибалтийско-финских языков. Не исключено, что это связано с особой территориальной близостью мерянского языка к прибалтийско-финским, с одним из которых, вепсским, он мог непосредственно контактировать. Обращает на себя внимание также ярко выраженная палатальность соответствующих мерянских фонем, характерная для угорских языков, в частности венгерского. Возможно, это явление обязано своим развитием их древним связям с (прото)мерянским языком, что могло быть только на территории финно-угорской прародины, до расселения мерянского и угорских народов на места позднейшего (исторического) обитания.

Следовательно, отличаясь своеобразием, мерянская фонетика в то же время предстает как связующее звено между мордовскими и марийским языками, с одной стороны, и прибалтийско-финскими — с другой, хотя в целом у нее больше связей с волжско-финскими, чем с прибалтийско-финскими языками. Следы более древних контактов с угорскими языками, которые мерянский как один из финно-пермских языков мог иметь в древности, обнаруживаются в нем значительно слабее и не столь несомненны.

Ввиду отсутствия сколько-нибудь заметных связей мерянской фонетики с пермской с этой точки зрения мерянский язык следует характеризовать как один из ярко выраженных финских языков, в число которых входят также прибалтийско-финские, мордовские и марийский. Возможно, в связи с этим есть известные основания предположить, что мерянский в наибольшей степени мог отразить в своей фонетике то состояние, которое имел прибалтийско-финский праязык до переселения племен, его носителей, на их современные прибалтийские земли.



«Дьяковские» железные топоры V-IX вв. (слева) и X-XIII вв. (справа). *[22, стр. 72]*

ГРАММАТИКА

Ввиду отрывочности имеющихся сведений о мерянском языке представление о его грамматической системе может быть пока только фрагментарным. Перед исследователем предстают как бы отдельные обломки, случайно сохранившиеся от когда-то существовавшего единого целого – мерянской грамматики. Эти фрагменты, восстанавливаемые наиболее эффективно при их системной реконструкции, извлекаются из русского языка в виде субстратных, материальных и семантических, включений. В обоих случаях с помощью финно-угорских сравнительно-исторических данных на основе этих субстратных пережитков мерянского языка можно реконструировать – с большей или меньшей степенью вероятности – ту или иную часть его грамматической системы. Однако степень вероятности правильной формальной, а не только функциональной интерпретации реконструируемых мерянских грамматических фактов несравненно выше при использовании материальных включений мерянского языка, чем при истолковании его предполагаемых грамматических калек в русском, где можно отчетливо представить лишь внутреннюю форму соответствующих грамматических явлений. Тем не менее даже случаи, когда при отсутствии конкретных сравнительно-исторических данных восстанавливаемая клетка парадигматической таблицы остается пустой, важны для реконструкции языка, поскольку они дают возможность с большей полнотой представить его как систему, делают более целеустремленными дальнейшие поиски.

МОРФОЛОГИЯ

Имена

Существительное

В связи с полным отсутствием сведений о словоизменении других именных частей речи и тем, что особенности мерянского склонения реконструируются исключительно на основе сведений о существительном, целесообразно говорить не о субстантивном, а об именном склонении. Науке пока не известно, склонялось ли в мерянском языке прилагательное (подобно прибалтийско-финскому) или, как в других финно-угорских языках (при отсутствии его субстантивации), являлось несклоняемым.

Фрагменты системы мерянского именного склонения

Как мертвый язык, лишенный письменных текстов (во всяком случае, известных современной науке), мерянский дает весьма ограниченную возможность воссоздать систему своего именного склонения. Не говоря уже о том, что это полностью исключено для притяжательной парадигмы (судя по данным родственных языков, имевшейся в нем), затруднена даже реконструкция основного склонения – установление количества, состава, форм и функций падежей. Причинами являются крайняя скуд-

ность доступных языковых фактов и сложность их точной интерпретации, поскольку они представляют собой обособленные примеры предполагаемых застывших мерянских форм, оторванных от мерянского контекста и выступающих ныне в русском языке, с грамматикой которого не связаны. Все это, делая вынужденно фрагментарной реконструкцию системы мерянского склонения, придает бóльшую или меньшую степень условности полученным с ее помощью результатам. Источниками восстановления парадигмы мерянского основного склонения служат: 1) материальные факты русского языка, возводимые к мерянскому и сравнимые с соответствиями в других финно-угорских языках (случай наиболее достоверный); 2) семантические особенности русского субстантивного (2-го) склонения, позволяющие толковать их как кальки мерянских падежей, функцию и форму которых можно предположить, опираясь на сравнительно-исторические данные (случай менее надежный).

К числу падежей мерянского основного склонения, реконструируемых с помощью их материальных остатков в русском языке, относятся номинатив, генитив, иллатив, вокатив (звательная форма части существительных) в единственном числе и номинатив множественного числа.

Номинатив единственного числа отражен подавляющим большинством слов и названий предполагаемого мерянского происхождения: *урма* «белка» (Костр. губ. – Кол) ООВС 240 – ф. orava, саам. oarre, морд., мар., коми *ур* «то же»; *лейма* «корова» (Костр. губ. – Гал) ООВС 102 – ф. lehmä «то же», морд. Э *лишме* «лошадь»; *сорьез* «хариус Thymallus» (Костр. – Кол, Меж, Чухл) Востр 46 – ф. harjus «то же»; *at'a «отец; старик» (*Ате(бал)* (Костр. губ. – Кол) (Vasmer 417) – мар. *ачá* «отец; свекор», мар. Г *а́тя* «отец», морд. Э *атя* «старик; муж», венг. atya «отец»; *peZa «гнездо» (*Пезо(бал)* (Костр. губ. – Кол) Vasmer 417) – ф. pesä, эст. pesa, фон. peZa, морд. М *пиза*, мар. *пыжáш*, венг. fészek «то же»; *palo «деревня, село» (н.п. *(Ки)бало* (1578 г.) (Вл. губ. – Сузд, Vasmer 417), н.п. *(Нуш)поло* (Вл. губ. – Ал, Vasmer 418)) – венг. falu (< *palu), манс. *павыл*, хант. (вах., вас.) puγəl «то же».

Генитив, как и другие косвенные падежи единственного и номинатив множественного числа, засвидетельствован в единичных примерах, застывшая форма которых, воспринимаясь и употребляясь в русском языке как им.п. ед.ч., может быть реконструирована в своей исходной мерянской функции только с помощью сравнительно-исторических данных: *Jähren (juk) «озера (= озерная) (река)» (р. *Яхрен*, левый приток Клязьмы, – Вл, Смол 208), *jähren – ген. ед.ч. от *jähre «озеро» + *juk (> р. *Юг*, левый приток Оки, – Вл, Смол 196) (ср. ф. joki «река», эст. jõgi «то же») – ф. järven, ген. ед.ч. от järvi «озеро», компонент ряда сложных слов – järvenranta «берег озера», järvenpinta «гладь озера», järvenselkä «плес (на озере)»[1], морд. Э *эрькень* < *ërken, ген. ед.ч. от *эрьке* «озеро», мар. *ерын*, ген. ед.ч. от *ер* «озеро», мар. Г *йӓрын* от *йӓр* «озеро»; *Ńeron (jähre) «болота (= болотное) (озеро)» (> рус. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро (имеющее болотистые берега)» Вин 20), ген. ед.ч. от *n'ero «болото» – манс. ńēr, ńē̮r, ńar, хант. ńorəm, (сургут.) ńurəm, коми, удм. ńur «то же», мар. ńur «поле», нен., сельк. ńar «болото».

Иллатив: *tuljas «в огонь», *Duljas «то же» (вариант с позиционным озвончением начального глухого согласного после гласного или сонанта) > рус. (арг.) *дульяс* «огонь» (Костр. губ. – Гал) Вин 45 – форма илл. ед.ч. от мер. *tulə/*Dulə[2] «огонь» > рус. (арг.) *дулин* «огонь» (Костр. губ. – Гал) Вин 45. Устанавливается на основе сравнения с соответствиями древней прибалтийско-волжско-финской иллативной формы с окончанием -s, сохраненными лучше всего мордовскими языками и отраженными в части образований финского и марийского языков: морд. *толс* «в огонь» (*тол* «огонь»), морд. Э *кудос* «в дом» (*кудо* «дом»), ф. ylös «наверх», alas «вниз» (ala «пространство; место; площадь» < «низ»,

[1] Мерянский язык, как и финский, в качестве первого компонента сложного слова мог, видимо, кроме генитива, использовать номинатив единственного числа, ср.: *Яхробол* < *Jährə̂ + Bol (Яр. губ. – Дан, Vasmer 416) «Озерная деревня (букв. – озеро + деревня)» – ф. järvikala «озерная рыба (букв. – озеро + рыба)».

[2] Ср. близкий по характеру изменения основы тип склонения эст. kiri «письмо» – kirja «письма» (ген. ед.ч.).

морд. М *ала* «нижний; низко, внизу»); мар. *куш* < *kus «куда», *чодраш* < *čodras «в лес» (*чодра* «лес»)[3] [7, с. 294, 300; 20, с. 49].

Вокатив (или вокативная форма) в мерянском, видимо, как и в мордовских и марийских языках, употреблялся в единственном числе по отношению к существительным, обозначающим людей (как правило, родственников): мер. (поздн.) *mamaj «мама (в вокат.)» > рус. (диал.) *мамáй!* (зват. от *мама*, очевидно, свойственного также части (поздне)мерянских говоров, Яр – Первом, ЯОСК), возможно, также мер. *kokoj! «дядя! (вокат. от *koko)» > рус. (диал.) *кóкой»* (им.п. ед.ч.) дядя; крестный отец», Яр – БС, Первом, ср. рус. (диал. яросл., костр.) *кока* «старшая сестра; тетя; крестная мать» при мар. *кокá* (зват. – *кокáй*) «тетя». Предполагаемому мерянскому вокативу с формантом -j соответствуют по форме и по функции аналогичные факты мордовских и марийского языков: морд. Э *леляй* (форма обращения от *леля* «старший брат»), морд. М *тя́дяй* (форма обращения от *тя́дя* «мать»), мар. *авáй* (форма обращения от *авá* «мать; свекровь»).

Номинатив множественного числа: мер. *βänək «вилы (с двумя зубьями)» (мн.ч.), *βeń «то же» (ед. ч.) < и-е. (субстр.) *dwäni «(вилы)-двойни» > рус. (диал.) *бяньки* (Яр – Любим) ЯОСК, *бянки* (Яр – Любим) ЯОСК, *вянки* (Костр – Гал, Парф) ЯОСК – *бени* (Яр – Дан) ЯОСК. Возможно, показатель номинатива множественного числа отражают и мер. *kicok/*kičok – слово невыясненного происхождения (> рус. (диал.) *кицóк/кичóк* «два столбика, на которых укрепляется голбец (подвал, подполье) в избах» (Яр – Дан, Мол) КЯОС 87, ЯОСК – слово, обозначающее множественное число, но в русском языке воспринимающееся как существительное единственного числа), а также *panok «курганы», *pano «курган» (> рус. (костр.) *пан-к-и*, *пан-ы* «курганы (судя по археологическим раскопкам, с захоронениями мери)» [22, с. 232-234], ср. ф. panna «положить», pano «вклад», вепс. panda «положить», mahapanend «похороны (букв. – в землю положение)», морд. Э *пандо* «гора») [147, s. 116-117]. Как показатель множественного числа -k (в отличие от рассмотренных выше падежных окончаний) сближает мерянский не с прибалтийско- и волжско-финскими языками, а с венгерским, ср.: венг. villa «вилы (ед.ч.); вилка» – villák «вилы (мн.ч.); вилки», ember «человек» – emberek «люди», ablak «окно» – ablakok «окна», mező «поле» – mezők «поля»; ф. hanko «вилы» (ед.ч.) – hangot «вилы» (мн.ч.), talo «дом» – talot «дома»; морд. Э *сянго* «вилы» (ед.ч.) – *сянгт* «вилы» (мн.ч.), морд. М *цянга* «вилы» (ед.ч.) – *цянкт* «вилы» (мн.ч.), морд. *пакся* «поле» – *паксят* «поля».

Рассмотрение в сопоставительно-историческом плане черт 2-го склонения существительного в русском литературном языке, типологически близких финно-угорским, с семантикой, не свойственной другим славянским языкам, позволяет предположить, что, кроме упомянутых падежей, в мерянском были также партитив, инессив, элатив, адессив, аллатив и аблатив единственного числа, то есть в целом 11 падежей[4].

Русскому языку свойственно во 2-м склонении существительных мужского рода с вещественным значением в родительном

[3] Сближение мер. -s с эст. -s как показателем инессива (ср. эст. kirjas «в письме») маловероятно, поскольку этот формант является относительно поздним новообразованием эстонского языка, возникшим из первоначального *-ssa < *-sna [139, с. 97].

[4] Типологическая близость русской падежной системы с финно-угорской, несмотря на существование тех же падежей в прибалтийско-финских языках, не может быть связана с их влиянием, так как говоры, которые легли в основу русского литературного языка, не имели контактов с прибалтийско-финской группой. Еще менее вероятно видеть в этой близости результат воздействия мордовских или марийского языков, поскольку их падежная система ко времени контактов с восточными славянами отличалась от предполагаемой мерянской (и прибалтийско-финской). Ввиду того, что Центральная Россия, где сложился русский литературный язык, была местом былого распространения мери, наиболее логично видеть в данной близости последствие именно мерянского субстратного влияния, близость же состава мерянской и прибалтийско-финской именной парадигм объясняется близостью соответствующих языков. Подтверждением этого служит и тот факт, что единственным финно-угорским этносом, на который, кроме прибалтийских финнов, славяне распространяли названия чудь, чудский(-ой-), была меря (ср., напр., *Чудской*, то есть *мер(ян)ский*, *конец* – название одной из частей Ростова) [70, с. 99].

падеже единственного числа различать генитивный вариант на -а (-я) и партитивный на -у (-ю), что соответствует прибалтийско-финскому генитиву и партитиву, ср.: рус. *цена сахара*, *чая*, *вкус супа*, *сыра*, *творога* — *достать* (сколько-нибудь) *сахару*, *чаю*, *супу*, *сыру*, *творогу*; ф. sokerin, teen hinta, keitton, juuston, uunipiimän maku — sokeria, teetä, keittoa, juustoa, uunipiimää (jonkin verran) saada [159, S. 86]. Ввиду того, что возникновение партитивного варианта, чуждого другим славянским языкам, наиболее естественно объяснить субстратным воздействием мерянского, следует допустить наличие в нем наряду с генитивом партитива.

В том же склонении русского языка целый ряд существительных мужского рода в предложном падеже единственного числа обнаруживает два варианта — инессивный на -у́ (-ю́) и адессивный на ′-е, что соответствует прибалтийско-финскому инессиву и адессиву, ср.: рус. *В этом лесу нет ничего интересного* (то есть животных, растений и т.д. внутри леса) — *В этом лесе* (≈ У этого леса) *нет ничего интересного* (взгляд на лес со стороны, в целом); *В саду есть беседка* — *В этом саде* (≈ У этого сада) *есть что-то очаровательное*; эст. Selles metsas ei ole midagi huvitavat — Sellel metsal ei ole midagi huvitavat; Selles aias on lehtla — Sellel aial on miski hurmav [159, S. 87]. Исходя из отсутствия подобных — инессивного и адессивного — вариантов в предложном падеже единственного числа у других славянских языков, их появление в русском скорее всего можно объяснить мерянским влиянием, что косвенно свидетельствует о возможности существования в нем соответствующих падежей единственного числа.

В финно-угорских языках, в частности прибалтийско-финских, к которым, видимо, был близок мерянский, обычно имеются внутренне- и внешнеместные падежи, выражающие каждое из трех значений — «где?» «куда?», «откуда?». Поэтому вывод о существовании двух мерянских внутреннеместных падежей — иллатива и инессива — неизбежно вызывает мысль о наличии также элатива, а предполагаемый с помощью типологических данных адессив дает основание допускать также существование еще двух внешнеместных падежей — аллатива и аблатива.

Исходя из сравнения окончаний праприбалтийско-финской и прамордовской именных парадигм, к которым, очевидно, была наиболее близка мерянская, флексию последней в ее формальном выражении следует скорее всего реконструировать следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Парадигма реконструируемых падежей мерянского существительного в сравнении с их прибалтийско-финскими и прамордовскими соответствиями

Падеж	Язык		
	праприбалтийско-финский	прамордовский	мерянский
генитив	*-n	*-n	*-n
партитив	* ta		**-ta/**-Da
инессив	*-sna > -ssa	*-sna > *-ssa > -sa	**-sna (? > **-ssa)/ (>) ** -sa
иллатив	*-s > (*-s + eń) *-sen > -een	*-s	*-s
элатив	*-sta	*-sta	**-sta
адессив	*-lna > -lla	*-na (морд. Э kizna «летом») (-*lna > *-lla) -la морд. М ftala «сзади»)	**-lna (? > **-lla)/ (>) ** -la
аллатив	*-l > (*-l + eń) *-len > -lle	-ŋ (? < *- ŋe < *-n-ke)	**-l
аблатив	*-lta	*-ta	(**-lta >) **-lDa

Примечание. Фонетические варианты, связанные с сингармонизмом, для краткости изложения не учитываются.

Используя результаты реконструкции в виде фрагментов парадигмы мер. *palo «деревня, село» и отчасти *at′a «отец» в сравнении преимущественно с ф. kylä «деревня, село», морд. М *веле*, частично венг. falu «то же», можно получить таблицу (табл. 2).

Таблица 2. Склонение существительного мерянского языка в сопоставлении с финским, мордовским-мокша и венгерским

Число	Падеж	Язык			
		мерянский	финский	мордовский-мокша	венгерский
единственное	номинатив	palo	kylä	*веле*	falu
	генитив	palon	kylän	*велень (< -*н)*	
	партитив	[*paloDa]	kylää < -*ðä	–	
	инессив	[*palosna]/(>) [*palosa]	kylässä	Местн. *велеса*	
	иллатив	palos	kylään (*-zeń)	Напр.-внос. *велес*, *вели* (Э *велев*)	
	элатив	[*palosta]	kylästä	*велеста*	
	адессив	[*palolna]/(>) [*palola]	kylällä	–	
	аллатив	[*palol]	kylälle < < *-leń	–	
	аблатив	[*palolDa]	kylältä	*веледа*	
	вокатив	at′aj «отец! (отче!)»		*атяй* «дед!»	
множественное	номинатив	palok	kylät	*велет*	faluk

Примечание. Форма окончаний дается без учета возможной, особенно в позднем мерянском, редукции *palə̑ < *palo, *palə̑n < *palon и т.п.

Из фактов, отраженных в таблицах, вытекает, что падежами единственного числа мерянская именная парадигма в реконструируемой области наиболее близка к прибалтийско-финской и мордовской, особенно в ее прамордовском состоянии, занимая как бы промежуточное положение между ними. Единственным исключением является номинатив множественного числа, наиболее близкий по форме к венгерскому. Ввиду того, что в исторический период мерянский язык располагался между прибалтийско- и волжско-финскими языками, был с ними связан также лингвистически, а с венгерским языком непосредственно не соприкасался, наиболее оправданно считать, что эта черта сходства с венгерским может быть лишь следствием длительных и тесных контактов и приобретена еще до переселения протомерян с финно-угорской прародины. Здесь, входя в группу прафинских диалектов, протомерянский, очевидно, располагался в наиболее восточной части их территории, что позволяло ему непосредственно контактировать с протовенгероким как наиболее западным идиомом праугорского и привело к их частичному сближению.

Другие именные части речи

Поскольку о словоизменении других именных частей речи в мерянском пока ничего не известно, следует ограничиться только приведением тех слов, которые, по-видимому, могли к ним относиться. Среди субстратных пережитков мерянского языка в русском по сравнению с абсолютно преобладающими существительными и довольно спорадичными, но все же относительно частыми глаголами обнаруживаются лишь единичные примеры слов, которые можно с большей или меньшей степенью уверенности отнести к прилагательным, числительным или местоимениям. Все эти постмерянские остаточные лексемы, обнаруживаемые в русском областном словаре, не лежат на поверхности, а нередко славизированы путем вторичного этимологического сближения с формально близкими словами славянского происхождения. Поэтому здесь каждая из соответствующих лексем требует, как правило, предварительного доказательства, ее этимологизирования и идентификации в качестве исходно мерянской.

Прилагательное

К числу немногих прилагательных, по-видимому, мерянского происхождения следует отнести слово *βäDrä «сильный, здоровый (в частности, о человеке)», реконструируемое формально и семантически на основе русского диалектного (очевидно, постмерянского) *неве́дря* «человек слабый, болезненный» (Костр. — Антр, Яр — Гавр.-Ям) КЯОС в сопоставлении с морд. Э *вадря* «хороший, красивый; добрый; качественный» (*вадря ломань* «добрый человек»; *вадрядо вадря* «очень хороший (букв. – от хорошего хороший)»; *вадрясто вадря* «лучший из лучших (букв. — из хорошего хороший)»; *вадря мель* «доброе пожелание»), морд. М *вадря* (*вадряв*) «гладкий, приглаженный (о ворсе, шерсти, волосах)». В значении «человек слабый, болезненный» слово могло представлять собой полукальку первоначального мер. *е βäDrä «(букв.) несильный, нездоровый», откуда дальнейшее «слабый, болезненный». Позднее, оторвавшись от первоначальной мерянской языковой почвы, слово стало восприниматься как существительное и субстантивировалось в связи с тем, что по форме, которая не изменилась, оно отличалось от русско-славянских прилагательных и на фоне языковой системы русского языка должно было восприниматься как существительное. Появление формы *-ведря* вместо *-вядря* может объясняться как фонетически (неточностью передачи в русском языке мер. ä, занимавшего промежуточное положение между рус. -е- и -’а-, орф. -я-), так и семантически (вторичным сближением постмер. **вядря* < мер. *βäDrä с русско-славянскими словами *вёдро* «летняя ясная, сухая погода», *ведренный* «сухой, ясный (о погоде)»), что дает возможность осмыслить неясное на фоне лексики славянского происхождения слово *неведря* как «слякотный (перен. — болезненный)». В пользу мерянского происхождения слова говорят ареал его распространения, явно постмерянский, и слабое вероятие проникновения сюда морд. *вадря*, которое по всем признакам (и формально, и семантически) скорее всего отличалось от исходных особенностей предполагаемого мерянского слова.

Исходное мер. *il’Doma/-Də̑mə̑ «необитаемый (безжизненный)», образованное, очевидно, с помощью суффикса -Doma/-Də̑mə̑, обозначающего отсутствие какого-либо предмета, свойства, признака, связанного с основой (корнем), в данном случае — elä «жизнь» (ср. д. *Элино*[5], Костр. губ. — Кол. 1858 г.), реконструируется на основе названий — р. *Ильдомка* (уменьш. от исходного Ильдома) (Костр), с. *Ильдомское* (Яр. губ. — Люб.) и с. *Ильдом* (там же) — с помощью сопоставления с этимологически с ним связанным в корневой и суффиксальной частях мар. *илыдыме* «необитаемый, нежилой» [82, с. 233]. Обе части, как корневая, так и суффиксальная, являясь финно-угорскими по происхождению, имеют целый ряд соответ-

[5] Данные из ревизской сказки, хранящейся в архиве Кологривского краеведческого музея (филиала Костромского историко-архитектурного музея-заповедника), с которой автор мог ознакомиться летом 1979 г.: Ревизская сказка 1858 года Генваря 22 дня Костромской Губерніи Кологривскаго Уѣзда Дерѣвни Элина...

ствий вне мерянского и марийского языков, ср.: 1) ф. elää «жить», эст. elama «то же», саам. N ællet, морд. *эрямс* (при исходном *eläms «то же» – морд. Э *элякадомс* «порезвиться» < «стать живым, резвым» от *elä «живой, резвый»), мар. *илаш* «жить», *ӥле* «сырой, влажный; живой (о деревьях)», коми *овны* «жить», венг. élni «то же» [156, т. I, s. 37; 101, с. 137-140]; 2) ф. voima-ton «бессильный» (от voima «сила»), саам. čalmetæm «слепой (букв. – безглазый)» от čalbme «глаз»; морд. Э (абессивный, или лишительный падеж) *узер-теме* «без топора» от *узере* «топор», удм. *син-тэм* «слепой (букв. – безглазый)» от *син* «глаз», где выступают суффиксы, восходящие к ф.-перм. *-ttom-/-ttem- при угор. *-ttal-/-ttel-; манс. nɪ̄tɛl «неженатый (букв. – безженный от nɪ̄ «женщина»)», венг. nő-tlen «неженатый» < nőtelen от nő «женщина».

С помощью того же суффикса, должно быть, образовано также мерянское прилагательное *kolDoma/*-Də̑mə̑ «безрыбный». Прилагательное реконструируется на основе названия р. *Колдомка* (Костр. губ.)[6], очевидно, образованного с помощью суффикса -к(а) от исходного рус. (постмер.) **Колдома*, представляющего собой суффиксальный дериват от мер. *kol < *kalə̑ < *kala «рыба» с характерным для мерянского языка переходом гласного нового закрытого слога в гласный следующего более высокого подъема, ср.: (Ki-)Bol < (Ki-)Balo «(Каменная) деревня», а также *urma < *oraβ(/m)a, ф. orava «белка», *il'Doma «безжизненный» – *elä «живой». Принимая в целом подобное объяснение, даваемое Т.С.Семеновым [82, с. 236], нельзя, однако, согласиться с его этимологическим сближением предполагаемого мерянского слова с якобы мар. *колдомо* (*колдымы*) «безрыбный(-ая)[7] (здесь: река)», поскольку близкое к слову мар. *ко́лдымо* является производным от *колаш* «(у)слышать» и означает «неслышный; не имеющий слуха, глухой». Не имея прямого соответствия в марийском и находя его скорее в финском (ср. ф. kalaton «безрыбный», kalattomuus «безрыбье»), мерянское слово объясняется с помощью указанных выше соответствий его суффиксальной части, такой же, как и у предыдущего мерянского прилагательного, и сближения его производной основы мер. *kol «рыба» с такими финно-угорскими (и уральскими) соответствиями, как ф., эст. kala «рыба», саам. N guolle, морд. *кал*, мар. *кол*, манс. *хӯл*, хант. *хул*, венг. hal, нен. *халя* «то же» [156, т. I, s. 146; 73, с. 404].

Исходное мер. maZəj «красивый, приятный, милый» восстанавливается на основе рус. (диал.) *мазистый* «красивый (о человеке)» (Яр – Рыб) ЯОСК в сопоставлении с морд. Э *мазый*, морд. М *мазы* (*мази*) «красивый», которое в последнее время сближают с коми *муса* «милый, любимый», удм. *мусо* «милый, дорогой» [54, с. 179]. В случае принятия последнего сближения, возможно, производящее мерянское существительное *maz(ə̑) «любовь» следует видеть отраженным в рус. (диал. – новг.) *маз* «любовник» [26, т. I, с. 289]. Подобное объяснение возникает в связи с тем, что морд. Э *мазый*, а с ним и реконструируемое мер. *mazəj являются отыменными прилагательными, образуемыми от существительных с помощью урал. (> ф.-уг.) суффикса -j < -ŋ < *ŋə: морд. Э keže-j, (диал.) keže-ŋ «злой» от kež «гнев, злоба» [87, с. 78-79], имеющего ряд соответствий в других родственных языках, напр., манс. toβləŋ «крылатый» от toβl «крыло»; хант. u̯oDə̑-ŋ «ветреный» от u̯ot «ветер»; сельк. karu-ŋ «косой» (ср. нен. *хӑра* «изгиб, зигзаг, поворот») [87, с. 79; 143, S. 141]. По-видимому, производящим могло быть ф.-уг. (диал.) *masa > *maZə̑ «любовь», производное от которого, будучи образовано с помощью суффикса ŋ(ə), первоначально имело значение «любимый, милый», а затем через оттенок «милый, приятный (на вид)» приобрело значение «красивый». Рус. *мазистый* можно рассматривать как образованное с помощью суффикса -ист- непосредственно от мер. maZəj «красивый, милый», точнее – его постме-

[6] Образование славянским населением названий рек с помощью суффикса -ка от местных постмерянских гидронимов вообще, видимо, было характерно для бывшей мерянской территории; иногда оно могло служить для различения одинакового названия реки и поселения (ср. г. *Кострома* и р. *Кострома*: реку местное население в отличие от города часто называет *Костромка*).

[7] Ввиду отсутствия в финно-угорских языках грамматического рода форма прилагательного при переводе дается, как правило, только в мужском роде.

рянского отражения **мазий* «то же» или — менее достоверно — от производящего *маз(о)* < мер. maZ(ə̑) «любовь; красота». Однако допустимо и другое объяснение. Не исключено, что в мерянском употреблялся суффикс *-Zə- < *-sa со значением уменьшительности, соответствующий морд. za со значением неполноты качества, ср. морд. М akša «белый» — akša-za «беловатый», ravža «черный» — ravža-za «черноватый» и под. [87, с. 76-77]. Поскольку с ф.-уг. *-sa- > морд. -za- скорее всего первоначально связывался оттенок уменьшительности, с функциональной точки зрения подобное объяснение мер. -Za- представляется вполне правдоподобным. В таком случае рус. (диал.) *мазистый* могло образоваться непосредственно на основе постмер. **мази(й)зый* < мер. *maZə(j)Zə̑ «красивенький, хорошенький», конечная часть которого -и(й)за на основе формального сходства была сближена с суффиксом -ист-, характерным для русских прилагательных, и заменена им.

Числительное

Мер. *ika/ikə̑ «один», уменьш. ik-a/ə̑-nä (ср. морд. М *фкяня*, уменьш. от *фкя* «один») реконструируется на основе рус. (арг.) *иканя* «одна копейка (букв. — единичка)» (Углич) Свеш 82, КЯОС, *икане* «то же» (Твер. губ. — Каш) ТОЛРС XX 167 в сопоставлении с финно-угорскими числительными со значением «один», обнаруживающими несомненное формальное и семантическое сходство с предполагаемым мерянским словом, ср. ф. yksi «один», эст., вепс. üks, лив. iǩš, саам. (сев.) ok-ta, морд. Э *вейке*, морд. М *фкя*, мар. *ик*, коми õti, удм. odig, хант. it′, манс. akwa, венг. egy < ф.-уг. *ikte/*ükte «то же» [156, т. 16, s. 1856-1859; 87, с. 108-109; 73, с. 423]. В пользу мерянского происхождения слова говорит как его своеобразие на фоне финно-угорских соответствий, так и его ареальная характеристика, распространенность на бывшей мерянской территории.

Мер. *śeZ′um/*śiZ′um «семь» воспроизводится на основе рус. (арг.) *сезюм* «семь» Вин 49, *сизюм* (Кострома) «семь копеек» Вин 49 в сопоставлении с соответствующими финно-угорскими фактами, ср. ф. seitsemän «семь», кар. seiťťšemä(n), seitšen, вепс. śeiťšiḿe, эст. seitse, ген. seitsme, саам. K čihčem, морд. *сисем*, коми *сизим*, удм. *сизьым* «то же» [156, т. 4, s. 991]. Во всех указанных языках, включая мерянский, рассматриваемые числительные восходят к общему индоевропейскому источнику [87, с. 112]. При несомненном материальном и семантическом сходстве с другими финно-угорскими соответствиями мерянский язык обнаруживает и явное своеобразие. С формальной точки зрения мерянское числительное наиболее близко (во всяком случае, в своем консонантизме) к пермским — коми и удмуртскому, — однако явно отличается от них вокализмом, в особенности конечного слога. Ввиду отдаленности территории, на которой зафиксированы русские арготизмы, предполагаемые в качестве постмерянских, более чем сомнительно усматривать в соответствующих русских словах заимствования из пермских языков, тем более, что, кроме ареального, против этого свидетельствует упомянутый фонетический аргумент — несовпадение вокализма последнего, а возможно, и первого слога слова (ср. рус. (арг.) *сезюм* при коми *сизим*, удм. *сизьым*). К фонетическим особенностям слова в целом, склоняющим к его определению как мерянского, относится характерное частичное озвончение согласного в интервокальной позиции, особенно в не первом слоге, ср. śeZ′um/śiZ′um — морд. *сисем*. Последнее обстоятельство в связи с тем, что подобное и даже более сильное озвончение происходило, видимо, и в мордовских языках (ср. морд. Э kudo-zo (букв.) «дом-его» < *kudo-so «то же»), следует объяснять более длительным сохранением мордовскими языками какого-то словосочетания согласных, в составе которого выступало срединное -s- (напр. ф. seitsemän «семь»), в период перехода интервокальных глухих в звонкие, и более ранним упрощением этого словосочетания с сохранением -s-, что вызвало его озвончение в мерянском языке. Другая фонетическая черта слова, носящая еще более ярко выраженный мерянский характер, проявляется в вокализме его конечного слога, где, как следует полагать, отражен результат типичного фоне-

тического явления мерянского языка — перехода гласных новых закрытых слогов в гласные более высокого подъема (в данном случае -′o- в -′u). По-видимому, в предшествующий период здесь в слоге, который тогда еще не был конечным, выступал звук -′o- (-o- с предшествующим смягчением согласного), ср. ф. seitsemän, где после соответствующего ему второго (конечного) мерянского слога идет еще третий, являющийся конечным в финском. Падение этого конечного (третьего) слога в мерянском, — возможно, через промежуточную стадию редуцированного — могло стать причиной перехода гласного второго слога -′o- в -′u-: seZ′om(ə̂) > *seZ′um (ср. *oraβa (фин. orava) > *orə̂βa (-n), ген. ед.ч. -n, > *orə̂ma > *urma). Своеобразие слова среди соответствий родственных языков, обусловленное спецификой языка, в сочетании с ареалом его распространения доказывают принадлежность и этого числительного именно к мерянскому языку.

Остальные надежные данные, касающиеся материальной стороны мерянских числительных, пока отсутствуют. Однако есть семантические факты (относящиеся к калькам и полукалькам), которые позволяют составить представление о внутренней форме еще двух мерянских числительных. Подобный материал также представляет интерес, пусть пока только косвенный, так как, опираясь на него, можно более конкретно выяснить, в каком направлении должна вестись дальнейшая реконструкция, вполне осуществимая при наличии соответствующих материальных фактов, а также внешней формы, помогающей конкретизировать уже известную форму внутреннюю.

К числу подобных примеров внутренней формы мерянских числительных, очевидно, относится русское диалектное наречие *без-дву* «без двух», употреблявшееся в особом счете, напр., *без-дву тридцать*, «двадцать восемь» и т.п. (Вл. губ. — Переясл.) СРНГ II 186. Данная система счета интересна тем, что она точно или приблизительно калькирует финно-угорскую, которая на территории бывшей Владимирской губ. (согласно современному административному делению в пределах нынешней Ярославской обл.) может относиться только к мерянскому языку. Вот что по этому поводу пишет Б.А.Серебренников: «...характерная черта системы числительных финно-угорских языков состоит в том, что числительные «восемь» и «девять» не имеют собственных названий, а образуются описательно по схеме «два до десяти», «один до десяти», ср. ф. kahdeksän, yh-deksän, норв.-саамск. gav-če, ov-če, горно-мар. kändakš(ə), ən-dekš(ə), мар. kan-daš(ə), in-deš(ə), коми-зыр. kõkja-mys, õk-mys, эрзя-м. kavkso, vejk-së и т.д.» [87, с. 107]. Эта система, причем с применением мерянского по происхождению *иканя* «одна копейка» (*без икани*) и примерами на «восемь» и «девять», отражена также в денежном счете условного языка торговцев г. Углича, расположенного на бывшей мерянской территории, поэтому, несмотря на языковую разнородность указанного арго, включающего наряду с мерянскими тюркские (татарские) элементы, данную особенность следует признать определенным пережитком мерянского языка, ср.: *без дертахи* (*дертаха* = 2 копейки) *он алтын* (= 30 копеек) «28 копеек»; *без икани он алтын* «29 копеек»; *без дертахи ярым* (*ярым* = 50 копеек) «48 копеек»; *без икани ярым* «49 копеек» и т.п. (Свеш 82-83). Поскольку в тюркских языках данная модель построения числительных, включающих числа «восемь» и «девять», не действует, а для финно-угорских языков, в частности финских в широком смысле[8], к которым, по-видимому, относился и мерянский, она характерна, в данных оборотах, возникших на постмерянской территории, можно видеть только использование смешанного арготического языкового (мерянского и тюркского) материала по мерянской семантической модели, возможно, переданной недостаточно точно. Таким образом, появляется возможность представить себе хотя бы приблизительно внутреннюю форму мерянских числительных «восемь» и «девять». Вместе с тем на основании указанных данных можно считать, что в мерянском, как и в других финно-угорских

[8] Иначе дело обстоит в угорских языках: «Обско-угорские языки и венгерский также не имеют собственных названий для числительных «восемь» и «девять», но схема их образования отлична от вышеописанной (для финских языков. — *О.Т.*)» [87, с. 108].

языках финно-пермской ветви, числительные «восемь» и «девять» не имели специальных слов, образованных от особых корней, а передавались описательно путем указания на то, что первое меньше десяти на две единицы, а второе – на одну. Остается, однако, открытым вопрос о конкретной материальной форме данных мерянских числительных, в том числе о точности передачи их внутренней формы рассмотренными кальками.

Местоимение

От системы мерянских местоимений сохранились совсем незначительные остатки – личное местоимение *ma «я» и указательное местоимение *śi «этот (-а, -о)».

Первое из них восстанавливается на основе рус. (арг.) *мас* «я» (Галич) Вин 48, *масовский* «сам» < ? «я сам» (Владимир) Вин 48, *по-масовски* «по-нашему» (Углич) Свеш 90 в сопоставлении с ф. minä «я», кар. mie, miä, вепс. mina, miń'ä, mä, вод. miä, эст. mina, ma, лив. ma, miná, саам. mõn, морд. mon, удм. mon, коми me, хант. mа̑n, манс. (сосьв.) am, (тавд.) ɛm < ɛmə̄·n-, венг. én < *e-mën; нен. mań «то же» < урал. *mi-nä/*me-nä [156, т. 2, s. 346; 73, с. 399]. Учитывая сведения об именной парадигме мерянского языка, форму mas следует истолковывать конкретно как форму иллатива, возможно, наряду с чисто иллативной функцией (в данном случае дающей значение «в меня») имевшую оттенок значения дательного падежа («мне»). Подобное истолкование подтверждается тем, что в финно-угорских языках местные падежи с направительным значением используются в функции дательного падежа (ср. в эстонском, где аллатив minule/mulle (букв.) «на меня» используется в дативной функции, то есть со значением «мне», в саам. (кильд.) monn (mɛnɛ̑ʼe) «в меня; мне» [40, с. I73]. Не исключено, что выбору формы предполагаемого иллатива (датива) местоимения *ma «я» в качестве основной в постмерянских арго могло способствовать то, что формально она частично совпадала в старо(велико)русском языке с формой *язъ(ѣ)*, фон. *яс* «я», восходящей к друс. *язъ* (стсл. *азъ*) «то же» и длительное время в нем употреблявшейся (даже в XV в.). Если это предположение справедливо, то из него может вытекать вывод о довольно раннем возникновении данного элемента русского арго (возможно, еще до XVI в.) и в связи с этим – об отмирании в местах его возникновения мерянского языка (ввиду произвольности выбора форм, а следовательно, и утраты понимания их функций: форма иллатива/датива в функции номинативной). Помимо ареала фиксации данного элемента, совпадающего с постмерянской территорией, в пользу мерянского происхождения указанного местоимения говорит его формальное своеобразие. Наиболее близко реконструируемое мер. *ma «я» к эстонской краткой безударной форме того же местоимения: эст. ma «я» при полной форме того же местоимения mina (фин. minä «я»). Однако значительное различие между мерянской формой иллатива и эстонской краткой формой того же местоимения, не считая различий в окончаниях, вызванных новообразованием эстонского языка, заключается в том, что эстонская краткая форма сохраняет, видимо, древнее различие между основой в номинативе и иллативе, ср. краткие формы ном. ma – илл. musse при полных ном. mina – илл. minusse, а мерянский, вероятно, по аналогии к основе номинативной формы перестроил основу в иллативе. Обе предполагаемые формы мерянского языка – по происхождению краткие, судя по данным прибалтийско-финских и мордовских языков, сохраняющих в основе личного местоимения 1-го л. ед.ч. -n (ср. ф. minä «я», морд. *мон* «то же»).

Тот же конечный -n в основе личного местоимения 1 л. ед.ч. сохраняют или отражают в своих рефлексах говоры марийского языка [20, с. 85-86], поэтому можно прийти к заключению, что в данном случае мерянский из всех прибалтийско- и волжско-финских языков наиболее продвинулся в развитии.

Мерянское указательное местоимение śi «этот (-а, -о)» восстанавливается на основе рус. (диал.) *сиень* < *śi joń «есть» (Углич) ТОЛРС XX 117. Объяснение (под вопросом) у В.И.Даля: «*сіень* нар. ярс. (= ярославское. – *О.Т.*) есть, имеется (от *се-е*, *се-есть*?» [26, т. 4, с. 189], представляющее собой попытку понять слово как славянское по происхождению, неубедительно. Сомнение в его справедливости вызывает, с одной сто-

роны, странная для славяно-русского указательного местоимения в ед.ч. ср.р. форма ci (*си-*), а с другой – не свойственное форме 1-го л. ед.ч. глагола «быть» в русском (и вообще в славянских языках) окончание -нь. Слово *сиень*, по-видимому, являясь несовершенной орфографической передачей фонетического *сиёнь*, действительно образовалось из слияния двух слов – местоимения и глагола – со значением «этот (-а, -о) есть», однако не славяно-русского, а финно-угорского и, судя по своеобразию формы и ареалу распространения, именно мерянского происхождения. Причем если вторая его часть глагольна по происхождению и сопоставима с ф., эст. on «есть» и венг. van «то же» (подробнее см. ниже), то первая связана этимологически также с соответствующими финно-угорскими (и шире – уральскими) рефлексами того же указательного местоимения, ср.: ф. se «этот (-а, -о); тот (-а, -о)», si-: siten «так, таким образом», эст. see «этот; тот», si(i)-: siit «отсюда», морд. Э *се* «тот», мн.ч. *сеть*, морд. М *ся*, мар. *седе* «то же», хант. śĭ «тот; этот», śĭw «туда», t'it «этот», нган. sete «он», мн.ч. seteŋ < урал. *ći/*će «этот; тот», – имеющими, таким образом, общий (пра)-уральский источник [156, т. 4, s. 987-988; 73, с. 399].

Из приведенных родственных параллелей, как видим, наиболее близко формально и семантически к мер. śi «этот» (местоимению, имевшему, как и у ряда других финно-угорских языков, еще семантический оттенок «тот») хант. śĭ «тот; этот».

Фрагменты мерянской глагольной системы (спрягаемые формы)

Возможные реликты спрягаемых форм мерянской глагольной системы, обнаруживаемые в русском диалектном языке, делятся на две количественно неравные группы: в первую входят почти все глаголы предполагаемого мерянского происхождения, вторая практически сводится к нескольким спрягаемым формам одного мерянского глагола.

Первую группу составляют слова, полностью вошедшие в русскую глагольную систему, ассимилированные ею. В данном случае речь идет о мерянских корнях (основах), обросших русскими префиксами, суффиксами и флексией и функционирующих наравне с русскими глаголами славянского происхождения. О чужеродноoти этих глаголов можно догадаться по отсутствию у их основ связи со словами славянского происхождения, что делает их непонятными для носителей русских говоров, не имевших тесных контактов с мерянскими и другими финно-угорскими языками. Другим показателем иногда служит их фонетика с необычными для русского языка звукосочетаниями (напр., -хт-). Только последующий этимологический анализ позволяет предположить мерянское происхождение данных глаголов. На это прежде всего указывает наличие убедительных финно-угорских параллелей при отсутствии или сомнительности связей со славянскими словами, оообенно когда предполагаемые лексемы мерянского происхождения обнаруживают черты, в частности фонетические, выделяющие их на фоне финно-угорских соответствий. Не исключено, что к словам, принадлежавшим в прошлом мерянскому, могут относиться и совпадающие со словами других финно-угорских языков, и обнаруживающие явные инофинно-угорские черты, объяснение чему надо искать, с одной стороны, в формальном совпадении между родственными языками, а с другой – в случаях заимствования из них. Возможность предположительного отнесения русских диалектных глаголов, по происхождению финно-угорских, именно к мерянскому языку вытекает из фиксации их на бывшей мерянской языковой территории и из того, что в ряде случаев они, видимо, отражают черты, характерные для мерянской фонетики: 1) первоначальную полузвонкость согласных в интервокальной или межсонантной позиции: *при-о-тудобеть* «окрепнуть; прийти в сознание, в себя» < мер. *tuDo- «знать, осознавать, чувствовать» – ф. tuntea «чувствовать, знать, узнавать»; канд-ёхать «(груб.) работать» < мер. kanDa- «нести, тащить» – ф. kantaa «нести, носить»;

2) наличие звука β, отраженного b вместо прибалт.-фин. v или проявляющегося в смешении б с в в постмерянских русских говорах: *при-о-тудоб-е-ть* «окрепнуть; прийти в сознание, в чувство» < мер. *tuDoβa «знающий, осознающий, чувствующий», ср. р. *Андоба*, приток Костромы < мер. *anDoβa (букв.) «дающий, кормящий»; морд. Э *андомс* «кормить» – ф. tunteva «чувствующий, знающий, узнающий»; *шаб-и-ть* «курить» < мер. *šaβ- «дым» > «дымить», ср. кар. *шавута* «дымить» < *шаву* «дым»[9].

Исходя из изложенного, к числу русских диалектных слов, предположительно относящихся к первой группе, можно отнести, в частности, *войм-ова-ть* «понимать; воспринимать, вникать во что-либо» (Яр – Щерб); «делать что-либо, работать» (Яр – Пош; СРНГ V 33); «распоряжаться, заведовать, управлять чем-либо» (Яр – Мол; СРНГ V 33) (ср. ф. voida «мочь, быть в силах, в состоянии», voima «сила, энергия, мощь», коми (уст.) *ойӧс* «сила») [54, с. 204]; *кандёх-ать* «(груб.) работать» (Ярославль; ЯОСК) (ср. ф. kantaa «нести, носить», эст. kanda «то же», морд. *кандомс* «нести, тащить», мар. Л *конда́ш* «приносить», мар. Г *ка́ндаш* «то же»); *(не) кехт-а-ет* «(не) действует» (Костр – Гал; МКНО) (ср. вепс. kehtta «желать, хотеть, не лениться», ф. (диал.) kehdata «не (по)лениться (сделать что-либо)»); *с-мат-и-л* «с пути свел» (Вл. губ. – Суд; ТОЛРС XX, 211) (ср. ф. matkata «путешествовать, ездить», кар. matata «ходить, ездить; бегать», а также р. *Маткома* (Яр – Пош)); *рахт-и-ться* «петушиться, браться за дело не по своим силам» (Яр – Угл; ЯОСК) (ср. вепс. roht't'ä, roht'ta «сметь, осмеливаться», ф. rohjeta «осмеливаться, решаться», rohkea «смелый, храбрый»); *тохториться* «стараться, добиваться, хотеть, пробовать» (Яр – Ерм; КЯОС 201); «требовать» (Яр – Дан; там же) (ср. ф. tahtoa «хотеть», tahto «воля»); *при-о-тудоб-е-ть* «окрепнуть» (Костр – Кол; МКНО); *о-тутов-а-ть* «отойти (прийти в обычное состояние)» (Костр – Антр; КОСК); *о-тутов-еть* «прийти в себя» (Костр – Поназ; КОСК) при первоначальном значении «прийти в сознание; стать знающим (осознающим)» и, вероятно, сближении с рус. *тут* (ср. венг. tudni «знать, уметь, мочь», коми. *тӧдны* «знать, узнать», *тӧд* «память», удм. *тодыны* «знать, узнать; помнить», саам. N dow'dât «чувствовать, знать, узнавать», ф. tuntea, эст. tunda «то же», нен. *тумда(сь)* «узнать (кого-, что-либо); отметить» [MSzFUE т. 3, l. 646]; *шаб-и-ть* «курить» (Костр – Остр; КОСК) (ср. кар. *шавута* «дымить», *шаву* «дым», ф. savustaa «коптить, окуривать, выкуривать», savu «дым»); *шоп-а́ть* «колоть лучину специальным ножом». (Костр – Крас; КОСК) (ср. морд. М *шапомс* «рубить (только о срубе)», морд. Э *чапомс* «рубить (сруб); делать зарубку; отбивать (жернов)», коми (диал.) *тшапны* «зарубить, засечь, сделать зарубку») [54, с. 289]. Конечно, при тщательном рассмотрении этих русских глаголов может оказаться, что часть из них не восходит непосредственно к соответствующим мерянским словам, а образовалась уже на русской почве от мерянских существительных и прилагательных, точнее – от связанных с ними русских слов. Однако не подлежит сомнению и то, что среди русских апеллятивов и в ономастике мерянского происхождения будут обнаружены и другие глаголы, образованные от мерянских. Все они при внимательном анализе и большей изученности грамматического строя мерянского языка должны стать источником реконструкции мерянского глагола в его исходных формах.

Этой относительно богатой по составу группе противостоит чрезвычайно узкая группа форм, восходящих к финно-угорскому глаголу *wolę(-) «быть» [73, с. 417] и сохранивших свою мерянскую исконность благодаря тому, что они вошли в состав или местной русской фразеологии мерянского происхождения, или местных профессиональных «тайных языков», где сохранение исходного финно-угорского облика слова было желательно как лишний ресурс затемнения его смысла. Ценность этого

[9] Интересно, что современные русские говоры на постмерянской территории в словах нефинно-угорского происхождения обнаруживают те же фонетические черты: 1) *лединстенок* «спальня» (Яр – Дан; ЯОСК) – *пятистенок* «крестьянская изба в пять стен» (Ив – Ильин.-Хов; ЯОСК); *ленда* (Костр – Нер; КОСК) – рус. (лит.) *лента*; 2) *побредить* (Костр – МКНО) – рус. (лит.) *повредить*; *вес* «черт» (Костр – Мант; МКНО) – рус. (лит.) *бес* и т.п.

скудного в количественном отношении материала заключается в том, что он относится к парадигме одного и того же глагола, причем глагола едва ли не наиболее важного и частотного — именно это обстоятельство, видимо, и предопределило сохранность его форм. Кроме того, в отличие от приведенных выше фактов, где на несомненную финно-угорскую лексическую основу наслоились славянские грамматические черты, здесь финно-угорская форма слов (во всей специфике как корня, так и флексии) сохраняется полностью либо с самыми минимальными деформациями. Качественное преимущество данных фактов состоит в том, что их яркая локальная и формальная специфичность позволяют с большей уверенностью считать их явлениями мерянского языка. С целью возможно более краткого изложения соответствующих фактов мерянского языка, заключенных в их русских постмерянских отражениях, представляется целесообразным приводить прежде всего в реконструированном виде мерянскую глагольную форму, а затем обосновывать ее с помощью русского диалектного материала и связанных с ним финно-угорских сравнительно-исторических данных.

1) *e jola < *ej ola < *ei olə̑ «нет (букв. не есть)» — первоначально, видимо, отрицательная форма 3-го л. ед.ч. наст.вр. глагола «быть», затем ставшая общей (как эст. ei ole «не есть») для всех лиц и чисел данного глагола в настоящем времени, о чем свидетельствует, с одной стороны, произошедшее чисто фонетическое перераспределение звука (-)j < -i между двумя словами, невозможное, если бы он воспринимался как окончание особой формы, а с другой — влияние формы (e) jola, вызвавшее появление инициального j-, как увидим дальше, не только у отрицательных, но и у положительных форм того же глагола с начальным o-: рус. (диал.) *неiола* «нет» (Твер. губ. — Каш; ТОЛРС XX, 166); *неёла* «нет» (Яр. губ. — Угл; Свеш 93; ЯОСК), «не хватает весу или меры» (Яр. губ., Свеш 93; ЯОСК); *неёла* «неудача» (Костр. губ.; МКНО), где *неёла* (*неiола*) является, видимо, полукалькой предыдущего мер. *e jola «нет (букв. — не есть)» с первоначальным глагольным значением «нет» и позднейшим субстантивированным «неудача»; с тем же словом, очевидно, связано явно вторичное *ёла* «(гл.) есть» (Яр. губ. — Угл; Свеш 89; ЯОСК); «(сущ.) удача, счастье» (Костр. губ. — Нер; ООВС 54; КОСК), образованное от *неёла*.

2) *joń < *on, ср. прибалт.-фин. on, а также венг. van «есть» (MSzFE) — форма 3-го л. ед.ч. наст.вр. от «быть» (ф.-уг. *wolę(-)), изменения в которой (в отличие от ее ближайших прибалтийско-финских параллелей) произошли под влиянием отрицательных форм спряжения того же глагола, вызвавшим появление начального j- (*e jola «нет (букв. — не есть)»), а также под воздействием изменений в форме 3-го л. ед.ч. (простого) прошедшего времени того же глагола (*ul′ < *oli, ср. ф. (диал.) ol′ < oli «был»), приведших к исчезновению конечного -i и смягчению предыдущего согласного, которое затем по аналогии было перенесено на форму 3-го л. ед.ч. того же глагола в настоящем времени (*сиень* «есть» (Яр. губ. — Угл; ТОЛРС XX 117) (букв. — «это есть»), сравнимую с ф. se on, эст. see on «это есть», где, следовательно, в качестве глагола выделяется *ень*, точнее *-ёнь*, поскольку e- вместо более правильного (исходного) ё- следует объяснить или характерным для русского литературного языка и русских говоров (кроме северно-русских) переходом ё- в e- в безударной позиции, или тем, что в русской орфографии ё далеко не всегда обозначается специальным знаком и часто передается обычным e.

3) *ul′ «был (-а, -о)» < *ol′i, ср. прибалт.-фин. oli — форма 3-го л. ед.ч. (простого) прошедшего времени, изменение в которой, как и вообще аналогичные изменения в той же форме других глаголов, косвенно отражено формой настоящего времени данного глагола и является единственным аргументом в пользу существования формы ul′, поскольку прямо она нигде не засвидетельствована. О том, что падение конечного -i, как и вообще любого гласного в слоге, следующем за новым закрытым, должно было привести здесь к переходу исходного o- (через стадию его удлинения, а затем сужения) в u-, свидетельствуют другие формы, связанные с *wolę(-) «быть», в частности рус. (диал.) *ульшага* «умерший, покойник» (Яр. губ. — Угл; Свеш

92; ЯОСК) по образцу *бедняга*; *ульшил* «умер» (Яр. губ. — Угл; Свеш 92; ЯОСК) от мер. *ul′ša «бывший», с которым как их калька, очевидно, связано рус. (диал. яросл., костр.) *побывшиться* «умереть (то есть стать бывшим)».

4) *joluś < *joloZe «пусть будет (букв. — пусть есть)» — форма 3-го л. ед.ч. повел. или побуд. накл. (ср. морд. Э *улезэ* «пусть будет (букв. — пусть есть)», *кундазо* «пусть ловит», морд. М *кундаза* «то же», мар. *лийже* «пусть будет (есть)», саам. bottu-s «пусть приходит» [87, с. 167], где выступают этимологически связанные с мер. *-ś < *-Ze форманты). Из приведенных мерянских форм более ранней является *joloZe, а более поздней, возникшей в результате падения конечного -e и превращения бывшего предпоследнего слога в новый конечный закрытый слог с переходом в нем -o- (через -o̯-) в -u- — *joluś (ср. рус. (диал.) *елу́сь поелу́сь* «хлеб да соль «(приветствие во время обеда)» (Костр. губ. — Солигал; СРНГ VIII 349) < мер. *joluś ра joluś < *joloZe[10] ра joloZe [**tenän seγe (--) -juγe̯ (--)] «пусть будет и будет (букв. — пусть есть и пусть есть) (у тебя еда-питье)»).

Продолжение мерянской языковой формулы, дошедшей до нас в сокращенном виде, дается в обобщенной (праязыковой) форме. Попытки других объяснений (путем сближения с *елозить*, *ложка* или как тюркизма без указания источника — Фасмер I, 15, 17) менее убедительны, чем толкование в качестве мерянской формы, в пользу чего говорят и доводы лингвогеографии (фиксация оборота на бывшей мерянской территории, ср. еще *наелузиться* «наесться досыта» (Костр. губ. — Гал; МКНО), *наюлузиться* «то же» (Костр. губ. — Кин; МКНО)), и чисто языковые аргументы.

В настоящее время из парадигмы мер. *wole̯(-) «быть» известны только положительные формы 3-го л. ед.ч. наст. и прош. вр. изъяв. накл. и та же форма повел. или побуд. накл. Что касается отрицательных форм, существование которых подтверждается сходством (пост)мерянских глаголов с прибалтийско-финскими, то из них известна только форма 3-го л. ед.ч. наст. вр. изъяв. накл. Как уже объяснялось, эта форма, видимо, могла употребляться и во всех других лицах и числах того же времени. Какими были другие отрицательные формы рассматриваемого мерянского глагола, на основании имеющихся пока данных определить нельзя. Несмотря на ограниченность, эти данные в силу своей локальной определенности, а также языковой специфики, не позволяющей их отнести ни к одному из известных до сих пор финно-угорских языков, дают возможность рассматривать их как относящиеся к мерянскому языку. Большинство из них (такие формы, как *joń, *ul′, *e jola) в наибольшей степени сравнимо с аналогичными явлениями прибалтийско-финских языков, однако при несомненно общей с ними отправной точке получило другое, своеобразное развитие. Форма *joloZe > *joluś с бо́льшим основанием может быть сравнена с явлениями мордовских и марийского языков, хотя находит аналоги и в саамском.

Особенностью мерянской парадигмы глагола *wole̯(-) в отличие от других финно-угорских языков (ср. прибалт.-фин. ole- «быть», морд. *улемс*, мар. *ула́ш*, удм. *вылыны*, коми *вӧвны* (-*вывны*) «то же», хант. (казым.) *вəл′ты* «быть; жить», ср.-обск. *утта* «то же», манс. (сосьв.) *ōлуӈкве* «быть; жить; находиться», (конд.) *ол′х* «то же», венг. volt «был» [125, т. 3, 1. 669-671; 54, с. 67]), где начало глагола при возможном чередовании первого гласного основы неизменно, является наличие двух видов глагольных форм: 1) с начальным j- и следующим за ним -o-, то есть *jo-; 2) с начальным *u-, где отсутствует предшествующий ему j-[11]. Первые формы характерны

[10] Форма joloZe «пусть будет (есть)» реконструируется на основе рус. (диал. перм., также, видимо, постмер.) *елозь* «приветствие во время еды (здорово хлебать!)» [26, т. 1, с. 518], где сохранение -o- свидетельствует об отражении более ранней формы слова, когда слог с -o-, еще не перешедшим в -u-, был открытым, а мягкость указывает на то, что утраченный позже конечный гласный был гласным переднего ряда, скорее всего -e (или позднее -ə); союз *ра, сближенный на русской почве с приставкой по-, восстанавливается путем сравнения с хант. *па* «и, также» (ср. хант. *асем па анкем* «мой отец и моя мать»).

[11] Только в части мерянских говоров, как свидетельствует кинеш. *наюлузиться* «наесться досыта», в результате выравнивания по аналогии установилась, видимо, единообразная форма глагола с начальным *ju-.

для того варианта глагольной основы, где следующий за начальным слог не утрачивал своего гласного (*(e) jola, *joluś < *joloZe, или где *jo- достаточно давно выступало в составе односложной глагольной формы: *joń < -on, ср. прибалт.-фин. on, венг. van «есть». Вторые формы характерны для слов, где в следующем за начальным слоге секундарно выпал гласный, что привело к удлинению и сужению начального o- с дальнейшим переходом его в -u- (ср. *ul′ < *oli, *ul′ša «бывший (эвфем. также — умерший, покойник)» < *olešə̑).

Процессы, приведшие к образованию двух вариантов основы глагола *wolę(-), проходили в мерянском языке, по-видимому, уже после его отделения от прибалтийско-финских и волжско-финских языков, в собственно мерянский период его истории, иначе эта его особенность разделялась бы каким-нибудь из них. Относительная хронология соответствующих процессов: 1) падение в части форм гласных второго слога глагола (очевидно, через предшествующую стадию их перехода в редуцированные), которое привело к o- > u-; 2) замена первоначально разных личных форм отрицательного глагола ei, очевидно, близких ф. en, et, ei..., единой для всех лиц (и чисел) формой 3-го л. ед.ч. ei, как в современном эстонском языке; 3) перераспределение *ej ola > *e jola, приведшее к образованию отрицательной частицы e и появлению секундарного начального j- у форм глагола «быть» при их отрицательном спряжении; 4) распространение по аналогии начального j- с форм отрицательного спряжения глагола *wolę(-) на все его положительные формы, сохранившие начальный o-. Следовательно, процесс появления форм на jo- у мерянского глагола был, очевидно, отделен значительным промежутком времени от процесса образования форм с начальным u-[12].

Неспрягаемые (именные) глагольные формы

Причастие / отглагольное прилагательное

В мерянском языке обнаруживаются отглагольные формы, которые, употребляясь в атрибутивной функции и будучи близки к причастиям других финно-угорских языков, могли бы являться соответствующими причастиями. Но финно-угорские причастия связаны своим происхождением с отглагольными существительными и именами в целом [85, с. 167-168; 55, с. 350], приобретая в них функцию причастий в разное время, а в мерянском языке, где примеры соответствующих слов выступают изолированно, вне контекста, и тем самым не обнаруживают с определенностью своей функции, очень трудно совершенно точно сказать, являются они причастиями или только допричастными отглагольными прилагательными (иногда с факультативной причастной функцией), которым только предстояло при благоприятных условиях развиться в соответствующие причастия. Еще более сложно что-либо определенное утверждать по поводу их конкретного причастного значения (активности/пассивности, связи с настоящим или прошедшим временем). Следовательно, о принадлежности рассматриваемых ниже форм к причастиям или отглагольным прилагательным, а также об их предполагаемом причастном значении (если его допустить) можно высказать лишь более или менее вероятные предположения. В связи с этим функциональная интерпретация анализируемых далее отглагольных образований носит более или менее условный характер.

Среди этих мерянских образований, восстанавливаемых из их предполагаемых остатков в русской постмерянской топонимии, а также в апеллятивной диалектной лексике постмерянских территорий, обращает на себя внимание группа явно отглагольных форм, по-видимому, судя по колебанию -б-/-в- в их суффиксальной части, включающих суффикс -*βa[13]. Конкретно здесь

[12] Ещё об одной из спрягаемых форм, а именно о форме 2-ого л. ед. ч. повелительного наклонения см. на с. 109 книги.

[13] Ср.: (в названиях рек) *Андо-б-а*, *Кондо-б-а* и (в апеллятивах) *приоту-б-еть* «окрепнуть», *отуто-в-ать* «отойти», *отуто-в-еть* «ожить, прийти в себя», *варо-в-о* «быстро», *вара-в-о* «скоро». Поскольку ис-

реконструируются следующие предполагаемые мерянские слова: *anDoβa «кормящий(-ая) < *дающий(-ая) / кормительный(-ая)»[14] — р. *Андоба*, приток Костромы, «кормящий реку своими водами» (ср. ф. antava «дающий(-ая)» от antaa «давать», морд. *андомс* «кормить», морд. Э *андыця* «кормящий»); *konDoβa «(при)носящий(-ая), (при)носительный(-ая)» — р. *Кондоба*, левый приток Неи, притока Унжи, очевидно, также в связи с функцией притока приносить свою воду другой реке (ср. ф. kantava «несущий(-ая)» от kantaa «нести», морд. *кандомс* «то же», мар. *конда́ш* «приносить»); *tuDoβa «знающий, осознающий, знающий (-обладающий знанием), чуткий» — рус. (диал.) *при-о-тудоб-еть* (Костр. губ. — Кол) МКНО, *о-ту-това-ть* «отойти (прийти в обычное состояние)» (Костр — Антр) КОСК, *о-тутов-еть* «прийти в себя» (Костр — Поназ) КОСК < *«прийти в сознание; стать чувствующим (сознающим)» (ср. ф. tunteva «чувствующий; знающий», tuntea «чувствовать, знать», удм. *тодыны* «знать», коми *тӧдны* «то же», венг. tudni «знать, уметь, мочь», где обращает на себя внимание близость суффиксальной части к финской и эстонской (эст. tundev «чувствующий, узнающий») при особой близости в основе с венгерским соответствием); *βaraβa/*βaroβa «(быстро) делающий, работающий / деловой, работящий > быстрый» — рус. (диал.) *вараво* «скоро» (Костр. губ. — Ветл) МКНО, *варово* «быстро» (Костр — Мант) КОСК (ср. манс. *ва̄рӈкве* «делать; вырабатать»). Если бы в этих словах можно было усматривать причастия, то единственно допустимым объяснением их функции было бы значение действительного причастия настоящего времени. В пользу этого говорят как данные финно-угорских языков, а именно прибалтийско-финских, так и свойственный рассматриваемым отглагольным формам оттенок постоянства глагольного признака, неограниченного во времени (например, свойства реки), что, как правило, бывает связано с настоящим временем. Однако предлагаемое объяснение безоговорочно принять нельзя, поскольку наряду с рассмотренными выше отглагольными образованиями на *-βa, по-видимому, тот же причастный оттенок в мерянском языке могло бы в принципе иметь и другое отглагольное образование атрибутивно-причастного типа. Им являются отглагольные формы с суффиксом -ša. В отличие от только что рассмотренной группы отглагольных образований здесь данных форм обнаружено значительно меньше. Тем не менее не вызывает сомнения их как отглагольный, так и атрибутивный (причастно/адъективный) характер. Однако если в рассмотренном выше случае отглагольные образования находили соответствия в части прибалтийско-финских языков (ср.: ф. luke-va «читающий», иж. lukkō-va, вод. luk̭e-va. эст. luge-v, лив. jela-B «живой < живущий»), то образования на *-ša наиболее близки к соответствующим явлениям марийского языка. Пока удалось обнаружить всего два подобных образования, на основании которых восстанавливаются предполагаемые мерянские формы, ср.: мер. *ul'ša (? ⩽ фонет. ul'šə̑ «бывший» — рус. (арг.) *ульшага* «умерший, покойник» (Углич) Свеш 92 из *ульша* «бывший (перен. — покойник)» + га по типу *бедняга*, *работяга* и под., ср. также рус. (арг.) *ульшил* «умер» (Углич) Свеш 92 и калькy из мерянского рус. (диал.) *побывшиться* «умереть (стать бывшим)» (Яр. губ. — Рост, Рыб), что сопоставимо с мар. *улшо* «присутствующий» от *ула́ш* «находиться, присутствовать; (связка) быть, являться», морд. *улезь* «являясь, будучи» от *улемс* «быть, являться», ф. olla «быть», венг. volt «был»; *n'el'ša(/-ə̑) «глотающий(-ая) [54, с. 199]; проглотивший(-ая)» — р. *Нельша* (Костр), с. *Нельша* (Вл. губ.), р. *Нельшенка* (Вл. губ. — Смол 215), р. *Нельшица* (Вл. губ. — Смол 215), сопоставимые с мар. *нелше* «глотаю-

ходным здесь был суффикс -р-, через стадию -β- переходивший частично в -v- (ср. ф. lyöра «бьющий», lyöra kello «часы с боем», lyödä «ударять, бить», -mene-vä «идущий» от mennä «идти») [116, т. I, с. 177; 24, с. 187], для мерянского языка в связи с частичным озвончением глухих в интервокальной позиции в принципе допустимо было бы принять и реконструкцию типа *anDoBa, однако возможное здесь колебание -б-/-в- позволяет предположить звук β, который ввиду его промежуточного положения между рус. б и в и чуждости русской фонетической системе мог передаваться одним из этих двух русских звуков.

[14] Эти, как и следующие, несколько искусственные, формы даются для передачи значения предполагаемого в данном случае (допричастного) прилагательного.

щий; проглотивший», Г *нелшы* «то же», *нела́ш* «глотать; клевать (о рыбе)», морд. Э *нилезь* «(прич.) проглоченный; (дееприч.) глотая, проглатывая», морд. М *нилезь* «(дееприч.) глотая, проглатывая», морд. *нилемс* «проглотить», коми *ньылавысь* «глотающий», *ньылавны* «глотать», *ньылыштысь* «проглатывающий», *ньылыштны* «проглотить», ф. niellä «глотать», саам. njiellât, венг. nyelni «то же». Таким образом, в корневой части оба мерянских слова (*ul′ša, *n′el′ša) выступают как несомненно финно-угорские по происхождению [156, т. 2, s. 376, 427-428; 54, с. 67, 199; 125, т. 3, l. 479, 669-671]. То же относится к их суффиксальной части, так как суффикс -ša (/-šə̑) помимо соответствий в марийском, мордовских и коми языках, на что уже указывалось, имеет соответствия в обско-угорских отглагольных образованиях, в частности в мансийском пассивном причастии прошедшего времени на -s (манс. posxe-s «вылепленный» от posxi – «лепить»), а также в именах действия типа unlə-s «сидение»; в отглагольных именах тот же суффикс выступает и в хантыйском языке (хант. namə-s «разум» от nom – «вспоминать») [87, с. 211].

Все упомянутые соответствия вместе с мер. -š- (а/-ə̑) восходят к ф.-уг. *-ś- [55, с. 353]. Более сложен в отличие от формального истолкования мерянских образований на *-ša вопрос их функционального объяснения. При значительной формальной близости мер. -ša и мар. -*ше* (-*шо*, -*шӧ*), мар. Г -*шы* вывод об их семантико-функциональном сходстве далеко не очевиден. Марийские отглагольные образования являются активными причастиями, не имеющими форм времени: мар. *лудшо* означает как «читающий», так и «читавший» (Сав. – Уч, 846). Что касается мордовских-эрзя причастий на -зь, этимологически связанных с марийскими причастиями с суффиксом -ш(-е/о/ӧ - ы), то они обозначают только глагольный признак, связанный с законченным действием. В отличие от мар. *улшо* «присутствовавший; присутствующий» мер. *ul′ša «бывший (перен. – покойник)» имеет несравненно более определенную семантику, связанную именно с законченным действием. По-видимому, в том случае, если бы в мерянском, как и в марийском, с суффиксом -š- была связана та же временная неопределенность, отглагольное образование *ul′ša не могло бы в нем приобрести столь четко выраженную семантику «бывший», причем и применительно к покойникам. Слово, одновременно значащее «бывший» и «сущий, присутствующий (здесь, с нами, в мире живых)», не могло бы здесь найти применения. Несколько более двойственную интерпретацию, видимо, могло бы в принципе допускать *n′el′ša: «глотающая» применительно к реке (= «поглощающая тонущих в ней, другие, впадающие в нее речки и ручьи») и (при более конкретном восприятии глагольного признака) «проглотившая (поглотившая) много людей, рек, ручьев)». При подобном истолковании есть все основания как *ul′ša, так и *n′el′ša рассматривать (в отличие от формально близких причастий марийского языка) в качестве активных причастий прошедшего времени. В пользу подобного объяснения говорит и факт употребления в мерянском языке группы отглагольных атрибутивных образований на *-βa(/*-βə̑), с которыми наиболее естественно связывается значение активного причастия настоящего времени. Наличие аналогичных противопоставленных друг другу во временном отношении причастных форм, как известно, не свойственно марийскому языку. Поскольку в мерянском существует специальная отглагольная форма, этимологически связанная с финскими причастиями настоящего времени на -va < *-ра, для которой можно предположить то же временное значение, мерянские образования на -ša наиболее оправданно рассматривать как активные причастия прошедшего времени, тем более, что имеющиеся факты этому не противоречат. В таком случае следует считать, что в мерянском существовали две формы активного причастия – одна со значением настоящего, другая – со значением прошедшего времени, первая из которых связывала мерянский с частью прибалтийско-финских языков, а другая – формально и отчасти функционально – с марийским и эрзя-мордовским. Отличие мерянского заключается в последнем случае в том, что, в то время как в марийском языке формам на -ш-(-š-) свойственна только

активность без временной дифференцированности, в мерянском с ними помимо принадлежности к активному залогу связана, видимо, и принадлежность к прошедшему времени. Что касается функциональной связи с эрзя-мордовским, то и она у мерянского языка неполная: с мордовскими-эрзя причастиями на -зь связано значение прошедшего времени с семантикой пассивности (ср. морд. Э *соказь мода* «вспаханная земля», *сёрмадозь ёвтнема* «написанный рассказ», *нуезь ума* «сжатая полоса»), а в мерянских причастиях на -š-, этимологически с ними связанных, явно прослеживается значение действительного залога. Расходятся в своем значении они и с родственными явлениями других финно-угорских языков (коми и мансийского). Все это в целом, говоря о функциональном своеобразии названных отглагольных образований, в связи с тем, что они зафиксированы на постмерянской территории, позволяет рассматривать их в качестве причастий мерянского языка. Как показывают эти факты, в области причастий мерянский занимает как бы промежуточное положение между прибалтийско- и волжско-финскими языками.

Отглагольное существительное на -ma. Вопрос о мерянском инфинитиве

Среди других отглагольных именных образований в мерянском языке заметное место должны были занимать отглагольные существительные с суффиксом -ma, прафинно-угорским по происхождению и потому характерным для отдельных финно-угорских языков, ср.: ф. elä-mä «жизнь» < elää «жить», asema «место; станция» < asea «располагаться, размещаться»; саам. borram «еда», borrat «есть»; морд. *вачкодема* «удар», *вачкодемс* «ударить»; мар. (в составе суф. -ma-š/-mä-š) *лудмаш* «чтение», *лудаш* «читать»; удм. *пуксем* «осадок», *пуксьыны* «садиться»; коми *гижом* «письмо», *гижны* «писать»; хант. uləm «сон»; манс. ūləm «то же»; венг. álom «сон», aludni «спать». Об их распространенности в мерянском языке свидетельствуют многочисленные русские (постмерянские) топонимы на -ма на бывших мерянских землях, которые, по крайней мере часть из них, являются несомненными отглагольными существительными, а также отдельные русские диалектные (арготические) апеллятивы с тем же суффиксом (или включавшем его), которые ввиду их фиксации на постмерянской территории, видимо, также можно рассматривать как субстратные включения, вошедшие в русский язык из мерянского. На основании приведенных форм можно, в частности, реконструировать для мерянского такие отглагольные существительные на -ma, как *kolema «смерть; тяжелая болезнь» — рус. (диал.) *колему колеть* «тяжело болеть» (Костр. губ. — Ветл) СРНГК (ср. эст. (диал.) koolma < *koolema «умирать < *смерть, умирание», ф. kuolema «смерть, кончина», мар. *колымá-ш*, морд. Э *кулома*, удм. *кулон*, коми *кулöм*, венг. halál «то же», связанные с ф. kuolla «умереть», мар. *колáш*, морд. Э *куломс*, удм. *кулыны*, коми *кувны*, венг. (meg) halni «то же» (ф.-уг. kolę «умереть») [73, с. 407; 54, с. 143; 99], *pel′ma < *peləma «боязнь, страх» — рус. (арг.) *пельма-ть* «знать» (очевидно, будучи напуганным, ср. рус. *проучить* (кого-либо) «наказать для острастки») (Галич) Вин 49 (ср. морд. *пелема* «боязнь» (*пелемс* «бояться»), коми *полöм* «боязнь» (*повны* «бояться»), ф. pelätä «бояться», хант. *палты* (*пäлты*), венг. félni < ф.-уг. *pele- «то же») [73, с. 405; 156, т. 3, s. 516-517; 125, т. I, l. 198; 54, с. 223; 66, с. 81]; *seZema «разрывание (разрыв)» — р. *Сезема* (Костр. губ.) Экон. прим. (ГАКО ф. 138, оп. 5, ед. хр. 18, л. 143) (ср. морд. Э *сезема* «обрывание, разрывание, срывание» (*сеземс* «сорвать, оборвать, разорвать; (обл.) перейти, переехать (через что-либо)», возможно, связанное с коми *сэзьны* «поддать пару, плеснуть на каменку; открывать суслоны (снимая верхние снопы); снимать крышку») [54, с. 271-272]; *ul′šma «умирание, гибель (букв. — бывшенье)», по-видимому, от глагола, образованного от причастия *ul′ša «бывший» — р. *Ульшма* (Костр. губ. — Кол) КГЗ (СНМ) 141, соответствующий глагол, очевидно, является специфично мерянским образованием, если исходить из своеобразия семантики причастия *ul′ša, рассмотренной выше, а если учитывать его связи — через причастие ф.-уг. *wolę «быть» — со всеми финно-угорскими языками, то не вызывает сомнения его исконное финно-угорское происхождение.

Отглагольные субстантивные образования на -ma в финно-угорских языках (на-

пример, прибалтийско-финских и мордовских) нередко тесно связаны с инфинитивом и часто выступают как одна из его форм. Исторически финно-угорский инфинитив, как и славянский, представляет собой отглагольное существительное, сохраняющее падежные формы, по крайней мере часть их. В эстонском и мордовских языках в связи с этим прослеживается интересная закономерность. В мордовских языках словарной инфинитивной формой является иллатив отглагольного существительного на -ma (морд. Э -мо/-ме), номинатив в этой функции употребляется относительно редко. Поэтому номинативная форма часто употребляется здесь в роли отглагольного существительного, сохраняя способность употребляться также в роли инфинитива, ср.: морд. Э *од эрямо* «новая жизнь» — *карман эрямо* «буду жить»; морд. М *од эряма* «новая жизнь» — *карман эряма* «буду жить». В эстонском языке, где отглагольное существительное на -ma употребляется теперь только в инфинитивной функции (ср. elama «жить», minema «ходить», sööma «есть», kirjutama «писать» и т.п.), причем дается как словарная форма, подобное употребление формаций на -ma в роли существительных отсутствует. В связи с тем, что для мерянского языка, как и для мордовских, употребление отглагольных образований на -ma в роли существительного было, очевидно, весьма характерным (об этом говорит, в частности, большое количество постмерянских топонимов на -ma типа *Кострома*, *Костома*, *Кинешма*, *Яхрома*, *Чухлома*, *Шекшема* и т.п.), следует полагать, что эта форма только частично могла выполнять функцию инфинитивной. Видимо, наиболее типичным для инфинитива было какое-то другое образование. Не исключено, что им, как в мордовских языках, могла быть форма иллатива отглагольного существительного на -ma. Возможно, в связи с тем, что при этом, как в мордовских языках, конечное -a в -ma выпадало и предшествующий слог становился закрытым, в некоторых (пост)мерянских глаголах наблюдалось закономерное для мерянской фонетики явление: гласный последнего (нового закрытого) слога заменялся гласным более высокого подъема, ср. рус. (арг.) *ульшил* «умер» (Углич) Свеш 92 — мер. *ul′šims < *olęšem(a)s; рус. (Костр.) *варово/вараво* «быстро», где очевидно, первая форма отражает инфинитивное *βaroms «делать, работать», а вторая — отглагольное существительное *βarama «делание, работа»; р. *Кондоба* (Костр.) — ф. kantava «несущий(-ая)», возможно, под влиянием инфинитивного *konDoms «(при)нести» при *konDama «(при)несение» (ср. ф. kantama «дальность (при выстреле) (букв. — несение)», мар. *конда́ш* «приносить»).

Другие части речи

Наречие и предикатив

К числу наречий и предикативов мерянского языка можно отнести следующие реконструируемые лексемы: *βäha/*βähə̑ «мало» — рус. (диал.) *вяха* «чудо, небывалый случай; небылица, вздор» (Яр — Мышк, Пош, Рост; Костр. — Чухл); «немного, пустяк» (Яр — Рост, Костр — Парф); «беда, несчастье» (Яр); «куча, ворох, большая ноша» (Яр — Пош) ЯОСК; «самая малость чего-нибудь» (Костр — Буй) КОСК, где исходным значением является, очевидно, «мало, немного», а остальные представляют собой результат переосмысления, в том числе иронического («куча, ворох»), ср. ф. vähä «малый, скудный», vähän «мало, немного», вепс. vähä(n), эст. vähe, морд. Э *веж-* < *veźe «маленький» в *вежгель* «(анат.) язычок (букв. — маленький язык: *veže kel′ — ф. vähä kieli)», *вишка* «малый, маленький» [156, т. 6, s. 1830-1831]. Судя по ареалу распространения, слово может являться исконно мерянским, но ввиду того, что оно лишено каких-либо ярких своеобразных черт, нельзя исключить полностью и возможность его заимствования из прибалтийско-финских языков (скорее всего, вепсского). Предположить его позднейшее проникновение из вепсского непосредственно в русские говоры постмерянской территории более сомнительно, учитывая большой пространственный разрыв, существующий теперь между ареалом вепсского языка и данных рус-

ских говоров, а также слишком большую раопространенность слова в ярославских и костромских говорах.

Мер. *nemen′ «нет» — рус. (диал.) *немень* «нет» (Углич) ТОЛРС XX 116, *немань* «то же» (Яр) КЯОСК 122 (ср. венг. nem «нет; не», манс. *нэ̄м (хот)* «ни(где); не(где)» [Ромб. — Куз., с.77], хант. *нэм(хоят)* «ни(кто) (букв. — не кто-то)» [66, с. 76], коми *нем* «ничто, ничего», удм. *нéма* «нечего», мар. *нимо*, *нимат* «ничто, ничего» < ф.-уг. *nämi) [125, т. 3, 1. 464-466; 54, с. 186]. Что касается конечного элемента -ень, то аналогия ему имеется также в венгерском (венг. -en в nincsen «нет, не имеется» при более частом nincs). Этот не единственный случай мерянско-угорских, в частности венгерских, языковых связей обращает на себя внимание тем, что относится к частям речи, которые заимствуются чрезвычайно редко.

Союз

Пока обнаружен только один мерянский союз: мер. *ра «и» — рус. (диал.) *елусь поелусь* (приветствие во время обеда) < *joluś ра joluś (tenän seγe(--) — juγę(--) «пусть будет и пусть будет (у тебя еда-питье)» (Костр. губ. — Солигал) СРНГ VIII 349, ср. хант *па* «и» (*эвет па пухат* «девочки и мальчики») [66, с. 79])[15]. Связь мерянского и хантыйского языков в области служебных слов, где заимствования происходят очень редко, говорит о существовавших в прошлом тесных и длительных контактах предков мери с предками угров (в том числе ханты).

Частица

Как и остальные служебные части речи, мерянские частицы среди реконструируемых слов представлены в небольшом количестве. К ним относятся: *Joų < *n′oβ «(указат. частица) вот» — рус. (диал.) *ёв* «вот» («Ёв как он умеет кататься») (Яр — Щерб) ЯОСК (ср. хант. niw-, ni «быть видным», морд. М *нява* «(указат. частица) вон»), очевидно, связанное с **ня́еви* «видно» < ф.-уг. *näk- «видеть, смотреть» [65, с. 184; 73, с. 417]. Скорее всего, синкопированное образование, возникшее на основе формы 2-го л. ед.ч. повел. накл. глагола с семантикой «видеть, смотреть» (типа рус. *вишь* < **вижь*, *глядь*), которое в силу своей функции указательной частицы, требовавшей произношения в allegro-темпе, претерпело значительные трансформации. В основе, видимо, лежит ф.-уг. *näk- «видеть, смотреть», которому в мерянском языке, очевидно, соответствовал сокращенный вариант в функции частицы: *n′oβ < *n′aβ(ə̑) < *näβə̑/e- «смотри! глядь! (букв. — вишь!) вот!» (ср. эст. näe «смотри! вот! глядь!» — 2-е л. ед.ч. повел. накл. nägema «видеть»). Впоследствии *ńoβ со среднеязычным ń дало при быстром темпе произношения позднейшее *joų > рус. (постмер.) *ёв*. Ареал распространения, как и своеобразие развития слова, не противоречат гипотезе о его мерянском происхождении.

Усилительные частицы -ka и -ki, предполагаемые для мерянского языка, восстанавливаются на основании русских (диалектных постмерянских) частиц -ка и -ки явно финно-угорского происхождения, ср. рус. *А я ему да не дамотки земли-то, а он будетки всё-ка воймовать* (= просить, требовать) (Яр — Рыб) СРНГ V, 33 — ф. -kaan (-kään), -kin: Eihän tässä mitään asia olekaan (Лассила) «Да тут, собственно, никакого дела и нет»; Ihmisten tekemänä on tämä konsti ollut ennenkin (Киви) «Эта штука и раньше людьми делалась» [24, с. 228-229]; вепс. -ki (-gi после гласных и звонких согласных): l′ehmgi söb necen hiinan «и корова ест эту траву» (Зайцева 297); иж. Gä (-Gǟ) (при отрицании), Gi (-kki) (при утверждении): emmä kunne-Ga jouvu «мы никуда не успеем»; anna hänelleGi «дай и ему» [49, с. 113]; вод. -kā (при отрицании) -či(-tši) < *ki- (при утверждении): ep kuhēkā «никуда»; tulęrči «идет же» [50, с. 107; 6, с. 134]; эст. -ki(-gi): tulebki «то же»; ei kuhugi «никуда» [50, с. 107]; морд. М -ка(-га)/-ке(-ге): *монга молян* «и я пойду»; морд. Э -как(-гак), возникшие в результате удвоения исходных морд. -ка(-га): *Панжоматкак арасть, кенкшесь жо а панжови* «И ключей нет, дверь же нельзя открыть» [87, с. 257;

[15] Форма по вместо предполагаемого па вызвана, очевидно, сближением последнего с русской приставкой по-, воспринятой в ее фонетической (акающей) форме.

7, с. 303; 23, с. 352-353][16]. Таким образом, отмечаемые в русском говоре на постмерянской территории усилительные частицы -ка и -ки являются скорее всего частицами мерянского происхождения. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, их распространенность на территории, в настоящее время не соприкасающейся с ареалом какого-либо финно-угорского языка и населенной только русскими, а с другой — многочисленные параллели в финно-угорских, прибалтийско-финских и мордовских языках, а также то, что в прошлом место их фиксации было заселено мерей. Дополнительным обстоятельством, говорящим в пользу мерянского происхождения частиц, служит и то, что заимствование служебных слов происходит значительно реже, чем полнозначных (особенно в случае, если их распространение должно было идти из соседнего маловлиятельного языка, каким здесь мог быть только вепсский). Гораздо более естественно предположение, что данные служебные слова сохранились как остатки местного финно-угорского мерянского языка.

Междометие

Пока обнаружено только одно междометие, которое может считаться мерянским. Им является восклицание эмоционального характера, реконструируемое как *u̯aj! — рус. (диал.) *вай* (межд.) «возглас удивления» («Вай, какая сегодня холодная погода») (Яр — Пош; Костр — Сусан) ЯОСК (ср. морд. Э *вай* «ой! ах! ох!»: *вай сэреди!* «ой больно!», *вай, чись кодамо лембе!* «ах, день какой теплый!», *вай, кулан!* «ох, умру!»; морд. М *вай* «ой! ах! ох!»: *вай, маряй!* «ой как болит!», *вай, шись кодама пара!* «ах, день какой хороший!», *вай, кулан!* «ох, умру!»; возможно, также венг. vaj! (vajh! vally-ha!) (книжн. уст. межд., ст. диал. váj, vájh) «выражение в особенности боли, жалобы») [122, с. 39; 65, с. 40; 146, l. 1455; 124, k. 3, l. 1069]. В пользу финно-угорского субстратного (мерянского) происхождения междометия говорят как ареал его распространения, совпадающий с бывшей мерянской территорией, так и отсутствие его в других русских говорах (не отмечено в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля и «Словаре русских народных говоров») при одновременном существовании его параллелей в обоих мордовских языках и, возможно, венгерском. Междометие интересно также тем, что в нем, как и в близкой по функции к междометию частице *jou̯, можно предположить существование звука u̯, в целом нехарактерного для мерянской фонетической системы, где вместо w(v) и b употреблялся в артикуляционном отношении промежуточный звук. Предположительное (ограниченное) наличие u̯ наряду с β, когда u̯ могло возникать при недостаточно четкой (неполной) артикуляции β, объясняется, видимо, тем, что u̯ выступало, как правило, только в междометиях и близких к ним по функциям словах, которым свойственны нехарактерные для данного языка звуки, как, например, в русском литературном языке употребление фрикативного ɣ в междометиях *ага*, *ого* или в украинском звукоподражательном *ґе-ґе-ґе* взрывного g, нехарактерных вообще для их фонетических систем.

СИНТАКСИС (НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ)

Сведения, относящиеся к синтаксису мерянского языка, касаются пока только синтаксиса словосочетания и простого предложения, что обусловлено крайней ограниченностью дошедших до нас разрозненных мерянских текстов (не более 3-4 частично реконструированных предложений). Как наиболее существенные можно отметить всего две черты из этих областей синтаксиса. Для мерянского, как и для других финно-угорских языков, характерна была, очевидно, обязательная постановка определения (в том числе несогласованного) перед определяемым. Об этом свидетельствуют, в частности, такие примеры как названия Галичского озера *Néron (рус. *Нерон*) и р. Jähren (рус. *Яхрен*), являющиеся остат-

[16] Что касается мар. -ак, то его связь с рассмотренными частицами [87, с. 257] ставится под сомнение [20, с. 183-184].

ками предполагаемых словосочетаний (или возникших впоследствии на их основе сложных слов) *jähren (juk) «(букв. — о́зера, род.пад. ед.ч.) река»; *Néron (jähre) «(букв. — боло́та, род.пад. ед.ч.) озеро».

Другая важная синтаксическая особенность мерянского языка — употребление связки в именных предложениях. На это, как представляется, указывает обнаруженное в нем словосочетание *śi joń (рус. (арг.) *сиень* «есть (букв. — это есть)»), предполагающее не только указательное местоимение, но и сопровождающую его связку — глагол *joń (фин., эст. on) «есть». Реконструируемые на этом основании мерянские предложения типа *Śi joń l′ejma «Это (есть) корова»; *Śi joń urma(-ə̑) «Это (есть) белка»; *Śi joń juk «Это (есть) река» построены, в сущности, по принципу аналогичных предложений в финском и эстонском языках. Ср. ф. Se on lehmä; Se on orava; Se on joki; эст. See on lehm; See on orav; See on jõgi. Как известно, в остальных финно-угорских языках, в частности мордовских и венгерском, связка в данном случае не употребляется: морд. Э *Те минек пиресь* «Это — наш сад»; венг. Ez ház «Это — дом». Таким образом, по указанному признаку мерянский язык связан с прибалтийско-финскими языками, отличаясь от других финно-угорских. Не исключено, что поскольку употребление связки «есть» характерно в целом для индоевропейских языков Европы (ср.: нем. Das ist ein Buch «Это (есть) книга»; англ. It is a book; фр. C′est un livre; лит. Tai yra knyga; лтш. Tā ir grāmata; п. To jest książka; болг. *Това е книга* «то же»), за исключением восточнославянских языков (возможно, как следствие их контактов с неиндоевропейскими), существование связки настоящего времени в прибалтийско-финских и мерянском языках является вторичной особенностью, вызванной сильным влиянием на них синтаксиса индоевропейских языков. Для прибалтийско-финских это было главным образом влияние балтийских, а затем германских языков. Что касается мерянского, то на нем сказалось воздействие прежде всего индоевропейского языка фатьяновцев, растворившегося в нем как субстрат и тем самым повлиявшего на его структуру. Кроме того, не исключено влияние на мерянский со стороны балтийских языков, один из которых, балтийский язык голяди, непосредственно должен был с ним соприкасаться на границе с юго-западной частью его языковой территории.

ВЫВОДЫ

Рассмотрение грамматической системы мерянского языка по остаткам, сохраненным в русском диалектном языке и его ономастике, позволило обнаружить фрагменты мерянских частей речи и их словоизменительной системы. Из частей речи, хотя бы в самой минимальной степени, смогли быть рассмотрены: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, союз, частица, междометие. Было получено некоторое представление о фрагментах словоизменительной системы имени (большее) и глагола (значительно меньшее). Обнаруженные факты в силу своей отрывочности не дают точного представления о грамматике мерянского языка в целом. С их помощью обнаруживаются только общие, иногда очень размытые, контуры ее системы. Причем это относится даже к тем частям речи и словоизменительным парадигмам, которые поддаются частичному восстановлению.

Однако на настоящей стадии реконструкции есть еще целые части речи и грамматические категории, которые совершенно не поддаются воссозданию. Что касается частей речи мерянского языка, то здесь отсутствуют какие-либо факты, связанные с такой важной частью речи финно-угорских языков, как послелог и, возможно, предлог, если он в мерянском существовал. Ничем не обнаружила себя в поддающихся реконструкции мерянских пережитках такая важная для финно-угорских языков лексико-грамматическая категория (возможно, даже отдельная часть речи), как изобразительные слова.

Из словоизменительных категорий остаются совершенно неизвестными парадигмы именного (субстантивного) притяжательного склонения, степени сравнения прилагательного, парадигма спряжения глагола в условном (сослагательном) наклонении, не говоря уже о том, что, как и в ряде других финно-угорских языков, состав наклонений мог не исчерпываться только действительным, повелительным и условным. Не исключено, что в мерянском, как и в мордовских и угорских языках, наряду с безобъектным существовало объектное спряжение глагола. Говорить о его наличии или отсутствии на основании имеющихся реконструируемых данных еще невозможно. Очень отрывочны также факты, связанные с мерянским словообразованием. Можно говорить только об отдельных суффиксах имен: уменьшительном -nä у существительных, абессивном (лишительном) -Doma у прилагательных, глагольно-адъективных (причастных) -β(a), -š(a), глагольно-субстантивном -ma. Неизвестными остаются формы страдательных причастий мерянского языка и возможного деепричастия. Можно пока только строить предположения и о конкретной форме мерянского инфинитива.

Тем не менее и при остающихся многочисленных пробелах имеющихся фактов достаточно, чтобы на их основании позволить себе сделать предварительные выводы о грамматической специфике мерянского языка и в связи с этим — о его месте среди финно-угорских языков. Большинство реконструируемых фактов определяют мерянский язык как наиболее тесно связанный с прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками. Его срединное лингвогеографическое положение между ними хорошо согласуется с таким же промежуточным, как бы переходным, положением мерянской грамматической системы, — как именной, так и глагольной, — между грамматическими системами этих языков. На основании реконструированного материала можно решительно утверждать, что высказывавшиеся в прошлом мнения об особенно тесной близости между мерянским и марийским языками обнаруженными грамматическими особенностями мерянского не подтверждаются. В частности, это видно на примере именной парадигмы, где 9-ти (10-ти с вокативом) восстанавливаемым падежам мерянского, а в действительности, очевидно, их количество было еще больше, противостоит 8 (9 с вокативом) падежей марийского. Четкое, по-видимому, различение внешнеместных и внутреннеместных значений, сближающее мерянский с прибалтийско-финскими языками, отсутствует в марийском. Как финно-угорский язык Центральной России, наиболее близкий к прибалтийско-финской группе, мерянский отличается целым рядом черт, именных и глагольных, также от мордовского языка. В целом его специфика определяется не столько своеобразными явлениями (они касаются, как правило, только малосущественных черт), сколько неповторимым сочетанием тех особенностей, которые в отдельности свойственны и другим родственным языкам, а иногда их своеобразным развитием (ср. варианты jol- :ul′ у мерянских рефлексов ф.-уг. *wolę- «быть»).

Кроме явно преобладающих черт родства с прибалтийско- и волжско-финскими языками, у мерянского есть отдельные черты, говорящие также о его тесных связях с угорскими языками (ср. показатель мн.ч. -k, сходный с венгерским; союз *ра* «и», общий с хантыйским). Хотя количество этих общих явлений в целом невелико, все они — результат не эпизодических, а, напротив, длительных и непосредственных контактов, так как только они могли коснуться таких малопроницаемых сфер, как грамматический строй языка и служебные слова.

Поскольку меря жила вдали от угорских народов и с ними непосредственно не общалась, время возникновения отмеченных меряно-угорских (в том числе меряно-венгерских) общих явлений, возможно, результата взаимовлияний, следует отнести к периоду до переселения протомерянских финно-угорских племен с финно-угорской прародины на их историческую территорию. Очевидно, именно там, на финно-угорской прародине или где-то в непосредственной близости от нее общие явления могли развиться. Поэтому можно предположить, что, входя в состав финно-пермских племен, протомеряне в этот период располагались на их крайнем восточном рубеже, а это сделало возможным их контакты с прауграми, в том числе с протовенграми.

ЛЕКСИКА

Мерянский язык, по имеющимся данным, относится к числу бестекстных. Этим во многом определена специфика источников сведений о нем и критериев, помогающих выделить его элементы и хотя бы фрагментарно реконструировать его как систему, в том числе лексическую. Трудности, возникающие при системной реконструкции лексического состава мерянского языка, состоят в сложности разграничения мерянского и инофинно-угорских словарей как в их исконных элементах, так и в возможных заимствованиях, где не исключены случаи полного формального и семантического совпадения. При смежности родственных языков, возможности массовых миграций их носителей и недостаточно точных данных о границах бывшей мерянской языковой территории такая слабая или нулевая дифференцированность предполагаемых мерянских и инофинно-угорских лексем может вызвать сомнение, относится ли то или иное слово к исконной мерянской лексике, принадлежит ли к заимствованиям из какого-либо родственного языка или является результатом переселения носителей соседнего финно-угорского языка на мерянскую территорию и в состав мерянской лексики никогда не входило. Не менее сложно выяснить состав нефинно-угорских лексических заимствований мерянского, что необходимо для полноты представления о его словаре.

Основным общим источником сведений о мерянской лексике является пока русский язык. Хотя не исключена возможность обнаружения мерянских заимствований в финно-угорских языках, особенно смежных в прошлом с мерянским, история его носителей позволяет считать, что по сравнению с русским языком число заимствований из мерянского в финно-угорских языках значительно меньше, поэтому их роль может быть лишь вспомогательной. Лексика мерянского языка отражена русским языком в двух видах — материальном и калькированном. Конкретными источниками обнаружения материальных включений мерянской лексики в русском языке служат связанные преимущественно с постмерянской территорией апеллятивы диалектов, апеллятивы социолектов (арго), топонимы и этнонимы. Калькированная полностью или частично лексика представлена преимущественно в диалектах и социолектах. Частично оба вида мерянизмов из диалектного и фольклорного могли войти в литературный русский язык.

История мерянских слов отражена в разновременности их проникновения в русский язык и фиксации в его памятниках. Локальные различия слов свидетельствуют об их диалектных вариантах. Итак, указанные источники дают довольно разнообразные сведения о мерянской лексике. Однако поскольку эти сведения извлекаются не из связных мерянских текстов, а из русского языка, где мерянская лексика представляет собой разрозненные вкрапления и где ее еще надо обнаружить, неизбежно возникает вопрос о критериях ее определения.

Общими критериями определения лексики мерянского происхождения в русском языке и ее идентификации в качестве финно-угорской являются сопоставительно-типологический (черты отличия от лексики славянского происхождения) и сравнительно-исторический (черты сходства с лексикой финно-угорских языков). Чтобы найти элементы мерянского происхождения в русской лексике (и ономастике), приходится идти путем постепенного исключения всего немерянского в ней: 1) славянского; 2) неславянского, но и не финно-угорского; 3) финно-угорского, однако не мерянского, кроме того, что могло быть заимствовано из соответствующих языков в мерянский. Оставшиеся после отсева, в том числе заимствованные, элементы должны быть окончательно обоснованы в качестве мерянских и реконструированы в своей исходной форме. Установление собственно мерянской принадлежности лексики опирается при этом на частные критерии внешнего и внутреннего порядка. К внешним принадлежат критерии социолингвистический (ориентация ме-

рянской лексики как субстратной на социологически «низкие», особенно в апеллятивах, слои словаря – конкретные детали местной природы, быта, реалий, элементы просторечия и вульгаризмы), лингвогеографический (связь лексики с постмерянской территорией), лингвоисторический (зависимость от обстоятельств внешней истории языка – миграций его носителей и преемников его элементов связей мерянского с другими языками и т.д.). К внутренним критериям относятся особенности структурных уровней мерянского языка, выделяющие его на фоне других финно-угорских языков: фонетического (переход гласных новых закрытых слогов в гласные более высокого подъема: а > о, о > u, ӓ > е, е > і (*urma < *oraβa «белка», *palo > *pol «деревня» и т.п.; согласный β, инициальное ударение, отсутствие звука х), морфологического (формантный) (варианты *jol-: *ul′- у глагола «быть» – *joluś «пусть будет; *ul′ «был»), семантико-типологического (*ul′šims «умирать» < «становиться бывшим» от (*ul′ša «бывший»). Учет всех или части упомянутых критериев, указывающих на мерянское происхождение слова, позволяет с большей или меньшей долей вероятности относить его к уже рассмотренным исконным или заимствованным элементам мерянского языка.

Восстановление первоначального облика мерянских слов, сохраненных в русском языке иногда в одной из застывших «несловарных» форм (галич. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро», род.п. ед.ч. от мер. *ńero «болото») или обросших русскими формантами (костр. *при-о-тудоб-еть* «окрепнуть» < «прийти в себя» от мер. *tudoβa «(осо)знающий»), требует снятия позднейших наслоений и объяснения структуры слова. Методы внешней и внутренний реконструкции, применяемые при этом, дают возможность воссоздать соответствующие мерянские лексемы в предполагаемой исходной форме большей или меньшей хронологической глубины.

Ввиду того что для решения вопроса о происхождении слова и принадлежности его к мерянскому языку оно должно быть предварительно подвергнуто этимологическому анализу, рассмотрению устанавливаемой в настоящее время мерянской лексики в целом должна предшествовать ее этимологическая аргументация в качестве мерянской, исконной или заимствованной.

В силу специфики исследования мерянской лексики данная глава должна состоять из двух частей – собственно этимологической и лексикологической. В первой части основная задача – этимологическое доказательство мерянского происхождения ряда слов. Во второй части, которая является выводами из первой, реконструируемая мерянская лексика должна быть рассмотрена в целом как система с точки зрения ее происхождения, в том числе взаимосвязи с другими финно-угорскими (и уральскими) языками в ее исконных элементах, а также в ее принадлежности к определенным тематическим группам.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕРЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Андоба (приток р. Костромы) < мер. *AnDoβa/*AnDoβə̑ «кормящий (-ая, -ее)» – ф. antava «дающий (-ая, -ее)», эст. andev «то же» с формантом -v(a) < *-pa [55, с. 350], форма, имеющая прямые грамматические соответствия только в прибалтийско-финских языках и связанная с глаголом anDa- «кормить» < «да(ва)ть» финно-угорского происхождения (ср. ф. antaa «да(ва)ть», эст. andma «то же», саам. Н vuow′det «продавать», морд. *андомс* «кормить», удм. *удыны* «напоить, подать пить», коми *удны* (в парном слове *вердны-удны* «кормить-поить», где *вердны* «кормить»), венг. adni «да(ва)ть; прода(ва)ть» < ф.-уг. *amta- «да(ва)ть»). Восстанавливаемая семантика, наиболее вероятная для речного притока, «кормящего» своими водами реку, в которую впадает, ближе всего стоит к значению соответствия *андомс* в мордовских языках (ОФУЯ 418; КЭСКЯ 295-296; SKES 120; MSzFUE 169).

Анка «галка» (Костр – Нерехт) ЯОС I 29 < *aŋka. Слово, очевидно, субстратного финно-угорского, причем мерянского, про-

исхождения, о чем свидетельствуют как отдаленность района, в котором оно зафиксировано, от других финно-угорских языковых территорий при одновременной его связи с областью распространения мерянского языка, так и своеобразие его формы. Слово не обнаруживает соответствий в территориально близких (в настоящем или прошлом) финно-угорских языках «восточной» ориентации (ср. мар. *чаҥга* «галка», морд. *чавка*, коми *чавкан*, *тявкан*, удм. *ӵана*, венг. csóka), зато есть явные связи со словами, обозначающими ту же птицу в прибалтийско-финских языках (ср. ф. naakka «галка», кар. ńoakka, лив. ńoakku, люд. ńuak, ńuakke, ńuakku, вепс. ńak, ńäk, эст. (диал.) nakk и (лит.) hakk). «Этимологический словарь финского языка» определяет слово как звукоподражательное (SKES II 362), то же относится к названным словам остальных финно-угорских языков, по определению других финно-угорских этимологических словарей (КЭСКЯ 300, MNTESz I 547-548), однако нельзя не заметить, что по фонетическому облику мерянская лексема гораздо ближе к соответствующим прибалтийско-финским словам. Видимо, если в основе финно-угорских слов, обозначающих галку, лежало звукоподражание, то принцип этого звукоподражания был разным в прибалтийско-финских языках, с одной стороны, и волжско-финских, пермских, а также в венгерском — с другой. Постмер. *анка* можно рассматривать или как форму, находящуюся в отношении метатезы к ф. naakka (и его соответствиям), причем трудно с определенностью сказать, какая из форм первична (вполне возможно, судя по «восточным» финно-угорским параллелям, что мерянская), или как форму, связанную с эстонской. В последнем случае обе формы можно было бы рассматривать как отклонившиеся от своей исходной праформы: мерянскую — в связи с утратой инициального согласного, эстонскую — в связи с синкопированием конечной части в качестве видоизменившей первоначальное -ŋ(-) в -kk. Не исключено также, что мер. (позд.) *анка* является как бы связующим звеном между словами «восточных» (пермских, угорских, волжских) и «западных» (прибалтийско-финских) языков. Ввиду того что прибалт.-фин. h может отражать первоначальное š, а в некоторых случаях и č, а морд. в (v) являться отражением первичного (или диалектного) -ŋ, вполне вероятно, что в основе мер. (поздн.) *aŋka, как и эст. hakk, лежит исходное *čaŋka, в дальнейшем в силу утраты смычки перешедшее в *šaŋka, преобразовавшееся в *(h)aŋka. Лексема с утраченным h- могла дать в прямой форме поздн. мер. *aŋka, а в форме, подвергшейся метатезе, — ф. naakka. Лексема, сохранившая инициальное h-, могла в эстонском языке дать hakk. Как бы то ни было, связь рассматриваемого слова с финно-угорскими (в особенности прибалтийско-финскими и марийским) языками не вызывает особых сомнений.

К числу субстратных индоевропейских включений относится, видимо, рус. (диал.) *бени* (*бини*, *венечки*) / *бянки* (*вянки*) «(преимущественно) род вил» — слово, до сих пор не получившее удовлетворительного объяснения. В своих фонетических и словообразовательных вариантах оно распространено главным образом на территории былого проживания мери (в Московской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской обл. и быв. Владимирской и Костромской губ.), а также к востоку от нее (в Куйбышевской [с 1991 г. — Самарской. — *Прим. ред.*] и Пензенской обл. и быв. Самарской, Пензенской, Вятской, Симбирской и Нижегородской губ.), что могло быть следствием переселения жителей упомянутых областей Центральной России на восток. Однако в пользу заимствованного характера слова и его связи с бывшей мерянской территорией свидетельствуют не столько особенности его распространения, сколько данные этимологического анализа.

Рассматриваемое слово засвидетельствовано в основном с кругом тесно взаимосвязанных, узкоспециальных значений, но в нескольких фонетических вариантах, где его основа выступает в формах *бян-*/*бен-*/*бин-*/*вян-*/*вен-*. Обе особенности говорят о том, что оно носит заимствованный характер, с чем, как известно, связаны, с одной стороны, конкретность значений, их относительная неразветвленность, а с другой — шаткость формы слова, в частности фонетической, которая не может быть передана точно средствами заимствующего языка и по-

этому невольно вызывает появление нескольких вариантов его передачи. Поскольку каждый из вышеуказанных фонетических вариантов слова, как правило, имеет также несколько словообразовательных вариантов, связанных нередко с особыми семантическими оттенками, слово выступает в целом ряде конкретных фонетико-словообразовательных форм и значений: 1) *бя́ны* (мн.) «небольшие вилы для разбрасывания навоза в поле» (Влад. губ.) СРНГ III 360; 2) *бя́нка* (ж.р.) «вилы для ворошения соломы» (Моск) СРНГ III 360; 3) *бя́нки* (мн.ч.) «короткие с тупыми зубьями вилы для уборки соломы на току при молотьбе» (Моск. обл., Пенз., Вят., Симб. губ.) СРНГ III 360; «железные вилы с тремя зубьями» (Влад. губ.) СРНГ III 360; «вилы для подачи, складывания соломы при молотьбе» (Костр) КОСК; «деревянные вилы с двумя зубьями» (Яр) ЯОСК; «вилы с двумя зубьями для разбрасывания навоза» (Нижегор. губ.) СРНГ III 360; «скулы» (очевидно, переносное от первоначального значения «двурогие вилы», ср. укр. *ви́лиці* «скулы (букв. — (маленькие) вилы)») (Костр — Солигал) ЯОСК: 4) *бя́ньки* (мн.) «деревянные вилы с двумя зубьями для уборки соломы при молотьбе» (Вл. губ.) СРНГ III 360; «вилы для ворошения сена или соломы на гумне» (Яр., Моск.) СРНГ III 360; 5) *бе́нечка* (ж.р.) «вилка какая?» (Яр) ЯОСК; 6) *беня́шки* (мн.ч.) «двурогие вилы» (Яр) ЯОСК; 7) *бе́ньки* (мн.ч.) «вилы, которыми ворошат сено при сушке; вилы, которыми заправляют навоз под пласт земли во время пахоты; деревянные двурогие вилы, которыми трясут солому во время молотьбы» (Яр) ЯОСК; 8) *беньки́* (мн.ч.) «рогатки для подавания снопов» (Костр) МКНО; 9) *бе́ньги* (мн.ч.) «деревянная палка с развилиной на конце, используется для перевертывания сена во время сушки» (Яр) ЯОСК; 10) *бе́ни* (мн.ч.) «накладка на телегу, сделанная в виде санок, служит для перевозки сена, соломы; вилы железные, деревянные с тремя, четырьмя зубьями, которыми накладывают сено, солому, навоз; вилы с двумя длинными зубьями; особый род вил с короткими рожками, которые используются для разрыхления земли при копке гряд» (Яр) ЯОСК; «вилы трехрогие с длинным чернем с отогнутым средним рогом для подачи сена высоко» (Костр) КОСК; 11) *бенины* (мн.ч.) «то же, что бени» (Яр) ЯОСК; 12) *бени́цы* (мн.ч.) «вилы; трехрогие вилы» (Костр) КОСК; 13) *би́ни* (мн.ч.) «двурогие вилы для разбрасывания навоза на поле» (Яр) ЯОСК; 14) *вянки* (мн.ч.) «вилы небольшие двурогие, тупые» (Костр) КОСК; «короткие навозные вилы» (Костр., Пенз. губ.) СРНГ VI 79; «особого рода тупые вилы для перетруски колоса на току во время молотьбы» (Симб., Пенз., Самар. губ.) СРНГ VI 79; «небольшие тупые вилы в два зуба для подачи и перетруски снопов на току при молотьбе» (Симб., Пенз. губ., Куйб. обл.) там же; 15) *ве́нечки* (мн.ч.) «двурогие деревянные вилы, которыми трясут солому при обмолоте» (Костр) ЯОСК.

Учитывая многообразие форм слова и его семантику, следует признать неубедительной попытку М.Фасмера объяснить его как чисто славянское по происхождению и связанное с глаголом *вить* исходя только из двух форм *бянки* (*вянки*) и без достаточного учета семантики: «*бянки*, *вянки*, мн. «вилы», влад. и вост.-с.-в.-р.; см. Филин (Исследование о лексике русских говоров. М., 1936), 121. Возм. из *обвиванъкы* от *вить*?» [110, I, с. 262]. Для значения слова связь с глаголом *вить* представляется в лучшем случае факультативной, скорее же всего — чисто случайной, основанной только на внешнем, звуковом сходстве. Гораздо более характерным для семантики слова чаще всего обозначающего разные виды вил, является то, что, как правило, у большинства его форм имеется значение «двурогие вилы; вилы в два зуба; рогатка, то есть также развилка с двумя зубьями, рогами». Из 15 приведенных выше форм это значение имеют 11, то есть 73% (*бя́нки́, бя́ньки, беня́шки, бе́ньки, беньки́, бе́ньги, бе́ни, бенины, би́ни, вя́нки, ве́нечки*) и только четыре, то есть 27% (*бя́ны, бя́нка, бе́нечка, бени́цы*), этого значения не обнаруживают, по крайней мере отчетливо, по-видимому, его утратив. Есть основания предположить, что первоначальным было значение «двурогие вилы; вообще какой-либо предмет, включающий две части» (ср. *бени* «накладка в виде саней», иными словами — с двумя полозьями), значение же «вилы вообще (в том числе с тремя, четырьмя

зубьями)» развилось позднее[1]. В пользу этого говорят как явно доминирующее в семантике слова значение «двурогие вилы; (реже) вообще предмет, состоящий из двух частей», так и его формальное сходство с целым рядом этимологически связанных лексем индоевропейских языков, также имеющих значение «что-либо двойное (его часть); два», ср.: лит. dvỹnas, dvynỹs «двойня, близнец», латыш. dvìnis «близнец», дсакс. twēne, англ. twain, двн. zwēne «два», лат. bīnī «двое, по два», псл. *d(ъ)vina, друс. *двина* «единоутробный брат», рус. (диал.) *двина*, *двины* «две полосы (земли) рядом», псл. *d(ъ)vě̆nъky > болг. (ст.) *двенки* «двое, две». Несмотря на возможные расхождения между приведенными словами, проявляющиеся в их корневом вокализме, а иногда даже в самом строении слова (лат. bīnī, напр., выводят главным образом из dṷis-no- (Walde I, 106), тогда как в других приведенных словах суффиксальное -n- следует непосредственно за гласным корня), между ними существует несомненная этимологическая связь, которая, очевидно, распространяется и на русское слово, не являющееся, по-видимому, по своему происхождению финно-угорским.

Однако безоговорочному принятию связи слова *бени* (*бини*, *венечки*) / *бянки* (*вянки*) с приведенной группой этимологически связанных индоевропейских слов препятствуют при несомненном семантическом сходстве и определенной формальной близости расхождения между рассматриваемой лексемой и данной группой, проявляющиеся в непонятной с точки зрения индоевропейской и славянской фонетики вариативности начала русского диалектного слова и его корневого вокализма. Если объяснять слово как непосредственное заимствование из какого-то индоевропейского языка, то эти вопросы остаются без ответа так же, как и вопрос о связи славян с носителями этого языка, поскольку к X в. н.э., моменту появления восточных славян на бывшей мерянской территории [22, с. 5], там, кроме финно-угорского мерянского населения, не проживало никакого другого, в том числе индоевропейского. Можно предположить, что данное слово попало в славяно-русский язык непосредственно из мерянского, представляя собой в последнем одно из реликтных слов, проникших из субстратного индоевропейского языка того населения, которое финно-угорские предки мери застали на территории Центральной России при переселении на запад из своей (западно)уральской финно-угорской прародины и которое впоследствии ассимилировали, переняв часть элементов его языка. Речь идет о представителях так называемой фатьяновской культуры, в основном скотоводов, живших на территории, позднее занятой мерей, в первой половине 2-го тыс. до н.э.[2] Заимствование рассматриваемого слова в мерянский язык представляется вполне естественным в связи с особенностями занятий обеих этнических групп. Относящееся к оседлому скотоводству, заготовке для скота кормов на зиму, оно было связано с новой для мери — первоначально охотников, рыбаков и собирателей — хозяйственной деятельностью, которой она училась на новом месте у своих предшественников. Вместе с новым понятием было заимствовано и новое слово. Однако попав в язык с совершенно другой фонетической и грамматической структурой, оно подверглось различным преобразованиям, что не противоречит данным, известным в настоящее время об особенностях финно-угорских языков, в частности мерянского.

Исходя из того, что начало предполагаемого индоевропейского слова должно было выступать в одном из трех вариантов — *du(w)-, *b- (ср. лат. bīnī < *dṷis-no-) или *dw-/*dv — и того, что известно о фонетических особенностях финно-угорс-

[1] Не исключено, что толчком для подобного семантического развития послужили переходные случаи типа *бени* «вилы трехрогие с длинным чернем с отогнутым средним рогом для подачи сена высоко» (Костр) КОСК, где к двум рогам как бы присоединяется вспомогательный (здесь — поддерживающий сено).

[2] Возможно, что именно с индоевропейским языком фатьяновцев связано, в частности, название крупной реки региона *Ока*, сближаемое М.Фасмером с гот. ahva «река», двн. aha «вода, река», лат. aqua «вода» (Фасмер III 127). Есть и другое мнение, согласно которому данное название восходит к основе *ak- «глаз; источник» и является по происхождению балтизмом [106, с. 200].

кого мерянского языка, можно реконструировать исходную форму индоевропейского «фатьяновского» слова и представить себе преобразования, которым оно подверглось в мерянском языке.

В мерянском, как и в целом ряде финно-угорских языков, по-видимому, были возможны только глухие взрывные фонемы, частично озвончавшиеся только в середине слова – между гласными или гласным и сонантом[3], поэтому и-е. *du- и *b- должны были бы здесь дать соответственно tu- и p- > рус. (постмер.). ту- и п-. Поскольку формы рассматриваемого слова не имеют подобного начала, наиболее вероятно считать их отражениями индоевропейского слова, начинавшегося звукосочетанием *dw-/*dv-. В мерянском как в финно-угорском языке, допускавшем не более одного согласного в начале слова, это звукосочетание должно было упроститься в *w-/*v-[4]. Однако поскольку здесь, по-видимому, не существовало звука w или v, а наиболее близким к нему по артикуляции являлся звук β, занимающий промежуточное положение между b и v(w), и-е. *v-(*w-) в мерянском языке должно было передаваться звуком *β, чуждым русской фонетической системе и поэтому передаваемым как б, так и в, ср. *бянки/вянки*, *бени(бини)/венечки*. Подобную вариативность встречаем в русском при отражении того же звука (β – исп. v, орф. b) в испанском языке, ср. *Куба* (исп. Cuba), *кабальеро* (исп. caballero), но *Гавана* (исп. Habana), *Кордова* (исп. Cordoba). Наличие -я- в ряде русских форм слова (*бянки*, *бяньки*, *вянки*), которым передавалось, видимо, мер. -ä- (ср. рус. (яросл.) *вяха* «мало, немного» – эст. vähe «то же»), заставляет предположить, что исходным корневым гласным соответствующего индоевропейского слова был также -ä- или очень близкий к нему звук. Очевидно, не претерпел сколько-нибудь заметных изменений и допустимый для индоевропейского слова конечный согласный основы -n-, поскольку этот сонорный свойствен как русской, так и мерянской фонетике[5]. Ввиду смягчения -n- (рус. -н-) в целом ряде форм слова (*бени, бини, беньки, беньги, бяньки*) следует полагать, что в субстратном индоевропейском языке оно заканчивалось гласным -i-, который мог впоследствии быть утрачен в мерянском или русском языке, вызвав смягчение предшествующего согласного. В пользу -i, как показателя множественного (или двойного) числа слова может свидетельствовать и то, что целому ряду индоевропейских языков (к ним, очевидно, относился и данный индоевропейский) свойственно явление pluralia tantum, ср.: рус. *ворота, грабли, вилы, ножницы, сани*; лит. dūmai «дым (букв. – дымы)», vartai «ворота», šakės «вилы», durys «дверь (букв. – двери)» – укр. *двері*, п. drzwi, žiklės «ножницы»; латыш. dūmi «дым (букв. – дымы)», vārti «ворота», dūņas «ил (букв. – илы); грязи», dusmas «гнев, злость (букв. – гневы, злости)», rati «телега (букв. – колеса)» – белор. *калёсы* «телега»; лат. arma «оружие (букв. – оружия)», litterae «письмо (букв. – буквы)», foruli «книжные полки», dirae «зловещие призна-

[3] Об этом свидетельствуют топонимы мерянского происхождения, где в начале слова, если это не сонанты, как правило, возможны только глухие взрывные т-, п-, к- (ср. р. *Тома* (Костр. – Солигал) – ф. tammi «дуб», р. *Понга* (Костр – Кологр) – мар. *понго* «гриб», р. *Кера* (Костр – Нерехт) – морд. Э *керь* «лубок, кора», а также случаи, когда в русских (постмерянских) говорах звонким взрывным (несонантам) литературного языка и других говоров соответствуют глухие (ср. рус. (яросл.) *падог – батог*, *папа – баба*, *кадюка – гадюка*, *тепломат* «пальто в талию; пальто вообще; женское зимнее и летнее полупальто» – (донск.) *дипломат* «демисезонное пальто в талию; от талии с разрезом сзади (мужское), без разреза (женское)»).

[4] Это правило, соблюдавшееся особенно строго в финно-угорском праязыке, впоследствии стало частично нарушаться за счет: а) изобразительных слов (мар. *крак-крак* «карканье вороны»); б) заимствований (удм. *кран* «кран»); в) новообразований, вызванных фонетическими процессами (морд. Э *пря* < ст. *пиря* «голова») [53, с. 119]. О существовании той же фонетической особенности в мерянском языке, помимо мерянских по происхождению топонимов, свидетельствуют диалектные слова славянского происхождения из русских (постмерянских) говоров, где нередко в результате упрощения из сочетания нескольких согласных в начале слова остается только один, ср. *моргать* < *сморкать* (КОСК); *(на)рахать* < *(на)страхать* «(на)пугать» (ЯОСК); *мотреть* < *смотреть* (ЯОСК); *пасибо* < *спасибо* (ЯОСК); *ричать* < *кричать* (ЯОСК) и т.п.

[5] Ср. топонимы мерянского происхождения: оз. *Неро* (Яр), р. *Нельша* (Костр), р. *Шорна* (Иван), р. *Шенбалка* (Яр) и т.п.

ки, страшные предзнаменования; проклятия», bracae «брюки, шаровары», cani «седые волосы, седины», oreae «удила». Рассмотренные факты позволяют в целом предположить для исследуемого индоевропейского слова форму *dwäni/*dväni (ср. семантически и этимологически близкое рус. *двойни*), которая при заимствовании мерянским языком должна была дать слово *βäni.

Русские диалектные слова в сопоставлении с данными мерянского и других финно-угорских языков дают возможность представить основные этапы развития слова *βäni в мерянском языке и причину многообразия его формально-фонетических отражений в русских говорах.

В исследуемом слове обращает на себя внимание вариативность начального б-/в- и корневого -я-/-е-/-и-. Если причина появления вариантов с б- и в-, коренящаяся в двоякости передачи чуждого русской фонетике мер. β-, стала уже ясна, то факт двойственного вокализма, не нашедший объяснения в рассмотренных данных, еще требует своего истолкования.

Вряд ли случайно распределяются варианты с -я- и -е-/-и- между двумя разными словообразовательными вариантами слова — с суффиксальным -к-, следующим непосредственно за корневой частью слова, и теми, где суффиксальное -к- или вообще отсутствует, или входит в состав сложных уменьшительных суффиксов типа -чк-, -шк- и под., причем отделенных от корневой части слова каким-либо гласным. Среди 15 рассматриваемых форм абсолютно преобладающим является следующее распределение: в подавляющем большинстве случаев вокализм -я- свойствен формам с непосредственно следующим за корнем -к- (*бя́нка, бя́нки́, бя́ньки, вя́нки*), вокализм -е-/-и- — тем формам, где подобное -к- отсутствует (*бе́нечка, беня́шки, бени, бени́цы, бенины, би́ни, ве́нечки*). Формы, где вокализм распределяется по противоположному принципу (*бе́ньки, бенько́й, бе́ньги, бя́ны*), находятся в меньшинстве и могут быть результатом позднейших аналогических выравниваний. Поскольку явление яканья для северно-русских говоров не характерно, к тому же в русском языке оно зависит в основном от ударения, а не от наличия или отсутствия какого-либо суффикса при сохранении ударения на том же корневом (начальном)[6] слоге, причину вариативности корневого вокализма слова следует искать, видимо, в особенностях мерянского языка и его исторической фонетики.

Как позволяют предположить русские диалектные отражения реконструированного мерянского слова *βäni, оно претерпело в мерянском языке ряд фонетических и грамматических изменений. Поскольку явление pluralia tantum не характерно для финно-угорских языков[7], в которых часто даже отдельные предметы, образующие пару, передаются единственным числом[8], на индоевропейскую форму множественного числа, воспринимавшуюся в мерянском как форма единственного, в случае необходимости передачи множественного должен был наращиваться собственный мерянский показатель множественного числа. Таким образом, для слова, выступавшего в индоевропейском языке только во множественном числе, в мерянском должны были появиться две формы — единственного и множественного чисел. Первоначально, по-видимому, в каждой из них сохранялся гласный, следующий за корнем, и они ничем не различались в корневом вокализме. Однако впоследствии, как и в целом ряде других мерянских слов, особенно заканчивающихся гласным высокого подъема, конечный гласный формы единственного числа, видимо, исчез[9] и между вокализмом обеих форм должно было возникнуть расхождение, поскольку гласный

---

[6] Мерянскому, как и многим другим финно-угорским языкам, было, очевидно, свойственно инициальное ударение, подтверждаемое, в частности, данными топонимов с бывшей мерянской территории, ср. *Не́ро, Я́хрома*, (диал.) *Ко́строма, Ко́стома, Чу́хлома, Ки́нешма* и т.п.

[7] Только в некоторых из них, в частности мордовских, в последнее время под сильным влиянием славянских языков pluralia tantum начинают калькироваться в заимствованиях, ср. морд. Э *ортат* (мн.ч.) «ворота», очевидно, от исходного *орта* < рус. *ворота*.

[8] Ср. венг. szem «глаз; глаза (букв. — глаз)» и félszem «глаз (один) (букв. — полглаза)», когда надо подчеркнуть единичность.

[9] Ср. следующие реально засвидетельствованные или реконструируемые с большой долей вероятности случаи: *oli > *ul′ «был»; *joloZe (*елозь*) > *joluś (*елусь*) «пусть будет»; (-)*бало* > (-)*бол* «деревня».

одного и того же слова оказывался то в открытом, то в новом закрытом слоге. В последнем случае, по-видимому, гласный вначале удлинялся, а затем через ступень сужения переходил в другой гласный, более высокого подъема: а → о: -Balo → -Bā̰l → -Bol «деревня»; о → у: oraβa (ср. ф. orava) → *ō̰rBa → *ō̰rma → рус. (диал. < мер.) *урма* «белка»; е → і: *eleDoma → *ḛ̄l′Doma → il′Doma «без жизни» (ср. д. *Элино* (Костр. губ.) — р. *Ильдомка* (Костр. обл.)). Исходя из отмеченной закономерности, можно полагать, что слово *βäni, утратив конечный гласный, должно было через стадию удлинения и сужения в образовавшемся новом закрытом слоге изменить корневой гласный, заменив открытое -ä- его соответствием в более высоком подъеме -е- (закрытым), которое могло восприниматься славянами как местный северно-русский рефлекс -ѣ-. Таким образом, и в данном случае, аналогичном приведенным выше, проявилась указанная фонетическая закономерность мерянского: ä → е (*βäni → *βḛ̄ń → *βeń «двурогие (деревянные) вилы»). Однако вариант с корневым -е- в мерянском языке мог быть свойствен, очевидно, только форме единственного числа. В форме множественного, где сохранение конечного гласного (скорее всего, редуцировавшегося) было необходимо, поскольку он находился между конечным согласным корня и финно-угорским показателем множественного числа, передававшимся согласным или звукосочетанием с начальным согласным[10], корневой слог оставался открытым, поэтому гласный в нем не изменялся. Так в мерянском языке могло возникнуть противопоставление корневого вокализма слова: *βeń (ед.ч.) — *βäń- (мн.ч.). Формы русского диалектного слова, продолжающего и отражающего мерянское, дают возможвость допустить, что показателем множественного числа в мерянском было -k, следовательно, развитие форм слова в единственном и множественном числах могло протекать следующим образом: *βäni (ед.ч.) — *βäni-k (мн.ч.), *βeń (ед.ч.) — *βäńə-k (мн.ч.).

При вхождении в контакт с мерей и включении ее слова в свой язык восточные славяне и *βeń и *βäńə-k должны были воспринимать как единственное число, поскольку внешне обе формы отождествлялись только с ним (ср. *βeń и *дьнь*, *тьнь* и под.; *βäńək и *дьнь́къ*, *пьнь́къ*, где также наблюдается значительное сходство при расхождении в ударении). Однако поскольку для славян применение единственного числа по отношению к сельскохозяйственному орудию с двумя или несколькими частями было неестественным и требовалось множественное число по образцу названий для подобных реалий (ср. *вилы*, *грабли, ножницы, сани* и под.), обе лексемы были преобразованы в формы множественного числа наращением показателя множественности -и(-ы). Так, мер. *βeń дало друс. *бѣни/*вѣни, что впоследствии отразилось в *бени, бини, венечки*, а мер. *βäńək — друс. **бянькы*/**вянькы*, давшее позже *бяньки, бянка, вянки* и под. Параллелизм форм pluralia tantum без -k и с ним воспринимался как вполне естественный, поскольку у славян уже были подобные, внешне похожие образования (*сан-и — сан-к-и*). В наращивании своего показателя множественности на форму множественного числа другого языка также нет ничего удивительного, поскольку в русском языке эта особенность как естественно действовавшая грамматическая тенденция обнаруживается и позднее, ср.: рус. *ро́зан* «цветок розы» < нем. Rosen «розы» — *розан-ы* (мн.ч.)[11]; *пампас-ы* «южноамериканские степи» < исп. pampa, мн.ч. pampas «то же»; *сельвас-ы* «влажные экваториальные леса в Южной Америке» < порт. selva < лат. silva «лес», мн.ч. selvas «сельвасы, тропические леса»; *бутс-ы* «ботинки с шипами на подошвах для игры в футбол» < англ. boot-s (мн.ч.) «ботинки; бутсы» < boot (ед.ч.) «ботинок; бутс».

Вывод о возможности существования в мерянском показателя множественного числа -k (-к) подтверждается, кроме приведенного случая, самого по себе довольно убедительного, другими, вполне вероятными, хотя и требующими дальнейшей проверки, примерами. Речь идет о зафиксированных на бывшей мерянской терри-

[10] Ср. -т (для прибалтийско-финских, мордовских и обско-угорских языков; -влак, -мыт, -ла (для марийского); -(о)с/-(ё)с (для пермских); -k (для венгерского).

[11] Существует и другое объяснение: < нем. (ст.) (der) Rosen (=Rose) «роза» (Фасмер III 494).

тории словах, либо имеющих с точки зрения русского языка форму единственного числа на -к, но значение множественного числа, либо обладающих дублетностью форм без -к- и с -к- во множественном числе (без расхождения в семантике между обеими формами), ср.: 1) *кицок* «(яросл., костр.) два столбика, на которых утверждается голбец в избах»[12]; 2) *па́н-ы, па́н-к-и* «(костр.) курганы» (судя по археологическим раскопкам, с захоронениями мери)[13].

Завершая рассмотрение данного слова, стоит специально остановиться на вопросе о времени его включения в русский язык и причине, вызвавшей это. Все приведенные выше факты склоняют к мысли о том, что слово как отразившее еще существовавший, по-видимому, в качестве отдельной фонемы ѣ, а возможно, и редуцированные (в частности, ь, ср. субституцию предполагаемого мер. э) можно отнести к числу наиболее древних мерянских включений в русском языке, относящихся еще к древнерусскому или непосредственно следующему за ним периоду.

Что касается вопроса о причине заимствования, то она могла быть двоякой. С одной стороны, в данном случае речь шла об одном из слов, наиболее прочно вросших в быт местного населения, его специфику, а такие слова чаще всего сохраняются даже при полном переходе на новый язык. С другой стороны, слово, видимо, обозначало реалию, тесно связанную со своеобразием местного сельского хозяйства и как таковую, возможно, не известную славянам, поселившимся рядом с мерей. Именно эта новизна, соединенная с важностью реалии в местном хозяйстве и быте, могла способствовать закреплению слова не только в речи бывшей мери при переходе ее на славянорусский язык, но и в языке поселившихся вместе с мерей восточных славян. Эти обстоятельства в конечном счете привели к тому, что слово не только получило повсеместное распространение в русских говорах Центральной России, на территории былого расселения мери, а и оказалось способным к довольно широкой экспансии в восточном правлении.

Ваны́ (мн.ч.) «низкий, залитый водой, поросший высокой травой берег» (Костр — Гал) (ср. рус. (диал. холмог.) *вана* «заливной сенокос, озерко в русле реки»), сопоставимо, несмотря на семантические расхождения, с прибалтийско-финскими словами: ф. vana «след, лыжня, тропа, полоса, полоска, русло реки, фарватер», кар.-ливв. vana «полынья, глубокое русло реки, низина, заросшая травой (небольшая пожня)», вепс. vana «овраг» (SKES V 1631-1632). По мнению О.В.Вострикова, «непосредственно связывать галичское слово с ливвиковским наречием, разумеется, нельзя. Речь идет о субстратном включении из вымершего ф.-уг. языка, в области лексики обнаруживающего близость к прибалтийско-финским языкам» [16, с. 26]. С этим выводом исследователя нельзя не согласиться, добавив, что поскольку в Галиче и его окрестностях другого финно-угорского языка, кроме мерянского, не существовало, единственно допустимым в данном случае будет отнесение слова *ваны* к мерянскому языку. Исходя из принадлежности слова к мерянскому языку и учитывая особенности мерянской фонетики, а также данные родственных языков, его исходную форму следует реконструировать как *βana (*βanə̑). Что касается значения слова, то ввиду отсутствия каких-либо других данных следует принять семантику, зафиксированную О.В.Востриковым.

Варакино (Костр — Шар) КОСК — название деревни Шарьинского района Костромской области, производное от *варака*. Не исключено, что данное название, распространенное на бывшей мерянской территории и, следовательно, могущее быть мерянским по происхождению, этимологически связано с морд. Э *варака* «ворона» (ЭрзРС 43). Оба слова, видимо, имеют изобразительное (звукоподражательное) происхождение. Лежащее в основе русского топонима слово довольно широко распространено на бывшей мерянской территории, хотя в разных местах могло иметь различные формы, о чем свидетельствует

[12] Этимология слова пока не выяснена.

[13] См. у Е.И.Горюновой [22, с. 232-234], Ю.Мягистэ [147, с. 116-117] и В.Пименова [69, с. 236] этимологию слова, сближаемого с вепс. panda «положить», ф. и кар. panna «то же», а также вепс. mahapanend «похороны (букв. — в землю положение)».

название н.п. *Вараково* (Яр — Первом) (карта Ярославской обл., 1978 г.), очевидно, производное от рус. (постмер.) *варак* с тем же исходным значением. Отмеченные топонимы дают возможность предположить для мерянского, учитывая его фонетические особенности, существование слова *βarakə̑/*βarak со значением «ворона», имеющего широкие связи в других финно-угорских (и уральских) языках, что позволяет относить их возникновение к уральскому периоду, ср.: ф. varis «ворона», кар. varoi, лив. varíkš, эст. vares, саам. Н warŋe, морд. Э *варака*, диал. varšej, varkśij, морд. М *ва́рси*, хант. *вурнга* (*вӯрнга*), манс. *ӯри(нэ̄ква)*, венг. varju, нен. *вӑрӈэ*, сельк. *kuere*, кам. bāriị «то же», койб. bare «ворон» < урал. *warɛ (ОФУЯ 404, SKES V 1654-1655; MSzFUE III 673-674). Обращает на себя внимание особая формальная близость предполагаемого мерянского и эрзя-мордовского слов.

Воло́менной «масленый пирог с хорошей начинкой» (Яр. губ. — Любим) ЯОСК. Узколокальный характер слова (не приводится в «Словаре русских народных говоров»), зафиксированного на бывшей мерянской территории, отсутствие каких-либо связей со словами славянского происхождения заставляют думать, что оно местного, неславянского (следовательно, возможно, и мерянского) происхождения. Ввиду наибольшей словообразовательной семантической близости с коми *выялӧм* «масленый» (напр., *выялӧм блин* «масленый блин») РКомиС 260, где причастный суффикс -ӧм/-ем (-õm/-em) соответствует суффиксу -ma в отглагольных существительных прибалтийско-финских, мордовских и мерянского языков (ср. ф. elämä «жизнь», морд. М *эряма* «то же», мер. *kolema «смерть; (тяжелая) болезнь» > рус. (диал., постмер.) *коле́ма* «болезнь»), наиболее вероятно видеть в данном причастном образовании производное от русского (диалектного, постмерянского) глагола **во(й)ломить* (**войлома-ть*). Что касается предполагаемого диалектного глагола **войлома-ть*, лежащего в основе рассматриваемого причастия, то он образован непосредственно от мерянского отглагольного существительного *βojloma (*βojlə̑ma) со значением «масленье, намасливание», близкого к инфинитиву, наращиванием на него русского инфинитивного форманта -ть. Само отглагольное существительное *βojloma (? < *βajəloma, ср. коми *воялӧм* «масленый») является, очевидно, производным от мер. *βoj (< *βajə) «масло», имеющего многочисленные параллели в других финно-угорских языках и восходящего с ними к финно-угорскому праязыку, ср.: ф., кар., вепс., ижор. voi «масло», вод. vẹi, эст. või, лив. vui, саам. Н vuoggjâ, морд. Э *ой*, морд. М *вай*, мар. *ӱй*, мар. Г *ӱ*, удм. *вӧй* «то же», коми-зыр. *вый* «масло; жир (рыбий)», коми-перм. *ви* «то же», хант. *вуй* (*вӯй*) «жир, сало», манс. *вӧ̄й* «жир; масло», венг. vaj «масло» < ф.-уг. *wojẹ «масло; жир» (ОФУЯ 422; КЭСКЯ 71; SKES VI 1803-1804; MSzFUE III 666-667).

Елманский «древний галицкий язык» (имеется в виду язык жителей Галича Мер(ь)ского — мерянский, а позже связанное с ним арго части из них) (Костр. губ. — Галич) Вин 45, *елыман* (бран.) «дурак, болван?» (Костр — Гал) ЯОСК, *ёлыма* «человек, говорящий по-елымански» (Косгр. губ. — Гал) Вин 45, *ёлыман* «то же, что *ёлыма*» (там же) Вин 46, *ёлыманский* «условный язык галичан» (там же) Вин 45, *алман* «язык как орган в полости рта» (Костр — Гал) ЯОС I 26, *алман* «язык» (Костр. губ. — Галич) ТОЛРС XX 139, йолман «то же» (Вл. губ.) ТОЛРС VII 290, *алманский язык* «условный язык галичан» (Костр. губ. — Гал) Вин 44, *по-елмански* «на елманском языке» (там же) Вин 49, *по-ёлмански* «то же» (там же) Вин 49, *елманское наречие* «условное наречие галичан» (там же) Вин 46, *Галивонские Алеманы* «галицкое наречие (условный язык)» (там же) Вин 45. А.И.Попов справедливо сближает рус. *елманский* с мар. *йылме* «язык» (в анатомическом и лингвистическом смысле) [70, с. 100]. Речь в данном случае идет о языке как органе речи, название которого, очевидно, в мерянском, как и в марийском, было перенесено на речь. Впоследствии *елманским* называли условный язык, распространенный в Галиче и некоторых других местах бывшей мерянской языковой территории, с грамматической основой уже не финно-угорской, а славяно-русской. Это было всего лишь социальное русское арго,

лексика которого, однако, состояла из нерусских, в том числе местных субстратных мерянских, элементов. *Ёлыма(н)* стал называться человек, говорящий на этом условном языке. Значение «дурак, болван» < «непонятливый», имеющееся у слова *елыман*, которое представляет собой лишь разновидность предыдущего, очевидно, относится к тому периоду, когда так называли последних людей, говоривших еще на мерянском языке и плохо понимавших русский язык или совсем не понимавших его. На фоне подавляющего большинства русского или обрусевшего мерянского населения, возможно, почти забывшего свой язык, подобные люди могли производить впечатление бестолковых, глупых, в связи с чем данное слово, по-видимому, и приобрело этот уничижительный, бранный оттенок. Поскольку -н, включенное в целый ряд приведенных слов, является в мерянском показателем генитива единственного числа (есть оно и в самом слове *елманский*), а соответствием предполагаемого мерянского слова служит мар. *йылме* «язык» без конечного -н, которое и в марийском – формант той же формы генитива, мерянское слово для передачи понятия «язык» должно было, очевидно, выступать в формах *jelma || *jolma || *jolə̑ma[14]. Что касается формы *алман*, то ее, видимо, следует понимать как следствие позднейших деформаций слова уже на русской почве и поэтому не считать отражением какой-либо из реально существовавших на мерянской почве лексем. Фиксация форм слова и их производных на бывшей мерянской территории, в частности на такой отдаленной от марийской, как бывшая Владимирская губерния, дает основания считать данные слова не заимствованием из марийского, а отражением пережитков мерянского языка. Все ли из приведенных форм были свойственны мерянскому языку (наибольшее сомнение вызывает *jolə̑ma), сказать в настоящее время трудно. Расхождения между ними – не обязательно результат деформации одной из приведенных предполагаемых мерянских форм уже в русской среде. Не исключено, что каждая из них отражает или один из диалектных вариантов слова, или разные этапы его развития. Предполагаемое мерянское слово имеет ряд соответствий в финно-угорских языках с явно «восточной» (в прошлом) ориентацией, восходя вместе с ними к финно-угорскому праязыку (возможно, лишь в его восточных говорах, ср. отсутствие соответствий в прибалтийско-финских, пермских и мордовском языках): саам. Н njalʼbme «рот», мар. *йылме* «язык (анат., лингв.)», мар. Г *йылмы* «то же», хант. (каз.) *нялум* «язык (анат.)», манс. *нёлм*, *нёлум* «то же», венг. nyelv «язык (анат., лингв.)» < ф.-уг. ńälmä «язык (анат.)» (очевидно, значение «речь» появилоь уже в ходе развития отдельных языков). Общей чертой мерянского и марийского языков (в отличие от других финно-угорских, унаследовавших данное слово из праязыкового периода) является переход, очевидно, в результате сильного развития палатальности, начального n-, в палатальное j.

Ёлс «леший, черт» (Яр – Угл; Иван – Кин; Костр – Солигал) (СРНГ VIII 348) распространено на территории, занятой в прошлом мерей. Попытка объяснения слова Д.К.Зелениным как преобразованного в силу его табуизации из *Велес* [35, ч. 2, с. 99], принятая Фасмером [110, т. 2, с. 17], не может быть признана убедительной с формально-семантической и лингвогеографической точек зрения: непонятно, почему именно здесь, на бывшей мерянской территории, сохранилась эта предполагаемая славянская табуизированяая форма; если же ее изменение объяснять не славянской табуизацией, а просто фонетическими причинами – влиянием мерянского языка, то произошедшие в таком случае изменения не будут соответствовать тому, что известно о его фонетике.

Более естественно как с лингвистической и семантической, так и с фонетической точки зрения исходить из того, что рус. (диал.) ёлс является отражением мерянского слова, возникшего на основе заимствованного в мерянский для передачи этого важного религиозного понятия гр. (ὁ) διάβολος «дьявол».

[14] Ввиду отсутствия в фонетической системе мерянского языка звука ы, видимо, появление соответствующего знака (буквы) следует понимать как передачу редуцированного заднего ряда ə̑.

Другим славянским языкам и говорам русского языка, кроме упомянутых, распространенных на бывшей мерянской языковой территории, слово *ёлс* или его соответствия не известны. Не известны они также ни одному из существующих финно-угорских языков. Правда, в некоторых из них есть понятие «дьявол», передаваемое словами, частично (в своем начале) близкими к мерянскому, однако в связи с разными источниками заимствования и особенностями фонетического развития эти слова не совпадают с предполагаемым мерянским в средней и конечной частях, ср.: рус. (диал., постмер.) *ёлс* «леший, черт» – коми *дявол* «дьявол», мар. *явыл* (jaβə̑л), хант. i̯aṷə̑ł.

При заимствовании гр. διάβολος должно было подвергнуться в мерянском следующим изменениям: 1) в связи с невозможностью сочетания двух и более согласных в начале мерянского слова и отсутствия звука v, передаваемого мер. β, гр. (визант.) διάβολος, фон. diávolos, должно было дать в мерянском *jáβolos; 2) нередкое в мерянском языке синкопирование заударных гласных – с предшествующей их редукцией – привело к выпадению первого заударного гласного, что закономерно вызвало (через стадию изменения) замену гласного -a- предыдущего нового закрытого слога гласным более высокого подъема -o- (ср. мер. (-)*Bol < (-)Balo «деревня»; *urma < *ora(β/m)a «белка», ф. orava «то же» и под.).

Возникновение формы *ёлс* произошло уже, видимо, на почве русского языка в результате развития парадигмы с конечным выпадным -o- при ее аналогичном выравнивании: **ёвлос – ё(в)лса* > *ёлс – ёлса* (ср. рус. *заём – займа* > (разг.) *займ – за́йма*).

Понятие «дьявол», особенно важное при пропаганде христианства среди язычников, должно было довольно часто употреблятся миссионерами при христианизации мери и именно поэтому, возможно, закрепилось в мерянском языке, перейдя из него в диалектный (постмерянский) русский.

Заимствование мерянским слова непосредственно из греческого не противоречит тому, что известно о христианизации мери, которую наиболее успешно осуществляли ростовский епископ Леонтий (XI в.), по происхождению грек, и его предшественники в Ростове, также греки, епископы Феодор и Илларион [46, с. 86]. Всякие варианты и колебания, возникающие невольно только при устной передаче духовных текстов, были нежелательны при усвоении догматов новой веры, что неизбежно влекло за собой необходимость письменных переводов богослужебных текстов на мерянский язык. Поскольку епископ Леонтий добился значительного успеха в христианизации языческого мерянского населения, видимо, именно благодаря хорошему знанию мерянского языка, что специально упоминается в его житии, где отмечается, что он «русьский и мерський язык добрѣ умѣяше», следует полагать, что им был осуществлен перевод по крайней мере части богослужебной литературы на мерянский язык. В посредстве церковнославянского языка епископ Леонтий как грек не нуждался, поэтому новозаветную литературу, в том числе евангелие, скорее всего переводил непосредственно с греческого оригинала. Предполагаемое и реконструируемое на основании рус. (диал.) *ёлс* «леший, черт», мер. *joβlos «дьявол» свидетельствует о существовании определенной традиции богослужения на мерянском языке, при котором могли использоваться мерянские богослужебные тексты, переведенные непосредственно с греческого.

При всей узости приведенного аргумента он показателен тем, что свидетельствует не только о возможности существования богослужебных мерянских текстов, но и, видимо, о довольно длительной традиции их использования, поскольку иначе не могло бы так основательно врасти в язык мери важное слово, связанное с христианской религией. Существование связных письменных мерянских текстов в прошлом не вызывает сомнений, спорным может быть только вопрос их сохранности.

Кандёхать (груб.) «работать» (Ярославль) ЯОСК. Очевидно, связано с мерянским глаголом, отраженным в названии р. *Кондоба*, притоке р. Нельша < мер. *konDoβa (букв.) «несущий(-ая), приносящий(-ая) (воду в другую реку)», ср. ф. kantava «несущий(-ая)», и являющимся формой действительного причастия настоящего времени от глагола *konDo- «нести» (отглагольное существи-

тельное *konDoma «ношение»). Глагол *кандёхать*, очевидно, связан с мер. *kanDo- (*konDo-) «носить; (груб.) таскать» или в славизированной (русифицированной) форме **кандать* (**кондать*), от которого образован с помощью суффикса -ёх-, придающего ему оттенок грубости, пренебрежительности (ср. *тётя – тетёха*). Форму *кандёхать* можно рассматривать или как отражение реально существовавшего диалектного мерянского варианта данного глагола *kanDo-, или как результат аканья, в целом нехарактерного для ярославских говоров, но, поскольку речь идет о слове, записанном в Ярославле, куда, как и в другие города окающего Поволжья, аканье проникает, могущего его отражать. Таким образом, есть основание реконструировать для мерянского (восточного) глагол *konDo- «нести» (*konDoma «ношение») и – менее надежно – для мерянского (западного) тот же глагол (с -а- в корне) в виде варианта *kanDo- (*kanDama). Этот глагол имеет параллели в других финно-угорских (и уральских) языках и восходит, очевидно, еще к уральскому праязыку, ср.: ф. kantaa «нести, носить», эст. kandma, лив. kānd∂, саам. Н guod'det, морд. *кандомс*, мар. *конда́ш*, мар. Г *ка́ндаш*, хант. (вост.) ķåntta «таскать, переносить груз на плечах», манс. χunt «ноша», нен. *ханă(сь)* «увезти; унести», эн. kaddabo, нган. kuanda'ama, сельк. kuendam, кам. ķuǹdoγạm «то же» < урал. *kanta- «нести» (SKES I 157-158; Collinder 406).

Н.п. Ки(бол) (Ki(bol)) (Вл. губ. – Суздаль) Vasmer 417. Очевидно, должно рассматриваться в качестве сложного слова, первый компонент которого Ки- имеет значение «камень» (в качестве первого компонента сложений также «каменный (-ая, -ое)», в данном случае – «Каменная (деревня)»). Поскольку топоним отмечается на бывшей территории мери, причем входит в состав слова со вторым компонентом -бол (-бал(о)), характерного для названий мерянских поселений, первый компонент следует также считать принадлежностью мерянского языка. Компонент Ки- является или сокращенным вариантом, характерным для композитов, исходной (полной) формой которого в таком случае была бы *kiβ(i) «камень» (подобно эст. (ves)ki «мельница (букв. – (вода = водяной) камень)» при kivi «камень»), или обычной формой слова, свойственной ему в любом положении. В таком случае, однако, слово было бы результатом сокращения предыдущей формы, присущей ему на более раннем этапе развития мерянского языка. Ввиду того, что рус. Ки- из-за отсутствия соответствующего звука может отражать и *ki, и *kü (звук ü, очевидно, мог существовать в мерянском), есть основания для реконструкции мер. *ki/*kü (? < / *kiβ(i)) «камень» как двух или – менее вероятно – трех возможных вариантов. Мерянское слово находит соответствия в других родственных языках, восходя вместе с ними к финно-угорскому праязыку, ср.: ф., эст. kivi «камень», лив. ki'uv, ki'v, ki'u, морд. *кев*, мар. *кӱ* «то же», удм. *кӧ* «жернов», коми *(из)ки* «жернов» (из «камень» – парное слово с двумя синонимами, современным и устаревшим, для обозначения камня»), хант. (каз.) *кев* «камень», манс. kèβ «камень; жернов», венг. kő, акк. ед.ч. követ < ф.-уг. *kiwe «камень» (ОФУЯ 417; КЭСКЯ 109, 123; SKES I 203; MSzFUE II 368-369).

Рус. (арг.) кирбяс «топор» (Яр. губ. – Углич) Свеш 89. О возможности употребления слова в мерянском языке свидетельствуют его изолированное положение в русских говорах (отсутствует в «Словаре русских народных говоров»), связь с бывшей мерянской территорией, а также распространение в балтийских и прибалтийско-финских языках, с которыми существовал контакт у мерянского языка и отсутствуют связи у современных русских угличских (постмерянских) говоров. О возможности употребления слова именно в мерянском языке говорит также своеобразие его фонетической формы: наличие в русском (арготическом) слове звука б (b) вместо v в балтийских и прибалтийско-финских языках, что может свидетельствовать о характерном для мерянского звуке β; -я- вместо -е- в финском и -i- в литовском, что, по-видимому, говорит об употреблении вместо них звука -ä-, известного мерянскому языку. Слово в мерянском можно считать балтизмом (ср. лит. kirvis «топор», лтш. cirvis «то же»). Ввиду того, что на юго-западе мерянская языковая территория непосредственно соприкасалась в

прошлом с балтийской, оно могло быть прямым заимствованием из балтийских языков, однако, поскольку то же заимствование имеется также в прибалтийско-финских языках (ср. ф. kirves «топор», вепс. kirvez, kervez, вод. tširvez, tšervez, эст. kirves, лив. kīraz — SKES I 200), имевших гораздо более интенсивные контакты с балтийскими языками, чем мерянский, есть основания считать, что слово проникло в мерянский через их посредство, в частности через вепсский язык, территориально наиболее близкий к мерянскому из прибалтийско-финских. В пользу этого, как представляется, говорит и форма слова в мерянском, обнаруживающая бóльшую связь с прибалтийско-финскими языками, чем с балтийскими.

Кóка «старшая дочь» (Яр — Давыдк) ЯОСК; «так называют старшую дочь в семье младшие (название старшей сестры)» (Яр — Рост) ЯОСК; «тетя по родству» (Яр — Первом) ЯОСК; «незамужняя пожилая женщина» (Яр — Первом) ЯОСК; «крестная мать» (Яр — Пош, Тут, Рост, Яр, Дан, Угл, Мышк, Первом, Некоуз, Брейт, Пересл, Рыб, Некр) ЯОСК; «крестная мать, крестный отец» (Яр — Пош, Яр, Пересл, Брейт, Рязанц, Большес) ЯОСК; «обращение к крестной матери и отцу» (Костр — Антр) ЯОСК; «крестная мать» (Костр — Костр, Поназ) КОСК; «крестная мать и отец» (Костр — Нерехт) КОСК; «тетя» (Костр — Нерехт) КОСК. В значении «крестная мать, крестный отец» слово, кроме Ярославской и Костромской, согласно «Словарю русских народных говоров», употреблялось в Тверской, Нижегородской, Владимирской, Пермской губ. и области Уральского Казачьего Войска, а также встречается в Горьковской обл. (СРНГ XIV 86), в значении «крестная мать», помимо указанных двух областей, известно в Ивановской и Новосибирской обл. и отмечалось в Новгородской, Вологодской, Архангельской и Забайкальской губ. (там же), а в значении «крестный отец» — также в Бурятской АССР (там же). Интересна стилистическая характеристика слова, даваемая носителями говора, где оно употребляется, по сравнению с его синонимом *крёстна* (= крестная мать): «Кока — это полекше слово, крёсна — грубее» (Свердл — Камышл) СРГСУ II 36. Очевидно, *кока* в значении «крестная мать» стало употребляться как эвфемическая замена, как слово более привычное, свое для той языковой среды, где оно должно было заменять выражение «крестная мать», и этот стилистический оттенок сохранило до сих пор в русских говорах. В пользу (пост)мерянского происхождения слова говорит прежде всего ареал его распространения, особенно если учесть своеобразие его употребления в разных значениях. Самой широкой является зона распространения слова в его явно наиболее позднем значении «крестная мать» или «крестная мать, крестный отец». Она не только охватывает постмерянскую область, но и выходит далеко за ее пределы. Однако и для этого ареала характерно то, что наибольшее распространение он получил в восточном направлении, куда, по-видимому, шла главная колонизационная волна переселенцев из Центральной России, в основном совпадавшей с бывшей мерянской территорией, где слово в его новом значении, очевидно, было широко распространено как среди мерянского, так и среди славянского населения (среди последнего, возможно, даже больше, так как оно не было связано ни с одним из славяно-русских терминов родства в отличие от мерянских). В других направлениях к северу и северо-западу от бывшей мерянской языковой территории слово в этом значении распространилось значительно меньше, причем в ареале, который мог непосредственно примыкать к мерянской территории или даже являться ее продолжением. Что касается, очевидно, наиболее древних или связанных с ними значений слова «старшая сестра», «тетя», «пожилая незамужняя женщина», то с этой семантикой оно отмечается только на бывшей мерянской территории (в Ярославской области).

Предположению о мерянском происхождении слова не противоречат и данные родственных финно-угорских языков, где, с одной стороны, обнаруживаются лексемы, этимологически связанные с рус. (диал.) *кока* с постмерянской территории, а с другой — при сравнении с ними проявляется его своеобразие (в частности, в области семантики), свидетельствующее о самостоятельном пути развития, связанном со средой носителей особого финно-угорского

языка, отличавшегося от существующих в настоящее время. Рус. (диал.) *ко́ка* «старшая сестра; тетя; пожилая незамужняя женщина; крестная мать (видимо, позже также «крестный отец»)» соответствуют мар. *кока́* «тетка, тетя» и, очевидно, также морд. Э *кака* «дитя, дитятко», поскольку морд. (и ф.-уг.) а в марийском в ряде случаев соответствует о, ср.: мар. *кол* «рыбы» – морд. *кал*, ф. kala «то же»; мар. *мокш* «печень» – морд. Э *максо*, ф. maksa «то же»; мар. *кок* «два» – морд. Э *кавто*, ф. kaksi «то же» и под. [25, с. 109]. Ввиду того что в интервокальной позиции глухое ф.-уг. k в мордовском и марийском не сохранялось, переходя в звонкие звуки или исчезая (в мордовском k > v или j, в марийском k > j или Ø) [53, с. 135-137], его наличие в этих языках можно объяснить только тем, что в прафинно-угорский период здесь выступала гемината -kk-, во всех финно-угорских языках, кроме прибалтийско-финских и саамского, не сохранившаяся и перешедшая в -k- [53, с. 139-140]. В мерянском языке простые глухие взрывные в интервокальном положении также не сохранились, либо озвончаясь, либо переходя в соответствующие фрикативные звуки, поэтому интервокальные -k- в предполагаемом постмерянском по происхождению слове можно объяснить только тем, что и оно восходит к прафинно-угорской лексеме, где между гласными должна была выступать гемината -kk-. Следовательно, родственные слова марийского, мерянскєго и мордовского языков, по-видимому, восходят к ф.-уг. *kakka «ребенок-первенец (преимущественно девочка)», откуда дальнейшее развитие в мерянском и марийском «старшая дочь, старшая сестра», затем «тетя», в мордовском-эрзя – «дитя, дитятко» (ласкательное название ребенка вообще). В пользу исконно финно-угорского происхождения слова говорит, в частности, и сохраненное русскими (постмерянскими) говорами значение «старшая сестра». Как известно, в отличие от славян и индоевропейцев в целом, не различавших понятий «старший брат» – «младший брат», «старшая сестра» – «младшая сестра», финно-угорские народы их четко дифференцировали, имея специальные слова для их передачи. В ряде финно-угорских языков, как правило, тех, которые не подверглись сильному влиянию индоевропейских языков, эти понятия до сих пор передаются с помощью особых слов, ср.: морд. Э *патя* «старшая сестра» – *сазор* «младшая сестра»; морд. М *а́ка* «старшая сестра» – *са́зор* «младшая сестра»; мар. *ака* «старшая сестра» – *шӱжар* «младшая сестра»; удм. *апа* (*апай*) «старшая сестра» – *сузэр* «младшая сестра»; хант. (каз.) *упи* «старшая сестра» – *апси* «младшая сестра»; манс. *увси* «старшая сестра» – *э̄сь* «младшая сестра»; венг. néne «старшая сестра» – húg «младшая сестра». По-видимому, подобная система обозначения родства восходит еще к уральскому периоду, поскольку встречается и в ненецком языке: *нябако* «старшая сестра» – *не папа* (*не папако*) «младшая сестра» (*папа* (*папако*) обозначает и младшего брата, и младшую сестру, поэтому, когда речь идет о младшей сестре, перед ним употребляется слово *не* «женщина»). В некоторых случаях оба понятия в финно-угорских языках передаются словами, которые могут восходить к общему источнику (ср. мокша-мордовский и марийский примеры), остальные слова имеют разное происхождение. Однако общим у них остается факт, что понятия «старшая сестра» и «младшая сестра» не передаются одним и тем же существительным с уточняющим его прилагательным, а имеют для своего выражения специальные лексемы, связанные с разными корнями. Другой особенностью финно-угорских и, видимо, уральских языков в целом является то, что лексема для обозначения понятия «сестра» (старшая или младшая, как правило, по отношению к отцу) может одновременно служить обозначением понятия «тетя», поскольку, по-видимому, тем же словом ее обязаны были называть не только братья, но и их дети, ср.: морд. М *а́ка* «старшая сестра; тетка» (очевидно, прежде всего «старшая сестра отца», так как понятие «тетка (жена брата матери)» передается словом *ща́ка*); удм. *апа* (*апай*) «старшая сестра; тетка»; манс. *увси* «старшая сестра; тетя (младшая сестра отца, старше говорящего)»; нен. *нябако* «старшая сестра; тетя (младшая сестра отца)». В некоторых финно-угорских языках эта осо-

бенность передачи понятия «тетя, тетка» словом, обозначающим старшую сестру, сохраняется только пережиточно. Для передачи понятия «тетя» здесь используется слово, обозначающее старшую сестру (иногда производное от него), однако для диффереациации понятий добавляется определение «старая», «большая», ср.: морд. Э *патя* «старшая сестра» — *сыре патя* «тетя (букв. — старая старшая сестра)», хотя в том же значении возможно и просто употребление слова *патя*); венг. néne «старшая сестра» — nagynéni (< *nagynéne) «тетя (букв. — большая старшая сестра)». Очевидно, эта система родственных обозначений, которая может восходить ко временам матриархата, употреблялась и в мерянском языке — слово, обозначающее старшую сестру, могло также иметь значение «тетя», особенно при употреблении детьми брата. Христианская церковь в стремлении приблизить понятие «крестная мать» к традициям мерян, вероятно, использовала эту родственную мерянскую терминологию, как бы наделив крестную мать функцией старшей сестры, игравшей, видимо, важную роль в воспитании младших братьев и сестер. Не исключено, что в первое время после принятия христианства в роли крестных матерей выступали старшие сестры отца. Церковь как бы только освящала эту привычную для мерян функцию, в связи с чем слово *ко́ка*, имевшее до того значения «старшая сестра» и «тетя», так естественно приобрело новое значение — «крестная мать». Поскольку понятие второй матери, хотя бы и крестной, было для новообращенных в христианство язычников малопонятным и резко расходившимся с их представлениями, а понятие старшей сестры, тети в новой функции более естественным, новое значение более органично срослось с привычным словом терминологии родства *кока*. Словосочетание «крестная мать», если оно и было калькировано средствами мерянского языка, осталось сугубо официальным и поэтому резким, грубым, каким до сих пор воспринимается даже в русском языке (по-видимому, не без мерянского влияния). Следовательно, есть основания считать слово *koka не только термином родства в мерянском языке, но и одним из элементов его лексики, связанной с христианизацией мери. Как и мер. *joβlos «дьявол», реконструируемое на основании рус. (диал.) *ёлс* «леший, черт», оно свидетельствует о проповеди христианства среди мери на мерянском языке и об определенной традиции его применения для передачи понятий христианской (православной) религии.

Очевидно, с мерянскими терминами родства связано и рус. (диал.) *кокой* «дядя (Яр — Первом); крестный отец (Яр — Яр)», возможно, представляющее собой застывшую звательную форму от мер. *koko «дядя; крестный отец». Однако доказать это сложнее, поскольку оно в отличие от *koka менее распространено. Аргументом в пользу мерянского происхождения слова является его распространение в формах *кокой* и *кокай* — по данным «Словаря русских народных говоров» на постмерянской территории (в Костромской, Владимирской и Ивановской (бывш. Костромской губ.) обл. — *ко́кай*; в Ярославской области — *ко́кой*) и к востоку от нее (в бывш. Нижегородской и Тобольской губ. и Свердловской обл.) (СРНГ XIV 86). Еще более сложным и пока неразрешимым является вопрос о лексическом выражении в мерянском языке понятия «младшая сестра», которое, судя по данным других финно-угорских языков, должно было иметь для своей передачи особое слово.

Кол(юга) — река вблизи Ветлуги (Koljuga) (Костр. губ. — Варн) Vasmer 374. Топоним с бывшей мерянской языковой территории. Название представляет собой сложное слово с общим значением «рыбная река», второй компонент которого отражает один из этапов развития мер. *juk < *joGə, ср. ф. joki, эст. jõgi «река». Что касается первого компонента, то он связан с мер. *kol «рыба», имеющим соответствия в финно-угорских и самодийских языках и восходящим к уральскому праязыку: ф., эст. kala «рыба», саам. H guolle, морд. *кал*, мар. *кол*, хант. *хул*, манс. *хӯл*, венг. hal; нен. *халя*, эн. kađe, kare, нган. kole, сельк. ḳuel, кам. ḱола < урал. *kala. По форме мерянское слово наиболее близко к марийскому, однако, учитывая мерянскую закономерность — переход гласных в новых закрытых слогах в гласные более высокого подъема (в том числе а > о, ср. *-Bol «деревня» < *-Balo «то же»), не свойствен-

ную марийскому языку, нельзя оба слова рассматривать как идентичные в историческом плане, потому что одинаковый конечный результат в каждом из языков мог быть следствием не характерного для другого языка процесса.

Рус. (арг.) колбать «говорить» (Яр. губ. – Углич) Свеш 90. Место фиксации слова, как и его балтийские связи (ср. лит. kalbà «язык»), – современные русские говоры постмерянских территорий с балтийскими языками не контактируют – заставляют предположить в нем отражение балтийского заимствования в мерянском языке. В пользу подобного предположения говорит также фонетическая форма слова, отражающая мерянские фонетические особенности. Балт. kalbà согласно акцентуационной особенности мерянского языка конечное ударение, допускаемое на основании лит. kalbà, перенесло, по-видимому, на начальный слог (дмер. *kálβa). Кроме того, оно изменило свою форму согласно другой фонетической закономерности, характерной для мерянского языка, – исходное -a- начального слога перешло в нем в гласный -o-. Следовательно, в основе русского арготического глагола *колбать* «говорить» лежит мерянское заимствование из балт. kolβê «речь, язык; разговор». Русский арготизм или образован непосредственно от этого существительного, или в его основе лежит мерянский отыменный глагол *kolβê – «говорить» (*kolβêma «говорение»). Поводом для заимствования данного балтизма в мерянский могли быть оживленные в свое время связи мерян с балтийцами, во время которых, очевидно, чаще использовался балтийский язык. Как параллель уместно вспомнить венг. beszéd «разговор, беседа», отражающее, видимо, сходную ситуацию: славянское по происхождению beszéd отражает факт оживленных связей венгров со славянами, при которых венграми использовался славянский язык. Сохранение слова до времени полного вытеснения мерянского языка и наличие его в постмерянском русском арго свидетельствуют о том, что оно прочно укоренилось в мерянском языке и принадлежало, видимо, к части наиболее употребительной лексики.

Рус. (диал.) *колéма* «болезнь» (Костр – Ветл) СРНГК; *колéмка* «то же» (там же) СРНГК; *колéмать* «болеть, хворать» (*Шаповал колемает* «Валенокат болеет») (там же) СРНГК; *колéмой* (*Колемой шаповал* «Больной валенокат») (там же) СРНГК. Фиксация слова на бывшей мерянской территории, его несомненная этимологическая связь с соответствиями других уральских языков, а также его бесспорная финно-угорская (и уральская) словообразовательная структура (отглагольное существительное с суффиксом -ma) дают полное основание предположить в нем субстратное включение из мерянского языка, в основе которого лежит мер. *kólema «умирание, смерть; тяжелая болезнь». Смещение ударения в русском языке возникло, возможно, под влиянием глагола *колéть* «умирать (о скотине)» КЯОС, в свою очередь, связанного с акцентуацией типа *болéть*, *умерéть* и т.п. Целый ряд финно-угорских и самодийских слов частично и полностью совпадает с данным словом и по своей структуре, ср.: ф. kuolema «смерть», эст. (диал.) koolma «умирать», морд. Э *кулома* «смерть», морд. М *кулома*, мар. *колымаш* < *kolə̑ma + š «то же», удм. *кулыны* «умереть, умирать», коми *кулöм* «смерть» (отглагольное существительное от *кувны* «умереть, умирать»), хант. (каз.) *хал′ты* «подохнуть», (ср.-обск.) *хатты*, (вост.) ḳ̆ălata «то же», манс. *хōлуӈкве* «погибнуть», венг. (meg) halni «умереть»; нен. *хась*, эн. kādo, kāro’, нган. kū′am, сельк. kuwang, кам. k̆ɯl′em «то же» < урал. *kolę- «умирать, умереть».

Существование рассмотренного мерянского слова не оставляет сомнений также в мерянском происхождении более славизированного (со стороны формы) глагола *колеть* «умирать (о скотине)» (Яр – Рыб), в форме *о-колéть* вошедшего и в русский литературный язык. Об этом говорят как форма корня и семантика глагола, так и ареал его распространения, совпадающий с постмерянской территорией и местами, расположенными к востоку от нее [99]. Очевидно, никакого отношения к данному глаголу не имеет рус. (диал.) *колеть* «цепенеть, коченеть (от холода)», формально совпадающее с ним. Против их связи свидетельствует прежде всего ареал данного

глагола, тяготеющего явно к западу и в связи с этим имеющего соответствия в украинском и белорусском языках (ср. укр. *коліти* «коченеть», бел. *калéць* «мерзнуть, зябнуть») при отсутствии в них соответствий рус. *о-колéть* «сдохнуть». На современном деривативном уровне (возможно, как результат предшествующей деэтимологизации) глагол *колеть* «цепенеть» воспринимается как производный от *кол* (становиться негнущимся, твердым и прямым, как кол), чего нельзя сказать о глаголе *колéть* «умирать», развившем в ряде говоров, расположенных к востоку от постмерянской территории, семантику, совершенно не связывающуюся со значением «коченеть, мерзнуть, цепенеть», но вполне естественную для развития значения «умирать (гибнуть, пропадать)», ср.: *колеть* «пропадать где-либо»: *колей — пропадай*. — Вят., Зеленин, 1915; «находиться где-либо длительное время»: *Колел бы дома*. — Вост. Мар. АССР, 1952; (о домашней птице) «целые дни находиться, пропадать на улице»: *Держат там гусей, уток; холоду нет, и колеют все время на улице*. — Вожгал, Киров., 1950 (СРНГ XIV 132).

Корони́ть (перен.): 1) «прятать» (Яр, Костр, Моск. Влад); 2) «погребать, хоронить» (Яросл) (СРНГ XIV 364-365); *корони́ться* несов. «прятаться» (Влад, Яр, Костр, Нижегор) (СРНГ XIV 365). «Словарь русских народных говоров» отмечает эти слова не только на постмерянской территории и в местностях, смежных или расположенных к востоку от нее, что может быть связано с переселением оттуда или контактами с носителями русских (постмерянских) говоров (в бывш. Нижегородской, Вятской и Тверской губ., Горьковской, Пермской и Свердловской обл.), но и в местностях, не имеющих связи с мерей (в Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской обл.). Общим для этих территорий является наличие в настоящем или прошлом финно-угорского населения (носителей прибалтийско-финских или мордовских языков). Поскольку всем этим языкам чужд русский (славянский) звук х, их носители или русифицировавшееся финно-угорское население, усваивавшие русский язык, произносили вместо него согласный к. Поэтому есть основания рассматривать данные глаголы на постмерянской территории и как усвоенные еще мерянским языком и включенные в русский язык (в славизированной грамматической форме) из мерянского при окончательной его утрате, и просто как русские слова, испытавшие воздействие (пост)мерянского акцента (уже после окончательного исчезновения мерянского языка). Более вероятным кажется первое предположение, так как, когда население бывших мерянских территорий перешло на русский язык, звук х был полностью освоен и включен в фонетическую систему местных говоров. Замена х звуком к имеет здесь характер в значительной степени лексикализованный (не регулярно-фонетический), встречается только в некоторых словах, очевидно, издавна вошедших в мерянский язык и уже из него в «мерянизированном» виде включенных в местный русский. Следовательно, есть основания предположить существование в мерянском языке глагола *koroni-(ms) «прятать; хоронить, погребать», принятию которого отчасти способствовало и то, что он был связан с новым христианским обрядом похорон, пришедшим с религией восточных славян.

Ко́юз «сарай для хозяйственных нужд, санник, каретник, обычно пристраиваемый к дому» (Костр — Мант) Востр I 28; *коуз* «навес из соломы на столбах около строения; пристройка из жердей позади дома или двора для хозяйственного инвентаря; закутка, сторожка у ворот околицы» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 95. Связь слова с бывшей мерянской территорией позволяет принять предположение О.В.Вострикова [16, с. 28-29] о его мерянском происхождении в русских говорах. В мерянском языке слово представляет собой заимствование из германских языков, пришедшее в него непосредственно, очевидно, из прибалтийско-финских: ф. koju (koiju) «шалаш, хижина (в частности, из хвои)», кар. koju «сторожка, будка», а также ф. koija, kolju, koju «спальное место», швед. koja «избушка, хижина, шалаш» < снн. kôje «стойло, каморка». Не совсем ясно в русском диалектном слове конечное -з. О.В.Востриков объясняет его влиянием со стороны финно-угорских заимствований на -с в русских говорах се-

вера европейской части СССР (типа *карас*, *рупас*, *пендас* и под.) или считает, что оно может восходить к конечному *-s в языке-субстрате, то есть мерянском. Представляется возможным и третье его объяснение – видеть в конечном -з отражение конечного -s в мерянском иллативе единственного числа (ср. рус. (арг.) *дульяс*). В таком случае в качестве исходной формы (номинатива единственного числа) для мерянского, как и для финского, языка следует принять *koju. Конечное -з вместо -с в русском диалектном слове следует объяснять колебанием с~з в конце слова, так как в этой позиции в русском языке глухие и звонкие звуки не различаются (ср. название р. *Юг* < мер. *juk < *joGə).

Рус. (диал., арг.) ку́ба «женщина» (Влад. губ. – Вязн) СРНГК; «баба» (Яр – Рыб) СНГК. Слово с несколько размытым ареалом, что, видимо, было вызвано его вхождением в арго офень, распространивших слово за пределами мерянской территории. Популярности лексемы в качестве арготизма содействовала ее экспрессивность как синонима нейтральных «женщина», «баба» в сочетании с явно вторичным ее сближением (на основе внешнего сходства) с рус. (диал.) *куба* «кубышка, кадочка, бочонок для сбивания масла», откуда новое значение – «толстая женщина или девочка; толстуха», особенно характерное для производных (вне постмерянской территории), ср.: *куба́ка* «толстая женщина, девочка» (Тамб.) СРНГ XV 380; *куба́нка* «то же» (там же, 381); *куба́нь* (там же). Ударение слова, как показывают данные с постмерянской территории, в соответствии с особенностями мерянской акцентуации, что также является одним из аргументов в пользу его местного субстратного происхождения, – инициальное, ср. *ку́ба* «толстая женщина или девочка» (Костр. губ. – Нерехт) СРНГ XV 375. С рус. (диал., арг.) *ку́ба* «женщина; баба», отражающим мер. *kuβa «женщина», не следует смешивать рус. (диал.) *куба́* «черемиска или русская, имеющая сходство с черемиской» (Казан. губ. – Ядрин, Козьмодем), место фиксации, семантика и форма (ударение) которого указывают на то, что оно заимствовано из марийского языка (ср. мар. *кува́*, фон. kuβá «старуха»). Отдаленность районов бывшей мерянской территории, в которых записано рус. (диал., арг.) *ку́ба* в его, судя по всему, исходном значении (Ярославская, Владимирская губ.), от области распространения марийского языка делает маловероятным предположение о возможности его заимствования из марийского, тем более, что этому противоречит расхождение в их форме (разные ударения) и семантике. Скорее всего, речь идет о субстратном реликтном слове мерянского происхождения, вошедшем в местные арго и тем самым получившем распространение вне исходного ареала.

Рус. (диал.) лили́ (мн.ч.) «женские груди» (так называют их, подражая говору грудных детей – сосущих груди – Смирнов 86) (Твер. губ. – Каш) СРНГ XVII 47. Объяснение слова, данное И.Т.Смирновым в «Кашинском словаре», представляет собой не более, чем его народную этимологию. Исходя из того, что именно в Кашинском уезде находился один из мер(ь)ских станов, то есть одно из мест на мерянской территории, где дольше всего сохранялись мерянский этнос и мерянский язык [108, с. 136], и что слово *лили* «женские груди» является узко-локальным диалектизмом, не встречающимся нигде вне бывшей мерянской территории, есть предпосылки для поисков его возможной связи с финно-угорской, а следовательно, и мерянской лексикой. Не лишено интереса и то обстоятельство, что на территории бывшей Тверской губ., согласно данным, опубликованным в 1820 г. в «Трудах общества любителей российской словесности» (СРНГ XVII 47), употреблялось слово *лиль*, возможно, связанное с рассматриваемым и являющееся его формой единственного числа, но, к сожалению, определенно этого сказать нельзя из-за отсутствия сведений о его значении. Формально-семантический анализ слова в сравнении с фактами финно-угорских языков и при учете особенностей мерянской фонетики позволяет видеть в нем субстратное включение из мерянского языка. Для (пост)мерянского этапа его развития, очевидно, непосредственно связанного с собственно позднемерянским, вполне допустимо предположить существование формы единственного числа *лиль со значением «грудь». В русских народных говорах зна-

чение «грудь, грудная полость» имеет слово *душа*, поскольку с грудью связано непосредственно *дыхание* (*дух*) (СРНГ VIII 280), откуда и рус. (диал.) *душегрейка* «женская шубка, тулупчик» (Яр, Волог. губ.) (там же 282), то есть «одежда, предназначенная для согревания груди (души)». Можно допустить, что первоначальным значением предполагаемого постмерянского слова **лиль* < мер. **lil′* было не «грудь», а «душа, дух; дыхание», откуда позднее развился новый семантический оттенок слова «грудь» (как вместилище души). Этому предположению не противоречат факты финно-угорских языков, где находим ряд формально и семантически близких соответствий предполагаемой мерянской лексемы: ф., кар. löyly «пар (в бане)», иж. löülü, вепс. l′öl′ «пар, жар (в бане)», вод. leülü «пар (в бане)», эст. leil, ген. -li «то же; дыхание, жизнь», лив. läůl «пар; дух; дыхание», саам. H liew′lâ «пар (водяной, не морозный)», удм. *лул* «дыхание; душа; жизнь; существо», коми *лов* < *лол-* «душа; душа, дух, жизнь; душа, существо; голова (единица счета)», хант. (вост.) lil «жизнь; дыхание; дух; душа», манс. lili «дыхание; душа», венг. lélëk «душа, дух; дух, настроение, сердце; совесть; лицо (личность); дыхание; жизнь, самосознание», ст. (X в.) Lele (имя одного из венгерских королей) < ф.-уг. *lewle «дыхание, дух, душа».

Реконструируемое мер. lil′ «душа; (перен.) грудь» в качестве предшествующей формы предполагает исходное дмер. *lelə < *lele «душа, дух; дыхание», которое в результате падения (через стадию редукции) конечного гласного и вызванного этим удлинения и сужения звука е в новом закрытом слоге с переходом его в і дало засвидетельствованный вариант. Закономерность данного перехода для мерянского языка подтверждает, в частности, (пост)мер. *il′Doma «безжизненный» < *elәDoma при elä «живой», засвидетельствованное в названии р. *Ильдомка* (Костр. губ.). Обращает на себя внимание как формальная, так и семантическая близость в развитии мерянского слова с его соответствиями в венгерском и угорских языках вообще (а также в пермских) в отличие от прибалтийско-финских (и марийского с мордовскими). В то время как волжско-финские языки не сохранили это, видимо, в прошлом характерное для всех родственных языков слово, а в прибалтийско-финских оно очень сузило свое значение, в угорских и пермских языках, как, очевидно, и в мерянском, слово приобрело переносное значение, свойственное религиозным представлениям. Соответствующие слова, восходящие к ф.-уг. *lewle, по-видимому, с первоначальным значением «дыхание (дух)», развили здесь значение «душа», передаваемое в остальных финно-угорских языках другими словами: ф. sielu (из германских языков, ср. двн. se(u)la, дангл. sawol, гот. saiwala < пгерм. saiwalo), эст. hing, морд. Э *ойме*, морд. М *вайме*, мар. *чон*. Отсюда можно сделать вывод, что в истории (прото)мерянского языка был период, когда его носители, связанные в основном своим происхождением с финнами в широком понимании слова, имели также длительные и тесные контакты с уграми, в том числе протовенграми. Поскольку в исторический период подобные связи не прослеживаются, их следует отнести к праязыковому периоду, когда предки мери и угров (включая венгров) еще не расселились со своей финно-угорской прародины. Здесь (прото)меряне, входя в племенную группировку прафинских племен, занимали, очевидно, наиболее восточную часть их территории, граничащую с территорией, занятой прауграми (в том числе протовенграми), что способствовало их регулярным и близким связям, отразившимся и в языке.

Мере́кать «говорить» (Костр — Чухл) ЯОСК. В подобном значении слово засвидетельствовано только как узколокальное, причем на бывшей мерянской территории, в связи с чем его, очевидно, следует отличать от русского диалектного глагола *мерекать* со значениями: 1) «долго, медленно думать над чем-либо» (Влад. губ. — Судог); «прикидывать, примеривать в уме» (Влад. губ. — Пересл; Тобол. губ.); 2) «мечтать, задумываться о чем-либо» (Тамб. губ.); 3) «знать немного, кое-что» (Влад. губ.; Том. губ.); 4) «стремиться показать себя умным; умничать» (Влад. губ.); 5) «плохо разбирать напечатанное или написанное» (Нижегор. губ.); 6) «казаться, представляться в воображении, мерещиться» (Псков. губ; Твер. губ.); 7) «бредить» (Твер. губ.) (СРНГ XVIII 115). Возможно, с рассматриваемым

диалектным глаголом связан записанный только в Сибири глагол *мерекать* со значением «бестолково объяснять» ?< «говорить на непонятном языке, с большим количеством непонятных слов» (Том. губ.) (СРНГ XVIII 115). Подобная связь не исключена и потому, что переселение из Центральной России, в том числе носителей постмерянских русских говоров, шло в значительной части в восточном направлении.

Глагол *мерекать*, стоящий совершенно изолированно среди русской диалектной лексики, находит наиболее близкое соответствие в эрзя-мордовском глаголе *меремс* «сказать; приказать» и мокша-мордовском *мярьгомс* «сказать, велеть, приказать, распорядиться», в форме 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч. и 3-го л. ед.ч. безобъектного спряжения, употребляющегося так же, как вводные слова *мярьган* «говорю», *мярьгат* «говоришь» и т.д. Исходя из этого, глагол *мере́кать* можно рассматривать в качестве возникшего на основе близкого по форме и семантике глагольного образования мерянского языка. Учитывая разные формы соответствующего глагола в мордовских языках, реконструируемое мерянское слово можно восстанавливать в одном из двух аналогичных им вариантов: *merə(-ms) || *märəGo(-ms) «сказать, говорить». В диалектном (постмерянском) слове -к- может быть отражением конечного -k мерянского глагола в форме 2-го л. ед.ч. повел. накл., то есть merek «скажи; говори» (подобное окончание в этой форме сохраняется, в частности, мордовскими и диалектно финским и эстонским языками) [85, с. 142]. Наиболее обоснованно считать русский диалектный глагол образованным от мерянского, ср. рус. (диал.) *Ну ме́рек* «неужели» (Вят. губ. — Слобод, 1881 г.) (СРНГ XVIII 115), которое допустимо было бы истолковывать как возникшее из фрагмента первоначального восклицательного предложения (с оттенком удивления): Nu, mérek! (букв.) «Ну, (ты) скажи!» В связи с тем, что глагол *мере́кать* засвидетельствован в соседней Костромской губернии, откуда на вятские земли издавна шло переселение как русских, так, очевидно, и мери, возможность сохранения здешними русскими говорами отдельных реликтов мерянского языка не представляется слишком невероятной. Конечно, предположение о соответствующей форме повелительного наклонения, как и ряд других мерянских грамматических реконструкций, для окончательного доказательства нуждается в дополнительных аналогичных примерах. Приведенные факты не дают возможности истолковывать себя как отражение мордовского влияния, так как ареал их фиксации слишком отдален от мордовской языковой территории. Следовательно, речь идет о мерянских явлениях, близких к аналогичным фактам мордовских языков.

Мя́кша «гнилая сердцевина дерева» (Костр — Мант) Востр II 31. Полная, по-видимому, изолированность в русском диалектном языке (отсутствует в «Словаре русских народных говоров») слова, зафиксированного на бывшей мерянской языковой территории и имеющего убедительные соответствия в смежных волжско-финских языках (ср. мар. *мекш* «гнилушка», мар. Г *мäкш*, морд. М *ма́кша*, морд. Э *макшо* «то же»), заставляет вместе с О.В.Востриковым (там же) принять его субстратное финно-угорское происхождение. Однако ввиду того, что в прошлом в данном районе никакие финно-угорские языки, кроме мерянского, не отмечаются, а в настоящее время он является чисто русским и не подвержен влиянию какого-либо финно-угорского языка, единственно возможным может быть предположение о мерянском происхождения русского диалектизма, отражающего скорее всего реконструируемое мер. *mäkšə̑ «гнилушка».

Палья́ «тесло, инструмент для выдалбливания лодок, корыт и т.д.» (Костр — Мант, Ней, Парф.) Востр II 32; *палейка* «то же» (Костр — Антр) Востр II 32. Узколокальный характер слова (отсутствует у Даля), распространенного на бывшей мерянской территории, позволяет предположить его вхождение в местные русские говоры непосредственно из мерянского, тем более, что оно имеет соответствия в прибалтийско-финских языках (ср. ф. palja «молот, кувалда, кузнечный молот», кар. pal′l′a «то же», (ливв.) pal′l′u «молот», pal′i̯u «(деревянная) дубина, палица», (люд.) pal′, pal′l′ę, pal′l′u «молот, кузнечный молот», вепс. pal′ «молот, дубина») (SKES

II 473), формальная и семантическая связь которых с предполагаемым мер. *pál′ja (в русском – сдвиг ударения) представляется возможной. Сложнее вопрос о происхождении слова в мерянском – его собственно мерянском, общем с прибалтийско-финским, или заимствованном характере. Ввиду ограниченного распространения слова в прибалтийско-финских языках (отсутствует в ижорском, водском, эстонском, ливском) и, возможно, мерянском (отмечается только на северо-востоке бывшей мерянской территории) не исключен и третий вариант: как в прибалтийско-финском, так в диалектном мерянском языке слово является заимствованием из какого-то общего, пока не установленного источника. Следовательно, в настоящее время можно говорить лишь о свойственности лексемы мерянскому (возможно, только в части говоров). Вопрос о ее происхождении остается пока открытым.

Па́хча «различные овощи (свекла, брюква, огурцы)» (Яр – Рыб) ЯОСК. Слово может быть объяснено как возникшее на основе рус. (лит.) *бахча́* «участок, засеянный арбузами, дынями». Однако подобное объяснение не дает возможности истолковать с достаточной убедительностью причины смещения ударения и семантики слова. Более правдоподобно, очевидно, исходить из того, что оно является заимствованием из булг. *рахčа́, восстанавливаемого на основе чув. *пахча́* «огород; сад» (ЧувРС 258) (очевидно, в булгарском также «овощи (огородные культуры)»). Поскольку к периоду славизации мерянского населения связи с булгарами, перешедшими на татарский язык, прекратились, чувашский же язык с русскими говорами Ярославской губ. (обл.) не контактировал, слово следует рассматривать как непосредственное субстратное включение из мерянского языка, где оно являлось заимствованием из булгарского, оказывавшего заметное влияние на все языки Поволжья, в том числе мерянский. О мерянском происхождении слова в русском свидетельствует смещение конечного ударения предполагаемого булгарского слова на первый слог, как того требовала акцентуация мерянского языка (в отличие от русского с его разноместным ударением). В булгарском языке слово представляло собой заимствование из персидского (ср. перс. baγčä) (Фасмер I, с. 111), измененное фонетически, поскольку в булгарском, как и в чувашском, звонкие фонемы отсутствуют (ЧувРС 603). Следовательно, в рус. (диал.) *па́хча* с наибольшим основанием можно видеть отражение мер. *páhča «овощи (свекла, брюква, огурцы)», являющегося заимствованием из булгарского. В мерянский язык слово, очевидно, проникло вместе с соответствующими огородными культурами как их собирательное обозначение в связи с тем, что мерянское население могло впервые познакомиться с ними и научиться их возделыванию с помощью булгар.

Пуега «снежная с ветром погода (синонимы: вьюга, непогодь)» (Твер. губ. – Каш) ТОЛРС XX 165. Слово у В.И.Даля (Даль III 536) характеризуется ошибочно как тверское и карельское, то есть являющееся заимствованием из карельского языка. Поскольку в Кашинском уезде быв. Тверской губ. карелы не проживали [56, с.3] и в то же время здесь был расположен один из мер(ь)ских станов, больше оснований видеть в нем не заимствование из карельского, а субстратное включение из когда-то распространенного здесь мерянского языка. Против возможности заимствования из карельского говорит также отсутствие слова в работе Я.Калима, посвященной прибалтийско-финским заимствованиям в русском [138, с. 188, 189, 258], где самым тщательным образом использованы все имевшиеся до 1919 г. источники, в том числе наиболее полное издание «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля, подготовленное И.А.Бодуэном де Куртенэ [138, с. X]. Между тем в русском диалектном языке есть все основания отнести его к финно-угорским элементам. Единственно возможным в данном случае может быть включение из мерянского языка, так как из финно-угорских языков именно он был распространен на территории уезда, где слово записано; поэтому в рассматриваемом слове следует видеть отражение соответствующей мерянской лексемы, реконструируемой, по-видимому, как *pujeGa(-ə̑) «вьюга», производное от глагольного корня pu(j) – «дуть». Слово, особенно в кор-

невой части, имеет параллели в других финно-угорских и самодийских языках, ср.: морд. Э *пувамс* «дуть», мар. *пуа́ш* «дуть, веять (о ветре); дуть (ртом)», хант. (вост.) (вах., вас.) pŏγta «дуть», (сал.) pŏwta «то же», манс. *пувлункве* «дуть, раздувать», венг. fújni «дуть; трубить»; нен. *пӯта(сь)* «дуть (о ветре); трубить (о человеке)», эн. fueŋabo «трубить», нган. fual′i′éma, fuarúma. сельк. pūaBʳ «то же», кам. pʻɯ̄′lém «трубить; (сильно) дуть» < урал. *puwз-/*puγз- «дуть». Несмотря на явно звукоподражательный характер, среди уральских языков оно, как показывают примеры, не получило всеобщего распространения (или сохранено далеко не всеми языками). Мерянский в данном случае явно тяготеет к уральским языкам «восточной» ориентации: угорским, самодийским и волжско-финским, отличаясь от прибалтийско-финских. Особенно близок с формальной точки зрения мерянский к венгерскому, так как они оба развили в корне слова -j- (очевидно, вместо выпавшего *-w-/*-γ-), что оказалось чуждым всем остальным языкам, не исключая наиболее близких к венгерскому обско-угорских.

Тохто́риться «стараться, добиваться, хотеть, пробовать» (Яр — Ермак); «стараться, добиваться, хотеть, требовать» (Яр — Дан) ЯОСК. Слово узкого распространения, связанное с бывшей мерянской территорией и имеющее параллели в прибалтийско-финских и, возможно, саамском языках, ср.: ф. tahtoa «хотеть, желать», tahto «воля; желание», эст. tahtma (tahta) «хотеть, желать», tahe, ген. ед.ч. tahte «воля, желание», лив. tǭ'dê «хотеть; быть нужным», возможно, также саам. Н duos′tot «принимать, идти навстречу» (SKES IV 1195-1196). О местном мерянском происхождении слова, а не заимствованном и связанном с этими языками, кроме ареала распространения, может говорить его вокализм. Очевидно, русский диалектный глагол представляет собой образование, возникшее на основе мерянского существительного *tohtê «воля, желание», где -o- вместе с -a- прибалтийско-финских языков может объясняться тенденцией перехода a > o, наблюдаемой в части мерянских слов (ср.: *konDêβa «несущий» — р. *Кондоба* при ф. kantava; *poŋGa «гриб» — р. *Понга* при морд. Э *панго* и т.п.). В данном случае переходу a > o могла способствовать закономерность подобного перехода в новых закрытых слогах, в частности при падении конечных гласных (ср. (-)*Balo > (-)*Bol «деревня»). Менее ясна суффиксальная часть глагола -or- (в *тохтори́ться*), возможно, отражающая какой-то мерянский флективный формант или послелог, выступавший в той же форме слова, на основе которой непосредственно был образован рассматриваемый диалектный глагол.

Хале́ть (диал.) «умирать» (Костр. губ. — Нерехт) МКНО, *ухали́ть* (арг.) «умереть» (Костр. губ. — Гал) Вин 51. Слово, не обнаруживающееся нигде, кроме небольшой части постмерянской территории, и не имеющее связи ни с каким из славяно-русских слов, что вынуждает считать его в местных русских диалектах одним из заимствований или субстратных включений. Явно натянутой, хоть и под вопросом, кажется попытка объяснения его у Даля как славянского (ср. *халѣть* (*хилѣть*?), Костр — Нерехт *умирать* — Даль IV 541). Этимологический анализ позволяет отнести слово к финно-угорским элементам, однако не исконно мерянского, а заимствованного, по-видимому угорского, происхождения. Об этом недвусмысленно свидетельствует форма корня: принадлежа к общим финно-угорским (и — шире — уральским) словам, обозначающим понятие «умирать (умереть)» с помощью корневого слова *kolę-, данная лексема выступает не в варианте с начальным *ko-, свойственном финским языкам, в том числе мерянскому, ср. мер. *kolema «смерть; (тяжелая) болезнь», а в форме с начальным *ha- < *χa-, развившейся в угорских языках, ср.: ф. kuolla «умирать», эст. (диал.) koolma, морд. *куломс*, мар. *кола́ш*, удм. *кулыны*, коми *кувны* «то же», хант. (каз.) *хал′ты* «подохнуть», манс. *хӧлуӈкве* «погибнуть», венг. halni «умирать (умереть)»; нен. *хась* «умереть, погибнуть, пропасть; пасть, подохнуть (о животных)», эн. kādo′ «умирать (умереть)», нган. kū′am «(я) умер», сельк. ķuak, кам. ķɯl′em «то же», койб. *кулягандамъ* «умираю», матор. -*гулямъ* (в 1-м л. ед.ч. наст.вр. *кимынджигулямъ*), тайг. kcháima «мертвый» < урал. *kolę- «умирать, умереть» (КЭСКЯ 143; ОФУЯ 407; SKES II 239; MSzFUE II 250-251; Collinder 407; Janhunen 56-57). Оче-

видно, данное слово проникло в мерянский из угорских языков. Причину заимствования наиболее вероятно видеть в стремлении заменить слово, обозначавшее понятие, самой своей природой тяготеющее к эвфемизации, каким-то другим, которое его как бы смягчало, давая в несколько завуалированном виде. Тяготение к подобной замене синонимами слов, обозначающих понятие «умереть», наблюдается во многих, – если не во всех, – языках мира, в том числе финно-угорских, причем нередко первоначально употреблявшийся в данном значении глагол начинает использоваться с огрубленным значением или оттенком внезапной («плохой») смерти: «сдыхать; гибнуть» и под., ср. хант. *хал'ты*, «подохнуть», манс. *хōлуӈкве* «погибнуть» при новых глаголах (глагольных словосочетаниях), обозначащих понятие «умереть», хант. *сорма йиты*, манс. *сорумн патуӈкве*. К тому же ряду явлений относится вытеснение исконного глагола koolma со значением «умереть» глаголом surema с тем же значением в эстонском литературном языке. Эта тенденция обнаружила себя и в мерянском языке, где глагол *koli(ms) со значением «умереть» заменялся образованным на основе собственных элементов глаголом *ul'ši(-ms) «стать бывшим» (ср. рус. (диал.) *побывшиться* как его кальку) и, очевидно, заимствованным из угорских языков (возможно, даже из протовенгерского) глаголом со значением «умереть». Заимствованный глагол был, по-видимому, мерянизирован, то есть приобрел словообразовательную структуру и флективные формы своего предшественника, мерянского глагола *koli-(ms) «умереть» (*kolema «умирание; (позже) (тяжелая) болезнь»). В связи с этим взятый из родственного языка новый глагол, отличаясь от собственного только в корневой части, мог производить впечатление тех же мерянских слов, только несколько видоизмененных формально, их своеобразных вариантов, так как реконструкция предполагаемых мерянских слов дает формы *hali(-ms) (ср. рус. (арг.) *у-хали-ть*) «умереть (умирать)» и *halema «смерть (умирание)». Ввиду того что угорские заимствования стали выполнять роль исконно мерянских слов, эти последние приобрели новое значение: *koli(ms) «сдыхать (= умирать – о животных)», *kolema «(тяжелая) болезнь; (позже) болезнь вообще». Рассмотренное дает основания думать, что рус. (диал.) *колеть* «подыхать», (лит.) *околеть* «сдохнуть» не получили сниженного оттенка при их включении как неславянские субстратные лексические элементы, – он был свойствен уже соответствующей лексеме мерянского языка, на основе которой (путем замены грамматико-словообразовательных формантов славяно-русскими) были образованы указанные русские глаголы. Вошло в русскую грамматическую систему и стало элементом русской диалектной и арготической лексики также рассматриваемое (прошедшее через мерянскую среду) угорское слово, отраженное в рус. (диал.) *халеть* и (арг.) *ухалить*. Частичное соприкосновение данных слов с арго может наводить на мысль о возможности их непосредственного заимствования из венгерского языка в русский, которое произошло уже после исчезновения мерянского языка. Однако в данном случае подобная возможность представляется маловероятной: если бы речь шла о позднем арготическом заимствовании, то оно не могло бы ограничиться лишь постмерянской территорией, причем только в определенной ее части. Более естественно видеть в них (и в связи с существованием явно (пост)мерянского глагола *колеть*) заимствование мерянского, воспринятое затем из него частью русских говоров на бывшей мерянской территории.

Цол(о)- «здоровый; здоровье» (в выражении «Цолонда – в доме: здравствуй, хозяин (?)» (Яр. губ. – Пош) с. Давшино, 1849 г.) КЯОС 212. Абсолютная изолированность выражения, зафиксированного только на бывшей мерянской территории, дает основания предположить его субстратное мерянское происхождение. Малоубедительна попытка В.И.Даля увидеть в нем искаженное славяно-русское «челом-да» (= бью челом, здравствуй!) (Даль IV 575) уже в связи с тем, что цоканье не характерно для (пост)мерянских земель, поэтому славяно-русское «челом-даю», предполагаемое в основе выражения, должно было бы отразиться со своим ч. Кроме того, поскольку выражение «бить

челом» (или «дать челом», ср. укр. *чолом давати* «приветствовать особым образом (особенно о детях)» Гринченко IV 468) было в Киевской Руси и Московской Руси, ее наследнице, во всеобщем употреблении, трудно представить себе настолько значительную его деформацию (в том числе с переходом м > н, не характерным ни для славяно-русского, ни для мерянского языка), какую следует допустить в этом случае. Более обоснованно видеть в выражении *цолонда* синкопированную и сокращенную фразу-пожелание с общим значением «Здоровье пусть (тебе) даст (бог) / дай (ему) (боже)» или, что более вероятно, поскольку речь идет о приветствии в доме хозяина-кормильца (со стороны гостя), – с семантикой «Здоров (будь), кормилец (букв. – кормящий < дающий)!»[15] В последнем случае исходное мерянское выражение следовало бы реконструировать в следующем виде: *Cölə-nDə̑! < *Cölə̑, anDə̑(βa)! (букв.) «Здоров(ый) (будь), кормящий < дающий!». Если второй из предполагаемых компонентов – *anDə̑(βa), исключая его синкопированную форму, естественную для часто употребляемых приветственных оборотов, уже рассматривался и легко объясним в его финно-угорских связях и структуре, то намного сложнее истолкование первого компонента – цол(-о-) «здоровый», предположительно также восходящего к мерянскому языку. В мерянском его нельзя объяснить иначе, чем заимствованием или включением из какого-то индоевропейского языка, по особенностям исторического развития стоящего очень близко к славянским. В настоящее время трудно с определенностью сказать, у какой группы индоевропейцев было заимствовано рассматриваемое слово, к тому же в приветственной формуле, – у фатьяновцев, язык которых развивался во многом по пути праславянского, представляя собой его протославянскую стадию, или у части праславянского населения, находившейся в тесных контактах с мерянским. Поскольку речь шла о заимствовании слова, являющегося сокращенным фразеологизмом, оно не могло быть результатом отдаленных и эпизодических контактов, скорее всего было следствием длительных контактов мери с этносом – носителем языка, по-видимому, ассимилированного в той его части, которая находилась на мерянской территории, финно-угорским мерянским населением, так как при исторически засвидетельствованном появлении там славян никакого славянского или индоевропейского населения среди мери не существовало. На субстратный характер оборота может указывать и его смешанный индоевропейско(? > протославянско)-мерянский характер – как результат постепенного слияния и смешения двух этносов с перевесом на финно-угорской стороне. С этимологической точки зрения предполагаемое мер. *cölə̑, «здоровый; здоровье» связано с псл. *cě̄lъ «целый, здоровый», прус. (балт.) kails «здоровый», гот. (герм.) hails «то же», восходящими к и-е. *kailo-/-lu – «здоровый, целый, невредимый». В субстратном индоевропейском (фатьяновском, протославянском) языке, передавшем данное слово мерянскому, оно к моменту вхождения в мерянский язык, очевидно, могло иметь форму *c'ölŭ/-ъ[16], что в мерянском, не имевшем палатализованного с' и включавшем в свою фонетическую систему редуцированные, в том числе близкое к данному фатьян. (протосл.) ŭ/ъ заднерядное ə̑, должно было отразиться как *cöl. Впоследствии при сближении мерянской фонетики со славяно-русской мер. *cöl- могло передаваться с помощью тогда еще мягкого (в древнерусском) ц как цёл-, что в дальнейшем дало исторически засвидетельствованное цол-. Важно отметить, что и гер. (гот.) hails, и соответствующее ему

[15] Подобная интерпретация более вероятна в связи с тем, что в мерянском языке, как и в мордовских, глагол *anDo-(ms) развил из первоначального значения «давать» новую семантику – «кормить», поэтому сохранение прежнего значения в рассматриваемом обороте можно было бы объяснить только как традиционное, что требовало бы нового гипотетического допущения.

[16] Данная форма частично не совпадает с ходом фонетических преобразований, намечаемых для развития псл. *cě̄lъ, в кн. «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов»: *kɔ̯ilъ → *k'ɔ̯̄lъ → k'ělъ → c'ělъ [17, с. 66], – однако в этом нет противоречия, так как имеется в виду не история праславянского языка в целом, а развитие одного из возможных окраинных протославянских диалектов, который (не без влияния контактов с мерянским) мог иметь частично отличавшуюся от предложенной фонетическую эволюцию.

в балтийском прус. kails употреблялись в приветствиях со значением «здравствуй!» как сокращенный вариант первоначально полного «(будь) здоров!» с опущенным глаголом-связкой, ср. дангл. wes hāl «будь здоров!» (Kluge-Mitzka 298; ЭССЯ III 179-180; Топоров (I – К) 136-142). Соответствие этому обороту, по-видимому, имелось и в праславянском языке, о чем до сих пор реально свидетельствовало только полаб. c'ol «за (твое, ваше) здоровье (букв. – здоров (будь)!)» (SEJDrzP I, 86), подтверждаемое стсл. *цѣловати* «приветствовать», то есть говорить *цѣлъ* (*бѫди*), ср. *здороваться*, то есть говорить «здоров (будь)», укр. *Здоров!* «Здравствуй!» Добавление фатьяновского (протославянского) примера, сохраненного постмерянскими русскими говорами, является еще одним аргументом в пользу органичности и характерности этого оборота для праславянского языка в целом.

Шомарь Никита, крестьянин, 1500 г., Владимир (Веселовский 372). Пример, извлеченный из «Ономастикона», в котором собраны древнерусские имена, прозвища и фамилии, отражает прозвище с мерянской территории, где в это время еще могли проживать неассимилированные носители мерянского языка. Поскольку среди крестьян мерянский язык, несомненно, держался дольше всего (связанные с землей, они меньше переезжали с места на место), можно считать, что носителем рассматриваемого явно неславяно-русского прозвища скорее всего был мерянин. Дополнительным аргументом в пользу этого является также факт, что к началу XVI в. на землях нынешней Владимирской области коренным финно-угорским этносом могли быть только меряне, так как проживавшая в Муроме и его окрестностях мурома к этому времени должна была давно ассимилироваться. Прозвище представляет собой, по-видимому, сокращенное в самом мерянском языке в результате стяжения или неточно переданное при записи сложное слово со значением «черника (букв. – черная ягода)», реконструируемое для мерянского как *Šomaŕ(?) < *Šo(m) + *maŕ(ə) < *šamə̑ + *marə. Каждый из компонентов предполагаемого мерянского слова имеет при этом бесспорное финно-угорское происхождение, подтверждаемое данными родственных финно-угорских языков. Так, для реконструируемого мер. *šom < *šamə̑ «черный» в качестве этимологически связанных с ним слов из родственных финно-угорских языков можно привести следующие: ф. hämy «сумерки», морд. Э *чемень* «ржавчина», морд. М *шямонь* «то же», мар. *шеме* «черный», *шем* «черный; грязный (о белье, помещении)», мар. Г *шим* «черный», удм. *сімыд* «пасмурный (о погоде)», *сыныны* «ржаветь», коми *сім* «ржавчина; ржавый; смуглый; буровато-черный; темный», хант. (каз.) *сами* (*сӑми*) «ржавчина», манс. *сэ̄мыл* «темный; черный», (конд.) simil «ржавчина», венг. ст. szenny «грязь» < ф.-уг. *sə̈mɜ «ржавчина; ржавый, черный» (КЭСКЯ 258)[17]. Мер. *šom среди приведенных соответствий выделяется оригинальностью формы, возникшей, видимо, из *šamə̑ в результате действия типично мерянской фонетической закономерности – перехода а > о в новом закрытом слоге. Что касается предполагаемого мер. *maŕ(ə) «ягода», то оно также, и даже с большей вероятностью, проявляется как слово финно-угорского происхождения, ср.: ф., кар., вод. marja «ягода», вепс. maŕǧ, maŕj, maŕd́, эст. mari, ген. ед.ч. marja, лив. mo̮ŕa, mōŕa, ma̮ŕa, саам. Н muor'je «то же», морд. М *марь* «яблоко < ягода», мар. *мӧр* «ягода (обычно о землянике)». мар. Г *мӧр* «земляника; клубника», хант. (вост.) murəp «гроздь, кисть ягод», манс *мо̄ри* «гроздь (ягод)» < ф.-уг. marja «ягода» (SKES II 334; Collinder 412). Здесь мерянское слово наиболее близко в основном к прибалтийско-финским (за исключением ливского) и мордовским языкам, отличаясь от саамского, обско-угорских и марийского, где своеобразное развитие получил вокализм первого слога слова.

[17] В финно-угристике эти параллели в данном объеме признаются не всеми. Часть ученых [73] относят слова, связанные с рассматриваемым корнем, к числу финно-пермских, ограничивая круг языков марийским, удмуртским (под вопросом) и коми и возводя соответствующие слова этих языков к праязыковому (ф.-перм.) *simɛ. Подобный подход представляется недостаточно оправданным.

Рассмотренная этимология реконструируемых мерянских слов при всей вынужденной количественной ограниченности собранного материала позволяет дать общую предварительную характеристику мерянской лексики.

Рассмотренные лексемы составляют словник, включающий около 100 единиц. Однако, поскольку при освещении лексики в целом целесообразно сосредоточить внимание на так называемых корневых словах, оставляя в стороне производные и варианты, в общей сложности приводимая ниже лексика включает около 70 слов. Для удобства сопоставления с соответствующим финно-угорским материалом здесь оно проводится в основном согласно тому подразделению на тематические группы, которое предложено К.Редеи и И.Эрдейи [73]. Но в отличие от подачи материала, примененной там, где он сразу же рассматривается на основании сравнительно-исторических принципов, здесь весь привлеченный мерянский лексический материал вначале дается в рамках тематических групп независимо от его происхождения. Только после этого общего обозрения рассмотренная лексика будет представлена исходя из ее происхождения — финно-угорского (уральского) и заимствованного. В границах этих двух основных групп по возможности будут указаны более конкретные генетические ее связи, что касается исконной лексики, и языки-источники, что касается словарных заимствований.

1. Местоимения и служебные слова:

и (союз): *ра; *и, даже* (усилительные частицы): *-ka, *-ki; *нет:* *nemeń; *этот:* *śi; *я:* *ma.

2. Названия органов, частей тела, выделений и болезней живого организма:

перо: *tolGə̑; *язык* (отражено в переносном значении «речь»): *jelma(-ə̑).

3. Названия, связанные с родством:

женщина (старуха): *kuβa; *мама, мать:* *mama(ə̑); *отец:* *at′a(-ə) / *ača(-ə); *старшая сестра, тетя (крестная мать):* *koka (? *дядя (крестный отец):* *koko).

4. Природа:

а) элементы, формации и явления природы: *берег* (низкий, заросший высокой травой): *βana(-ə̑); *болото:* *ńero(-ə̑); *вьюга:* *pujeGa(-ə̑) < *дуть:* pu(j)-; *дым, дымить:* *šaβ-; *ложбина, низина:* *lot′ma / *ločma(-ə̑); *огонь:* *tulə; *озеро:* *jähre(-ə); *река:* *juk (ст. *joGə);

б) растительный мир: *верба:* *šarnə; *вяз:* šol′a(-ə); *гнилушка:* *mäkša(-ə̑); *гриб* (в частности, древесный): *paŋ(G)a/*poŋ(G)a(-ə̑); *дуб:* *toma(-ə̑); *конопля:* *moska(-ə̑); *кора:* *kerə; *крапива:* *nuš; *ягода:* *maŕ(ə̑).

в) животный мир: *белка:* *urma(-ə̑); *ворона:* *βarak(ə) (-a); *галка:* *aŋka(-ə̑); *гнездо:* *peZə̑; *журавль:* *kurGa(-ə̑); *корова:* *l′ejma(-ə̑); *кукушка:* *käGa(-ə̑); *лось:* *šorDə̑; *орел:* *kutkə̑; *рыба:* *kol; *рябчик:* *muZa(-ə̑); *собака:* *peń(ə); *собака* (молодая): *kut′a(-ə); *хариус* (рыба): *sorjəs;

г) минералы: *камень:* *ki(β) / *kü.

5. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

боязнь (*бояться*): *peləma; *быть:* *jolə- (*пусть будет:* *joluś; бывший: *ul′ša); *видеть, смотреть* > *вот:* *näβ- (>: *joų); *глотать:* *ńelə̑-; (*п(р)оглотивший:* *ńel′ša/-ə̑); *делать:* *βara- (*делающий, дельный* (*быстрый*): *βaraβa); *жить, живой:* *elə-/-ä- (*безжизненный:* *il′Doma/-Domə̑); *знать* (*чувствовать*): *tuDo- (*знающий* (*чувствующий*): *tuDoβa); *кормить* < *давать*: *anDo- (*кормящий* (*дающий*): *anDoβa); *мочь:* *βojmo- (*могущий:* *βojmoβa); *разговор, речь:* *kolBə̑/-a; *разрыв* < *разорвать*: *seZema; *сдыхать:* *kole-/-ə- (*болезнь* (тяжелая): *kolema); *сказать, говорить*: *mere-/-ə- (*скажи:* *merek); *умирать*: *hali-/-ə-; *хотеть* (*желание*): *tohtə̑(-).

6. Слова, служащие для выражения ориентации в пространстве:

вот: *joų (указательная частица).

7. Названия, служащие для выражения различных качеств, свойств, состояний и возраста (прилагательные):

здоровый: *cölə̑; *красивый:* *maZə(j); *мало:* *βähə̑; *сильный* (*здоровый*): *βäDrä; *черный* < *ржавый:* *šom < šamə̑.

8. Слова, обозначающие жилище, занятия, питание, одежду, средства передвижения:

вилы (двурогие): *βeń (ед.ч.); *деревня:* *palo(-ə̑); *масло:* *βoj < *βajə (*намасливание*: *βojlə̑ma); *овощи* (свекла, брюква, огурцы): *pahča; *перемет:* *βeD′ma; *путешествие:* *matkoma (*путь*: *mat < *matk(ə̑)); *сарай:* *koju; *топор:* *kirβäs.

9. Числительные:

один: *ik(ə̑)/*ük(ə̑) (*единичка:* *ikanä/ükanä); *семь*: *s′eZ′um.

10. Верования:

душа: *lil; *дьявол:* *joβlos(-ə̑s) (? > *jo(β)ls); *курган:* *pano(-ə̑) (*класть*: *pane-/-ə-); *хоронить* (по христианскому обряду): *koroni-.

По своему происхождению мерянская лексика делится на исконные финно-угорские элементы разной хронологической глубины и, соответственно, генетических связей (уральские, финно-угорские, финно-пермские и т.д.) и заимствования. Совершенно четко разграничивать те и другие часто очень трудно, так как в каждом из слоев исконной лексики могут быть заимствованные и включенные слова, настолько глубоко вросшие в нее и слившиеся с исконными лексическими элементами, что в настоящее время их почти невозможно различить. Эти, по-видимому, субстратные элементы должны хотя бы предположительно указываться для того, чтобы в последующих исследованиях мог быть окончательно установлен их характер.

Та же лексика, прежде всего исконная, будет рассмотрена ниже по отдельным праязыковым генетико-хронологическим слоям, причем в пределах каждого слоя будет приведена в составе названных ранее тематических групп. Далее, также в составе тематических групп, но в основном исходя из принадлежности к тому или иному языку-источнику будет дана заимствованная лексика. Итак, этимолого-лексикологический анализ мерянской лексики по происхождению позволяет выделить в ней следующие основные группы.

ИСКОННАЯ ФИННО-УГОРСКАЯ ЛЕКСИКА

Лексический слой уральского происхождения

1. Местоимения и служебные слова:

этот: *śi (фин. se «этот», эст. see «то же», морд. Э *се* «тот; этот», морд. М *ся* «то же», мар. *седе* «тот», хант. śĭ «тот, этот»; нган. sete «он» < урал. *ći/će) (ОФУЯ 399);

я: *ma (фин. minä, mä «я», эст. mina, ma, саам. Н mon, морд. *мон*, мар. *мый*, мар. Г *мӹнь*, удм. *мон*, коми *ме*, хант. (каз.) *ма*, манс. am, венг. én «то же» (engem «меня»); нен. *мань* «я», эн. mod′i, нган. mannaŋ, сельк. man, кам. man, койб. *монъ*, матор. *манъ* < урал. *mi-nä/*me-nä «то же») (ОФУЯ 399; Janhunen 86).

2. Названия органов, частей тела, выделений и болезней живого организма:

перо: *tolGə̑ (саам. Н dǫl′ge «перо», морд. *толга*, удм. *тылы*, коми *тыв* «то же», хант. (каз.) *тухал, тӱхал* «крыло (птицы)», манс. *товыл* «то же», венг. toll «перо»; нен. *то* «крыло (птицы)», эн. tua, нган. t′ụt′ụa «то же», сельк. tu «перо, крыло», матор. *ту* «перо», *туда* «крыло» < урал. *tulka «перо, крыло») (ОФУЯ 400; MSzFUE III 637; Janhunen 166);

3. Названия, связанные с родством:

отец: *at′a/*ača (фин. ati «тесть, свекор», ätti «отец», эст. ätt, ген. ед.ч. äti «то же», морд. *атя* «старик», мар. *ачá* «отец; свекор», мар. Г *áтя* «отец», удм. *атай* «то же», венг. atya «отец; монах»; эн. at′a «отец!» (при обращении), нган. t′a «то же» < ? урал. *at′a/*at′i) — сомнение в существовании родства вызывается возможностью заимствования части слов (напр., удм.), а также самостоятельного их развития в отдельных языках (MSzFUE I 100-101).

4. Природа:

а) элементы, формации и явления природы:

болото: *ńero(-ə̑) (фин. noro «ложбина, болотистая лощина», эст. nõru «сток воды; маленький, слабо текущий ручей», мар. *нӧрӧ* «сырой; влажный», удм. *нюр* «влага, сырость; болото», коми *нюр* «болото», хант. (каз.) *нёрум* «то же», манс. *нӯр* «болото (моховое,

без травы)», венг. nyirok «сырость, влажность; (анат.) лимфа»; ? эн. nor «бессточное озеро, превращающееся при пересыхании в болото», сельк. njar «(торфяное) болото; тундра» < урал. *ńorз «болото; влажный») (MSzFUE III 486-487; ОСНЯ II 89);

дуть: *pu(j) (на основе которого собственно мерянское *вьюга:* *pujeGa) (морд. Э *пувамс* «дуть», мар. *пуа́ш*, хант. (вост.) pŏγta, манс. *пувлуӈкве* «то же», венг. fújni «дуть; веять; трубить»; нен. *пӯць* «подуть; раздуть (огонь)», эн. fueŋabo «дуть», нган. fuarúma «то же», сельк. p̒ūaB «(я) дую», кам. phü'bl'äm «то же», койб. *публя* «(он) дует», матор. *халнамъ* «дую» < урал. *puwз-/*puγз-) (MSzFUE I 219; Janhunen 128-129);

огонь: *tulə (фин., эст. tuli «огонь», саам. Н dollâ, морд. *тол* «то же», мар. *тул* «огонь; костер», мар. Г *тыл* «то же», удм. *тыл* «огонь», коми *тыв* (в сложном слове *тывкӧрт* «огниво», где *кӧрт* «железо»); нен. *ту* «огонь», эн. tū, нган. tui, сельк. tü, кам. šṻ, койб. *сы*, *сю*, аб. thuy, матор. tui, тайг. *туи*, караг. *дуй* < урал. *tulẹ (ОФУЯ 403; SKES V 1388-1390; Janhunen 166);

река: *juk < ст. *joGə (фин. joki «река», эст. jõgi, саам. Н jokkâ «то же», ? морд. М *Ёв* «р. Мокша», ? мар. Г *йо́гы* «течение, поток», удм. *юшур* «река» (*шур* «река»), коми *ю*, ? хант. (каз.) *юхан* «речка», ? манс. *я̄* «река», венг. ст. jó; нен. *яха*, эн. jáha, сельк. ke «то же», кам. t'aγa «река, речка, ручей», матор. *чага̀*, тайг. *ча́га* «то же» < урал. *jokẹ «река») (ОФУЯ 403; MSzFUE II 339-340; Janhunen 35);

б) растительный мир:

гриб: *paŋ(G)a/*poŋ(G)a (морд. Э *панго* «гриб», морд. М *па́нга*, мар. *понго*, мар. Г *понгы* «то же», манс. *па̄ӈх* «мухомор», хант. (вост.) paŋḵ «то же», paŋḵəlta «шаманить, наевшись мухоморов»; нган. ст. fanka- < *paŋka- «быть пьяным (от мухоморов)» < урал. *paŋka «гриб») (Alvre II 57; Collinder 408; Терещенко Нган. яз. 35-36);

в) животный мир:.

ворона: *βarak(ə) (фин. varis, ген. ед.ч. variksen, эст. vares, ген. ед.ч. varese, лив. varikš, саам. Н vuo(r)âǯâs, морд. Э *варака*, морд. М *ва́рси* «то же», ? мар. *вара́ш* «ястреб» (изменение значения, перенесенного на другую хищную птицу?), мар. Г *ва̊раш*, ? удм. *варыш*, ? коми *варыш* «то же», хант. (каз.) *вурнга* «ворона», манс. *ӯри* (*нӭква*), венг. varjú, акк. ед.ч. varjat; нен. *вăрŋэ*, сельк. kwẹrä, кам. bāri̮ «то же», койб. báre «ворон», матор. *берĕ* «то же» < урал. *warз «ворона») (ОФУЯ 404; КЭСКЯ 47-48; SKES V 1654-1655; MSzFUE III 673-674; Janhunen 170);

гнездо: *peZə̂(a) (фин., кар., вод. pesä «гнездо», эст. pesa, вепс., лив. peza, саам. Н bæsse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пи́за*, мар. *пыжа́ш*, мар. Г *пы̊жаш* «то же», удм. *пуз* «яйцо», *пузкар* «гнездо» (где *кар* «гнездо»), коми *поз*, хант. (вост.) pal, манс. *пити*, венг. fészek «то же», ст. feze «его гнездо» < *peZ(e); нен. *пидя* «гнездо», эн. fide, fire, нган. φẹt̆te, сельк. pẹḎ, кам. phidä, койб. *пидэ* < урал. pesä «то же») (ОФУЯ 404; Alvre I 32, 78; КЭСКЯ 223; SKES III 531; MSzFUE I 205; Janhunen 126; Collinder 408);

журавль: *kurGa(-ə̂) (фин. kurki «журавль», эст. kurg, ген. ед.ч. kure, лив. kur̄G, kūrgêZ, саам. Н guor'gâ, морд. Э *карго*, морд. М *ка́рга*; нен. *хăрё*, эн. kori, сельк. k̒ẹrȧ, кам. kuro, kuru'ǰu < урал. *kurkз «то же») (Alvre II 40; SKES II 245; Janhunen 54);

рыба: *kol (фин., кар., эст. kala «рыба», вепс., вод. *кала*, лив. kalá, саам. Н guolle, морд. *кал*, мар. *кол*, хант. (каз.) *хул*, манс. *хӯл*, венг. hal; нен. *халя*, (ям.) *халэ*, эн. kare, нган. kóli, сельк. qẹli̮, кам. *ко̯ле*, койб. *кола*, матор. challä, тайг. -galae (в argalae «лосось речной (Salmo fluviatilis)»), караг. kalè «то же» < урал. *kala «рыба») (ОФУЯ 404; Alvre I 27-28; SKES I 146; MSzFUE II 250; Janhunen 59; Collinder 406).

5. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

боязнь < бояться: *peləma (фин. pelkään «(я) боюсь», эст. pelgama (peljata) «бояться», саам. Н bâllât, морд. *пелемс*, удм. (диал.) pulini̮, коми *повны*, хант. (каз.) *палты* (*пӑлты*), манс. *пилуӈкве*, венг. félni; нен. *пӣлюць* «то же», эн. fîebo «(я) боюсь», нган. filitima, кам. p'imləm̥ «то же» < урал. *pele- «бояться») (ОФУЯ 405; КЭСКЯ 223; SKES III 516-517; MSzFUE I 198; Janhunen 124-125);

глотать: *ńelə (*п(р)оглотивший:* n'el'ša) (фин. niellä «глотать (проглатывать)», эст. neelama, саам. Н njiellât, морд. *нилемс*, мар. *нела́ш*, удм. *ньылыны*, коми *ньылавны* «то же», хант. (каз.) *нелты* «глотать с жадностью», манс. ńalt- «глотать», венг. nyelni «то же»;

нен. нāлă(сь) «съесть жадно, быстро, большими кусками», эн. nodda «то же; глотать», нган. ńalta «то же» < урал. *ńele- «глотать») (ОФУЯ 405; Alvre I 49; КЭСКЯ 199; SKES II 376; MSzFUE III 479);

жить: *elä(-ə) (*безжизненный:* *il'Doma) (фин. elää «жить», эст. elama, лив. je'llə̂, саам. Н œllet, морд. *эрямс* «то же» < *el'ams, ср. морд. Э *эльнемс* «веселиться, ликовать; резвиться», морд. М *эле́* «да (подтверждение)» < **эляй* «живет», мар. *ила́ш*, мар. Г *ӹлаш*, удм. *улыны*, коми *овны*, хант. (каз.) *йилпалаты* «обновиться, ожить», *йилпи* «живун (незамерзающее место на реке)», манс. *ялтуӈкве* «ожить; зажить (о ране)», *ялуп* «живун (глубокое место на реке, где зимой скапливается рыба)», венг. élni «жить»; нен. *иле(сь)* «то же», эн. jiredoʼ «(я) живу», нган. ńile-tm «то же», сельк. ilįqo «жить», кам. d'ili «живой», тайг. *илинде́* «живо» < урал. *elä- «жить») (ОФУЯ 405, КЭСКЯ 203; SKES I 37-38; MSzFUE I 145-146; Janhunen 27; Ткаченко 134-143).

знать (чувствовать): tuDo- (знающий (чувствующий): *tuDoβa) (фин. tuntea «чувствовать; знать», эст. tundma, саам. Н dow'dât «то же», удм. *тодыны* «знать», коми *тодны* «то же», венг. tudni «знать; уметь; мочь»; нен. *ту́мд̯ăсь* «узнать; отметить», эн. tuddabo «узнаю, угадываю», нган. tụmtụ'áma «угадываю», кам. tʿəmnɛm «знать, понимать», койб. *тымнемымъ* «знаю» < урал. *tumtę «знать < видеть») (ОФУЯ 405; КЭСКЯ 283; SKES V 1399-1400; MSzFUE III 646-648; Janhunen 167);

класть: *pane-(-ə) > собств. мер. pano/-ə̂ «курган» (фин. panda «класть», эст. panema, лив. pānda, морд. *панемс* «печь (хлеб) < класть (в печь); гнать», удм. *поныны* «положить; налить; обуть, надеть», коми (диал.) *пӧнны* «обмануть; запутать», хант. (каз.) *пунты* (*пӱнты*) «положить, надеть на голову», манс. *пинуӈкве* «положить; налить; надеть»; нен. *пэ́нзь* «положить», эн. fuŋabo «кладу», нган. (ст.) fanu'áma, сельк. pə̣nnaB, кам. phell'im, койб. *паллямъ* «то же», матор. *аннамъ* «закладываю», *хеннамъ* «кладу» < урал. panę- «класть») (Alvre I 87; КЭСКЯ 228; SKES III 483-484; Collinder 408);

(тяжелая) *болезнь* < смерть: *kolema (*сдыхать* < *умирать*; *kole-) (фин. kuolema «смерть», эст. (диал.) koolma «умирать < смерть, умиранье», морд. *кулома* «смерть», мар. *колыма́ш*, удм. *кулон*, коми *кулӧм* «то же», хант. (каз.) *хал'ты* «подохнуть», манс. *хōлуӈкве* «погибнуть; кончиться», венг. halni «умирать»; нен. *хась* «умереть», эн. kâroʼ «(я) умираю», kâdoʼ, нган. kụ̂'am, сельк. kuang, кам. k̓ɯl'em, койб. *кулягандамъ* «то же», матор. *кайма* «мертвый», тайг. kcháima «то же» < урал. *kolę- «умирать») (ОФУЯ 407; КЭСКЯ 143, SKES II 239; MSzFUE II 250-251).

Лексический слой финно-угорского происхождения

I. Служебные слова:

усилительные частицы (типа рус. *-то, же*): *-ka, *-ki (фин. -kaan, -kin, эст. -ki(-gi), морд. Э *-как*, морд. М *-га*, мар. *-ке* (в *шке* «сам»), удм. *-ке* (*кин ке* «кто-то»), коми *-кӧ* (*код кӧ* «кто-то»), манс. -ki (amki «я сам», где am «я») < ? ф.-уг. *-ka, *-ki-, ср., возможно, также родственную кам. -ko/-kö, -go, -gö усилит. частицу «и, же», свидетельствующую об уральских истоках данного явления, — ОСНЯ I 325-326) (Аристэ I 303; КЭСКЯ 137; Галкин 94; Хелимский 96-97);

нет (*ничего*): *nemeń (удм. *но-* «ни» (*нокин* «никто»), коми *(-)нӧм* (в *нинӧм* «ничто, ничего»), *нем* «ничто, ничего», хант. *нэм* «не» (*нэмхулта* «никуда», где *хулта* «куда»), манс. *нэ̄м* «не» (*нэ̄мхōт* «нигде; негде», где *хōт* «где»), венг. nem (nëm) «нет, не», në «не» при гл. повел. накл. < ф.-уг. (вост.) *nämi «нет, не») (MSzFUE III 464-466);

и (союз): *pa (? ф. -pa, -pä (усилит. частица: *ну и, ну уж, же, ведь, то, если бы, а вот*), ? эст. -p (minap «именно я, это я», где mina «я»), ? удм. *пе* «де, мол», ? коми *пӧ* «мол, дескать», хант. *па* «и (союз)» < ф.-уг. *pä̆ʼ (усилит. частица)). Если не подтвердится мысль о связи мерянского и хантыйского соответствий с явлениями других финно-угорских языков, что маловероятно, то следует считать данный факт одним из свидетельств древних мерянско-угорских языковых контактов (Аристэ I 303-304; КЭСКЯ 227).

2. Названия органов частей тела:

язык (слово засвидетельствовано в переносном значении «речь») *jelma (-ə̂) (саам. Н njal'bme «рот», мар. *йылме* «язык

(анат., лингв.)», мар. Г *йӹлмы* «то же», хант. (каз.) *нялум* «язык (анат.)», манс. *нӗлм*, *нӗлум* «то же», венг. nyelv «язык (анат., лингв.)» < ф.-уг. *ńälmä «язык») (ОФУЯ 412; MSzFUE III 480-481).

3. Природа:

а) растительный мир:

вяз: *šol′a(-ə) (фин. salava «ива ломкая», морд. Э *селей* «вяз», морд. М *сяли*, мар. *шӧло*, венг. szil < ф.-уг. *śala «то же») (ОФУЯ 414; SKES IV 954; MSzFUE III 587);

кора: *kerə (фин. keri «новая кора на березе, выросшая на месте содранной», эст. (ст.) kere «лыко, луб», саам. Н gârrâ «кора», морд. Э *керь* «лубок, кора», морд. М *кяр*, мар. *кӱр*, мар. Г *кӹр*, удм. *кур* «то же», коми *кор* «кожура, шелуха», хант. (вост.) kär «кора, кожура; струп, короста», манс. kēr «кора; кожура», венг. kérëg «кора, корка, скорлупа», ст. kér «кора» < ф.-уг. *kere «кора, корка») (ОФУЯ 415; КЭСКЯ 133; SKES I 183; MSzFUE II 353);

ягода: *maŕ(ə) (фин. marja «ягода», эст. mari, ген. ед.ч. marja, лив. mõŕa, саам. Н muor′je «то же», морд. М *марь* «яблоко < ягода», мар. *мӧр* «ягода (обычно о землянике)», хант. (вост.) murəp «гроздь ягод», манс. *мӧри* «гроздь» < ф.-уг. *marja) (Alvre I 51; SKES II 334; Collinder 412);

б) животный мир:

собака: *peń(ə) (фин., эст. peni «собака», саам. Н bǟnâ, морд. *пине*, мар. *пий*, удм. *пуны*, коми *пон*, венг. fene < *pene «язва, злой, лютый, свирепый» (в ругательствах fene egye meg «пусть съест тебя fene (? собака)», ср. рус. *пёс тебя заешь!*) < ф.-уг. *pene «собака») (ОФУЯ 416; КЭСКЯ 224-225; SKES III 517-518; MSzFUE I 200);

собака (молодая): *kut′a(-ə) (эст. kutsikas «щенок», ? морд. М *кӱтю* «сережка (на дереве)» < (перен.) «щенок, котенок», ср. укр. *ко́тики* «сережки (на вербах)» в связи с их пушистостью, мягкостью, удм. *кучапи* «щенок» (*пи* «детеныш»), коми *кутян* (*кути, кутю, кутюпи*) «щенок», хант. (каз.) *кәтюв* «то же», манс. *кӯтюв* «собака», венг. kutya «то же» < ф.-уг. *kut′a/-′u «(молодая) собака»); в финно-угристике до последнего времени словом финно-угорского происхождения не признавалось, расцениваясь как звукоподражательное (MNTESz II 686-687), однако поражает обилие финно-угорских параллелей, что вынуждает отдельных исследователей высказывать предположение о его финно-угорских истоках (КЭСК 147); обращает на себя внимание и самодийская параллель: нен. *хутю* «молодая собака; (дет.) собака»; не исключено, что речь идет о древнем заимствовании неизвестного происхождения в финно-угорских или – шире – уральских языках;

в) минералы:

камень: *ki(β)/*kü (фин., эст. kivi «камень», морд. *кев*, мар. *кӱ* «то же», удм. *кӧ* «жернов», коми *изки* «то же» (*из* «камень»), хант. *кев* «камень», манс. käβ «камень; жернов», венг. kő, акк. ед.ч. követ < ф.-уг. *kiwe «камень») (ОФУЯ 417; КЭСКЯ 123; SKES I 203; MSzFUE II 368-369).

4. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

быть: *jolə- (*пусть будет:* *joluś; *бывший:* *ul′ša) (фин. olla «быть», эст. olema, морд. *улемс*, мар. *улаш*, удм. *вал* «был», коми *вӧлі* «то же», хант. (каз.) *вәл′ты* «жить; быть; находиться», манс. *ӧлуӈкве* «быть, иметься, жить; содержаться; находиться, состоять», венг. volt «был» < ф.-уг. *wolɐ̮- «быть») (ОФУЯ 417; КЭСКЯ 67; SKES II 427-428; MSzFUE III 669-671);

видеть, смотреть: *näβ- > вот: joų̮ (фин. nähdä (näkee) «видеть», эст. nägema «то же», саам. Н niegâdit «видеть во сне», морд. Э *неемс* «видеть», морд. М *няемс* «то же», удм. (диал.) naanį̮ «рассмотреть», хант. (вост.) nita «виднеться», манс. *нэ̄глуӈкве* «появиться, показаться», венг. nézni «смотреть» < ф.-уг. näke- «видеть, смотреть») (ОФУЯ 417; SKES II 410; MSzFUE III 470);

кормить < *давать:* < *anDo- (кормящий < дающий: *anDoβa) (фин. antaa «давать», эст. andma «то же», саам. Н vuow′det «продавать», морд. андомс «кормить», удм. *удыны* «напоить», коми *удны* (в парном сочетании *вердны-удны* «кормить-поить», где *вердны* «кормить»), венг. adni «давать» < ф.-уг. *amta- «то же») (ОФУЯ 418; КЭСКЯ 295-296; SKES I 20; MSzFUE I 69).

5. Названия, служащие для выражения различных качеств, свойств (прилагательные):

черный < *ржавый:* *šom < šamə̑ (фин. hämy «сумерки», морд. Э *чемень* «ржавчина; суховей; мгла», морд. М *шямонь* «ржавчина; накипь», мар. *шеме* «черный», мар. Г *шим* «то же», удм. *сыномыны* (*сыныны*) «ржаветь», коми *сім* «ржавчина; ржавый; смуглый; буровато-черный, темный», хант. *сами* (*сӓми*) «ржавчина», манс. *сэ̄мыл* «черный», венг. szenny «грязь» < ф.-уг. *sə̈mз «ржавчина; ржавый») (КЭСКЯ 258). Этимология признана не всеми, часть ученых сближают только марийскую и пермские параллели, выводя их из ф.-перм. *simз (ОФУЯ 427).

6. Слова, обозначающие жилище, занятия, питание:

масло: *βoj < *βajə (намасливание: *βojlə̑ma) (фин. voi, эст. või «масло», лив. vui, саам. Н vuoggjâ, морд. Э *ой*, морд. М *вай*, мар. *ӱй*, удм. *вӧй* «то же», коми *вый* «масло; жир (рыбий)», хант. (каз.) *вуй* (*вӯй*) «жир, сало», манс. *вӧ̄й* «жир; масло», венг. vaj «масло» < ф.-уг. *woję «то же») (ОФУЯ 422; КЭСКЯ 71; SKES VI 1803-1804; MSzFUE III 666-667).

7. Числительные:

один: *ik(ə)/*ük(ə) (один, уменьш.: *ikanä/ükanä) (фин. yksi, ген. ед.ч. yhden «один», эст. üks, ген. ед.ч. ühe, саам. Н ok'tâ, морд. Э *вейке*, морд. М *фкя*, уменьш. *фкяня*, мар. *ик* (*йкте*), удм. *одйг* (*ог*), коми *ӧтик* (*ӧти*), ? хант. *ит*, ? манс. *акв* (*аква*) < ф.-уг. *ikte/*ükte) (ОФУЯ 423; КЭСКЯ 212; SKES VI 1856-1859).

8. Верования:

душа < *дыхание, дух:* *lil′ (фин. löyly «пар (в бане)», эст. leil, ген. ед.ч. leili «пар; душа, жизнь», саам. Н liew'lâ «пар (особенно в бане)», удм. *лул* «душа, дыхание, жизнь», коми *лов* «душа, дух, жизнь», дперм. lo̯l «то же», хант. (вост.) lil «жизнь; дыхание; дух; душа», манс. lili «дыхание; душа», венг. lélëk «душа, дух; сердце; совесть; лицо (человек); дыхание; жизнь, самосознание», ст. (X в.) Lele «имя венгерского вождя» < ф.-уг. *lewle «дыхание, дух, душа») (ОФУЯ 424; КЭСКЯ 160; SKES II 323; MSzFUE II 397-398; Чернецов-Чернецова 78).

Лексический слой финно-пермского происхождения

1. Названия, связанные с родством:

женщина (*старуха*): *kuβa (? ф. kave «живое существо, человек; девочка, девушка; овечка; лесной зверь; мифологическое существо», ? эст. (диал.) kabo (kabe) «девушка, женщина», ? саам. Н gabâ «жена», мар. *кува́* «старуха», мар. Г *ку́вы* «свекровь, теща», *ку́ва* «тетушка (в почтительном обращении)», удм. (юж.) *куба* «свекровь» < ф.-перм. *kзβз «живое существо, создание» < и-е. *skab «творить, создавать») (SKES I 175).

2. Природа:

а) элементы, формации и явления природы:

ложбина, низина: *lot′ma/ločma(-ə̑) (фин. (диал.) lotma (lotmo) «долина», кар. lodma, морд. Э *лашмо* «то же; низкое болотистое место», морд. М *ла́шма* «лощина, долина», коми *лажмыд* «невысокий, приземистый; отлогий, пологий, покатый; неглубокий, мелкий» < ф.-перм. *lᵻčmᵻ «низина; низкий») (КЭСКЯ 156; SKES II 301);

б) растительный мир:

дуб: *toma(-ə̑) (фин., кар., вод. tammi «дуб», эст. tamm, ген. ед.ч. tamme, лив. täm̄, ген. ед.ч. tam̄, морд. Э *тумо*, морд. М *ту́ма*, мар. *тумо*, мар. Г *тум*, удм. *тыпы*, коми (дперм.) *тупу* «то же» (удмуртское и коми слова, очевидно, восходят к общепермскому *tu-pu < ? раннеперм. *tum-pu) < ф.-перм. tᵻmз- «дуб», КЭСК 286). Данная точка зрения разделяется не всеми, часть исследователей отделяет пермские слова от финских (прибалтийско-финских, мордовских и марийского); наиболее оправданным представляется предположение о финно-пермском характере слова и его заимствовании из индоевропейского языка протославянского типа, ср. псл. *dǫbъ (ЭССЯ V 97), в таком случае за исходную следовало бы принять финно-пермскую праформу *tᵻmpᵻ с разным ее развитием в финской и пермской ветвях;

в) животный мир:

белка: *urma(-ə̑) (фин. orava «белка», эст. orav, саам. Н oar're, морд. *ур*, мар. *ур*, коми *ур* < ф.-перм. *ora) — в прибалтийско-финском и мерянском присоединен частично

видоизмененный суффикс -va(*-βa) < *-βa < *pa, отсутствующий в других языках (ОФУЯ 428; КЭСКЯ 297-298; SKES II 436; Хакулинен I 125-126);

орел: *kutkə̑ (фин. kotka «орел», эст. kotkas, саам. H goas′kem, морд. *куцкам*, мар. *ку́чкыж* «то же», *ку́ткыж* «беркут», удм. (диал.) kuṭš «птица, похожая на орла, но меньше размером», *кыч (чуньы-кыч)* «ястреб-тетеревятник», коми *кутш* «орел» < ф.-перм. *kočka «то же») (ОФУЯ 429; КЭСКЯ 148; SKES II 224).

3. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

мочь: βoj(mo)- (*могущий:* βoj(mo)βa) (фин. voida «мочь», voima «сила, энергия; здоровье; власть», эст. voima «мочь», voim «власть; могущество; сила, мощь», ? коми (уст.) *ойӧс* «сила» < ? ф.-перм. *voi- «мочь, быть в состоянии; сила») (КЭСКЯ 204; SKES VI 1804-1805);

разрыв < *разорвать:* *seZəma (морд. Э *сеземс* «сорвать, оторвать; (обл.) перейти, переехать (через что-либо); (обл.) отойти (от кого-либо, от чего-либо)», *сезема* «обрывание, срывание», морд. М *сяземс* «разорвать, вырвать; оторвать, сорвать; взорвать; порвать, расторгнуть», *сязема* «разрыв, расторжение», ? удм. *сузяны* «чистить, вычистить», ? коми *сэзьны* «поддать пару; открывать суслоны (снимая верхние снопы); снимать крышку» < ? ф.-перм. *ses- «срывать (вырывать), открывать» (КЭСКЯ 271-272).

4. Числительные:

семь: *s′eZ′um (фин. seitsemän «семь», эст. seitse, саам. H ciеǯâ, морд. *сисем*, мар. *шым*, мар. Г *шӹм*, (диал., вост.) šiši·m, удм. *сизьым*, коми *сизим* < ф.-перм. *śeŋćemä) — заимствование из какого-то индоевропейского языка, по-видимому, славяно-балтийского типа (КЭСКЯ 255; ОФУЯ 433; SKES IV 991).

Лексический слой финского происхождения

1. Природа:

а) элементы, формации и явления природы:

дым, дымить: *šaβ- (фин. savu «дым», эст. (диал.) savv̄, ген. ед.ч. sau «дым, легкий туман», лив. sau «дым», саам. H suovvâ, морд. Э *сувтамс* «окуривать», морд. М *сфтамс*, фон. sə̑ftams «то же; подкуривать (пчел)» < пфин. *šᵹβ- «дым, дымить») (SKES IV 986-987);

озеро: *jähre(-ə) (фин. järvi «озеро», эст. järv, лив. jǭra, саам. H jaw′re, морд. Э *эрьке*, морд. М *э́рьхке*, мар. *ер*, мар. Г *йӓр* < пфин. *jäγ(ə)re < *jäkere < и-е. (диал., протосл.) *jägera/-o- «озеро», местн. п. jägerẹ̑ «в озере»). Формы всех финских языков восходят к прафинской, в мордовских языках к ее рефлексам присоединен уменьш. суф. -ке (SKES I 132); слово, видимо, является заимствованием из индоевропейского (скорее всего, протославянского) языка, с носителями которого финны вошли в контакт в Волго-Обском междуречье;

б) растительный мир:

верба: *šärnə (фин. saarni «ясень», эст. saar, ген. ед.ч. saare, лив. sā̆rna «то же», мар. *шертне* «верба», мар. Г *шӓ́ртни* «то же» < пфин. *särtne «ясень(?)») (SKES IV 939);

в) животный мир:

корова: *l′ejma(-ə̑) < *lešḿä (фин. lehmä «корова», эст. lehm, лив. ni′em, ni′emə̑ «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», морд. М *лишме* «конь (только о красивом или игрушечном коне)» (SKES II 284) < пфин. *lešmä «кобыла (дойная)» < *läšä-emä «лошадь-самка» < дбулг. *laša (ср. чув. *лаша* — Егоров 126) «лошадь, конь» + пфин. < урал. *emä «мать; самка») (ОФУЯ 402);

рябчик: *muZa(-ə̑) (? ф. metso «глухарь», эст. metsis «то же», мар. *музо* «рябчик», мар. Г *мызы* «куропатка» < ? пфин. *metso «дикая птица из рода куриных») (SKES II 343).

2. Названия для выражения различных качеств, свойств (прилагательные):

мало: *βähə̑ (фин. vähän «мало», vähä «малый», эст. vähe «мало», морд. Э вишка «малый, маленький», *веж(гель)* «язычок (букв. — маленький язык)», где -кель > -гель «язык», *веженсь* «младший, меньший» < пфин. *väše «малый, мало» < пгерм. *wǣha-, ср. дангл. wāh «тонкий, мелкий»). Известные трудности при объяснении возникают в связи с консонантизмом: переход пгерм. -h- > пфин. -š- (SKES VI 1830-1831).

Некоторую часть мерянской лексики составляют слова, общие со словами одной финно-угорской языковой группы, с одним или двумя финно-угорскими языками определенного ареала. К ним принадлежат слова, общие: 1) с прибалтийско-финскими (иногда также саамским); 2) с марийским и мордовскими; 3) с марийским; 4) с мордовскими; 5) со словами угорских языков в целом или одного из них. В настоящее время можно только отметить это сходство и в редких случаях, когда существуют явные исконно мерянские параллели подобных лексем, говорить об их заимствованном характере. Не исключено, что дальнейшие исследования позволят установить, что среди отмеченных слов, общих для мерянского и данных языков, имеются и другие случаи заимствования мерянским языком инофинно-угорской лексики.

Предполагаемые мерянские слова, имеющие соответствия в прибалтийско-финских (и саамском) языках

1. Природа:

а) элементы, формации и явления природы:

берег (низкий, заросший высокой травой): *βana(-ə̑) (? ф. vana «след, тропа, русло реки», кар.-ливв. vana «низина, заросшая травой») (SKES V 1631-1632);

б) животный мир:

кукушка: *käGa(-ə̑) (фин. käki «кукушка», кар., вепс. kägi, вод. čäko, эст. kägu, ген. ед.ч. käo, лив. k'äg, саам. H giekkâ «то же» < ? балт., ср. лит. gegẽ́/ gẽgė) (SKES II 259);

хариус: *sorjes (фин. harjus «хариус», кар. harjuš, вепс. haŕǵus < ? пгерм. harzus, швед., норв. harr «то же»). Прибалтийско-финские языки могли быть только посредниками при усвоении мерянским германского слова, однако в случае принятия возможности его германского происхождения трудно объяснить соответствие мер. s- герм. h-, следовательно, слово может быть либо финно-угорским, либо заимствованным прибалтийско-финскими и мерянским языками из какого-то другого (негерманского) языка (SKES I 50; Вострикov I 46-50).

2. Названия для обозначения действий:

хотеть (*желание*): *tohtə̑(-) (фин. tahtoa «хотеть», эст. tahtma «то же», саам. H duos'tot «идти навстречу; отвергать; отвечать») (SKES IV 1195, 1196).

3. Слова, обозначающие жилище, средства передвижения:

путешествие: *matkoma (*путь:* *mat < *matk(ə̑)) (фин. matka «путь», matkata «путешествовать», эст. matk «путешествие», matkama «путешествовать», саам. H muoṯ'ke «конец санного полоза; путь») (SKES II 337);

сарай: *koju (фин. koju «будка, шалаш (из хвои)», кар. koju «будка; верх повозки» < швед. koja «избушка; будка; шалаш»), следовательно, мерянское слово скорее всего является заимствованием из германских (скандинавских) языков, где посредниками были прибалтийско-финские языки (SKES II 208; Вострикov II 28-29).

Случаи соответствий с марийским и мордовскими языками

I. Слова, связанные с родством:

старшая сестра, тетя (крестная мать): *koka (мар. *кока́* «тетка, тетя», морд. Э *кака* «дитя, дитятко»).

2. Природа (растения и животные):

а) растения:

гнилушка: *mäkša(-ə̑) (мар. *мекш* «гнилушка», мар. Г *ма́кш*, морд. Э *макшо*, морд. М *ма́кша* «то же») (Вострикov II 31);

конопля: *moska(-ə̑) (морд. Э *мушко* «конопля; кудель», морд. М *му́шка* «волокно; кудель», мар. *муш* «пенька; кудель») (Халипов 129-131);

б) животные:

лось: *šorDə̑ (мар. *шордо* «лось», морд. Э *сярдо* «то же») (Vasmer 377).

Только в марийском языке обнаруживается соответствие мерянскому слову со значением «крапива»: *nuš (мар. *нуж* «крапива») (Vasmer 418).

Только в мордовских языках были обнаружены соответствия следующим мерянским словам:

(обозначения действий) *сказать*, *говорить*: *mere-/-ə- (*скажи:* *merek) (морд. Э *меремс* «сказать, приказать», морд. М

мярьгомс «сказать, велеть, приказать; говорить (в роли вводного слова: *мярьган* «говорю» и т.п.)»); (обозначения качеств, свойств) *красивый:* *maZə(j) (морд. Э *мазый* «красивый», морд. М *ма́зы* «то же») – в последнее время сближаются также с удм. *мусо* «милый, дорогой», коми *муса* «милый, любимый» (КЭСКЯ 179), в таком случае слово относится к финно-пермскому лексическому слою; *сильный (здоровый):* *βäDrä (морд. Э *вадря* «хороший, красивый; добрый», морд. М *ва́дря* «гладкий, приглаженный (о волосах, шерсти, ворсе)»); (слова, связанные с занятиями): *перемет:* *βeD'ma (морд. Э *ведьме* «повод, ремень (узды и т.п.); завязка, бечевка; конец, обрывок нитки») (Востриков II 28).

К числу лексем, надежные соответствия которым обнаруживаются только в угорских языках, относятся связанные с действиями и занятиями, а также обозначением места жительства, поселения: *делать:* *βara- (*делающий, дельный (быстрый):* *βaraβa) (хант. (вост.) wǎrta «делать, сделать», wertä «то же», манс. *варунквe* «делать, сделать, изготовить, приготовить; строить, построить, устроить; создавать, создать: свершать, совершить; оказать (помощь); выработать»); *деревня:* *palo(-ə̑) (хант. (вост.) puγəl «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)», манс. *па̄выл* «деревня; поселок; селение», венг. falu, мн.ч. faluk/falvak «деревня», ? ф. Palvala, (название деревни), ? кар. palvi «место жительства»). Изолированность прибалтийско-финских слов заставляет считать их заимствованиями (включениями) из других финно-угорских (угорских или саамского ?) языков; более надежна связь с угорскими словами у саам. balges «место выпаса оленей», видимо, напрасно отвергаемого (MSzFUE I 181) < угор. (ф.-уг.?) *palγs (MSzFUE I 180, 181; Серебр. Происхожд., 179).

Особое место среди лексики финно-угорского происхождения занимает мер. aŋka «галка», представляющее собой образование, возникшее, по-видимому, на основе соответствующего прафинско-угорского слова, ср.: ф. naakka «галка», кар. ńoakka, вепс. ńak, ńäk, эст. hakk, морд. *чавка*, мар. *чанга*, удм. *ӵана*, коми *чавкан*, венг. csóka. Если предположить общее происхождение указанных финно-угорских слов, что оспаривается ввиду возможности их звукоподражательного характера и независимости развития (КЭСКЯ 300, MNTESz I 547-548), то, исходя из праформы *čaŋka и принимая ее до известной степени аномальное развитие (преимущественно в прибалтийско-финских языках), можно считать это слово связанным как с прибалтийско-финскими языками, так и с восточной группой финно-угорских языков. Однако ввиду нерешенности этого вопроса в настоящее время нельзя определить с точностью отношение мерянского слова к другим возможным его соответствиям, расценивая его как собственно мерянское образование на основе исходного финно-угорского лексического материала. Следовательно, при оценке мерянского словаря в его взаимоотношениях с финно-угорской лексикой родственных языков данное слово пока не может учитываться.

ВЫВОДЫ

Рассмотрение проанализированных выше 68 корневых мерянских слов финно-угорского (и уральского) происхождения, к числу которых частично отнесены и наиболее древние возможные заимствования (субстратные включения), позволяет установить, что из них с прибалтийско-финскими языками связаны 52 слова, с мордовскими – 48, с марийским – 38, с пермскими – 36, с саамскими и обско-угорскими – по 31, с венгерским – 28, с самодийскими – 21 слово. Следовательно, в процентном выражении реконструированная часть мерянской лексики обнаруживает соответствий в прибалтийско-финской лексике 76,5%, в мордовской – 70,6, в марийской – 55,9, в пермской – 51,5, в саамской – 44, в обско-угорской – 44, в венгерской – 41,2, в самодийской – 31%.

При всей предварительности приведенных соотношений обращает на себя внимание тесная связь мерянского с финно-пермскими языками. На основании указанных данных мерянский язык в лексическом отношении можно определить как финно-пермский, преимущественно финский, поскольку наибольшие связи у него обнаруживаются с прибалтийско-финскими и мордовскими языками.

С финно-пермскими языками мерянский объединяют не только исконные, но и частично древние заимствованные элементы, к которым наряду с лексикой предполагаемого балтийского (*käGa «кукушка») или германского (*βähə̑ «мало», *koju «сарай») происхождения относятся отдельные индоевропейские слова, возможно, протославянского происхождения (*jähre «озеро», *s'eZ'um «семь», *toma(-ə̑) «дуб»). Как и прибалтийско-финские и мордовские языки, мерянский заимствовал, по-видимому, также древнебулгарское слово *laša «лошадь», образовав на его основе собственно ф. *lejma.

Наряду с этой наиболее древней частью заимствованной лексики, общей у мерянского с другими финно-угорскими, прежде всего финно-пермскими, языками, мерянский обнаруживает более своеобразные, преимущественно собственные, заимствования. Интенсивные связи мерянского с угорскими языками отразились не только в области исконной лексики, где доля общих элементов относительно высока (41,2-44%), но и в заимствованиях. Обнаруженное заимствование *hali-/-ə- «умирать» относится к числу наиболее важных понятий. Вместе со своеобразным семантическим развитием лексемы *lil' < ф.-уг. lewle «душа», общим для мери и угров (а также пермян) и чуждым остальным финно-уграм, оно может свидетельствовать о тесных связях мери и угров, в частности в области верований.

К другим, не финно-угорским языкам, явившимся источником заимствований и включений, относятся булгарский, балтийские, греческий, славяно-русский и индоевропейский (фатьяновский, — очевидно, протославянский).

Булгарский был для мерянского источником пополнения понятиями, относящимися к хозяйственной деятельности. У булгар (вместе с прибалтийскими финнами и мордовцами) меряне, по-видимому, заимствовали основы молочного скотоводства, связанного с доением сначала кобыл, затем коров, на которых было перенесено гибридное булгаро-финское название лошади-самки. От них же меря переняла огородничество, которому булгары, в свою очередь, учились у иранцев (*pahča «овощи (свекла, брюква, огурцы)»).

Связи с балтийцами могли осуществляться как с помощью прибалтийских финнов, так и непосредственно. У балтийцев заимствовались, в частности, названия ремесленных изделий (*kirβäs «топор»). С ними меря вступала в непосредственные торговые и меновые контакты, при которых в качестве языка-посредника использовался балтийский (*kolBə̑(-a) «разговор, речь», *kolBa- «разговаривать»).

С греческим языком меря столкнулась в связи с христианизацией. Отсюда, видимо, первыми миссионерами-греками, заимствовались термины, связанные с христианской религией (*joβlos «дьявол»).

Более сложные лексические связи были у мерянского со славянским языком. Их следует, по всей видимости, разделить на два основных периода. Начало первого относится к I тыс. до н.э., когда (прото)меря в своем движении на запад и расселении на исторически засвидетельствованном месте обитания в области Волго-Окского междуречья застала там индоевропейское население — носителей фатьяновской культуры. Часть этого населения, судя по словам, заимствованным у него мерей (отчасти и другими финнами и пермянами), могла быть связана с этносом, сформировавшимся впоследствии на другой территории в праславянский. Собственно мерянскими словами, включенными из этого субстратного языка протославянского типа, могли быть такие лексемы, как *βeń (ед.ч.), *βänək (мн.ч.) < *dwäni «(деревянные) двурогие вилы» и *cölə̑ < *cōlŭ «здоров(ый)» (в частности, как компонент приветственной формулы). Заимствования из этого языка протославянского (или близкого к нему) характера, имевшего, возможно, своеобразный путь развития, не полностью совпадавший с линией

эволюции будущего праславянского, носили характер субстратных включений, так как он растворился в мерянском (и других смежных финно-угорских языках) задолго до того, как меряне вошли в контакт с подлинными славянами – носителями прото(велико)русских диалектов древнерусского языка. Поскольку ассимиляция произошла, очевидно, не сразу и могла длиться несколько веков, в мерянский, как и другие финские языки, слова этого языка могли включаться на разных стадиях его развития.

Ко второму периоду (X-XVIII вв. н.э.) относятся языковые связи мери со славяно-русским населением, где все больший перевес оказывался на стороне славян, в связи с чем меря постепенно полностью перешла на их язык. На первом этапе контактов с носителями славяно-русского языка, когда меряно-славянское двуязычие не стало еще массовым явлением, из славяно-русского языка заимствовались слова, обозначавшие понятия, до того не известные мерянам. К ним, в частности, относится мер. *koroni (-ms) < друс. *хоронити* «хоронить», видимо, первоначально относившееся к новому (христианскому) похоронному обряду, заимствованное у славян. На позднем этапе контактов со славяно-русским > (велико)-русским населением при развившемся среди мери двуязычии могли заимствоваться также слова, имевшие соответствия в мерянском и употреблявшиеся наряду с ними в качестве синонимов. К ним, видимо, относится (поздне)мер. *mama, засвидетельствованное (пережиточно) в мер. зват. *mamaj – рус. (диал., яросл.) *мамай!* Случаи подобного рода заимствований, вызванных отчасти мотивами престижности языка-источника, известны и другим языкам, ср. нем. Mamá < фр. maman при нем. Mutti, нем. Papá < фр. papa при нем. Vati (Kluge-Mitzka 457, 530).

Анализ реконструированной части мерянской лексики, свидетельствуя о несомненном финно-угорском (и уральском) происхождении большинства ее слов и о связях в древнейших заимствованиях с другими финно-угорскими языками, показывает в то же время ее своеобразие как в исконной части словаря, так и в заимствованиях и субстратных включениях. Обе эти части мерянской лексики выделяются на фоне лексики других финно-угорских языков формальным и семантическим своеобразием элементов, общих с другими финно-угорскими, а также их своеобразным сочетанием. Специфика мерянского словаря создается также наличием в нем лексических заимствований и субстратных включений, не известных другим финно-угорским языкам. Черты своеобразия и связи мерянского с другими родственными и неродственными языками, достаточно заметные даже при анализе небольшой, поддающейся в настоящее время воссозданию части его лексики, должны еще более проясниться при дальнейшей реконструкции и углубленном этимологическом исследовании мерянского словаря.

Резные изделия из кости в могильниках. *[22, стр. 136]*

ФРАЗЕОЛОГИЯ*

Исходя из имеющихся данных, мерянский язык следует отнести к мертвым языкам, не имеющим письменных памятников в виде связных текстов или хотя бы разрозненных предложений. Однако степень его бестекстности относительна. Мерянский язык передал, видимо, русскому (особенно областному) языку часть своих фразеологизмов, а значит и соответствующих минимальных текстов-предложений в виде калек, в которых отразился только во внутренней форме [Ткаченко СИФСФУЯ: 227–235]. Однако в случае реконструкции соответствующих мерянских слов в их фонетических и грамматических формах есть возможность восстановить и внешний облик соответствующих мерянских фразеологизмов, а тем самым — и небольших текстуальных фрагментов мерянского языка. Наряду с подобными оборотами есть и фразеологизмы, которые в русских говорах на бывшей мерянской территории восходят непосредственно к мерянскому языку. Как и калькированные мерянские фразеологизмы, они принадлежат, как правило, к языковым формулам (формулам речи), являющимся едва ли не наиболее стойкими из фразеологических оборотов. Реконструкция и интерпретация данных предложений-фразеологизмов, конечно, проще, чем реконструкция исходных мерянских оборотов на основе их калек, однако имеет свои специфические трудности, объясняемые как тем, что упомянутые выражения ввиду их частой употребляемости подвергаются эллиптизации, так и тем, что в силу их инородности в русской речи они подверглись определенным видоизменениям.

Восстановление любого мерянского фразеологизма, представляющее интерес прежде всего с точки зрения фразеологии и синтаксиса, требует и всестороннего фонетического, грамматического и лексико-семантического анализа, связанного с этимологическим истолкованием и синтезом полученных результатов, при котором одинаково важны и сопоставительно-типологический подход, и сравнительно-исторические данные финно-угорских языков. Поэтому вопрос о реконструкции мерянских фразеологизмов дает возможность через нее взглянуть конкретно и на общую проблему восстановления дославянских языковых субстратов.

К числу подобных фразеологизмов принадлежит русский (диалектный) приветственный оборот *Елусь поелусь,* записанный в бывшем Солигаличском уезде Костромской губернии (ныне Солигаличский р-н Костромской обл.). В «Словаре русских народных говоров» [СРНГ VIII: 349] он объясняется как «хлеб да соль (приветствие во время обеда)». Выражение записано в первой половине XIX в., поскольку в XVIII в. диалектные слова и выражения почти не записывались, кроме того, данное выражение впервые фиксируется в «Опыте областного великорусского словаря» 1852 г., где предпринята и попытка его объяснения:

«Елусь (сов. *поелусь)* повелительное наклонение, употребляется во время обеда, в виде приветственного междометия: хлеб да соль» [ООВС: 54]. Таким образом, составители словаря (а возможно, еще лицо,

* В связи с невключением данной главы в первое издание книги (Ткаченко О.Б. Мерянский язык. — Киев, Наукова думка, 1985. — 207 с.) при ее отдельном издании под названием «К изучению субстратной фразеологии» в книге: Языковые ситуации и взаимодействие языков (Киев, Наукова думка, 1989. — 204 с.), с. 61-76 был дан список сокращений источников, не совпадающий с принятым в книге 1985 года и в настоящем издании (стр. 311-313). Мы сохранили при данной главе (см. стр. 136) сокращения, не вошедшие в аппарат настоящего издания (стр. 311-313, 318-323), в том виде, как они были приведены в публикации 1989 года. — *Прим. ред.*

записавшее выражение) воспринимали и слово *елусь,* и форму *поелусь* как глагол в повелительном наклонении, причем элемент *по-* в форме *поелусь* рассматривался ими как приставка *по-,* служащая для образования совершенного вида, ср.: *ешь – поешь, пей – попей, неси – понеси* и т.п. Выражение в целом рассматривается здесь если не как полностью русско-славянское, то во всяком случае как оформленное согласно правилам русской грамматики, в частности в видовом отношении. Тем не менее именно с точки зрения славянских элементов русского языка эти слова и их форма труднообъяснимы. Правда, если считать форму производной от глагола *елузить,* то можно было бы принять как возможную форму повелительного наклонения *елусь* (с отражением фонетического оглушения), ср. такую же фонетическую форму *волтусь* (орф. волтузь) от диал. рус. *волтузить* (укр. вовтузити) «бить кого-либо (что-либо), схватив его». Глагол *елузить* не обнаружен, зато в говорах близких местностей представлены глагольная форма *наелузиться* «наесться до отвалу» (Костр. губ. – Гал) [МКНО] и несколько видоизменная форма *наюлызиться* «то же» (Костр. губ. – Кин) [МКНО]. И по форме, и по значению оба глагола скорее всего производные от *елусь.* Таким образом, ничего не объясняя, они возвращаются к тому же выражению, создавая явный порочный круг. Тем не менее эти данные не бесполезны, поскольку они косвенно указывают на употребление выражения *елусь (поелусь)* – по крайней мере в прошлом, до того как в Солигаличском районе (уезде) было записано это выражение – также в бывших Галичском и Кинешемском уездах Костромской губернии (ныне в Галичском р-не Костромской и Кинешемском р-не Ивановской областей). Поскольку все три района были в прошлом местом обитания мери, вполне закономерен вопрос, не является ли рассматриваемый оборот мерянским, сохраненным частью русских говоров на русской языковой территории. При этом чрезвычайно важно сразу же подчеркнуть, что все три местности принадлежат именно к бывшей территории распространения мерянского и никакого другого финно-угорского языка и ввиду этого расположены в настоящее время на собственно русской языковой территории, вдали от каких-либо финно-угорских народов и их языков.

В пользу мерянского происхождения оборота также говорят его собственно языковые особенности. Выражение *елусь поелусь* при этимологическом анализе обнаруживает возможность его расчленения на слова, с одной стороны, несомненно финно-угорские по происхождению, с другой – присущие в своей своеобразной форме, по-видимому, из финно-угорских только мерянскому языку. Лексема *елусь* здесь отнюдь не одинока, на бывшей мерянской территории есть и другие, явно связанные с ней слова, которые, являясь финно-угорскими по происхождению, дают основание причислить их к мерянским ввиду своего своеобразия. Ср., например, такие диалектные (и арготические) слова с той же территории, как *неёла* «нет» (букв. «не есть»), эст. Та ei ole õpilane[1] (букв. «Он не есть ученик(ом)») (Яр. губ. – Углич) [Свеш.: 93] *neiola* «нет» (Твер. губ. – Каш) [ТОЛРС XX: 166], *неёла* «неудача» (Костр. губ. – Нерехт) [ООВС: 124], *ёла* «есть» (Яр. губ. – Углич) [Свеш.: 93] *ei ola > *e jola) «не есть»; форма *ёла* «есть» образовалась, очевидно, уже на русской почве от *неёла* «нет (не есть)». Что касается явно вторичного значения «неудача» *(неёла)* и «удача» *(ёла),* то с ним, возможно, как калька частично связано рус. (диал.) *есть* «имущество, приданое» (Костр. губ.) [МКНО], а также формы того же корня типа *ульшага* «умерший, покойник» [Свеш.: 92 – Углич] (по образцу *бедняга, трудяга* от *ульша* «бывший» с формантом -ша, связанным с мар. *-шо* (*колы-шо* «умерший»), ср. рус. (Яросл., Костр.) *побывшиться* (букв.) «стать бывшим, то есть умереть» [ЯОСК], *ульшил* «умер» [ЯОСК], [Свеш.: 92 – Углич], *ульшили* «убили» [ЯОСК], [Свеш.: 92 – Углич] (два последних глагола образованы также от *ульша* «бывший»), р. *Ульшма* (букв.) «бывшенье, т.е. гибель, смерть» (Костр.).

Все приведенные выше слова представляют собой образования, связанные с фин-

[1] Таким образом, рус. (арг.) *неёла* отражает, видимо, в качестве полукальки форму мерянского отрицательного спряжения.

но-угорским глаголом *wolę̑ – «быть», ср.: ф. olla «быть», эст. olema, морд. (эрзя, мокша) *улемс,* мар. *ула́ш* «то же», коми *вӧлі* «был», удм. *вал* «был», хант. (казым.) *вəл′ты* «быть, жить», манс. ōli «будет», венг. volt «был» [ОФУЯ: 417; КЭСКЯ: 65, 67, 71; MSzFUE III: 669-671; SKES II: 427-428]. Своеобразие мерянских форм языка обнаруживается в том, что часть их, связанная с глаголом *быть* – как правило, это формы, где исходное корневое ол- перед гласным, – получила перед начальным о- вторичное й-, а формы, где в следующем после ол- слоге гласный выпал, в результате последовавшего удлинения заменили первоначальное о- позднейшим у-. Этот процесс вообще характерен для мерянского языка, ср. мер. *urma «белка» при ф. orava «то же». Вследствие сказанного форму написания *елусь* следует понимать или как орфографическую передачу действительного фонетического *елусь* (случаи подобной неточности встречаются и при передаче мерянских по происхождению местных названий, ср. орфографические *Векса*, *Челсма* в Галичском р-не Костромской обл., произносимые *Вёкса*, *Чёлсма*), или как отражение действительного произношения, где согласно особенностям фонетики русского литературного языка безударное -ё- было заменено -е- (для севернорусских говоров -ё- характерно не только в ударной, но и безударной позиции).

Как бы то ни было, исходя из других известных форм глагола *быть в* мерянском языке, отраженных в лексике постмерянских русских говоров, первоначальной, мерянской, следует признать форму *ёлусь.*

Ввиду того, что слово *ёлусь,* несомненно, является глаголом и в то же время выступает в приветственном обороте, где самым естественным есть доброе пожелание, наиболее логично его рассматривать (в чем можно согласиться с его трактовкой в словаре) как форму повелительного наклонения. Но поскольку производные от него или связанные с ним глаголы *наелузиться, наюлызиться* имеют значение «наесться (досыта)», а глагол *ёлусь* – это одна из форм глагола *быть,* форму *ёлусь* нельзя связать со значением «ешь (наедайся)», а следует рассматривать только в качестве одной из форм повелительного наклонения глагола *быть.*

С формальной и семантической точки зрения логичнее всего видеть в *ёлусь* форму 3 л. ед. ч. повел. накл., поскольку с семантической точки зрения в пожелании, связанном с едой, трудно представить себе глагольную форму со значением «будь», больше напрашивающуюся при пожелании здоровья (будь здоров!). Возможность форманта *-сь* в качестве показателя 3 л. ед.ч. повел. накл. подтверждают многочисленные параллели из других финно-угорских языков с суффиксом -s-, как полагает Б.А.Серебренников, первоначально суффиксом притяжательности 3 л. ед.ч., ср.: морд. *кундазо* «пусть ловит» [Серебр. Ист. морф. морд. яз.: 167], мар. luδ-šo «пусть читает»[2], саам. bottu-s «пусть приходит», возможно, также коми (med) munas «пусть пойдет» и удм. (med) munoz «то же»[3].

Следовательно, значение слова *ёлусь* (зафиксированное *елусь*) следует истолковывать как «пусть будет», букв. «пусть есть» или, прибегая к помощи языков, позволяющих передать данную форму в ее синтетическом (однословном) виде, перевести ее с помощью нем. (es) sei или фр. soit.

Поскольку форма *ёлусь* и в корневой и в суффиксально-флективной частях обнаруживает себя как чисто финно-угорская, мерянская, возникает повод для сомнения в интерпретации элемента по- как приставки уже потому, что в данном случае речь идет, очевидно, не о кальке или полукальке, а о сохраненном в русской народной фразеологии подлинном мерянском фразеологизме. Заимствование же морфологического форманта, тем более префикса, в мерянский язык маловероятно, поскольку он, как и все финно-угорские языки, по-видимому, не знал префиксации, которая значительно позже стала развиваться в некоторых финно-угорских языках (в частности, венгерском и эстонском). Более

[2] Другого мнения о происхождении -š- (< *s-) придерживается И.С.Галкин [Галкин: 140].

[3] Ср. у Б.А.Серебренникова [Серебр. Ист. морф. перм. яз.: 292), где он высказывает мнение по поводу возможной, хотя еще и не выясненной, связи данных пермских форм с формой 3 л. ед.ч. повел. накл. приведенных выше финно-угорских языков.

убедительно видеть в по- какой-то другой морфологический элемент или даже слово, расположенное между двукратным повтором *ёлусь — ёлусь* и только вторично — под влиянием сближения с грамматико-семантическими особенностями русского языка — воспринятое и истолкованное как близкая по звучанию русская глагольная приставка по-. Наиболее оправдано предполагать в элементе по- союз, расположенный между двумя словами (здесь — глаголами), или постпозитивную энклитическую частицу, связанную с первым из глаголов. В финно-угорских языках, например, хантыйском, действительно обнаруживается подтверждающее это предположение и не противоречащее общему возможному смыслу оборота слово. Это союз *па* «и, тоже, другой», напр.: *асем па аӈкем* «мой отец и моя мать»; *Муӈ школаев вән па нөвы* «Наша школа большая и светлая», *Л'ошек ики юх ил'пия өл'ыс па вәтёмтыс* «Россомаха-старик под дерево лег и заснул» [Русская: 80, 111, 190, 198, 231]. Таким образом, звуковой комплекс по- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании по, а о слове с формой па, где замена фонетического па орфографическим по была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом по- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.

Таким образом, оборот в своей наиболее точной исходной форме должен иметь вид *ёлусь па ёлусь* и переводиться «пусть будет и пусть будет», букв. «пусть есть и пусть есть». Однако в таком виде он представляет собой явно эллиптизированную форму более полного приветственного выражения-пожелания, сокращение оборота в результате его частого употребления; полностью приветствие-пожелание произносилось только в наиболее важных случаях. Можно предполагать, что поскольку это пожелание, речь в нем должна идти о том, чтобы у того (тех), к кому оно относилось, всегда была пища (еда-питье, хлеб-соль или подобные синонимы). В начале формулы дважды повторялся глагол, указывая на постоянство обозначаемого им состояния, так что становилось излишним употребление наречия со значением «всегда (постоянно, вечно)». Если учесть эти особенности, то формула пожелания могла иметь в передаче на русском языке следующий вид: «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя пища (еда-питье...)».

При всей фрагментарности данных о мерянском языке попытка гипотетической реконструкции отсутствующей части фразеологизма представляется все же возможной.

С чисто семантической точки зрения следует исходить из того, что в финно-угорских языках чрезвычайно распространенным является парное сложное слово с буквальным значением «еда-питье», обозначающее пищу в целом. В ряде языков оно имеет идентичную в этимологическом отношении корневую часть обоих компонентов. В тех финно-угорских языках, где произошла частичная или полная замена компонентов парного слова, принцип семантического построения композита не изменен: имея в целом значение «пища; питание», иногда «пир», оно состоит из двух слов, обозначающих в отдельности «еду-питье». В тех финно-угорских языках, где не сохранились или не обнаруживаются существительные с подобным значением, выступают соответствующие парные слова-глаголы. Это дает основание считать, что и в них парное существительное «еда-питье», даже если теперь оно отсутствует, должно было употребляться в прошлом, об этом говорит, например, легкость образования в них отглагольных существительных, нередко частично совпадающих с формами инфинитива. Ср. соответствующие данные: коми *сёян-юан* «пища, продовольствие, довольствие», букв. «еда-питье», *сёйны-юны* «есть-пить, питаться, столоваться; пьянствовать, кутить; (неодобр.) излишествовать»; удм. *сион-юон* «пища, еда, продукты питания», букв. «еда-питье», *сиыны-юыны* «угощаться (есть-пить)»; манс. *тэнут-айнут* (конд. *тенəха°р-äйнəха°р)* «пища (еда-питье)»; венг. eszem-iszom «обильное угощение, пир», букв. «еда-питье», eszik-iszik «откушает, потчуется», букв. «ест-пьет»; ф. syödä jouda «есть-пить»; карел. syyväh juuvah «едят-пьют»; вод. sȭ·tī yȭ·tī «ели-пили»; эст. süüa juua «есть-пить»; морд. (эрзя) *ярсамо-симема* «пир, угощение»,

букв, «еда-питье», *ярсамс-симемс* «есть-пить, угощаться, пировать», мар. *кочкыш-йӱыш* «пища и питье, провизия (еда-питье)», *кочка́ш-йӱ́ш* «есть-пить, питаться» [Pulkkinen: 209; КРусСл: 619, 621; УдмРусСл: 271, 272; Баландин – Вахрушева: 127; MOSz т. 1: 639-640; Эрз РС: 267; Мар РС: 226].

Учитывая сказанное, не представляется слишком смелым предположение, что парное слово с буквальным значением «еда-питье» существовало еще в финно-угорском праязыке и оттуда было унаследовано (первоначально в идентичном виде или с идентичными по происхождению корнями обоих компонентов) всеми финно-угорскими праязыковыми диалектами, развившимися впоследствии в отдельные финно-угорские языки. Большинство из них сохранило связь с этими праязыковыми финно-угорскими корнями [MSzFUE I: 164-165, II: 329-330].

Данные, имеющиеся в настоящее время, не дают возможности с точностью ответить на вопрос, к каким из финно-угорских языков относился мерянский: к тем, которые унаследовали финно-угорское парное слово с неизменными (точнее, незамененными) корнями обоих компонентов, или к тем, где парное слово претерпело значительные изменения. Ввиду того что мерянский язык, по крайней мере в начале своего развития, должен был унаследовать парное слово с исходными праязыковыми компонентами, данный член фразеологизма может быть в настоящее время реконструирован только в виде сочетания обоих корней в их прафинно-угорской реконструированной форме. Сведения о праязыковой форме суффиксальной и флективной частей слов отсутствуют, поэтому они обозначаются соответствующими прочерками. Поскольку для многих мерянских существительных отглагольного происхождения, видимо, характерна суффиксально-флективная часть *-м-а* (ср. *Кострo-м-а*, *Ульш-м-а* и т.п.), можно предполагать ту же конечную часть и для рассматриваемого парного существительного мерянского языка. Однако, ввиду того что конкретные компоненты данного слова в точности неизвестны и нет уверенности, что в праязыковой период здесь были те же суффиксы, более обоснованным будет опущение данных формантов. Исходя из реконструкций обоих компонентов слова, оно может быть восстановлено в следующем виде: ⌊**[seγe(--) – juγẹ(--)]⌋, где ** указывают на вынужденную особую условность реконструкции, ⌊[]⌋ отделяют реконструированную форму от материально засвидетельствованных мерянских слов, а заключенные в круглые скобки два прочерка соответствуют возможным суффиксальной (в том числе и нулевой) и флективной частям слова. Квадратные скобки и заключенные в них слова указывают на явно временный характер предложенного финно-угорского (мерянского) решения данной лингвистической задачи. Впоследствии при обнаружении новых фактов или при более надежной реконструкции они могут быть полностью сняты и две звездочки (астериска) заменены одной, указывающей на большую вероятность предложенного решения.

Столь же (или почти столь же) условно может быть, к сожалению, реконструирован и другой неизвестный член фразеологизма, местоимение *у тебя (у вас),* которое в данном случае берется в первой из возможных форм – в форме единственного числа. При поисках конкретной падежной формы следует, по-видимому, искать наиболее вероятный вариант, сообразуясь с данными как финно-угорских языков, окружавших мерянский, так и русского языка, на который в какой-то степени могла влиять и система мерянского языка. Форма *у тебя* явно связана с понятием принадлежности, в том числе и в такой характерной для русского языка синтаксической конструкции, как *у меня (у тебя, у него...) есть...* Характерно, что для всех западно- и южнославянских языков в отличие от русского подобный оборот совершенно не характерен. Вместо него здесь засвидетельствована посессивная конструкция типа *я имею...* (ср. п. Mam książkę «(Я) имею книгу»). Украинскому и белорусскому языкам хотя и не чужд оборот типа рус. *у меня есть,* однако он принадлежит к значительно менее употребительным, что особенно относится к западной части украинской и белорусской языковой территории. Вследствие этого, а также в связи с тем, что финно-угорским языкам, у которых, кроме обско-угорских, нет глагола со значением «иметь», а известен только глагол *есть*, также чрезвычайно свойственны обороты типа рус. *у меня есть,* можно предположить, что своей распространенностью эта конструкция в русском языке в значительной сте-

пени обязана финно-угорскому, в том числе и мерянскому влиянию.

Правда, в финно-угорских языках, хотя в них всюду выступает глагол *есть,* в данной конструкции далеко не одинаковы падежи, обозначающие лицо, которому принадлежит предмет. Так, в прибалтийско-финских языках здесь выступает адессив, который в данном случае переводится на русский язык предложной конструкцией *у тебя (у меня...),* однако с большей точностью должен был бы переводиться с предлогом *на,* ср. ф. Minulla on kirja «*У* меня есть книга», точнее «На мне есть книга». В венгерском языке тот же оборот требует дательного падежа владельца: Nekem van könyvem букв. «Мне есть книга (моя)». Только в финно-угорских языках, находившихся в наиболее тесных контактах с русским языком и в то же время территориально наиболее связанных с мерянским, встречаем другой падеж, родительный, с окончанием -н, современным или историческим [Серебр. Ист. морф. перм. яз.: 185-186], представляющим собой, возможно, первоначальный локатив, отвечающий на вопрос «где?» и соответствующий конструкции с предлогом *у* [Бубрих: 12-14]. Следовательно, употребляемая, например, в мордовском-эрзя языке форма родительного падежа при обозначении принадлежности сохраняет свое прежнее локативное значение и совершенно точно переводится предложной конструкцией с предлогом *у,* ср. морд. (эрзя) *Монь ули книгам* «У меня есть книга (моя)»; *Тонь ули книгат «У* тебя есть книга (твоя)» и т.п. То же относится и к марийскому языку с его родительным падежом, имеющим формант *-(ы)н,* бывший показатель локатива, ср. мар. *Пӧлемын кок окнаже уло* «Комната имеет два окна», букв. «У комнаты есть два окна (ее)». Поскольку мерянскому языку, видимо, также был свойствен родительный падеж (< бывший локатив) на *-н,* ср. (р.) *Яхре-н* (от *яхре* *jähra «озеро») «озера, озерная (< у озера)», *Неро-н* «название Галичского озера в галичском арго», букв. «болота», род. пад. от «болото», «болотное (у болота)», — озеро отличается заболоченными берегами, — а соседним с мерянским финно-угорским языкам (мордовским и марийскому) бывшие локативные формы на *-н* с поссесивной функцией в высшей степени свойственны, — следует считать, что и в мерянском в качестве показателя принадлежности выступал родительный (бывший локативный) падеж с окончанием -н. Поскольку ни одна форма местоимения *ты* в мерянском языке не известна, форма его родительного падежа (< локатива) ед. числа на -н (-n) может быть реконструирована лишь гипотетично на основе финно-угорской праязыковой формы с добавлением окончания -n, т.е. как **tenän[4]. Две звездочки в данном случае относятся не к прафинно-угорской реконструкции, где выступает одна звездочка, а к данной форме как отражению конкретного мерянского слова, так как она отражает ту финно-угорскую праформу, которую еще предстоит конкретизировать, исходя из фонетико-морфологических особенностей мерянского языка. В конечном счете, переводя для единообразия все в латинскую графику, мерянский фразеологизм на данной стадии реконструкции можно представить в следующем виде: Joluś pa joluś[** (tenän seγe (te) — juγe̯ (te))] «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя еда (твоя) — питье (твое)»[5].

С формальной точки зрения в данном обороте глагольное образование joluś, видимо, не является наиболее архаичной из известных форм. На то, что могла существовать и более древняя форма *joloZe, сохранившая в несокращенном виде окончание 3 л. ед.ч. повел. накл., сокращение которого вызвало удлинение -о- с переходом в -у- (-u-), указывает существование фиксированных у В.Даля диалектных пермских выражений, явно связанных с рассматриваемым оборотом и сохранивших в нем -о- в соответствии с костромским -у- (-u-), ср. рус. (перм.) *наелозиться* «накушаться, насытиться». Благодарствуем, наелозились, — отвечают гости на приглашение: поелозить еще! [Даль II: 413]; перм. *елозить* «есть, хлебать, кушать (то есть елозить ложкою)».

[4] Возможна также форма **tinän [ОФУЯ: 399].

[5] Не исключено также, что предполагаемое парное слово *seγe(--) — juγe̯(--) имело притяжательный суффикс -te, т.е. выступало в форме ** seγe̯(--) te — juγe̯(--) te «еда (твоя) — питье (твое); ср. венг. Neked van könyved «у тебя (букв. — тебе) есть книга (твоя)».

Елозьте, поелозьте, гости мои! [ООВС: 54] привет застольникам: ело́зь! [Слов. акад. *елу́сь*] «здорово хлебать!» сходится с пожеланием: ѣлось бы, желаю здорово поесть» [Даль I: 518].

Вне всякого сомнения, объяснение, предложенное В.Далем, — его сближение с «елозить ложкою, есть (елось)», — так же, как и упомянутые ниже сближения А.А.Потебни и А.Преображенского, являются плодом народно-научной этимологии, и совершенно прав М.Фасмер, замечающий по этому поводу в своем словаре: *«елози́ть, ёлзать* «есть». (Приведенные здесь формы неправильны, так как у В.Даля, судя по его примерам, с этим значением связано лишь образование *елозить — О.Т.*). Совершенно ошибочно связывается Потебней [РФВ 1: 76] и Преображенским [1: 464] с *ложка.* Ср. *«ёлзать* II» [Фасмер ЭСРЯ II: 17] и далее: *«ёлзать II, елози́ть* «хлебать, черпать ложкой, есть». Темное слово. По мнению Потебни [ФЗ 1876, вып. 2: 97], заимств. из тюрк. (без указания источника). Ср. *елози́ть, елоси́ть»* [там же: 15].

Возникает вопрос о происхождении пермского слова и выражения (ср. *Елозьте, поелозьте,* по-видимому, представляющее собой отражение исходного *Елозь, поелозь* < *JoloZə ра joloZə), аналогичного костромскому. Поскольку убедительного объяснения ему на основе славянских элементов русского диалектного языка найдено быть не может, а мерянскими (финно-угорскими) фактами оно объясняется вполне логично, и поскольку пермское выражение почти полностью совпадает с костромским, единственно вероятным объяснением может быть следующее. Пермское выражение представляет собой результат переселения носителей части костромских говоров, которое шло в восточном направлении через Вятскую землю на Урал. Так как переселение происходило в тот момент, когда мерянский язык находился на более древней ступени развития, переселенцы унесли с собой на восток более архаичную форму рассматриваемого фразеологизма. Там вследствие русификации этой части населения — возможно, первоначально носителей мерянского языка — она как бы инкрустировалась в русском языке, застыла в своем развитии, что и вызвало в ней сохранение -о- даже в условиях нового закрытого слога (ср. *елозь(те),* хотя в мерянском в этих условиях -о-, как правило, переходило в -у-).

Другой интересной формой, отражающей отчасти аналогичное новообразование, является форма того же слова *юлысь,* представленная в уже приводимом выше кинешемском слове *наюлызиться.* Начальное -о- своим образованием, видимо, обязано части форм глагола *быть в* мерянском языке (напр., **ульша* «бывший»), которая имела начальное у-; сближение их с формами на й- (**ёлусь, *ёлозе* и т.п.) должно было привести к распространению начального й- и на них. Вследствие стремления к еще большему единообразию в части мерянских говоров во всех формах глагола *быть* распространилось начальное ю-. Что касается перехода -з- в интервокальной позиции (-с(ь) в конечной), то она также не противоречит фонетике мерянского языка, насколько ее можно прослеживать в местном русском языке на словах как русского, так и мерянского происхождения (ср., например, среди первых *сабог* вместо *сапог* (яросл.), *кадюка* вместо *гадюка* (там же) и обычное для русского литературного языка оглушение в конечной позиции звонких согласных).

Особый интерес представляет также вопрос об ударении в глагольных формах рассматриваемого фразеологизма. Несмотря на то что во всех известных формах — *елу́сь, ело́зьте, (на)ело́зиться, (на)юлы́зиться* — ударение падает на второй слог от начала корня, есть основание усомниться в его первичности, поскольку, судя по географическим названиям бывшей мерянской территории, в мерянском языке абсолютно преобладало, если не было единственно возможным, инициальное, начальное ударение (ср. *Я́хрома, Чу́хлома,* (диал.) *Ко́строма, Не́ро, Ки́нешма, Ко́стома* и т.д.). По-видимому, и в данном фразеологизме первоначально ударение падало на первый слог слова. Только впоследствии, в связи с ассимиляцией мери, когда сохранившиеся слова и обороты стали видоизменяться под влиянием фонетико-грамматической и семантической систем рус-

ского языка, и в данном обороте произошло передвижение ударения. Видимо, это было связано с тем, что сдвинутым к концу слова было наиболее естественное ударение в форме 2 л. ед.ч. (и мн.ч.) повел. накл., в качестве каковой стала восприниматься форма *елусь* или *елозь.* В случае формы *елозь* могла действовать и аналогия со стороны русского глагола *елозить.* Следовательно, первоначально и в глагольных формах *ёлусь (*ёлоз(е), *юлысь),* как и во всех других словах оборота, должно было употребляться начальное (инициальное) ударение[6].

Рассматриваемый оборот, помимо того интереса, который он представлял с сугубо лингвистической точки зрения как отражение мерянской фразеологии и языка в целом, чрезвычайно интересен и как отражение древнего мировоззрения, не чуждого, судя по близким финно-угорским и славянским оборотам, остальным финно-уграм и славянам в наиболее древний период их истории.

Если современный языковой этикет, выработавшийся у европейских народов, стал предписывать желать едящим людям приятного аппетита, — обычай, несомненно, связанный с господствующими и преуспевающими слоями общества, которых больше заботил их аппетит, чем проблема добывания еды, — то человеку древнего периода прежде всего важно было иметь вдосталь еды, не испытывать голода. Поэтому самым важным для него было пожелание постоянного достаточного запаса пищи, в связи с чем вполне естественным было обращение с пожеланием, как у мерян, «Пусть будет и будет (т.е. не выводится) у тебя еда-питье!».

Вполне соответствует этому пожеланию и эстонское аналогичное: Jätku leiba! букв. «В достаче (вам) хлеба!», на которое следует ответ: Jätku tarvis «Достача нужна».

Очевидно, подобный характер имеет и русское пожелание *Хлеб-соль!,* возникшее, вероятно, в результате сокращения из более полного «Пусть будет (или: Да будет) (у вас всегда) хлеб-соль!»

В связи с этим *наелузиться (наелозиться, наюлызиться)* приобрело значение «наесться (вследствие того, что осуществилось пожелание и стол ломился от еды)». Не исключено, что глагольная форма *елусь* (или ее варианты) могла еще в мерянском языке повести к образованию глагола joluZims[7] *«ёлузить* (произносить пожелание *Ёлусь па ёлусь)»,* т.е. желать изобилия еды и питья, большого количества пищи, вследствие чего так естественно образовался соответствующий русский диалектный глагол.

Другой мерянский фразеологический оборот, предполагаемый возможный зачин мерянской сказки, можно восстановить на основании отразившего его русского сказочного зачина *Жил-был...* и параллельных явлений ряда финно-угорских языков (ср. кар. Ellettih-oldih ukko da akku «жили-были муж и жена», коми *Олісны-вылісны кык вок* «Жили-были два брата», удм. *Улэм-вылэм одйг эксей* «Жил-был (оказывается) один царь» и под.) [Ткаченко СИФСФУЯ: 216-235].

Если при восстановлении оборота *Joluś pa joluś ∟* (tenän зеγе (te) — juγę̱ (te))]⌟ недостающую его часть приходится временно приводить к «немерянизированной» гипотетической общефинно-угорской праязыковой форме, то в тех случаях, когда новый материал позволяет конкретизировать подобные общие формулы реконструкции, появляется возможность дать их в большем приближении к конкретно доказуемым фактам мерянского языка. Так, восстановленную в прошлом в наиболее гипотетичном виде формулу сказочного зачина мерянской сказки ∟**[Eli-wolį̆]⌟ urma «Жила-была белка» [Ткаченко СИФСФУЯ: 228] в связи с более точными знаниями формы глагольной парадигмы мерянского языка и особенностей его фонетики появилась возможность представить в менее гипотетическом и не обобщенно финно-угорском, а мерянском виде,

[6] Как свидетельствуют данные финно-угорских языков (напр., эстонского и финского), где при инициальном ударении возможны случаи его смещения [Ariste: 39-43], сдвиг ударения мог произойти также еще в мерянском языке.

[7] Форма инфинитива на -s̱ (по происхождению иллативная) для мерянского языка, как и для мордовских, наиболее правдоподобна в связи с тем, что здесь номинативная форма (с суффиксом *-ma̱ и нулевой флексией) употребляется широко в функции отглагольных существительных, в частности в местных названиях.

хотя и реконструированном. Так, исходя из того, что в 3 л. ед.ч. наст. вр. глагол *быть* имеет смягченное конечное -ń вместо обычно твердого других финно-угорских языков (ср. рус. (диал. < мер.) *сиень* «есть» (Si joń «это есть»), ф., эст. (se(e) on «(это) есть» и венг. van «есть»), можно предположить, что это смягчение возникло под влиянием формы глаголов 3 л. ед.ч. прош. вр., где в результате отпадения конечного -i (-и) произошло смягчение предшествующего согласного. Вместо форм, подобных ф. eli «жил (-а)», oli «был(-а)», в мерянском языке произошла первоначально их замена формами типа *el′ и *ol′. Однако в связи с тем, что в новых закрытых слогах e (э) переходило в i (и), а o в u (у), ср. *ul′ša «бывший» при jolus′ «пусть будет (есть)» *или* (р.) *Ильдомка*[8] «без жизни, безжизненная» при (названии деревни) *Элино* (бывш. Кологривского уезда Костромской губернии) от **Эля* «живой», для мерянского языка сказочный оборот следует принять в следующей форме: [*il′ – ul′] urma «Жила-была белка», где часть, заключенная в скобки и снабженная звездочкой, обозначает фрагмент сказочного зачина, устанавливаемый путем реконструкции, а слово urma, расположенное вне скобок, связано с конкретным диалектным русским словом, восходящим непосредственно к позднеповомерянской лексеме[9].

Менее ясен ввиду своего, видимо, стяженного, синкопированного характера третий предполагаемый мерянский фразеологизм, приветственная форма Cöl-ênDa! (< Cölê, anDê(βa)!/*Cöl anDα- (-)!), реконструируемая из рус. (диал.) *Цолонда!* («Цолонда – в доме: здравствуй, хозяин (?)», – Яр. губ. – Пош (с. Давшино, 1849 г.) [КЯОС: 212]). Здесь можно предполагать сохраненными два слившихся слова – субстратное индоевропейское (фатьяновское, возможно, протославянское) включение в мерянский cölê «здоровый; (?) здоровье» (и-е. koilo-/-lu-, отраженное в псл. *cělъ «целый, невредимый, здоровый», полаб. ćol! «за (твое/ваше) здоровье; (будь) здоров!», гот. hails «здоровый» (hails! «(будь) здоров!»), прус. kails «здоровый» (kails! «(будь) здоров!») [ЭССЯ III: 179-180; SEJDrzP I: 86; Kluge-Mitzka: 298; Топоров (I-К): 136-142) и мерянское финно-угорское anD- «давать» в одной из возможных в данном случае форм. Общий смысл оборота ввиду его синкопированного характера, что характерно для приветственных формул в целом, и вызванной этим затемненности грамматического оформления второго из слов можно пока определить только приблизительно. Наиболее оправданным, поскольку речь идет о приветствии, обращенном к хозяину в его доме со стороны гостя, является истолкование формулы как первоначального (затем эллиптизированного) предложения *Cölê, anDê (βa)! «Здоров (здоров будь), кормилец (букв. кормящий)!». Однако в принципе возможно также истолкование формулы как мольбы-пожелания: «Здоровье пусть даст (тебе, бог)! (дай) ему, боже!» Подобная интерпретация представляется менее вероятной. Хотя при заимствовании первоначального прилагательного *cölê в заимствуемом языке оно могло приобрести также значение существительного, все же, поскольку речь идет, по-видимому, о длительных контактах двух языков, сопровождаемых двуязычием ассимилируемых индоевропейцев и частично мери, подобная трансформация, особенно во фразеологизме, менее вероятна, чем сохранение слова в значении прилагательного. Та мольба-пожелание, которая должна была бы реконструироваться в случае предполагаемого второго варианта ее истолкования, более естественна в качестве формулы изъявления благодарности, чем формулы приветствия. Кроме того, ее употребление и возникновение кажется более связанным с периодом после введения христианства, чем с языческой эпохой, во время которой она должна была возникнуть. Мерянское (постиндоевропейское) прилагательное *cölê может отражать развитие протославянского слова *kölŭ /(-ъ) «здоровый, целый», однако в той его стадии, которая, по-видимому, была отделена значительным промежутком времени даже от позднепраславянского периода, тем более от выделения восточнославянских диалектов, отделенного также несколькими веками от принятия христианства восточными славянами. Следова-

[8] От *il′Doma «безжизненный, неживой, нежилой» абессивной формы прилагательного от el′a «живой» (ср. морд. (эрзя) *вал-томо* «без слова», мар. *илы-дыме»* «нежилой») [ОФУЯ т. 1, с. 233].

[9] Более подробно о данном мерянском фразеологизме см. наст. изд., стр. 217-219.

тельно, менее вероятно связывать возникновение рассматриваемого оборота, возникшего в первых веках нашей эры или на рубеже двух эр, с принятием и распространением христианства, проникшего в Волго-Окское междуречье только после I тыс. нашей эры. При всей обоснованности приведенных аргументов, имеющихся в настоящее время данных, недостаточно для того, чтобы решить однозначно вопрос о первоначальном значении рассмотренного фразеологического оборота.

ВЫВОДЫ

Анализ и проведенная на конкретных примерах реконструкция мерянских фразеологизмов говорит о перспективности дальнейшей работы по реконструкции мерянского языка, и в частности о возможности, по крайней мере частичного, восстановления мерянской фразеологии. Тем самым будут проясняться не только темные места финно-угристики, но и целый ряд неясных слов и выражений русского, в особенности диалектного, языка.

Из трех рассмотренных предполагаемых фразеологизмов мерянского языка только третий не поддается пока точному истолкованию, два же других восстанавливаются и объясняются достаточно убедительно. Сказочный зачин [*il′ – ul′] urma «Жила-была белка» имеет широкие финно-угорские связи, восходя, по-видимому, к прафинно-угорскому периоду [Ткаченко СИФСФУЯ: 220]. Два других фразеологических оборота, напротив, не имеют соответствий в других известных науке финно-угорских языках. Поскольку все они относятся к числу так называемых языковых формул, наиболее стойких из фразеологизмов и наименее подвергнутых иноязычным влияниям, это свидетельствует об особом месте мерянского среди финно-угорских языков, о его относительно большой изолированности от них, позволившей ему даже в области языковых формул развить ряд оригинальных оборотов. Подобное положение можно рассматривать как серьезный аргумент в пользу того, что мерянский не входил ни в одну из известных групп финно-угорских языков, образуя среди них отдельную группу (подобно, например, венгерскому, который также представляет собой отдельную группу в угорской ветви финно-угорских языков, состоящую из одного языка).

На основании трех, к тому же далеко не полностью объясненных, фразеологизмов еще рано говорить об особенностях мерянской фразеологии в целом. Однако на основании сделанного для их реконструкции уже теперь можно высказать предположение об основном направлении в работе по воссозданию мерянской фразеологии.

Поскольку даже в случае обнаружения связных мерянских текстов речь может идти главным образом о евангельских, т.е. переводных текстах, интересных преимущественно с фонетической, грамматической и лексической, но никак не с фразеологической точки зрения, думается, что роль их в реконструкции мерянской фразеологии может быть не главной, а лишь вспомогательной. Основная масса восстановимой мерянской фразеологии скорее всего сохранена в русских (постмерянских) говорах на бывшей мерянской территории в калькированном, «переведенном» на русский язык виде. Выделить их из собственно славянской по происхождению русской фразеологии могли бы только тщательные сопоставительно-типологические и ареальные исследования, которые помогли бы отсеять все явно финно-угорское (мерянское) по внутренней форме и происхождению. С помощью имеющихся сведений по мерянской фонетике, грамматике и лексике можно было бы осуществить «обратный перевод» данных фразеологизмов с русского на мерянский, тем самым реконструировав их как семантически, так и формально.

В настоящее время можно говорить только о начале подобной работы, первые образцы которой представлены здесь и в предшествующей книге автора [см. часть 2 наст. изд. – *Прим. ред.*], посвященной специально принципам исследования и реконструкции древнейшего слоя фразеологизмов, главным образом субстратного происхождения.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ СОКРАЩЕНИЙ К ГЛАВЕ «ФРАЗЕОЛОГИЯ»

Бубрих – Бубрих Д.В. Историческая морфология финского языка. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 186 с.

КРусСл – Коми-русский словарь. М.: ГИС. 1961. – 923 с.

Русская – Русская Ю.Н. Самоучитель хантыйского языка. – Л.: Гос. уч.-пед. изд-во мин. просв. РСФСР / Ленинград. отд-ние, 1961. – 256 с.

РФВ – Русский филологический вестник, 1879–1917 гг.

Ткаченко СИФСФУЯ – Ткаченко О.Б. По следам исчезнувших языков. (Сопоставительно-историческая (историко-типологическая) фразеология славянских и финно-угорских языков). – Ньиредьхаза, Stúdium. 2002. – 299 с.

УдмРусСл. – Удмуртско-русский словарь. – М.: ГИС, 1948. – 447 с.

Фасмер ЭСРЯ – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перев. с нем. и дополнения О.Н.Трубачева, т. 1-4. – М.: Прогресс, 1964-1973.

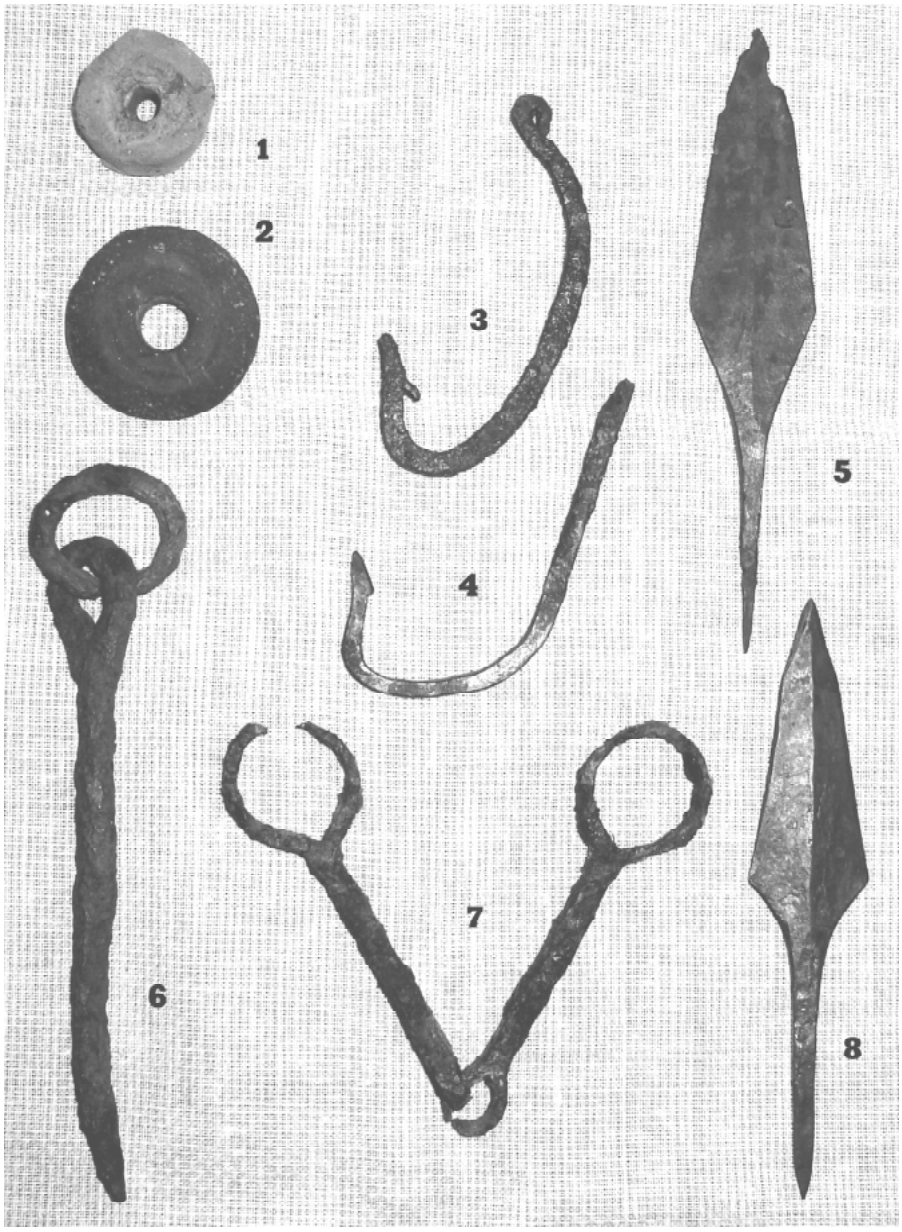
ФЗ – Филологические записки, 1882-1917 гг.

Ariste – Ariste P. Einige Bemerkungen über die dynamische Betonung der Wörter im estnischen Satz. – In: Études finno-ougriennes. – T. XV. – Budapest – Paris: Akad. kiadó – Librairie Klincksiek, 1982. – S. 39-43.

MOSz – Hadrovics L., Gáldi L. Magyar-orosz szótár. – K. 1-2. – Budapest: Akad. kiadó, 1972. – 1474 l.; 1243 l.

Pulkkinen – Pulkkinen P. Asyndeettinen rinnastus suomen kielessä. – Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966. – 343 s.

SKES II – Toivonen Y.H., Itkonen E., Joki A.J. Suomen kielen etymologinen sanakirja. – II. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1979. – S. 205-480.



Предметы домашней утвари, охоты, рыболовства, снаряжения коня из фондов ГУК КГИАХМЗ. (1, 2 – керамика; 3-8 – железо.) Кон. 1 – нач. 2 тыс. н.э.):

1-2. Пряслица.
3-4. Крючки рыболовные.
5, 8. Наконечники стрел.
6. Кочедык.
7. Удила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системная реконструкция и всестороннее изучение доступных ныне фактов мерянского языка, извлеченных из русского языкового материала мерянского происхождения, позволяют на основе обобщения полученных результатов подвести итоги проведенной работы и наметить пути ее продолжения.

Апробированный в предыдущем исследовании автора [101] на фразеологическом материале особый (сопоставительно-исторический) метод, применимый для реконструкции субстратных языков, проявил себя в данной работе как вполне действенный при реконструкции и изучении мерянского языка на всех его уровнях — фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом.

С помощью воссозданных данных мерянского языка постепенно начинают проясняться основные моменты его происхождения и истории. Своими корнями мерянский, как и другие финно-угорские языки, уходит вглубь уральского и финно-угорского праязыковых периодов, что особенно ярко отражено в его лексике и фонетике и менее заметно (из-за фрагментарности сведений) — в чертах грамматического строя. Наиболее тесным родством среди финно-угорских мерянский язык связан с финскими языками, прежде всего прибалтийско-финскими и мордовскими и в меньшей степени — с марийским. Об этом свидетельствуют освещенные в данной работе факты его фонетики, грамматики и лексики. Специфика мерянского языка определялась в значительной степени своеобразным развитием и сочетанием исконных элементов, унаследованных им из разных периодов его формирования (уральского → финно-угорского → финно-пермского → финского) и предшествовавшях его выделению в качестве особого финно-угорского языка. В то же время заметный вклад сюда внесли контакты мерянского с другими родственными и неродственными языками. Наиболее примечательными из них были связи (прото)мерянского с угорскими языками или их предками, протоугорскими диалектами финно-угорского праязыка, до переселения (прото)мерян на запад, и контакты, в которые они вступили в Волго-Окском междуречье с носителями индоевропейских диалектов (в ряде случаев явно протославянского типа). Черты угорского влияния прослеживаются в мерянском на разных уровнях — фонетическом (развитая палатальность), грамматическом (общий с венгерским формант множественного числа -k), лексическом (важные, в том числе служебные, слова), что свидетельствует о его былой интенсивности и глубине. У индоевропейцев-фатьяновцев с их близким к протославянскому идиомом, вошедшим частью элементов в мерянский как его субстрат, меряне заимствовали лексику, связанную с новыми для них видами хозяйственной деятельности (оседлое скотоводство). От них же были усвоены слова и фразеология, относящиеся к духовной жизни, обычаям (например, связанные с традиционными приветствиями-пожеланиями). Ценность этих элементов мерянского словаря заключается в том, что здесь мерянский, как и другие финно-угорские языки того же ареала, сохранил, возможно, те наиболее ранние формы праславянского языка, которые давно утрачены и нигде не сохранены самими славянскими языками, преобразовавшими их в ходе своей эволюции. Поскольку период контактов мери с фатьяновцами продолжался (примерно с I тыс. до н.э. до рубежа н.э.), закончившись окончательной финно-угризацией последних, следует считаться с возможностью отражения разных стадий развития этого индоевропейского языка. Большая или меньшая близость

его к (прото)славянскому типу может быть связана также с его диалектной дифференциацией. Признавая вполне вероятным предположение В.Т.Коломиец о возможной ассимиляции славянами части финно-угров, продвинувшихся западнее мери, и о воздействии финно-угорского субстрата на праславянский язык [43, с. 79-81], можно, исходя из мерянского материала, дополнить его мыслью об установившейся постепенно между территорией с преобладанием славян и территорией с преобладанием финно-угров славянско-финно-угорской границе. К западу от нее, там, где праславяне оказались в большинстве, произошла постепенная ассимиляция финно-угров славянами, к востоку, где численно преобладал финно-угорский (мерянский) этноязыковой элемент, произошла ассимиляция индоевропейцев (в том числе возможных протославян) финно-уграми. В результате указанных ассимиляционных процессов, с одной стороны, праславянский мог включить в себя отдельные элементы древней финно-угорской лексики, в частности связанной с характерным для финно-угров рыболовством [43, с. 80-81; 44, с. 118-127], и испытать воздействие финно-угорского субстрата на иных уровнях, с другой стороны, мерянский включил в себя часть древних субстратных протославянских лексических элементов и испытал влияния, которые еще предстоит изучить. Так, не исключено, что одним из их последствий было отсутствие в мерянском сингармонизма, начавшего в нем развиваться, как и в других финно-угорских языках, но приостановленного под воздействием индоевропейского (протославянского) языка.

Итак, в финно-угорский или близкий к нему период (прото)мерянский язык характеризовался контактами с (прото-) или (пра)-угорским. Для начала древнемерянского периода как части истории собственно мерянского языка особенно характерны контакты мерянского с индоевропейским языком фатьяновцев, в ходе которых последний постепенно растворился в своих пережиточных субстратных элементах в мерянском. Древнемерянский период не оставил почти никаких следов, так как в это время отсутствуют какие-либо записи мерянского языка со стороны как самих мерян, так и их соседей, если не считать нескольких отражений этнонима «меря». Последний период развития мерянского языка, собственно исторический, так как именно в это время начинают фиксироваться его слова и названия и, очевидно, осуществляются попытки создания мерянской письменности с миссионерской целью, относится к X-XVIII вв. н.э. В это время меря вступает в контакты с носителями прото(велико)русских говоров древнерусского языка (в дальнейшем ставшими частью отдельного восточнославянского русского языка). В ходе их как результат перевеса славян меря все более славизируется, переходя полностью на славяно-русский язык. Конечным следствием этого контакта становится, таким образом, превращение мерянского языка в субстрат русского. Однако длительность процесса постепенной славизации мери, закончившейся полным вытеснением мерянского языка, привела к тому, что он, исчезая, оказал определенное влияние на местный русский язык и оставил в нем и письменных фиксациях многочисленные следы своего былого существования. По этим следам теперь предстоит воссоздать историю мерянского языка, дать его всестороннее и возможно более полное описание, построенное на исчерпывающем этимологическом анализе всех его лексических и грамматических элементов, выяснить картину его развития и постепенного угасания в связи с трансформацией сохранившихся мерянских элементов в диалектные русские.

Эту крайне сложную и трудоемкую работу необходимо проделать, имея в виду следующую ее пользу и значение.

1. История Центральной России, являвшейся средоточием формирования русской государственности, русского литературного языка и русской культуры в целом, до сих пор известна главным образом только с X-XI вв., то есть с появления в ней восточных славян. С изучением мерянского языка и связанным с ним комплексом работ в области мерянских древностей (истории, археологии, антропологии, этнографии, фольклористики) становится возможным заглянуть в историю этого важного региона на 1-2 тыс. лет раньше. Отечественная наука не может упустить такую возможность.

2. Любой язык несет в себе заряд огромной информации, приобщая нас к жизни давно ушедших предков, и в этом смысле бесследное исчезновение любого языка — невосполнимая утрата. Без знания мерянского языка остаются неясными происхождение и первоначальное значение целого ряда русских диалектных слов Московской, Калининской [с 1991 г. — Тверской. — *Прим. ред.*], Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и др. обл., откуда шло переселение в другие районы России, вплоть до Урала и Сибири. Без знания этого языка молчит для нас также «язык земли», карта Центральной России, полная десятков и сотен названий, по-видимому, мерянского происхождения (таких, как Москва, Яхрома, Кострома, Кинешма, Шолешка, Шекшема, Покша и многих других, больших и малых мест, которые с детских лет близки и дороги миллионам русских людей, но понять которые они пока не могут). Расшифровать этот умолкнувший язык, сделать его возможно более понятным для нас — задача трудная, но интересная и благородная.

3. Мерянский язык образует собой звено, некогда связывавшее ряд финно-угорских языков, прежде всего прибалтийско-финские, мордовские и марийский. В нем обнаруживаются загадочные следы древних контактов с угорскими языками, в частности венгерским. Большинство народов, говорящих на этих языках, живет в пределах Российской Федерации, с тремя самыми большими из них — венграми, финнами и эстонцами (в основном в Венгрии, Финляндии и Эстонии, но частично также в Российской Федерации и Украине) — народы России связывают добрососедские отношения. Реконструкция мерянского языка позволяет глубже изучить историю этих народов и языков в их многообразных связях. Для исследования мерянского языка необходимы и финно-угроведение и славистика. Следовательно, его воссоздание и изучение — это не только вклад в мировую финно-угристику, но и в укрепление дружественных связей народов России с народами Венгрии, Финляндии и Эстонии, а вместе с тем и всех стран, где интересуются проблемами финно-угроведения, число же их все время растет.

4. Изучение мерянского языка, в своих остатках полностью растворившегося в русском, чрезвычайно важно для русистики в ее разнообразных проявлениях, прежде всего для истории русского языка и русской диалектологии. Для науки о русском языке необходимо установить, какое влияние мог оказать мерянский субстрат на русский диалектный и литературный язык, в чем он мог определить их своеобразие. Эти вопросы еще никем серьезно и глубоко не изучались, хотя отдельных разрозненных попыток было довольно много. Лингвистическая мерянистика, черпая свои данные из русского (главным образом, диалектного) языка и русской ономастики должна способствовать решению этих проблем. И в этом ее несомненное научное значение.

5. С двух точек зрения необходимо исследование мерянского языка и для славистики — ввиду сохранения им в своих остатках возможных следов древнего протославянского языка фатьяновцев и в связи с тем, что изучение субстратного влияния мерянского языка на русский, обнаруживая один из источников специфики русского языка на фоне славянских, тем самым важно и для общей славистики.

6. Наконец, немалые услуги изучение мерянского языка как субстратного может оказать общему языкознанию, где большую роль для понимания особенностей языковых контактов и закономерностей развития языка, в частности причин распада праязыка на родственные языки, призвана сыграть разработка теории субстрата. Опыт реконструкции мерянского языка в его внутренней и внешней истории не может не обогатить общее языкознание.

Таково значение исследования и реконструкции мерянского языка, вполне оправдывающее те усилия, которые делались и будут сделаны в этом направлении. Усилия эти, безусловно, должны быть значительно интенсифицированы в связи с тем, что остатки мерянского языка, которых в русских диалектах становится все меньше и меньше, еще стремительнее должны исчезать ввиду усилившихся миграций населения Центральной России и стирания местных ди-

алектных особенностей. То же относится к возможным записям мерянских текстов и слов, сохраненных в имеющихся, и возможно, еще не открытых памятниках, также, к сожалению, не вечных.

В связи с необходимостью реконструкции и исследования мерянского языка перед наукой стоят следующие неотложные задачи:

1) фиксация всех данных современной ономастики и апеллятивов мерянского происхождения, содержащихся в русских локо- и социолектах, прежде всего Центральной России, требующая, помимо целенаправленных усилий, исчерпывающей записи русской диалектной лексики и ономастики центральнорусских областей;

2) учет всех диалектных и ономастических записей слов мерянского происхождения как в публикациях и рукописных списках (XIX и XX вв.), так и в записях русских, а возможно, и иностранных памятников предыдущих веков;

3) поиски сохранившихся памятников мерянского языка (связных текстов, глосс и глоссариев, берестяных грамот, граффити);

4) сбор исторических свидетельств, содержащих сведения о внешней истории мерянского языка и истории его носителей, важных для воссоздания наиболее полной картины существования мерянского языка.

Таковы те большие и сложные задачи, которые стоят перед исследователями мерянского языка. В настоящей книге, намечающей путь к их решению, можно было затронуть только небольшую их часть.

ТЕКСТЫ

Примечание. Ввиду отсутствия обнаруженных связных мерянских текстов их заменяют примеры разрозненных, частично реконструированных минимальных текстов-предложений.

1. *Joluś pa joluś < *JoloZə pa joloZə [**tenän seγe(--) (te) – juγę(--) (te)!] – рус. (диал.) *Елусь поелусь!* «Хлеб да соль (приветствие во время обеда)» (Костр. губ. – Солигал. – 1847 г.) (СРНГ VIII 349).

2. ⌊*Il′ – ul′⌋ urma [104, с. 232-233].

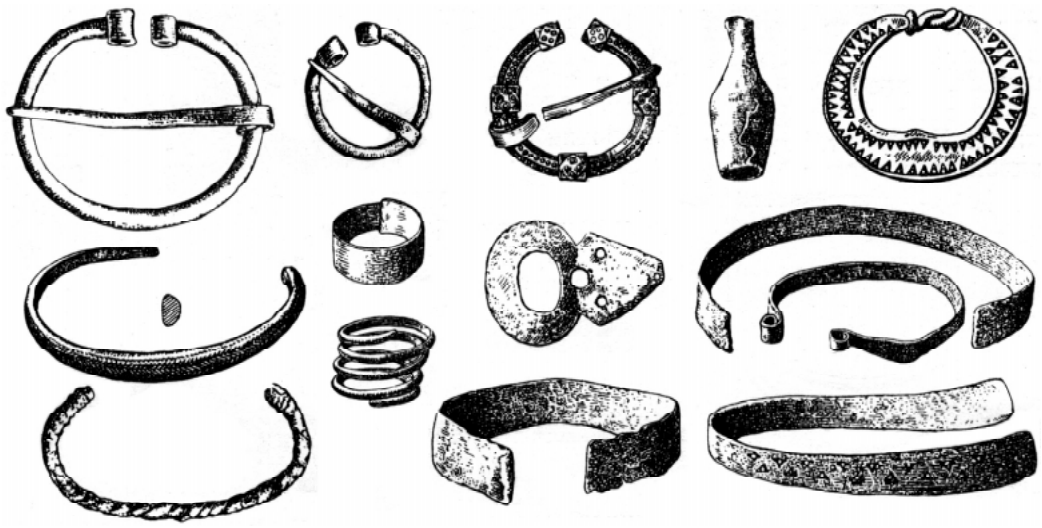
3. *S′i joń juk – рус. (арг.) *сиень* «(это) есть» (Яр. губ. – Угл) КЯОС 184.

Перевод

I. Пусть будет и будет (букв. – пусть есть и пусть есть)! < Пусть будет и будет [у тебя еда (твоя) – питье (твое)]!

2. ⌊Жила-была⌋ белка.

3. Это (есть) река.



Металлические украшения из Сарского городища VI-XI вв. *[22, стр. 97]*

ЧАСТЬ 2

Очерки теории языкового субстрата

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ввиду субстратного характера остатков мерянского языка в русском представляется необходимым рассмотреть основные особенности языкового субстрата в целом на примерах из разных языков, тем более, что далее речь пойдет о внешней истории мерянского языка и об обстоятельствах его постепенной субстрации.

Изучение языкового субстрата, начатое еще в первой половине 19-ого века датским ученым Я.Х.Бредсдорфом и получившее особенно широкий размах после работ итальянского лингвиста Г.И.Асколи, имеет свою долгую и сложную историю. Освещение этой истории, поучительное и интересное само по себе, могло бы стать предметом специального исследования. Тем самым, однако, был бы полностью изменен первоначальный замысел автора настоящей книги, который ставил своей целью не столько критическое освещение прошлого изучения субстрата, сколько теоретическое осмысление сделанного здесь в последнее время, в том числе и им самим.

Настоящая книга состоит из двух частей – теоретической, где обобщается проблема языкового субстрата в целом на основе уже изученного материала, и исследовательской, где дается конкретный пример историко-социолингвистического комментирования субстратного (мерянского) языка на основе предыдущей его реконструкции. Цель предлагаемой книги – подвести итоги тому, что в настоящее время известно о природе языкового субстрата, и наметить пути его дальнейшего, в частности социолингвистического, исследования. Насколько это удалось ее автору, судить читателю.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА[1]

I. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУБСТРАТА. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Языковой субстрат и его место в развитии языков

Социолингвистические процессы, приводящие, с одной стороны, к постепенному отмиранию одного из двух взаимодействующих языков, а с другой, к включению его сохранившихся остатков в качестве субстрата в другой язык, становящийся таким образом преемником первого, представляют собой целый комплекс взаимосвязанных проблем, которые не могут быть с достаточной полнотой и удовлетворительностью решены усилиями одних только языковедов. Можно полностью согласиться с мыслью, что «только благодаря помощи представителей смежных с лингвистикой дисциплин получат реальное обоснование или будут опровергнуты те или иные гипотезы языковедов» (Борковский, с. 5), касающиеся субстрата. «Без исследований археологов, этнографов, антропологов неразрешима проблема субстрата, который понимается нами в широком смысле слова как элементы побежденного языка, усвоенные языком-победителем» (там же, с. 5). Это требование совершенно справедливо и объясняется тем, что «субстрат не есть понятие чисто лингвистическое. Явление субстрата предполагает этногенетический процесс, сопровождающийся определенными языковыми последствиями. Выдающийся интерес проблемы субстрата заключается, между прочим, именно в том, что это одна из тех проблем, где наиболее очевидным и осязаемым образом история языка переплетается с историей народа. В самом деле, когда мы говорим, например, о кельтском субстрате во Франции, мы прежде всего констатируем, что французы, несмотря на свой романский язык, связаны генетически с кельтским народом — галлами, населявшими Францию до римского завоевания; этот факт не остался без влияния и на язык. Языковой субстрат предполагает субстрат этнический» (Абаев, 1956, с. 58). Следовательно, о том, что «озаглавлено «О языковом субстрате», точнее было бы сказать: о языковых последствиях этнического субстрата» (там же, с. 58). Принимая полностью упомянутые соображения и соглашаясь с необходимостью комплексной разработки проблемы языкового субстрата общими усилиями представителей ряда гуманитарных наук, а не только лингвистов, следует тем не менее, не ожидая момента, когда возникнут предпосылки для подобного наиболее эффективного комплексного исследования, решать проблему субстрата раздельно.

Сознавая вынужденную неполноту подобных исследований, ими должны заниматься и языковеды, в частности, наиболее сложной частью задания — выяснением социолингвистических предпосылок возникновения и формирования субстрата. Особая ответственность при выяснении социолингвистических предпосылок возникновения субстрата ложилась на советских языковедов, что вытекало из двух обстоятельств: 1) из обязанности представить научное ис-

[1] Ввиду того, что образование рассматриваемых здесь (преимущественно евразийских) субстратов относится к более или менее далекому прошлому, привлекаемые для исследования факты связаны, как правило, с периодом до XX в.

торико-материалистическое понимание социолингвистических процессов в противовес представителям зарубежного буржуазного языкознания[2] и 2) из того, что Советский Союз являлся многонациональным государством, для которого правильное решение социолингвистических вопросов, в том числе проблемы субстрата, представляли собой значительную теоретическую и практическую ценность.

Поскольку выработка и обоснование положительной научной концепции неизбежно предполагают опровержение противоречащих ей отрицательных антинаучных взглядов, в борьбе против которых уточняются и конкретизируются ее положения, будет нелишним, подходя к освещению особенностей языкового субстрата и его социолингвистических предпосылок, начать с опровержения неприемлемых на него взглядов.

В подходе зарубежной науки к понятию субстрата следует отметить два диаметрально противоположных взгляда. Первый из них заключается в том, что от самого понятия субстрата пытаются отказаться или во всяком случае подвергнуть сомнению целесообразность его применения. На основании субъективных соображений, в лучшем случае подтверждаемых отдельными неудачными работами, посвященными субстрату, по которым нельзя судить об этой обширной проблеме в целом, высказывается мнение, что понятие субстрата становится все менее популярным в современном языкознании, что оно устарело и т.п. Примером подобного подхода является работа Р.Фаукеса «Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата». Справедливо критикуя в ней недостаточно убедительное объяснение в статье П.Делатра (Delattre, p. 43–55) черт английской фонетики, отличающихся от немецких влиянием кельтского субстрата, Р.Фаукес, не подтверждая свои выводы какими-либо другими примерами, выражает скепсис по поводу применения понятия субстрата в языкознании вообще. «Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, — пишет он, — взаимодействие соседей-современников или же почти очевидный факт, что поколение, изучающее новый язык, принесет в этот язык много собственных речевых навыков. Что же касается таинственной атавистической силы древних субстратов, то она представляется окутанной слишком густым туманом, чтобы можно было вести научное наблюдение: есть лишь возможность строить всякие, иногда довольно увлекательные предположения ... Конечно, надо быть благодарным за любую попытку приблизиться к «объясняющей лингвистике», однако теория субстрата до сих пор остается исключительно шатким основанием для какого-либо объяснительного построения» (Фаукес, с. 342–343). Высказанное здесь критическое замечание недостаточно убедительно и может быть принято безоговорочно только как предостережение против необоснованного употребления понятия субстрата. Однако нельзя согласиться с тем обобщением в отношении субстратных исследований, которое делает Р.Фаукес и которое можно воспринять только как полное отрицание возможности конструктивного применения этого понятия в том случае, когда речь идет о последствиях взаимодействия двух языков в древности на одной территории, при котором один язык исчез, а другой сохранился, включив в себя — в большей или меньшей степени — пережитки первого.

Наряду со взглядом, заключающимся в полном отрицании субстрата, в зарубежном языкознании распространен противоположный, сущность которого состоит в преувеличении роли субстрата, его абсолютизации, в безоговорочном принятии его возникновения и воздействия, обусловленного чисто биологическими, генетическими причинами. Этот взгляд, будучи представленным в работах некоторых зарубежных лингвистов и являясь одинаковым в своей основе и различным только в деталях, отмечается на протяжении всей первой половины XX века. Так, немецкий ученый Э.Гамиллшег еще в 1911 г. высказал мысль,

[2] При том, что в СССР борьба с зарубежным буржуазным языкознанием предписывалась существующим строем, всё же остаётся актуальной и до сих пор борьба с приведёнными ниже и подобными им теоретическими концепциями, как, в сущности, антинаучными, поскольку они исходят не из объективного и добросовестного исследования фактов, а из предвзятых мнений или из сугубо априорных умозрительных построений, не подтверждаемых реальными данными.

свидетельствующую о том, что субстрат в фонетике представляется ему чем-то незыблемым, независимым от условий взаимодействия двух языков: «То, что население способно полностью отказаться от собственной артикуляционной базы в пользу чужой, является абсолютно недоказанной гипотезой» (Gamillscheg, S. 185). Если в высказывании Э.Гамилльшега только подчеркнута обязательность сохранения субстрата (в данном случае фонетического), по-видимому, в любых условиях, а, следовательно, и независимо от них, то несколько позже голландский языковед Я. ван Гиннекен попытался обосновать подобную незыблемость фонетического субстрата наследственностью звуковых законов. Ср.: «Общие задатки человека являются... настолько многосторонними, а артикуляционные базы большинства европейских языков настолько похожими, что здесь у нас практически любой ребенок без труда может усвоить артикуляционную базу своего окружения в качестве фенотипа, не теряя при этом полностью и своей собственной генотипической артикуляционной базы. Последняя, например, проявится отчетливо, когда этот ребенок, иногда через много лет или в своих потомках, возможно, через столетия, снова придет в соприкосновение со звуками своей собственной артикуляционной базы. Тогда такой человек может вдруг почувствовать себя сразу как дома, задвигаться сразу с величайшей легкостью, тогда он станет певучим художником языка, тем временем как до того он был всего лишь подражателем-халтурщиком» (Ginneken, S. 13) Ту же позицию субстратной наследственности звуковых законов и особенностей значительно позже занял французский ученый А.Доза, объясняя, например, отсутствие звука v в баскском языке явлением прогнатизма (выдвинутой вперед нижней челюстью, касающейся поэтому не зубов, а верхней губы), которое привело к тому, что возникла тенденция к произношению b вместо v, точнее звука β, занимающего промежуточное положение между v и b (Dauzat, 1953, p. 34). Воздействие субстрата (в фонетике) объясняется и здесь генетическими (антропологическими либо биологическими) особенностями, совершенно независимыми от социальных условий развития языковых процессов, в данном случае взаимодействия языков.

В большинстве случаев врожденность субстрата, его генетико-антропологическую предопределенность в работах зарубежных лингвистов относят, как видно из приведенных выше высказываний, к фонетике. Однако наблюдаются попытки распространить подобное объяснение и на другие области субстратных явлений. Так, Э.Леви появление в языке старого Гете парных образований типа Wechsel – Dauer «изменчивость – стойкость», Rache – Segen «месть – благословенье», herrlich – hehr «великолепный – величественный» и т.п., т.е. черту, относящуюся к особенностям словообразования, пытается объяснить тем, что в старости в языке великого поэта все больше стал проявляться биологический тип его предков по отцовской линии со свойственными ему языковыми особенностями. Поскольку эти предки родом из Восточной Франконии, где в прошлом жили славяне, по-видимому, сами были славянами, славяне же, по мнению Э.Леви, – «финно-угризованные индоевропейцы» (Lewy, 1961, S. 91–105; 1961a, S. 106–112), а, как известно, для части славянских и всех финно-угорских языков парные слова весьма характерны, то возвращение под старость к этому исходному типу было связано у Гете, в частности, с перенесением в немецкий язык присущей славянам (и их субстрату, финно-уграм) модели парных слов (Ткаченко, 1979, с. 90–91, 96–97, 116–117, 125–126, 145–146, 159–160, 169–170, 176–214). Несмотря на возможность более правдоподобного научного объяснения указанной особенности языка старого Гете вполне реальными обстоятельствами – его непосредственным окружением и языком этого окружения, где, действительно, под влиянием славянского субстрата в немецком языке могла приобрести известную продуктивность модель парных слов, Э.Леви исходит из чисто биологического фактора, якобы «воскресившего» под старость у Гете одну из черт его далеких предков. Даже такая деталь, как появление упомянутой языковой черты (парных слов) именно у старого Гете, что могло бы толковаться вполне реалистично как следствие

большей уверенности Гете, авторитетного мастера языка и стиля, в своем праве использовать известные ему языковые черты, если они и не совпадают с обычными нормами немецкого языка, объясняется особенностями унаследованного им биологического типа, усилившего свое влияние на поэта в старости. Таким образом, научному и аргументированному объяснению субстратных черт как особенностей, обусловленных прежде всего социолингвистическими обстоятельствами, предпочтено, в сущности, идеалистическое обоснование их появления действием биологической, генетической силы. Оба взгляда, как тот, в котором полностью отвергается само понятие субстрата, так и тот, на основании которого субстрат объявляется чем-то совершенно незыблемым и свойственным языку в любых условиях, причем связанным не с социальными условиями его развития, а с чисто биологическими особенностями его носителей, является ненаучными, идеалистическими и поэтому абсолютно неприемлемыми. Каждый из них по-своему вреден для дальнейшего развития языкознания. Отрицательно может сказаться на развитии науки, в частности, нигилистический подход к понятию субстрата, при котором последний признается несуществующим, а те стороны в истории языка, которые могут быть познаны с его помощью, — субстратные включения в языке-преемнике, возможность частичной реконструкции отмершего субстратного языка с помощью его остатков, — объявлены в конечном счете непознаваемыми. Таким образом, в этом взгляде на субстрат и его проявления отражена в наибольшей степени такая черта идеализма, как агностицизм. Взгляд, на основании которого субстрат полностью отвергается, совершенно неприемлем с разных точек зрения. Он опровергается как с методологической точки зрения, так и эмпирически самой практикой лингвистической исследовательской работы.

Стоит отметить, что, хотя термин *субстрат* еще отсутствует у Ф.Энгельса (термин распространился позже), само понятие субстрата было принято этим классиком марксизма, специально интересовавшимся и занимавшимся вопросами языкознания. В своей работе «Франкский диалект», написанной в 80-е годы прошлого века, Ф.Энгельс в значении «субстрат» употребляет близкое по смыслу к нему слово «пережиток» (Überrest) применительно к франкскому субстрату в древнесаксонском языке (Энгельс, с. 24, 25). Говоря в той же работе о фризском субстрате в западно- и северогерманских языках, Ф.Энгельс не употреблял никакого термина, но описательно настолько точно характеризует само явление субстрата, что у современных ученых, в частности у советского нидерландиста С.А.Миронова, не вызывает ни малейшего сомнения то, что в данном случае Ф.Энгельс имеет в виду (фризский) субстрат, — ср.: «На западе он (фризский) был оттеснен или совсем вытеснен нидерландским (языком), на востоке и севере — саксонским и датским, но в обоих случаях оставляя сильные следы в языке, который вытеснил его (... in beiden Fällen starke Spuren in der eindringenden Sprache zurücklassend (подчеркивание мое. — *О.Т.)* (Энгельс, с. 29, 31). По поводу этого места у Ф.Энгельса С.А.Миронов замечает: «В приведенном отрывке дана в чрезвычайно сжатой форме исчерпывающая и глубоко научная характеристика языковых отношений, сложившихся в Нидерландах в XVI– XVII вв. в связи с перенесением центра языкового развития на север и со смещением диалектной базы нидерландского литературного языка. Вместе с тем здесь очень ярко и убедительно показан гетерогенный, смешанный характер новонидерландского языка: необходимость выделения в нем основного франкского ядра и элементов ингвеонского (преимущественно фризского) субстрата» (подчеркивание мое. — *О.Т.*) (Миронов, с. 248). Методологическая обоснованность и целесообразность применения понятия субстрата, нашедшего отражение в трудах Ф.Энгельса, подтверждена как в самом его исследовании «Франкский диалект», получившем высокую оценку в работах современных германистов[3], так и в последующих работах

[3] См., в частности, у Т.Фрингса: «То, что мы (немецкие германисты. – *О.Т.*) обнаружили на Рейне в процессе кропотливой и напряженной работы, на 40 лет раньше уже было открыто взору Энгельса. В своей работе Ф.Энгельс, еще в период безоговорочного господства младограмматиков, отказывается

отечественных и зарубежных исследователей. В частности, эта целесообразность доказана в тех исследованиях, где на основании изучения элементов субстратного языка в языке-преемнике была получена возможность хотя бы фрагментарной, но в то же время системной реконструкции угаснувших языков, дошедших до нашего времени преимущественно или исключительно в составе субстратных элементов языка-преемника (Ткаченко, 1985; Reichenkron). Сама возможность создания подобных работ была бы полностью исключена при отсутствии явления субстрата. Отрицательное отношение к субстрату, непризнание его существования вредно тем, что, внушая нигилистическую мысль об отсутствии субстрата или его непознаваемости, граничащую с прямым агностицизмом, оно тормозит развитие субстратоведческих исследований, а тем самым реконструкцию исчезнувших языков, сохранившихся только в виде субстрата, и глубокое исследование истории языков-преемников, включивших в себя субстратные элементы того или иного исчезнувшего языка.

Не менее отрицательно сказывается на исследовании языковых субстратов и субстратных языков и другое идеалистическое направление зарубежного языкознания, которое, напротив, тяготеет к преувеличению роли субстратов, их абсолютизации, а в конечном счете к отрыву развития языка в его взаимодействии с другими языками от (конкретной) истории общества. Исходя из этого, нельзя согласиться с чисто биологической или антрополого-генетической, причем совершенно не связанной с историей общества, носителями определенного языка (языков), трактовкой, которую явление субстрата получает в работах Э.Гамилльшега, Я. ван Гиннекена, А.Доза, Э.Леви и их последователей. Этому, кстати, не противоречат и недавно полученные данные фонетического эксперимента, которые как будто подтверждают мысль о врожденной национальной артикуляционной базе. Так, эксперимент, проведенный грузинским и русским фонетистами на двух группах грудных детей нескольких часов от роду, происходящих от чисто грузинских (в первой группе) и чисто русских (во второй) родителей, при изучении артикуляционно-акустических особенностей их крика показал, что у грузинских детей значительно сдвинута назад артикуляционная база. Следовательно, их голосовой аппарат как бы заранее предрасположен к более удобному, чем у русских, произнесению типичных грузинских звуков, в том числе абруптивных (смычногортанных), особенно трудных для усвоения негрузин. Артикуляционная база русских детей, напротив, с самого младенчества, т.е. задолго до усвоения языка, как бы приспособлена к исходному положению, наиболее удобному для усвоения русских звуков (Джапаридзе, Стрельников, с. 58–64). Однако независимо от интерпретации рассматриваемого явления, которое допускает возможность объяснения и с социолингвистической точки зрения (как результат «настройки» голосового аппарата младенца еще в утробный период вследствие отражения особенностей артикуляции матери, говорящей по-грузински или по-русски, являющейся членом грузинского или русского (языкового) общества), — даже в том случае, если рассмотренный выше феномен обусловлен исходными генетико-биологическими факторами, он не дает основания рассматривать явления субстрата в целом как результат только сугубо биолого-генетических особенностей и процессов. Это объясняется тем, что, даже при наличии определенной предрасположенности к большей или меньшей легкости произношения тех или иных звуков, которая в примере лингвистического эксперимента тоже ведь вытекает в конечном счете из факта социолингвистического — принадлежности обоих родителей к одной языковой общности, судьбы дальнейшего развития фонетики определенного индивида или группы (коллектива, общности) говорящих зависят не столько от фонетической предрасположенности, в какой-то степени, возможно, обусловленной и биологическими факторами, сколько в значительно большей степени от

от чисто физиологического, построенного на естественнонаучных закономерностях, рассмотрения языка. Вместо застывшего и неподвижного, вместо отдельного и разрозненного, вместо догматического правила Энгельс видит историческое движение и историческую жизнь. Он совершает, не оговаривая этого специально, переход к социально-историческому рассмотрению языка» (Фрингс, с. 223).

социологических (социолингвистических) причин. В еще большей степени это относится к явлениям лексики, фразеологии и грамматики. Упомянутый выше взгляд характеризуется тем, что в нем на первом месте стоит фактор биологический, расово-генетический, хотя речь идет о языке, явлении, свойственном человеку, существу прежде всего общественному, формирующемуся и развивающемуся вместе с языком в связи с особенностями развития общества, а не вне его, в отрыве от него. Как бы ни были сильны в человеке черты антропологические, обусловливающие и его фонетику, фонетические особенности его произношения могут быть признаны в качестве действующих норм, — а не его индивидуальных, отклоняющихся от них особенностей, — только в случае их принятия языковым коллективом, обществом. Что же касается передачи по наследству артикуляционных субстратных черт, то она маловероятна хотя бы уже в связи с самим биологическим способом воспроизводства человека (не говоря даже о социальных факторах), который с неизбежностью предполагает для продолжения рода объединение генов одной линии наследственности с генами другой. Как в подобных условиях, уже биологически сложных (безотносительно даже к языковым традициям общества) может проложить себе дорогу линия определенной генетически обусловленной артикуляционной базы, «объясняет» разве что идеалистическая мистика расизма. Ничего общего с истинной наукой, базирующейся на принципах разумно обоснованного научного материализма, подобные взгляды не имеют. Нельзя не согласиться ввиду этого с приводимым Б.Гавранеком мнением Е.Уотма (Whatmough), который по поводу подобных субстратных теорий пишет: «С мистической или атавистической интерпретацией субстрата нужно покончить раз и навсегда; это химера или, вернее, собрание химер» (Гавранек, с. 109).

Критическое рассмотрение идеалистических, антинаучных взглядов на языковой субстрат и причины его возникновения позволяет, таким образом, с еще большей точностью и конкретностью, чем бы это могло быть сделано без него, говорить о том, что наиболее глубокими и определяющими причинами, ведущими, с одной стороны, к отмиранию одного из двух взаимодействующих языков, а, с другой, к постепенному превращению остаточных пережитков первого в субстрат второго из этих языков, являются преимущественно социолингвистические. Другие причины и факторы, действующие при этом в своей основе социолингвистическом процессе, — интралингвистические (внутриязыковые, такие, как фонетические, лексические, грамматические изменения, связанные с действием сугубо внутриязыковых факторов), психолингвистические, этнолингвистические и т.д., — выступают в данном случае только как сопутствующие и производные по отношению к социолингвистическим причинам.

Субстрат, так же как и другие, смежные с ним, явления — суперстрат, интерстрат, адстрат, инстрат[4], представляет собой следствие взаимодействия двух (реже нескольких) языков. Однако в отличие от адстрата и инстрата, где речь идет о заимствованных элементах из живых языков, и от интерстрата, где, несмотря на известную омертвелость иврита как основы интерстрата, он никогда не становился полностью мертвым и в конечном счете снова стал полностью возрожденным, живым языком, в случаях субстрата и суперстрата речь идет об элементах языка, ставшего мертвым для носителей языка, в котором эти элементы выступают. В субстрате в качестве мертвого, растворенного в своих

[4] Суперстрат — остатки языка пришельцев, растворившегося в языке автохтонов (например, элементов булгарского языка в болгарском, франкского во французском, англо-норманнского диалекта старофранцузского языка в английском и под.). Интерстрат — каждый из остатков предыдущего языка, в основном с преобладанием элементов иврита, в следующем из языков евреев с периода утраты иврита в качестве разговорного языка до времени восстановления его в этой функции в еврейской части Палестины (> государстве Израиль). Адстрат — слой заимствований, возникающий в каждом из смежных языков в результате их контактов, не приводящих к вытеснению одного языка другим (например, болгарские заимствования в румынском, румынские в болгарском). Инстрат — слой заимствований в языке, подвергшемся особенно сильному воздействию со стороны смежного и однотерриториального с ним языка (немецкие элементы в ретороманском Швейцарии).

сохранившихся элементах языка в языке-преемнике выступает язык автохтонов, в суперстрате, напротив, языком-преемником является язык автохтонов, языком отмершим и растворившимся в нем становится язык пришельцев.

Очевидно, в наиболее чистом виде суперстрат сохраняет свое своеобразие по отношению к субстрату только тогда, когда его носителями являются небольшие группы завоевателей, сравнительно быстро растворяющиеся среди побежденных. В этом случае завоеватели, составляющие узкую и немногочисленную прослойку, правящую завоеванной территорией и командующую войсками, растворяясь в местном населении, как правило, не оказывают влияния на фонетику и грамматику языка автохтонов, обогащая главным образом только его лексику словами, связанными преимущественно с управлением и армией, реже, когда речь идет об определенном культурном превосходстве пришельцев, это обогащение лексики касается культуры в широком понимании. Если же будущее суперстратное население проникает на завоеванную территорию большими массами, заселяя значительную ее часть, с социолингвистической точки зрения его общественные низы, составляющие наибольшую долю среди пришельцев и дольше всего сохраняющие свой язык, со временем, когда язык завоевателей, теряя полностью свой престиж, начинает отмирать, оказываются, в сущности, в таком же положении, как и носители субстратного языка. Результат отмирания этого суперстратного языка в таком случае в основном ничем не отличается от последствий отмирания языка субстратного. Поэтому, очевидно, точнее было бы говорить при этом не о языковом суперстрате, а о субстрате, который ввиду вторичности появления на территории его распространения следует в отличие от обычного первичного субстрата называть вторичным субстратом. Следы подобных вторичных субстратов можно, в частности, обнаружить в диалектах и языках современной Романии на месте бывшего распространения германских языков, принесенных сюда германскими завоевателями в эпоху великого переселения народов, таких, как готский и лангобардский в Италии, франкский и бургундский во Франции и т.д. Рассматривая социолингвистические предпосылки образования субстратов, следовательно, нужно иметь в виду не только первичные, т.е. наиболее типичные, субстраты, но и вторичные, возникшие на основе исходных суперстратов. Целесообразнее все же, рассматривая явление субстрата в целом, исходить в основном из первичных субстратов как наиболее типичных, прежде всего в связи с тем, что первичный субстрат в наибольшей степени соответствует социолингвистическому представлению об этом языковом образовании. С ним (в отличие от суперстрата) с самого начала связано представление о языке (соответственно позднее — его остатках), находящемся в социологически низшем положении относительно другого языка (в дальнейшем — языка-преемника), наслоившегося на него и занимающего более высокое положение[5].

Появление субстратов, как уже отмечалось выше, связано с исчезновением языков, вытесняемых другими языками, появившимися вместе с их носителями на прежде не занимаемой ими территории. В истории языков, которыми пользуется человечество, — с тех пор, как эта история стала известной, — отмечается три типа их развития: 1) независимое, относительно автономное, развитие языка на той или иной территории, не связанное как с вытеснением этого языка другими языками, так и с экспансией данного языка за границы своего первоначального распространения; 2) более или менее значительная экспансия языка за пределы территории своего первоначального распространения, связанная обычно с тем, что данный язык в связи со своей экспансией вытесняет и замещает другие языки; 3) вытеснение первоначально существовавшего на той или иной территории языка, вызванное экспансией на эту территорию другого языка, и в связи с этим переход населения, проживающего на данной территории, со своего языка на язык пришельцев. Если в первом случае

[5] Об этом говорит и сам термин *субстрат:* ср. лат. sub-stratus «под-стилка» от sub-sterno «под-стилаю, под-кладываю, кладу под что-либо», с которым связано представление о социологически низшем языковом слое.

языковые контакты не связаны со сменой языка, то во втором и третьем случаях лингвистической ситуации, которые взаимосвязаны и взаимозависят друг от друга, языковые контакты приводят к замене одного языка другим. Именно с ними связано также появление языкового субстрата. Истории известно очень много случаев экспансии языков и соответственно вытеснения ими других языков. Поскольку языковая экспансия очень часто, приводя к распространению того или иного языка, затем заканчивалась распадом его на ряд диалектов, а впоследствии и к появлению развившихся на их основе родственных языков, причем территория распространения каждого из них оказывалась, как правило, связанной с территорией былого распространения вытесненных субстратных языков (при отсутствии языковой экспансии подобное явление не отмечалось), можно думать, что распаду первоначально единого языка в случае его экспансии в значительной степени способствовало появление разных субстратов, вызывавшее расхождение в развитии того же самого языка на разных территориях, а это в конечном счете приводило к превращению единого языка в ряд родственных языков. Типичным примером подобного развития, известного истории, является экспансия латинского языка в западной и центральной части Римской империи, так наз. романизация, приведшая через несколько веков после падения западной части Римской империи и захвата варварами римской провинции Дакии к образованию группы родственных романских языков, на которые распалась единая народная латынь, — итальянского, сардского, португальского, испанского, галисийского, каталанского, французского, провансальского, ретороманского, далматинского, румынского. Следует думать, что подобная же экспансия прагерманского и праславянского языков, менее известная истории ввиду более позднего появления письменности у соответствующих народов, привела к образованию двух больших языковых групп — германской и славянской. Там, где подобной экспансии не произошло или ее последствия были уничтожены экспансией других языков (эллинизация восточного Средиземноморья, перекрытая последствиями позднейшей арабизации), групп (семей) родственных языков не возникло. Именно поэтому в настоящее время в составе, например, индоевропейской семьи можно встретить языковые группы, представленные одним языком, — албанскую, греческую, армянскую.

Таковы общие, в том числе социолингвистические, особенности субстратов и их место в процессе развития языков.

2. Социолингвистические причины и особенности возникновения субстрата

При всем многообразии конкретных случаев взаимодействия двух языков, результатом которых явилась смена языка, вызванная вытеснением одного языка другим и включением остатков вытесненного языка, языкового субстрата, в язык-преемник, все наблюдаемые при этом особенности сложного социолингвистического процесса обнаруживают значительное число общих моментов. Это позволяет, отвлекаясь от частностей процесса смены языков и используя наиболее типичные черты конкретных примеров только для воссоздания общей картины, попытаться дать обобщенное представление о нем, моделировать социолингвистический процесс, сопутствуемый образованием субстрата.

Одну из необходимых социолингвистических предпосылок, связанных в конечном счете через ряд посредствующих этапов с вытеснением языков и возникновением на основе их пережитков субстрата, представляет собой явление языковой экспансии.

Истории известен целый ряд примеров языковой экспансии, широкого распространения тех или иных языков: в древности греческого (в восточном Средиземноморье), латинского (в западном Средиземноморье), в средние века арабского, в новое время русского, английского, французского, испанского, португальского. К примерам языковой экспансии относится, несомненно, также распространение индоевропейских языков, которому должна была предшествовать экспансия индоевропейского праязы-

ка и его различных ответвлений. Сюда же следует отнести распространение таких неиндоевропейских языков, как китайский, тюркские, финно-угорские, малайско-полинезийские и ряд других. В основе широкого территориального распространения определенного языка лежит расселение соответствующего этноса, его носителя. Причины, вызывающие переселения и расселения, могут быть разными, и далеко не всегда в их основе, особенно в начальный период развития этноса, лежит его экономическое благосостояние, связывающееся нередко, напротив, с определенной инертностью. Чаще внешние миграции стимулируются бедностью первоначально занятой территории, непрочностью, ненадежностью естественных границ. Если это сочетается с удобством расположения данной территории в качестве торгового, перевалочного пункта, подобное крупное преимущество может нейтрализовать и сделать, наоборот, положительными стимулами, определяющими необходимость и перспективность экспансии, те отрицательные моменты, которые этой территории свойственны, — бедность природных ресурсов, отсутствие надежных естественных границ. Как показывает опыт истории, многие центры будущих процветающих и могущественных государств и соответственно культурных центров сложились именно в подобных условиях — Афины в Греции; Рим как центр Лациума, расположенного в центре Италии, в свою очередь естественного центра Средиземноморья; торговый центр Аравийского полуострова Медина рядом с расположенным поблизости религиозным центром Меккой как исходные пункты экспансии арабов; Константинополь, центр Византии, у проливов, связывающих Европу и Азию; Лондон как торговый центр Англии, затем Британской империи; Киев в Киевской Руси на «пути из варяг в греки»; Москва, расположенная в Средней России, у истоков рек, связывающих ее с пятью морями — Балтийским, Белым, Черным, Азовским, Каспийским и т.п. Удобное расположение определенной местности в качестве торгово-экономического центра способствовало тому, что народ, населявший ее, значительно быстрей, чем окружающие народы, развивал свою материальную и духовную культуру. Это давало ему по сравнению с ними не только военное превосходство, но, что значительно важнее, также политическое, экономическое и культурное. Таким образом, возрастала и становилась относительно большей ценность языка метрополии по сравнению с языками смежных стран, впоследствии провинций соответствующего государства. Эта относительно более высокая ценность языка, получившего тенденцию к распространению, вытекала из того, что он превращался в орган более высокой по отношению к провинциальным языкам культуры. Если это превосходство, однако, было небольшим, частичным и даже во многом спорным, языки завоеванных стран успешно выдерживали конкуренцию с языком метрополии. Известно, что латинский язык, вытеснивший в западной части империи за более или менее длительный (или короткий) период такие языки, как иберский, галльский, оскский, умбрский, этрусский, ретский, дако-мизийский, тем не менее не смог вытеснить греческий, представляющий высокую цивилизацию, которая не только не уступала римской с ее органом, латинским языком, но в некоторых моментах едва ли ее не превосходила. Очевидно, иногда сохранению языков могла способствовать и значительная природная, географическая замкнутость определенных территорий. Так, видимо, обстояло с сохранением баскского языка, пережившего Западную Римскую империю и дожившего до наших дней, или с албанским, единственным палеобалканским индоевропейским языком, сохранившимся на Балканах и устоявшим перед натиском как эллинизации и романизации, так и позднейшей славянизации.

Таким образом, вытеснение одного языка другим становится возможным только тогда, когда между обществами, пользующимися двумя языками и оказавшимися в силу экспансии одного из них на общей государственной территории, существует слишком большое и устойчивое расхождение в их развитии, причем уровень развитости (политической, экономической, культурной) одного из них значительно превышает уровень другого, создавая целый ряд преимуществ для тех, кто, пользуясь его языком, относится к нему. В целом, однако, смена языка зависит от ряда факторов,

которые редко выступают обособленно. Обычно смена языка является следствием совместного действия нескольких из них. Если факторов, вызывающих смену языка, мало или им со стороны языка, испытывающего воздействие экспансии другого, эффективно противостоит какой-либо из важных факторов, который в значительной степени нейтрализует это воздействие, смены языка может не произойти. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением современного немецкого языковеда (из ГДР) Карла-Хейнца Шенфельдера (Karl-Heinz Schönfelder), который, убедительно говоря о данных факторах, замечает следующее: «Вопрос, какой из двух языков одержит победу, а какой погибнет, зависит от определенных обстоятельств и от целого ряда факторов, которые мы должны тщательнейшим образом изучить. Недостаточно рассмотреть тот или иной фактор обособленно от всех остальных, так как в этом случае мы неизбежно придем к ошибочным выводам... одностороннее рассмотрение того или иного фактора недостаточно, чтобы решить, почему смена языка произошла именно таким, а не каким-либо другим способом.

Важнейшими факторами, которые должны быть рассмотрены в их совокупности, являются следующие:

1) количественное отношение смешивающихся народов;

2) временная протяженность и интенсивность взаимного соприкосновения или проникновения;

3) военное и политическое превосходство одного из народов;

4) культурное превосходство одного из народов;

5) социальное положение лиц, относящихся к смешивающимся группам или народам;

6) факторы, касающиеся религии;

7) психические особенности смешивающихся народов;

8) географические и транспортно-технические факторы;

9) структура сталкивающихся языков» (Schönfelder, S. 46, 49).

Рассматривая историю языков с социолингвистической точки зрения, можно отметить в связи с вышеуказанным два пути их развития — 1) конструктивный и 2) деструктивный. Конструктивный путь развития языка, связанный с экономическим, политическим, культурным подъемом общества, пользующегося определенным идиомом, ведет к неуклонному повышению последнего, к приобретению им статуса языка, превращению диалекта, на базе которого он развивается, в основу языковой литературной нормы. Деструктивный путь, связанный с экономическим, политическим, культурным упадком, застоем и отсталостью общества, пользующегося соответствующим идиомом, ведет, напротив, к деградации этого идиома, утрате им статуса языка, постепенному превращению его в совокупность все более отдаляющихся друг от друга говоров. Процесс деструкции языка не возникает сам по себе, а связан, как правило, с одновременным (и вызывающим его) процессом распространения на территории деградирующего языка другого языка, находящегося в состоянии конструкции. Таким образом, оба процесса начинают связываться друг с другом и со временем все больше друг на друга влиять. Если связь между двумя независимо развивающимися на разных территориях и только смежных друг с другом языками носит характер координации, — языки, взаимовлияя, находятся в примерно одинаковом социолингвистическом положении, и ни один не находится в состоянии подчиненности, зависимости от другого, — то в случае (потенциальной) ситуации вытеснения одного языка другим ей сопутствует и ее предопределяет положение субординации, т.е. подчинения, все большего и полного, одного языка другому. Подобное отношение между языками складывается тогда, когда в силу экстралингвистических обстоятельств один из них начинает приобретать все большую социолингвистическую ценность, а другой все больше эту ценность терять. Объясняется это сложным взаимодействием языка и общества, пользующегося тем или иным из языков. Процессы, определяющие превращение одноязычного населения в население, которое пользуется двумя языками, своим (первым) и вторым (чужим), а затем снова в одноязычное, но уже с другим родным языком, и первого из двух языков в субстрат второго, являются социальными.

Вместо двух этнических обществ (народов) с двумя культурами и языками возникает одно общество (народ) с одной культурой, выражением которой является один общий язык. Это вызывается тем, что превалирующее общество (общество А) становится центром консолидации, который все больше увеличивается, между тем как другое общество (общество В) подвергается параллельно распаду и количественно уменьшается. Оба процесса — социальный и языковой — идут параллельно. Привлеченные преимуществами общества А, в него переходят прежде всего высшие, а позже средние слои общества В, что находит свое выражение также в их окончательном (через стадию двуязычия) переходе на язык А. Общество А благодаря этому увеличивается, общество В становится рудиментом бывшего отдельного общества, поскольку из него выпадают высшие (ведущие) слои, переходящие в общество А. Это предопределяет социальную зависимость остатков общества В от общества А. В такую же зависимость от языка А попадает и язык В. Потеряв высшие социальные слои своих носителей, которые являются, как правило, носителями литературного (наддиалектного) языка, — что определяется их ведущей ролью в обществе, — язык В превращается в совокупность диалектов «без крыши»[6], т.е. диалектов без собственного нормативного общенародного языка. Отсутствие собственного наддиалектного языка приводит, с одной стороны, к тому, что социально низшие по отношению к языку А диалекты языка В начинают распадаться на все более изолированные и отдаленные друг от друга говоры, а, с другой, к тому, что в «крышу» этих говоров превращается фактически социально высший по отношению к ним язык А, который становится для них субординирующим и начинает все больше подчинять их своему влиянию. Подобное социолингвистическое отношение возникает, как справедливо замечает А.Мартине, между любым общенародным (литературным) языком определенной страны и говорами без собственного литературного языка (или со слабо развитым и маловлиятельным литературным языком), даже независимо от степени генетической близости (напр., французский литературный язык — французские, провансальские, бретонские, баскские говоры) (Мартине, с. 507)[7]. Социолингвистическое отношение говоров неродственных языков к субординирующему литературному языку можно, по-видимому, сравнить при этом с отношением к литературному языку т. наз. «тайных языков», социалектов (арго), что оправдывается и тем, что носителями подобных говоров, как правило, являются только представители части низших классов и профессий (крестьяне, рыбаки, мелкие ремесленники и т.п.), между тем как средние и высшие слои, связанные происхождением с носителями говоров подобного языка, преимущественно этими говорами не пользуются. Именно исходя из этого, Б.Терначини считает субстрат, возникший в результате включения остатков субординированного языка в субординирующий, следствием положения, при котором субординированный язык вступает касательно субординирующего в отношение, напоминающее отношение диалекта к национальному языку: «Строго говоря, при субстрате уже не существует побежденного языка отдельно от языка-победителя, и оценка фактов первого с точки зрения системы последнего сводится к чисто стилистическому понятию «вульгаризма» (Терначини, с. 30–31).

Зависимость говоров языка В от языка А усиливается еще больше в связи с развитием двуязычия у остатка носителей первого. В последний период существова-

[6] Это образное выражение (нем. dachlose Mundart, англ. roofless dialect) заимствовано у немецкого исследователя Г.Клосса (Kloss, p. 304).

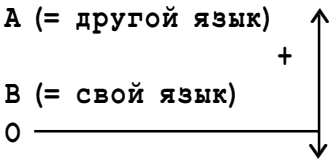
[7] Этому не противоречит то обстоятельство, что на субстратный (точнее, субстратизирующийся) язык непосредственно могут влиять и его вытеснять не литературный субординирующий язык, а диалекты этого языка (Вайнрайх, с. 176–177), поскольку данные диалекты выступают в этом случае как представители социально более высокого языка (случай нижненемецких говоров по отношению к полабскому языку) или являются в определенной стране фактически функционирующим наддиалектным национальным разговорным языком (Schwytzerdütsch в Швейцарии), т.е. в сущности той же социально высшей языковой «крышей» (диалекты Schwytzerdütsch по отношению к ретороманским говорам).

ния языка B двуязычие его носителей становится сплошным. Это ставит их уже не перед дилеммой перехода с одного (своего) языка на другой (чужой или малознакомый) язык, а перед выбором одного из двух своих языков как языка исключительного пользования, где, возможно, язык B даже уже хуже знаком, чем язык A. Таким языком со все большим основанием должен стать язык A, как не требующий двуязычия. Переход к его исключительному употреблению происходит тем проще, что к этому времени вследствие длительного взаимодействия обоих языков они значительно сближаются. С одной стороны, традиционный язык B многое (то ли в виде калек, то ли непосредственных заимствований) воспринимает из языка A, с другой — носители языка B (при участии также носителей языка A) переносят многое в язык A. Эти элементы традиционного местного языка во вновь усвоенном и становятся субстратными элементами (включениями) при окончательном переходе носителей языка B к исключительному употреблению языка A (и — соответственно — к полному отказу от употребления своего первого традиционного языка).

Указанный процесс является процессом параллельной деструкции языка B при конструкции языка A. Однако поскольку конструкция одного языка не идет независимо от деструкции другого, а тесно связана с ней и по крайней мере частично питается ею, конструкция языка A в этих условиях превращается фактически в большую или меньшую его реконструкцию, перестройку. Следствием этой перестройки (с формулой b + A, где b обозначает субстратный вклад языка B) является возникновение нового языкового образования A_1 ($b + A \geqslant A_1$). Ясно, что новое языковое образование $A_1 \neq B$, но так же уже и $A_1 \neq A$. От приобретения этим новым языковым образованием (A_1) независимого социолингвистического статуса зависит в дальнейшем, сможет ли оно стать отдельным языком или останется на положении зависимого от литературного языка диалекта, варианта литературного языка и т.п.

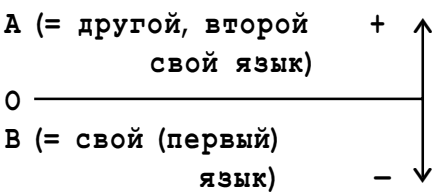
С социолингвистическими факторами, наиболее решающими в процессе постепенного угасания того или иного языка, тесно связаны вытекающие из него психолингвистические моменты, которые впоследствии играют немалую роль в этом процессе. До тех пор пока носители того или иного языка признают за ним какую-то определенную ценность, пока они осознают себя определенным, отличным от носителей другого языка обществом, имеющим целый ряд своих особых хозяйственных, экономических, социальных, культурных задач, не совпадающих с задачами общества носителей другого языка, как правило, это способствует сохранению их языка, который является одной из наиболее ярких черт, выражающих эту специфику общества, пользующегося им, помогает сохранению единства соответствующего этно-языкового общества (соответственно племени, племенного союза, народности, нации). Упадок языка наступает тогда, когда общество одного языка (языка B) начинает полностью сливаться с обществом, пользующимся другим языком (языком A), начинает осознавать себя только частью общества A, имеющей абсолютно идентичные с ним цели и задачи. Эта психолингвистическая настроенность, вытекающая из социолингвистической ситуации, которая в свою очередь складывается как следствие целого ряда экономических, социальных, этно-культурных, политических и т.п. процессов, связана с вытекающей отсюда переориентацией носителей культуры и языка B на культуру и язык A. Ввиду этого в целом культура A и обслуживающий ее язык A начинает восприниматься как нечто более ценное, чем культура и язык B. Подобные переоценки того или иного языка происходят в истории человечества постоянно. Однако далеко не всегда стойкое увлечение тем или иным несвоим языком, а в связи с этим и оценкой его как более ценного или значительного, чем свой (ср. оценка римлянами греческого языка, носителями многих других европейских языков французского, японцами, корейцами и вьетнамцами китайского языка, персами арабского и т.д.), приводила к мысли о ненужности своего языка. Очевидно, в ситуации, ведущей к смене языка, степень расхождения в оценке вновь усваиваемого языка и своего первого традиционного должна быть намного больше,

чем в упомянутых перед тем случаях. Случай предсубстратной ситуации, ведущей к полной утрате первого языка, очевидно, есть основание определять как следствие полного кризиса утрачиваемого традиционного языка, его полного и осознаваемого все более широкими кругами его носителей банкротства. Таким образом, в случае координационной связи между языками даже при отрицательной оценке своего собственного языка по сравнению с другим подобная оценочная констатация носит чисто количественный характер, т.е. признается более низкий уровень своего языка по сравнению с другим, но свой язык все равно остается положительной величиной. Графически это можно передать так:



Следовательно, считается вполне желательным и возможным его совершенствование и поднятие до уровня другого более развитого языка (А). Ввиду этого, само относительное несовершенство собственного языка в глазах его носителей становится только стимулом для поднятия его уровня.

В случае, ведущем к отмиранию собственного первого языка и превращению его в субстрат другого, разрыв в оценке первого своего языка по сравнению с другим усваиваемым приобретает качественный характер, при котором социолингвистический уровень своего первого языка воспринимается как величина только отрицательная, лежащая ниже всякого допустимого уровня (и не сравнимая с уровнем языка А), что графически можно передать таким образом:



В подобном случае свой первый язык предстает как нечто абсолютно отрицательное по сравнению со вторым языком, в связи с чем возникает чувство стыда, отвращения, неприязни к нему со стороны его традиционных носителей (или их потомков) при попытках пользования им в целом ряде ситуаций, круг которых неуклонно сужается. Ср. в связи с этим, например, оценку отношения к полабскому языку в последний период его существования при окончательном переходе к исключительному пользованию (нижне) немецким языком — «Вустровский пастор (Вустров — в Люховском окр.) Хр. Геннинг (Hennig, 1649–1719), составитель полабского словаря, сообщает между прочим следующее о славянской речи своих прихожан: «В настоящее время здесь говорят по-вендски (т. е. по-полабски. — *О.Т.)* немногие старики, с молодежью они уже не говорят на этом языке, так как над этим стали бы смеяться. Молодежь же чувствует такое отвращение к родному языку, что не хочет не только учиться ему, но даже не хочет и слышать его звуки. Таким образом, через 20 или 30 лет этот язык исчезнет» (Селищев, 1941, с. 421). В принципе нечто подобное наблюдается и в случае исчезновения во второй половине XX в. небольших прибалтийско-финских языков, водского и ижорского, расположенных на территории Ленинградской области. Ср. замечание по этому поводу эстонского советского языковеда Э.Эрнитса: «Теперь водь сохранилась только у Финского залива в 4 деревнях с разнонациональным населением. По большей части к ней принадлежат трехъязычные старики, которые говорят на водском, русском и ижорском языках, имея водский образ мышления. Поколение среднего возраста не имеет водского самосознания, рассматривая себя как русских или реже ижорцев, самые молодые — как русских. Люди среднего возраста говорят по-водски только дома, молодежь знает только русский язык, но некоторые из них могут понимать также водский или ижорский язык... Многие относятся с пренебрежением к водскому языку, который кажется им некрасивым и бесполезным.

Похожие тенденции наблюдаются также у ижорцев, хотя их численность больше (для 1979 г. в статье количество води определяется в 50 человек, ижорцев — в

700 человек. — *О.Т.*). Согласно принципам ленинской национальной политики в тридцатые годы были организованы для них школы с преподаванием на родном языке и создан литературный язык (на нем появилось более 20 книг), но было уже слишком поздно: национальное самосознание ижорцев с неизбежностью заметно снизилось. Они стали считать, что численность их народа слишком невелика, чтобы был нужен ижорский язык. В этом году мы сами слышали, как сын среднего возраста укорял мать за то, что она заговорила случайно на ижорском языке. Однако до сих пор живут старушки, которые владеют всем богатством оттенков родного языка и любят петь на нем прекрасные ижорские народные песни» (Ernits, p. 14–15).

Следует сразу же заметить, что подобное или близкое к нему социо- и психолингвистическое состояние наблюдается не только в ситуации, предшествующей полному исчезновению языка. Более или менее значительные периоды упадка с соответствующими очень близкими к отмеченным настроениями и весьма мрачными «прогнозами» в отношении будущего языка выступали и по отношению к тем языкам, которые в настоящее время, преодолев глубокий кризис, вполне успешно живут и развиваются (чешский язык в XVIII — нач. XIX в., литовский в XIX — нач. XX в. и т.п.). Очевидно, поэтому нет абсолютной границы между ситуацией, связанной с частичным и временным упадком языка, и положением, приводящим к его необратимому угасанию. Ввиду этого следует принять как необходимое уточнение к понятию субстрата и то положение, что субстрат как необратимое явление возникает только в своей абсолютной форме, т.е. только после того, как язык В полностью вытеснен языком А, войдя в него в виде субстратных включений[8]. Появлению подобного абсолютного и полного субстрата, качественному переходу («скачку») предшествует постепенное накопление количественных элементов. Можно в связи с этим, по-видимому, говорить об индивидуальном[9], групповом, массовом, частичном субстрате, т.е. остатках языка В в речи на языке А при полном переходе от одного языка на другой у отдельных индивидуумов, групп населения, их масс, части определенного этноса, перед тем как данный этнос полностью перейдет с одного языка на другой и остатки первого языка во втором при окончательной смене языка станут полным субстратом.

При подобном положении, когда со временем образуется социо- и психолингвистическая ситуация, при которой автохтонное население все более стремится полностью отказаться от своего собственного первого языка и полностью перейти на второй, казалось бы, от первого языка ничего не должно остаться. Однако подобного явления почти никогда не происходит. В этом случае, особенно, когда на новый язык переходит большой по количеству этнос, его язык не исчезает бесследно, а как бы растворяется в новом языке, включаясь в него в своих сохранившихся бессознательно или сохраненных сознательно элементах, поскольку у социолингвистического процесса смены языка есть две стороны. Из них в основном была рассмотрена только одна — усвоение нового языка и подход к первому языку исключительно с этой точки зрения. Учитывая, однако, взаимодействие языков при их смене, нельзя не считаться и с тем

[8] Необходимо, однако, оговориться, что подобная необратимость в случае вытеснения одного языка (В) другим языком (А) возникает только в том случае, когда вытесненный язык не оставляет после себя никаких письменных памятников. Если письменные фиксации достаточно значительны, чтобы вытесненный язык при желании мог быть воспроизведен, в принципе возможны более или менее удачные попытки его использовать (эпизодически или постоянно) даже после полного его вытеснения и субстратизации, ср. довольно успешные попытки использовать в качестве письменного и устного корнский язык в Корнуэльсе (Великобритания) в XX в. после его полного исчезновения в XVIII в.; выступление на полабском языке немецкого слависта Олеша на VI Международном съезде славистов в Варшаве (1968 г.) и под. факты.

[9] О случае индивидуального субстрата в своей речи (или скорее близком к нему, поскольку данное лицо сохранило знание первого языка и способность его употреблять) говорит, в сущности, В.И.Абаев в применении к элементам осетинского языка, включенным в его русский язык (Абаев, 1956, с. 66).

воздействием, которое оказывает первый язык на второй. Это воздействие связано с тем, что при усвоении нового языка, которому, как правило, предшествует более или менее длительный период двуязычия, второй язык усваивают, исходя из первого, опираясь на него, невольно в какой-то степени приспосабливая второй язык к первому. Нельзя не учитывать и того, что взаимодействие языков — это взаимодействие двух культур, выражаемых с их помощью, и что отказ от первой традиционной культуры никогда не может быть полным, а это не может не отражаться и на языке как форме выражения культуры. На этом необходимо остановиться более подробно.

Выше в примере, касающемся ижорского языка, отмечалось, что при том, что в целом происходит полный переход с ижорского на русский язык (у младшего поколения) и тяготение к нему (у среднего), сохраняются еще люди старшего поколения, знающие его во всем богатстве оттенков. Таким образом, социолингвистический упадок языка, как и психолингвистическая установка у подавляющего большинства его носителей, как бы санкционирующие полный отказ от первого (традиционного) языка и переход на второй, не связаны с таким же чисто лингвистическим его упадком. В мире известен целый ряд языков, испытавших значительное воздействие других языков и, в частности, изобилующих лексикой иноязычного происхождения (английский, румынский, персидский, японский), которые тем не менее не только не пришли в упадок, а, напротив, имеют очень высокий социолингвистический статус. Следовательно, упадок языка не связан (во всяком случае, прямо) с упадком его чисто внутренним, структурным. Как правило, от языка отказываются не по частям, как бы постепенно заменяя одну его часть за другой иноязычными частями, а полностью. Однако отказ от языка как средства и формы общения не означает полного отказа от того содержания, которое он в себе несет, связанного с предшествующей культурой, и поскольку переход с языка на язык, их смена связаны со взаимодействием двух культур, этот переход никогда не может быть равнозначен полному отказу от всего, что связано с предшествующим языком. В силу этого при взаимодействии двух языков, заканчивающимся победой одного из них, в конечном счете возникает своеобразный компромисс. Язык-победитель дает для создания нового идиома вновь возникшего этнического общества основы своей фонетики, грамматики и лексики. Побежденный язык, главным образом, дает для него свои наиболее общие фонетические тенденции, проявляющиеся в наибольшей степени в вокализме и ритмомелодике (т. наз. акцент), значительную часть своих семантических схем и моделей (в грамматике, фразеологии и лексике), а также большую или меньшую часть своей наиболее интимной и распространенной лексики, сохраняющейся лучше всего при изолированном положении идиома и хуже при его тесных связях с языками, родственными с новым (вторым) языком или его предшествующей традицией. Эти элементы, наиболее типичные для субстрата, проникают в язык-победитель по двум тесно взаимосвязанным причинам: во-первых, как следствие его массового и прямого усвоения, не дающего возможности овладеть во всех тонкостях фонетикой и семантикой, которые наименее контролируются сознанием, во-вторых, как следствие необходимости в усвоении новым языком местных особенностей материальной и духовной культуры, отображенных местным языком, которые связаны с особенностями жизни данной страны и поэтому представляют собой значительную ценность. Переход местного населения на новый язык не равнозначен вместе с тем безоговорочному переходу на новую неместную культуру, принесенную с новым языком, и полному отречению от своей старой традиционной культуры. Наряду с тем ценным, что несет новая культура, местное население желает сохранить и наиболее ценное из своей традиционной культуры. Это наиболее ценное переводится, как правило, на новый язык, причем не только в связи с привязанностью к нему местного населения, а также интересом пришлого, носителя нового для данной местности языка. Исходя из указанного, местные языки, за исключением случая быстрого и полного физического истребления

местного населения, — случая не такого уж частого, — не могли бесследно устраняться новыми языками. Значительно достовернее считать, что они в них растворялись. При переводе (или пересказе) на языке-победителе того из традиции предыдущей местной культуры, созданной на местном (вытесняемом) языке, что могло представлять ценность, — а подобных вещей могло быть довольно много (напр., из прикладных хозяйственных знаний — разнообразные приметы, наблюдения над местной природой, местные обычаи, а из духовной культуры — разные фольклорные произведения, определенные устойчивые языковые формулы и под.), — бесспорно, многое могло подсознательно или сознательно калькироваться, перенося в новой языковой оболочке внутреннюю форму местного языка. Поскольку «переводчиками» было преимущественно местное двуязычное население, для которого семантика его традиционного первого языка была вполне обычной, у него не возникало желание ее «корректировать» согласно особенностям нового языка, тем более, что многое могло просто не поддаваться передаче в строгих формах нового языка, требуя дословности. Усвоение же местного музыкального фольклора, музыкальный ритм которого всегда тесно связан с ритмомелодикой устного, немузыкального языка[10], — усвоение, заключавшееся в переводе (более или менее свободном) местного словесного фольклора на новый язык или в создании новых песен на старые местные мелодии, должно было способствовать закреплению в новом языке данной местности фонетических (ритмомелодических) особенностей вытесненного (субстратного) языка. Со временем эти ритмомелодические особенности не могли не содействовать дальнейшей фонетической перестройке нового местного языка.

Сочетание фактора несовершенства усвоения нового языка местным населением с важным фактором потребности в усвоении местной культуры, которая это несовершенство в значительной степени поддерживает (сюда еще можно добавить необходимость в быстром и массовом овладении новым языком, значительно более важном, чем старательное, но медленное его усвоение), приводит к тому, что все нормализаторские усилия, направленные на полную унификацию нового языка этого населения, не могут никогда осуществиться в полном объеме. При дилемме — безупречное усвоение нового языка путем полного искоренения любых местных традиций (а только так этого и можно достичь) или не вполне совершенное его усвоение (которое все же дает возможность свободно общаться с его традиционными носителями) — всегда фактически выбирается последнее. Это объясняется тем, что в языке как в средстве прежде всего общения и информации значительно важнее не как, а что с его помощью будет сообщено или передано. Таким образом, распространение определенного языка на новых, занятых иноязычным населением территориях должно невольно связываться с использованием и усвоением местных культурных традиций (имеем в виду как материальную, так и духовную культуру), причем в восприятии их заинтересованы как представители этнического общества, от которого воспринимается новый язык, так и общества, которое на этот язык переходит. Следовательно, слияние двух этнических обществ в одно вместе с тем, как правило, является и слиянием двух культур и двух языков. Какой из этих двух языков выступает как основа слияния, а какой становится тем языковым элементом, который растворяется в другом языке, зависит от конкретных исторических обстоятельств. Однако не подлежит сомнению то, что процесс слияния местного языка с пришлым языком при возникновении между ними стойкого отношения субординации с перевесом со стороны последнего бывает правилом, а отсутствие этого влияния является исключением (разумеется, субстратный вклад может иметь разный удельный вес в каждом конкретном случае). Таким образом, здесь возникает особый диалект распространившегося за пределы своей исходной этнической территории языка (упомянутая формула $b + A \geqslant A_1$), который при благоприят-

[10] Об этой связи пишет и необходимость ее изучения отмечает в своей интересной статье Б.М.Задорожный (см.: Задорожный, 1953, с. 107-116).

ных условиях, главным образом при преобладании центробежных тенденций над центростремительными, может превратиться со временем в отдельный язык.

При выработке подобного отдельного языка, безусловно, важный вклад вносится предыдущей языковой традицией соответствующей местности, которая придает особое направление его развитию, отличающемуся от предшествующего развития того языка, который распространился здесь позже. Можно считать, что этот новый отдельный язык является фактически наследником двух языков — как языка, материальные черты которого он в основном унаследовал и продолжает, так и того языка, который в определенном (большем или меньшем) количестве своих элементов, в виде субстрата, т.е. пережитков субординированного языка, влился в этот язык, вызвав его специфическую перестройку и своеобразие дальнейшего развития. Из этих двух линий наследственности первая является основой для определения принадлежности данного языка к определенной языковой семье (группе), вторая, связанная с языком другой генетической принадлежности, становится определяющей для него как отдельного языка этой семьи (группы), т.е. характеризует в наибольшей степени его языковую индивидуальность, специфику на фоне других языков той же языковой семьи или группы.

Следовательно, вопрос угасания, исчезновения языков диалектически сложен, так как, приводя к исчезновению одних языков, он, с другой стороны, очень часто является отправным пунктом для зарождения новых языков, толчком для которых служит свертывание исчезающих языков в своих пережиточных элементах в субстрат, входящий в состав языка-преемника. Затем этот субстрат, т.е. остатки исчезнувшего языка, становится как бы ферментом, зародышем в недрах языка-преемника для того, чтобы вместе с ним породить новую лингвистическую индивидуальность, новый язык, имеющий, в сущности, двух родителей, две линии родства, основную генетическую и субстратную.

Сложные социолингвистические процессы, происходящие главным образом параллельно, — с одной стороны, угасание одного языка, вытесняемого другим, с другой же, включение оставляемого им субстрата в язык-победитель и тем самым его постепенное преобразование в новый, более или менее отличающийся от исходного идиом, — в будущем нередко новый язык, — взаимосвязаны друг с другом, представляя собой в целом чрезвычайно многогранное явление. На некоторых, еще не рассмотренных, его сторонах стоит остановиться отдельно.

Прежде всего заслуживают внимания процесс постепенного отмирания первого (местного) языка, результаты этого процесса, его специфика. Отмирание первого местного языка, вытесняемого вторым языком, занесенным в определенную местность извне, происходит через стадию двуязычия. Характерной особенностью этого двуязычия, коль скоро первый местный язык оказывается по отношению к пришлому языку в положении субординации, является то, что это, как правило, в особенности на продвинутой его стадии, двуязычие местного населения, носителей местного языка, пришлое же население преимущественно не пользуется местным языком и часто даже его вообще не знает. В первоначальный период, когда язык пришельцев не получил достаточного распространения и их количество является небольшим, может существовать двуязычие также пришлого населения. Впоследствии, когда количество пришлого населения все увеличивается и обнаруживается его качественный перевес, все большее количество туземного населения и все удовлетворительней начинает параллельно с собственным для общения между собой употреблять в общении с пришельцами их язык. Это делает для последних все менее нужным усвоение языка туземцев в целом, из него усваиваются только отдельные элементы, которые могут попадать в язык пришельцев от двуязычных туземцев в их втором языке. Таким образом, происходит первое ограничение двуязычия, оно становится в основном принадлежностью только автохтонов, говорящих отныне как на своем родном языке, так и на языке пришельцев. Однако двуязычие и у автохтонов не является универсальным и совершенно уравновешенным, т.е. языки свой и вновь усвоенный не упот-

ребляются в одинаковой степени во всех функциях и областях, например, язык пришельцев используется в функции официально-деловой, зато язык автохтонов широко используется в производственной сфере, связанной с местным сельским хозяйством и промыслами. Профессиональная ориентация того или другого языка обусловливает их социальную приуроченность. Поскольку в официально-деловой сфере употребляется язык пришельцев, местная знать, стремясь сохранить свои позиции, должна им овладеть и пользоваться. Связь с пришлой знатью, необходимость контактов на семейно-бытовом уровне, смешанные браки, стремление с детства научить детей свободно и правильно пользоваться языком пришельцев ведут к тому, что у местных социальных верхов со временем местный язык отходит на задний план и как семейно-бытовой, сохраняясь разве как средство общения со слугами или крестьянами. Тем из местной знати, кто не овладевает вторым, субординирующим, языком, грозит участь быть оттертым от власти и постепенно деклассироваться. Крестьяне как менее связанные с официально-деловой сферой, напротив, тяготеют к длительному сохранению местного языка. Средние городские слои, в частности купцы и ремесленники, тяготеют к двуязычию. Причем те, кто стремится подняться выше по социальной лестнице, приобрести более богатую и выгодную клиентуру из пришлой и местной ассимилированной знати, со временем также вынуждены переориентироваться на неместный язык как основной. Их туземный язык отступает на второй план, так как они употребляют его при общении с социально низшими слоями местного населения, оставшимися неассимилированными в этно-языковом отношении. Так постепенно двуязычие становится все более резко социально очерченным. Одновременно идет и его сужение. Поскольку во все большей степени двуязычие охватывает средние и даже низшие слои (дольше всего оно не касается женщин, связанных только со своим узким домашним хозяйством), все в меньшей степени нуждаются в знании местного языка те, кто овладел полностью вторым неместным, субординирующим языком. С другой стороны, двуязычие начинает проникать даже в разговорно-бытовое общение семьи, потому что всеобщее усвоение второго языка делается насущной необходимостью для всех, а знание первого местного языка все более факультативным, что вынуждает родителей не обучать ему детей, а одноязычных стариков овладевать вторым, неместным языком, чтобы понимать своих внуков. Так постепенно двуязычие, а вместе с ним и знание автохтонного языка становится уделом все более узкого круга лиц, со смертью которых устанавливается новое одноязычие, поголовное знание только первоначально второго для данной местности языка.

Так происходит смена языка в связи с развитием двуязычия и его функциональной (профессиональной) и социальной (общественной) ориентацией.

Спецификой смены языка является и то, что она носит преимущественно не внутрилингвистический, а социолингвистический характер. Языки только отчасти способны к взаимопроникновению. Неместный язык противится этому не только в силу языковой специфики вообще (слабая проницаемость грамматики, основного лексического фонда, стойкость фонетики и в особенности фонологии), но также и потому, что чрезмерное проникновение в него автохтонных языковых элементов (даже при пользовании им туземцами) могло бы сделать его непонятным для основных носителей, превратить из средства общения в способ разобщения. Поэтому в большем количестве заимствованиями из пришлого языка насыщается язык автохтонный, тем более с развитием двуязычия. Однако и здесь насыщение заимствованиями далеко не безгранично: фактически остается незыблемой в своих основах грамматика (здесь возможно отчасти только калькирование), малопроницаемо основное ядро лексики, с трудом поддается перестройке фонетическая система. Таким образом, при самом большом давлении на язык со стороны другого языка он до конца своего существования остается нерушимым в своих основах, этому препятствует как сугубо лингвистическая природа языка, так и его общественная функция быть средством общения.

Наиболее частотные элементы языка, находящиеся все время в работе, не поддаются замене. Поэтому смена языка происходит не путем постепенной замены всех его элементов, не путем постепенного изменения природы языка, а путем замены одного языка другим в целом, хотя, разумеется, в определенной связи с этим находится и функциональное сужение в пользовании языком, его невольное лексическое обеднение в тех областях деятельности, в которых он фактически не применяется. Однако все же не оно является основной причиной постепенного отказа от пользования местным, отмирающим языком. Основным поводом для этого служит то, что в определенных функциях (в администрации, школе, армии и т.п.) данным языком перестают пользоваться, поскольку их обслуживает другой язык. Язык туземцев в этих случаях насыщается большим количеством иноязычной лексики, так как, передавая свои действия или мысли в соответствующей сфере, они невольно должны прибегать к словам чужого языка, которым они в данной сфере пользовались, подключая к ним только свою грамматику, основную (близкую к строевым элементам) лексику и одевая иноязычные элементы в оболочку своей же фонетики. Отчасти, если язык имеет слабые устои (социальные, государственно-политические, экономические), это может создавать у туземцев определенный «комплекс неполноценности» ввиду того, что носители других языков, прежде всего второго (субординирующего или тяготеющего к этой роли), могут обыгрывать этот момент, рассматривая его как аргумент против использования местного языка в данной функции, ибо местный язык не может обойтись в ней без лексики второго языка. Однако на примере общепризнанного в качестве мирового английского языка, где в сфере научной и административно-официальной наличествует большой процент исходно романской лексики, отражающей подобное же функциональное двуязычие, мы видим, что эта гетеролексичность языка нисколько не препятствует как его функционированию, так и высокому и общепризнанному авторитету. Основным препятствием для существования языка служат неблагоприятные социолингвистические обстоятельства и связанная с ними социолингвистическая его оценка и соответственно психолингвистическое его восприятие. Вытеснение того или иного языка идет по линии: 1) сужения его функций; 2) увеличения числа двуязычных лиц из числа его носителей на переходном этапе от одного одноязычия (употребления только первого местного языка) к другому одноязычию (употреблению второго занесеннного извне языка); 3) сужения круга двуязычных лиц при параллельном увеличении числа носителей одноязычия на новой основе — на втором языке; 4) сужения на следующем этапе круга знающих местный отмирающий язык по возрасту (старшее — среднее — младшее поколение → старшее — среднее → старшее поколение) и полуносителей языка (мужчины и женщины старшего поколения → женщины старшего поколения). Последнее объясняется двумя причинами — биологической (бóльшая стойкость женского организма, позволяющая, как правило, женщине пережить мужчину) и социальной (меньшая подвижность женщин, особенно в прошлом, их бóльшая связь с домом, семьей, родом, их традициями, в том числе и языковыми). Поэтому в качестве последних носителей того или иного языка, последних представителей того или иного этноса чаще всего называют женщин: корнский язык (Долли Пентрет), тасманийский язык (Труганини), камасинский язык (К.З.Плотникова).

Постепенно в ходе своего взаимодействия со все более и более распространяющимся вторым языком (языком А) местный язык (язык В), вытесняемый пришлым языком, все менее остается существовать в своем чистом виде и все более сохраняется только в виде своих пережитков, включенных в язык, секундарно распространившийся на данной территории. Со временем, когда первый местный язык полностью выходит из употребления, он продолжает существовать только в своих пережитках, включенных так или иначе в систему вторичного для данной местности языка (А). Пережитки субстратного языка входят: 1) в местную ономастику (прежде всего топонимы); 2) в диалекты данной местности, продолжающие идиом пришлого населения (в наименьшей степени); 3) в диа-

лекты, возникшие на основе второго языка постсубстратного населения (в большей степени); 4) в т. наз. «тайные языки», возникающие на основе того, что субстратный язык дольше всего держится у представителей определенных профессий, например рыбаков (наибольшая степень включения субстратных элементов). На последнем стоит специально остановиться. «Тайные языки» начинают, по-видимому, возникать в последний период существования субстратного языка. Их целью является стремление сохранить хотя бы отчасти свой язык как удобное средство скрывать свои мысли от посторонних лиц. Вначале эту функцию выполняет первый язык в целом. Таким образом, в этот период в двуязычной профессиональной группе населения существует два языка с двумя отдельными грамматиками и двумя отдельными лексиками. Затем, когда переходят на один язык с одной грамматикой, пережиточно, как удобное средство отмежевания своей группы от остального общества носителей второго для данной местности языка, сохраняется обычай употреблять уже на одной (исходно вторичной) грамматической основе особенно насыщенный субстратной лексикой вариант (исходно) второго языка. Так как слова субстратного языка, однако, все более забываются, со временем их заменяют другими заимствованиями или искаженными формами исходно второго, теперь единственного, для данной местности языка. Не исключено, что отчасти такого происхождения по крайней мере некоторые из «тайных языков» Центральной России, которые ввиду того, что в них встречается целый ряд (пост)мерянских слов, могли продолжать вначале субстратный финно-угорский мерянский язык. С утратой знания грамматики и значительной части своей (и именно основной) лексики, которая наступает после смены языка, и включением фонетических, грамматических, лексических, фразеологических пережитков субстрата (последних трех также в калькированном виде) в ткань второго языка они все менее ощущаются как инородные (сознание их происхождения утрачивается), воспринимаясь как его диалектизмы (арготизмы, вульгаризмы и под.). Если субстратный язык не имел (или утратил) письменные памятники, выделить его элементы во втором языке, языке-преемнике, чрезвычайно трудно, так как они, в сущности, полностью сливаются с элементами исходно вторичными; их можно выделить только с помощью применения сопоставительно-исторического метода, являющегося сочетанием двух других — сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического.

Пока речь шла об одной стороне социолингвистического процесса вытеснения пришлым языком автохтонного языка, — судьбах этого последнего, вплоть до его полного исчезновения как языка и растворения в своих пережитках в языке-преемнике, вторичном для данной территории.

Следует в общих чертах рассмотреть также особенности формирования нового идиома A_1, возникшего в результате включения языком-победителем A субстратных остатков b, сохранившихся после окончательного исчезновения языка B ($b + A \geqslant A_1$). Дальнейшие социолингвистические обстоятельства вызывают либо сохранение нового идиома A_1 как диалекта языка A, либо приобретение им положения нового отдельного языка A_1, родственного языку A. До исчезновения субстратного языка B именно он рассматривается как местный язык, языковой представитель местной культурной традиции. По мере его исчезновения эту роль все больше принимает на себя идиом (язык) A_1. Этому способствует, в частности, то, что $A_1 \neq A$, поскольку в отличие от последнего, образовавшегося на своей исходной территории, идиом A_1, образовавшийся путем соединения b + A, имеет чисто местные черты, обусловленные включением субстрата, т.е. пережитков местного языка B. Вначале носители языка A, в особенности те, которые не живут в местности B, относятся к новому идиому A_1, возникшему в провинциальной местности, вторично занятой языком A, как к «испорченному влиянием языка B», «вульгарному», «неправильному», «простонародному». Таким было, например, отношение к местной народной латыни в западных романизированных провинциях Римской империи со стороны коренных римлян, владевших безупречно классическим языком. Недаром ме-

стные особенности сперва рассматривались только как ошибки, погрешности по отношению к классической книжно-литературной латыни. Затем, если на основе местного провинциального идиома, родственного литературному языку метрополии, складывается отдельный литературный язык, отношение к нему в корне меняется. Его воспринимают как местный национальный язык, в связи с чем фактически и традиции местного патриотизма, местной культуры, которая уже рассматривается не как провинциальная, а как особая, самодовлеющая, возрождаются, хотя уже на новой языковой основе. Таким образом, новая местная языковая традиция, новый язык трактуются уже вполне положительно. Вместе с тем, если раньше этот местный идиом рассматривался в качестве диалекта или «испорченного» варианта языка метрополии, то теперь уже в качестве отдельного языка он становится общим достоянием не только местных низов, но и знати, и прежде всего именно хорошее знание его литературной нормы становится социально престижным. Напротив, знание и практическое использование прежнего классического языка (в ущерб новому местному языку) со временем начинает восприниматься не без оттенка иронии как признак чрезмерной педантической учености (ср., например, отношение к латыни после признания во Франции французского в качестве особого языка, а не ее народной («вульгарной») разновидности).

До некоторой степени это отношение к латыни в романских странах, когда в них начался расцвет собственных национальных языков, сопоставимо с отношением к любому литературно-книжному языку в последний период его существования или активного функционирования, например, к староукраинскому, в ряде стилей включавшему в себя к тому же многочисленные старославянизмы. Этот язык, обладавший в прошлом достаточно высоким авторитетом, о чем свидетельствует его кодификация в грамматиках и словарях, к концу XVIII – началу XIX в., времени окончательного утверждения в качестве литературного украинского языка на народной (разговорной и фольклорной) основе, стал восприниматься как окончательно обветшавший, старомодный. В связи с этим литературные персонажи, тяготевшие к его употреблению, особенно в быту, представляются в этой своей особенности как комические, а их пародируемый язык на фоне современной украинской речи других действующих лиц явно высмеивается. Ср. отрывки из партий подобных действующих лиц — Возного (из пьесы И.П.Котляревского «Наталка-Полтавка») и писаря Прокопа Ригоровича Пистряка (из повести Г.Ф.Квитки-Основьяненко «Конотопська відьма»): 1) «Бачив я многих — і ліпообразних, і багатих, но серце моє не імієть — теє-то як його — к ним поползновенія. Ти одна заложила йому позов на вічніі роки, і душа моя єжечасно волаєть тебе і послі нишпорной даже години»; 2) «Хворостина сія хоча єсть і хворостина, но оная не суть уже хворостина, понеже убо суть на ній вмістилище душ козацьких прехваброї сотні Конотопської, за ненахожденієм писательного существа і трепетанієм десниці і купно шуйці». В связи с этим и языковая практика Г.С.Сковороды, представлявшая, по справедливому замечанию В.М.Русановского, попытку создать некий общевосточнославянский язык, исходя при этом из староукраинской традиции, и была в целом неизбежно обречена на неудачу (Русанівський, с. 152, 165)[11]. Помимо сформировавшегося к этому времени в сво-

[11] Характерно, что в литературно-языковом отношении из произведений Г.С.Сковороды наиболее долговечными оказались именно те, которые в наибольшей степени выходили за рамки староукраинской языковой традиции, приближаясь больше всего к современному ему народно-песенному языку (ср. в особенности прелестное стихотворение «Ой ты, птичко жолтобоко...» из сборника «Сад божественных пѣсней», требующее минимальных корректив, чтобы звучать как стихотворение на современном украинском языке). Следовательно, уже в творчестве Г.С.Сковороды, знаменовавшем окончательный закат староукраинской языковой традиции, забрезжили первые проблески неотвратимой будущей победы нового украинского языка на народной основе. Упомянутое стихотворение замечательно как изяществом формы и чистотой народного языка, так и глубиной и серьезностью содержания. В нем через голову бурлескной «Енеїди» Сковорода фактически подает руку украинским поэтам-романтикам и даже Шевченко, который недаром еще в детстве увлекался творчеством Г.С.Сковороды и учился у него как поэт.

их основах русского литературного языка, был уже близок к возникновению и (ново)-украинский литературный язык на народной основе. Несколько позже появились и первые произведения на современном белорусском языке (анонимная поэма «Энеіда навыварат», возникшая под влиянием «Енеїди» И.П.Котляревского, — «Тарас на Парнасе», замечательное стихотворение-песня талантливого народного поэта П.Багрыма «Зайграй, зайграй, хлопча малы», произведения Я.Чечота, друга А.Мицкевича). Таким образом, каждый писатель, находившийся к этому времени в кругу восточнославянских культур, должен был уже выбирать один из этих трех обслуживающих их языков. Четвертого, «общевосточнославянского», уже не было дано.

Характерна в социолингвистическом отношении не только трансформация, пережитая бывшими местными народно-разговорными вариантами латыни с превращением их в романских странах в отдельные романские языки, а и изменение в восприятии литературного датского с копенгагенским произношением в городах Норвегии после превращения в норвежский язык (риксмол) того же датского с норвежским субстратом (в частности, норвегизированной фонетикой). Как полагают, именно на этой основе сложился один из двух (причем наиболее распространенный) литературных языков Норвегии[12]. Следовательно, социолингвистическое положение старого языка-победителя с вытеснением его местным литературным языком, возникшим на основе этого когда-то победившего здесь языка, меняется, а вместе с тем меняется и его психолингвистическое восприятие. Этот язык в случае его архаизации (пример латыни) начинает восприниматься как нечто вызывающее почтение в историческом плане, но в то же время и как что-то безнадежно устаревшее, старомодное, отжившее (в сущности, это отношение в чем-то напоминает собой, видимо, отношение к субстратному языку в момент его угасания). Если язык-победитель (например, датский по отношению к риксмолу) продолжает существовать в качестве живого современного языка в соседней стране, по отношению к местному языку он воспринимается как язык близкий, но иностранный, неродной, что вытекает из целого ряда их расхождений на всех уровнях, прежде всего фонетическом, а это побуждает носителей нового литературного языка обратить самое серьезное внимание на его специфику, которой ранее пренебрегали или стыдились, считая ее «провинциальной»[13]. Следовательно, даже переход на новый язык далеко не всегда равнозначен полному прекращению местной культурной традиции. Если определенная территория настолько своеобразна в своей географической, хозяйственно-экономической и культурной специфике, что это становится причиной ее постоянного выделения в особый региональный комплекс, то местная традиция даже при смене языка не прерывается полностью, а продолжается, только на новой языковой основе. На земном шаре, по-видимому, нет территории, где бы местное население через больший или меньший промежуток времени ни разу не меняло свой язык. В некоторых местах подобные смены происходили, очевидно, несколько раз. Языкознание без помощи других наук, как уже отмечалось выше, не в состоянии полностью решить вопрос о причине сменяемости языков, их большей или меньшей стойкости, поскольку сюда входит слишком много предпосылок, где, кстати, сугубо языковые причины находятся на самом последнем месте. Как видно было из предыдущего, — об этом говорит и весь опыт изучения языков, —

[12] Ср.: «Предполагается, что зародышем смешанного городского говора было чтение датского текста с подстановкой норвежских фонетических особенностей... В XVIII в. в Осло, крупнейшем норвежском городе, по-видимому, уже говорили на смешанном говоре, основанном на датском письменном языке, но с норвежской фонетикой» (Стеблин-Каменский, с. 74–75).

[13] Ср. в связи с этим следующую характерную особенность в развитии норвежского литературного языка (риксмола): «Борьба за норвежское произношение на театральной сцене разгорелась в пятидесятых годах XIX в. До этого ... в норвежском театре играли исключительно актеры-датчане и господствовало датское произношение. В 1852 г. в Кристиании открылась «Норвежская драматическая школа», поставившая себе целью воспитать актеров для национальной сцены. Н.Кнудсен был приглашен в эту школу для обучения ее воспитанников норвежскому произношению» (Стеблин-Каменский, с. 80).

языки действительно отличаются необыкновенной стойкостью своей структуры, однако это не мешает тому обстоятельству, что время от времени тот или иной из них постепенно перестает употребляться. Поэтому есть все основания считать, что «болезнь» и «смерть» языка — это всегда только болезнь и смерть общества, пользовавшегося определенным языком, вызванная каким-либо его несовершенством (рядом несовершенств) по сравнению с обществом, способным не только сохранять и развивать свой язык, но и распространить его за пределы своей исходной этно-языковой территории. Проблема стойкости (слабости) этносов, из которой вытекает и стойкость (слабость) принадлежащих им языков, во всем своем объеме не может быть решена одними лингвистами, а только совместными усилиями представителей всех общественных наук, куда свой вклад должны внести и лингвисты. Проблема языкового субстрата, его теория, является только частью этой более широкой проблемы. Основной интерес этой проблемы заключается в том, что явление субстрата помогает понять причину культурной (в широком понимании этого слова), в том числе и языковой, преемственности на одной и той же территории.

II. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА НА ЯЗЫК-ПРЕЕМНИК

Проблема возникновения и формирования языкового субстрата во взаимосвязи и взаимодействии с языками, воспринявшими его, принадлежит, несомненно, к числу наиболее сложных среди лингвистических проблем. Первоначальный энтузиазм, сопутствовавший появлению работ И.Г.Асколи (Ascoli), где впервые данная проблема была поставлена со всей ясностью, и связанный с открываемыми этими работами перспективами, сменился затем все большим скептицизмом, граничившим порой с почти полным отрицанием какой-либо роли субстрата в развитии языков (Фаукес, с. 333–334), между тем как уже Ф.Энгельс в работе «Франкский диалект» убедительно показал роль языкового субстрата на конкретном материале истории нидерландского и немецкого языков и их диалектов. Подобная противоречивость в оценке роли субстрата и самого этого явления вытекает прежде всего из его чрезвычайно большой сложности как чисто внутрилингвистической, связанной с тем, что в субстрате речь идет преимущественно об элементах, адаптированных или калькированных, так и социолингвистической, поскольку в субстратизирующихся языках имеем дело, как правило, с языками неофициальными, а в их носителях — с этносом, слабо отраженном в истории ввиду его второстепенного, неруководящего, а следовательно, и «(в)неисторического» характера.

Таким образом, задача выяснения обстоятельств как постепенного упадка того или иного языка и превращения его в своих остатках в субстрат языка-преемника, так и постепенной трансформации этноса, его носителя, в часть того этноса, носителя языка-преемника субстратного языка, с которым он сливался, представляет собой типичную лингвистическую и социолингвистическую задачу со многими неизвестными. Ее решение (особенно в начальной стадии) не может быть вполне однозначным и не предполагающим большей или меньшей степени гипотетичности.

Проблема субстрата и особенностей его включения в язык-преемник является чрезвычайно актуальной для многих (если не для большинства) языков мира. Как всякую сложную задачу, ее можно решить только по частям.

Помимо трудностей чисто материального характера исследователей субстратов ожидают немалые трудности теоретического порядка. В связи с тем что наукой накоплен уже определенный субстра-

товедческий материал, представляется необходимым осмыслить то, что уже известно в настоящее время о языковом субстрате и его роли в формировании языков-преемников, а также о языках, ставших субстратами, для того чтобы на основе тех обобщений, которые можно сделать путем синтеза накопленных здесь сведений, выработать необходимые теоретические постулаты и рекомендации, ту теорию субстратоведческих исследований, которая могла бы быть полезным инструментом последующих разысканий в области субстратов, в том числе еще не привлекавших к себе внимание науки.

В данной части работы на примере конкретных, уже исследовавшихся языковых субстратов будет обращено внимание на проявление их влияний на разных уровнях языковой структуры языков-преемников — лексическом, грамматическом, фонетическом, фразеологическом[14]. При этом будут учитываться не только внутрилингвистические аспекты соответствующих явлений, а и сопутствующие им социолингвистические обстоятельства и факторы.

На основе исследования конкретных явлений в области тех или иных субстратных и постсубстратных языков представляются возможными и закономерными те наиболее обобщенные, синтезированные теоретические выводы о субстрате, его природе, особенностях его возникновения, роли в формировании включающих его языков и их выделении из общего (пра)языка, которые должны явиться итогом всей предшествующей работы, проделанной в данном направлении.

По-видимому, лишь в сравнительно небольшой степени могут быть рассмотрены в работе, как менее изученные, такие близкие к субстрату явления, как суперстрат и интерстрат, которые с субстратом роднит их пережиточный (особенно в случае суперстрата) характер. Эти явления должны войти в исследование преимущественно в своих особенностях, связанных с субстратом и как определенный фон для его освещения, а не в целом, поскольку их специальное исследование предполагало бы полный учет специфики и специальных собственных исследований в данной области в качестве отправной точки, чем автор в данный момент не располагает.

1. Роль субстрата в формировании лексики

Роль субстрата в формировании лексики языков-преемников лучше всего может быть выяснена на примере конкретных, наиболее хорошо изученных в настоящее время субстратных языков. К числу их в первую очередь относятся субстраты романских языков в их взаимосвязи со своими языками-преемниками.

Романские языки среди индоевропейских имеют особую ценность ясностью своих истоков. Их общим предком, праязыком, о котором, в отличие от других праязыков, науке многое известно, была латынь. Причиной образования ее местных народно-разговорных вариантов (диалектов), в дальнейшем преобразовавшихся в отдельные романские языки, явилось своеобразие развития латыни в разных провинциях Римской империи, где перед тем, как вытеснить местные языки, она более или менее длительно с ними взаимодействовала. Затем свой вклад в развитие романских языков внесли так называемые суперстратные языки, нередко образовавшие вторичные субстраты (германские, арабский, славянские). Однако первыми по времени своего воздействия на латынь были субстратные языки, о которых поэтому важно было бы знать как можно больше и именно о которых известно менее всего.

Вследствие своей скудности материал дороманских субстратных языков требует особенно тщательного и точного изучения, которое может идти в двух направлениях; 1) получение новых фактов, важное для того, чтобы расширить исследовательскую базу; 2) осмысление уже известного, что не менее важно с двух точек зрения — для того, чтобы правильно наметить новые пути выяснения конкретных фактов и для того, чтобы лучше понять картину взаимодействия языков при образовании субстра-

[14] Необычный порядок рассмотрения уровней языковой структуры объясняется степенью их сложности и исследованности, ввиду чего принят порядок в соответствии с принципом «от более к менее исследованному».

тов, что может быть полезно также при изучении аналогичных явлений на материале других языковых групп. В данном случае предпринята попытка, связанная со вторым из двух указанных путей.

Общим при образовании языковых субстратов является то, что они возникают в той социолингвистической обстановке, когда при проникновении части одного этнического общества на территорию другого вследствие ряда стойких преимуществ общества, говорящего на одном языке, над обществом, говорящим на другом, последнее, — как правило, после периода более или менее длительного двуязычия, — переходит полностью со своего первого, традиционного языка, на второй, вновь усвоенный. При этом первый его язык в своих сохранившихся элементах полностью растворяется во втором языке, становясь субстратом этого языка-преемника. Особенность лексических субстратных элементов заключается в том, что они или обозначают реалии, неизвестные народу, носителю языка-победителя, — такие субстратные включения часто трудно отличить от обычных заимствований, — или (и это наиболее типичные субстратные лексические включения) обозначают реалии общераспространенные и известные носителям обоих языков — субстратного и языка-преемника. Необходимости в заимствовании подобных слов, в сущности, здесь совершенно не было. Это не то, что взято, а то, что в силу разных причин оставлено из своего языка. Это его лексические реликты (от лат. relinquo «оставляю»). Так, если в ряде севернорусских говоров встречаются, видимо, мерянские лексические включения типа *тохта* «гнилое дерево», *шохра* «низкорослый лес на болоте», то их целесообразность и как заимствований не вызывает сомнений. Это удобные однословные наименования понятий, важных для одного из основных местных промыслов (лесного) или характерных для местного ландшафта. Напротив, только как реликтное включение могут быть поняты слова *лейма* «корова» или *урма* «белка» того же субстратного происхождения, бытовавшие в прошлом в тех же говорах. Однако помимо сугубо лексического воздействия при формировании лексики в целом определенную роль играет, по-видимому, и фонетика и, что не так уловимо, семантика субстратного языка. Не менее важной оказывается и совокупность внешних (социо)лингвистических обстоятельств, сопутствующих смене языков. В связи с этим общий по своему происхождению и природе процесс образования субстрата приводит к весьма разнящимся друг от друга последствиям. Примеры этого, как представляется, можно найти и среди романских языков.

Для одного из них, а именно галло-романского (французского), были характерны при его формировании и в ходе дальнейшей истории следующие внешнелингвистические обстоятельства. Завоевание Галлии произошло в I в. до н.э. Ее окончательная романизация завершилась, по-видимому, в V–VI в. н. э., заняв, таким образом, период 6–7 веков. Ввиду относительной близости к метрополии и более удобной связи через Альпы, чем через Пиренеи, колонизация римлянами галльских (и шире — кельтских) областей шла путем последовательных передвижений из одной кельтской области в другую, что могло способствовать активному вовлечению в этот процесс романизированных кельтов, ср.: 1) Цизальпинская Галлия; 2) Трансальпинская (Нарбоннская) Галлия, или Провинция (фр. Provence); 3) Северная Галлия, или Бельгия; 4) заморские кельтские земли, Британия. Это могло способствовать тому, что латинский язык усваивался не столько непосредственно от жителей Рима и Лациума, сколько от романизированных кельтов, говоривших по-латыни с большим или меньшим галльским акцентом. Вследствие длительности романизации и возникновения в Галлии наряду с низшими высших школ (например, в Бурдигала (Бордо)), помимо латино-галльского двуязычия, длительно сохранявшегося в сельских местностях и среди низших слоев галльского населения, в галльских городах, в первую очередь среди высших, полностью романизированных, слоев общества была достаточно широко распространена и диглоссия — книжно-литературного и народно-разговорного латинского языка, что способствовало как насыщению письменного языка (прежде всего в период раннего средневековья) народными оборотами и словами, так и обогащению народного

языка книжной лексикой. Северная Галлия, вследствие постоянных и чрезвычайно тесных контактов с Британией, что заставило Цезаря предпринять попытку завоевания Британии, по-видимому, имела галльский идиом, значительно более близкий к кельтским островным, чем галльский идиом юга Франции и Цизальпинской Галлии. Ввиду прочности позиций латинского и народного романского языка в Галлии к ее завоеванию германскими племенами — франками, бургундами и вестготами (позже — норманнами) — германские завоеватели не предпринимали попытки использовать свои языки в качестве официальных в письменности, а сразу же прибегли в этой функции к латинскому, а затем французскому. Проникшее на территории Галло-Романии германское население, особенно в своих верхних слоях, довольно скоро было романизировано. Галлия (позже Франция) была расположена в окружении других романизированных провинций — Италии, Испании, Португалии, Реции, по-видимому, в какой-то степени также южной Британии.

Таким образом, внешне лингвистические обстоятельства способствовали, с одной стороны, прочному и глубокому усвоению населением Северной Галлии романского языка и максимальному лексическому выравниванию своего латинского языка по языку Рима и других смежных романских провинций, связь с которыми все время поддерживалась как во времена Империи, так и после ее распада. С другой, однако, стороны, то обстоятельство, что галльский Север Франции был наиболее близок из континентальных кельтских языков к островным кельтским языкам, способствовало тому, что именно здесь сосредоточивались все фонетические изоглоссы, отделявшие язык Северной Галлии от галльского языка Южной и Цизальпинской Галлии и от исходной романской фонетики. Это, в свою очередь, наложило неизгладимый отпечаток на всю северофранцузскую народно-латинскую лексику в ее основных составных элементах — романских, субстратных галльских и суперстратных франкских.

На основании «Этимологического словаря французского языка» А.Доза («Dictionnaire étymologique de la langue française») в современном французском литературном языке можно выделить около 97 корневых слов галльского происхождения. Очевидно, учитывая все их производные, а также лексемы галльского происхождения, имевшиеся в старофранцузском языке и в современных французских диалектах, можно значительно увеличить эту цифру, говоря о 300 словах галльского происхождения, обычно упоминаемых в научной литературе. Собранная лексика при всей ее неполноте интересна, однако, тем, что она особенно типична, поскольку в основном прочно вошла в современный язык или отражена в наиболее известных его историзмах. Среди 10 условно выделенных тематических групп (1) местоимения (дейктические слова); 2) части тела, выделения и болезни живого организма; 3) родство; 4) природа; 5) элементарные явления жизни, действия, восприятия (глаголы); 6) ориентация в пространстве; 7) качества и свойства (прилагательные); 8) жилище, занятие, питание, одежда, средства передвижения; 9) числительные; 10) духовная жизнь) слова распределяются следующим образом. Нет ни одного слова, относящегося к местоимениям и к лексике, связанной с родством. К названиям, обозначающим части тела и болезни (всего их 5) не относится почти ни одно слово, обозначающее части тела человека. Единственное исключение — фамильярное trogne «харя» (ср. кимр. trwyn «нос») при нейтральных figure, visage, face романского происхождения. Следовательно, хотя одно слово этой семантики осталось, оно явно отошло к разряду абсолютных синонимов предельно сниженного стиля. Кроме того, сюда же относится слово jarret «подколенная впадина». Характерно, что оно не принадлежит к наиболее важным, а следовательно, и частотным словам этой сферы.

Слова, обозначающие природу, выступают в количестве 44, т.е. составляют около половины всей субстратной лексики. Так же как и для предыдущей группы, для нее характерно, что часть данных слов галльского происхождения перешла из галло-романского диалекта в литературный латинский язык, откуда могла проникать в другие романские диалекты (позже языки), — ср. фр. bec (лат. beccus) «клюв», фр.

alouette «жаворонок» (лат. alauda), фр. alose «бешенка (рыба)» (лат. alausa), фр. bouleau «береза» (лат. bētul(l)a), фр. cheval «лошадь, конь» (лат. caballus «(рабочая) лошадь, кляча», исп. caballo, итал. cavallo, рум. cal). Слова же, не проникшие в латинский и оставшиеся принадлежностью галло-романского диалекта (> французского языка), характеризуются тем, что здесь выступают почти без исключения лексемы, обозначающие только конкретные предметы и явления, названия отдельных животных, растений и минералов. Исключений немного. Это слова branche «ветвь» и minéral «минерал», характеризующие явления, объединяющие целый ряд конкретных предметов. Наиболее многочисленной из тематических групп является группа, связанная с занятием человека: здесь наряду с названиями, характеризующими ремесло, обращает на себя внимание многочисленность слов, относящихся к сельскому хозяйству (crème «сливки», drêche «солод», glui «ржаная солома», javelle «пучок сжатого хлеба», lie «осадок», sillon «борозда»). По-видимому, в связи с большими успехами галлов в добыче полезных ископаемых, руд, в металлургии, а также пивоварении, изготовлении разнообразных повозок и колесных плугов целый ряд подобных слов галльского происхождения, имеющихся во французском языке, вошел в латынь или из французского в другие европейские языки (ср. mine «рудник, копь», gravier «гравий», bief «бьеф», char (carrus) «повозка», charrue «плуг» (лат. carruca «карета»), brasser «варить пиво» (лат. braces «полба»), étain (лат. stannum «олово»). Часть галльских наименований дожила до средних веков, став обозначением типичных для них отношений, — ср. valet «слуга», vassal «вассал». Совсем незначительны количественно остальные группы. Если не считать глагола changer «менять», относящегося к занятиям развитого общества и вошедшего в латынь (ср. cambio «меняю»), к глаголам для обозначения элементарных явлений жизни, действий и восприятий принадлежат в современном литературном языке только пять слов: battre (вошедшее в латынь, — ср. лат. battuere, поздн. battĕre) «бить», braire «(фам.) кричать, орать; кричать (об осле)», briser «разбивать, ломать», gober «(фам.) глотать», renfrogner «морщить брови». По-видимому, результатом сближения двух слов, латинского и галльского, является глагол craindre «бояться», возникший, как предполагают, вследствие сближения лат. tremĕre «дрожать» и гал. *cremo- «дрожь». Французские глаголы, как и все другие части речи, разумеется, не отражают непосредственно галльской грамматической формы соответствующих глаголов, а представляют собой галльские глагольные корни (основы), воспроизведенные в словообразовательных и словоизменительных формах латинского языка. Таким образом, французские глаголы восходят непосредственно не к галльскому языку, а к галло-романскому диалекту латинского языка, в котором соответствующие галльские слова претерпели свою грамматическую трансформацию. Обращает, помимо прочего, на себя внимание и то, что часть глаголов (напр., braire, gober) приобрели во французском языке фамильярный оттенок, который первоначально (в галльском языке) им, по-видимому, не был свойствен (ср. гал. *gobbo «рот», — ирл. gob «клюв», фр. ст. braire «кричать» < нар.-лат. (гал.) bragĕre «т. ж.»). Остальные глаголы (battre «бить», briser «ломать», craindre «бояться», renfrogner «морщить брови»), хотя и не приобрели указанного сниженного, фамильярного эмоционального оттенка, обозначают действия, связанные с повышенной эмоциональностью. Это говорит о том, что угасавший галльский язык, с одной стороны, как более близкий говорящим на нем галлам по сравнению с латинским, использовался часто преимущественно в тех случаях, когда латинский менее выразительно передавал их эмоции. С другой стороны, ощущавшаяся носителями галльского языка его более низкая по сравнению с латинским социолингвистическая ситуация заставляла воспринимать народнолатинские слова галльского происхождения как социально низкие, фамильярные по сравнению с их абсолютными синонимами латинского происхождения.

Так же малочисленны по своему составу и остальные семантические группы, включающие французские слова галльского происхождения. По отношению к трем сло-

вам, обозначающим ориентацию в пространстве, обращает на себя внимание то, что все они относятся или к мерам длины или площади, или к геометрическим понятиям, причем два из них вошли в латинский язык, -ср.: lieue (лат. leuca, leuga) «лье, — галльская (> французская) миля (около 2,25 км)»; arpent (лат. arepennis) «арпан» (около 1250 кв. м); losange «ромб». Все эти понятия указывают на высокоразвитое земледелие и землепользование у галлов, имевшее настолько прочные основы, что ряд его понятий были вынуждены принять римляне, причем они пережили как галльский язык, так и римское и франкское завоевание.

Крайне малочисленны также галльские прилагательные, включенные в галло-романский, французский язык. Это такие слова, как creux «полый, пустой, впалый», dru «сильный, крепкий», rêche «жесткий, шершавый, терпкий». Результатом латино-галльского скрещения считается слово chétif «тщедушный, хилый; жалкий», поскольку это слово, как полагают, явилось следствием сближения лат. captivus «пленник» и гал. *cactos «то же».

Единственным словом галльского происхождения, которое можно отнести к числительным, является нумеральное (неопределенное) прилагательное maint (< гал. *mantî) «неоднократный» (ср. кимр. maint «размер, величина»). Важно отметить, что из галльского субстрата не вошло ни одно из основных числительных, обозначающих точные величины или порядок их расположения (количественные и порядковые числительные).

Из слов, относящихся к духовной жизни, в том числе к верованиям галлов, сохранились лишь два слова, обозначающие галльского жреца (druide «друид») и поэта-песнопевца (barde «бард»). Оба эти слова отражены как в латинском, так и во всех современных европейских языках, причем, если слово *друид* сохранило только свое первоначальное, связанное с галльскими древностями значение, то слово *бард* приобрело в ряде европейских языков, в том числе и русском, характер поэтизма высокого стиля, обозначающего поэта-певца, пророка в самом высоком значении этого слова (ср. из ответа А.С.Пушкину (на послание декабристам), написанного А.Одоевским: «Но будь спокоен, бард, цепями, своей судьбой гордимся мы...»).

В целом с семантической точки зрения для галльских субстратных лексических элементов французского языка характерно то, что они, с одной стороны, относятся к техническим терминам и реалиям, очевидно, свойственным Галлии, с другой — обозначают преимущественно конкретные объекты: виды растений, животных, частей ландшафта, орудий и т.д. Итак, здесь есть слова со значением «дуб», «береза», «тисс», «бобер», «лошадь», «плуг», но нет слов со значением «дерево», «животное», «орудие» и т.п., что, видимо, было связано с интенсивным общением с носителями других романских диалектов (позже — языков), при контактах с которыми употребление слов галльского происхождения (особенно слов с высокой частотностью) могло бы вызывать затруднения. Из слов галльского происхождения в галло-романские говоры Северной Франции прочно вошли или те галльские слова, которые, обозначая специфические галльские реалии, воспринятые другими романцами вместе с соответствующими галльскими словами, были им известны, или, хотя и не вышли за пределы Галлии, однако, обозначая характерные для нее и поэтому не переводимые понятия, также были хорошо известны всем ее жителям, независимо от знания (или незнания) ими галльского языка. Те немногочисленные слова, которые сюда не входили, как правило, относились к профессионализмам и лексике в целом тех социальных групп, среди которых, очевидно, дольше всего держался галльский язык (крестьяне, часть людей, занимавшихся традиционными галльскими промыслами и ремеслами (горняки, гончары, кузнецы) и т.д.), где затем эти слова при полном переходе на романскую речь могли сохраниться в составе профессиональной лексики. Поскольку данные группы населения, как правило, не относились к тем слоям, где по роду их деятельности были необходимы частые переезды и общение с жителями романских провинций вне Галлии, эта лексика также практически не мешала функционированию северного галло-романского диалекта (впоследствии французского языка). Следовательно, с точки зрения чисто лексической, воз-

действие галльского субстрата относительно мало повлияло на выделение французского языка среди других романских (в первую очередь западнороманских — провансальского, итальянского, реторомансского, каталанского, испанского, португальского).

Значительно заметнее были преобразования лексики, вызванные фонетическим воздействием галльского субстрата, наиболее важными моментами которого были: 1) назализация гласных звуков перед носовыми согласными, связанная с устранением последних в позиции перед другими, преимущественно неносовыми согласными (chanter < cantare); 2) переход -ct- > -it- (nuit < *noctem); 3) ослабление целого ряда согласных в интервокальной позиции с их дальнейшим выпадением. Последний фонетический процесс привел к особенно значительному изменению облика французских слов по сравнению со словами других романских и латинского языков, что повлекло заметное изменение их формы, прежде всего, выразившееся в их сокращении, — ср. фр. feu «огонь» (итал. fuoco, лат. focus), фр. sûr «безопасный» (итал. sicuro, лат. securus), фр. îl «остров» (итал. isola, лат. insula), фр. vie (итал., лат. vita) «жизнь». Поскольку таковой была общая фонетическая тенденция галльского языка и постгалльского галло-романского диалекта Северной Франции (впоследствии — французского языка), которая реализуется буквально на глазах истории (ср. фр. ст. vithe (< vita) при совр. vie), она действовала одинаково последовательно как в словах галльского происхождения, так и в латино-романских лексемах и лексических заимствованиях из франкского языка: ср. фр. (< (пост)галльское) lieue «лье» при лат. leuca, leuga, отражающими постепенное ослабление, однако при его сохранении (в дальнейшем выпавшего согласного) — фр. (<лат., романское) vie < фр. ст. vithe < vita «жизнь» — фр. (< франк.) effrayer «испугать» < *exfridare «вывести из мирного (спокойного) состояния» (от франк. *frida «мир», — ср. нем. Friede «то же»). Значительное сокращение и видоизменение формы французских слов народно-латинского происхождения, а также часто связанная с этим их семантическая неясность (ср. фр. ст. é «пчела» < лат. *ape(m) «то же») вызвали в какой-то степени необходимость в замене части из них более полными формами, заимствованными из латыни или других романских языков (ср. фр. (совр.) abeille «пчела», заимствованное из провансальского, — ср. прованс. abelha «то же»), а также дублетность ряда народных и ученых форм типа sûreté-sécurité, frêle-fragile и под. Таким образом, наиболее заметно на лексику французского языка повлияла фонетика галльского субстрата и, видимо, что еще предстоит исследовать, в какой-то степени его семантика. Воздействие непосредственно со стороны субстратной лексики оказалось менее значительным и не таким заметным.

Иначе обстояло с румынским языком. В отличие от французского, субстратные дакийские лексические элементы в румынском языке обнаруживаются как количественно и, что важнее, качественно более весомая часть лексики. В румынском так же, как и во французском, очевидно, под влиянием субстрата возникло несколько своеобразных фонетических явлений и процессов. Так, видимо, из дакийского языка проник в румынский звук ă, характерный и для некоторых других балканских языков (ср.: рум. limbă «язык» — болг. къща «дом» — алб. ujë «вода»). Для дакийского, очевидно, был также характерен звук h, благодаря чему, хотя он исчез из позднего латинского, этот звук стал обычным для румынского (в отличие от других романских языков). К менее надежным, однако вероятным, особенностям дакийского можно отнести переход l > r (рум. soare — итал. sole, лат. sol «солнце»), а также qu > p (рум. apă — лат. aqua «вода»). Но, поскольку румынские фонетические процессы, которые могут восходить к дакийскому, не изменили настолько же основательно, как во французском, исходную структуру романского слова (она вполне явственно проглядывает сквозь фонетические изменения), можно считать, что в целом фонетическое воздействие субстрата не отличалось в румынском особой интенсивностью.

Более заметным, чем в случае французского, был зато лексический вклад субстрата, и это несмотря на то, что вклад

дакийского субстрата изучен далеко не полностью, так как лексика дако-мизийского языка известна значительно хуже кельтской, и несмотря на то, что в румынском гораздо значительнее, чем в западнороманских языках, вклад суперстратных языков (в данном случае славянских).

Субстратная дакийская лексика отобрана на основе лексического материала, приведенного в книге «Istoria limbii române» (vol. 2, Bucureşti, 1969, cap. «Influenţa autohtonă, p. 327–356) и отчасти в работе Г.Рейхенкрона (G.Reichenkron) «Das Dakische (aus dem Rumänischen rekonstruiert)» (Heidelberg, 1966, S. 84–174). Ввиду того что, как правило, принимались во внимание только слова современного литературного языка, собранный материал примерно равноценен французскому. Сопоставление его показывает, однако, что лексические элементы субстрата занимают в румынском более важное место, чем во французском. Прежде всего их количественно больше, даже несмотря на то что, по указанным выше причинам, обнаружена, очевидно, далеко не вся лексика субстратного происхождения. Но, что еще важнее, эта лексика весомей и в качественном отношении. Вместо 96 галльских корневых лексических элементов во французском в современном литературном румынском языке можно обнаружить 115 корневых лексических элементов субстратного дакийского происхождения.

Причем, в отличие от французского, нет ни одной тематической группы, где бы полностью отсутствовали субстратные лексемы. Распределены они следующим образом: 1) местоимения (дейктические слова) (1 слово); 2) органы, части тела, выделения и болезни живого организма (9 слов); 3) родство (6 слов); 4) природа: а) элементы, формации и явления природы (13 слов); б) растительный мир (13 слов); животный мир (13 слов); в) минералы, металлы (1 слово); 5) элементарные явления жизни, действия, восприятия (глаголы) (9 слов); 6) ориентация в пространстве (1 слово); 7) различные качества, свойства, состояния и возрасты (прилагательные) (11 слов); 8) жилище, занятие, питание, одежда, средства передвижения (28); 9) числительные, обозначения количества (3 слова); 10) духовная жизнь, верования (4 слова).

Наименее типичными в качестве субстратных включений являются слова, обозначающие обстоятельства материальной жизни (занятия, жилище, одежду, средства передвижения и под.). В отличие от галльских по происхождению лексем французского языка, свидетельствующих о разнообразии хозяйственных занятий общества, говорившего на галльском языке, лексика дакийского происхождения свидетельствует о том, что преобладающим, почти единственным занятием даков было сельское хозяйство, преимущественно скотоводческо-пастушеского направления, где остальные занятия (например, изготовление одежды) были тесно с ним связаны, как бы вытекали из него, не представляли еще собой отделившихся от него полностью ремесел. Определенное место здесь, в отличие от галльского языка, занимают также лексемы, обозначающие жилье, поселения. Таким образом, значительная часть лексики дакийского происхождения относится к скотоводству, прежде всего овцеводству, наиболее целесообразному в условиях горной местности, занятой в основном дакаами, — ср.: 1) strungă «загон для дойки овец», 2) baci «старший пастух»; 3) ţar «зимний загон для ягнят», 4) urdă «сладкий овечий сыр»; 5) brînză «сыр, брынза»; 6) stînă «огороженное место для загона овец; сыроварня»; 7) hîrşie «смушка барашка»; 8) zăr (zer) «сыворотка»; 9) zară «пахтанье». С земледелием связано меньшее количество слов. Это такие лексемы, как: 1) balegă «навоз», 2) grapă «борона», 3) groapă «яма», 4) (a)hălpi «полечь (о зерновых злаках)». Производство одежды и обуви, по-видимому, домашнего изготовления и разные их виды характеризуют следующие слова: 1) argea «скамеечка ткачихи; (уст.) землянка для тканья пряжи летом»; 2) bumb «пуговица»; 3) carîmb «голенище»; 4) căciulă «меховая шапка»; 5) brîu «широкий шерстяной пояс (цветной)»; 6) andrea «спица, вязальная игла»; 7) cioareci «белые узкие крестьянские брюки». К группе слов, обозначающих орудия и сосуды, не связанные с земледелием, можно отнести только такие лексемы, как

burduf «бурдюк, (кузнечные) мехи», cursă «капкан, западня», ţeapă «заостренный кол». Единственным словом, обозначающим действие, которое относится к хозяйственным занятиям, является глагол (a)scăpăra «высекать огонь». Единственным словом, связанным с понятиями передвижения, является слово drum «дорога, путь». Два слова субстратного происхождения обозначают музыкальные инструменты даков. Это fluier «свисток; свирель» и trişcă «тришка, камышовая дудка». Особое место среди субстратных слов по важности обозначаемых ими понятий занимают лексемы, связанные с понятиями жилища и поселений, кстати, совершенно отсутствующие среди лексики галльского субстрата во французском языке. Здесь, наряду с обозначением специфичного жилья, характерного в особенности для пастухов, такого, как colibă «хижина, избушка; шалаш», более основательная постройка со значением «дом» обозначается словом романского происхождения casă. Однако сюда же относится слово cătun «деревушка, хутор», видимо, небольшое деревенское поселение даков. Важное понятие, относящееся к жилью, обозначает слово субстратного происхождения vatră «очаг, печь», во французском передаваемое романским foyer (< нар.-лат. focarium от focus «огонь»). Сюда же можно отнести gard «забор, изгородь».

Следовательно, среди названий, характеризующих деятельность человека в ее материальном проявлении и обозначенных субстратными лексемами, в румынском наряду со словами, закрепление которых в этом романском языке можно объяснять спецификой реалий, обусловленных, например, особенностями местного овцеводства, специфическими постройками (colibă), селениями (cătun), можно встретить и целый ряд слов, ничем не примечательных и неспецифичных, которые могли бы быть свободно переданы романскими лексическими элементами, — ср.: drum «дорога, путь», (a)scăpăra «высекать огонь», balegă «навоз», gard «забор, изгородь», groapă «яма», vatră «очаг, печь». Эти слова относятся к типичным субстратным включениям типа реликтов, и одной из причин их сохранения можно считать их тесную связь с повседневной жизнью, бытом, а отсюда, видимо, и их высокую частотность.

Среди названий, связанных с природой, преобладают слова трех разрядов, обозначающие: (1) элементы, формации и явления природы, (2) растительный мир, (3) животный мир. Закрепление субстратных слов этой семантической группы можно объяснять двумя причинами — 1) большей или меньшей экзотичностью обозначаемых субстратными словами реалий (данные реалии или были неизвестны переселенным в Дакию романцам, если они происходили из провинций с совершенно другой природой (Южная Италия, Прованс (Провинция), Испания), или отличались там малой частотностью, редкостью); 2) тем, что данные слова, обозначая более общие понятия, были чрезвычайно частотными в языке даков и благодаря этому оказались способными сохраниться даже после окончательной романизации населения и полного вытеснения дакийского языка (слова-реликты). К первой группе с наибольшим основанием можно отнести только слово viscol «снежная буря, вьюга», обозначающее, действительно, явление, совершенно незнакомое жителям юга. На границе между экзотической и общераспространенной лексикой могли стоять слова, хотя и обозначающие понятия, связанные с любой горной и лесистой местностью, которую представляла собой большая часть территории древней Дакии, однако имевшие в связи с ее спецификой (более суровый климат, своеобразие рельефа) свой особый семантический оттенок, способствующий их закреплению в местном романском диалекте (> языке). Сюда, видимо, с большим или меньшим основанием могут быть причислены такие лексемы, как bunget «чаща леса», codru «бор», măgură «холм, курган», dîmb «возвышенность», hău «пропасть, бездна». К числу слов, обозначающих формации и явления природы наиболее общие и ничем не примечательные, где единственным объяснением, кроме внешнелингвистических обстоятельств, может быть их высокая частотность в языке автохтонного населения, относятся такие слова, как baltă «болото», mal «берег», abur «пар», pîrău «ручей», scrum «пепел», spuză «зола». Ясно, что эти слова, обо-

значающие самые повседневные и общие понятия, не заключали в себе ничего специфического, тем более экзотического, и никакого основания для их заимствования не было. Это наиболее типичные слова-реликты, сохранение которых в речи местного населения даже при переходе его на романский язык можно объяснить только их обычностью, частотностью в первом, оставленном языке.

Среди слов, обозначающих растения, к числу субстратных лексем, сохраненных в дако-романском языке не столько в силу их частотности, сколько, возможно, определенной местной специфики, по-видимому, можно было бы отнести gorun «вечнозеленый дуб», brad «пихта, ель», coacăză «смородина», leurdă «медвежий лук, черемша». По причине малозначительности, определенной бесполезности этих растений могли сохраниться дакийские включения при обозначении таких растений, как лопух (brusture) и чертополох (scai(u)). Возможно, распространенностью в Дакии гороха как пищевого продукта следует объяснять также сохранение субстратного дакийского включения mazăre «горох». Однако единственно возможным является объяснение субстратных включений как слов-реликтов в тех случаях, когда они обозначают общие понятия, например, ciump «сук», curpen «усик, ползучий стебель вьющегося растения», ghimpe «колючка, шип», sîmbure «косточка (плода)», которые отражают части любых растений. В особенности показательно в этом случае слово сорас, имеющее значение «дерево» и сохранившееся наряду с романским arbore с тем же значением.

Среди названий животных, рассматриваемых в качестве субстратных по происхождению, наряду со словами, обозначающими специфичные или малозначительные реалии (dolcă «овчарка», căpuşă «клещ (овечий)», zimbru «зубр», ghionoaie (gheonoaie) «зеленый дятел», viezure «барсук» и др.), встречаем также слова, обозначающие либо общераспространенные разновидности животных, либо хорошо известные и в других романских провинциях. Сюда следует отнести такие слова, как mînz «жеребенок», cioară «ворона», măgar «осел», năpîrcă «гадюка», pupăză «удод», raţă «утка», şopîrlă «ящерица», ţap «козел». Единственной внутрилингвистической причиной их сохранения, кроме социолингвистических обстоятельств, можно считать то, что все эти слова, обозначающие или диких, или менее важных в хозяйственном отношении животных, не лежат, так сказать, на магистральном пути развития нового романского диалекта (языка). Более общие понятия или обозначения более важных животных могли иметь уже романские наименования. Так, наряду с дак. mînz «жеребенок» или măgar «осел», романское наименование получило близкое, но более ценимое по возрасту, силе и значимости животное: понятие «лошадь» передается, хотя и галльским по происхождению, но ставшим общероманским в народной латыни словом cal (< нлат. caballus). Слово, обозначающее конкретный вид пресмыкающегося «гадюка», передано лексемой дакийского происхождения (năpîrcă), однако общее понятие «змея» передается в румынском романским şarpe (< нлат. *serpem (*serpis) < serpens). Следовательно, в область названий животных общие наименования субстратного происхождения проникали с трудом, что, возможно, объясняется большим для Дакии значением животноводства по сравнению с земледелием. Интересно в этом отношении и автохтонное ţap, обозначающее понятие «козел», в то время как основные понятия, связанные с более важным, по-видимому, овцеводством, передаются в румынском с помощью романских слов, — ср. «баран» (berbec < *berbex < vervex «баран (холощеный)» — фр. brebis «овца») и «овца» (oaie < лат. ovis).

Единственным словом, проникшим из дакийского, которое характеризует минералы и металлы, считается gresie «песчаник». Его сохранение могло объясняться частотностью реалии, поскольку общие названия, например, для понятия «камень» и для всех основных и наиболее ценных металлов, передаются в румынском словами романского происхождения, — ср. piatră «камень» (от гр. πέτρος, получившего большое распространение в народной латыни и романских языках, — ср. лат. (поздн.) petra «скала, камень», фр. pierre, итал. pietra, исп. piedra, порт. pedra), fier «железо», aramă «медь»

(aeramen(tum) «медная посуда»), plumb «свинец», aur «золото», argint «серебро».

Менее многочисленными по составу, но по-своему не менее интересными являются другие семантические группы субстратной по происхождению румынской лексики.

К числу дейктических слов несколько условно может быть отнесено румынское, предполагаемое дакийское по происхождению aș (ași) «полно, полноте» (ср. алб. as «нет»). Данное слово интересно тем, что среди французской лексики галльского происхождения подобные слова явно служебного (и, следовательно, наиболее частотного) применения совершенно отсутствуют. Указанное слово относится к словам типично реликтным, поскольку выражаемый им оттенок значения, безусловно, без труда мог бы быть передан средствами романской лексики. Слово, содержащее подобную семантику, могло сохраниться и быть включенным в романский идиом только вследствие условий, благоприятствовавших сохранению субстратной лексики в целом, в том числе и той, которая не отражала какие-либо специфические предметы и явления.

О том же в неменьшей степени свидетельствуют названия органов частей тела, выделений и болезней живого организма. Здесь наряду со словами, которые могут претендовать на известную специфичность передаваемых ими понятий (например, gălbează «воспаление печени (у овец)», lațe (мн.ч.) «спутанные пряди волос» (ед.ч. laț «силок»), gușă «зоб (болезнь, характерная для горных местностей)»), встречаются лексемы, обозначающие те понятия, в частности, касающиеся частей тела, в заимствовании которых в романский диалект (> язык) не было никакой необходимости. Правда, в этой группе есть и слово ciоc «клюв», передающее понятие, связанное с частями тела птиц и, возможно, проникшее в связи со своей, с одной стороны, лексической малозначительностью, а с другой, в силу эмоциональной звукоизобразительной (имитативной) выразительности (ср. подобное же субстратное bec «клюв» во французском языке). Однако кроме него обнаруживаются также слова, обозначающие части тела человека, — ср. ciuf «чуб, вихор», buză «губа» (единственное обозначение этого понятия при отсутствии соответствующего синонима романского происхождения), ceafă «затылок» (синоним романского происхождения в литературном языке отсутствует), grumaz «шея, затылок» (употребляется в значении «шея» параллельно со славянским по происхождению синонимом gît от *glъtъ(-ka), а со значением «затылок» параллельно с дакийским по происхождению ceafă). С помощью дакийского по происхождению слова (burtă, — ср. гр. φορτίον «ноша, плод (чрева)», передается и такое важное понятие, как «живот», правда, наряду с романским по происхождению словом того же значения pîntece «живот» (ср. лат. *pantex (pantices) «живот, брюхо или кишка»). Румынский язык, как видим, значительно отличается в данной тематической группе от французского, поскольку в последнем было отмечено только одно слово галльского происхождения jarret, обозначавшее мелкую часть тела, «подколенную впадину», в румынском же использован целый ряд слов субстратного происхождения, причем для обозначения важных и существенных частей тела, связанных с головой («губа (губы)», «шея», «затылок») и туловищем («живот»).

Не представленная во французском ни одним словом субстратного происхождения такая важная тематическая группа, как названия, связанные с родством (или возрастом), содержит в румынском целый ряд лексических единиц, — ср.: 1) ghiuj «(ирон.) старикашка»; 2) boreasă «замужняя женщина; жена»; 3) copil «ребенок, дитя; мальчик»; 4) moș «старик, дед»; 5) spîrc «ребенок, крошка, карапуз»; 6) băiat «мальчик, парень». Обращает на себя внимание наличие синонимов, в особенности в обозначении детей, а также то, что среди данных слов содержатся две важных лексемы для передачи понятий «ребенок» (copil, — не имеющие синонима романского происхождения) и «старик» (moș). Включение подобных слов ничем, кроме благоприятных условий для сохранения реликтной субстратной лексики, объяснить нельзя.

Более многочисленную, чем во французском, тематическую группу субстратной лексики представляют собой в румынском слова для обозначения элементарных

явлений жизни, действий, восприятий (глаголы) (9 вместо 5 во французском). В сущности, в данном случае речь, конечно, идет не о дакийских глаголах, а о дакийских глагольных корнях (основах), продолжающих свою жизнь в румынском в новом романском (> румынском) грамматическом оформлении. Сюда предположительно относят следующие глаголы: 1) (a)bucura «радовать, веселить»; 2) (a)ciupi «щипать»; 3) (a)lehăi «болтать (говорить)»; 4) (a)băga «вкладывать, всовывать»; 5) (a)bocăni «стучать, ударять», 6) (a)ciond(r)ăni «бранить, ругать»; 7) (a)feri «защищать»; 8) (a)găsi «находить»; 9) (a)fărîma «крошить, дробить». Сохранение некоторых из глаголов можно отчасти объяснить известной эмоциональной окрашенностью субстратной лексики, однако подобное объяснение допустимо далеко не во всех случаях. Часть глаголов, абсолютно нейтральных по значению и важных по своей функции, решительно противится подобному объяснению. Так, глаголы (a)găsi «находить, найти», (a)feri «защищать, оберегать», (a)băga «вкладывать, всовывать» совершенно невозможно объяснить, если исходить из того, что они должны были заполнить какую-то пустую клетку в общей таблице лексической системы. Сохранение этих глаголов могло, с одной стороны, объясняться высокой частотностью в дакийском языке, хотя такой же, если не большей, частотностью должны были обладать и романские соответствия, в связи с чем именно частотность и нейтральность данных глаголов обрекала их на выпадение из лексики дако-романского диалекта (> языка). Таким образом, с другой стороны, для того чтобы они сохранились, необходимы были экстралингвистические условия, способствующие этому.

В румынской лексике субстратного происхождения к словам, служащим для выражения ориентации в пространстве, можно отнести только лексему horțiș «искоса, косо». Среди румынских слов субстратного происхождения, входящих в эту группу, в отличие от соответствующих французских субстратных элементов, нет обозначений специфических мер, расстояний или площадей. Приведенное слово служит для обозначения наиболее обычного и, следовательно, общераспространенного понятия, выражающего ориентацию в пространстве, поэтому и в данном случае следует говорить об особой (по сравнению с галльскими) устойчивости дакийских субстратных элементов. Включение их в дако-романский идиом здесь, как и в других случаях, было вызвано не семантической весомостью выражаемых ими понятий (их новизной, необходимостью как дополняющих систему элементов), а всего лишь более устойчивым их положением и соответственно большей, чем в Галлии, слабостью в Дакии позиций романской речи.

Богаче по сравнению с галльскими субстратными включениями во французском состав дакийских по происхождению прилагательных в румынском языке (11 вместо 4). Здесь также можно встретить ряд прилагательных, связанных с животноводством и носящих ввиду этого известный специальный («технический») характер. Сюда можно отнести такие слова, как murg «караковый (о масти)», ciut «безрогий, однорогий», ciul «корноухий, меченый (об овцах, собаках)», știră «бесплодная (о животных)». Наряду с ними, однако, встречаются и прилагательные (и наречия), обозначающие более нейтральные общераспространенные значения, — ср. bălan «белокурый; белый (о масти)», hojma «беспрерывно, постоянно, вечно», gata «готово», teafăr «здоровый, здравый, разумный», hututuiu «глупый, бестолковый». Характерно, что большинству этих слов свойственны нейтральные или положительные оттенки значения. К числу слов субстратного происхождения относят и такие чрезвычайно важные и частотные прилагательные, обозначающие размер, как mare «большой, великий» и mic «малый, маленький». Разумеется, вся последняя группа прилагательных и наречий, в особенности два последних, не давала никакого повода для их заимствования в новый романский идиом. Это наиболее типичные реликтные слова субстратного происхождения.

К числительным можно отнести слово, обозначающее неопределенное множество (droaie «множество, груда, куча». Однако наряду с ним в румынском сохранилось и признаваемое субстратным количественное дробное числительное jumătate «полови-

на», также понятное только в качестве реликтного слова.

К числу слов, которые можно отнести к духовной жизни, в том числе верованиям, принадлежат лексемы bală «чудовище», gogă «пугало, бука», naibă «черт», связанные с языческой демонологией и потому сохранившиеся как реликты язычества. Как лексический элемент, передающий специфический жанр румынской народной поэзии и музыки, явно восходящий к дакийской древности, следует рассматривать слово doină (диал. dainĕ). В отличие от большинства других субстратных слов, имеющих преимущественно албанские параллели, данное слово в наибольшей степени связано с балтийскими — лит. dainà, лтш. daina «народная песня». Румынское слово, как и его балтийские соответствия, обозначает народную лирическую песню особого характера. Ввиду того что этот тип песен, исполняемых уже на романском языке, сохранил как свое древнее дакийское название, так и, по-видимому, свое музыкальное и поэтическое своеобразие, в их сохранении можно видеть особую устойчивость дакийского фольклора в его, очевидно, наиболее популярном жанре, пережившем даже смену языка. Все слова данной группы, являясь субстратными включениями, одновременно на фоне романской основы румынской лексики могут рассматриваться и как субстратные экзотизмы, поскольку обозначают или один из видов определенного (более широкого) понятия, или представляют собой один из выражающих его синонимов (причем не наиболее распространенных). Так, слово doină обозначает только один из видов народной песни. Понятие «песня (вообще)» передается словом романского происхождения cîntec (лат. canticum). Лексема bală «чудовище» имеет в литературном языке в качестве основного синонима слово monstru с тем же значением. Следовательно, данная тематическая группа слов, хотя и относится к числу субстратных, связана скорее не с чистыми реликтами, а с включениями, сохранение которых в языке-преемнике могло быть мотивировано как традицией субстратного языка, способствовавшей их сохранению, так и тем, что они передавали понятия, по-видимому, восполнявшие семантическую (и эмоциональную) систему языка, т.е. вошли в него при той ситуации, которая возможна и при заимствовании в прямом понимании слова.

Рассмотрение румынской субстратной лексики показало, что по сравнению с такой же лексикой французского языка она в значительно меньшей степени может быть оценена как лексика экзотизмов или технических терминов, а также как источник сниженно-эмоциональной языковой синонимики. В отличие от французской, здесь значительно больше слов общего нейтрального значения, причем нередко не имеющих синонимов несубстратного (романского) происхождения. Если субстратная лексика французского языка или тяготеет к его периферии (профессиональным языкам), или обозначает относительно узкие конкретные значения, то такая же лексика румынского языка в целом ряде случаев оказывается в центре лексической системы, обозначая существенные понятия, такие, как части тела, родство и возраст, части рельефа, растительный и отчасти животный мир, жилье, некоторые важные глаголы и прилагательные (наречия, предикативы). Кроме того, здесь даже сохранено (причем не в арго или диалекте, а в литературном языке, что бывает крайне редко) одно количественное числительное. Ср. в связи со сказанным такие слова, как buză «губа», ceafă «затылок», grumaz «шея, затылок», burtă «живот»; copil «ребенок», moș «старик»; baltă «болото», mal «берег», codru «бор, дремучий лес», abur «пар»; copac «дерево»; mînz «жеребенок», țap «козел»; drum «дорога», vatră «очаг, печь»; (a)găsi «найти», (a)băga «вкладывать», (a)feri «защищать, оберегать»; horțiș «искоса, косо»; mic «малый», mare «большой», gata «готово»; jumătate «половина».

Проведенные исследования показывают, что румынский, несмотря на его несомненную принадлежность к романским языкам и многочисленные лексические заимствования из других языков, в которых наиболее значительное место занимают суперстратные, субстратные и адстратные славянские включения и заимствования, сохранил и довольно заметный слой суб-

стратных автохтонных лексических элементов. Дальнейшие разыскания, безусловно, покажут, что к этому слою должны относиться, кроме уже обнаруженных, и другие слова, пока еще не открытые как субстратные и поэтому относимые к разряду темных. Однако уже обнаруженное показывает, что субстратные лексические элементы в румынском, может быть, не столько ввиду их многочисленности, сколько большого удельного веса ряда из них играют в нем достаточно серьезную роль, которая во многом определяет его специфику как особого романского и в то же время балканского языка. Не следует забывать, что именно дакийский субстрат в наибольшей степени связывает румынский язык с, видимо, родственным дакийскому албанским, а также его субстратным предком дакийским языком и вместе с тем с другими палеобалканскими языками. Чрезвычайно важно было бы уяснить, чем вызвана в румынском подобная живучесть и удельный вес лексики дако-мизийского (или точнее, возможно, гето-дако-мизийского) происхождения по сравнению с более скромной ролью лексики галльского происхождения в формировании словаря французского языка. Думается, что основную роль в этом сыграли не внутренне-, а внешнелингвистические причины. Нет оснований, разумеется, видеть в этом следствие чрезвычайной развитости дакийского языка по сравнению с галльским. Напротив, то большое количество разнообразных терминов материальной культуры, взятых непосредственно из французского, но в конечном счете восходящих к галльскому языку, которые из галльского вошли в латынь, а из нее или французского во все романские и многие европейские языки (ср.: рус. *гравий, бьеф, вассал, валет, батальон, батальный;* п. ambasada; лат. carrus, carruca, caballus и т.д.), подтверждает высокий уровень ее развития у галлов. Нет сомнений и в том, что достаточно развитой была и духовная жизнь галлов, о чем говорят не только косвенные свидетельства высокоразвитой литературы других кельтских народов, а хотя бы галльское слово *бард,* вошедшее со значением «вдохновенный поэт-песнопевец» во все европейские языки. Галльский язык проявил, по-видимому, исключительную стойкость и, несмотря на все усилия романизировать полностью Галлию, пережил языческую Римскую империю и окончательно исчез в первые века распространения христианства. На то, чтобы его полностью вытеснила латынь, понадобилось около 6–7 веков. Это принимала во внимание даже римская администрация, отнюдь не поддерживавшая, как известно, развитие каких-либо языков, кроме латыни, и признававшая только силу тех языков, с которой нельзя было не считаться (греческий и арамейский на Востоке). Если в специальном разъяснении известного римского юриста Ульпиана, относящемся к III в. н.э., но внесенном в кодекс законов императора Юстиниана, говорится о правомочности завещания, составленного на галльском языке, значит даже после римского завоевания в Галлии допускалось, пусть в ограниченном объеме, официальное употребление галльского языка, что также не свидетельствует о его слабости. Напротив, романизация Дакии произошла за очень короткое время (с 106 г. н. э. до 275 г. н.э., т.е. в течение 169 лет). Как известно, в латинский язык, а вместе с тем и в другие романские не вошло ни одно дакийское слово. Правда, некоторые слова дакийского происхождения вошли в ряд языков, смежных с румынским (ср. болг. *колиба, друм,* укр. *колиба, цап),* но в ряде случаев они известны только диалектам местных языков, за границы же непосредственно смежных с Румынией стран эти слова, как правило, не перешли. Следовательно, все говорит о том, что если часть лексики дакийского происхождения, в том числе и очень важной, закрепилась в румынском языке, то вызвано это было не столько внутренней причиной (высокой развитостью дакийского языка), сколько причинами внешне(социо)лингвистическими.

В отличие от Галлии, завоеванной римлянами еще в I в. до н.э. и находившейся под их господством до конца V в., т.е. около 6 веков, Дакия под римским господством находилась всего 169 лет, т.е. менее 2 веков. Таким образом, хотя романизация Дакии совершилась очень быстро, чему способствовало заселение этой провинции

выходцами из западных романизированных провинций, романизация местного дакийского населения должна была носить довольно поверхностный характер. Этому могли способствовать и неоднократные восстания даков (в 117–118, 139, 143, 156, 170 гг. и позже), свидетельствующие о том, что местное население всеми силами противилось римскому господству, а значит, вряд ли могло полностью отказаться от своего языка (это было бы просто нецелесообразно, поскольку тем самым оно бы лишалось удобного средства, позволяющего при общении друг с другом в то же время хранить в тайне от римлян враждебные по отношению к ним замыслы). Дакийский язык был необходим дакам и для связи с той их частью, которая ушла к родственным племенам (костобокам, роксоланам и др.), расположенным вне территории римского завоевания, и откуда даки ожидали поддержки в своих восстаниях против римлян. Общаться с этими племенами, совершенно неромanизированными, дакам также было удобнее всего не на латинском, а на дакийском языке. Несмотря на связь романского (и романизированного) населения Дакии с римским населением в пределах ближайших провинций Римской империи, продолжавшуюся, как полагают, до V, а возможно и до VII в. н.э., даже несмотря на то что римские гарнизоны покинули Дакию в 275 г. н.э., очевидно, все же речь идет только о полностью романизированном и романском населении, так как вряд ли подобные связи могли интересовать даков, сохранивших свой язык. Другим не менее важным обстоятельством, которое не могло не отразиться на развитии местного романского идиома, было, видимо, то, что он, будучи оторван от центров римской образованности, в меньшей степени, чем другие романские диалекты, испытывал нормализующее влияние книжной латыни. Это нашло свое отражение в ряде своеобразных семантических особенностей местного романского языка уже в его романских (латинских) элементах: pămînt «земля» (< лат. pavimentum «утрамбованная с щебнем и известкой земля; мозаичный пол; каменная кровля»), bătrîn «старик» (< лат. veteranus «ветеран»), свидетельствующих о том, что в Дакии романский язык, лишенный обычной для остальной Романии диглоссии народная латынь — книжно-литературный латинский язык, развивался почти исключительно как народная латынь. Правда, еще при начальной проповеди христианства в Дакии римскими миссионерами для христианизации местных романцев использовалась книжная латынь, лингвистическим свидетельством чего является рум. dumnezeu «Бог» (< лат. Domine Deus «Господи Боже»), но с эпохой переселения народов и особенно с движением славян на Балканы, со все большей эллинизацией Восточной Римской империи (> Византии) все в большей степени намечался отрыв романцев Дакии от латинского языка. Очевидно, в немалой степени этому способствовало разделение первоначально единого христианства на католиков и православных, сделавшее латынь, особенно как богослужебный язык католиков, «латынников», одиозной в глазах православных. Смешанный романо-славянский характер возникавших княжеств Молдавии и Валахии стал причиной того, что их богослужебным и официально-административным языком стали славянские языки — церковнославянский в церкви, древнерусский (старо-украинский) и среднеболгарский в администрации. Лишенный связи с другими романскими языками, — и это едва ли не главное обстоятельство, — румынский язык не мог испытать их влияния, а у его носителей не возникало необходимости при контактах с другими провинциями Римской империи (а позже с романскими странами) выравнивать по ним свой язык, освобождая его от слишком большого числа слов, — преимущественно наиболее частотных, — непонятных другим романцам. Ведь румынский язык обслуживал только румын, им они не пользовались в общении с другими родственными народами. Поэтому и не нужно было изгонять из него те элементы (субстратные (дакийские); славянские, венгерские, греческие и турецкие), которые были бы непонятны представителям других романских народов. У романских народов Западной Романии потребность в таком выравнивании возникала значительно чаще, поскольку этому способствовали многочис-

ленные совместные переживания: принадлежность к общей для них католической церкви (с ее латинским языком); участие в крестовых походах, паломничество в Рим и к другим наиболее известным святым местам, признанным католической церковью; войны французов и испанцев в Италии; обучение романоязычной молодежи в университетах других романских стран, где при использовании латинского языка в качестве научного (и учебного) невольно приходилось прибегать к несвоему (местному) романскому языку и т.п. Таким образом, многочисленным взаимосвязям носителей романских языков Западной Романии следует противопоставить почти полный романский и латинский «изоляционизм» румын и молдаван. Данное обстоятельство также способствовало закреплению своеобразных лексических черт романского румынского языка, в том числе и своеобразной лексики субстратного происхождения.

Иногда сравнивают позднейший слой германской лексики в западногерманских языках со слоем славянской лексики в румынском. Однако сравнение это во многом неточно. В подавляющем большинстве случаев германские языки нигде на территории Романии не использовались в качестве письменно-литературных и официальных. В этой роли и в вестготской Испании, и во франкской Франции, и в лангобардской Северной Италии использовалась только латынь, что в немалой степени ускорило переход германцев, поселившихся в этих странах, на местные романские языки, их романизацию. Германские языки можно было бы сравнить по их воздействию на западнороманские с воздействием славянских языков на румынский (и молдавский) только в том случае, если бы и в Западной Романии, как произошло это в Восточной со славянскими языками, германские языки, кроме их роли разговорного языка господствующего меньшинства из германских феодалов и разговорной речи поселившегося среди романцев германского населения, выполняли к тому же роль языков богослужения и использовались как официальные письменно-административные языки. Поскольку ничего подобного никогда не было, ситуацию румынского языка с ситуацией западнороманских языков в целом сравнивать недопустимо. Единственную наиболее близкую аналогию во взаимоотношениях западнороманских языков с германскими (немецким языком) по отношению к румынскому в его связях со славянскими представляет ретороманский язык, который длительное время, как и румынский со стороны славянских языков, подвергался воздействию со стороны немецкого языка и поэтому насыщен, пожалуй, не в меньшей степени, чем румынский, славянскими лексическими заимствованиями, германскими (немецкими) лексическими элементами.

В дальнейшем, когда с XVI в. национальная литература Валахии и Молдавии (позднее Румынии и Молдовы) стала развиваться на национальной основе дако-романского языка, а позже, с XIX в., все более стали налаживаться связи с другими романскими народами, возникло и стремление выйти из состояния невольного, исторически обусловленного «романского изоляционизма» по отношению к другим, западнороманским народам, усилить романский облик языка. Тяготение к реромани-зации румынского языка диктовалось прежде всего стремлением придать ему более романский облик и тем самым, сделав более понятным для других романцев, создать возможность для непосредственных культурно-языковых связей с родственными народами, ввести его в круг великих романских культур — французской, итальянской, испанской, португальской, воспользоваться плодами их развития. К этому вынуждало и стремление к европеизации языка после долгого летаргического сна в условиях восточного деспотизма разлагавшейся Оттоманской империи. Дело в том, что подавляющее большинство европейских интернационализмов строится на базе латинских или включенных в латынь греческих элементов. Для румынского языка, как одного из романских, этот путь представлялся вдвойне естественным, и он также, возвращая его к романским (и глубже) латинским корням, способствовал реромани-зации и одновременно европеизации румынского языка. Вначале некоторые энтузиасты, стремясь предельно реромани-зировать язык, выбрасывали из него все сла-

вянские элементы, даже глубоко укоренившиеся в нем. Эти попытки иногда в известной степени лишали язык его национального лица, мало того, делая непонятным для самих румын, отрывали его от народа, от естественного развития. Затем был выбран, по-видимому, единственно правильный путь: вводя постепенно романскую лексику, выпавшую в ходе его развития из румынского языка, оставляли в нем и прижившиеся славянские и другие неромансские элементы. Это способствовало появлению в ряде случаев целого ряда романо-славянских синонимов, обогативших язык лексико-семантически и стилистически. Появились, например, такие пары синонимов, как amor и iubire (от славян. **любити),* voce и glas, spirit и duh и под. Своеобразие субстратных дако-мизийских элементов румынского заключается в том, что, поскольку они не ассоциируются у румын ни с какими соседними языками, а иногда их даже сближают с романскими элементами (ср. рум. mare, которое до сих пор соотносили не с алб. madh(ë) «большой, крупный», а с лат. mas (maris) «мужской»), никогда не возникало стремление изгнать их из языка, тем более что некоторые из них (mic, mare, codru, copac и т.д.) совершенно неотделимы от румынского языка и часто ничем в нем не заменимы.

Следует думать, что этим словам, часто существенно определяющим облик языка, обеспечена преимущественно долгая жизнь, настолько прочно они в него вошли. С течением времени в румынском языке будут, очевидно, обнаружены еще не открытые в нем дакийские элементы, и тем самым еще яснее станет их важная, определяющая для его специфики роль. Подобные открытия будут иметь важное значение и для реконструкции и изучения ныне мало нам известного дакийского языка.

Особенности роли субстрата в формировании лексики, рассмотренные на материале романских языков, могут быть подтверждены также другим языковым материалом. Видимо, это относится среди прочих к такой особенности, как разная степень сохранности сугубо субстратной лексики, т.е. лексики типично реликтной, обозначающей понятия, которые обычно не заимствуются. Наблюдается здесь, в частности, следующая закономерность: в том случае, когда язык, принадлежащий к определенной языковой семье, оказывается от нее в изоляции, в нем сохраняются, как правило, реликтные субстратные лексемы, поскольку в данном случае язык обслуживает только его носителей, которые практически не заинтересованы в том, чтобы он был понятен носителям родственных языков. В таком положении находится, например, осетинский язык, наслоившийся на какой-то иберийско-кавказский, который растворился в нем и стал его субстратом, — ср.: осет. k'ax «нога» (чеч. kog, туш. kok, инг. kog, акуш. kax «то же», хварш. ḳaḳa «голень») (Абаев, 1958, с. 619), k'ūx/k'ox «рука, кисть руки, палец» (чеч. kujg «рука») (Абаев, 1958, с. 644), ʒux, ʒux, c'ux «рот; пасть» (вейнах. z'ok, Зок «клюв», балк. ǯux «рот, морда», абх. а-č'ə, убых. ҷɛ, абадз. že, каб. žeh, ž'e «рот») (Абаев, 1958, с. 408–409), byl, bilæ «губа; край; берег» (дид. (бежет.) bəl, bil «губа», сван. p'il «губа», груз. p'iri «рот») (Абаев, 1958, с. 277–278), fyn3/fin3(æ), fij «нос; кончик» (абх. а-pənc'a «нос», убых. fać'ä «то же», мегр. p'iǯi, груз. p'inčvi, арм. (< ибер.-кавк.) p'inǯ «ноздря») (Абаев, 1958, с. 497), dūr/dor «камень», dūrgyn «каменистый» (груз. t'ali «кремень», чеч. t'ul-g «камень», инг. t'ol-g «камешек») (Абаев, 1958, с. 376), cæxær «горящие уголья; жар; огонь; искра» (груз. cxeli «горячий», cxari «жгучий», cexli (< *se-cxl-) «огонь») (Абаев, 1958, с. 308), cæǵyn3/cægin3æ «столб» (груз. čxiri «палочка», абх. čxənǯ «палка для вешания котла») (Абаев, 1958, с. 297–298), læg «мужчина; муж; человек» (абх. ləgaž$_{o}$ «старик») (<* ləg «человек» + *až$_{o}$ «старый»), хиналуг. ləgəd «мужчина», абаз. ləg «раб; холоп», туш. lag «раб», чеч. laj «то же», авар., дарг. laǧ «то же», каб. t̲le (l'ə) «мужчина; муж») (Абаев, 1973, с. 19–21); bæx «лошадь» (чеч. beqhi «жеребенок», инг. baqh «то же») (Абаев, 1958, с. 255–256). Все эти слова имеют соответствия в иберийско-кавказских языках, следовательно, восходят к иберийско-кавказскому субстрату, и отсутствуют в других иранских языках, о чем свидетельствует частично осетинский язык, где сохранились (преимущественно в ограниченной функции) синонимы к данным сло-

вам, имеющие соответствия в других иранских языках, – ср. осет.: arm «рука» (перс. arm «то же», заза ärmä «плечо»), fad «нога» (белудж. pād «тоже», перс. pā, pāī), jæfs/æfsæ «кобыла» (< «лошадь» (перс. asp «лошадь», пехл. asp, курд. hasp, белудж. aps, haps «то же», афг. aspa «кобыла»), которые в свою очередь имеют соответствия в других индоевропейских языках. В приведенных примерах из румынского (с дакийским субстратом) и осетинского (с иберийско-кавказским) обращает на себя внимание сохранение реликтных слов, наиболее типичных для субстрата, причем часто из совершенно одинаковых лексико-семантических групп (напр., названия частей тела). Как показывает пример французского, и в нем субстрат в общем передавал те же элементы (ср. фр. trogne «рожа, морда» (< «нос») – кимр. trwyn «нос»), однако эти элементы, ввиду тесной взаимосвязи с латинским и с родственными романскими языками, были или полностью вытеснены из языка, или попали на его стилистическую периферию, как бывает с обычными заимствованиями. В румынском, находившемся в изолированном положении по отношению к другим романским языкам, и в осетинском, изолированном от родственных иранских, субстратные лексические элементы оказались в наиболее благоприятном положении, что и позволило им сохраниться в наибольшей степени.

2. Роль субстрата в формировании грамматики

Вопрос взаимодействия и взаимовлияния языков в области грамматики, в особенности в отношении наиболее сложного типа взаимовлияний – субстратного, освещен значительно меньше, чем, например, вопрос о лексическом и даже более сложном фонетическом взаимовлиянии. Обычно говорится о малой проницаемости грамматического строя языка[15]. Это положение может быть принято только с рядом оговорок и уточнений. Прежде всего, оговорки требует уже само сравнение грамматики с лексикой как неким «эталоном» неустойчивости. Совершенно справедливым представляется высказанное по этому поводу замечание В.И.Абаева, которое уместно здесь привести: «...лексика имеет репутацию самого неустойчивого элемента языка. Действительно, нигде в языке так не распространено заимствование, как в лексике. Отсюда известное недоверие к лексике при решении генетических вопросов, в том числе и вопросов субстрата. Однако это недоверие законно только до тех пор, пока мы подходим к лексике недифференцированно. Но когда мы внимательнее изучим исторические судьбы различных слоев лексики, мы убеждаемся, что в ней есть некоторые весьма устойчивые элементы, которые по своей стойкости могут соперничать с самыми стойкими элементами фонетики и морфологии. Сюда относятся местоимения, числительные и глаголы, названия частей тела, повседневных явлений природы, термины родства, основные социальные термины. Эти слова, образующие основной лексический фонд языка, живут тысячелетия и мало подвержены заимствованию. Поэтому при решении генетических вопросов на них можно положиться так же, как на любые устойчивые структурные элементы языка» (Абаев, 1956, с. 64–65)[16]. По-видимому, сложность проникновения чужеязычного влияния в грамматическую сферу, как и в сферу основного лексического ядра языка, связана в значительной степени с их частотностью. Поскольку элементы грамматического строя находятся все время «в работе» (и даже в большей степени, чем всякая, даже самая употребительная лексика, кроме предельно универсальной «грамматикализованной» типа союзов, предлогов, служебных и модальных глаголов, артиклей, местоимений), заимствовать грамматические элементы, изменить грамматический строй чрезвычайно трудно. Тем не менее изменения и в грамматике

[15] Ср., например, следующее характерное высказывание: «Внутренний характер грамматической семантики и высокая степень ее системной организации затрудняют иноязычное влияние на грамматику» (Мечковская, с. 389).

[16] К приведенному следует добавить, что подобной же, а возможно, и большей стойкостью отличаются все слова, относящиеся к служебным частям речи, которые часто непосредственно (например, в аналитических языках предлоги) обслуживают грамматику.

происходят. Однако происходят они, — если иметь в виду прежде всего существенные, заметные сдвиги, — как правило, не тогда, когда речь идет об эпизодических или малоинтенсивных языковых контактах, а когда имеем дело с длительным и тесным взаимодействием языков, которое как раз и характерно для субстратных отношений.

Как показывает рассмотрение соответствующего языкового материала, языковые изменения, вызываемые субстратом или явлениями, близкими к нему, имеют разный характер и по-разному формируют грамматическую систему языка. Изменения идут обычно по двум линиям: материальной и (или) семантической.

Непосредственные материальные заимствования, точнее включения, грамматических элементов наблюдаются относительно редко, хотя полностью далеко не исключены. Имеются два типа материальных включений грамматических элементов: тип общего (универсального) и тип частного (специального) включения. В первом случае включаемые элементы используются как универсальное грамматическое средство, обслуживающее в одинаковой мере как заимствованные, так и исконные слова (и даже в наибольшей степени исконные, поскольку они если не количественно, то по частотности всегда в языке преобладают). Во втором случае включаемые грамматические элементы проникают только со словами субстратизируемого (субстратизированного) языка и на слова языка-преемника, как правило, не распространяются, а если это и происходит, то преимущественно только под влиянием того, что определенные заимствованные лексемы воспринимаются как часть лексики субстратного, языка. Таким образом, в первом случае грамматические показатели заимствуются и вводятся во всю без исключения грамматическую систему языка-преемника. Во втором случае грамматические особенности включаются в язык-преемник вместе с заимствованными словами, которым они свойственны. В результате этого в языке возникает что-то, напоминающее «язык в языке»: с одной стороны, основная масса лексических элементов, по отношению к которым применяются правила грамматики, составляющей основу языка и той языковой семьи (группы), к которой язык относится, с другой, в нем же существуют лексические элементы, как правило, старой (предыдущей) языковой традиции, языка, которым до того пользовались. Эти включенные лексемы сохраняют грамматические особенности предыдущей языковой традиции, первого языка, не подчиняясь, как обычно бывает, грамматике второго языка.

Примером первого случая, когда заимствование грамматических элементов не ограничивается заимствованной лексикой, а распространяется на весь язык в целом, является алеутский медновский диалект. В отличие от беринговского и других диалектов алеутского языка, где сохраняются полностью исконные грамматические показатели, здесь в систему глагола были включены русские грамматические показатели, что следует объяснять с социо- и этнолингвистической точки зрения тесными взаимными контактами носителей алеутского и русского языков, а с точки зрения чисто лингвистической — большей сложностью алеутской грамматической системы. В связи с этим алеутская глагольная флексия была заменена русской, ср.:

Беринговский диалект		Медновский диалект
	Настоящее время	
awa-ку-к'	«работаю»	аба-ю
awa-ку-х't	«работаешь»	аба-ишь
awa-кух'	«работает»	аба-ит
awa-кус'	«работаем»	аба-им
awa-кух't-хичих	«работаете»	аба-ити
	Отрицательная форма (настоящего времени)	
айгал-лака-с	«мы не идем»	ни-айгала-им...
	Прошедшее время I	
awa-на-х	«работал»	аба-л

Прошедшее время II

awa-майа-на-х	«сейчас работал»	аба-майа-л

Будущее время I

awa-н'ан-анах	«будет работать»	будет абать...

Повелительное наклонение

Положительная форма

awa-да	«работай!»	аба-й и т.п.[17]

Приведенный пример заимствования глагольной флексии (как и вообще грамматических показателей словоизменения) относится, несомненно, к числу довольно редко наблюдаемых в языке. К тому же он не является совершенно показательным («чистым») как пример именно субстрата, скорее всего, в данном случае речь идет о процессе включения суперстратных элементов, так как русский язык на Алеутских островах — это язык пришельцев, а не местного населения, и должен рассматриваться в качестве суперстрата алеутского. Однако, поскольку процесс формирования подавляющего большинства языков в своих истоках уходит в глубину веков и даже тысячелетий, отмеченный тип заимствования принципиально важен, так как не исключено полностью, что при возникновении некоторых из ныне существующих языков в них таким же образом могли быть включены и субстратные (в настоящее время уже не распознаваемые) элементы. В связи с этим интересно остановиться более подробно на приведенном примере включения грамматических элементов. Обращает на себя внимание, в частности, то, что в данном случае заимствуется только флексия (в том числе временная), словообразовательные же показатели (конкретно морфема -майа-, показатель прошедшего II) сохраняются, хотя обычно наблюдается противоположное явление: частичное заимствование словообразовательных элементов при сохранении флексии. Другой особенностью заимствования грамматических показателей (флексии) является то, что, как и в сфере лексических заимствований, грамматические заимствования (включения) касаются только части системы, здесь глагольной. При сплошном заимствовании (см. пример выше), особенно где речь идет о грамматике, следовало бы, очевидно, говорить уже не о включении (или заимствовании), а о переходе на другой язык. В данном случае речь шла о том, чтобы лицам, усваивавшим новый для них язык, облегчить этот переход, в связи с чем в той части грамматической системы (глаголе), которая была для них особенно сложна, они сохранили свою флексию, заменив ею флексию усваиваемого языка.

Судя по другим примерам включения флексии (ср. перенесение окончания 1-го и 2-го л. ед. числа у глаголов настоящего времени из болгарского в меглено-румынский, приводимое у У.Вайнрайха: afl-u-m «я нахожу», afl-iš «ты находишь» вместо aflu, afli) (с. 64), случаи материального заимствования флексии не так уж редки, хотя, несомненно, количественно уступают известным примерам материального заимствования лексики, в особенности не относящейся к основному лексическому ядру языка. Правда, следует сразу же заметить, что все приведенные примеры не относятся к субстратным (в случае алеутского диалекта речь идет скорее о включении суперстратного характера, в меглено-румынском — адстратного типа), однако это отсутствие чисто субстратных фактов можно объяснить не столько принципиальной невозможностью субстратного включения данного типа, сколько малой степенью исследованности субстратных явлений в целом, из которых многие как относящиеся к чрезвычайно древним, доисторическим эпохам еще не могли быть замечены и исследованы наукой. По-видимому, приведенные примеры следует пока рассматривать в большей степени не как аргументы в пользу существования субстратных включений грамматических элементов (флексии), а как явления, допускающие предположение об их принципиальной возможности, как сигналы о необходимости дальнейших углубленных исследований в этом на-

[17] Данный пример заимствован из работы: *Меновщиков Г.А.* Алеутский язык // Языки народов СССР: В 5 т. — Л., 1968. — Т. 5. — С. 405.

правлении, которые дадут возможность окончательно подтвердить подобное предположение (и в то же время установить степень его распространенности) или полностью его опровергнуть. На нынешней степени исследованности больше оснований для предположений о том, что подобный тип субстратных включений в принципе возможен, хотя и не принадлежит к особенно распространенным явлениям. Очевидно, конкретная возможность реализации данного явления зависела не только (и не столько) от чисто языковых, сколько от социолингвистических факторов. В том случае, когда контакт субстратизировавшегося языка и языка-преемника происходит в условиях, способствовавших лучшему сохранению субстратных элементов (среди прочих одной из важных предпосылок этого была полная изолированность языка-преемника от родственных языков), складывались обстоятельства, благоприятствующие закреплению субстратных элементов, в том числе и грамматических, с особенным трудом проникающих в язык. В тех случаях, когда такие условия отсутствовали, не могли в достаточной степени закрепиться даже элементы наиболее легко включаемые, лексические.

Таким образом, хотя явление образования субстрата своей основной причиной имеет во многом сходные социолингвистические факторы и обстановку, однако в дальнейшем на стойкость субстратных элементов, на их больший или меньший удельный вес в языке сильно влияют как конкретная ситуация образования субстрата, так и обстоятельства, сопутствовавшие дальнейшей истории языка-преемника (уже после исчезновения языка, ставшего его субстратом, и окончательного включения в него сохранившихся субстратных элементов). Предполагаемые случаи включения в язык-преемник материальных грамматических элементов субстратного языка требовали, безусловно, наиболее благоприятных условий, к которым надо в первую очередь отнести: длительность контакта между (будущими) языком-преемником и языком-субстратом; отсутствие выравнивающего воздействия со стороны какой-либо влиятельной нормы, исходящей от той части языка, которая связана с языком-преемником, но находится вне контакта с языком-субстратом; длительное отсутствие каких-либо контактов языка-преемника с родственными языками, которое бы помешало включению грамматических субстратных элементов.

Наблюдается и другой тип включения материальных грамматических элементов, когда грамматические показатели флексии остаются связанными только с заимствованными элементами, с которыми исходно сочетались и употреблялись. Таким образом, если в первом случае грамматическое заимствование приобретает универсальный характер, хотя, возможно, отправной точкой для него является заимствованная лексика, вместе с которой пришли и заимствованные грамматические элементы, первоначально употреблявшиеся только с ней, то во втором случае заимствованные грамматические элементы включаются в язык вместе с заимствованной лексикой и при ней, как правило, только и употребляются. Следовательно, возникает ситуация, при которой в языке одновременно функционируют две грамматические системы — одна основная, исконная для языка (она наиболее универсальна, поскольку обслуживает большинство лексических элементов, относящихся ко всем частям речи), другая заимствованная, включенная из другого языка вместе с лексикой, при которой она употреблялась. Общим у этого типа материальных грамматических заимствований с предшествующими является то, что, как и при заимствованиях (или включениях) вообще, заимствованные грамматические элементы составляют только часть общей грамматической системы языка, причем находящуюся в явном меньшинстве по сравнению с преобладающей исконной частью грамматических элементов. Подобную ситуацию находим в еврейском (идиш) языке[18], где элементы, включенные из иври-

[18] Приведенные далее примеры взяты (в принятой ныне латинской транскрипции) из книги: Русско-еврейский (идиш) словарь / Под ред М.А.Шапиро, И.Г.Спивака и М.Я.Шульмана. — М.: Рус. яз., 1984. — 720 с. и, в частности, из помещенной в ней статьи: *Фалькович Э.* О языке идиш. — С. 666–715. Следует указать на фонетическое отличие иврита, включенного в идиш, от иврита, употребляемого в Израиле, что объясняется тем, что в основе первого лежит язык ашкеназийских (немецких) евреев, а второго — сефардийских (испанских) евреев.

та (древнееврейского языка), — прежде всего это относится к именам существительным — сохраняют здесь целый ряд своих грамматических особенностей: 1) образование множественного числа, получающего вместо немецких (западногерманских) по происхождению показателей множественности соответствующие древнееврейские (семитские): (для мужского рода) — im, напр. xúšim «чувства» (ед. ч. xuš), xadóšim «месяцы (календарные)» (ед. ч. xójdeš), xavéjrim «товарищи» (ед. ч. xáver), — иногда, правда, тот же показатель получают и некоторые слова недревнееврейского происхождения, но, очевидно, как результат того, что они могли быть заимствованы ивритом и употребляться в нем (ср. doctójr-im «доктора (врачи)» от ед.ч. dókter; но doctór-n «доктора (как ученая степень)» при ед.ч. dóktor); (для женского) -es, напр. xójves «долги» (ед.ч. xojv), matón-es «подарки» (ед.ч. matóne), šóxntes «соседки» (ед.ч. šóxnte); 2) закономерное чередование гласных в основе при образовании множественного числа, напр.: mexáber «автор» — mexábrim «авторы», mizbéjex «алтарь, жертвенник» — mizbéjxes «алтари, жертвенники», málex «ангел» — malóxim «ангелы», nózir «аскет» — nezírim «аскеты», pórec «барин» — prícim «баре», majxl «блюдо (кушанье)» — majxólim «блюда», kos «бокал» — kójses «бокалы», gánev «вор» — ganóvim «воры», sójne «враг» — sónim «враги», šolíex «гонец» — šelíxim «гонцы», balebós «господин (хозяин)» — balebátim «господа (хозяева)» и т.п.; 3) употребление слов древнееврейского происхождения в случае образования от них сложного слова в особой композитной конструкции изафета (status constructus) с определяющим после определяемого (а не наоборот, как в сложных словах германского происхождения), напр.: bnej-dór «сверстники» (букв. «сыновья-поколение (= поколения)», — ср. bónim «сыновья» (форма обычного мн. числа), dor «поколение»; xaxmej-jóvon «мудрецы Греции (греческие мудрецы)» (букв. «мудрецы — Греция»), — ср. xaxómim «мудрецы» (форма вне сложного слова), pnej-hoír «отцы города» (букв. «лицо-город (= го́рода)»), — ср. pónem «лицо» и т.п. Пример употребления ивритских грамматических показателей при словах иврит-

ского происхождения в идиш также не является вполне типичным в качестве иллюстрации к ныне известным случаям субстрата, поскольку иврит представляет собой по отношению к языкам неивритского происхождения, использовавшимися евреями (и еврейским языком) (ср., в частности, греческий, арамейский, арабский, испанский (> ладино, эспаньоль), немецкий (> идиш) и под.), скорее интерстрат, чем субстрат. Однако сам автор термина интерстрат (Занд, с. 223–224), рассматривая иврит в целом как интерстрат на протяжении всей истории его существования от времени, когда он впервые был вытеснен одним из обиходных языков евреев (очевидно, арамейским), до его возрождения в XX в., находит возможным рассматривать его элементы, включенные в тот или иной из языков евреев (> еврейских языков), возникавших в разные исторические периоды, в качестве субстрата по отношению к каждому из упомянутых языков. Следовательно, все же есть полное основание (и даже необходимость), говоря о разных формах грамматических включений субстратного происхождения, упомянуть и эту. Однако специфика данного типа субстратного включения, с социолингвистической точки зрения, состоит в том, что данный субстратный язык, обладая высоким традиционным авторитетом, — что отразилось, в частности, в его продолжавшемся употреблении уже как омертвевшего в религии и письменности (в праве, науке, официальной и частной переписке и т.д.), — не исчез бесследно, растворившись в языке-преемнике, а продолжал использоваться, правда, не в быту и повседневной жизни, а с ограниченным кругом достаточно важных функций, например, как язык религии. Это не позволило языку, хотя и ставшему субстратом языка-преемника, полностью омертветь, что проявлялось в его частичном функционировании, показателем этого была и активность его грамматических элементов. В связи с этим данные субстратные элементы сохраняли определенную функциональную активность, что и вызвало их грамматическую автономность, сохранение своей грамматической специфики в рамках языка-преемника. Это дает основание говорить о том, что в данном случае субстратизировавшийся язык

не полностью завершил процесс своей субстратизации. Вследствие этого возникла как бы ситуация «языка в языке», существование в языке-преемнике частичной самостоятельной жизни языка-субстрата, сохранившего в какой-то степени (как свидетельство этой жизни) свою собственную грамматику. По-видимому, достаточно оправданно рассматривать данную особенность субстрата как отражение частично сохранившегося двуязычия. В случаях наиболее чистой субстратной ситуации, когда субстратный язык полностью выходил из употребления, этому, вероятно, предшествовала грамматическая унификация всех лексических элементов обоих языков — языка-преемника и языка-субстрата: все они начинали употребляться независимо от своего происхождения только с грамматическими показателями языка-преемника. В данном случае, поскольку субстратизация оказывалась неполной, т.е. незавершенной (язык-субстрат продолжал употребляться как язык письменности, религии, науки, т.е. значительной части национальной культуры), а вследствие этого имелась традиция употребления грамматики языка-субстрата и сознанием достаточно четко выделялись ее элементы, сохранялось в какой-то степени и пользование лексическими элементами иврита согласно связанным с ними грамматическим правилам, а вместе с тем и материальное проявление этих правил, материальные грамматические элементы. Можно полагать, что ситуация идиш (а видимо, также других языков евреев, как арамейский (в Иудее), таджикский (у бухарских евреев), или сформировавшихся из них еврейских языков, таких, как ладино, или эспаньоль (у части евреев-сефардов) и т.п.), не является полностью уникальной. На это указывает пример других хорошо известных языков, где существовавшее в определенный период двуязычие исчезло и язык, включенный в другой, активно функционирующий, вышел из употребления. Однако ввиду продолжающегося или продолжавшегося длительное время пользования включенным языком также самостоятельно в качестве языка религии и культуры, он сохранил не только свои лексические элементы, но и свойственную им грамматику. Одним из ярких примеров подобного положения является, в частности, персидский язык (фарси) в своих арабских элементах. Как известно, современный персидский язык насыщен очень большим количеством арабизмов. Своеобразие этих арабизмов (в отличие, например, от романизмов английского языка или славянизмов румынского) заключается в том, что, помимо чрезвычайно большого числа лексических элементов арабского происхождения, что характерно для любого языка, испытавшего сильное влияние со стороны другого, здесь существует целый ряд особенностей чисто грамматических, заимствованных вместе с арабской лексикой. Число этих грамматических заимствований, их вес (если не в количественном, то в качественном отношении) настолько значительны, что всем изучающим современный литературный персидский язык приходится, в сущности, изучать одновременно с персидским основы грамматики арабского языка. На это обстоятельство указывают даже наиболее краткие пособия по изучению персидского языка, — ср.: «Не раз уже ... мы указывали на то, что персидский язык, особенно газетный и литературный стиль речи, переполнены заимствованиями из арабского языка... Тому, кто серьезно занялся персидским языком, хотя бы и с целями чисто практического его использования, с целями, чуждыми каких бы то ни было научных стремлений, — все равно не избежать и следующего этапа ознакомления с арабизмами: изучения какого-нибудь из кратких курсов грамматики арабского языка и приобретения навыка в грамматическом разборе и чтении арабского прозаического текста. Без этого он будет оставаться недоучкой, всегда рискует не понять какое-нибудь место в газетном тексте и особенно в официальных юридических документах и будет до крайности стеснен и неловок в употреблении арабизмов в своей устной речи» (Жирков, с. 167). Так, от арабских глагольных корней в персидском языке, так же как и в арабском, образуется целый ряд производных (т. наз. пород), в большинстве случаев ограничивающихся девятью породами. Напр.: от корня ф-р-q (основное значение «разделять») могут быть образованы следующие формы: I порода фāрq «разделение, разница, пробор (волос на голове)»: II) ферqā «отдел, фракция»; III) фареq

«разделяющий»; IV) ферaq «разлука»; V) тäфpuq «разделение»; VI) мофäppeq «разделитель»; VII) мофареq «разлучающийся»; VIII) мофарäqät «разлучение»; IX) енфераq «разлука». Примерами персидских изафетов, созданных по арабскому (семитскому) образцу и из арабских лексем сложных слов, являются изафеты со включением слов hосн «красота», су' «скверность», 'ädäm «отсутствие», — ср.: hосн-е' хедмат «заслуга (букв. красота службы (-а)», су'-е täфahot «недоразумение (букв. скверность взаимного понимания (-ое -ие))», 'ädäm-е ета'ät «непослушание (букв. отсутствие послушания (-е))». Принцип сохранения автономности грамматической системы, ее использования проявлял себя, следовательно, в тех случаях, когда мертвый или, в сущности, ставший действительно мертвым в данном обществе (или для данного общества) язык сохранял в нем все-таки определенную жизненность, т.е. употреблялся, правда, с ограниченным кругом функций. Эти функции, что следует особенно подчеркнуть, хотя и не относились к быту, повседневной жизни, являлись тем не менее важными для данного общества, будучи связанными с его духовной жизнью, идеологией, религией, теми наиболее высокими функциями языка, которые делали его сакральным, священным (ср., например, обычное название иврита у евреев в период его «омертвения» — l^e šon haqqodeš «священный язык (букв. язык святости)». Из этого обстоятельства вытекало два других: 1) данный язык как священный (особенно в средние века, когда в духовной жизни безраздельно господствовала религия) был предметом обязательного обучения, прежде всего мужчин, что делало его знание довольно распространенным и (или) — что еще более важно — высоко ценившимся явлением; 2) поскольку данный язык считался сакральным, требовалось особенно бережное отношение к нему, его безупречное знание, защищающее его от искажений, а отсюда вытекала необходимость его максимально точной, вполне идентичной цитации, неизбежно предполагавшей как точность воспроизведения его фонетики, так и его грамматических показателей. Нечто подобное наблюдаем в латинской поэзии, где греческие слова (в частности, имена) сохраняют особенности греческого склонения, — ср.: aër (nom. sing.) «воздух» — aëră «воздух» (acc. sing.) при обычном лат. aërem; nom. plur. hemerodrŏmoe (от hemerodromus «бегун, гонец, вестник») (обычное лат. hemerodromī), metamorphōsis «превращение» (gen. plur. metamorphoseōn «превращений») и т.п. Со сходным явлением имеем дело также в немецком церковном языке, где уже в немецких религиозных текстах под влиянием того, что перед тем в течение ряда веков сакральные тексты были латинскими, имена, выступающие в Библии (в частности, в Новом Завете), сохраняют латинскую флексию, — ср. im Namen Christi (gen. sing.) «во имя Христа», in Cristo (dat. sing.) «во Христе», er rief Paulum (acc. sing.) «он призвал Павла» и т.п. (Schönfelder, S. 65). Несмотря на ряд расхождений, всюду в приведенных примерах выступает существенная, объединяющая данные факты черта: во всех случаях речь идет о неупотребляемом в быту (и в этом смысле «мертвом» для данного общества, независимо от того, был ли он действительно мертвым вообще или только применительно к рассматриваемому социуму), однако одновременно священном, сакральном для общества языке. Таковым был (или и до сих пор является) иврит для евреев, пользовавшихся в повседневной жизни языком идиш, западногерманским по происхождению; арабский, язык Корана и других священных книг мусульманской религии, для персов, пользовавшихся (и пользующихся) в повседневной жизни персидским языком (фарси), индоевропейским языком иранской группы; греческий для римских поэтов и, по-видимому, жрецов (поскольку греческая религия и мифология в Риме фактически слилась с религией римлян и стала ее неотъемлемой, причем особенно важной частью), которые в повседневной жизни пользовались латынью, языком с другой грамматической системой; латинский язык для немцев, пользующихся немецким, германским, но ввиду распространения у них христианской римо-католической религии, употреблявших как язык религии латинский. Следовательно, рассмотренное явление было распространено (и частично сохраняется до сих пор) довольно широко, причем выходит далеко за рамки явлений, характерных только для субстра-

та. Тем не менее, поскольку оно наблюдается и среди постивритских еврейских языков, где иврит (с определенными оговорками) может рассматриваться в качестве субстрата для каждого из данных языков, есть все основания считать, что в определенных случаях контакт языка-преемника с языком-субстратом мог приобрести и подобную форму. Как видно из рассмотренных иллюстраций, необходимым социолингвистическим условием данного вида влияния грамматической системы языка-субстрата, влияния настолько сильного, что она в значительной степени сохраняла свою автономность (возможность сохраняться вместе со связанными с ней лексемами), являлся высокий авторитет языка, ставшего субстратным, и сохранение им важных, связанных с сакральными, религиозных функций. Ввиду того, что далеко не все случаи субстрата открыты и изучены (не исключено, что многие из них выступают еще имплицитно), можно ожидать, что в дальнейшем будут обнаружены и другие примеры подобного автономного включения частей субстратной грамматической системы. Что касается примера иврита, включаемого в ткань идиомов, употребляемых евреями и иногда приобретавших статус самостоятельных языков, то, несмотря на то что хронологически иврит как лингвистическое образование, на которое наслаивался другой позднейший язык, напоминает собой субстрат, по своей высокой социальной (и социолингвистической) функции он больше похож на суперстрат. Однако, поскольку суперстратная ориентация иврита являлась чем-то вторичным, было бы точнее характеризовать его в качестве вторичного суперстрата, т.е. суперстрата, преобразованного из субстрата в силу своей социолингвистической роли. Ср. подобную же роль вторичного суперстрата у шумерского языка в культурной и сакральной функциях по отношению к аккадскому, — что отразилось и в соответствующих включениях, — который, наслоившись на шумерский язык и вытеснив его, в целом включил его в себя как субстрат (ср.: Ткаченко, 1975, с. 19).

В случаях возможного материального взаимодействия субстратной грамматической системы с грамматической системой языка-преемника, рассмотренных до сих пор, речь шла, как правило, о включении материальных показателей языка-субстрата в грамматическую систему языка-преемника, включении полном, распространяющемся на всю лексику без различия ее происхождения, или частичном, автономном, не выходящем, обычно, за пределы заимствованной лексики, когда материальные грамматические показатели импортируются вместе с лексикой, связанной с ними, и за пределы этой лексики преимущественно не выходят.

Особое место занимают те примеры грамматического воздействия языкового субстрата на язык-преемник, которые иллюстрируют упрощение грамматической системы подвергнувшегося подобному воздействию идиома. Один из подобных типов воздействия обнаруживается в ливском диалекте латышского языка[19]. Причиной установления в постливских говорах латышского языка единой для каждой глагольной парадигмы формы, употребляющейся во всех лицах (различение их осуществляется с помощью личных местоимений), исследователи латышского языка (Rudzīte, lp. 231) считают сильное начальное ударение, характерное для ливского языка и сохраненное его носителями при переходе их на латышский язык, которое вызвало отпадение конечных гласных, являющихся личными окончаниями, а тем самым и полное формальное совпадение личных форм глагола, — ср.: (ед. ч.) 1) es laš (< lasu) «я читаю», 2) tu laš (< lasi) «ты читаешь», 3) viņč (литер. viņš) laš (< lasa) «он читает»; (мн. ч.) 1) mēs laš (< lasām) «мы читаем», 2) jūs laš (< lasāt «вы читаете», 3) vîņ (< литер. viņi) laš (lasa) «они читают»;

[19] Следует сразу же заметить, что ссылка на диалект не дает основания ограничивать применимость рассматриваемого явления только диалектными рамками. Очевидно, в принципе то, что в данном случае относится к диалекту, может быть отнесено и к языку-преемнику субстрата, тем более, что здесь, если, с одной стороны, речь идет об одном из латышских диалектов, то, с другой, имеем дело с почти всем ливским языком. Как известно, подавляющее большинство ливского населения перешло к настоящему времени на латышский язык, только небольшая его часть, преимущественно люди старшего поколения, в Курземе (Курляндии) сохраняет до сих пор ливский язык.

(ед. ч.) 1) es ceļ «я поднимаю»: 2) tu ceļ «ты поднимаешь», 3) viņč // viš ceļ «он поднимает»; (мн. ч) 1) mẽs ceļ «мы поднимаем», 2) jũs ceļ «вы поднимаете», 3) vîņ ceļ «они поднимают». Подобное формальное совпадение между личными формами в (пост)ливских говорах латышского языка наблюдается также в других временах глагола (прошедшем и будущем) (Rudzīte, lp. 231, 234–236, 237–239). Безусловно, основной толчок, давший начало развитию подобного формального совпадения личных форм глагола в (пост)ливских латышских говорах, исходил от ливского языка с его фонетикой. Однако, по-видимому, нельзя недооценивать и фактор внутреннего латышского развития, который мог в какой-то мере облегчить подобное выравнивание. Дело в том, что в латышском языке, как известно, в ходе внутреннего развития языка полностью совпали формы 3 лица единственного и множественного числа. До некоторой степени это, с одной стороны, могло облегчить унификацию остальных форм (их в латышском языке осталось меньше, чем в других индоевропейских языках, в частности, славянских), с другой, формальное с психолингвистической точки зрения совпадение двух из личных форм могло способствовать (индуцирующее воздействие аналогии наиболее распространенных личных форм, употребляемых в повествовании) развитию того, что стимулировалось самим фонетическим строем субстратного языка.

Из приведенных выше данных вытекает, что материальные заимствования грамматических элементов из субстратного языка (как результат главным образом социолингвистических обстоятельств) и материальные преобразования его грамматического строя, его упрощение (как следствие преимущественно внутриязыкового воздействия субстратного языка, его фонетики и акцентологии) отнюдь, видимо, не были чужды контактам субстратного типа. Однако подобные типы чисто материального воздействия субстратного языка на язык-преемник, надо полагать, не принадлежали при такого рода контактах к числу наиболее распространенных, типичных. Этому препятствовало, вероятно, уже положение субстратных языков, для которых наиболее характерным является момент определенной социальной деградации, тяготение к нижним, а не верхним слоям стратификации языковых явлений. Поэтому ситуацию, при которой язык-субстрат мог навязать грамматике языка-преемника какую-то часть материальных показателей своей грамматической системы, предполагающую определенную социальную значимость субстратного языка, трудно представить как типичную для языка-субстрата. Очевидно, подобная ситуация могла оказаться возможной только в том случае, когда социолингвистическое положение языка-преемника и языка-субстрата при известном превалировании первого не представляло собой чего-то вполне стабильного, что давало возможность временного или частичного равновесия (или даже перевеса) языка-субстрата по отношению к языку-преемнику. Видимо, подобная ситуация могла возникнуть скорее всего в патриархально-родовом обществе, где, например, длительное время могли существовать и взаимодействовать отдельные по своему лингвистическому происхождению языки мужчин и женщин (ср. классический пример аравакского и карибского языков у одного из индейских племен Карибского бассейна). Характерно, что и в случае алеутского языка о. Медного речь, очевидно, также шла о носителях русского языка (скорее всего мужчинах) и алеутах (скорее всего женщинах), поскольку в отдаленные полярные области на промысел морского зверя и рыбную ловлю из русских в прошлом отправлялись только мужчины. Следовательно, и в данном случае речь идет о явлении, развившемся в условиях общества, живущего патриархально-родовым строем. Очевидно, именно здесь при наличии двух разнящихся типов языков у мужской и женской части общества, у каждой своего отдельного, и могли сложиться наиболее благоприятные условия для подобных описанным материальных заимствований из субстратного (суперстратного) языка.

В тех случаях, когда грамматические (словоизменительные) особенности включались в систему языка вместе с заимствованной (по-видимому, нередко и субстратной) лексикой, речь шла не о полном от-

мирании языка, включаемого в язык-преемник. Отмерев и выйдя из употребления как обиходный разговорный язык, он сохранялся в целом ряде традиционных высоких функций (как язык религиозного культа, традиционной национальной культуры и литературы, национальных обычаев и обрядов, национального права, официальных документов и переписки и т.п.). Это вызывало необходимость в его изучении и усвоении и способствовало тому, что этот язык не только включался в язык-преемник, но как известный, к тому же обладающий высоким авторитетом, священный (сакральный) язык сохранял, как правило, частично и свою грамматику, что было связано не только с тем, что эту грамматику хорошо знали, а и со священностью языка, требовавшей максимального соблюдения его правил и не позволявшей поэтому «вульгаризировать» язык, смешивая его с языком, хоть и повседневного общения, но считавшимся более низким. Ср. отражение этого отношения к языкам у евреев, где длительное время идиш именовался «жаргоном», а иврит «священным языком». Характерно, что подобная автономность отмершего, но традиционно сохраняемого языка отразилась даже в орфографической традиции того же идиша: в то время, как слова германского, славянского, романского и другого происхождения, не связанные с библейской традицией, писались и пишутся здесь согласно новой, созданной для идиша орфографии, слова, связанные с религиозной традицией (как правило, ивритского (древнееврейского, гебрайского) и арамейского происхождения), писались (а в большинстве зарубежных стран и до сих пор пишутся) в соответствии с их традиционной орфографией в иврите, т.е., например, в отличие от идиш без специального обозначения гласных, зато с передачей на письме не произносимых в идише различий между согласными, и т.п. Ср., напр.: (в современном написании советских изданий) כאוועך (xáver) «товарищ» – (в традиционной орфографии) חבר «то же», שאבעס (šábes) «суббота» – שבת «то же», יאמטעוו (jómtev) «праздник» – יום טוב «то же» и т.п.).

Подводя итоги всем рассмотренным выше возможным видам материального воздействия грамматической системы субстратного языка на язык-преемник, следует отметить, что они (за исключением грамматических преобразований, вызванных чисто фонетическими причинами) относятся к случаям скорее всего ограниченным, т.е. сравнительно менее типичным, чем обычно наблюдаемые грамматические изменения, связанные с воздействием субстрата.

Наиболее типичным видом грамматических изменений (и преобразований) в языке-преемнике, вызванных влиянием со стороны субстратного языка, необходимо признать все же не материальные, а внутренние, семантические изменения. В этом случае язык-преемник, используя свои материальные возможности, отражает с их помощью грамматические особенности языка-субстрата. С точки зрения грамматических форм, показатели языка-преемника, таким образом, сохраняются в неизменном виде или если изменяются, то в направлении своей закономерной, предопределенной основной генетической (несубстратной) линией эволюции. Однако целый ряд материальных грамматических элементов используется уже не согласно исходной парадигматической схеме, а как бы калькируя грамматическую систему субстратного языка, по крайней мере в некоторых ее моментах. В этих случаях, например для передачи отсутствующих в языке-преемнике грамматических значений и оттенков, могут использоваться ставшие дублетными парадигматические формы. Так, в русском языке, как и в ряде славянских языков, в результате разрушения двух отдельных типов склонения существующих u-основ и o-основ (преимущественно первого из них) и их смешения возникла в парадигме мужского рода 2-го склонения дублетность окончания родительного падежа -a и -y. В разных славянских языках эта дублетность была использована по-разному, но нигде, кроме русского языка, она не была применена так же, как в нем, для передачи двух оттенков значения: если с окончанием -a в русском языке связано чисто генитивное значение *(цена чая),* то с окончанием -y у существительных с вещественным значением связывается семантический оттенок партитивности, функциональной пе-

редачи для части чего-либо *(стакан (чашка) < достать, принести > чаю).* Для передачи этих значений в прибалтийско-финских языках употребляются два специальных падежа, генитив и партитив, имеющие каждый для передачи этих значений (функций) специальную форму (ср. эст. tee hind «цена чая» — teed saama «получить чаю»). Поскольку в других славянских языках ничего подобного не встречается, а среди носителей русского языка значительную часть составляют люди, имевшие предками носителей финно-угорских языков, в том числе прибалтийско-финских, можно полагать, что данное явление возникло в русском не без влияния грамматической семантики данных финно-угорских языков. Люди, привыкшие мыслить грамматическими категориями этих языков в период двуязычия, неволько тяготели к передаче данных грамматических значений и в славяно-русском языке, для чего и могли воспользоваться двойственностью славяно-русских форм, из которых форма с окончанием -а была применена для передачи генитивной функции, а форма с окончанием -у для отражения партитивного значения. То, что эти значения оказались в русском языке свойственными только 2-му склонению имени существительного, причем лишь в мужском роде у именно данной парадигмы, может объясняться, помимо прочего, еще и тем, что двуязычие и его следы особенно сильно проявлялись в то время, когда началось усвоение славяно-русского языка. В это время славянизировавшееся финно-угорское население, не знавшее в своем языке грамматического рода, в первую очередь усваивало как наиболее нейтральный мужской род (ср. в эрзя-мордовском использование в заимствованных из русского прилагательных именно формы мужского рода: *родной литература* «родная литература» и под.). В связи с этим именно в мужском роде с наибольшей полнотой отражалась грамматическая семантика первого (субстратного) финно-угорского языка. В связи с тем что прибалтийско-финские языки с их грамматикой (и соответственно грамматической семантикой) могли оказать влияние в качестве субстратных только на севернорусские, исходно новгородские говоры, данное же явление отмечается и в среднерусском диалекте и основанном на нем литературном языке, наиболее обоснованно объяснять данный факт влиянием субстратного финно-угорского мерянского языка, территория которого в основном совпадала с территорией формирования среднерусского диалекта. Об особой близости мерянского языка к прибалтийско-финским говорит характерный факт: единственным финно-угорским этносом, на который восточные славяне (прежде всего, новгородские словене) распространяли этноним *чудь,* помимо прибалтийских финнов (финнов, эстонцев, карел, вепсов, ижорцев, водян, ливов) была только меря. Очевидно, это объяснялось, прежде всего, особенностями их языка, особенно близкого к прибалтийско-финским, хорошо знакомым новгородцам. Следовательно, наличие данной черты, чуждой остальным славянским языкам и в то же время свойственной части финно-угорских, можно с наибольшей вероятностью объяснять воздействием мерянского или прибалтийско-финского субстрата.

По-видимому, того же субстратного происхождения (мерянского и (или) прибалтийско-финского) другая черта русского склонения (тоже 2-го склонения мужского рода), основанная на подобной дублетности русских деклинационных форм, в данном случае предложного (местного) падежа. Как известно, в русском языке в этом падеже возможны два окончания, подударное -у́ *(в лесу́, в саду́)* и безударное -е (в ле́се, в са́де). Здесь также проявляется типологическое сходство русского языка (чуждое остальным славянским языкам) с финно-угорскими, прибалтийско-финскими и, по-видимому, мерянским. В ряде финно-угорских языков различаются внешнеместные и внутриместные падежи. В частности, характерны они для прибалтийско-финских языков и, очевидно, мерянского. Видимо, в связи с влиянием меряно-русского двуязычия и мерянского субстрата эти оттенки значения возникли и в русском литературном языке. Например, в предложении «В этом ле́се нет ничего интересного» речь идет о лесе в целом, о взгляде на лес извне, в связи с чем фраза приблизительно равна по смыслу другой «у этого леса нет ничего инте-

ресного». В предложении «В этом лесу́ нет ничего интересного» речь идет уже не о лесе в целом, не о взгляде на него извне, а о том, что есть внутри леса, — о растущих в нем растениях, водящихся в нем зверях и т.п. Эти фразы вполне сопоставимы с их эстонскими соответствиями: Sellel metsal ei ole midagi huvitavat (адессив) «У этого леса (≈ В этом лесе) нет ничего интересного» — Selles metsas ei ole midagi huvitavat (инессив) «В этом лесу нет ничего интересного». Ср. также рус. «В этом са́де (≈ у этого сада) есть что-то очаровательное» — «В саду́ есть беседка» и эст. Sellel aial on miski hurmav (адессив) — Selles aias on lehtla (наст. изд., с. 69). Следовательно, в области грамматики наиболее характерным бывает не столько материальное, сколько семантическое влияние субстрата. Двуязычные лица, привыкшие к грамматической системе своего первого (впоследствии субстратного) языка, невольно переносят его черты в грамматику второго языка, используя те возможности его материальных грамматических элементов (в частности, их дублетность, вариативность), которые позволяют с помощью материальных грамматических средств второго языка выразить грамматическую семантику первого (передаваемую с помощью совершенно других по происхождению материальных средств).

Те же в общем субстратные свойства в принципе наблюдаются в осетинском языке, где при отсутствии материального вклада со стороны субстратного иберийско-кавказского языка в области грамматики обнаруживается явное влияние со стороны его грамматической семантики. Эту особенность отмечает один из выдающихся исследователей осетинского языка В.И.Абаев: «Морфология слывет весьма устойчивой, консервативной стороной языка, которая не поддается не только заимствованию, но и влиянию субстрата. Здесь следует разобраться. Под морфологией можно понимать, с одной стороны, совокупность материальных элементов, из которых, как из строительного материала, строится морфологическая система, с другой стороны, — самую эту систему, ее архитектонику, структуру, модель. В осетинском... нет сколько-нибудь заметного вклада из кавказских языков в материальный инвентарь морфологии. Видимо, эта сторона действительно мало проницаема для субстрата. Другое дело — модель морфологической системы. Здесь кавказский субстрат, несомненно, оказал влияние, и прежде всего на систему склонения. Осетинское склонение, агглютинативное, девятипадежное, полностью выпадает из схемы склонения в иранских языках. В этом отношении осетинский противостоит всем остальным иранским языкам. В древнеиранском было восьмипадежное склонение, но оно было флективным, и в нем был только один локативный падеж. В осетинском же выработалось пять падежей локативного значения. Еще разительнее выступает своеобразие осетинского, если сравнить его с новоиранскими языками. В последних склонение либо вовсе утрачено, либо представлено лишь двумя-тремя падежами субъектно-объектного значения. Все, что отличает осетинское склонение от иранского, сближает его со склонением в кавказских языках восточной и южной группы: агглютинация, многопадежность, развитие локативных падежей. Особенно велика близость со склонением в языках вейнахской группы. При этом поучительно, что строительный материал (показатель множественности, падежные окончания), насколько его удается разъяснить, — целиком иранский» (Абаев, 1956, с. 68).

Так, конкретно формант отложительного падежа мог возникнуть, как полагает В.Миллер, из форманта иранского родительного падежа а-основы (Миллер, с. 19). Местный внутренний надеж восходит, видимо, к местному падежу древнеиранского происхождения. Местный внешний падеж (ср.: сæр-ыл «на голове») возник, вероятно, из сочетания существительного с послелогом *väl «над, на», связанным этимологически с др.-ар. upari «через, над, на» (Миллер, с. 81). Таким образом, и в осетинском, как это было видно и на примерах из русского языка, новообразования в морфологической структуре (по сравнению с исходным праязыковым состоянием), возникшие под влиянием субстратного языка, проявились в семантическом, модельном плане, найдя

для своего выражения, однако, материальные средства не субстратного, а исходного праязыкового состояния.

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее типичным проявлением влияния субстрата в области морфологии (словоизменения) является его семантическое воздействие, реализуемое в языке-преемнике, как правило, с помощью материальных средств (формантов) не языка-субстрата и его реликтов, а основной генетической линии языка-преемника.

3. Роль субстрата в развитии фонетики

Особенностью усвоения фонетики иностранного (не своего) языка является неизбежный конфликт, возникающий между двумя противоположными тенденциями при его усвоении, и необходимость его преодоления. С одной стороны, индивид, усваивающий фонетику нового для себя языка, тяготеет невольно к тому, чтобы сближать или даже идентифицировать ее особенности со сложившимися у него на основе фонетики первого (как правило, родного) языка артикулярно-акустическими навыками. С другой стороны, у него сразу же возникает необходимость приспособления к носителям усваиваемого языка, а следовательно, настоятельная потребность в преодолении в фонетике нового для себя языка навыков родного. Если у него возобладала тенденция к сближению (или идентификации) иностранной фонетики со своей собственной (фонетикой родного языка), и он не может ее преодолеть, данный индивид говорит на вновь усвоенном языке с большим или меньшим иноязычным акцентом. Если индивид, усваивавший новый для себя язык, преодолел в его фонетике навыки родного (полностью или почти полностью), его произношение оценивается как безупречное (или почти лишенное акцента). Обе эти противоборствующие при усвоении второго языка тенденции, в сущности, типологически близки к двум универсальным тенденциям, действующим в любом языке (вне каких-либо языковых контактов). Общим, что объединяет эти тенденции, является принцип экономии, который, однако, поскольку речь идет о принципе экономии со стороны двух участников диалога, говорящего и слушающего, чьи роли при этом беспрерывно меняются, приобретает противоположную направленность для каждого из двух его участников. Принцип экономии произносительных усилий со стороны говорящего проявляется в невольном упрощении артикуляций, опускании отдельных звуков или нечетком их произношении, особенно при быстром темпе речи, когда говорящий заинтересован за минимум времени донести до слушающего максимум информации. Принцип экономии со стороны слушающего требует, напротив, максимальной четкости и ясности при восприятии звуков, следовательно, наиболее тщательной артикуляции со стороны говорящего, что влечет за собой как раз неэкономность речевых усилий. При взаимодействии этих двух противоположных и противоречащих друг другу тенденций, при которых в невыгодном положении («неэкономном» или ущемленном вследствие чрезмерного тяготения к слуховой или произносительной «экономности» партнера) каждый раз (или через раз при смене роли) может оказаться любая из двух сторон диалога, устанавливается некая равнодействующая, устраивающая обе стороны — 1) оптимальная (допустимая с точки зрения слушающего) упрощенность произносительного процесса при 2) оптимальном удобстве его слушания. Сигналом отказа от чрезмерной экономии в речи говорящего партнера со стороны слушающего является переспрашивание, реплики (при разговоре, например, на русском языке) типа «Не понял», «Как вы сказали (как ты сказал)?» и под., со стороны говорящего вопросы типа «Понимаешь... (?)», «Понял?», выясняющие допустимый уровень экономии речевых усилий. При нежелании слушающего русскую речь поступить так, как в ней предписывается, употребляется реплика «Вам по-русски говорят», чем подчеркивается достаточность, ясность сказанного для слушающего как носителя (в данном случае русского) языка, для которого не требуется повышать уровень четкости произносимого выше того, что для него вполне достаточно. Необходимость объяснения этого внешне не особенно сложного процесса говорения на

одном и том же языке двумя его носителями возникает в связи с тем, что тот же принцип действует и при разговоре двух партнеров диалога, для одного из которых данный язык является родным, а для другого усвоенным в качестве второго и функционирующим (функционировавшим) параллельно с ним. В этом случае процесс слушания и говорения значительно усложняется, поскольку устные тексты, производимые носителем языка, для которого он является вторым, в связи с часто неполным им владением произносятся нередко (если не все время) невнятно или непонятно для носителя данного языка. С другой стороны, ввиду неполного владения языком билингв, для которого используемый язык не является родным, может многое (или почти все) не понимать в речи его носителя. Помимо ограниченного лексического репертуара, этому могут препятствовать слишком быстрый для него темп речи и непривычные сокращения, опускания и неполное проговаривание отдельных звуков и слогов, являющиеся вполне обычными для носителей данного языка. Если группа новых его носителей через стадию билингвизма приходит к полной смене языка, то следы утраченного ею первого языка могут сказаться во вновь усвоенном и ставшим их новым единственным языком по-разному. Иногда, в тех случаях, когда новая группа носителей невелика и социально незначима, остатки утраченного ею языка, в том числе (и прежде всего) фонетические, уже в третьем (иногда даже во втором) поколении полностью исчезают и практически сводятся к нулю (ср. судьбу многочисленных групп иммигрантов в США). О ее языковом прошлом может иногда напоминать только фамилия, да и то не всегда, нередко наблюдается даже смена или приспособление фамилий к распространенным среди носителей вновь усвоенного языка. Конечно, подобные случаи не могут подлежать рассмотрению в субстратоведческих исследованиях. Их предметом является рассмотрение случаев, где в результате смены языка остается что-либо от первого утраченного языка, что можно рассматривать в качестве его субстрата во вновь приобретенном и ставшем единственным втором.

В связи с большей или меньшей влиятельностью или стойкостью особенностей субстратного языка, что зависит от социума, в котором произошла языковая смена, и от его взаимоотношения с социумом, от которого воспринят язык, влияние фонетики субстрата может быть более или менее глубоким. Многое зависит также от условий, в которых происходил контакт, закончившийся сменой языка. Ввиду того, что очень часто эти условия почти или полностью неизвестны, приходится их предполагать на основе их непосредственных языковых последствий, более или менее заметных следов воздействия фонетики субстрата. Как и в ряде других случаев, лингвистика здесь во многом опережает историю и археологию, которым только предстоит объяснить то, что яснее всего проявилось в языковых (в данном случае — фонетических) фактах, по весомости которых можно судить о серьезности и глубине тех социо-этнических процессов, которые к ним привели и в них отразились.

Фонетические последствия субстратных влияний обнаруживаются в виде разных по характеру явлений. Иногда речь идет о заимствовании отдельных звуков или целых их групп. Так, например, в ряде балканских языков обнаружен звук ə (разными их графиками передаваемый по-разному: алб. ë = рум. ă = болг. ъ). Этот звук, по-видимому, был свойствен палеобалканским языкам, о чем свидетельствует его наличие в албанском, непосредственно продолжающем один из них. В другие балканские языки, румынский (романский) и болгарский (славянский), этот звук пришел из субстрата, очевидно, или войдя в состав слова в тех позициях, где он выступал в языке-субстрате и вытеснив там звуки языка-преемника (в румынском из дакийского), или субстратизировав близкий «темный» (редуцированный) звук языка-преемника (в славянском болгарском из фракийского непосредственно или из языка романизированных фракийцев). Целую группу звуков (смычно-гортанных согласных) заимствовали из иберийско-кавказских субстратных языков осетинский и армянский, которые как индоевропейские языки вначале их не имели. В осетинском языке эти звуки (k’, p’,

t', c', č') хранят до известной степени свою связь с иберийско-кавказским субстратом, указывая тем самым на свой заимствованный характер: они, как правило, связаны со словами иберийско-кавказского происхождения, — ср. k'alati (из груз.) «корзинка», guc'a (< груз. kuči) «желудок», at'ami (< груз. at'ami) «персик» и т.п. Поскольку таких слов в осетинском много, причем вместе с ними выступают слова субстратного происхождения, относящиеся к основному лексическому фонду, смычно-гортанные стали неотъемлемой частью осетинской фонетической системы. Еще более глубоким оказалось их проникновение в армянский, где они вытеснили даже исконные индоевропейские звуки, — ср. и.-е. d, замененное арм. (из субстрата) t' и т.п. (Абаев, 1949, с. 76, 518–525). К подобным звукам относят также церебральные звуки в индийских (индо-арийских) языках, которые, как полагают, заимствованы ими из дравидийского субстрата.

Очевидно, в некоторых случаях влияние субстрата могло сказаться не столько в заимствовании звуков, сколько в стимулировании его фонетической системой тех звуковых процессов, которые могли происходить в языке-преемнике и самостоятельно. Так, по-видимому, обстояло в случае перехода g > γ > ɦ в ряде славянских языков и диалектов. Переход взрывного g в γ (> ɦ) наблюдается в ряде языков, кроме славянских: в нидерландском и скандинавских (датском) из германских, в новогреческом. Поэтому объяснить это явление в славянских только одним воздействием субстрата, как склонен В.И.Абаев, несколько рискованно, однако можно полностью согласиться с ним в том, что, вероятно, в развитии этого явления воздействие со стороны скифо-аланского иранского субстрата могло сыграть большую роль. В пользу этого, в частности, говорит и изоглоссная область явления, в значительной степени совпадающая с территорией, где мог быть в прошлом распространен скифо-аланский язык, носители которого, переходя на славянский, могли в нем распространить или стимулировать явление перехода g > γ (> ɦ) (Абаев, 1965, с. 41–52).

Фонетическое воздействие со стороны субстрата может обнаруживаться не только (и не столько) в области отдельных явлений, сколько в виде системных фактов, охватывающих либо фонетику в целом, либо обширные ее области. Тот способ артикуляции звуков, который проявляется в видоизменениях со стороны носителей другого языка согласно с их произносительными особенностями и который принято называть иностранным (иноязычным) акцентом, накладывает отпечаток на всю фонетику вновь усваиваемого языка в целом. По-видимому, именно так обстояло с галльским субстратом во французском языке, где именно фонетическое воздействие со стороны субстратного языка привело, в частности, к значительным изменениям формы усвоенных в основном из народной латыни слов, серьезно отдалив французский язык от их исходной формы и от их формы в других романских языках, о чем уже упоминалось выше. Осветить соответствующие фонетические процессы чрезвычайно трудно по целому ряду причин как чисто интралингвистических (связанных с внутриязыковыми обстоятельствами процессов), так и экстра- или социолингвистических (связанных с теми общественно-историческими условиями, в которых происходила смена языков). Прежде всего науке пока мало известны диалекты галльского языка (или, возможно, галльские языки), распространенные на территории Галлии (современной Франции). Судя по тем особенностям, которые отличают французский язык от провансальского и которые могут корениться в чертах галльских субстратов севера и юга современной Франции (древней Галлии), галльский язык на севере Галлии мог существенно отличаться от того, который был распространен на ее юге. Свою роль, конечно, частично могло сыграть и то обстоятельство, что романизация юга Галлии произошла раньше, чем она завершилась на севере и, следовательно, влияние латыни как народной, так и книжно-литературной здесь могло быть сильнее. Кроме того, нельзя не согласиться и с мнением А.Мейе, считавшего, что ряд фонетических явлений, существовавших в субстратном языке в виде определенных тенденций, мог, переходя по наследству от поколения к поколению, получить свое дальнейшее развитие и обнаружиться в виде системных фонетических изменений уже во

втором языке после утраты первого субстратного языка и полного перехода на второй (в данном случае при переходе с галльского языка на галло-романский диалект латинского языка, в дальнейшем развившийся в отдельный романский французский язык), — например, ослабление и падение интервокальных взрывных согласных, переход u > ü и т.п. (Мейе, с. 69–70). Затем эти языковые сдвиги могли приводить к значительным изменениям формы лексем (французский язык) или к глубоким грамматическим изменениям, в частности, типа утраты глагольной флексии ((пост)ливский диалект латышского языка).

Изменения, вызванные воздействием субстрата, не всегда заметны с первого взгляда. В области фонетики (ввиду различия фонетических систем) это может быть связано с тем, что только часть фонетических изменений носила фонематический характер, и поэтому они не сразу стали ощущаться и носителями языка, и (в еще большей степени) смежными, главным образом родственными, народами, где язык не претерпел таких заметных сдвигов. Например, в аканье и редукции русского литературного языка можно усматривать влияние как южнорусских говоров, которые могли иметь в качестве субстрата какие-то древнемордовские языки или диалекты с отсутствием безударного о и редукцией (Лыткин, 1965, с. 64–83) (скорее всего, мещерского или муромского происхождения), так и среднерусской (первоначально окающей) основы владимиро-поволжских говоров с мерянским субстратом (наст. изд., с. 30-31), который способствовал развитию в них особого типа оканья с редукцией. В русском литературном языке это могло привести к возникновению особого типа акающего вокализма с редукцией. Этот характер вокализма, правда, заметно выделяет русский (литературный) язык на фоне других славянских, но не повлек за собой особых изменений в системе его вокализма, поскольку редуцированные в русском языке не являются самостоятельными фонемами, а всего лишь их вариантами. Возможно, эта перестройка исходного славянского вокализма русского языка, в которой серьезная роль могла принадлежать и финно-угорским субстратам, только в дальнейшем вызовет более сложные фонетические процессы. Однако эти изменения будут лишь косвенным последствием субстратных фонетических процессов, которое с ними непосредственно не связано.

Ввиду того, что в изучении языков, в особенности их диалектов, где наиболее уловимы субстратные влияния, еще относительно мало применялись наиболее точные экспериментально-фонетические методы исследования, многое в фонетическом воздействии субстратов остается до сих пор неясным, потому что без них, как правило, улавливаются только наиболее заметные фонематические черты, остальные, менее уловимые фонетические особенности часто ускользают от исследователей. В результате ощутимый урон терпят как субстратоведческие разыскания, поскольку неуловимые (неотмеченные) фонетические черты постсубстратных говоров могут скрывать в себе существенные (иногда фонематические) черты исчезнувшего субстратного языка, так и исследование языков-преемников, ведь в их нефонематических особенностях, возможно, кроются зародыши будущих фонетических процессов, могущих впоследствии реализовать то, что в современном языке существует только как тенденция. Следовательно, экспериментальная фонетика могла бы явиться важным средством проникновения как в далекое прошлое языков, в частности, их субстратов, так в определенной степени и в их будущее. В настоящее время, когда этот инструмент еще не используют в достаточной мере, о многом в фонетическом воздействии субстратов на языки-преемники можно только догадываться или предполагать.

Более ясными являются последствия социолингвистических обстоятельств в фонетическом воздействии субстрата. По всей видимости, на большей или меньшей широте фонетического воздействия субстрата сказываются такие социолингвистические обстоятельства, как, например, влияние литературного (официального) языка, а также (близко)родственных языков, наличие/отсутствие древней (либо вообще более или менее длительной) письменной традиции, большая или меньшая диалектная расчлененность языка, статус диалектов или гово-

ров, на которые воздействовал субстрат, их положение в качестве диалектной основы литературного языка или вне его нормы и т.д. Так, если в романистике и до сих пор происходят споры о начале каждого из романских языков, в частности их фонетического облика, то это в значительной степени объясняется не действительным реальным лингвистическим их состоянием, а скорее социолингвистическим статусом тех языковых образований, из которых они возникли. Как «вульгарные» диалекты, существовавшие параллельно (и значительно ниже ее социологически) с официальной латынью, языком с древними и общепризнанными традициями, они не могли никем приниматься всерьез и соответственно фиксироваться в своем первозданном виде; всегда, даже в случаях их отражения, предполагалась определенная латинизация народно-романских диалектных черт. Только изменение отношения к этим в прошлом диалектам, признание за ними статуса языка с определенными (хотя бы на первых порах) и ограниченными официальными функциями (ср. Страсбургские клятвы как первый фиксированный памятник французского языка) привело к тому, что то, что прежде считалось диалектом (и не фиксировалось), стало языком, т.е. заслуживающим специальной фиксации. В чисто лингвистическом отношении вначале никакой разницы между (более ранним) диалектом (и более поздним) языком могло не существовать, в конечном счете их мог разделять совершенно ничтожный временной промежуток (день накануне первой фиксации и следующий).

Определенное воздействие на фонетический субстрат шло, очевидно, и со стороны родственных языков. Например, для польского языка явление перехода cz > c, sz > s, ż > z (так называемое мазуренье) некоторые исследователи объясняют как результат возможного субстратного влияния. Этого взгляда придерживался, в частности, Я. (И.А.) Бодуэн де Куртенэ, считавший польское мазуренье результатом финского влияния (Бодуэн де Куртенэ, с. 349), по-видимому, судя по его глубине, субстратного характера. В том, что в польский литературный язык, в основном формировавшийся в Кракове, окруженном мазурующей областью, мазуренье не проникло, часть ученых видели влияние великопольского диалекта, для которого оно не характерно (Szober, s. 86). Другие же, среди них и А.Брюкнер, усматривали в этом выравнивающее влияние чешского языка, к образцу которого обращались при решении языковых вопросов (Brückner, s. 74). Считая, безусловно, наиболее существенным здесь влияние польских диалектов, нельзя полностью исключить и воздействие родственных славянских языков, причем не только чешского, но и старославянского, проникавшего в Польшу как из чешско-моравских и словацких земель, так и из Киевской Руси, а также древнерусского, где не было мазуренья. Знаменательно, что в нижнелужицком языке, находившемся длительное время в почти полной изоляции от других славянских языков, явление перехода č > c развилось и стало нормой литературного языка.

По-видимому, то, что фонетические влияния субстрата в среднерусских говорах, такие как замена звонких согласных глухими в начале слова и, наоборот, глухих звонкими (< полузвонкими) в интервокальной позиции (ср. *кадюка* вм. *гадюка, хлибает* вм. *всхлипывает* (наст. изд., с. 16-17)), не стали нормой литературного языка, объясняется влиянием, с одной стороны, других русских говоров, которым это явление было чуждо, а с другой, длительной (письменной и устной) древнерусской и церковнославянской традицией, которая также не знала этого явления. Не исключено, что явление цоканья, развившееся в части севернорусских говоров под влиянием прибалтийско-финского субстрата, не получило развития и не закрепилось в литературном языке, поскольку среднерусским говорам, легшим в основу литературного языка, это явление было несвойственно. Не было оно присуще и южнорусским говорам. Причем это было поддержано, видимо, и тем обстоятельством, что мерянский язык, ставший субстратом среднерусских говоров, различал шипящие и свистящие и, таким образом, не мог стать основой для развития явления цоканья (наст. изд., с. 30, 57). Следовательно, большая или меньшая фонетическая (как и другая) влиятельность субстрата объясняется не просто сама по себе, но и конкретными внут-

ри- и внешнелингвистическими факторами. Там, главным образом, где влияние субстрата не ограничивалось воздействием других противостоящих ему тенденций, что было преимущественно связано с изолированным положением языка-преемника по отношению к другим (близко)родственным языкам, и где язык-преемник не имел длительной литературной (письменной) традиции, субстрат получал возможность наиболее сильного воздействия на язык-преемник. Там, где по отношению к подобному воздействию возникал ряд преград, влияние субстрата, в том числе и фонетическое, оказывалось не таким сильным. В некотором якобы противоречии к этому, надо полагать, справедливому положению находится французский язык с его галльским субстратом, где фонетическое воздействие субстрата было, по всей видимости, очень сильным. Однако этот факт может найти себе истолкование в ряде объясняющих его обстоятельств. Очевидно, здесь сказалось то, что галло-романский диалект, не имевший никакой письменной традиции, длительное время развивался (причем на обширной территории) без какого-либо влияния сдерживавших его книжно-литературных норм. Это позволило ему значительно отдалиться от первоначальной исходной точки, народной латыни. Свою роль сыграло и то, что в галло-романских говорах действовал один галльский субстрат и что эти говоры могли фонетически резко отличаться от других романских говоров. Положение здесь сопоставимо не столько с диалектами (велико)русского языка или даже восточнославянскими языками, сколько с языками Славии в целом, где французский язык, как и другие романские языки, сравним с отдельными славянскими языками (причем, как известно, романские языки в результате более длительного периода развития разошлись между собой значительно больше, чем отдельные славянские языки). Кроме того, поскольку черты галльской фонетики (особенно диалектной) известны пока крайне мало, не исключено, что по сравнению с ней французская (< романская) фонетика претерпела значительно меньше преобразований, чем можно было бы ожидать от влияния галльского субстрата, и в этом можно было бы усматривать сдерживающее влияние фонетики языка-преемника (галло-романского диалекта), родственных романских языков (диалектов) и самой латыни, народной и книжно-литературной. Следовательно, сказанное о закономерностях влияния фонетики субстрата на фонетику языка-преемника и на стимулирующее и тормозящее воздействие конкретных интра- и экстралингвистических обстоятельств в целом остается в силе.

4. Воздействие фразеологии субстрата на язык-преемник[20]

Фразеологические обороты субстратного языка, как показывают проведенные исследования, в основном калькируются («переводятся») языком-преемником. По-видимому, подобному переводу подвергаются также многие произведения народного творчества (сказки, песни, пословицы, поговорки и т.п.). Народ, носитель субстратного языка, в процессе распространения двуязычия, а затем постепенного перехода со своего первого языка на второй, как бы не желая утратить все наиболее ценное из своей предшествующей национальной культуры, постепенно многое из нее переодевает в платье нового языка. Вместе с мерянским фольклором, в частности, в русский язык проникла из мерянского субстратного языка парная инициальная сказочная формула *жил-был,* представляющая собой буквальный перевод мер. *il′-ul′, финно-угорское, неславянское происхождение которой совершенно недвусмысленно засвидетельствовано как положительными данными финно-угорских, так и отрицательными данными остальных славянских языков.

Значительно реже, как правило в периферийных говорах, сохраняются пережиточно фразеологические обороты, преимущественно наиболее стойкие, типа формул, в своем оригинальном некалькированном виде, — ср. рус. (диал., постмер.) елусь-поелусь < мер. *Joluś pa joluś (**tenän seγe(te)-juhę-(te)) «Пусть будет и будет (**у тебя еда

[20] Этот вопрос был подвергнут подробному рассмотрению автора настоящей работы в его предшествующих исследованиях (Ткаченко, 1979, 1983, с. 220–237; наст. изд., с. 112-114), а поэтому здесь затронут лишь вкратце.

(твоя) — питье (твое)) (пожелание во время еды типа рус. «Хлеб-соль!»). Ясно, что при переходе с языка на язык с постепенным забыванием первого (субстратного) языка большее основание сохраниться имеют калькированные (переведенные) фразеологизмы, чем те, которые остались почему-либо в оригинальной форме. В целом сохранности фразеологизмов способствует в наибольшей степени их частотность, традиционность, которая, возможно, позволяет закрепить в памяти постсубстратного населения если не первоначальное значение фразеологизмов, то понимание хотя бы их функции (например, в данном случае забыто было первоначальное значение, но оборот совершенно правильно употреблялся по традиции в своей первоначальной функции приветствия-пожелания во время еды).

В настоящее время при слабой разработанности вопроса о субстратной фразеологии, как и семантике вообще, трудно сказать о том, насколько она характерна для тех или иных языков-преемников и чем определялась ее большая или меньшая распространенность в них. Как указывают на это и примеры воздействия грамматики субстрата на язык-преемник, случаи семантического воздействия субстрата (за исключением лексики и фонетики) принадлежат к наиболее типичным.

В принципе, здесь, очевидно, остается в силе то, что было сказано о других типах воздействия субстрата и тех причинах, которые могут его ограничивать. Однако в связи с преобладанием калькирования в области фразеологизмов, по-видимому, в данном случае не так действенны в качестве ограничительных социолингвистические обстоятельства, поскольку ничто не мешало проникновению «переодетых» фразеологизмов, в особенности в область фольклора, народного творчества и народно-разговорной речи, как чисто внутрилингвистические причины, то «морфологическое сито», структурно-грамматические особенности языка, которые могли мешать калькированию фразеологизма и его ответвлений в том объеме, в каком он был свойствен языку-субстрату (Ткаченко, 1979, с. 233). Так, на основе данных других финно-угорских языков можно предположить, что мерянский парный глагол, продолжающий ф.-уг. *elä(-)-wolę(-) «жить-быть», мог выступать, причем как в прошедшем, так (возможно, даже чаще) и в настоящем времени, кроме зачина, в медиальной сказочной формуле со значением: «Жил-был (жили-были)...» или «Живут-суть, живут-суть», — ср. кар. Elettih-oldih, lähti Ivan Sarovič «Жили-были, поехал Иван Царевич...» (КНСЮК 145); Sie eletäh, ollah, eletäh, ollah... «Там живут, суть, живут, суть...» (КНСЮК 419) и, видимо, и в обороте со значением «Как живешь-еси?» (≈ рус. «Как поживаешь?») (ср. эст. Kuidas etate-olete? «Как живете-есте?» VES, 1k. 135). Однако ввиду отсутствия в русском в это время личных форм глагола «быть» в настоящем времени, а также его несрифмованности с глаголом «жить» в том же времени, что мешало образованию и функционированию парного слова в данных формах, в русском языке эти особенности, постулируемые внутренней формой языка-субстрата, как в языке-преемнике, не смогли быть реализованы. Таким образом, для включения субстратной фразеологии, очевидно, наиболее важными должны были быть те сугубо внутренние структурно-грамматические свойства языка-преемника, которые давали возможность ее адекватно калькировать (они же давали о себе знать и в случае грамматического. влияния языкового субстрата).

* * *

Рассмотрение известных современной науке фактов языкового субстрата позволяет прийти к ряду выводов, касающихся как социолингвистических предпосылок его возникновения, так и особенностей его влияния на язык-преемник.

1. Опираясь на научную методологию отечественного языкознания и результаты современных исследований субстратных языков, следует решительно отвергнуть в качестве идеалистических и неприемлемых как взгляды, на основании которых отрицается существование субстрата и его влияний, так и взгляды, в которых это влияние как биологически обусловленное абсолютивизируется и преувеличивается. Единственно приемлемым является историко-материалистический подход к явлению субстрата, при

котором он как всякое исторически обусловленное явление рассматривается в неразрывной связи с историей общества, пользующегося определенным языком (языками) и претерпевающего процесс смены языков и их изменений. Исследователь языковых субстратов с необходимостью должен учитывать как сугубо (внутри)лингвистические, так и социолингвистические обстоятельства, связанные со сменой языка, возникновением и влиянием субстрата. При отсутствии подобного всестороннего подхода он может упустить в этом сложном и диалектически противоречивом процессе самое существенное.

2. Возникновение субстрата является следствием взаимодействия двух языков, пришлого и местного, при расцвете и экспансии первого и одновременном упадке и свертывании второго, в своих пережиточных элементах становящегося субстратом первого. Этому предшествует период двуязычия носителей местного языка, который после окончательного упадка местного языка завершается окончательным переходом бывших его носителей к новому одноязычию — исключительному пользованию языком, вытеснившим первый местный язык.

3. Смена языка, завершающаяся победой одного из языков и полным выходом из употребления другого, становящегося субстратом языка-победителя и преемника, является в конечном счете результатом кризиса этнического общества, носителя (будущего) субстратного языка, что отражается и на развитии этого языка, приходящего в упадок вместе с обществом, которое он обслуживал.

4. Вновь возникшее общество, образовавшееся путем слияния местного и пришлого этнических элементов, не может, однако, вместе с местным языком отказаться полностью и от местной материальной и духовной культуры с ее ценностями. Поскольку носителем этой культуры является местный язык, часть из его элементов неизбежно, вольно или невольно, включается в язык-преемник, что не может не отдалить его от своего исходного состояния.

5. Впоследствии этот новый идиом, образовавшийся в результате слияния исходной формы языка-победителя с языковым субстратом, пережитками местного языка, при соответствующей социолингвистической ситуации может стать отдельным языком.

6. Как показывает языковая история, именно языковые субстраты, разные на разных территориях, при широкой экспансии первоначально единого языка (например, латинского) могут стать одной из главных причин, — если не самой главной, — его распада на ряд родственных языков (например, романских). Следовательно, субстрат, являясь остатком отмершего языка, способствует одновременно зарождению новой языковой жизни, возникновению нового языка.

7. Таким образом, по крайней мере для части языков можно констатировать две линии наследственности (преемственности) — основную генетическую и субстратную. Первая из них связывает язык с определенной языковой семьей (группой), вторая является определяющей для него как для отдельного языка, входящего в нее.

8. Языковые субстраты, связывая существующие современные языки с предшествующими языками тех или иных территорий, отражают в себе историческую преемственность языков и культур на этих территориях.

9. Влияние субстрата на язык-преемник зависит не только (и не столько) от значительности народа, носителя субстратного языка и развитости его культуры, а и (сколько) от дальнейшей социолингвистической ситуации, в которой язык-преемник будет находиться. При его изолированном, территориально обособленном положении среди родственных языков элементы субстрата (особенно материальные) имеют больше возможностей в нем закрепиться. В случае тесной связи с родственными языками и воздействия предшествующей основной (генетической) традиции многие из них устраняются.

10. Воздействие языкового субстрата на язык-преемник происходит на всех уровнях и в двух формах — материальной и семантической (модельно-функциональной). Первая форма в наибольшей степени характерна для влияния субстрата на уровне фонетическом и лексическом, вторая — на грамматическом и фразеологическом.

ИСТОРИКО-СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К МЕРЯНСКОМУ ЯЗЫКУ

Предметом специальных социолингвистических исследований являлись до сих пор живые языки с беспрерывно производимыми устными и — в случае их наличия — письменными текстами, особенности создания которых увязывались с особенностями жизни общества в целом и его отдельных социальных слоев. Подобные исследования получили широкое распространение сравнительно недавно, в основном после второй мировой войны. Однако ввиду их интенсивности к настоящему времени накоплен значительный опыт их проведения, разработана и методика применительно к большому и разнообразному материалу соответствующих обследованных языков.

Гораздо хуже обстоит дело с мертвыми языками, также нуждающимися в социолингвистическом освещении хотя бы основных этапов их истории[21]. Особенно мало сделано для социолингвистического изучения исчезнувших субстратных (как правило, бестекстных) языков, важных как существенное дополнение к истории языков (прежде всего своих языков-преемников), и для осмысления довольно частого в истории процесса смены языка, сопровождаемого процессом субстратизации отмирающего языка, вхождением его пережиточных элементов в сменяющий его язык-преемник. Задача историко-социолингвистического исследования или, точнее, комментирования этих самих по себе непростых процессов в данном случае усложняется дополнительно скудностью как языковых фактов, которыми располагает наука, так и чисто исторических данных об этносах, носителях субстратных языков. Это вызвано тем, что на исчезающие языки, лишенные в период их отмирания какой-либо социальной престижности, до последнего времени (т.е. в основном до XIX–XX вв.) обычно не обращали особого внимания, тем более не подвергали тщательному анализу обстоятельства их исчезновения. Особенно это относится к языкам, отмершим в древности или средневековье. Тем не менее при всей своей сложности задача историко-социолингвистического комментирования доступных (реконструированных) явлений субстратных языков должна ставиться и решаться лингвистикой хотя бы в том объеме, в каком это возможно в настоящее время. Если в отношении современного, доступного непосредственному обследованию материала можно наблюдать как социолингвистические процессы, так и их последствия, то при историко-социолингвистическом комментировании задача состоит в том, чтобы, используя (социо)лингвистические последствия, следы социолингвистических процессов, по возможности постараться воссоздать эти процессы. В этом заключается, в частности, и предлагаемый ниже комментарий сохраненных в русском языке мерянских языковых фактов, лингвистическому реконструктивному исследованию которых была посвящена предшествующая работа автора[22].

Методика историко-социолингвистического комментария к фактам реконструируемых исчезнувших субстратных языков, к числу которых относится и мерянский, имеет свою несомненную специфику. Для максимально достоверного воссоздания на основе реконструированных фактов кроющихся за ними социолингвистических процессов исследователь использует прежде всего известный метод «слов и вещей» (Wörter und Sachen), опираясь при этом в первую очередь на лексику отмершего языка, но не только на нее, а и на все другие достаточно выразительные языковые элементы. Так же, как, например, на основе реконструированных элементов любого праязыка (в частности,

[21] Среди немногих работ, составляющих здесь исключение, следует назвать монографию А.Н.Гаркавца, где внимание обращено, правда, прежде всего на внутриязыковую сторону контактов, однако учитывается и внешнеязыковая (социолингвистическая) ситуация (см. Гаркавец, с. 3–21, 91–93).

[22] *Ткаченко О.Б.* Мерянский язык. — Киев: Наук. думка, 1985. — 207 с. (наст. изд., ч. 1). В дальнейшем при социолингвистическом комментировании тех или иных фактов мерянского будет делаться ссылка на соответствующие страницы настоящего издания без аргументации чисто лингвистической достоверности рассматриваемых фактов, так как необходимые доказательства содержатся там.

праславянского) ученые получают сведения о расположении прародины, ее растительности, животном мире, занятиях этноса, носителя праязыка, особенностях его общественного строя, контактах с носителями других языков, с помощью реконструированных элементов субстратного языка можно получить сведения о его внешней истории, социолингвистических ситуациях, в которых он находился. Уже один внимательный анализ лексики и обозначаемых ею реалий дает много для понимания жизни изучаемого народа, в том числе и в периоды, недоступные пока для истории. Среди прочих фактов с помощью этих данных выясняется и целый ряд социолингвистических особенностей существования языка. Немало ценного в этом отношении дают, помимо лексики, также фонетика и грамматика языка, позволяющие установить особенности как генетических связей языка, так и взаимоотношений с другими языками, вступавшими с ним в контакт. Следовательно, данные для историко-социолингвистического комментария можно извлечь из самого подлежащего комментированию материала субстратного языка. Однако есть еще два источника, помогающие воссозданию внешней (социолингвистической) истории языка и одновременному уточнению тех сведений, которые может дать материал комментируемого языка, его лингвистические факты. Это, с одной стороны, факты истории этноса, носителя языка, в данном случае мерянского, с другой — аналогичные факты из истории и современного состояния других лучше известных народов и языков. Даже небольшое количество исторических фактов дает возможность сделать более достоверными те данные, которые извлекаются из языкового материала, конкретизирует и уточняет его показания. Привлечение современных и исторических аналогий, сопровождаемых необходимыми оговорками, указывающими на степень близости и оправданности этих аналогий к социолингвистическому положению субстратного языка, позволяет также до известной степени восполнить неполноту тех данных, которые можно извлечь из двух других источников. В целом историко-социолингвнстический комментарий, разумеется, только выигрывает от полноты сведений, предоставляемых каждым из трех указанных источников, в первую очередь от количества языковых и исторических фактов. Однако ясно и то, что, поскольку историко-социолингвистический комментарий вымершего языка требует слишком больших усилий, несоизмеримых с теми, которые необходимы для социолингвистического исследования живого языка, далеко не каждый из реконструированных фактов дает возможность прокомментировать его с социолингвистической точки зрения. Отсюда становится понятно, что по количеству исследованных фактов историко-социолингвистическое комментирование должно всегда неизбежно отставать от чисто лингвистической реконструкции субстратного языка. Это вытекает хотя бы и из того, что прежде, чем стать объектом историко-социолингвистической интерпретации, каждый факт субстратного языка должен быть реконструирован и аргументирован как принадлежащий ему.

Историко-социолингвистический комментарий к мерянскому языку предполагает в первую очередь ознакомление с данными мерянской истории, которая образует как бы рамку для собственно социолингвистического комментария к явлениям языка, прежде всего к тем из них, которые относятся к его внешней истории. Ввиду того, что в настоящее время об истории мери можно говорить только в самых общих чертах, так как здесь еще имеется слишком много пробелов, автор остановится только на контурах этой истории. Наиболее естественным итогом рассмотрения, с одной стороны, истории мери, а с другой, социолингвистического комментирования фактов мерянского языка, относящихся к его внешней истории, представляется периодизация мерянского языка, возможная на данном этапе его исследования и изученности. Следующая часть историко-социолингвистического комментария посвящена фактам мерянского языка, связанным с его внутренней историей, прежде всего тем из них, в которых отражены изменения, произошедшие в его структуре при субстратизации этого языка, т.е. при отмирании его в качестве особого финно-угорского языка и превращении в своих сохранившихся элементах в субстрат русского (главным образом диалектного) языка.

Одной из необходимых частей в структуре работы является также заключение.

КОНТУРЫ МЕРЯНСКОЙ ИСТОРИИ

Мерянский (друс. мер(ь)ский) язык (мер. *merän jelma(-ə̑))[23], ныне один из мертвых финно-угорских идиомов, в период своего наибольшего распространения занимал, видимо, территорию современных центральных областей европейской части России – Ярославской, Костромской, Ивановской (полностью), Калининской [с 1991 г. – Тверской. – *Прим. ред.*], Московской, Владимирской (частично) и, возможно, некоторые земли смежных с ними районов Вологодской, Кировской и Горьковской [с 1990 г. – Нижегородской. – *Прим. ред.*] областей. Площадь этой территории составляет приблизительно 233 тыс. кв. км, что при сравнении с этническими территориями наиболее крупных финно-угорских народов соответствует 2/3 территории Финляндии (337 тыс. кв. км), более чем вдвое превышает площадь Венгрии в ее современных государственных границах (93 тыс. кв. км) и более чем в пять раз пространство, занимаемое Эстонией (45,1 тыс. кв. км)[24]. Максимальное количество носителей мерянского языка в период его наибольшего распространения, т.е. до времени переселения на мерянские земли восточных славян, когда постепенно началась славянизация мери, в абсолютных числах установить пока невозможно. Очевидно, даже принимая во внимание редкость заселения этой обширной территории, следует считаться с тем, что население это было довольно значительным и, по-видимому, по численности приближалось к наиболее крупным тогдашним финно-угорским племенным группам – прибалтийско-финской, венгерской, мордовской. На это указывает, с одной стороны, большое количество сохраняющихся до сих пор мерянских местных названий, а с другой, то обстоятельство, что мерянское население должно было увеличиться за счет ассимилированных мерей индоевропейских носителей фатьяновской культуры.

Археологические данные современной науки позволяют считать возможным сформирование мери в отдельное финно-угорское племя (племенной союз) на своей исторически засвидетельствованной территории уже в 1 тыс. до н.э. (История СССР, с. 312–314). Непосредственными предшественниками мери на той же территории были, очевидно, индоевропейцы, представители так называемой фатьяновской культуры, вытесненные и ассимилированные пришедшими с востока финно-уграми, предками

[23] Так, видимо, передавалось понятие мерянский язык по-мерянски, где первое место занимало несогласованное определение в род. пад. ед. числа merän «(букв.) мери» от им. пад. ед. числа merä «меря», определяющее слово jelma(-ə̑) «язык», следовательно, merän jelma(-ə̑) «(букв.) мери (= мерянский) язык». Как аналогию ср. соответствующие названия языков финского, эрзянского и мокшанского в финском, эрзянском, мокшанском языках: фин. suomen kieli «(букв.) суоми (род. пад. ед.ч.) язык», эрз. эрзянь (< *ërźan) кель «(букв.) эрзи язык», мокш. мокшень (< *mokšən) кяль «(букв.) мокши язык».

Обоснование формы род. пад. ед. числа (в данном случае merä-n) и слова jelma(-ə̑) «язык» см. на стр. 67 и 118-119 наст. изд. Что касается конечного -ä в слове merä «меря», то на него с определённостью указывает характерное колебание между ′-а (-я) (а со смягчением предшествующего согласного) и -е, – ср. славяно-русское Меря при Merens («мерян») у готского историка Иордана (см. с. 9 наст. изд.). Слово мерянский в русском языке как наиболее правильное и желательное должно иметь ударение ме́рянский (ср., в частности, его отражение в стихотворении Г.В.Божковой, помещенном в начале этой книги). Менее оправданно и скорее ошибочно ударение «меря́нский», возникающее под влиянием поверхностной аналогии ударений типа *испа́нский, италья́нский, мексика́нский* и под. *(Прим. автора к наст. изд.)*

[24] В данном случае речь идет о сплошном основном массиве мерянской этнической территории, языковые данные с которой и являются предметом настоящего исследования. Здесь не учитываются те, возможно, существовавшие за его пределами более или менее значительные островки, где могли проживать носители мерянского (или близкородственного ему) языка, как и та часть мери, которая по существующему преданию, стремясь *избегнуть* христианизации, переселилась к марийцам или мордовцам (см. наст. изд., с. 9, 10).

мери (Крайнев, 965–969). Включение в состав этой части финно-угров (протомери) индоевропейцев-фатьяновцев могло способствовать их окончательному обособлению от других финно-угорских племен. Первое историческое упоминание о мере готского историка Иордана (VI в. н.э.), где меряне (Merens «мерян») (Иордан, с. 150) упоминаются среди племен, плативших дань готскому королю Германариху, несомненно свидетельствует о существовании в это время мери как отдельного финно-угорского племени. Следующие упоминания о мере относятся уже к IX–X вв. и появляются в древнерусском историческом источнике — Ипатьевской летописи, где о ней сказано как о союзнике восточных славян, — в связи с собиранием дани варягами с древнерусских и соседних с ними племен (859 г.), по поводу походов Олега на Киев (882 г.) и на Цареград (907 г.), в которых наряду с варягами и восточными славянами принимала участие и меря (Ипат. лет., с. 16, 17, 21). В другом древнерусском летописном источнике о мере говорится как об особом этносе со своим языком, выделяемом на фоне других финно-угорских племен, известных в XI в. восточным славянам: «... а на Ростовском озерѣ Меря, а на Клещинѣ Озерѣ Меря же; а по Оцѣ рѣцѣ, гдѣ потече в Волгу же, Мурома язык свой, и Черемиси свой язык, Моръдва свой языкъ...» (Лавр. лет., с. 10–11). На основании, в частности, того, что после X–XI вв. меря перестает упоминаться в древнерусских летописных сводах, в дореволюционных отечественных работах бытовало мнение, что к тому же периоду относится и полная ассимиляция мери восточными славянами (Корсаков, с. 63–64). Это мнение, встречающееся иногда и в некоторых зарубежных работах даже в 60-х годах 20-ого века (Décsy, S. 145), в свете исследований советских историков следует признать устаревшим. Данные этих исследований, опирающихся на неиспользованные ранее исторические источники, показывают, что и после событий IX–X вв., упомянутых в Ипатьевской летописи, меря еще долго существовала на своих землях, куда с X–XI вв. стали проникать восточные славяне (Горюнова, с. 5).

Тем не менее и при том, что современной исторической науке (и в частности, археологии) удалось в какой-то степени расширить представление об истории мерянских племен, имеющиеся в настоящее время о них сведения не отличаются особым богатством. Сведения эти крайне отрывочны, фрагментарны. Скудность имеющихся в настоящее время исторических сведений о мере, — скудность, возможно, не столько действительная, сколько вызванная тем, что вопросом этим мало интересовались, — не дает пока возможности с точностью ответить даже на основные вопросы, относящиеся к внешней истории мерянского языка. Если вполне естественно и менее ощутимо отсутствие сведений о времени возникновения мерянского языка, вполне объяснимое сложностью процесса образования отдельного языка, то уже менее терпимо отсутствие указаний на дату его окончательного исчезновения. Касательно этого существуют лишь косвенные данные. Логично предположить, что поскольку в XIII–XVI вв. можно обнаружить по документам наличие т. наз. мер(ь)ских станов, где, очевидно, проживали группы еще не русифицированного мерянского населения, причем эти мерянские острова отмечаются на всем пространстве былого расселения мери от его крайнего запада до востока (села Меря Старая и Меря Молодая к западу от Москвы, мер(ь)ский стан на р. Нерль, мерецкий стан у г. Кашина, мер(ь)ский стан по р. Костроме у ее впадения в Волгу (к западу от г. Костромы), мериновская волость по р. Мере, к северо-востоку от г. Кинешмы), то в этот период следует считаться как с фактом существования этнически особых по отношению к русским групп мери, так и, по-видимому, с сохранением среди этих групп мерянского языка. Косвенное указание на возможность наличия еще одного мер(ь)ского стана по р. Унже, причем в документе середины XVIII в., дает основание предположить, что, вероятно, мерянский язык употреблялся в отдельных, наиболее удаленных, местностях еще в XVII и даже начале XVIII в. (Третьяков, с. 135–137). При этом ничто не указывает на то, что мерянский язык в период его использования на отдельных языковых островах употреблялся только в границах отмеченных мер(ь)ских станов. Так, по-видимому, кроме них,

одним из мест его длительного употребления мог быть г. Галич и окрестные села, хотя ни в одном документе эта местность не фигурирует как мер(ь)ский стан. О том, что Галич мог быть местом значительного сосредоточения мерянского населения, длительное время сохранявшего мерянский язык, свидетельствует то, что Галич в средние века именовался Галичем Мер(ь)ским, а также то обстоятельство, что у галицких рыбаков долгое время спустя после их полной русификации был в ходу особый тайный елманский язык, часть слов которого, являясь явно финно-угорской, отличалась в то же время от них своеобразной формой, позволяющей предположить их мерянское происхождение (ср. хотя бы слово *елманский* от мер. *jelma(-ə̑) (род. пад. ед.ч. *jelma(-ə̑-)n) «язык», – мар. *йылме*, манс. *нёлм* (*нёлум*), хант. ńäləm, венг. nyelv, саам. K ńāilme «рот» < ф.-уг. *ńälmä) (Попов, с. 101; MSzFUE, 1. 480). Очевидно, елманский язык как «тайный язык», профессиональное арго, свидетельствует о существовании у части жителей г. Галича и его окрестностей русско-мерянского двуязычия. Поскольку их «тайный язык» сохраняет мерянские включения, его до известной степени можно рассматривать как результат социально-лингвистической трансформации отмирающего мерянского языка. Фиксация ряда, по-видимому, мерянских по происхождению слов или выражений (иногда в составе соответствующих арго) в русских говорах Углича, Нерехты, Кинешмы, Солигалича и Пошехонья, расположенных на бывшей мерянской территории, свидетельствует о возможности длительного сохранения отдельных групп меряноязычного населения в целом ряде местностей бывшей мерянской этнической территории. В силу этого при окончательном угасании мерянского языка отдельные его носители могли встречаться в разных местах этого довольно обширного в прошлом этнического пространства. В связи с тем, что, скорее всего, последние группы носителей мерянского языка располагались на крайнем его северо-востоке (в бассейне р. Унжи), с наибольшим вероятием здесь же проживали и последние единичные его носители. Известно, что с 20–30-х годов XVIII в., еще во времена царствования Петра I, началось усиленное изучение языков России, особый размах получившее в царствование Екатерины II и отразившееся в издании «Сравнительного словаря всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенного» (СПб., 1787–1789, ч. 1–2) (Феоктистов, с. 11–25). Однако, поскольку среди собранных материалов данных по мерянскому языку нет, есть основание полагать, что последние группы носителей мерянского языка должны были исчезнуть до 20–30 годов XVIII в., существование же отдельных носителей мерянского языка могло еще продлиться до середины XVIII в., хотя едва ли жизнь кого-либо из них пересекла этот рубеж. Таким образом, предельно возможным сроком существования мерянского языка следует считать первую треть XVIII в., в крайнем случае первую его половину. Под мерянским языком, естественно, здесь понимается – даже при наибольшем насыщении его русской лексикой – сохранение прежде всего мерянской грамматической системы, согласно правилам которой могли строиться в случае необходимости новые мерянские устные тексты. С тех пор как со смертью последних носителей языка такое умение исчезло и даже при большой насыщенности мерянской лексикой новые тексты, включавшие ее, стали строиться только по правилам русской грамматики, с использованием только ее словоизменительных парадигм, – причем остатки мерянской флексии уже не осознавались как таковые, – можно говорить и об окончательном прекращении жизни мерянского языка, хотя сохранившиеся в составе различных видов русского языка как его субстратные включения элементы мерянского языка еще продолжали (и продолжают) посмертное (после его исчезновения) существование. При решении вопроса о временны́х и пространственных рамках существования мерянского языка внимание исследователей, естественно, приковывается к той основной, наибольшей массе мерянского населения, которая подверглась славянизации (> обрусению). При этом совершенно упускаются из виду судьбы той части мери, которая, стараясь избежать христианизации, переселилась на восток, к марийцам или мордовцам, и последний раз под названием «ростовской чер-

ни» упоминается в связи с осадой Казани Иваном Грозным (1552 г.) в «Истории о Казанском царстве». Поскольку в дальнейшем какие-либо упоминания об этой части мери прекращаются, следует считать, что в период с середины XVI до второй половины XVIII в. (когда началось изучение мордовских и марийского языков) эта ее часть подверглась окончательной ассимиляции. Вопрос исследования остатков этой части мерянского языка еще более сложен, чем основной его части, которая растворилась в русском, что связано с гораздо меньшим количеством его носителей, с растворением его в родственном языке (языках), чему могло предшествовать значительное сближение мерянского с марийским (либо мордовским), и, наконец, с тем обстоятельством, что сами марийский и мордовские языки стали фиксироваться в основном после исчезновения этой части мери с ее языком[25].

На основании косвенных данных — сохранения этно-языковых мерянских «островов» (т. наз. мер(ь)ских станов) в XV–XVI, а судя по упоминанию об одной из них («Георгиевская (церковь), что в Мерском (стане)») в документе первой половины XVIII в., еще в XVII и, вполне возможно, начале XVIII — можно полагать, что мерянский язык после проникновения славян на мерянскую территорию продолжал на ней сохраняться вместе с его носителями, мерянским этносом, на протяжении не менее 7–8 веков. Ввиду того что ни в предшествующий, ни в этот период история не отмечает никаких славяно-мерянских конфликтов, а если бы они были, то неизбежно как-то бы себя проявили при, по-видимому, значительном местном населении, есть полное основание считать, что сосуществование пришлого славянского и местного мерянского населения было вполне мирным. Историкам еще предстоит решить эту проблему. Пока можно высказать по этому поводу только предварительные предположения. Очевидно, обе части местного населения, во-первых, в силу разницы в своих занятиях (меряне — скотоводы, рыбаки и охотники, славяне — в основном земледельцы) и ввиду больших незанятых территорий, которые в первую очередь заселяли славяне, могли не мешать друг другу, во-вторых, обе части населения в какой-то степени были заинтересованы друг в друге, а это обстоятельство заставляет народы жить мирно и находить возможность избегать конфликтов. По всей видимости, это были взаимоотношения союзников. С соответствующими поправками по отношению ко времени и обстоятельствам здесь невольно напрашивается аналогия Рима и его союзников в период романизации Апеннинского полуострова. В данном случае, забегая вперед, как и там, при совершенно мирном характере взаимоотношений, а, может быть (и скорее всего), именно благодаря ему, произошла постепенная ассимиляция одной части населения другой. Можно попытаться в то же время ответить на вопрос по поводу того, что вынуждало славян и мерян искать подобного союза и быть заинтересованными в мирных отношениях. По-видимому, меря, расположенная на важных торговых путях и подвергаемая угрозе с двух сторон (с запада со стороны варягов, а с востока — булгар), нуждалась в помощи союзника, заинтересованного, как и меря, в защите от этих сил. Такими естественными союзниками должны были стать славяне, которые, с одной стороны, укрепили свои позиции династическими связями с варягами, превратив варягов из врагов в союзников, с другой, — успешной борьбой с Булгарским, как ранее с Хазарским государством. Со своей стороны славяне, проникавшие в мерянские земли, нуждались в том, чтобы здесь, в сравнительно спокойном крае, куда они уходили с юга, с земель, подвергавшихся беспрерывным ударам кочевников, они встретили мирное и дружественное, союзное с ними население, а не враждебное, готовое вступить в союз как с родственными соседними финно-угорскими племенами, так и с враждебными славянам булгарами. Обе причины привели как к следствию к сложившемуся здесь славяно-мерянскому симбиозу. Мирно сложившийся и развивавшийся славяно-финно-угорский (мерянский) симбиоз повел к срастанию обеих составных частей в одно этно-языковое единство с перевесом славян, что явилось

[25] Признавая всю важность этого вопроса, ввиду его чрезвычайной сложности автор данного исследования его не касается.

предпосылкой дальнейшей постепенной славянизации местного мерянского населения. Важными причинами, обусловившими именно такое направление ассимиляционного процесса, были количественный перевес славян над здешними финно-уграми, а вместе с тем и более высокий уровень их экономики, социального строя и культуры по сравнению с соответствующими явлениями у местных финно-угров (Третьяков, 1970, с. 116, 154)[26]. Эти вполне объективно действовавшие причины сопровождались обстоятельством, не зависящим от волго-окских финно-угров (мери) и славян, но вызвавшим усиление притока последних на отдаленные мерянские земли. Этим обстоятельством был уход славян из южных древнерусских областей, подвергшихся в XI–XII вв. жестоким ударам кочевников. По-видимому, славянизация мерян могла быть особенно усилена последствиями золотоордынского нашествия, которое, с одной стороны, вызвало еще более массовый уход славяно-русского населения на здешние земли, создав тем самым еще больший его перевес над мерянским, с другой же, отрезало мерю на длительный период от родственных финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, связи с которыми в былом могли в известной степени поддерживать и питать здешнюю финно-угорскую культуру.

Таковы были в основных чертах обстоятельства внешней истории мерянского языка, та социолингвистическая ситуация, в которой он находился в наиболее известный науке исторический период его существования и которая вызвала постепенную славянизацию его носителей, что привело впоследствии, после более или менее длительного периода меряно-славянского двуязычия, к вытеснению мерянского языка славяно-русским. В этой внешней истории не совсем ясным остается, однако, положение мерянского языка по отношению к славяно-русскому. Не вполне понятно (во всяком случае с первого взгляда), есть ли основание в данном случае говорить о юридически и социально равноправном положении обоих этнических элементов Владимиро-Суздальского (> Московского) княжества, славяно-русского и мерянского. С современной точки зрения, поскольку в качестве официального, в том числе письменного, языка с самого начала здесь употреблялся только славянский, можно было бы говорить о значительном неравноправии славяно-русского и мерянского этнолингвистических элементов. Однако подобный взгляд был бы в данном случае неправильным, анахроничным, являясь механическим перенесением положения, создавшегося в мире к XIX–XX в., в период возникновения буржуазных, а позднее социалистических наций, на совершенно другой исторический период, средние века, когда в лучшем случае происходило только зарождение народностей эпохи феодализма, зачастую же еще сохранялись в какой-то степени унаследованные от родо-племенного строя племена или племенные союзы. В связи с этим, а также значительной диалектной раздробленностью языков, как и с отсутствием позднейшей, связанной с периодом формирования наций тенденции образования (одно)национальных государств, во всей Европе (да и в Азии) в это время

[26] Там, где у славян не было подобного количественного перевеса над финно-уграми, частично и в связи с тем, что соответствующие финно-угорские народы не располагались, как меря, в направлении основного потока расселения славян, соответствующие финно-угорские народы (финны, эстонцы, мордовцы, марийцы) продолжают существовать до сих пор, развив при этом, как, например, финны и эстонцы, чрезвычайно высокую материальную и духовную культуру. Характерен в этом отношении пример двух городов, Ярославля и Тарту, заложенных Ярославом Мудрым соответственно в 1010 и 1030 гг. и названных в честь его именами, славянским (языческим) и греческим (христианским) Ярославлем (-городом) и Юрьевом (-городом). Оба города заложены на месте финно-угорских поселений, мерянского и эстонского, но в то время как первый давно стал одним из центров русской (славянской) культуры (в частности, колыбелью русского национального театра), второй стал одним из крупнейших центров эстонской (финно-угорской) культуры (Тартуский университет, Сельскохозяйственная академия, знаменитый театр «Ванемуйне»). Там же, где обнаружился перевес финно-угорской материальной и (или) духовной культуры и социального устройства над славянскими, как в быв. Паннонии (Венгрии), славянское население подверглось постепенной финно-угризации, войдя в состав финно-угорского (венгерского) народа, причем наблюдались случаи как массовой, так и индивидуальной финно-угризации (хунгаризации) (ср. пример Петефи, славянина по обоим родителям: мать — словачка, отец — серб).

господствовало тяготение к использованию единого официального языка в пределах одного государства, а зачастую целого ряда государств. Этот язык далеко не всегда являлся даже языком того народа, которому в данном государстве принадлежала руководящая роль. Сплошь и рядом, напротив, в роли официального языка использовался как раз язык покоренного народа только потому, что к приходу народа-завоевателя (или вообще главенствующего народа) в данную страну он уже употреблялся в качестве письменного официального языка, в то время как у народа-завоевателя (народа главенствующего) подобного языка еще не существовало. Так, германские племена (франки, бургунды, готы, лангобарды, вандалы), завоевавшие Римскую империю, несмотря на свое вне всякого сомнения господствующее положение (ср., в частности, длительный запрет на военную службу, распространявшийся на романское население в завоеванных германцами римских провинциях), которое им принадлежало во вновь созданных ими государствах, бывших римских провинциях Западной Римской империи, не использовали в качестве официальных свои германские языки, что было бы естественным и даже само собою разумеющимся с современной точки зрения, а прибегли как к официальному к латинскому языку, т.е. к тогдашнему литературному языку завоеванного римского (романского) населения. Литовцы, создав Великое княжество Литовское, также не использовали в нем свой родной литовский язык в качестве письменного официального, а применяли в данной функции язык присоединенных к Литве восточнославянских, белорусских и украинских областей, местный официальный, т. наз. западнорусский, язык. Если подобным образом поступали в те времена даже народности, занимавшие господствующее положение в созданных ими государствах, очевидно, не считая, что подобное положение в чем-то их ущемляет, то вполне понятно, что по отношению к мерянским племенам, среди которых поселились славяне, имевшие более развитую культуру и в том числе свою собственную письменность, которой у мерян в тот период не было, использование славянского языка в качестве письменного и официального не могло восприниматься как признак их неравноправного со славянами положения. Это положение не могло быть воспринято как признак неравноправия, и действительно (в свете хотя бы приведенных выше примеров) им не было, и в связи с тем, что, во-первых, сам мерянский язык, как вытекает из выдержки из жития св. Леонтия о том, что он «роуськыи и мерьскыи языкъ добрѣ умѣяше» (Житие, II), по-видимому, в устной, а отчасти и в письменной (например, при богослужении) форме достаточно широко употреблялся во Владимиро-Суздальской Руси, а, во-вторых, и потому, что и тот официальный письменный язык, которым пользовались славяне, был далеко не идентичен их разговорному языку. Как известно, в качестве богослужебного языка, языка религии, восточные славяне использовали не свой, хотя и родственный, славянский язык, а язык южнославянского (древнеболгарского) происхождения, церковнославянский (< старославянский). Этот же язык в известной, большей или меньшей, степени проникал и в их светскую письменность. Таким образом, сами восточные славяне, проникавшие в мерянские земли, были поставлены в далеко не равноправное (в языковом отношении) положение, например, касательно южных славян (болгар и македонцев), где письменный язык в то же время мог быть почти идентичен местному народно-разговорному славянскому языку[27]. Все упомянутое позволяет с тем большим основанием характеризовать положение славянского и мерянского населения Владимиро-Суздальского княжества как равноправное и именно этим обстоятельством

[27] Следует полагать, хотя этот вопрос освещен хуже, чем фактически существовавшее в то время у восточных славян древнерусско-церковнославянское двуязычие, что далеко не идентичным народно-разговорному языку Северо-Восточной (Владимиро-Суздальской > Московской) Руси был и употреблявшийся здесь восточнославянский письменный язык, представлявший собой своеобразное койне, связанное с какой-то ограниченной, а далеко не всей восточнославянской этно-языковой территорией. Иначе трудно понять причины столь «быстрого» (по памятникам письменности) возникновения трех восточнославянских языков.

объяснять то, что, несмотря на длительность, существование мерянского этно-языкового элемента на его землях, как и окончательное исчезновение мерян, проходит почти незамеченным для истории.

Последнее объясняется двумя основными причинами. Первая из них заключается в том, что история в этот период, как и много веков позже, хотя и была фактически историей прежде всего трудовых масс, однако на страницах летописей и других исторических источников фиксировалась главным образом как история царствующих династий, княжеских фамилий и господствующих классов вообще, их взаимоотношений, войн, браков, генеалогий, разнообразных союзов, дипломатических переговоров и т.д. Поэтому о судьбах широких народных масс в исторических источниках того времени можно узнать или по политическим действиям возглавлявших их правителей, или в связи с различными политическими или социальными потрясениями — войнами, восстаниями и т.п., в которых принимали участие эти широкие народные массы. Вполне естественно, что поскольку мерянские племена, во всяком случае к тому времени, когда они вошли в соприкосновение с восточными славянами, не имели каких-либо прочных, возглавляемых мерянской знатью государственных образований, а сама мерянская знать стала вливаться в ряды славяно-русской, выступать в рамках созданных последней феодальных образований, княжеств и земель, то они как бы потеряли представлявшее их на страницах письменных исторических источников собственное лицо, собственную племенную (> национально-государственную) аристократию, отличную от русско-славянской. Тем самым мерянское население, существовавшее в это время, в значительной степени как бы выпадало из поля зрения истории. Однако поскольку в то время — как во многом и значительно позже — было принято говорить не столько об отдельных национальностях (этносах), населявших то или иное государство, сколько о самом государстве, исходя при этом из основной его народности, то вполне естественно, что то же самое относилось и к мерянскому населению Владимиро-Суздальской (> Московской) Руси: оно выступало как часть русского населения его земель (даже задолго до своей полной этно-языковой ассимиляции). Вторая причина того, что меря как отдельный этнический элемент почти не упомянута в исторических источниках и исчезает (или почти полностью исчезает) из них во многом задолго до своего действительно полного исчезновения, заключается в том, что меря как этнический элемент не вступала в какие-либо конфликты со славяно-русским населением. Единственной возможностью обратить на себя внимание историка, летописца, хронографа у социальных низов (или «негосударственных» этносов), относящихся к тому или другому народу, являлось участие в каких-либо крупных социальных событиях, таких, как восстания, войны, носившие ярко выраженный национальный или национально-религиозный характер. Поскольку и в подобных событиях мерянское население отдельно от русско-славянского населения тех же земель не участвовало, тем самым исчезал и еще один важный повод для специального отражения жизни мери на страницах источников[28].

Не менее сложной, чем вопрос о временных пределах существования мерянского языка и взаимоотношений мерянского и славяно-русского населения, является проблема точных границ этнической террито-

[28] Некоторую аналогию к отражению существования мери в исторических источниках представляет положение с отражением истории других финно-угорских народов на территории России. Если эти народы, действительно жившие в ту эпоху, о чем свидетельствует прежде всего их пребывание в настоящее время, и упоминаются в них (не намного чаще, чем меря), то объясняется это в значительной степени тем, что эти финно-угорские народы или значительно лучше, чем меря, сохранили свою чисто этническую языческую религию, что вызывало, в частности, конфликты с царскими властями и православным духовенством (ср. существование языческих жрецов у марийцев еще в 20-е годы 20-ого века; сожжение языческих кладбищ у мордвы-терюхан в XVIII в.; социально-религиозное движение во главе с Алексеевым у мордвы в начале XIX в.; знаменитое мултанское дело, связанное с провокационным обвинением удмуртов в человеческих жертвоприношениях), или отдаленностью и одновременно экономической предприимчивостью этих народов (купцы и промышленники у коми).

рии мери и в связи с этим соседних и контактировавших с ней народов. Только земли трех современных областей России были в прошлом несомненно полностью заселены мерей — Ярославской, Ивановской, Костромской. Сюда же входила крайняя восточная часть нынешней Калининской [с 1991 г. — Тверской. — *Прим. ред.*] области (Кашинский р-н), где, судя по существованию здесь особого мер(ь)ского стана, также обитала меря. В нынешней Московской области меря располагалась, исходя из соответствующих названий (Яхрома, Талдом), в северной части, а также центральной и юго-восточной (ср. топоним *Коломна* с ф. kalmisto «могила > могильник > кладбище») (Смолицкая, с. 81–82). Что касается юго-западной и западной ее части, то здесь топонимы Московской и соседней с ней части Тульской области (р. *Нара*, увязываемая с балтийским географическим термином nara «поток» (Поспелов, с. 125); р. *Упа* — лит. upė «река») указывают на их в прошлом балтийское население, прежде всего балтийское племя голядь, обитавшее в этих местах. Для соседней с Московской Владимирской области о мерянском населении можно с уверенностью говорить только по отношению к местности, находившейся к северу от р. Клязьмы (Décsy, S. 148). В южной части области в районе г. Мурома жила в прошлом мурома, видимо, одно из древнемордовских племен. Как далеко к югу простирались земли мери и где они граничили с этнической территорией муромы, на основании имеющихся данных определить точно нельзя. Исходя из названия р. Вёкса, имеющегося в южной части Вологодской области и встречающегося также в Ярославской и Костромской, местах несомненного обитания мери, можно считать возможным присутствие мери также в части прилегающих с севера к современным Ярославской и Костромской областям районов Вологодской области. Более проблематично обитание мери в граничащих на западе с нынешней Костромской областью районах современных Кировской и Горьковской [с 1990 г. — Нижегородской. — *Прим. ред.*] областей. Основываясь на данных современной этнографии, а также свидетельствах топонимов, следов прошлых обитателей земель, смежных с бывшими мерянскими, можно считать, что соседями мери до переселения в ее область восточных славян были в основном финно-угорские племена. С юго-востока и востока соседями мери были марийцы. На северо-востоке с ними могли граничить коми, в то время сильно продвинувшиеся на запад. С севера, северо-запада и востока мерянские земли соприкасались с областью прибалтийско-финских племен, очевидно, в основном вепсов, которые на северо-востоке, как часто вообще прибалтийские финны, именовались чудью. Не исключено, однако, что в какой-то своей части эта т. наз. заволоцкая чудь включала и другие этнические элементы, кроме прибалтийско-финских[29], в частности и близкие мере, которые не давали эту часть чуди отождествлять с вепсами в этническом, а, возможно, и языковом отношении. На юге соседями мери были мордовские племена — мурома, мещера, мокша и, может быть, в какой-то степени эрзя. Только на западе и юго-западе меря соприкасалась с нефинно-угорскими (индоевропейскими), балтийскими племенами, главным образом голядью, на земли которых, как и на земли вепсов, проникли позже славяне, начавшие затем переселяться на мерянскую территорию. До своего переселения на засвидетельствованную историей территорию меря (точнее, протомеря), как показывает анализ ее языка (о чем ниже), очевидно, еще на финно-угорской прародине непосредственно контактировала с праугорскими племенами, в том числе предками обских угров и протовенграми. Не исключено, что в тот же период протомеря могла контактировать и с территориально близкими к праугорским племенам предками саамов. Таким образом, в своем прошлом меря, а точнее ее языковые финно-угорские предки, относясь к праокским (финско-мордовско-марийско-пермским) племенам и тяготея в основном к прибалтийско-волжской их группе, где занимала как бы промежуточное место, в то же время в силу длительных контактов в какой-то степени сблизилась и с восточной ветвью финно-угров, прауграми. В даль-

[29] Ср.: «Топонимика... свидетельствует о принадлежности заволоцкой чуди к прибалтийско-финской группе, с языковыми отличиями от карел, а отчасти и от вепсов, хотя последние несомненно входили частично в эти края» (Попов, с. 71–72).

нейшем, переселившись на свою засвидетельствованную историей этническую территорию и застав здесь индоевропейцев «фатьяновцев», меря их постепенно вытеснила, а частично ассимилировала, став преемником местного индоевропейского субстрата. Позже, как и все финно-угорские народы Поволжья, меря испытала известное воздействие со стороны тюркоязычных булгар. Последним наиболее сильным воздействием было языковое влияние со стороны восточных славян, вызвавшее постепенную славянизацию мери и частично отраженное в остатках мерянского языка, сохраненных русскими народными говорами на постмерянской территории.

Все эти многообразные генетические и контактные связи мерянского языка в настоящее время могут быть прослежены только с помощью единственного пока источника его изучения — различных субстратных мерянских включений в русском языке (в его апеллятивах и ономастике). Время проникновения этих включений в русский язык занимает несколько веков, от IX–X вв., когда восточные славяне впервые соприкоснулись с мерей, до начала XVIII в., когда мерянский язык предположительно перестал существовать и вследствие этого прекратился приток в русский язык новых мерянских слов. Период контактов славяно-русского языка с мерянским, таким образом, охватывает около 9–10 веков. Уже ввиду того, что за это время как славяно-русский, так и мерянский языки должны были претерпеть ряд изменений, возникает вопрос о периодизации истории мерянского языка, которая для большей полноты и точности должна включить — в основном — доисторический период, предшествующий началу мерянско-восточнославянских контактов, и, условно говоря, послеисторический, важный вследствие того, что пока преимущественно только путем его свидетельств, сохраненных в русском остатков мерянского языка, исследователь получает возможность судить о его истории. Вопрос о периодизации мерянского языка важен не только в связи с возможными изменениями в его внутренней истории, т.е. в изменении самого мерянского языка, его структуры, а и в связи с его внешней историей, заключавшейся в изменениях в функционировании языка, его социолингвистической ситуации. Располагая в настоящее время только ограниченной суммой фактов и критериев внутренней истории мерянского языка, его исследователь при решении вопроса о периодизации его развития (конструктивного и деструктивного) (Ткаченко, 1975, с. 158–175) вынужден исходить в основном из данных внешней истории. Так как подробная периодизация мерянского языка может быть осуществлена только на основе конкретных языковых фактов, которые будут изложены далее, здесь можно наметить главные ее ориентиры. Историю мерянского языка на основании того немногого, что известно об истории народа, его носителя, в связи с историей других родственных и неродственных ему народов, можно разделить на три большие эпохи:

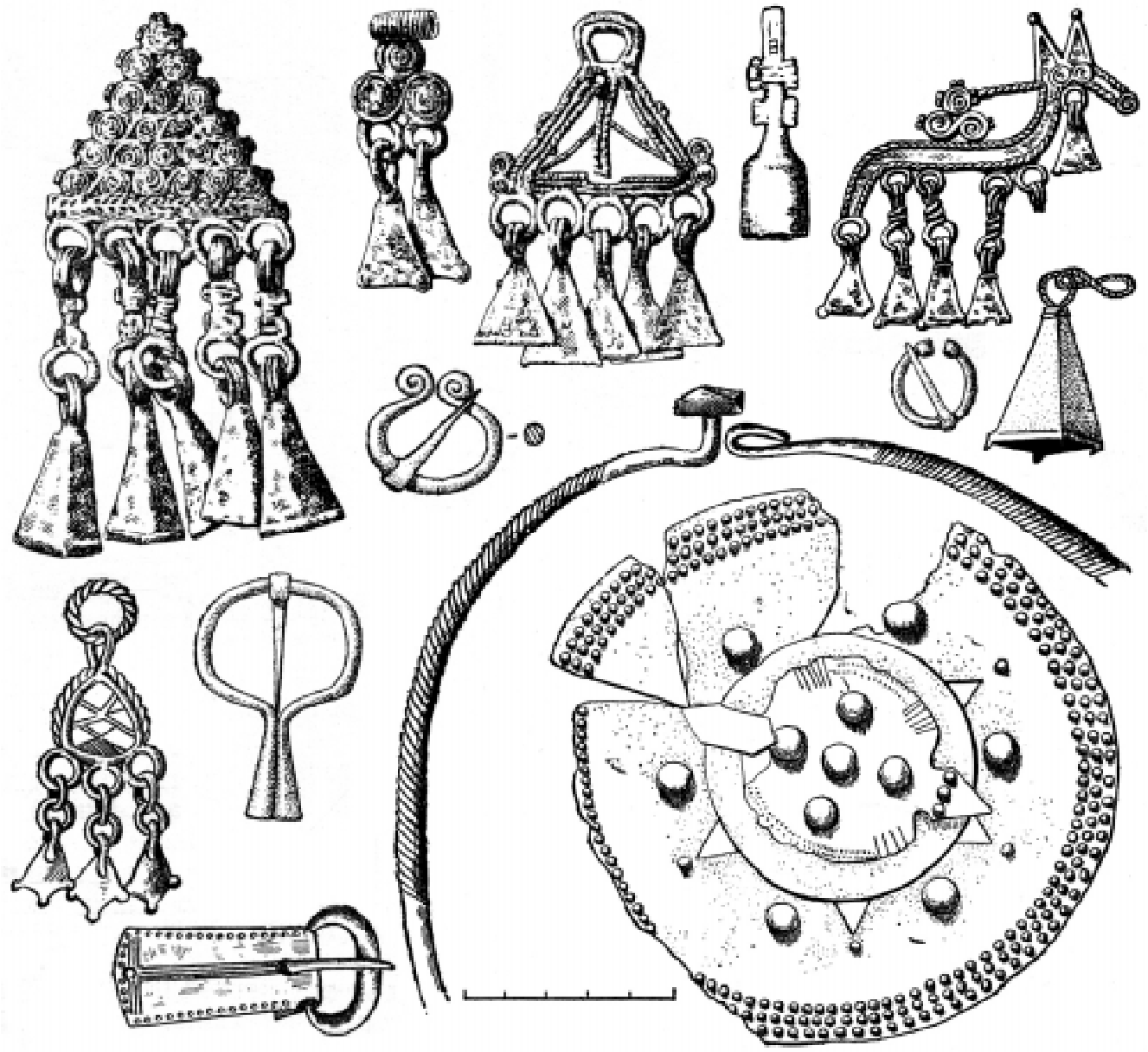
1) протомерянскую, время от первых проявлений лингвистического своеобразия протомерянского идиома еще в рамках финно-угорской языковой общности до первых предпосылок его преобразования в отдельный финно-угорский язык ввиду поселения мери на своей исторически засвидетельствованной территории (около 7–6 тыс. до н.э. до конца 2 тыс. до н.э.);

2) (собственно) мерянскую (от 1 тыс. до н.э. до 1730/50 г.);

3) постмерянскую (от 1730/50 г. до настоящего и позднейшего времени). Хронологические рубежи первой эпохи образует время от распада финно-угорского праязыка на прафинно-пермскую и угорскую ветви (и предшествующее ему тысячелетие) до времени поселения мери на своей исторической территории. Хронологические границы второй эпохи образует время от появления мерянского языка до его окончательного угасания, связанного со смертью последних носителей. Третья (постмерянская) эпоха связана со временем после окончательного выхода из употребления мерянского языка, когда он продолжает сохраняться только в виде своих субстратных пережитков в составе русского как языка-преемника. Учет последней эпохи необходим прежде всего потому, что пока только на основе ее данных

наука имеет возможность говорить о всех предыдущих эпохах истории мерянского языка. Исходя из сугубо исторических данных, можно также разделить (собственно) мерянскую эпоху на два более мелкие подразделения – древнемерянскую и новомерянскую пору. Первая из них охватывает период от 1 тыс. до н.э. до IX в., т.е. время от поселения мери на ее исторической территории до первых контактов с восточными славянами, которые в этот период уже вступили с мерей в союзнические отношения (участие мери в походах Олега на Киев (881 г.) и Царьград (907 г.)), но еще не проникали на ее территорию. Вторая относится к периоду от X в., времени проникновения на мерянские земли первых поселенцев из восточных славян, до 1730/50 г., времени полного угасания мерянского языка, связанного со смертью последних его носителей.

В этих достаточно широких временных рамках устанавливаются более узкие – периоды, выделение которых станет возможным после рассмотрения связанных с ними социолингвистических явлений, относящихся к внешней истории языка в протомерянскую и собственно мерянскую эпохи.



Бронзовые и серебряные украшения из Сарского городища и могильника. VI-XI вв. *[22, стр. 97, 118]*

I. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ВНЕШНЕИСТОРИЧЕСКИМ ФАКТАМ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА

1. Начало протомерянской эпохи. Проблема протомеряно-(пра)угорских (протовенгерских) языковых контактов. Их социолингвистический характер (7–6 тыс. до н.э.)

На основании подавляющего большинства своих исследованных черт (фонетических, грамматических, лексических) мерянский обнаруживает себя как язык, наиболее тесно связанный генетически с прибалтийско-финскими и волжскими языками, в частности в первую очередь, видимо, с прибалтийско-финскими и мордовскими, менее тесна связь с марийским языком, хотя в ряде отношений (например, фонетическом, особенно для восточномерянских говоров) она не менее важна[30]. Эти данные, которые вряд ли смогут быть в корне опровергнуты, хотя, несомненно, возможны частичные уточнения и конкретизация, дают основание отнести мерянский к финно-пермским, а еще точнее к финским языкам (в широком понимании слова), противостоящим угорским. Однако тем самым еще не отрицается возможность особых связей этого языка с угорскими как в их совокупности, так и с отдельными из них. Есть все основания считать эти связи для мерянского языка не маргинальными или случайными, а весьма существенными, поскольку черты общности, являющиеся, видимо, следствием контактов между (прото)мерянским и языками угорской группы, распространяются не только на лексику, обозначающую наиболее важные реалии, а и на грамматику или группу тесно с ней связанных служебных слов. В самом деле, в мерянском, как и в венгерском, показателем множественного числа было *-k, – ср.: *βeń «вилы (с двумя зубьями)» (ед.ч.) – *βänək «то же» (мн.ч.): венг. ember «человек» – emberek «люди»[31], в отличие от показателя -t в наиболее близких к нему прибалтийско-финских и мордовских языках (ср. ф. ihminen «человек» – ihmiset «люди», эст. inimene «то же» – inimeset «то же», морд. Э *кудо* «дом» – *кудот* «дома» и под.) (наст. изд., с. 68, 95–97). Здесь выступает союз ра «и», встречающийся также в хантыйском, – ср.: мер. *joluś ра joluś «пусть будет и пусть будет» – хант. *эвет па пухат* «девочки и мальчики» (наст. изд., с. 85). Ввиду того что грамматическая общность и контакты в области служебных слов не могут быть результатом эпизодических и неглубоких связей, можно думать, что языковые (прото)мерянско-угорские контакты имели место весьма длительный период. Поскольку такие контакты, причем предполагавшие непосредственную близость контактировавших этносов, носителей соответствующих языков, в историческую собственно мерянскую эпоху не могли быть реализованы: меря и угры в это время находились на далеко отстоявших друг от друга территориях – их можно допустить только для начала протомерянского и соответственно праугорского периода, в то время когда протомеря и праугры оставались еще в пределах финно-угорской прародины (или во всяком случае в непосредственной близости от нее). Здесь протомеря, входя в группу финно-пермских племен, соседствовала с прауграми, что делало возможными

[30] В этом отношении не лишены интереса данные исследования лексики (68 корневых слов мерянского происхождения), которые показывают следующий процент общих лексических элементов у мерянского: 1) с прибалтийско-финскими языками – 76,5, 2) с мордовскими – 70,6, 3) с марийским – 55,9, 4) с пермскими – 51,5, 5) с саамским – 44, 6) с обско-угорскими – 44, 7) с венгерским – 41,2, 8) с самодийскими – 31% (наст. изд., с. 123).

[31] Интересно отметить, что тот же показатель множественно числа встречается и в части саамских диалектов (ср. саам. (зап.) (dievva «холм» (ед.ч.) – dievak «холмы» (мн.ч.) (Керт, с. 222), свидетельствующий о связях, существующих между саамским и венгерским языками.

их непосредственные и тесные языковые контакты. Несмотря на то что лексически мерянский наиболее близок к финским языкам, он обнаруживает следы интенсивных контактов с прауграми и в полнозначной (неслужебной) лексике. Соответствующие относительно немногочисленные лексические элементы принадлежат к важным областям материальной и духовной жизни, что определяет высокий удельный вес данных лексических элементов, их качественную значимость. Так, общим у мери с уграми является название селения (деревни, села), — ср. мер. *palə̑(-o) «деревня, село» — хант. (вост.) puγəl «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)» (СВХД, с. 381), манс. *па̄выл* «деревня; поселок; селение» (Ромбандеева, с. 85), венг. falu (< *palu) «деревня, село» (мн. ч. faluk/falvak) (< угор. (ф.-уг.?) *palγs (MSzFUE I, 180) (наст. изд., с. 123), где наиболее близки мерянский и венгерский, что, поскольку венгерская форма значительно удалилась от исходной, предполагает в случае заимствованного характера мерянского слова заимствование из протовенгерского диалекта праугорского языка. О контактах с уграми (и одно время близкими с ними пермянами) в области духовной жизни, в частности того, что касается религиозных представлений, свидетельствует семантика слова с первоначальным значением «дыхание; пар», позже «душа», не у всех финно-угров представленного той же самой, этимологически тождественной лексемой, — ср.: мер. *lil′ «душа» (наст. изд., с. 107–108), хант. (вост.) lil «жизнь; дыхание; дух, душа» (СВХД, с. 207), манс. lili «дыхание; душа» (КМРС 78), венг. lélëk «душа, дух; мужество, сердце; совесть; лицо; дыхание, жизнь, самосознание», двенг. Lele «душа» (имя венгерского вождя, — X в.), а также коми *лов* «душа, дух, жизнь», удм. *лул* «душа, дыхание, жизнь» < ф.-уг. lewle- «дыхание, дух, душа» (MSzFUE II, 397–398; КЭСКЯ 160). Важно отметить, что в остальных финно-угорских языках это слово получило другое семантическое развитие (понятие «душа» передается там другими лексемами, а в ряде языков совершенно отсутствует слово, связанное с мер. *lil′, — ср.: ф. löyly «пар (в бане)» (< ф.-уг. *lewle-) (понятие «душа» выражено заимствованным (из герм.) sielu), эст. leil «пар» («душа» — hing, meel); морд. Э *ойме*, морд. М *вайме* «душа» (очевидно, родственные эст. vaim «дух», мар. *чон* «душа» (этимологическое соответствие мер. *lil′ в волжских языках отсутствует); саам. Н liew'lâ «пар (в бане)» (MSzFUE II, 397–398). Связь в этих областях лексики с угорскими языками, причем уже в виде несомненных заимствований, отражена и в таком важном глаголе, как «умирать», — ср.: мер. *hale(-ms) «умирать» при мер. *kole(-ms) «подыхать; тяжело болеть; умирать (о животных)», *kolema «смерть; (тяжелая) болезнь», ul′ši(-ms) «(эвфем.) умирать (букв. — становиться бывшим)» (наст. изд., с. 105–106, 111–112). Глагол hale-, закрепленный в основном значении, явно связан с угорскими соответствиями, — ср.: мер. *hale- «умирать» — хант. (каз.) *хал′ты* «подохнуть» (Русская, с. 234), манс. *хӧлуӈкве* «погибнуть» (Баландин, Вахрушева, с. 137), венг. halni «умирать» при мер. *kole- «подыхать», этимологически родственным с ф. kuolla «умирать», эст. (диал.) koolma (koolen 1 л. ед.ч. наст. вр.) «то же». Последний случай меряно-угорских связей, представляющий собой несомненное заимствование, особенно интересен, так как говорит о явной престижности угорского языка в представлении протомерян. Как известно, при заимствовании слов для выражения основных понятий (при имеющихся, как правило, своих лексемах с тем же значением) по большей части заимствованное слово используется в функции синонима для передачи преимущественно эмоционально-аффективного, сниженного стилистического оттенка значения. Можно привести многочисленные примеры, — ср.: рус. *конь* (высокий стиль) — *лошадь* (как полагают, слово древнебулгарского происхождения; первоначально низкий, теперь нейтральный стиль), *пес* (высокий стиль) — *собака* (как считают, заимствованное (Фасмер, с. 702–703), сниженное, нейтральное); фр. cheval (< лат. caballus) «конь; лошадь» — rosse «кляча» (< нем. Roβ «конь») и т.п. Для того чтобы заимствованное слово могло вытеснить, причем в основной функции, свое собственное, которое стало выступать со сниженным стилистическим оттенком, не-

обходима высокая социолингвистическая престижность языка-источника в глазах носителей заимствующего языка. С другой стороны, известны случаи, когда языки, в частности близкородственные, в силу связанных с ними функций или высокого авторитета их носителей становятся источником заимствований слов высокого стиля, ср. в этом отношении роль церковнославянских заимствований в русском: *преставиться* (цсл.) – *умереть* (рус.); *млечный* – *молочный; влечь* – *волочить* и т.п. Видимо, подобным авторитетом в глазах протомерян обладали угорские языки, чем вызвано было не только заимствование слов для обозначения важных понятий, а и то обстоятельство, что они стали источником синонимов для передачи общераспространенных понятий, относящихся к лексике высокого стиля. Данные лингвистические факты не противоречат, а согласуются с показаниями археологии, обнаруживающей в мерянских памятниках материальной культуры связь с материальной культурой угров (Горюнова, с. 42–43). По мнению археологов, эти связи в какой-то степени поддерживались и позже, уже в историческую эпоху (там же). Поскольку в последнее время за конечную границу распада финно-угорского праязыка на финно-пермскую и угорскую ветви принимают 6 тыс. до н.э. (Вийтсо Т.Р. (рец.) Е.А.Хелимский... (ФУ, 1980, № 3, с. 238), период языковых контактов протомерян с прауграми можно относить только ко времени не позже 7–6 тыс. до н.э.

2. Позднейший период протомерянской и начальный период собственно мерянской эпохи. Контакты с протославянами (6 тыс. до н.э. – 5 в. н.э.)

В дальнейшем, судя по данным мерянского языка в сопоставлении с другими финно-угорскими, протомеряне вместе с представителями других финно-пермских племен вошли в соприкосновение с обитавшим в это время в области Волжско-Окского междуречья и восточнее его индоевропейским населением, представителями т. наз. «фатьяновской культуры», которые или в целом, или во всяком случае в значительной своей части являлись носителями ранней, наиболее древней стадии развития славянского языка. Этот славянский язык ввиду его чрезвычайной архаичности, отраженной в финно-пермских, в том числе мерянских, заимствованиях той поры целесообразно для краткости называть протославянским языком, представляющим собой в сущности раннюю стадию развития праславянского языка. Контакты с протославянским языком оказались наиболее длительными для мерянского языка, так как, судя по их отражению в нем, они охватывают период от начала существования финно-пермского языкового единства, т.е. 6 тыс. до н.э., до того времени, когда меряне полностью ассимилировали (мерянизировали) ту часть протославянского населения, которую они застали на занятой ими после переселения с востока исторической территории, т.е. около 5 в. н.э.[32] В соответствии с этим часть мерянских заимствований (или включений) из протославянского разделяется им со всеми финно-пермскими языками, часть представляет собой заимствования, общие у мерянского только со всеми финскими (прибалтийско- и волжско-финскими, иногда вместе с саамским) языками. Наконец, есть слова, являющиеся, по-видимому, субстратными включениями мерянского из протославянского, которые не имеют соответствий ни в одном другом финно-угорском (в том числе финском) языке. Очевидно, эти слова были включены мерянским в его лексику уже после отделения мерянского от других финских языков в начальный период собственно мерянской эпохи, т.е. примерно в промежутке времени

[32] Принять эту до некоторой степени условную дату наиболее позднего возможного сохранения протославянского языка на мерянской территории заставляют два обстоятельства: 1) при первом упоминании мери (Merens) в VI в. н.э. готский историк Иордан не называет при этом вместе с ней каких-либо славян; 2) ко времени первых контактов восточных славян с мерей (IX–X вв.) никаких славян на мерянской территории уже не оставалось. Следовательно, V в. н.э. является наиболее поздним возможным временем сохранения протославянского языка и его носителей на мерянской территории. Не исключено полностью и то, что этот язык исчез окончательно значительно раньше.

между 1 тыс. до н.э. — 5 в. н.э. Протославянской лексики, общей для мерянского с какой-то частью финских языков, например, прибалтийско-финскими, у мерянского пока не обнаружено. Возможно, если протославяне и продолжали контактировать с прибалтийскими финнами на переломе двух эр, о чем свидетельствуют хотя бы финские заимствования типа talkkuna (< протосл. *talkŭna/*tɔlkŭnɔ) «толокно» с отражениями древних сочетаний *tolt/*talt и под., в отличие от мордовцев и марийцев, контакты с которыми по языковым свидетельствам в это время прервались, то эти языковые прибалтийско-финско-славянские связи имели место на территории, обособленной от мерянской.

К наиболее древним протославянским заимствованиям у мерянского относятся слова, обозначающие число «семь» и дерево «дуб (Quercus)», которые проникли в него, по-видимому, первое в начале периода финно-пермского языкового единства, т.е. вскоре после 6 тыс. до н.э., а второе ближе к его концу, т.е. около 5–4 тыс. до н.э.[33] Предположить это необходимо в связи с тем, что первое своей формой указывает, с одной стороны, на гораздо более архаичное, чем во втором случае, состояние протославянского языка, а с другой, свидетельствует о большем единстве и взаимосвязи между финно-пермскими диалектами. Что касается второго, то оно обнаруживает как более продвинутое состояние в развитии протославянского языка, так и большую степень расхождения между своими отражениями в языках финской и пермской ветви. Следовательно, это свидетельствует о его заимствовании в тот период, когда обе ветви, финская и пермская, заметно друг от друга отдалились и были близки к распаду, хотя генетические связи между протофинским и (прото)пермским идиомами еще полностью не прерывались и финно-пермское языковое единство еще продолжало сохраняться. По мнению Б.А.Серебренникова, первое из слов, связанное с числовым понятием «семь», исходя из его структуры, следует считать заимствованием из какого-то индоевропейского языка балтийско-славянского типа (Серебренников, с. 221). Однако внимательное ознакомление именно со структурой слова позволяет его отнести с большим основанием не к славяно-балтийским, а к собственно протославянским заимствованиям. В пользу этого говорит то, что, как известно, в балтийских языках слова со значением «семь (седьмой)» сохраняют в своей структуре унаследованный еще из праиндоевропейского звук -p̲-, утраченный славянскими языками, — ср.: лит. septyni «семь», лтш. septiņi «то же», прус. septmas «седьмой» (динд. saptamaḥ < *sept$_e$mos «седьмой») — рус. *семь* (*седьмой*), укр. *сім* (*сьомий*), бел. *сем* (*сёмы*), п. siedem (siódmy), ч. sedm (sedmý), слц. sedem (siedmy), вл. sydom (sydmy), нл. sedym (sedymy), полаб. sidĕm (sidmĕ), болг. *седем* (*седми*), мак. *седум* (*седми*), схв. *седам* (*седми*), слн. sedem (sedmi), стсл. *сєдмь* (*сєдмъ*), псл. *sedmь, *sedmъ(jь). Поскольку финно-пермские заимствования, отражающие чрезвычайно архаичную, по-видимому, предшествовавшую (поздне)праславянской форму, также не обнаруживают отражения звука -p̲- (ср.: ф., иж. seitsemän, кар. seit't'šemän; вепс. śeit'šime, вод. seiṯse, эст. seitse (ген. seitsme), лив. seìš, саам. К čičča̮m, морд Э, М *сисем*, мар. *шым(ыт)*, мар Г *шӹм*, удм. *сизьым*, коми-зыр., коми-перм. *сизим*, мер. *śeŹum/*śiŹum (наст. изд., с. 73-74), есть все основания считать, что слово является заимствованием из протославянского языка. Очевидно, наиболее близка к исходной форма, приобретенная словом в финском языке, где seitsemän может отражать протосл. *setseman(*-mɔn)[34]. Эта форма могла возникнуть на основе ассимиляционных процессов из первоначальной *septeman(-ɔn) «(букв.) седьмое» (> *setteman

[33] Принятие этой сугубо ориентировочной даты вытекает из того, что в 3 тыс. до н.э. предки прибалтийских финнов вышли уже к Балтике, т.е. оторвались от волжских финнов.

[34] Реконструкция исходной финно-пермской формы śeŋćemä (Редеи, Эрдеи, с. 433) может предполагать в качестве исходной протославянской праформу *semtsema, если не считать -n̲ новообразованием финского, а, напротив, отражением протославянского архаизма, что соответствует общей архаичности финского, в том числе в передаче древних заимствований. Дальнейший ход развития слова и при принятии данной праформы в основном должен был совпасть с предложенным для праформы *setseman.

> *setseman) и должна была в дальнейшем развитии славянского языка путем стяжения двух почти одинаковых слогов и позднейшей ассимиляции (> *setman > *sedman) дать в результате действия закона открытости слогов (поздне)праславянское *sedmo «седьмое». Сохранение закрытости слога, — ср. протосл. *setseman (< *septeman < *septemon) и гр. ‘έβδομον (< *sebdomon), — говорит о том, что протославянское слово сохраняло в это время еще состояние, близкое к индоевропейскому, когда в конце слова еще были возможны согласные. Таким образом, сама форма слова подтверждает возможность его столь раннего заимствования, предполагаемого на основе абсолютной хронологии финно-угорских языков.

Более поздним в качестве заимствования является слово со значением «дуб (Quercus)». Об этом говорит как расхождение в его финских и пермских отражениях, так и то, что оно отражено уже без первоначального конечного согласного. Отражения в финских и пермских языках — ср.: ф., кар., иж., вод. tammi, эст. tamm (ген. -е), лив. täm̄ (ген. tam̄), морд. Э, М *тумо*, мар. *тумо*, мар Г *тум*, мер. *toma/ *tomə̂ (наст. изд., с. 120); коми-зыр. (дперм.) *тупу*, коми-перм. *тыпу*, удм. *тыпы* — предполагают для себя две праформы — прафинскую *tomma (Collinder, p. 155) и прапермскую *tupu, которые могли возникнуть из общепрафинно-пермской *tompa (путем прогрессивной ассимиляции для финской ветви, что дало *tomma, и регрессивной для пермской, что дало *toppa с позднейшим переходом в *tupu). Прафинно-пермское *tompa, исходя из того, что первоначально финно-угорским языкам были абсолютно чужды (за исключением сонорных) какие-либо звонкие согласные и также не свойственны им носовые гласные, должно было отражать протославянское *dǫba (*dǫbɔ) < *dumbos «дуб». Отсутствие первоначально свойственного слову конечного согласного, вполне возможного в финно-пермских языках (ср. ф. kalastus «рыболовство», коми-зыр. *ломтас* «топливо»), говорит о том, что оно было заимствовано в период, когда уже стал действовать закон открытости слогов, следовательно, и звукосочетание -om- в прафинно-пермском отразило уже не аналогичное звукосочетание протославянского, а носовой гласный -ǫ-. Однако отпадение конечного согласного произошло, видимо, незадолго до заимствования. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что конечный гласный в этот период, судя по наиболее архаичному и близкому к исходной форме прафинскому отражению, еще сохранял свое первоначальное качество, а не перешел в позднейшее -ŭ, давшее в конечном счете (поздне)праславянское -ъ.

К еще более позднему периоду, так как соответствующее заимствование проникло только в финские языки, относится протославянское слово со значением «озеро» — ср.: ф., кар., иж. järvi, вепс. jäŕv, вод. jarvi, эст. järv (ген. -е), лив. jā̆ra, jǭra, саам. Н jaw’re, саам. И jäɯ̄ri, морд Э *эрьке*, морд М *эрьхке*, jɛŕḱe (где -*ке*/-ke суффикс уменьшительности), мар. *ер,* мар Г *йäр*, мер. *jähre (наст. изд., с. 67, 121) — которое на основе закономерностей исторических переходов, связывающих финские языки (см.: Лыткин, 1974, с. 129–130, 135–137; наст. изд., с. 121; Аристэ, с. 294), дает исходную праформу *jäγera(-ä) как отражение протосл. *jäγ́era(-ɔ) «озеро». Форма *jäγ́era(-ɔ) вместо предполагаемого исходного *jäγ́eran(-ɔn), — ср. прус. assaran «озеро», — говорит своей структурой о том, что она была заимствована в период, когда уже отпало конечное *-n и, следовательно, действовал закон открытых слогов, однако в этот период в славянском еще не произошел переход *-γ́- (< *-ĝh-) в -z-, результатом которого было появление (поздне)праславянской формы *ezero «озеро».

Слова *dǫba(-ɔ) и *jäγ́era(-ɔ) представляют собой, вне всякого сомнения, заимствования из протославянского языка, поскольку первое из них, хотя и возникло на индоевропейской основе, является сугубо славянским новообразованием (ЭССЯ, вып. 5, с. 95–97) и, помимо того, оба они отражают формы, возникшие вследствие действия именно славянского фонетического закона открытости слогов.

К сугубо мерянским относятся факты включения слов *cölə̂ «цел(ый), здоров(ый)» (наст. изд., с. 113) и *βeń (мн.ч. *βänək) «двурогие вилы», реконструируемые на ос-

нове рус. (диал., постмер.) *Цолонда!* «Здравствуй, хозяин!» (< мер. *Cölə̑, (a)nDə(ßa)! «Здоров(ый) (цел(ый)) (будь), кормящий!») и *бяньки* (*бени, бини, венечки*) «двурогие (главным образом деревянные) вилы», которые являются отражением протославянских *c′ölŭ (-ъ) «целый, здоровый» и *dväni «двойни; предмет, включающий две части; состоящий из двух частей». Оба слова отражают еще более продвинутый по сравнению с предыдущими заимствованиями этап развития протославянского языка, о чем, в частности, говорит переход k̲ > c̲′ (*c′ölŭ/ъ) (< *kɔilŭ < *kailo(-u)-s) «целый», однако такая черта, как неполностью завершившееся слияние предыдущих рефлексов в едином псл. -ě̲-, свидетельствует о состоянии, хотя и близком к (позднепраславянскому, но предшествующем ему. Оба слова имеют параллели в современных славянских языках, предполагающие их праславянское происхождение, — ср. для *c′ölŭ(-ъ) рус. *цел(ый)*, укр. *ціли́й*, бел. *цэлы*, п. cały, ч., слц. celý, вл. cyły, нл. ceły, болг. *цял*, мак. *цел*, схв. *цео*, слн. cel, стел. цѣлъ; для dväni — болг. (ст.) *двенки* «двое, две» (< псл. *d(ъ)vĕnъky), а также внеславянские индоевропейские параллели лит. dvynù «близнецы», дсакс. twēne «двое», лат. bīnī (< *dṷis-no-) «двукратный», свидетельствующие сходством корневой и суффиксальной части об архаичном праславянском происхождении болгарского слова.

При своем небольшом количестве рассмотренные слова, особенно наиболее древние из них, представляют значительный интерес, говоря с несомненностью о большой временной глубине славяно-финно-угорских, в том числе и славяно-протомерянских, контактов. Приведенные факты, свидетельствуя о большой древности и протяженности контактов западной части финно-угорских народов, их финно-пермской ветви, с протославянами (с 6 тыс. до н.э. до 5 в. н.э.), об очень раннем начале их взаимосвязей, ставят в то же время перед вопросом о территории, на которой они могли иметь место. Для полного решения этого вопроса необходимы усилия всех представителей гуманитарных наук, прежде всего историков и археологов. На основании одних лингвистических данных ответить на этот вопрос с надлежащей полнотой невозможно. Тем не менее даже одни лингвистические данные говорят о том, что, поскольку в начале этих контактов приняли участие как будущие финны, так и пермяне, территория, занятая славянами в это время, простиралась значительно дальше к востоку, чем это предполагалось для всех допускавшихся до сих пор славянских прародин. Именно славяне, а не балты должны были быть после индоиранцев первым индоевропейским народом, с которым столкнулись финно-пермские племена при их движении на запад. Об этом говорят древние славянизмы пермских языков, где одновременно полностью отсутствуют заимствования из балтийских языков. Очевидно, дальнейшие исследования приведут к новым открытиям следов древних славяно-финно-пермских контактов. Однако больше связей с протославянским обнаруживается у финских языков. Скорее всего это объясняется тем, что при своем движении с востока финно-пермские племена оттеснили славян к западу. Поэтому для пермян, оставшихся на востоке, связи с древними славянами прекратились значительно раньше, чем для финнов, в том числе и протомерян, продолжавших продвигаться на запад. Особенно долго связь с этими славянами сохранялась у мерян, так как они поселились на территории, где продолжало оставаться славянское население, постепенно в течение ряда веков ассимилированное мерянским. Не исключено, что западнее этой территории, на землях, где также имелось протославянское население, жили, до своего переселения к Балтийскому морю и установления связей с балтами, предки прибалтийских финнов, которые вступали в контакт с местным населением, чем объясняется довольно большое количество древних славянских заимствований в прибалтийско-финских языках (Kiparsky, S. 75–84) при их почти полном отсутствии (за исключением рассмотренных) в мордовских и марийском.

У славян, как показывают древнейшие заимствования финно-пермских языков, финны, в том числе протомеря (частично с пермянами), заимствовали одно из числительных первого десятка, что могло быть связано с, возможно, большей развитостью

счета у славян, либо тех отраслей, например торговли, где счет был необходим. Таким образом, протославянское числительное или заполнило пустую клеточку в складывавшейся системе финно-пермских числительных, или вытеснило употреблявшееся перед этим в той же функции финно-пермское слово. Заимствование слова со значением «дуб» было, по-видимому, связано с тем, что на своей прародине, расположенной по обеим сторонам Уральского хребта и в Западной Сибири, финно-угры не встречали этого дерева (ср. венг. tölgy «дуб», слово, как полагают, древнеосетинского происхождения, — MNTESz III, 1. 959–960). Несколько сложнее обстоит с заимствованием слова со значением «озеро». Поскольку во всех, не только финно-угорских, а и уральских языках, кроме финских, представлено общеуральское слово с этим значением (ср.: манс. tō, хант С təw, венг. tó (акк. ед.ч. — tavat), коми-зыр., коми-перм., удм. *ты*, нен. tō, эн. to, нган. túrku, сельк. tu, кам. tʻu, матор. toa, тайг. to «озеро»), трудно себе представить, чтобы речь шла о заимствовании слова для обозначения неизвестного ранее понятия (напомним, что прародина финно-угров располагалась в местности, богатой озерами и реками). Скорее всего собственное слово было вытеснено протославянским заимствованием, которое могло войти в прафинский вначале как синоним собственного слова и только позже заменило его, видимо, вследствие каких-то внутриструктурных причин (например, ввиду создававшей неудобства омонимичности с какими-то другими лексемами). Как бы то ни было, для подобного заимствования были необходимы тесные связи с протославянским населением, возможно, субстратного типа. Похоже, что такими они и были у мери и протославян. Заимствование со значением «двурогие вилы» говорит о том, что меря училась у протославян оседлому скотоводству и связанной с ним заготовке кормов, а также земледелию, поскольку заимствованное слово является обозначением предназначенного для этого сельскохозяйственного орудия. Заимствование слова «здоровый, целый» в составе фразеологического оборота *Cölə̑, anDə̑ßa! «Здоров (будь), кормящий (⩾ хозяин)!» свидетельствует о влиянии протославян на мерю и в области духовной культуры, даже в таких ее тонких и сложных проявлениях, как речевой этикет. Это предполагает длительность контактов, а также хорошее знание, во всяком случае частью мерянского населения, протославянского языка. Однако, очевидно, преобладающим, а затем и единственным типом двуязычия на мерянских землях со смешанным меряно-протославянским населением стало не меряно-славянское, а славяно-мерянское двуязычие, которое завершилось полным переходом протославян на мерянский язык. О том, что было именно так, говорят явные протославизмы мерянского языка, отсутствующие во всех других финно-угорских (в том числе и финских) языках, которые, с одной стороны, обнаруживают свой явно (прото)славянский характер, с другой же, хранят следы приспособления данных слов к особенностям финской, прежде всего мерянской, фонетики (типично мерянский звук *β̲, устранение сочетания двух согласных в начале слова, согласно требованиям финской фонетики (*d̲v- > *β̲-); типично мерянский переход *-ä̲- > *-e̲- в новом закрытом слоге (*βänək > *βeń) и т.п.). Тот факт, что к появлению новых групп славян на мерянской территории, именно восточных, которое произошло на рубеже X–XI вв., там уже не было никакого славянского населения, говорит о том, что протославяне к этому времени были давно ассимилированы мерей. Следовательно, указанные протославизмы мерянского языка имеют характер субстратных элементов. Не исключено, что, кроме лексического, протославянский субстрат мог оказать на мерянский язык и какие-либо другие влияния, например, фонетическое (отсутствие, по всей видимости, сингармонизма, — наст. изд., с. 138) или синтаксическое (развитие связки в настоящем времени, — ср. мер. *Śi joń juk «это (есть) река» при венг. Ez ház «это — дом», морд Э *Те минек пирезь* «это — наш сад», — наст. изд., с. 86–87). Таким образом, есть все основания считать, что полный переход протославян на мерянский язык занял большой промежуток времени, скорее всего несколько веков, оставив заметные следы

в мерянском языке, различимые даже в небольшом количестве его восстановимой лексики (около 100 слов, в том числе 68 корневых). Гораздо сложнее, чем конкретный характер протославянского влияния, особенно лексического, объяснить причину несомненной ассимиляции протославян мерей, тем более что этот процесс, в отличие от позднейшего противоположного процесса славянизации мери, гораздо хуже отражен имеющимися в распоряжении науки фактами. Судить об этом можно только с помощью единичных сохранившихся протославянских субстратных включений мерянского языка, а также заимствований других финно-пермских языков. Возможно, это было предопределено тем, что на начальном этапе финно-пермско-славянских контактов финно-пермские племена имели определенные, в частности, милитарные преимущества по сравнению со славянами[35], вытекавшие из предыдущих связей финно-угров с иранскими племенами. Эти преимущества могли способствовать тому, что финно-пермским, а позднее финским племенам удалось оттеснить основную массу протославян далеко на запад, и в области Волго-Окского междуречья, занятого протомерей, образовался поэтому значительный количественный перевес мери по отношению к протославянскому населению. Кроме того, протославяне на мерянских землях, ввиду передвижений балтийцев, могли оказаться отрезанными от своей основной массы, ушедшей на запад, а мерянское население могло увеличиваться как за счет переселявшихся на его земли и мерянизировавшихся финно-угров, так и за счет ассимиляции славян. К тому же в этот период, когда мерянские земли были почти со всех сторон окружены землями других родственных финно-угорских племен, мерянский язык мог служить удобным средством общения и с ними, чем в это время уже не мог быть протославянский язык. На западе в той же роли выступал балтийский язык. Эта все более усиливавшаяся изоляция протославянского языка, связанная с постепенным уменьшением количества его носителей, и привела, в конце концов, к тому, что с течением времени все протославянское население было полностью мерянизировано задолго до того, как на тогда уже полностью мерянские в этно-языковом отношении земли началось переселение древнерусских племен. Однако ввиду того, что в целом ряде отношений протославяне не только не уступали мерянам, а частично даже превосходили их (например, в экономике, развитии земледелия и скотоводства, чему меря могла учиться у протославян), при неблагоприятности обстоятельств, в которых оказались протославяне и которые обусловили их ассимиляцию, она протекала чрезвычайно медленно и могла затянуться на целые столетия (возможно даже от 1 тыс. до н.э. — до 5 в. н.э.).

3. Некоторые из других этно-языковых контактов (прото) мери того же и более позднего периода. Связи с булгарами

Более кратковременными и эпизодичными были связи (прото)мери с другими народами Поволжья, с которыми она столкнулась при своем движении на запад, сперва в составе других финских племен, а затем как самостоятельный этнос. О некоторых из них пока можно делать только предположения, не подтвержденные конкретным лингвистическим материалом, основой историко-социолингвистического комментария. По мнению археологов, связи мери с угорскими племенами не прерывались и в исторический период. Возможно, своими истоками к этому же времени восходят и более тесные, чем прежде, связи с предками прибалтийских финнов, особенно усилившиеся в позднейшие периоды, близкие к собственно мерянской эпохе. Однако при бедности реконструированного мерянского материала, который имеется в настоящее время в руках исследователя, и при том, что речь

[35] Последнее предположение подтверждается результатами археологических исследований, — ср.: «Фатьяновцы, отрезанные от медных рудных источников (Вятско-Ветлужских и Средневолжских) приуральско-камскими племенами, не могли долго противодействовать натиску прекрасно вооруженных металлическим оружием противников и были ими частично уничтожены, покорены и ассимилированы» (Крайнев, с. 271).

идет о контактах с родственными языками, требующими особенно тщательного анализа ввиду близости (иногда тождественности) соответствующих лингвистических явлений, фактов генетически близких языков, в настоящее время нет еще возможности ответить на вопрос о конкретном характере этих контактов, которые, несомненно, имелись.

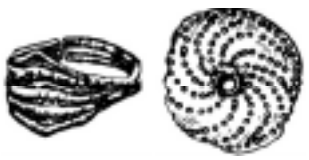
Из языковых взаимосвязей того же периода, что и контакты с протославянами, бесспорно устанавливается только влияние булгарского языка. Соответствующих фактов немного, но они важны и интересны в связи с тем, что указывают на важную роль булгар в развитии материальной культуры мери как части финских племен и как самостоятельного финно-угорского этноса.

В мерянском, прибалтийско-финских и мордовских языках выступает слово со значением «корова» (в мерянском и прибалтийско-финских языках) и «лошадь» (в мордовских), — ср.: мер. *lejma (<*leŽ′mä < *lešmä) «корова» (наст. изд., с. 39), ф., кар., иж., вод. lehmä, вепс. l′ehm, эст. lehm, лив. ni̯em, ni̯emə̑ «то же»; морд Э *лишме* «лошадь», морд М *лишме* «конь» (только о красивом или игрушечном коне) < ф.-мер.-морд. lešmä. Очевидно, в основе слова лежит сложное слово булгаро-финского происхождения, образованное из булг. *laša (ср. чув. *лаша*) «лошадь» (Егоров, с. 126) + ф. (< урал.) *emä «мать; самка» (ОФУЯ 1 1974, с. 402), что под влиянием сингармонизма, действовавшего, по-видимому, в прафинском идиоме-предке данных языков, должно было дать впоследствии *läšäemä «(букв.) лошадь-мать, лошадь-самка, т.е. кобыла», а позднее в результате стяжения, связанного с деэтимологизацией и фонетической перестройкой слова, дало праформу *lešmä, лежащую в основе всех приведенных выше слов (наст. изд., с. 121). Такова история формального развития слова. Что касается его семантического развития, то его наиболее логично представить себе следующим образом. У булгар, которые, как все тюркские народы, доили кобыл и употребляли в пищу кобылье молоко, предки мери, прибалтийских финнов и мордовцев усвоили тот же способ использования лошадей-самок как дойных животных. Именно в связи с этим используемые для доения кобылы получили у этой части финских племен название, заимствованное у булгар (у остальных тюрков название лошади имеет форму *alaša, с сохранением начального а-), хотя и усложненное уточняющим компонентом финно-угорского происхождения *emä «самка; мать». Впоследствии, когда прибалтийские финны и меря переселились на запад и стали, по-видимому, не без влияния протославян, а, может быть, частично и балтов, использовать все больше, а затем исключительно в функции крупного дойного скота коров, название *lešmä (> мер. *lejma, ф. lehmä) стало обозначать сперва крупное дойное животное вообще, а затем было перенесено на коров, используемых в той же функции, что и первоначально кобылы. Что касается мордовских племен, то у них для обозначения коров стали использоваться другие слова (ср. морд Э *скал* «корова», морд М *тракс* «то же»), а слово *lešmä (> морд Э, М *лишме*) стало обозначать не кобылу, а лошадь вообще (независимо от ее пола). Рассмотренное слово интересно тем, что оно говорит о периоде, когда из финского единства выделились, с одной стороны, марийцы, а, с другой, прибалтийские финны, меря и мордовцы[36]. Как показывает оно, в этот период предки всех этих будущих народов находились в довольно оживленных экономических отношениях с булгарами, в том числе учась у них ведению такой важной отрасли хозяйства, как молочное скотоводство.

[36] К более позднему периоду, очевидно, связанному с началом собственно мерянской эпохи, а возможно, с периодом, непосредственно к нему примыкающим, относятся некоторые грамматические черты, отдаляющие мерянский от волжско-финских языков, в частности мордовских, и сближающие его с прибалтийско-финскими (особенности склонения, — наст. изд., с. 66–70; спряжение глагола *jolə — «быть», — там же, с. 77–80). Более точному определению времени выработки этих общих черт мешает менее четкий, чем в лексике, характер грамматических взаимосвязей. Уже только к собственно мерянской эпохе (видимо, ее началу) относится формирование таких сугубо мерянских черт, как (в фонетике) переход а > о, о > u, е > i, ä > е в новом закрытом слоге (наст. изд., с. 96) или возникновение вариантов глагола *jolə — «быть» (*jol-; *ul-) (там же, с. 79–80).

О связи непосредственно мери с булгарами свидетельствует другое слово, известное в подобной форме и с подобным значением только мерянскому языку, а именно мер. *páhča «овощи (свекла, брюква, огурцы)» (наст. изд., с. 110) (< булг. *paxčá, – ср. чув. *пахчá* «огород; сад» < перс. baγčä «то же»). В данном случае заимствование свидетельствует о том, что у булгар меря училась огородничеству, культура которого, в свою очередь, была заимствована булгарами у персов. Следовательно, на мерю, как и на другие финно-угорские народы Поволжья, булгары повлияли и как непосредственные носители определенной достаточно высоко развитой (например, в области скотоводства) материальной культуры и как передатчики других культурных влияний, в частности идущего по Каспию и вверх по Волге влияния фарсиязычного Ирана.

Если первое заимствование наиболее точно (пока только в масштабе относительной хронологии) следует связывать с периодом выделения прибалтийских финнов, мери и мордовцев из финской общности, который предшествовал собственно мерянской эпохе, то второе относится уже непосредственно к собственно мерянской эпохе, причем ко времени, предшествовавшему проникновению на мерянскую территорию восточных славян. В этот период, поскольку влиянию Булгарского государства на народы Поволжья не противодействовала Киевская Русь, боровшаяся, как известно, с булгарами за Волгу, по которой осуществлялась связь с персидскими и арабскими землями, контакты мерян с булгарами имели гораздо более непосредственный и оживленный характер, чем это стало возможно позднее. Следует думать поэтому, что заимствование могло произойти скорее всего не позже VIII–IX вв. На это во всяком случае указывают внешне(социо)лингвистические обстоятельства.



Металлические украшения VI–XI вв. из Сарского городища. *[22, стр. 97]*

4. Начало собственно мерянской эпохи. Связи с балтами. Их характер (1 тыс. до н.э. – VI–VII вв. н.э.)

Развитие мерянского языка в начале собственно мерянской эпохи, кроме собственных внутренних тенденций, обусловливалось воздействием индоевропейского протославянского субстрата, а также влиянием смежных с мерянским языков. В большинстве случаев это были финно-угорские языки или диалекты – прибалтийско-финские (вепсский), пермские (коми), марийский, мордовские (эрзя, мокша, муромский, мещерский), влияние которых вследствие малой изученности проблемы, усугубляемой сложностью установления их взаимоотношений, вызванной генетической близостью, в настоящее время не поддается выяснению. Только с одной стороны, не принимая во внимание контактов с протославянским языком, носители которого еще проживали на мерянской территории, мерянский граничил с индоевропейскими языками (или диалектами). Это были балтийские языки, прежде всего язык голяди, тогда еще не вытесненные восточнославянскими племенными идиомами вятичей и кривичей, впоследствии вошедшими в контакт с мерянским, сперва на его границе, а затем на самой мерянской языковой территории. Балтийские элементы в мерянском, поскольку они относятся к индоевропейским, неродственным мерянским, значительно проще выделяются на фоне мерянских, финно-угорских, прежде всего лексических элементов. Это позволяет с большей определенностью, чем это относится к финно-угорским языкам, говорить о характере взаимоотношений между мерей и балтами. Слабая изученность древнебалтийских языков и диалектов этого периода, правда, лишает возможности связывать их с конкретными балтийскими идиомами, относя их пока суммарно к балтийским языкам в целом. О том, что данные балтийские элементы, несмотря на то, что в настоящее время они извлекаются из разнообразных видов русского языка, вошли в них непосредственно из мерянского, помимо того, что они зафик-

сированы или сформировались в русском языке Центральной России, на бывшей мерянской территории, в еще большей степени свидетельствует то, что они преимущественно обнаруживают на себе следы влияния мерянской фонетики или заимствованы из балтийских языков там, где в настоящее время русский язык не имеет с ними контактов, но мог иметь мерянский, смененный впоследствии славяно-русским. К числу таких балтийских элементов, вошедших в русские локо- или социолекты непосредственно из мерянского, относятся прежде всего слова, обозначающие явления материальной культуры, заимствованные из балтийских языков, возможно, частично посредством прибалтийско-финских языков. Сюда относится мер. *kirβäs «топор» (угличское арго *кирбяс* «то же»), где уже наличие характерного для мерянского звука -β- вместо балтийского и прибалтийско-финского v (ср. лит. kirvis «топор», ф. kirves «то же»), наряду с фиксацией слова на постмерянской территории, говорит о включении слова в русское арго из мерянского языка, в частности, из его западных говоров (наст. изд., с. 101).

Торговые связи мери с балтами, при которых она приобретала у них необходимые ей вещи, иногда с их названиями, были весьма оживленными, причем в качестве средства общения использовался балтийский язык; об этом свидетельствует мер. *kolBə̂- «говорить; разговаривать» (рус. (арг. угл.) *колбать* «то же»), явно связанное с лит. kalba «язык; речь», kalbėti «разговаривать» (наст. изд., с. 105). О прохождении слова через мерянскую среду, помимо прочих обстоятельств, говорит характерный во многих случаях для мерянского переход a > o. По-видимому, балтийский язык использовался мерей (и не только ею, а также прибалтийскими финнами) при общении с балтами, что заставляет предположить определенный его авторитет у финнов, очевидно, приобретенный им благодаря известному перевесу балтийских племен, прежде всего в области культуры. Объяснялось это, конечно, не каким-то извечным национальным превосходством балтов, а их более западным и южным расположением, что позволило им раньше, чем финнам, войти в соприкосновение с наиболее тогда развитой культурой европейских народов Средиземноморья — греков, римлян и связанных с ними народов Западной Европы. Как передатчики этой культуры балты имели в глазах финнов несомненный авторитет, что вынуждало преимущественно не балтов пользоваться одним из финских языков, а, наоборот, финнов прибегать к балтийскому. Это влияние нашло свое наиболее значительное отражение в прибалтийско-финских языках, отличающихся особым обилием балтизмов, однако не могло не затронуть и мерянский язык. Мер. *kolβə̂- «говорить» типологически сопоставимо с венг. beszélni (< *beszédni) «разговорить (< беседовать)», словом славянского происхождения, указывающим на то, что венгры при общении с окружающими их славянами пользовались славянским языком (подобно тому, как меря при общении с балтами пользовалась балтийским).

5. Дальнейшие периоды (собственно) мерянской эпохи. Начало контактов с восточными славянами. Обстоятельства христианизации мери (X–XII вв.)

С новомерянской поры собственно мерянской эпохи, когда меря вошла в постоянный и все усиливающийся контакт с восточными славянами (т.е. с X в.), от мерянского и о мерянском сохранилось больше сведений, чем от предыдущих периодов, представленных в самом русском (диалектном) языке и связанных с ним пережиточных явлениях материальной и духовной культуры постмерянских областей Центральной России. Объясняется это тем, что, хотя сведения эти в основном извлекаются из мерянского наследия русского (диалектного) языка постмерянского периода, новомерянская пора хронологически ближе, чем древнемерянская, тем более протомерянская эпоха. Кроме того, эту пору, представленную конкретными историческими периодами, отделяют от предшествующей важные качественные отличия — с этого времени мерянский вошел в непосредственный контакт со (славяно)русским языком, которому суждено было

стать его преемником. Ввиду этого социолингвистические явления этой поры более ясны и о них можно больше сказать.

Одно из таких важных явлений представляет собой христианизация мери и связанные с ней обстоятельства. Косвенные данные – упоминание в «Житии (епископа) св. Леонтия» (XI в.) того факта, что он, будучи греком по национальности, «рускии и мерьскии языкъ добрѣ умѣяше», т.е. хорошо владел русским и мерянским языком (Ж. св. Л., с. 11), благодаря чему, видимо, добился больших успехов в христианизации мери, а также наличие мерянского, заимствованного из греческого, христианского термина *joβlos/(>) *jols (< сгр. διάβολος), «черт, дьявол», сохраненного на постмерянской территории (Углич, Солигалич, Кинешма) (наст. изд., с 99–100), – свидетельствуют о том, что при христианизации мери использовался мерянский язык, причем богослужебная литература переводилась на него, во всяком случае, сначала непосредственно с греческого оригинала, минуя церковнославянское посредство. Вынуждало к этому то обстоятельство, что на мерянских землях при большом количестве мерянского населения, в значительной части не владевшего либо владевшего плохо славяно-русским языком, успеха в проповеди новой, христианской религии можно было достичь, только используя мерянский язык. Таким образом, хотя до сих пор подобных (возможно, не сохранившихся) памятников не обнаружено, есть все основания считать, что на мерянском языке существовали переводные памятники религиозного богослужебного характера. Ясно, что, несмотря на то что проповедь миссионеров среди мери велась, особенно вначале, преимущественно устно, проповедники христианства не могли ограничиваться только созданием устных текстов, посвященных пропаганде новой веры. При этом неизбежно было ознакомление с текстом Евангелия, Псалтыря, основных молитв, которые не могли импровизироваться, а должны были рассказываться и читаться. К тому же, поскольку при чтении на память могли неизбежно возникать нежелательные разночтения, необходимы были, хотя бы частично, фиксированные, т.е. письменные тексты. Таким образом, наиболее логично прийти к умозаключению о том, что проповедь христианства среди мери велась на мерянском языке и традиция ее была достаточно устойчивой, раз от нее даже после окончательного исчезновения мерянского как живого языка в русских постмерянских говорах остался мерянский христианский термин.

Богослужение на родном мерянском языке было одной из сторон и особенностей христианизации мери, для которой в целом была характерна мягкость методов, примененных при ее распространении, желание не столько противопоставить новую религию старой, языческой, и идти наперекор национально-этническим традициям мери, сколько, напротив, максимально опереться на них, представив христианизируемому мерянскому населению христианство как явление, связанное с его культурно-национальными и родо-племенными традициями, не противоречащее, а логически завершающее, усовершенствующее, вырастающее из них. Нужно сказать, что та же тактика применялась в значительной степени и на чисто восточнославянских землях. Пользуясь тем, что у восточных финнов-язычников, как и у славян, уже выработалось представление о верховном Боге, возглавляющем пантеон подчиненных ему языческих божеств, а также тем, что христианский монотеизм (тройственность Бога, существование многочисленных святых) был менее строг, чем иудейский и мусульманский, православная церковь как бы приближала новую религиозную систему к понятиям язычников. Функция верховного языческого Бога переносилась на Бога христианского, функции ряда особо почитаемых языческих божеств – на христианских святых, часть наиболее важных с точки зрения язычников празднеств связывалась с новыми христианскими праздниками. Менее важные моменты языческих культов или те из них, которые явно не поддавались адаптации применительно к новой вере, осуждались и объявлялись порождением дьявола, кстати, представление о котором также не противоречило миросозерцанию язычников, поскольку языческие религии в какой-то степени содержат представление о добрых и злых божествах,

доброй и злой смерти и т.п. Подобная тактика православной церкви не вытекала, конечно, из того, что новая религия всегда и во всех положениях отличалась мягкостью при обращении язычников в христианство. Во многом она объяснялась тем, что попытки не считаться с многовековыми народными традициями, навязывание новой веры силой натолкнулись на серьезное сопротивление социальных низов, справедливо усмотревших в новой вере один из способов еще большего их порабощения социальными (феодальными) верхами. Новую узду надо было надеть на народные массы, которые к ней еще не привыкли, а чтобы они ее не сбросили, необходимо было время для убеждения самих масс в том, что эта узда не только не враждебна, не чужда им, а, напротив, самым тесным образом связана со всем строем привычных им культурно-религиозных национально-этнических традиций и представлений. Этим как раз и объясняется то, что на смену жесткой политике кнута пришла более мягкая и гибкая политика пряника[37], предопределившая путь как бы врастания христианства в местные языческие традиции. Поводов для того, чтобы так поступать, к тому же в XI в., на который приходится миссионерская деятельность среди мери первого ростовского епископа св. Леонтия и его ближайших преемников (Корсаков, с. 93), вообще на землях славянских тогдашних государств и конкретно на мерянских землях Владимиро-Суздальского княжества (Ростово-Суздальской земли) было более чем достаточно. В 1037–1039 гг. в Польше произошло огромное крестьянское восстание, сопровождавшееся разгромом церквей и монастырей, уничтожением, наряду с феодалами, представителей духовенства и попыткой восстановить в своих правах языческую религию. Вспыхнувшее восстание, которое перекинулось на Западное Поморье и Полабию, было с трудом подавлено совместными усилиями польских, древнерусских, чешских и немецких феодалов.

Немногим более чем через четверть века (спустя 32 года), в 1071 г. вспыхнуло языческо-антифеодальное восстание мери на мерянских землях, возглавляемое мерянскими жрецами и также с трудом погашенное. Согласно преданию, восстание привело к переселению части мерянского населения к марийцам или мордве, куда оно бежало от христианизации и связанного с ней усиления феодального гнета. Владимиро-Суздальскому княжеству, в то время окруженному разными финно-угорскими языческими народностями, близкими по языку и культуре с мерей, в лице его феодальных верхов абсолютно невыгодно было иметь у себя в тылу многочисленное финно-угорское (мерянское) языческое население, которое в случае жесткого насаждения новой религии могло объединиться с соседними родственными народами. Напротив, была необходимость как можно скорее завоевать его для новой религии, сделать все возможное, чтобы мерянское население находилось не во враждебной оппозиции к христианству, а воспринимало его с симпатией как свою религию[38]. В связи с этим в миссионерской деятельности и в богослужении среди мери использовался родной для нее мерянский язык. Первые миссионеры христианства, стараясь приобрести своих сторонников, прежде всего среди детей и молодежи, привлекали их к себе не только проповедью, а и тем, что угощали и кормили сладостями (Корсаков, с. 88). Для того, чтобы христианство закрепилось среди мери, проповедники старались увязать его с мерянскими традициями. Отражением этого является семантическое развитие мерянского слова *kóka «старшая сестра; тетя; вообще взрослая (часто незамужняя) женщина; (новое) крестная мать» (наст. изд., с. 102–104). Видимо, у мери, как и у других финно-угров (воз-

[37] Ср.: «Святитель (св. Леонтий. — *О.Т.*) их (мерянских детей. — *О.Т.*) привлекал ласковым словом и сладкой сытой, называемой кутьей. За каждое крестное знамение, сделанное на челе своем, отрок получал от святителя ложку кутьи, а за выученную молитву сладкий медовый пряник, и чем молитва была длиннее, тем и пряник давался мальчику больше» (Титов, с. 9).

[38] Подобная линия церковной политики была всего лишь тактическим приемом. Когда позиция православия укрепилась (например, в XVIII в.), против мордовских язычников устраивались целые военные экспедиции с применением артиллерии, сопровождаемые насильственным сжиганием языческих кладбищ.

можно, как пережиток материнского права), большая роль в семье принадлежала старшей сестре, в связи с этим данное понятие имело для своего обозначения специальную лексему, отличающуюся от слова, обозначающего младшую сестру. Старшая сестра помогала родителям многодетных, как правило, семей воспитывать младших братьев и сестер, поэтому к ней относились с особым уважением. То же слово использовалось со значением «тетя», поскольку то же самое лицо становилось теткой детей младших братьев и сестер. По-видимому, православная церковь использовала эту традицию и как бы ее освятила тем, что именно *kóka (слово, очевидно, родственное мар. *кокá* «тетя» и морд Э *кака* «дитя, дитятко (< ребенок-первенец, т.е. в том числе и старшая сестра)» < ф.-уг. (диал.) *kakka «(ум.-ласк.) ребенок-первенец (преимущественно девочка)» становилась, как правило, крестной матерью своих младших братьев и сестер. Наряду с чисто языковым отражением обстоятельств христианизации мери в опоре на ее культурно-языковые традиции можно найти и другие, выходящие за пределы лингвистических, черты, свидетельствующие о том же. Так, по-видимому, совершенно не случайно на изображениях местного святого Сергия Радонежского он в большинстве случаев представлен вместе с медведем. В житиях святых, правда, нередко встречается мотив дружбы святых со зверями, птицами, иногда даже хищниками (напр., львами) (ср. изображения святого Франциска Ассизского, представленного кормящим птиц и т.д.), однако то, что святой, деятельность которого связана с территорией, в то время, кроме славян, населенной мерей, изображен именно с медведем (а не, например, с волком), станет вполне понятно, если вспомнить, что медведь (наряду с конем, змеей и уткой) был одним из наиболее почитаемых священных животных у мери, если не самым почитаемым (Горюнова, с. 139–148). Со священным медведем, убитым в единоборстве Ярославом, связывают основание Ярославля (в городе на месте этого события у слияния Волги с Которослью до сих пор известен Медвежий овраг, а на старинном гербе города изображен медведь). О длительном сохранении остатка медвежьего культа у мери, известного, по-видимому, в прошлом всем финно-уграм, но лучше всего сохранившегося у ханты и манси, свидетельствует то обстоятельство, что до сих пор на постмерянских землях наличники окон (например, в г. Галиче, одном из бывших центров мери) украшаются стилизованным изображением следа медвежьей лапы с отпечатками когтей. Медведь здесь, как и в украшениях-оберегах, которые носили мерянские женщины, должен был, видимо, как тотемный зверь, беречь от зла и тем самым приносить счастье (для этого, очевидно, считалось достаточным изображение следа его лапы). Поэтому изображение медведя рядом с христианским святым, надо полагать, не только дань представлению о всемогуществе святого, приручавшего даже диких зверей. Молящийся перед изображением святого мерянин в какой-то мере мог чувствовать себя и поклоняющимся священному животному медведю. Тем самым христианская религия становилась ему особенно близкой, так же, как и вера в христианских святых, которые способны были даже поставить себе на службу наиболее почитаемое мерянами священное животное. Следы сохранения мерянского культа медведя, унаследованного затем (велико)-русской национальной традицией Центральной России, возможно, надо искать и в образе Русского Медведя как символа России (именно Великороссии)[39]. Образ этот, связанный с чисто народной русской традицией, — поскольку официальным символом-гербом России, унаследованным ею как Третьим Римом от Рима Второго, Византии, было изображение двуглавого орла, — не совсем ясен в своих истоках (у других славян подобного символа-тотема нет), если не принять во внимание традиций мери. При учете ее он становится ясен как одно из отражений меряно-славяно-русской преемственности. О бережности отношений к мерянским национально-этническим традициям — не противоречащей сказанному выше, а подтверждающей его — свидетельствует и такая деталь из труда Е.И.Горюновой (Горюнова, с. 233–234), где сообщается, что

[39] Один из недавних отзвуков этого популярного народного символа России можно, видимо, усматривать и в Мишке олимпийском, эмблеме Московской олимпиады 1985 г.

довольно часто в местах совместных захоронений славян и мери (в случае смешанных браков) женщину-мерянку хоронили согласно мерянским традициям. О том же говорит длительное сохранение остатков культа другого священного животного мери, змеи, среди уже давно обрусевших потомков мери в Ярославской области. Е.И.Горюнова (с. 144) передает рассказ мальчика, записанный ею еще в 1947 г., который сообщил ей, что его бабушка носила на вороте рубашки вышивку, изображавшую стилизованную ползущую змейку. Все эти детали (языковые и внеязыковые), взаимодополняя друг друга, свидетельствуют о социолингвистической ситуации, характеризующейся толерантным отношением духовенства как к мерянскому языку, так и к мерянским этническим традициям, которые не только не искореняли насильственно, а, напротив, — во всяком случае, в начальный период христианизации мери, — старались использовать для мирного, безболезненного и согласующегося с культурно-языковыми традициями мери насаждения христианства. Именно этим обстоятельством и объясняется то, что мерянский язык, хотя он никогда не был и не стал официальным языком мерянских земель после проникновения туда славян, несмотря на постепенную славизацию этих земель, все же просуществовал на них свыше семи веков.

6. Меряно-(славяно-)русское двуязычие (XI в. — 1730/50 г.). Его следы и этапы развития

С постепенным расселением славян на мерянской территории, начиная даже с того момента, когда славянские поселения, сменившие балтийские, появились у ее границ, между мерянами и славянами установились регулярные контакты, экономические, социальные и культурные. Осуществляться они могли, как и всякое общение между людьми, только с помощью языка или языков. Конкретные и многообразные аспекты этих меряно-славянских (славяно-мерянских) контактов теперь, особенно когда только начинается их изучение, трудно установить, можно только попытаться наметить их основные типы, воспользовавшись теми следами, которые они оставили в современном (в основном) русском языке постмерянских областей. Судя, в частности, по тем следам, которые меряно-славянские языковые контакты оставили в ономастике, первоначально значительное число мери не владело или было плохо знакомо со славяно-русским языком[40]. В связи с этим славяне, входившие в контакты с мерей, вынуждены были в той или иной мере овладевать мерянским языком. Особенно это относилось к той части восточных славян, которая находилась у самих границ мерянской территории. Яркий пример этому дает название реки Москвы (< мер. *Moskə̑(juk) «(букв.) Конопля (т.е. коноплевая) (река)», — река, известная тем, что по ее берегам выращивали коноплю и в ней же вымачивали) (Халипов, с. 131). До большого озера (Московорецкой лужи), которое, видимо, длительное время было границей между славянскими и мерянскими поселениями и к западу от которого располагались славяне-вятичи, река получила название Коноплевка, что представляет собой точный и согласный с духом славянского языка перевод мерянского названия *Moskə̑juk (наст. изд., с. 56–57). Так перевели мерянское название реки на свой язык славяне, заставшие на ее берегах в верхнем течении мерянское население и в результате продолжительных контактов с ним и со сплошным мерянским населением, жившим к востоку от Москворецкой лужи, хорошо ус-

[40] Расположение в свое время среди мери возможных носителей протославянского языка в этом отношении ничего не могло дать мерянскому населению в смысле владения (или понимания) славянского языка вследствие двух основных причин: 1) протославянское население к моменту возникновения непосредственных меряно-восточнославянских контактов давно утратило свой язык, перейдя полностью на мерянский; 2) в последний период его сохранения оно, видимо, как это бывает при окончательной субстратизации любого языка, было сплошь двуязычным, в то время как мерянское население не знало языка славян, поскольку в этом не нуждалось. Таким образом, знание протославянского языка среди мери исчезло задолго до окончательного вытеснения протославянского языка мерянским и без того происшедшего за несколько веков до первых контактов с восточными славянами.

воившие их язык. К востоку же от Москворецкой лужи река получила название Москва (> Московь > Москва)-река. Следовательно, в этом случае славяне уже хуже владели мерянским языком, в результате чего элемент *juk как наиболее частотный был ими хорошо усвоен, что же касается первого компонента, то он был оставлен без перевода. Однако если в данном случае славянское название еще точно калькирует (точнее, полукалькирует) мерянское, давая гибридное меряно-славянское название с оставленным без перевода первым компонентом и переведенным вторым, т.е. все же в какой-то степени точно передается (с частичным калькированием) внутренняя форма, структура мерянского гидронима, то в местах, более удаленных от границ мерянской территории, уже не сохраняется даже и эта (частично калькированная) форма соответствующих мерянских топонимов. Такие по происхождению названия мерянских рек, как *Яхрен* (Вл. обл.), *Маткома* (Яр. обл.), *Андоба* (Костр. обл.), возникшие, видимо, из первоначальных *Jährenjuk «(букв.) Озера река» (наст. изд., с. 67), *Matkomajuk «(букв.) езда (путешествие) река», т.е. река, пригодная для судоходства (или удобная для связи по воде) (наст. изд., с. 47), AnDêßa-(-ê)-juk «(букв.) Кормящая река, — река как приток Костромы, кормящая ее своими водами» (наст. изд., с. 81, 90), уже не имеют второй части (компонента) «-река». Видимо, он переведен и позже отброшен, поскольку здесь славяне, уже в меньшей степени пользуясь мерянским языком, отбросили постпозитивный (переведенный) компонент «-река» как чуждый структуре славяно-русского языка. Ввиду этого слово «река», как это обычно и свойственно славянским названиям рек, если и употребляется с ними, выступает не вторым компонентом сложного слова, т.е. в постпозиции к конкретному названию (в финно-угорских языках любое определение, даже несогласованное, выступает перед определяемым), а перед названием реки, т.е. (река) *Яхрен*, (река) *Маткома*, (река) *Андоба*. Таким образом, если те славяне, которые издавна жили на границе с мерянскими землями и общались с мерей, обладали хорошим знанием обоих языков (славянского и мерянского), то уже те славяне, которые стали массово поселяться по ту сторону мерянской границы, хотя и владели в какой-то степени мерянским языком, но, по-видимому, недостаточно, в связи с чем полный перевод мерянских названий, как правило, не осуществлялся, переводились наиболее частотные и, следовательно, хорошо известные элементы мерянского языка, остальные лексические элементы названий оставлялись без перевода. В тех местах, где славянское население более длительное время общалось с мерей, лучше знало их язык и, — в результате славяно-мерянского двуязычия, — привыкло к его структуре, внутренней форме, там даже при частичном переводе эта форма сохранялась без изменений (*Москва-река*, — ср. рус. (< кар.) *Кимас-озеро* как калька кар. (фин.) Kimas-järvi). В тех районах, где большие поселения славян возникали вследствие массовых переселений без предварительных (и длительных) контактов с мерянским населением, связанных с усвоением мерянского языка, — возможно, причиной было то, что эти поселения с самого начала возникали как чисто славянские и не имели смешанного населения, — эта чисто мерянская структура топонимов не сохранялась. Иногда, впрочем, и в тех случаях, когда славянское население не владело в достаточном совершенстве мерянским языком, мерянские гидронимы могли переводиться: показателен здесь пример реки с названием Каменка, на которой находится населенный пункт *KiBol (< (мер. ст.) *KiBalo) «Каменная (букв. Камень) деревня». Безусловно, река имела свое собственное мерянское название, по-видимому, *Kijuk «Каменная (Камень) река» (Горюнова, с. 43). Однако подобные случаи не противоречат высказанному мнению о худшем знании мерянского языка славянами, селившимися в глубине мерянской территории: они знали далеко не все мерянские лексемы, а только наиболее частотные и потому известные им. Не исключено также, что, поскольку населенный пункт *KiBol, как показывает его название, был мерянским, перевод названия реки осуществлен самим мерянским населением во время его постепенного перехода на русский язык.

Объясняется это тем, что первыми восточнославянскими поселенцами на мерянской территории были, видимо, крестьяне, проникавшие небольшими группами, медленно просачивавшимися на мерянскую территорию. Это постепенное проникновение, связанное с невысоким социальным положением славянских пришельцев, вызывало то, что они, будучи окруженными мерянским большинством, не чувствуя за своей спиной поддержки или покровительства сильной княжеской власти, были в максимальной степени заинтересованы в усвоении мерянского языка и, действительно, его хорошо усваивали и умели им пользоваться. Восточные славяне как участники массовых переселений, организуемых среднерусскими феодалами, у которых они находились в той или иной зависимости, уже, во-первых, не имели возможности в той степени укорениться в мерянской среде, как первые пришельцы, а, во-вторых, больше чувствовали себя связанными с местной славяно-русской княжеской властью, чем со своими мерянскими соседями, к тому же часто отдаленными. Это становилось причиной того, что мерянский язык если и усваивался, то очень поверхностно. В лучшем случае это был примитивный «рыночный» язык, игравший чисто вспомогательную и все более второстепенную роль, особенно в меру того, как мерянское население, становясь двуязычным, все чаще и лучше стало пользоваться славяно-русским языком. По мере увеличения славянского населения на территории бывшей Мерянии и все большей славизации (частичной и полной) мерянского населения, все более редким становилось, видимо, знание мерянского языка славянами. По времени это совпало с периодом продвижения древнерусского населения на восток. В этот период, хотя здесь еще оставалось мерянское население, сохраняющее свой язык, знание им славяно-русского языка стало, однако, настолько обычным и частым явлением, а знание (славяно-) русским населением мерянского языка стало соответственно настолько редким и исключительным, что, в отличие от западной Мерянии, где в топонимах (гидронимах) переводились если не все, то по крайней мере их второй компонент *juk «река», здесь даже и эта часть гидронимов перестала переводиться. В результате этого на крайнем востоке бывшей мерянской территории выступают полностью не переведенные мерянские по происхождению названия рек типа Портюг, Шортюг и под.

Таким образом, в развитии мерянославяно-русских языковых отношений и двуязычия можно отметить несколько этапов: 1) период, когда во взаимоотношениях мери и восточных славян на пограничной территории и при первоначальном проникновении небольших групп восточных славян на мерянскую территорию преобладало славяно-мерянское двуязычие, т.е. когда славяне пользовались в общении с мерянами мерянским языком, а меряне могли не знать славянского языка (очевидно, ситуация меряно-славянского двуязычия возникала в то время, когда соответственно меряне, например, в качестве союзников славян в походах на Константинополь (Цареград) попадали на славянскую территорию); 2) с усилением проникновения славян на мерянскую территорию и соответственно постепенным усвоением мери славянского языка, — тем более при полной ее славизации, — уменьшаются количественно и качественно случаи владения славян мерянским языком и все более частым явлением становится меряно-славянское двуязычие мери; 3) указанный процесс завершается положением, при котором меря становится чуть ли не сплошь двуязычной; случаи полного незнания мерянами русского языка становятся исключительным явлением и, очевидно, соответственно таким же исключительным явлением становятся случаи хотя бы поверхностного знакомства восточных славян (русских) с мерянским языком; 4) по-видимому, последним этапом должен бы быть этап окончательного и полного угасания мерянского языка, когда с переходом мери от меряно-русского к русско-мерянскому двуязычию (по-мерянски говорили изредка только с представителями старшего поколения) должен был наступить момент окончательного перехода к русскому одноязычию, при котором круг двуязычного (бывшего) мерянского населения все более сужался. Последним, как показывает аналогия других вымирающих или вымерших языков

(корнского, полабского, водского, камасинского), должно было быть поколение двуязычных мерянских стариков, которые могли говорить по-мерянски только со своими сверстниками, изредка (при нередком осуждении со стороны младшего поколения) обращаться по-мерянски к своим детям, их частично еще понимавших, но предпочитавших отвечать по-русски, и в основном с детьми и исключительно со внуками должны были говорить только на русском языке.

Как всегда при взаимодействии языков, влияние было двусторонним. Еще продолжавший существовать мерянский насыщался все большим количеством русских заимствований, — очевидно, поскольку единственно непроницаемой была здесь только грамматика, в принципе возможны были иногда целые фразы, состоявшие из русских слов, но оформленные по правилам мерянской грамматики. В свою очередь, и локальный или арготический русский, а через него частично и литературный язык (конечно, в значительно меньшей степени) воспринимали материально мерянские лексемы либо путем калькирования мерянскую лексическую или фразеологическую внутреннюю форму, мерянские обороты речи, мерянские грамматико-семантические, функциональные модели. Здесь можно встретить целый ряд многообразных случаев усвоения русским (особенно областным) языком мерянских элементов. Во фразеологии, например, сравнительно редкими были случаи усвоения русским областным языком, точнее, сохранения им в «бесперевoдной» форме мерянских оборотов (как правило, языковых формул), — ср. рус. (обл.) *Елусь по елусь* «пусть будет и будет (подразумевается — у тебя еда-питье)!» (из мер. *Joluś ра joluś / **tenän seγe(-)(te)-juγę(-)(te)» (букв. «Пусть будет и будет [у тебя еда (твоя) — питье (твое)]» (наст. изд., с. 79, 140) (пожелание типа рус. «Хлеб-соль!», высказываемое как приветствие тем, кто ест). С освоением мерянского (сказочного) фольклора, который при переходе на русский язык все чаще переводился, мерянские языковые формулы калькировались средствами русского языка. Примером подобной кальки, как известно, является рус. «Жил-был (царь)» (< мер. *Il′-ul′ (car)...) (Ткаченко, 1979, с. 228, наст. изд., с. 133–134).

Включение мерянских элементов, позже ставших субстратными, в русский язык, связанное с (древне)русско-мерянским, а позже в основном с меряно-русским двуязычием, происходило разными путями. В основном их было два: 1) заимствование материальных элементов мерянского языка и 2) их перевод (калькирование) средствами русского языка. При этом, однако, возникали и смешанные случаи, когда вследствие недостаточно совершенного владения одним из языков при материальном заимствовании оказывались сохраненными некоторые лишние, в частности словообразовательные, материальные элементы мерянского языка, а при калькировании вследствие неполного владения семантикой обоих языков (как правило, русского, с помощью которого производилось калькирование) кальки отражали семантику (внутреннюю форму) переводимого мерянского слова, не свойственную русскому языку. Встречаются также иногда случаи, когда в русский язык параллельно включалось как материальное заимствование, так и его калька. Первое использовалось в «тайном» русском языке (одном из его арго). Здесь у мерянского слова оказывалась русской только его флексия, при том, что слово параллельно (уже с мерянской флексией) употреблялось в самом мерянском языке. В общий же, не «тайный», язык то же самое мерянское слово могло включаться в калькированном виде не только с русской флексией, а и с аффиксами и корнем, благодаря чему слово становилось понятным и тем лицам, которые не знали мерянского языка или «тайного языка» в его мерянских элементах.

Так, касаясь конкретных примеров, можно указать на два случая материального заимствования мерянского элемента, произошедших в двух частях мерянской территории — западной, где данный лексический элемент был органично включен в русскую грамматическую систему, и в восточной, где подобного включения не произошло, — русская флексия стала наращиваться на мерянское слово с сохраненным в нем мерянским суффиксом. Речь идет о мер. *kole- (*koli(ms)) «умирать, гибнуть (чаще о животных); (тяжело) болеть», *kolema «гибель, умирание; (тяжелая) болезнь». В за-

падной части мерянской территории это слово вошло в русский язык в виде глагола *колеть*, в форме совершенного вида с префиксом о-, известного и русскому литературному языку. В восточной части бывшей мерянской языковой территории в русский язык из мерянского слово вошло в форме отглагольного существительного мерянского языка с характерным для него, как и для других финно-угорских языков, в частности, прибалтийско-финских и мордовских, суффиксом *-ма* (< мер. *-ma), — ср. рус. (диал.) *колема* «болезнь» (Костр. губ. — Ветл. у.) (наст. изд., с. 105–106). От этого существительного путем прямого наращивания на него славянской глагольной флексии был образован глагол со значением «болеть»; *колема-ть — колема-ю, колема-ешь, колема-ет.* Пути разного включения того же самого мерянского лексического элемента можно объяснять тем, что на западе мерянской языковой территории, заселение которой славянами происходило постепенно при первоначальном значительном количественном перевесе мери, включение мерянских слов происходило еще в условиях существования славяно-мерянского двуязычия. При этом мерянское слово, проникавшее в славянский язык, более умело, в соответствии с правилами славяно-русской грамматики, в него включалось. На востоке мерянской языковой территории, как правило, мерянские слова — поскольку ко времени проникновения их в русский язык славяно-русское двуязычие как массовое явление уже отсутствовало — включались в русский язык самого же мерянского населения, т.е. были результатом меряно-русского двуязычия. Этим объяснялось явное несовершенство их адаптации. Очевидно, то же самое социолингвистическое обстоятельство, — калькирование элементов мерянского языка средствами русского языка мерянского населения при развитом в его среде мерянорусском двуязычии и его, как правило, отсутствии у восточных славян, — вызывало соответствующее явление, — несовершенство калькирования на лексическом уровне. Примером этого служат известные только в их русской форме названия двух, по-видимому, мерянских селений, имевших-ся под Москвой (в быв. Звенигородском уезде) — Меря Старая и Меря Молодая (Третьяков, 1970, с. 136–137). Эти странные с точки зрения славянских названий населенных пунктов наименования, где, как известно, прилагательному *старый* противостоит эпитет *новый,* а не *молодой* (ср. Старая Русса, Новгород, Новосибирск, Новый Оскол и т.п.), находят свое объяснение, видимо, в том, что в мерянском, как и в мордовских языках (ср. морд Э, М *од* «новый; молодой»), для выражения понятий «молодой» и «новый» использовалось одно и то же слово[41]. Поэтому предположительные мер. **(βanə̑) merä и **(ut′) merä[42], которые, согласно требованиям славяно-русской семантики, в данном случае допускали только перевод *Старая Меря — Новая Меря* мерянским населением, которое ввиду передачи понятий «молодой» и «новый» одним словом должно было путать слова *молодой* и *новый,* было передано как Меря Старая и Меря Молодая.

Понятие «умереть» в мерянском языке, как известно, передавалось с помощью трех синонимов (наст. изд., с. 81, 83, 105–106, 111–112). В нейтральном значении использовался глагол угорского происхождения *hali/e(ms) «умирать». При передаче того же значения применительно к животным или к людям, обозначающего внезапную, «злую» смерть или смерть тяжелую (от болезни), использовался собственный исконно мерянский глагол того же, что и угорский (финно-угорского < уральского), происхождения: *koli/e(ms) «подыхать; гибнуть; умирать (от болезни); (>) (тяжело) болеть». Для передачи понятия «умереть» в смягченном (эвфемическом) виде использовался глагол *ul′ši(ms) от действительного причастия прошедшего времени ul′ša(-ə̑) «бывший». Таким образом, глагол буквально означал «стать бывшим, тем, кто был

[41] Не исключено, что в латышском языке, где так же слово индоевропейского происхождения, имеющее значение «молодой», передает одновременно понятие «новый» (ср. лтш. jauns «молодой; новый»), это явление обусловлено финно-угорским влиянием.

[42] При реконструкции (особенно в случае Меря Старая (Старая Меря)) автор опирается, — во многом условно, — только на данные других финно-угорских языков, так как соответствующие мерянские лексемы пока не обнаружены.

(но уже не есть, не существует среди живых)». В русском диалектном языке постмерянской территории (например, Ярославской и Костромской областей) известен глагол *побывшиться* «умереть», представляющий собой кальку соответствующего мерянского глагола. В арго торговцев города Углича как «тайном языке» этот же глагол выступает в форме, непосредственно связанной с мерянской (русская здесь только флексия), поскольку понятие «умер (побывшился)» передается словом *ульшил.*

Ввиду того что мерянский язык во всех своих сохранившихся и ставших субстратными элементах полностью вошел в состав русского языка, у нас есть теперь возможность рассматривать результаты мерянославяно-русского и славяно-русско-мерянского двуязычия в его влиянии на русский язык. Гораздо меньше возможностей делать выводы о влиянии русского языка на мерянский, так как собственно мерянских языковых памятников не сохранилось (или они пока не обнаружены). Судить об этом влиянии можно только на основе тех русских слов славянского происхождения, которые несут на себе явные следы мерянской фонетики или — реже — грамматики. Однако здесь, особенно в случае фонетических влияний, чрезвычайно трудно не смешать слова, действительно употреблявшиеся в мерянском языке, со словами, никогда в нем не употреблявшимися, а только испытавшими следы остаточных фонетических влияний, сохранившиеся в современном русском языке постмерянских территорий. Среди и без того небольшого количества реконструируемых слов, которые можно отнести к словам мерянского языка, можно без сомнения выделить только два слова мерянского языка, представляющие собой заимствования из славяно-русского: первое — глагол *koroni(ms) «прятать; хоронить» (ср. рус. (яр., костр.) коронить «то же»), второе — существительное *mama «мама, мать», судя по его сохранившейся мерянской звательной форме *mamaj (рус. (яр.) *мамай!* «мама!») (ср. морд. Э *авай* (зват.) «мать», морд. М. *тядяй* (зват.) «то же», мар. *кокай* (зват.) «тетя» (наст. изд., с. 125)). Эти заимствования, сохраненные в русском (диалектном) языке, в котором они пережили мерянский язык, интересны тем, что отражают два этапа заимствований славяно-русских элементов в мерянский язык. Первый этап соотносим с первоначальным периодом меряно-славяно-русских контактов, когда меряно-славяно-русское двуязычие только лишь начинало развиваться в мерянской среде, и в целом для нее оно не было характерно ни количественно, ни качественно. В это время, очевидно, далеко не все меряне знали славяно-русский язык и пользовались им; относительно ограниченным было также число случаев, когда меряне, даже знавшие славяно-русский язык, владели им совершенно свободно, скорее исключением, чем правилом, было использование славяно-русского языка в мерянской среде. В этот период в мерянский язык из славяно-русского заимствовались только те слова, которые обозначали новые для мери вещи или понятия. В случае глагола *koroni(ms) речь, видимо, шла о слове, обозначающем новое понятие — погребение умерших по славянскому обряду (очевидно, имелся в виду и его христианский (православный) характер). В позднейший период, когда двуязычие среди мери стало повсеместным явлением, принцип заимствования (славяно-)русских слов изменился, претерпев расширение. Теперь, когда уже и меряне нередко стали друг с другом говорить по-русски (например, при поездках или переходах от одного мер(ь)ского стана («острова») к другому), когда неизвестно было, кем является встреченный, мерянином, понимающим мерянский язык, или русским (ср. ситуацию Лужицы с ее серболужицко-немецким двуязычием), в мерянский язык наряду с русскими заимствованиями, обозначавшими новые реалии и понятия, стали проникать и русские слова, синонимы мерянских. Ясно, что необходимости заимствовать слово со значением «мать» из славяно-русского в мерянский из-за отсутствия в мерянском соответствующего слова у мери не было. Новое слово вошло в качестве модного, престижного (ср., например, проникновение в русский язык вместо исконно русского *тятя* в результате русско-французского двуязычия дворянства французского по происхождению слова *папа* (от фр. papa) (Фасмер, III, с. 200). К концу существования мерянского языка ко-

личество таких слов, абсолютных синонимов мерянских, отличавшихся от них только стилистически, очевидно, значительно возросло. Мерянская речь, особенно разговорная, все больше (в ряде случаев) начинала напоминать своеобразное насыщенное славянизмами меряно-русское арго, так же как первоначально в какой-то степени могло напомнить русско-мерянское арго русская речь мерян. Обе разновидности речи лексически все больше сближались, полному их сближению «мешало» только употребление разных грамматик, мерянской в первом случае, русской во втором. С полным переходом мери на русский язык, когда она отказалась от своей грамматики в пользу русской, мерянский язык окончательно субстратизировался, т.е. полностью вошел в местный русский язык постмерянских территорий в своих сохранившихся реликтных элементах.

7. Социолингвистическая оценка мерянского языка в период его взаимодействия со славяно-русским (XI в. — 1730/50 г.). Постепенное ее снижение

По образному, но, в сущности, очень точному выражению Л.А.Булаховского (из беседы с аспирантами и научными сотрудниками Института языковедения АН УССР, кажется, не зафиксированной ни письменно, ни с помощью магнитофона), языки представляют собой нечто подобное валюте на мировом рынке. Так же, как колеблется курс валют, колеблется и «курс языков» в социологической (социолингвистической) оценке как иноязычных народов мира, так и самих носителей того или иного языка. Согласно наиболее научно обоснованному, опирающемуся на марксистско-ленинскую методологию взгляду, распространенному в советской лингвистике, все народы и языки мира равны. Советской наукой отвергалось деление человечества на «высшие» и «низшие» расы и нации и точно так же ею отрицалось деление на извечно (и навечно) «лучшие» и «худшие» языки. Все языки одинаково хорошо обслуживают общества, которым они принадлежат, и уже в этом смысле они абсолютно равны. Однако, — и в этом нет никакого противоречия по отношению к данному положению, — отдельные части человечества в силу объективных условий могут находиться на разных стадиях развития по отношению к общему уровню, достигнутому человечеством в целом в его наивысших проявлениях. Тем не менее, как вытекает из указанного взгляда, блестяще подтверждаемого многовековым опытом человечества, любой язык потенциально в состоянии достичь самого высокого уровня развития, если общество, обслуживаемое им, попадет в достаточно благоприятные условия. В этом смысле нет никаких оснований считать, например, превосходящими все языки мира индоевропейские языки (или какой-нибудь из них)[43]. История в прошлом и настоящем, — и безусловно, в будущем, — представляет (и представит) множество примеров высокоразвитых языков, не относящихся к индоевропейским, таких, как древнеегипетский, аккадский, арабский, иврит (среди семито-хамитских), китайский (среди сино-тибетских), японский (по-видимому, изолированный), грузинский (среди иберийско-кавказских). Не составят здесь исключения и финно-угорские языки, где чрезвычайно высокого уровня развития достигли венгерский, финский, эстонский. В настоящее время большие потенции к развитию проявляют среди языков Африки суахили и хауса, среди аборигенных языков Америки кечуа, среди эскимосско-алеутских языков гренландский (эскимосский язык Гренландии) и т.д. В тех случаях, когда то или иное этническое общество переходит с одного языка на другой (случаев таких в мировой истории довольно много), объясняется это не недостатками языка, а тем, что в данных конкретных условиях в силу изменения демографического состава общества, экономических связей, явных преимуществ слияния с другим этническим обществом, пользующимся другим языком, и целого ряда причин (очень часто их совокупности) обществу, носителю определенного языка, становится

[43] Ср., в частности, высказывание Я.Гримма об английском языке: «В богатстве, мудрости и экономности средств ни один из живых языков не может с ним сравниться» (Комлев, с. 95).

выгоднее перейти на другой язык, вместо того чтобы развивать свой. Эти кризисные ситуации, не всегда переживаемые языками, бывают обычно связаны с длительным состоянием снижения социологической значимости языка как со стороны иноязычного населения, так и (что самое главное) со стороны его носителей. Такой переход совершается только в том случае, когда двуязычие становится не только массовым, но и совершенно универсальным, т.е. когда второй язык проникает буквально во все сферы жизни остаточного общества (его части), вытесняя первоначальный родной язык даже из сугубо домашнего, семейно-бытового употребления. То двуязычие, которое гарантирует сохранность первого языка, должно быть по необходимости функциональным, т.е. в этом случае второй язык должен употребляться только в части функций, обычно выполняемых языком, или дублировать часть функций родного языка при общении с представителями другой национальности (национальностей).

В мерянском языке в последний период его существования стал выступать универсальный (всеобщий) тип двуязычия, предопределенный в значительной степени количественным перевесом восточнославянского населения при его качественном перевесе, обусловленном большей в это время развитостью социально-политического строя восточных славян, их экономики и культуры по сравнению с мерянскими. В связи с этим мерянское этническое общество все больше становилось частью местного славяно-финского (славяно-русско-мерянского) сообщества, которое в процессе консолидации должно было со временем трансформироваться в новое этническое (велико)русское общество, частью складывающейся новой отдельной восточнославянской (велико)русской народности, образованной преимущественно из тех восточнославянских племен, которым суждено было впоследствии сформироваться в русский народ. Важная роль в этом процессе при ведущей роли восточнославянских этнических компонентов, как признают в последнее время советские историки, должна была принадлежать финским племенам (Третьяков, 1966, с. 285–286), и в первую очередь мере как наиболее мощному союзу финских племен, вошедшему полностью в состав новой восточнославянской народности.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют более подробные сведения о социолингвистической оценке мерянского языка, чем те немногие факты, которыми располагает наука. Эти факты, экстралингвистический и интралинтвистический, важны и ценны тем, что первый из них относится к началу поселения восточных славян на мерянской территории, а второй — к конечному периоду существования языка. Оба они в связи с деструктивным (нисходящим) характером развития мерянского языка в последний период его истории неоспоримо говорят о постепенном социолингвистическом снижении ценности мерянского языка и в соответствии с этим его оценки, причем в последнем случае со стороны его носителей.

В «Житии св. Леонтия» в несомненно положительном оценочном контексте приводится факт хорошего знания св. Леонтием, первым ростовским епископом, мерянского языка, — ср.: «Се бѣ блаженный и костянтина града ражай и въспѣтание рускiй же и мерьский язык добрѣ умѣяше книгамъ роуским и гречьскимъ велми хытрословесенъ сказатель» (Житие, II). Как вытекает из самого тона сообщения, знание мерянского языка, необходимого св. Леонтию в его миссионерской деятельности, оценивалось как часть широкой эрудиции святого, наряду со знанием греческого и русского языка и литературы, созданной на этих языках. Уже серьезность подготовки епископа-миссионера к своей деятельности, немаловажным условием успеха которой было хорошее знание мерянского языка, указывает на то, что за этим языком в еще смешанном этнически мерянско-славянском крае, каким тогда было Владимиро-Суздальское княжество, усматривалась определенная (и немаловажная) значимость. Мерянский язык был тогда необходим в повседневном общении с мерянским населением, его было важно знать для успеха христианизации этого населения, что в тогдашних условиях, как упоминалось выше, имело большое политическое значение. Вполне возможно, что этот, тогда один из наиболее распространенных восточных финно-угорских языков, мог играть определенную роль и во внешних сно-

шениях с другими соседними финно-угорскими племенами, еще не входившими в состав восточнославянских княжеств, прежде всего мордовскими и марийскими. Меря могла выполнять ту же функцию, которую позже при проникновении восточных славян в югорские земли обских угров взяли на себя коми как толмачи и проводники.

С XIII–XIV вв., однако, в связи с постепенно развивающейся славянизацией мери и все большим распространением на бывших мерянских землях славяноязычного населения (в значительной части славизированных мерян) социолингвистическая значимость мерянского языка начала падать. Прежде всего стал падать его престиж в глазах славян и смежного с мерей неславянского населения. Ввиду того, что мерянский язык практически оказывался все менее необходимым, стала распространяться «лень» к его изучению среди восточно-славянского населения. Выше уже отмечались некоторые вехи этого процесса, указывающие на все худшее и более редкое владение мерянским языком среди немерянского славяно-русского населения. Если вначале восточные славяне пограничных с мерянской областей могли владеть этим языком в совершенстве, то впоследствии это знание стало играть вспомогательную, второстепенную роль, сведенную к ограниченному числу функций. Еще позже, в особенности с развитием массового, если не сплошного, двуязычия мерян (могли быть только разные степени владения, но славяно-русским языком владела почти без исключения вся меря), все более единичными, исключительными должны были становиться случаи владения мерянским языком среди русских. В основном его, по-видимому, не знал и не пытался знать из них никто, так как в этом отпала всякая практическая необходимость. Вслед за русскими, вероятно, не стремились познакомиться специально с мерянским языком и ближайшие нерусские соседи мери, в том числе финно-угры. Очевидно, с процессом укрепления и расширения границ Русского государства все больше возрастала заинтересованность этих финно-угров в знании русского языка. Мерянский же язык, если в какой-то степени и усваивался ими, то только в процессе спонтанного общения ближайших соседей мери, например марийцев, причем, надо полагать, в этом процессе наблюдался больший интерес мери к языку своих более многочисленных в это время финно-угорских соседей, чем наоборот[44]. В конечном счете это приводило и должно было привести к тому, что значение мерянского языка, его ценность стали падать в глазах самой мери. Вследствие этого человек, знавший один только мерянский язык или очень плохо понимавший русский – *(merän) jelman {**mirDə}[45] «(мерянского) языка {человек}» – стал восприниматься и в мерянской среде отрицательно как неразвитый, невежественный, глуповатый, о чем свидетельствует пережиток этого выражения в слове (в ярославских говорах) *елыман* (?) (< мер. *jel(ə̑)man генитив ед.ч. от *jel(ə̑)mə̑/(-a) «язык») (наст. изд., с. 98–99) «елоп, дурак, дурень, болван» (Даль, I, с. 518). Очевидно, видоизменением того же слова, связанным с ним этимологически – на что указывают форма, значение, а также в основном тот же (постмерянский) ареал – является рус. (обл.) (влад., ряз.) *алма*, *алым*[46] «простак, простофиля, разиня, глуповатый парень» (Даль, I, с. 13). С этим согласуются и русские народные анекдоты о пошехонцах (Пошехонье – один из окраинных районов бывшей Мерянии, где дольше всего держался мерянский язык), которых изображают недалекими, глупыми людьми. По-видимому, это впечатление было вызвано тем, что здесь еще долго недостаточно хорошо понимали русский язык, хотя уже умели пользоваться им, что и создавало впечатление глуповатости здешнего населения. Их русская речь, насыщенная дли-

[44] Некоторую аналогию подобной ситуации можно найти в современном социолингвистическом положении водского и ижорского языков: представители малочисленной води нередко, кроме русского, знают также ижорский язык с относительно большим, чем у води, числом носителей, ижорцы, как правило, водского языка не знают.

[45] Чисто условное заполнение пока «пустой» клеточки системной таблицы мерянской лексики мерянизированной формой мордовского слова *мирде* «муж; человек», соответствие которому, возможно, существовало в мерянском языке.

[46] Менее правдоподобна усматриваемая М.Фасмером связь этого слова (Фасмер, I, с. 73) с тур., азерб., казах. alym «ученый».

тельное время (даже после полного угасания здешнего мерянского языка) мерянскими словами и оборотами, отличающаяся от других русских говоров формой русских слов, длительное время не позволяла им достаточно свободно общаться с носителями других русских диалектов (Корсаков, с. 19).

Во внешнем противоречии с указанными словами находится русское диалектное (постмерянское) слово, явно восходящее к тому же предполагаемому мерянскому выражению, но имеющее совершенно другое, едва ли не противоположное значение. Речь идет о слове (диал. — моск., ряз., кал.) *ялыма́н* «ярыжка, наглый мошенник» (т.е. как раз пронырливый, хитрый, а, следовательно, и умный человек)[47]. Очевидно, данное слово, заимствованное из языка офень, связанных преимущественно с постмерянской территорией, отражает уже не собственно мерянский язык, а то арго (тайный язык), включавший ряд местных мерянских слов и выражений, но основанный уже на использовании ими русской грамматики (в своих операциях его использовали местные торговцы, в том числе разносчики товаров). Этот арготический русский язык, распространенный в ряде городов на бывшей мерянской территории (Галич, Кинешма, Нерехта, Кострома, Углич, Владимир и т.д.), имел свое собственное название, также связанное с мер. *jelma(-ə̑) «язык» (ср. венг. nyelv, мар. *йылме* «то же»), — ср. *елманский* «древний галицкий язык (язык Галича Мер(ь)ского)» (Виноградов, с. 45), *елыманский* «условный язык Галичан (жителей того же города)», *елыман (елыма)* «человек, говорящий по-елымански (т.е. на этом условном (тайном) языке)» (Виноградов, с. 45; наст. изд., с. 98–99). Следовательно, данное слово не говорит об изменении отношения к мерянскому языку в среде самой почти полностью ассимилированной мери или о параллельной положительной или высокой социальной его оценке в последний период существования, так как данные взаимосвязанные варианты одного и того же слова относятся к разным объектам — мерянскому языку (в период полного его угасания), остававшемуся уделом забитых и простоватых (внешне) пошехонцев, и условному языку, которым пользовался «ярославский расторопный мужик» и другие жители постмерянской области, наряду с тем, что они великолепно владели своей уже родной русской речью, умело применяя в случае необходимости условный (русский же) язык, уснащенный (в особенности в прошлом) многочисленными элементами мерянского языка, бывшего часто родным языком их более или менее отдаленных предков.

[47] Связь с казах., кыпч., азерб., туркм. alaman «шайка всадников» (Фасмер, I, с. 68) в данном случае сомнительна, хотя внешне слова и близки.

8. Лингвистические данные о конечной границе существования мерянского языка

Выше были изложены соображения чисто исторического характера, позволяющие считать максимальным конечным рубежом существования мерянского языка первую треть или, что менее вероятно, первую половину XVIII в. Есть ли какие-либо чисто лингвистические данные, позволяющие считать это время достаточно правдоподобным? Косвенным доказательством этого служат данные современного областного и арготического (также областного постмерянского) русского языка, где еще во второй половине XX в. прослеживаются нередкие остатки мерянского языка, прежде всего в фонетике и лексике, а в калькированном виде в грамматике и фразеологии. Еще больше наблюдалось мерянских пережитков в начале XX века. Однако наибольшая их насыщенность относится к первой половине XIX в. и в особенности к его началу. Здесь встречаем многочисленные апеллятивные диалектные (и арготические) слова, в том числе лексемы, обозначающие наиболее обиходные понятия и легко передающиеся с помощью русских слов (*лейма* «корова», *урма* «белка» и под.), даже фрагменты подлинно мерянской (некалькированной) фразеологии и грамматики, не говоря о многочисленных следах «мерянского акцента» в русской фонетике постмерянских областей как отражениях фонетики мерянского языка. К сожалению, отсутствие диалектных фиксаций второй половины XVIII в. лишает воз-

можности выяснить, как тогда конкретно обстояло с мерянскими реликтными элементами, хотя постепенное исчезновение их из областного русского языка по мере приближения к нашему времени и, наоборот, возрастание их количества по мере удаления от него позволяет сказать, что там их было еще больше. Однако даже реликты начала XIX в. позволяют говорить о том, что водораздел между исторической эпохой мерянского языка и постисторической, постмерянской, находился еще в это время где-то очень недалеко. Итак, с этой точки зрения время 1730–1750 гг. как период, в рамках которого должна была лежать временная точка, отделяющая собственно историю мерянского языка от его постистории, истории его существования в виде субстратных пережитков русского языка, представляется весьма вероятным.

Близки к этим данным и те факты мерянского языка, которые располагаются во времени до этой предполагаемой хронологической границы, во всяком случае, недалеко от нее, особенно если учесть обычную медленность развития языковых явлении. В этом отношении весьма показательным является интересный факт, отражающий языковое развитие мерянского языка и отраженный в двух формах. Речь идет о названии населенного пункта бывшего Суздальского уезда Владимирской губернии, известного в форме (зафиксированной в 1578 г.) *Кибало* (< мер *KiBalo) и в позднейшей записи (относящейся к XIX в.) как *Кибол* (< мер. KiBol) (Vasmer, с. 417) (наст. изд., с. 37). Переход гласных звуков низкого подъема в гласные более высокого образования (на ступень выше) в новых закрытых слогах — характерная фонетическая особенность мерянского языка (наст. изд., с. 96). Однако для того, чтобы этот переход произошел, надо, чтобы мерянский язык продолжал жить, причем довольно продолжительное время после того, как была зафиксирована более древняя форма. Ведь совершенно ясно, что если бы в вышеуказанном населенном пункте или его окрестностях ко времени записи данного названия перестали говорить по-мерянски, то в русский язык название вошло бы в более старой форме Кибало. Предположить, что слово было видоизменено в самом русском языке, слишком сомнительно, так как на восточной части мерянской территории встречается много других подобных названий деревень со вторым компонентом *-бол* (очевидно, развившимся из *-бало,* в результате частичного озвончения *palo (*Balo) в интервокальной позиции, — *ср.* венг. falu (< *palu) «деревня, село» (ср. *Яхробол* (Jachrobol), *Шачебол* (Šačebol), *Толгобол* (Tolgobol), *Пачебол* (Pačebol) и т.п.) (Vasmer, с. 416–417). Если там, по всей видимости, данные формы возникли в самом мерянском языке (русскому языку подобная закономерность совершенно чужда), ничто не мешает предположить (другое более правдоподобное объяснение вряд ли возможно), что данное изменение произошло в результате развития мерянского языка, который, следовательно, сохранялся, в частности, на территории бывшей Владимирской губернии (совр. Владимирской области), не только в конце XVI в., а какое-то время и после. Это время, поскольку, как известно, языковые изменения происходят весьма медленно, вряд ли можно уложить в оставшуюся часть XVI в., т.е. между 1578 г. (время записи) и последним годом XVI в. (1600 г.). Скорее всего, изменение должно было произойти уже на протяжении XVII в. Принимать для возникновения данного явления время, относящееся к началу XVIII в., хотя с точки зрения чисто лингвистической ничего неправдоподобного в этом бы не заключалось, более сомнительно, так как к этому времени мерянский язык, очевидно, в западных и центральных районах прежней мерянской территории скорее всего уже был (почти) полностью вытеснен русским и мог сохраняться только у отдельных лиц. Последние его носители должны были сохраняться на крайнем востоке мерянской территории, где долгое время русские деревни были редкостью, что подтверждается местным названием *Ружбал* (Ružbal) (< мер. *RuŽBal) «(букв.). Русская деревня» (Vasmer, с. 417) (наст. изд., с. 59). Для фонетического развития данного наименования вполне допустимо принимать столетний срок, т.е. время до 1678–1680 гг., что уже очень близко, с противоположной стороны, к предполагаемому конечному

рубежу существования мерянского языка, особенно если учесть, что речь идет не о всей мерянской территории, в том числе рассматриваемом районе ее, а о самой ее крайней восточной части. Принимая во внимание это расхождение, можно сделать поправку еще, по крайней мере, на лишние 50 лет, что даст 1730 г., т.е. время очень близкое (или совпадающее) с предполагаемым. Следовательно, и с точки зрения чисто языковых фактов нет ничего неправдоподобного в установлении 1730–1750 гг. тем рубежом, на котором закончилось существование мерянского как живого финно-угорского языка[48].

9. Периодизация истории мерянского языка

На основе того, что в настоящее время известно о мерянской истории в целом и о социолингвистических обстоятельствах развития мерянского языка, можно составить представление о периодизации истории мерянского языка, которое в силу фрагментарности имеющихся сведений и неизбежных лакун не может не быть лишено пока известной суммарности и схематичности. Ввиду того, что выше были подробно освещены основные узловые моменты двух исторических эпох мерянского языка, протомерянской и (собственно) мерянской, насколько они в настоящее время могут быть известны, при освещении периодизации в целом представлялось излишним столь же подробно на них останавливаться. По возможности здесь будут освещены только основные особенности каждого из рассматриваемых периодов. Несколько подробнее затронута периодизация только третьей, последней, постмерянской эпохи, о которой не было почти ничего сказано выше.

Как уже упоминалось, историю мерянского языка представляется оправданным разделить на три эпохи — 1) протомерянскую, 2) (собственно) мерянскую, 3) постмерянскую.

Протомерянская эпоха (7–6 тыс. до н.э. — конец 2 тыс. до н.э.) характеризуется в целом тем, что в это время еще не сложился мерянский как отдельный финно-угорский язык. В эту эпоху мерянский существует лишь как постепенно все сильнее выделяющийся на фоне с течением времени суживающихся языковых общностей (финно-угорской > финно-пермской > финской, возможно, > также прибалтийско-финско-мордовско-мерянской) идиом (говор > диалект > диалектная группа). Протомерянская эпоха в свою очередь разделяется на три периода: 1) раннепротомерянский, 2) среднепротомерянский, 3) позднепротомерянский, где более или менее четко устанавливаются пока только начальная и конечная границы эпохи. Граница между концом раннепротомерянского периода и началом среднепротомерянского, а также между концом среднепротомерянского и началом позднепротомерянского пока не поддается определению на основе абсолютной хронологии.

Для раннепротомерянского периода характерны контакты протомерянского идиома, уже отделившегося в составе финно-пермской ветви от угорской ветви финно-угорского языкового единства, с угорскими идиомами, в частности протовенгерским. С переселением протомери вместе с другими финно-пермянами на запад контакты протомери с уграми, в том числе протовенграми, прерываются. Зато в то же время у протомери в составе сперва финно-пермской, а затем финской общности устанавливаются контакты с протославянами, носителями фатьяновской культуры, продолжающиеся всю протомерянскую эпоху. Для раннепротомерянского периода для мери, входящей в финно-пермскую общность, характерны, таким образом, контакты с прауграми. Это, по-видимому, объясняется тем, что меря, входя в финно-пермскую общность, располагалась в то же время где-то в восточной части финно-пермской языковой территории, где она непосредственно примыкала к границе угорской. Это позволяло мере находиться в постоянных тесных контактах с уграми, что способствовало или выработке общих с праугорским (в том числе протовенгерским) черт,

[48] Очевидно, это был крайний срок жизни его последних отдельных носителей. Ввиду отсутствия словарных фиксаций мерянского (о чем уже писалось выше), хотя в это время и создавался словарь языков и наречий России, следует считать, что последние группы массовых носителей мерянского языка к этому времени полностью исчезли.

или тому, что праугорский идиом мог влиять на протомерянский. Для среднепротомерянского периода характерно обособление протомери вместе с другими прафинскими племенами от прапермян. Протомерянский идиом в этот период развивается вместе с другими прафинскими идиомами — предками будущих прибалтийско-финских, мордовских и марийского языков. В позднепротомерянский период протомерянский идиом особенно тесно сближается с праприбалтийско-финским и прамордовским. Очевидно, в этот же период все эти идиомы испытывают известное влияние со стороны булгарского языка. Конец позднепротомерянского периода, который застает протомерю где-то в непосредственной близости от ее исторической территории, куда она вместе с другими финнами переселилась с востока, или, — в том числе, — и на ее части, характерен особо тесным сближением протомерянского с праприбалтийско-финским. Контакты протомерянского идиома с протославянским, особенно усилившиеся в следующий период уже (собственно) мерянской эпохи, продолжаются.

(Собственно) мерянская эпоха (1 тыс. до н.э. — 1730/50 г.) распадается в свою очередь на два больших основных хронологических отрезка — А) древнемерянскую (1 тыс. до н.э. — IX в.) и Б) новомерянскую пору (X в. — 1730/50 г.). В целом (собственно) мерянская эпоха характерна тем, что в начале этого времени протомерянский идиом, возможно, не без некоторого воздействия протославянского, оказавшего на него известное влияние и способствовавшего кристаллизации его специфических черт, окончательно выделился из других финских языков и превратился в отдельный финно-угорский мерянский язык. В течение этой эпохи, относящейся к собственно истории мерянского, сложились окончательно и продолжали развиваться его специфические структурные (фонетические, грамматические, лексические и фразеологические) черты.

Древнемерянская пора подразделяется в свою очередь на раннедревнемерянский период (1 тыс. до н.э. — V в.) и позднедревнемерянский период (VI–IX вв.).

Раннедревнемерянский является доисторическим периодом в истории мерянского языка. О существовании его, как и его носителя, мерянского этноса, свидетельствуют археологические данные. О том же говорят языковые показания, субстратные включения из протославянского языка, сохраненные постмерянскими русскими говорами, реконструкция которых, с одной стороны, подтверждает их славянское происхождение, с другой, показывает, что они были включены в финно-угорский мерянский язык, испытав влияние его фонетики (ср. мер. *βeń (< *βäni) «двурогие вилы» < протосл. *dväni «предмет, включающий две части, двойни», *cölə̑ «целый, здоровый» < протосл. *cölŭ/-ъ) «то же»). В этот период (возможно, только до начала н. эры) мерянский находился в наиболее тесных контактах с протославянским, носители которого обитали на одной территории с мерей и постепенно были ею ассимилированы. Окончательное исчезновение протославянского языка на мерянской территории установить пока невозможно (максимальной границей мог быть V в., хотя не исключено, что это произошло несколькими веками раньше, на границе старой и новой эры). Можно допустить, что в тот же период начались непосредственные контакты мери с балтами, ее западными соседями.

Позднедревнемерянский период характерен тем, что является первым историческим периодом в истории мери и ее языка. В VI в., т.е. начале периода, появляется первое письменное упоминание о мере: готский историк Иордан называет мерян (Merens) в перечне других народов. В IX в., т.е. конце периода, о мере впервые упоминает древнерусская Ипатьевская летопись. До VI–VII вв., очевидно, продолжаются контакты мери с балтами (прежде всего, с наиболее выдвинутым на восток балтийским племенем голядью). К концу этого периода все больше усиливаются связи мери с восточнославянскими племенами — вятичами, кривичами и новгородскими словенами, которые, частично вытеснив западных соседей мери, балтийские и финно-угорские племена, преимущественно голядь и весь (вепсов), подходят вплотную к границе мерянских земель. Между восточными славянами и мерей устанавливаются тесные союзнические отношения, однако в это время восточные славяне еще не селятся на мерянской территории.

Новомерянская пора (X в. — 1730/50 г.) характеризуется в целом тем, что в этот период начинается и продолжается переселение восточных славян на мерянские земли, все более усиливаясь во многом под давлением внешних обстоятельств — нападения тюркских завоевателей (печенегов и половцев) на юг Киевской Руси, нашествия Батыя. Количественный, а частично и качественный перевес восточных славян и их материальной и духовной культуры над мерей и ее культурой приводит постепенно к славянизации мери. Однако этот процесс, с разной интенсивностью на разных территориях и в разные периоды, протекает постепенно и занимает в общей сложности, очевидно, более восьми веков. Мерянский язык исчезает поэтому не бесследно, оставляя свои многочисленные реликты в ономастике и апеллятивах локо- и социолектов постмерянских областей, что позволяет его частично реконструировать в постмерянскую эпоху.

Новомерянская пора позволяет разделить ее на три периода — 1) ранненовомерянский (X — XII вв.), 2) средненовомерянский (XIII — XVI вв.), 3) поздненовомерянский (XVII — 1730/50 г.).

Ранненовомерянский период является временем, когда в общем мерянский язык употребляется на всей исторической территории его былого распространения. Восточные славяне в это время в основном сосредоточиваются в городских центрах и их окрестностях и в отдельных местностях, не занятых до того мерей. Некоторая этническая и языковая чересполосица отдельных мерянско-славянских местностей не мешает повсеместному распространению мерянского языка, так как, во-первых, территориальные разрывы между отдельными районами его распространения, вызванные появлением восточнославянских этно-языковых островков, не особенно широки, во-вторых, начавшаяся славянизация мерянского общества (прежде всего, его верхов) не особенно глубока (очевидно, даже мерянская знать сохраняет знание своего языка), в-третьих, в это время еще довольно частым явлением, особенно в пограничных областях, где восточные славяне издавна соседствовали с мерянами, было не только поверхностное понимание, но и хорошее знание мерянского языка восточными славянами. Примерно с XI в. начинается христианизация мери, натолкнувшаяся на ее сопротивление и вызвавшая в 1071 г. крупное восстание, сопровождавшееся, по преданию, переселением части мерян к марийцам или мордовцам. В целях христианизации, по-видимому, осуществляется (св. Леонтием, первым ростовским епископом и его преемниками) перевод богослужебной литературы на мерянский язык (по крайней мере частично) непосредственно с греческого. Христианизация проводится в основном чрезвычайно толерантно, с максимальной опорой на культурно-этнические традиции мери и с использованием мерянского языка, — в связи с этим должны были, по-видимому, появиться и первые мерянские языковые письменные памятники (возможно, не сохранившиеся), — и поэтому, за исключением первого периода неудач, в общем христианство довольно быстро распространяется среди мерянского населения. Проникновение восточных славян на мерянские земли носит вполне мирный характер, поскольку меряне, как и древнерусское население, заинтересованы в укреплении своего союза, а обе части населения, — мерянское и древнерусское, — во всех слоях удачно дополняют друг друга. Отсутствие каких-либо конфликтов объясняется, по-видимому, полной равноправностью обеих частей складывающегося на территории Владимиро-Суздальской (> Московской) Руси, бывших мерянских землях, общества. Мирный и взаимовыгодный славяно-финский (русско-мерянский) симбиоз приводит ко все более тесному срастанию общества, его консолидации во всех частях. Ввиду постепенно все усиливающегося перевеса славян в нем начинает преобладать не мерянская, а славяно-русская этноязыковая основа. Однако мерянский элемент растворяется в славяно-русском не бесследно и не безрезультатно (и не только в языковом отношении). Он накладывает свой отпечаток на поселившейся на мерянских землях части древнерусских племен. Вместе с влиянием других финно-угорских племен, растворившихся полностью или частично в здешней части восточного славянства, — мещере, муроме, веси, заволоцкой чуди, води, ижоре, части мордовцев,

мерянский элемент объективно способствовал ее выделению из древнерусского этноязыкового единства и превращению в отдельную восточнославянскую (велико)русскую народность, а затем нацию.

В средненовомерянский период, частично под влиянием грозных событий XIII в., нашествия Батыя, вызвавших приток древнерусского населения на здешние земли и отделивших мерю надолго от других финно-угорских народностей, связи с которыми поддерживали мерянскую культуру, а отчасти из-за перевеса древнерусской культуры, славянское население все больше начинает преобладать над мерянским. Увеличение численности славяно-русского населения во многом стимулировало процесс славянизации (> обрусения) самой мери. Это приводит к тому, что прежде сплошная мерянская этно-языковая территория с отдельными вкраплениями славяно-русских островков, напротив, дробится на отдельные «мер(ь)ские станы» (мерянские этноязыковые острова), количество которых с течением времени уменьшается. Вследствие этого мерянский язык, вместо того чтобы консолидироваться, все больше дифференцируется на своих все более разобщенных и отдаленных территориях, а это в свою очередь делает речь мери из разных местностей все менее взаимопонятной. В такой ситуации не исключена отчасти роль славяно-русского как языка-посредника даже между мерей разных, территориально далеко отстоящих местностей. Тем более необходимо знание славянорусского языка для мери вне мерянских, все более сужившихся, этно-языковых островов («станов»). Сложившаяся ситуация ведет объективно к тому, что в этот переходный период, особенно к его концу, мерянский язык среди мери все больше сменяется славяно-русским. Если в предыдущий период даже меряно-русское двуязычие было среди мери не повсеместным и в основном, очевидно, имело место среди высших слоев мерянского населения, причем еще нигде двуязычие не сменилось среди мери славяно-русским одноязычием, то в это время оно начинает со все большей полнотой охватывать даже средние и низшие слои мерянского общества. Что же касается мерянской знати, то она, как правило, полностью русифицируется (об этом говорит, например, по-видимому, мерянский по происхождению русский дворянский род *Куломзиных* в Костромской губернии). В этот период, однако, мерянский язык еще сохраняется не только в восточных, наиболее отдаленных районах (бывшей) Мерянии, но даже в ее центре (н. п. *Кибало* (1578 г.)).

Поздненовомерянский период характеризуется тем, что к его концу мерянский язык окончательно перестал употребляться даже в тех местностях, преимущественно на крайнем востоке бывшей мерянской территории, где он еще к тому времени сохранялся. Установить с абсолютной точностью дату полного угасания мерянского языка, которая должна была совпасть со смертью последних его носителей, по крайней мере пока, невозможно, тем более, что, к сожалению, в России того времени этот исчезающий язык (в отличие, например, от исчезавшего примерно в то же время на западе Германии полабского) не привлек ничьего внимания. Можно попытаться только указать ориентировочную дату, позже которой мерянский язык скорее всего уже не употреблялся. Сделать это можно лишь на основании некоторых косвенных указаний. Упоминание в одном из документов середины XVIII в. на крайнем востоке бывшей мерянской территории «мер(ь)ского стана» («Георгиевская (церковь), что в Мер(ь)ском (стане)») говорит о том, что в то время в этой местности могли еще быть живы последние носители мерянского языка или что, если их уже не было, это исчезновение произошло недавно и память о них была совсем свежа. По-видимому, поскольку лингвистические факты дают возможность допустить существование и развитие мерянского языка до второй половины XVII в. даже в центральной части бывшей мерянской территории, к тому же как языка целых групп населения, тем более следует считать возможным его существование, причем как языка массового использования, до конца XVII — начала XVIII в. на крайнем востоке былых мерянских земель. Однако даже здесь он явно клонился к полному упадку. Ввиду того, что начавшаяся в 30-х годах XVIII в. и продолжавшаяся в 50-е годы и позже большая лексикографическая работа по фиксации всего многообразия языков и диалектов, в

частности идиомов Поволжья, уже не отразила мерянского языка, можно быть уверенным, что к 20-м годам этого века он перестал быть языком массового употребления, хотя кое-где и мог сохраниться в качестве языка последних лиц пожилого возраста, которые могли его еще помнить и знать как язык своего детства, когда на нем говорили еще все поколения, и иногда употреблять при встрече с лицами своего возраста, еще его не забывшими. Однако жизнь этих лиц, а, следовательно, и существование мерянского языка, по-видимому, не перешагнула временного рубежа 1750 или даже 1730 г.

Таким образом, существует определенный промежуток времени, отделяющий период, когда мерянский язык в последних местностях, где он был распространен, еще употреблялся всеми тремя поколениями, от периода, предшествующего его окончательному исчезновению, когда он сохранялся по инерции только среди стариков, представителей самого старшего поколения и, возможно, пассивно был частично знаком их детям, но уже совершенно неизвестен молодежи, их внукам. Предположить подобную ситуацию в последний период существования мерянского языка можно по аналогии других, известных науке, случаев исчезновения языков, связанных с переходом их носителей на другие языки, в частности на примере полабского языка. В этот период социолингвистическая ценность мерянского языка, очевидно, очень снизилась даже в глазах его носителей, для которых он стал таким же никому не нужным реликтом, как давно вышедшая из моды старинная одежда, устаревшие обряды и прочие культурные особенности подобного характера. Некоторая привязанность к мерянскому языку могла сохраняться только у стариков, которым он мог быть дорог как часть воспоминаний детства и молодости, но передать эту свою привязанность своим детям и внукам они уже не могли, так как те полностью в это время переориентировались на местную русскую культуру и выражавший ее местный русский язык. Этот переход и переориентация могли происходить тем проще и естественней, что к тому времени местный русский язык и культуру и соответственно мерянский язык и культуру уже не отделяли такие расхождения, как в пору, когда на мерянских землях оседали первые восточнославянские поселенцы. С одной стороны, в мерянский язык вошли, несомненно, многочисленные заимствования из русско-славянского языка, судить о чем можно как на основании непосредственно известных реконструированных данных самого мерянского языка (ср. *koroni (-ms) «хоронить», *mama «мама, мать» (зват. *mamaj)), так и на основании фактов даже таких высокоразвитых финно-угорских языков, как венгерский, финский, эстонский, для которых характерно большое число славянских заимствований. С другой же стороны, в процессе многовекового взаимодействия местный (славяно-русский) язык впитал в себя многочисленные, — материальные и калькированные, — заимствования и включения из мерянского языка. Это сопровождалось, видимо, также активным «переводом» наиболее распространенных и популярных мерянских сказок, пословиц и поговорок, песен и других фольклорных произведений. Поэтому мерянин, чему способствовало и его двуязычие, переходя со своего первого мерянского на второй местный русский язык, не чувствовал себя в нем как в совершенно чуждой стихии. Многое в нем и по форме, внешней или внутренней (например, калькированные сказочные формулы или парные слова), и по духу (знакомые фольклорные сюжеты и мотивы) могло напоминать ему мерянскую национально-культурную традицию, только переодетую в платье другого, к тому времени уже хорошо знакомого языка.

С 1731/51 г. начинается постмерянская эпоха, длящаяся и в настоящее время. Если считать, что она связана только с существованием русских постмерянских локо- и социолектов, т.е. диалектов и арго бывшей мерянской территории, включивших в себя пережитки мерянского языка, то завершение ее следует связывать с их полной нивеляцией и повсеместным распространением на данной территории русского литературного языка. Если же соотнести ее со всей суммой мерянских включений, когда-либо входивших в русский язык, в том числе и вошедших навсегда в русский литературный язык посредством русских постмерянских говоров, то эта эпоха во всяком случае продлится на все время существования русского языка. Последний

взгляд, по-видимому, следует считать более точным, чем первый, поскольку, не говоря уже о том, что в процессе взаимодействия русского литературного языка с местными (постмерянскими) говорами, процессе двустороннем, в русский литературный язык могут еще войти в материальной и калькированной форме диалектные мерянизмы, из литературного языка и русской фольклорной традиции вряд ли выйдут прочно вошедшие туда мерянские по происхождению материальные заимствования и кальки типа *(о)колеть* или наиболее типичной русской сказочной формулы *Жил-был...* и т.п. Навсегда, видимо, останутся на карте Центральной России десятки названий рек, озер, сел и городов мерянского происхождения (таких, как *Яхрен, Неро, Кибол, Москва* и многие другие). Мерянский язык, полностью влившись в своих сохранившихся элементах в русский язык, язык-преемник, стал тем самым его неотъемлемой частью. Следовательно, скорее всего, постмерянская эпоха продлится на все время существования русского языка. Парадоксальность ее заключается, однако, в том, что с течением времени из русских постмерянских говоров все в большей и большей степени выпадают субстратные мерянские включения и параллельно (тем временем как их становится все меньше и меньше в русском языке) все в большей и большей степени усиливается к ним интерес науки.

В связи с последним обстоятельством, наиболее существенным при характеристике постмерянской эпохи, всю ее допустимо разделить на три периода — 1) раннепостмерянский (1731/51 — 1810 гг.), 2) среднепостмерянский (1811 — 1890 гг.), 3) позднепостмерянский (с 1891 г.).

Для раннепостмерянского периода характерно сохранение наибольшего количества постмерянских элементов в местных русских говорах, арго и ономастике. Однако в этот период ввиду отсутствия особого интереса как к русскому фольклору, в текстах которого они могли выступать, так и к русской диалектологии они или совершенно не фиксировались, или их записи были настолько эпизодичны, что эти фиксации до нашего времени не дошли (или, возможно, просто не обнаружены).

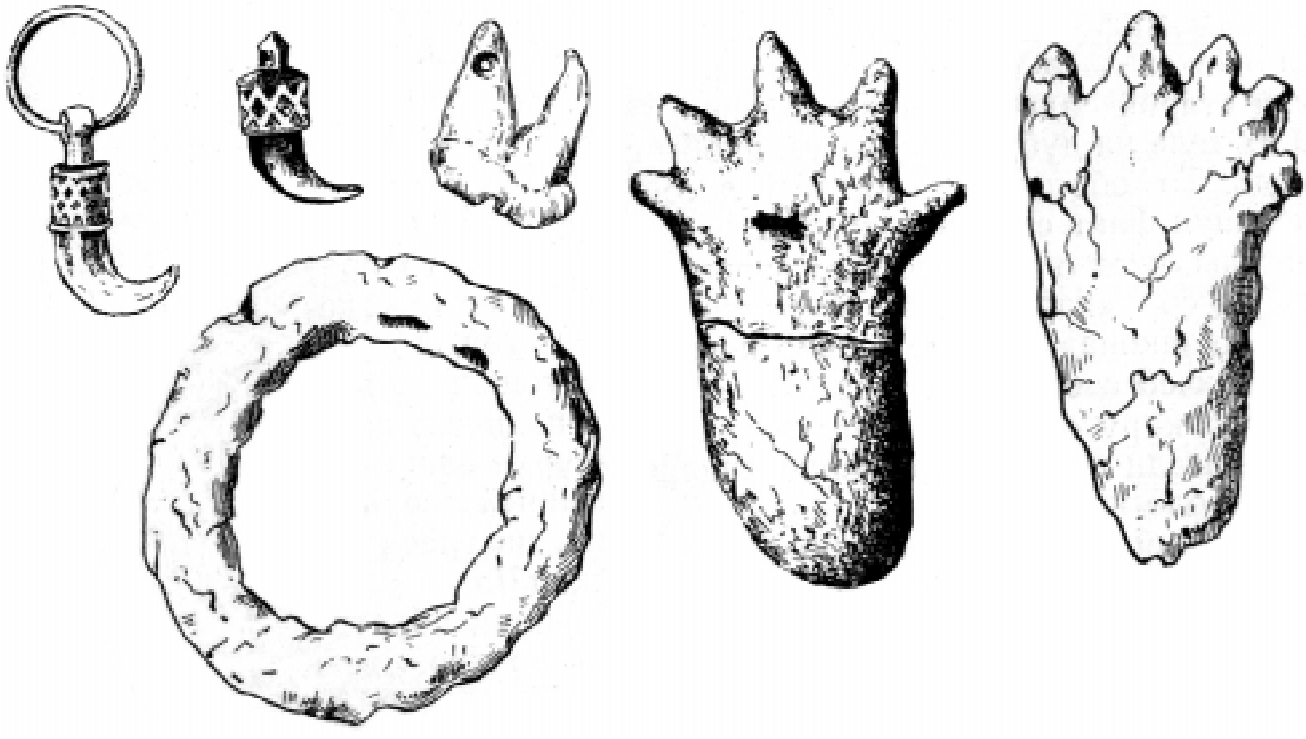
В среднепостмерянский период возникает интерес к произведениям народной словесности, которые начинают собираться и издаваться, а также к изучению русских говоров. Началом периода следует считать 1811 г., когда с возникновением Общества любителей российской словесности и началом публикации его издания «Труды Общества любителей российской словесности» появляются первые издания диалектных русских, в том числе постмерянских, материалов. Тем самым в распоряжение науки поступает ценный (пост)мерянский, часто совершенно уникальный материал, поскольку позднее записанные и опубликованные тогда лингвистические факты вышли из употребления. Археологические работы в области мерянских древностей заставляют ученых впервые задуматься над мыслью о реконструкции и исследовании мерянского языка по его сохранившимся остаткам. В связи с этим, например, историк Д.Корсаков в своей книге «Меря и Ростовское княжество: Очерк из истории Ростово-Суздальской земли» (Казань, 1872) намечает краткую, но содержательную программу реконструкции мерянского языка, в которой правильно определены основные пути необходимого при этом научного поиска[49]. Однако намеченная программа научного исследования мерянского языка по его сохранившимся остаткам в этот период не была не только осуществлена, но даже и начата.

Это стало уделом следующего, позднепостмерянского периода, начало которого ознаменовано появлением первой научной работы, посвященной специально исследо-

[49] Ср.: «Главная особенность теперешнего населения губерний Ярославской, Костромской и Владимирской заключается в особом свойстве говора... нет никакого сомнения в том, что в оттенках говора великорусов вышеназванных губерний роль Мери далеко немаловажна и что при тщательном изучении наших областных наречий представится со временем возможность, быть может, вполне восстановить забытый, но не пропавший язык Мери. Остатки этого языка, кроме того, могут находиться в местных названиях урочищ и поселений... Язык есть главнейшее и самое определенное выражение народности, и более точное изучение языков мордовского и черемисского и сравнительное изучение финских наречий вообще несомненно приведут к любопытным выводам относительно языка Мери» (Корсаков, с. 15–16, 36).

ванию мерянского языка. Это был труд Т.Семенова «К вопросу о родстве и связи мери с черемисами», опубликованный в «Трудах VII археологического съезда в Ярославле 1887» (М., 1891, т. 2, с. 228–258). Здесь на основании анализа 403 местных, предположительно мерянских, названий в сопоставлении с их марийскими (черемисскими) соответствиями впервые было высказано мнение по поводу этимологии целого ряда мерянских по происхождению названий. Несмотря на то, что в работе Т.Семенова высказан устаревший в настоящее время взгляд, согласно которому мерянский язык якобы особенно близок к марийскому, взгляд, опровергаемый позднейшими исследованиями, работа имеет ценность как первая попытка осмыслить лексический материал мерянского языка. Часть приведенных в ней этимологий вполне научно доказательна и поэтому до сих пор не утратила своего значения. С появления работы Т.Семенова в 1891 г. датируется начало научного исследования мерянского языка и, тем самым, начало позднепостмерянского периода. В дальнейшем успехи финно-угроведения, с одной стороны, и русской диалектологии, с другой, позволили с еще большим успехом продолжить начатую им работу, которая получила свое развитие в появившихся позже работах М.Фасмера, П.Равилы, А.И.Попова, О.В.Вострикова, С.Г.Халипова, О.Б.Ткаченко. Работа по реконструкции и исследованию мерянского языка нуждается в еще большем внимании к себе и ее интенсификации, что, помимо всего прочего, вызывается усилившимся процессом нивеляции русских народных говоров, вместе с которыми исчезают и постмерянские элементы.

Задача реконструктивного исследования мерянского языка и мерянских древностей в целом, имеющая важное значение для воссоздания истории Центральной России до прихода туда восточных славян, для возможно полного воссоздания мерянского языка, ценного самого по себе, для финно-угроведения, русистики, славистики, теории субстрата, как одна из важных комплексных задач должна быть решена объединенными усилиями ученых, представляющих все гуманитарные науки. Ведущая роль при ее решении должна принадлежать языковедам.



Предметы культа медведя IX-XI вв. из Поволжья.
[22, стр. 147]

II. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ФАКТАМ ВНУТРЕННЕЙ ИСТОРИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ПЕРИОД СУБСТРАТИЗАЦИИ)

Многообразные вопросы внутренней истории субстратных языков как в период их существования, так и в особенности с момента их окончательной субстратизации, т.е. своеобразного «свертывания», связанного со вхождением в язык-преемник, не исчерпываются полностью, однако в значительной степени сосредоточиваются и группируются вокруг двух едва ли не наиболее важных здесь проблем — 1) проблемы стойкости разных элементов языка и их сохранения в составе субстрата, возникшего на основе данного языка, 2) проблемы взаимовлияния и взаимной адаптации субстратного, а перед тем субстратизирующегося, языка и языка-преемника, в данном случае языков мерянского и славяно-русского. Эти проблемы в том объеме и степени, в которой это возможно теперь, и будут рассмотрены ниже.

1. Проблема степени стойкости разных составных частей мерянского языка в элементах его субстрата

Проблема стойкости языков при их взаимодействии принадлежит к одной из наиболее сложных проблем общего языкознания. Стойкость языка в целом предопределяется стойкостью той этнолингвистической общности, а точнее общества (этноса), который им пользуется. Однако данная формулировка слишком обща, особенно если иметь в виду историю развития этносов на протяжении многих тысячелетий. Если взять, например, Западную и Центральную Европу и проследить ее историю за время, не только относящееся к нашей эре, а к эпохе намного древнее (за тысячу или несколько тысячелетий до нашей эры), и при этом посмотреть на нее с точки зрения существующих в настоящее время там государств, стран и этнических территорий, то на этих землях за единственным исключением Страны басков с ее древним доиндоевропейским языком — да и то, видимо, потому, что у нас нет возможности заглянуть в историю земли, занятой этой страной, глубже определенного исторического рубежа — не обнаружится ни одной местности, где население на протяжении обозримой его истории не меняло бы по крайней мере один раз (а то и дважды-трижды) свой язык. Тем не менее, очевидно, на одной и той же территории, помимо пришельцев и прокатывавшихся по ней волн миграций, подобных, например, т. наз. эпохе великого переселения народов (а таких эпох была не одна, а много!), все время оставалось какое-то постоянное, возможно, даже всегда преобладавшее автохтонное население. И вот оно-то в основном и меняло несколько раз свой язык. Если смотреть на эти смены языков с точки зрения этого автохтонного по своему составу общества, то они будут выглядеть как смена одежды, внешней формы, в которой развивалась местная культура, а между последовательно сменяющимися, облеченными в различную языковую «одежду» культурами можно усмотреть общую единую линию преемственности, где новый язык как носитель новой (для данной местности) культуры наслаивался на предшествующую культуру, заключенную в форму предыдущего, впоследствии вытесненного языка. Линия преемственности между ними осуществлялась в значительной степени с помощью языкового субстрата, являющегося частичным отражением более широкого понятия субстрата культурного, той совокупности наследия материальной и духовной культуры, которая передается автохтонным (на данном уровне) населением новому населению, образовавшемуся в результате слияния автохтонов и пришель-

цев. Этот культурный субстрат входит как важная составная часть в новую культуру, образующуюся в результате слияния культуры автохтонного и пришлого населения.

Язык формирующейся новой этнической общности играет первостепенную роль в создании ее культуры, в которой сливаются воедино культура, принесенная извне, и культура местная, в последнюю (заметим, что это очень важно) в свою очередь включены в какой-то степени предшествующие, культурные, в том числе языковые, субстраты в своих наиболее стойких элементах. Духовная культура предшественников — это, как правило, словесная культура, хранящаяся (в дописьменный период) в устном народном творчестве (сказках, песнях, загадках, сентенциях народной мудрости — пословицах и поговорках, собрании важных примет и наблюдений над погодой и природой в целом, способом ведения хозяйства и жизнью вообще, что часто входит в эти сентенции), а также в особенностях языкового этикета, языковых формулах, связанных с местной этикой. Часть этих важных местных элементов культуры заключена в самом языке, прежде всего в его фразеологии и, будучи плохо выделяема, допускает в случае их особой ценности только буквальный перевод, т.е. калькирование. Наиболее ценное из местной культуры большей частью, — если появление новой волны пришельцев не связано с поголовным истреблением автохтонов (случаем не таким уж частым), — как правило, бесследно не пропадает, поскольку переодевается в форму нового языка, т.е. переводится, чему способствует период двуязычия. Примеров перевода старого фольклора с одного местного языка на второй, позднейший, можно найти достаточно много как в отдаленном, так и в более близком прошлом. При перенесении одной (более ранней) культуры данной местности в другую (более позднюю) многое остается не переведенным (переведенным не до конца), т.е. сохраняется или часть материальных особенностей и элементов языка-предшественника, или внутренняя форма его слов и оборотов. Эти непереведенные (или не до конца переведенные), часто в силу своей непереводимости, связанной к тому же с их особой выразительностью, элементы языка-предшественника, воспринятые языком-преемником, и являются в нем элементами языкового субстрата. Иногда эти элементы, отражающие особенности языкового мышления, строй языка, оказываются удивительно стойкими. Так, например, французское числительное quatre-vingts «восемьдесят (букв. четыре (по) двадцать)» отражает счет не десятками, свойственный индоевропейским языкам, а двадцатками, характерный для иберийско-кавказских языков и, видимо, и для того языка иберско-баскского типа, который был распространен во всей Франции до прихода туда кельтов (галлов). Затем этот язык был оттеснен на юг галльским языком, но, несмотря на это соответствующее слово, передающее счет двадцатками, было калькировано галльским языком, а отсюда народной латынью Галлии. Таким образом, внутренняя форма иберско-баскского слова была сохранена, несмотря на двукратную смену языка — галльского, сменившего иберско-баскский, и галльского, смененного латинским. Несомненно, подобные случаи могли быть и на территории Центральной России, где финно-угорским мерянским был сменен индоевропейский протославянский, а мерянский в свою очередь затем был сменен славяно-русским. Однако при настоящем уровне исследования проблем преемственности культур Центральной России и представляющих их языков проследить так глубоко линию последовательной взаимосвязанности сменяемых языков пока невозможно. Достаточно сложен сам по себе уже вопрос о сохранности элементов мерянского языка, на котором здесь будет сосредоточено внимание.

Поскольку вопросу фонетической адаптации уделено специально внимание далее, здесь о нем, в частности, как и о вопросе стойкости фонетики, следует сказать в наиболее общих чертах. Как показывает исследование фонетического материала, отраженного в примерах мерянского фонетического воздействия на слова славяно-русского происхождения (включая заимствования) и в чертах фонетики мерянского языка во включениях из него, при известной взаимной адаптации двух взаимодей-

ствующих языков, в целом фонетика субстратного языка, особенно в области консонантизма, проявляет очень большую степень стойкости, и, – что следует специально отметить, – даже в ту эпоху, когда субстратный язык давно вытеснен и полностью субстратизирован.

Что касается грамматики, лексики и фразеологии, то здесь степень стойкости разная и проявляется по-разному. Поскольку выяснить, каким был мерянский язык в целом даже в наиболее близкий нам, последний, период его существования, пока нет никакой возможности, речь может идти и пойдет только о сохранности элементов мерянского, представленных в мерянском субстрате русского (как правило, областного) языка.

В целом, – и это, видимо, характерно для субстратных языков вообще, – элементы грамматики мерянского языка в «чистом» (т.е. некалькированном, материальном) виде, как и следовало ожидать, сохраняются только имплицитно, скрытно либо в составе топонимов, либо, если речь идет об апеллятивах, среди диалектизмов или арготизмов (частично фразеологизированных), из состава которых они не выделяются. Грамматические форманты здесь как непонятные не вычленяются сознанием, формы с ними воспринимаются, будучи неосновными, как основные, т.е. в частности, для существительных формы косвенных падежей как формы им.п. ед.ч., в связи с чем на них наращиваются грамматические форманты русского языка, – ср., например, форму иллатива ед.ч. *дульяс* (< мер. *tuljas) «огонь», воспринимаемую как форму им.п. ед.ч. или форму мн.ч. им.п. (на которую в свою очередь наращен русский формант – показатель мн.ч. -и) *бяньки* «вилы с двумя зубьями» (< мер. *βän-ək + и ⩾ *бяньки*) (наст. изд., с. 67, 96-97). Следовательно, есть основание считать, что грамматические показатели субстратизирующегося мерянского языка, как правило, в субстрат русского языка не включались. Обычно в него попадали только чистые корни (основы) в одной из основных форм. Если при этом все же часть грамматических формантов в субстрат «проскакивала», то это происходило или «по недосмотру», вследствие того что значимость формы уже не была известна и она осознавалась как одна из прямых форм без грамматических показателей (в лексических апеллятивах), или потому, что данные формы употреблялись чисто традиционно, механически в составе традиционной лексики ономастического характера или, реже, в составе фразеологизированных (фразеологических) оборотов, точное значение которых уже не осознавалось (в связи с чем их слова ошибочно сближались с русскими)[50]. Таким образом, в сущности, материальные элементы мерянской грамматики, если и оказывались в составе субстратных элементов, то чисто случайно. В связи с этим сохранились только отдельные ее фрагменты, восстановимые лишь при системной реконструкции и привлечении сравнительно-исторических данных родственных языков. Наличие (даже случайное) грамматических элементов, сохраненных мерянским субстратом, косвенно зависело от частотности тех грамматических форм, которые выступали в составе лексической ономастики (здесь, например, почти невозможны или, во всяком случае, мало частотны личные формы глаголов, зато довольно часто встречаются именные (причастные) формы глагола) или в составе наиболее частотных и традиционных фразеологизмов – языковых формул.

Более обычен при проникновении в субстрат и сохранении в нем для грамматики (и фразеологии) путь калькирования. Однако он обусловлен наличием соответствующих материальных элементов в языке-преемнике. Так, из системы местных падежей (6 падежных форм) русский язык в качестве языка-преемника смог отразить в виде оттенков местного падежа две мерянские падежные формы (их функции) – инессивную и адессивную, ср.: «В этом лесу нет ничего интересного» (инес.) – «В этом лесе (≈ у этого леса) нет ничего интересного» (адес.) (наст. изд., с. 68–69). Латышский язык как язык-преемник большого числа растворившихся в нем ливских (финно-угорских) говоров из тех же 6 падежей стал своим местным падежом отра-

[50] Ср. явно народно-этимологическое сближение оборота *елусь поелусь* (< *joluś ра joluś «пусть будет и будет») с рус. *ѣлось бы* у Даля (Даль, I, 518).

жать, наряду со свойственным ему и раньше инессивным значением (Es esmu Rīgā «Я (есмь) в Риге» (инес.)), также иллативную функцию (Es braucu Rīgā «Я еду в Ригу» (илл.)). Связано это с разным инвентарем языков-преемников. Там, где у языка-преемника имелись соответствующие материальные средства, черты языкового субстрата могли быть отражены. Там, где они отсутствовали, они не отражались, оказывались за бортом грамматической системы языка-преемника. Грамматическая система языка-преемника как система замкнутая, ограниченная определенным числом элементов, могла отразить из языка-субстрата и активизировать с его помощью только те материальные грамматические показатели, которые, совпадая в чем-то функционально с соответствующими грамматическими элементами языка-субстрата, могли быть переданы в их функциях. С целью отражения этих новых для языка-преемника функций используются или дублетные формы падежей (-а/-у у родительного падежа, -а с генетивной, -у с партитивной функцией (наст. изд., с. 69), -е/-у у предложного в русском языке), или уже имеющийся грамматический и формант -ā (как показатель местного падежа ед.ч. в латышском языке) получает дополнительную функцию (наряду с местной (инессивной), иллативную). Таким образом, при переносе функций языка-субстрата в язык-преемник носители языка-преемника не создают новых грамматических форм из заимствованных элементов языка-субстрата. Они только наполняют новым содержанием имеющиеся в языке форманты или же из своих строевых элементов создают новые формы для передачи грамматических функций, заимствованных из субстрата[51]. Следовательно, в формальном отношении язык-преемник при грамматическом влиянии языка-субстрата или не претерпевает никаких изменений, или, если им и подвергается, то, как правило, только опираясь на запас своих собственных служебных слов и формантов. Происходит, таким образом, преимущественно лишь изменение его внутренних грамматических форм при сохранении и неизменности внешних. Соответственно с этим можно сделать вывод о том, что свою грамматическую структуру, как и фразеологию, язык-субстрат в языке-преемнике сохраняет обычно лишь в калькированном виде (передача их в материальной форме принадлежит скорее к исключениям). При этом калькируется не вся грамматическая система языка-субстрата, а только те ее части, для передачи которых есть соответствующие материальные средства (форманты) у языка-преемника.

Совсем иначе обстоит в случае лексики, которая в отличие от грамматики является открытой системой.

Если в грамматике для передачи отсутствующих в языке-преемнике внутренних грамматических форм используются уже имеющиеся материальные грамматические форманты, то в лексике, где преобладает не калькирование, а прямое материальное заимствование, воспринимаются, как правило, те материальные лексические элементы, которые отсутствуют в языке-преемнике, т. е. происходит не наложение новых значений на старые материальные элементы, а заимствуются и добавляются к старым новые материальные лексические элементы — лексемы, слова.

Субстратная лексика проникает в язык-преемник тремя основными путями — 1) в составе ономастики (прежде всего, топонимов); 2) в составе арготизмов, принадлежащих условным («тайным») языкам (в данном случае постмерянских территорий); 3) в составе диалектизмов местных говоров (иногда наиболее частотные элементы лексики отмечаются в двух, а то и во всех трех источниках). Наименее стойкими из субстратных по причине их близости к не включаемым в язык-преемник грамматическим элементам являются местоимения и служебные слова. В собранном и реконструированном материале отмечено всего два местоимения (*ma «я», *śi «это», — наст. изд., с. 75–76), один предикатив (*nemeń «нет», — там же, с. 85), три частицы (*joų «вот», *-ka, *-ki (усилительные), — там же, с. 85-86) и один

[51] Ср. пример местных падежей осетинского языка, совпадающих по функциям с местными падежами субстратного иберийско-кавказского языка, но с использованием при их создании материальных элементов иранского происхождения (ср.: Абаев, 1956, с. 68).

союз (*ра «и», — там же, с. 85). Близки к ним по своей малой частотности прилагательные и наречия: пять прилагательных (*βäDrä «сильный, здоровый», *il′Doma (*-Də̑mə̑) «безжизненный», *kolDoma (*-Də̑mə̑) «безрыбный», *maZəj «красивый, приятный, милый», *šom «черный», — там же, с. 71–73, 115) и одно наречие (*βäha(-hə̑) «мало», — там же, с. 84–85). Мало от мерянского языка сохранилось также числительных (только *i/ükanə «один (ум. ф.)» и śeŹum «семь», — там же, с. 73–75). Обращает на себя внимание сохранение малых чисел, не выходящих за пределы первого десятка. Это может объясняться как их большей частотностью (по сравнению с большими числами), так и вследствие этого их лучшей сохранностью и большей стойкостью. В тех случаях, когда в связи с двуязычием происходит вытеснение собственных числительных и замена их заимствованными, оно начинается с наиболее крупных чисел (ср. болг. (< гр.) *хиляда* «1000» (при стсл. (дболг.) **тысѧ҃ща*), нлуж. (< нем.) (нар.) tawzynt «тысяча», hundert «сто»). В тех языках, где подобный процесс зашел особенно далеко, дольше всего сохраняются именно числа первого десятка, причем преимущественно относящиеся к первой его половине. Так, коми-пермяцкий язык заимствовал (в отличие от коми-зырянского) из русского все числа после 10. Берберский же заимствовал из арабского все числительные, заменив ими собственные, за исключением первых трех чисел натурального ряда (1, 2, 3). Не исключено, что и в мерянском сохранение двух чисел первого десятка могло быть связано с тем, что в нем в последний период его существования, с которым в наибольшей степени связана постмерянская (субстратная) лексика русского языка, употреблялись только собственные числа первого десятка. Остальные числа были, возможно, заменены в это время русскими или часто ими заменялись. Относительно небольшим является состав глагольных форм мерянского происхождения (точнее, глагольных корней), сохранившихся в субстрате (не больше 17–18 корневых слов) (*pu(j)- «дуть», *pelə- «бояться», *jolə- «быть», *näβ- «видеть, смотреть», *nelə- «глотать», *βara- «делать», elə- «жить», *tuDo- «знать», *anDo- «кормить», *βojmo- «мочь», *kolβə̑- «разговаривать», *seZə «разрывать», *kole- «сдыхать», mere- «сказать», *hali-(-ə-) «умирать», *tohtə̑- «хотеть», *matko- «путешествовать», *koroni- «хоронить», — наст. изд., с. 115). В наибольшей степени в субстратной лексике сохранились существительные (в составе собранной и исследованной лексики около 48, *tolGə̑ «перо», *jelma «язык», *kuβa «женщина (старуха)», *mama(-ə̑) «мама, мать», at′ə «отец», *koka «старшая сестра, тетя; крестная мать», *βanə̑ «(низкий) берег», *ńero «болото», *pujeGa «вьюга», *šaβ- «дым», *lot′ma «ложбина», *tulə «огонь», *jähre «озеро», *juk «река», *šarnə «верба», šol′a «вяз», *mäkša «гнилушка», *paŋ(G)a «гриб», *toma(-ə̑) «дуб», *moska(-ə̑) «конопля», *kerə «кора», *nuš «крапива», *maŕ(ə) «ягода», *urma «белка», *βaraka «ворона», *aŋka «галка», *peZə̑ «гнездо», *kurGa «журавль», *l′ejma «корова», *käGa «кукушка», *šorDə̑ «лось», *kutkə̑ «орел», *kol «рыба», *muZa «рябчик», *peń(ə) «собака», *kut′a(-ə) «(молодая) собака», *sorjəs «хариус», *ki(β)(/*kü) «камень», *βeń «(двурогие) вилы», *palo «деревня», *βoj «масло», *pahča «овощи (свекла, брюква, огурцы)», *βeD′ma «перемет», *koju «сарай», *kirβäs «топор», *lil′ «душа», *joβlos (*jo(β)ls) «дьявол», *pano(-ə̑) «курган», — наст. изд., с. 115–116).

Значительная часть субстратной лексики сохранилась в составе топонимов. Их характеризует тематическое разнообразие при связи преимущественно с характеристиками природы, окружающей тот или иной топоним, и описанием их свойств. Преобладают здесь (в отличие от диалектных апеллятивов) слова, относящиеся к основному лексическому фонду. Поскольку человека могла интересовать характеристика окрестностей рек (и селений), имеется ли поблизости рыба, какие деревья растут рядом с ними, водятся ли в лесах звери и какие, в топонимах выступает целый ряд соответствующих прилагательных (причастий) и существительных: (реки) *Андоба* (кормящая, — приток), *Нельша* (проглотившая — многих, свои притоки), *Колдома* (безрыбная), *Кондоба* (несущая — воду), *Яхрен* (озерная); *Шарна* (верба), *Шоля* (вяз),

Понга (гриб), *Кера* (кора, луб), *Нуш* (крапива), *Варака* (ворона), *Кега* (кукушка), *Шорда* (лось), *Кутка* (орел), *Муза* (рябчик), *Ки(в)* (камень) и т.п.[52]

По другим причинам подобные же основные понятия могут передавать и арготизмы. Цель арго не дополнить язык недостающими ему лексическими средствами, обозначениями новых реалий или стилистических (синонимических) оттенков, а скрыть понятия, передаваемые общеизвестными словами. Именно поэтому среди арготизмов встречаются слова, относящиеся к основному лексическому фонду мерянского языка, в том числе сохраняющие фрагменты мерянской грамматики. Последнее можно объяснить и тем, — поскольку речь идет частично об арго торговцев, — что в то время, когда мерянский язык уже начинал выходить из употребления, он еще какое-то время мог употребляться, в частности среди мужчин, в качестве тайного языка, непонятного русскому населению из немерянских местностей. В составе арго встречаются обозначения таких элементарных понятий, как: *немень* «нет» (ср. венг. nem), *мас* (< мер. *ma) «я», *сиень* «есть» (< мер. *śi joń «это есть»), *елманский* «говорящий на тайном языке» (< мер. *jelma «язык»), *неёла* «нет» (< мер. *(e) jola «нет (не есть)») (наст. изд., с. 78-79, 84) и т.д.

Иначе проявляет себя апеллятивная лексика субстратного происхождения в диалектах. Если вначале здесь, как и в ономастической и арготической лексике, довольно часто встречаются (пережиточно) те понятия, которые легко могли бы быть переданы общерусскими словами славянского происхождения, которые, однако передаются мерянскими по происхождениям лексемами *(урма* «белка», *лейма* «корова»), то со временем эта лексика выходит из употребления и в диалектном узусе сохраняются только те субстратные слова, которые обозначают специфические явления, характерные для данной местности, ее природы, особенно хорошо приспособленные к местной трудовой деятельности — *сорьез* «хариус» (название не рыбы вообще, а характерного местного ее вида), *тохта* (< мер. *tohta, — наст. изд., с. 47) (название трухлявой древесины), *мякша* (гнилушка) (слова удобные как точные обозначения видов древесины и тем самым важные для постмерянских областей с их развитым лесным хозяйством), *колеть* «умирать (о скоте)» — слово, в форме *о-колеть* широко известное и литературному языку, и т.п.

Следовательно, первоначально (очевидно, как наследие двуязычного периода с его постоянным переключением с одного языка на другой) диалектный и арготический языки постмерянских местностей получили большой запас лексики, унаследованной от мерянского языка. Здесь наряду со словами, обозначавшими своеобразные синонимические оттенки или реалии, было много слов, являющихся абсолютными синонимами для обозначения наиболее элементарных общих понятий, которые ни семантически, ни стилистически ничем не отличались от слов славянского происхождения, имевшихся в русском литературном языке и других (непостмерянских) говорах русского языка. Эти слова активно употреблялись в пору, когда еще не вышел из употребления мерянский язык и существовало мерянско-русское двуязычие, а также по инерции и некоторое время после этого, в особенности в отдаленных местностях, живущих своей изолированной жизнью. Хотя мерянская грамматика перестала использоваться, но сохранилась еще традиция употреблять подобные слова в разговоре с односельчанами и носителями данного русского постмерянского говора (как привычка, унаследованная от предшествующего двуязычного периода). Данные слова употреблялись как в территориальных говорах, так и в локальных социолектах. Однако в дальнейшем их судьба в первых и последних стала разной. Поскольку местные диалекты или говоры являлись частью общенародного русского языка, его носители должны были стремиться ко взаимо-

[52] Появление простых существительных в названиях рек при передаче их славянами объясняется тем, что в мерянском эти названия образовывали сложные слова со вторым компонентом *juk «река» (т.е. *KolDomajuk «Безрыбная река», *Šarnejuk «Вербовая (букв. — Верба) река» и под.), который славяне обычно отбрасывали.

пониманию с носителями других говоров. Поэтому в меру того, как упрочивались их связи с носителями других говоров — а к этому вели такие факторы, как развитие экономики, улучшение путей сообщения, ликвидация крепостного права, переселения в другие местности и т.д. — постмерянские говоры все более стали сближаться с литературным языком, а их носители избавляться от слов, обозначающих самые обычные общие понятия, но совершенно отличающихся от литературных и вообще общерусских. Эти слова были понятны только в своей местности, и их не понимали и нередко вышучивали в других местах. К ним в лексике говора, как правило, относились слова мерянского происхождения. Таким образом, постмерянские говоры освобождались, как от ненужного балласта, от этих непонятных в других местах и неоправданных с точки зрения русского языка слов. Постепенно в местных говорах стали оставаться только те специфические слова, которые не имели соответствий в литературном языке, будучи необходимыми в связи с особенностями местной жизни, быта, трудовой деятельности (название специфических реалий — связанных с местными промыслами, кушаньями, бытом и т.д.). Часть из этих слов могла также выпадать из лексики с изменениями условий жизни.

Иная судьба ожидала мерянскую лексику в «тайных языках». Здесь, напротив, поскольку нужны были слова-преграды, ширмы, мешающие пониманию со стороны непосвященных, необходимы были непонятные слова именно для обозначения самых распространенных понятий. Однако с отмиранием тайных языков стал вместе с ними отмирать и этот источник сохранения мерянской лексики.

Наиболее прочным, менее зависимым от условий жизни оказывается «язык земли», топонимы мерянского происхождения. Однако этот язык, не будучи связан непосредственно с апеллятивной лексикой, требует особых усилий для своего понимания, поскольку отсутствие столь острой необходимости в прозрачности семантики, которую наблюдаем в апеллятивах, делает этот язык зачастую слишком темным, с трудом поддающимся расшифровке.

2. Проблема адаптации фонетических элементов при взаимодействии мерянского субстратного языка с русским языком-преемником

Данная проблема при настоящей степени разработанности мерянистики вообще может быть затронута только в общих чертах.

С одной стороны, по-видимому, определенное воздействие со стороны фонетики мерянского языка испытала фонетика всех русских говоров бывшей мерянской территории, а через них в какой-то степени и фонетика русского литературного языка. Так, для системы местных русских окающих говоров характерно оканье с редукцией, возможно, связанное с системой мерянского вокализма, где выступали редуцированные ə̲, ə̲̂ и, вероятно, было возможно безударное о̲ (наст. изд., с. 30–31, 34–35, 43–44, 56). Именно это обстоятельство способствовало быстрой перестройке и специфичности местной системы вокализма при влиянии на них, прежде всего на говор Москвы и ее окрестностей, южнорусских акающих говоров. Здесь распространилось аканье с редукцией, т.е. установилась система, свойственная современному русскому литературному языку.

В основном развитие фонетики, как это и наблюдается при длительном сосуществовании двух языков, шло в сторону их сближения, хотя процесс этот был очень долгим — и до сих пор в постмерянских русских говорах много фонетических черт, говорящих об их мерянском прошлом.

Если русский язык мог усвоить себе от мерянского его редукцию, то мерянский, очевидно, под влиянием русского утратил, видимо, существовавшие в нем своеобразные переднерядные лабиализованные звуки ӧ̲ и ӱ̲, а также различие е̲ и ӓ̲, которое могло в русских северных говорах поддерживаться наличием фонем ѣ̲ и е̲ (наст. изд., с. 21, 29, 37–41).

В основном все же сближение шло в сторону постепенного приближения мерянской фонетики к русской, тем более, что в конечном счете оно привело к субстратизации мерянского языка. Первоначально

существовавшие в мерянском полузвонкие были постепенно заменены звонкими, хотя наличие полузвонких и нефонематичность противопоставления глухой–звонкий (< полузвонкий) и до сих пор дает себя знать в (пост)мерянских русских говорах, в постоянной путанице глухих и звонких (с точки зрения литературного языка) (*кадюка*, *падог* и под. — наст. изд., с. 16–18). Постепенно постмерянские говоры утратили звук β̲ (там же, с. 22–25), среднеязычные звуки (там же, с. 26–27), глухие сонанты (там же, с. 27), усвоили звук x̲ и утратили звук h̲ (там же, с. 53–54) и т.д. Хотя пережитки прежнего состояния, например, избегание сочетаний согласных в начале слова (*пасибо* (< спасибо), *(на)рахать* (< (на)страхать) и т.п.) (там же, с. 19–21), инициальное ударение в топонимах мерянского происхождения (диал. *Ко́строма* при лит. *Кострома́*) (там же; с. 44) и т.д., еще реликтно встречаются в постмерянских русских говорах, все же с течением времени они все больше идут на убыль. Подобное направление фонетического развития имеет своей причиной бо́льшую социолингвистическую престижность (славяно-)русского языка сравнительно с мерянским, особенно повысившуюся (с одновременным все большим понижением социальной ценности мерянского) к концу существования мерянского языка. Речь в данном случае идет не об абстрактной «красоте» или «безобразности» тех же самых звуков, а об их оценке в связи с социологической оценкой языка в целом. Те же самые звуки ö̲ и ü̲, которые оказались неприемлемыми в мерянском с точки зрения русского, одновременно высоко оценивались во французском языке опять-таки с точки зрения русского. Звук β̲ был неприемлем в мерянском, но одновременно его стремятся усвоить и усваивают в испанском и т.д. Вопрос звуковой адаптации и сближения языков не относится к одному русскому и мерянскому. Он гораздо шире. Звуки ö̲ и ü̲ или один из них были, видимо, свойственны еще финно-угорскому праязыку (Лыткин, 1974, с. 102). Однако далеко не во всех этих языках они сейчас представлены. Возможно, вовсе не случайно они есть в финском, эстонском и венгерском, которые длительное время контактировали с германскими языками (немецким и скандинавскими, где они имеются), в марийском, контактировавшем с татарским, где они также существуют. Но их нет в ливском, поскольку их нет во влияющем на него латышском (звук и известен только старикам, носителям одного из двух ливских говоров, — наст. изд., с. 42), и в мордовских языках, длительное время подвергавшихся сильному русскому влиянию. Следовательно, при сближении двух языков большее влияние оказывает в фонетике социолингвистически сильнейший. В то же время в более имплицитном виде часть своих фонетических тенденций передает языку-преемнику и язык-субстрат. Фонетические особенности и тенденции субстратного языка держатся особенно долго и упорно, надолго переживая сам этот язык. Очень многие черты постмерянских русских говоров и до сих пор, особенно же в прошлом, — начале XX века, обнаруживают яркий финно-угорский (мерянский) «акцент», хотя мерянского языка давно не существует, а вместе с ним исчезли и мерянско-русское двуязычие и возможность влияния фонетики мерянского языка на фонетику русского.

Однако, не находя себе поддержки в фонетической системе русского литературного языка и других русских говоров, эти пережитки, противоречащие им, вызывающие искажение фонетического облика русских слов (ср. *моргать* ← сморкать, *не рой его* ← не тронь его и т.п.) (наст. изд., с. 20, 27), должны постепенно вытесняться. Из фонетического влияния мерянского языка имеют реальные основания остаться среди субстратных только те его особенности, которые или совпадают с особенностями русского языка, или с ними сблизились: *tü, *tö > t'u, t'o — ср., в частности, мер. *βöksə «пролив; река, вытекающая из озера и служащая связью между ним и рекой» — р. *Вёкса* (наст. изд., с. 41–43), а также те, которые настолько слабо уловимы, что с трудом осознаются и поэтому имеют шансы сохраниться (особенно в ритмомелодике), — как правило, эти наиболее стойкие особенности имеют тенденцию проникать как в фонетику говоров, так и даже литератур-

ного языка (ср. его редукцию). Впоследствии эти ритмомелодические особенности, возможно, могут вызвать «вторичные» фонетические процессы, которые приведут к некоторым изменениям, близким к субстратным.

Наиболее стойко фонетический облик мерянского языка, с неизбежными, однако, позднейшими адаптациями, по-видимому, сохранится в реликтных мерянских словах (апеллятивах и ономастике).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрение реконструированного мерянского языкового материала в историко-социолингвистическом плане позволяет обнаружить в развитии мерянского языка и его субстратизации (постепенном его превращении в мерянский субстрат русского языка) черты, видимо, общие с другими субстратными языками, и специфические особенности, обусловленные своеобразием языка и его истории, внешней и внутренней.

2. К чертам, общим с другими субстратами, принадлежит наибольшая стойкость внутренней формы субстрата и наименее контролируемой сознанием звуковой его стороны, ритмомелодики. К наименее стойким принадлежит грамматика в ее материальном проявлении и апеллятивная лексика, обозначающая наиболее общераспространенные понятия, большей стойкостью тот же разряд лексики обладает в составе ономастики.

3. При сближении языков и в особенности их смене наиболее решающую роль для направления сближения и смены играет социолингвистическая ситуация этнических обществ, носителей языков. Ею предопределяется их социолингвистическая оценка. Социологически более престижный язык влияет на менее престижный. Если сумма преимуществ, связанных с этнической общностью, носителем второго языка, значительно и стойко превосходит те социальные достоинства, которые связаны с принадлежностью к этнической общности первого языка, возникает положение, могущее в конечном счете привести первую общность к смене своего языка на язык второй общности. Для этого, однако, должны также сложиться предпосылки, способствующие их слиянию и образованию из них одного этнического общества, этноса.

4. При вытеснении языка (не связанном с физическим уничтожением его носителей типа истребления туземцев Тасмании) вытесняемый язык в большей или меньшей мере влияет на вытесняющий. Сила воздействия субстрата зависит от социологических качеств общества, носителя языка, ставшего субстратом (его количества, развитости, площади, занятой им, оригинальности культуры и т.п.). Чем выше эти показатели, тем более существенным может быть влияние субстрата. Очень большое значение для сохранности элементов субстрата в языке-преемнике имеет изолированность последнего от других родственных языков.

5. Спецификой мерянского субстрата в русском языке (в отличие от ряда других субстратов Европы) является то, что:

1) это субстрат неродственного по отношению к русскому (неиндоевропейского) языка, что обеспечивает лучшую его распознаваемость по отношению к индоевропейским;

2) это субстрат языка, который относительно недавно прекратил свое существование (в XVIII в.) по сравнению с рядом других известных науке субстратов (галльским, дакийским, иберским), где соответствующие языки исчезли очень давно (в первые века н. эры и ранее), т.е. более тысячи лет тому назад;

3) мерянский язык исчез, но сохранился ряд родственных ему финно-угорских языков и диалектов, что облегчает его реконструкцию;

4) хотя в период существования мерянского, точнее в последнее время его развития, не были записаны его оригинальные тексты, однако есть основание считать, что в прошлом на нем должны были создаваться памятники, которые, возможно, сохранились и только ждут своего открытия;

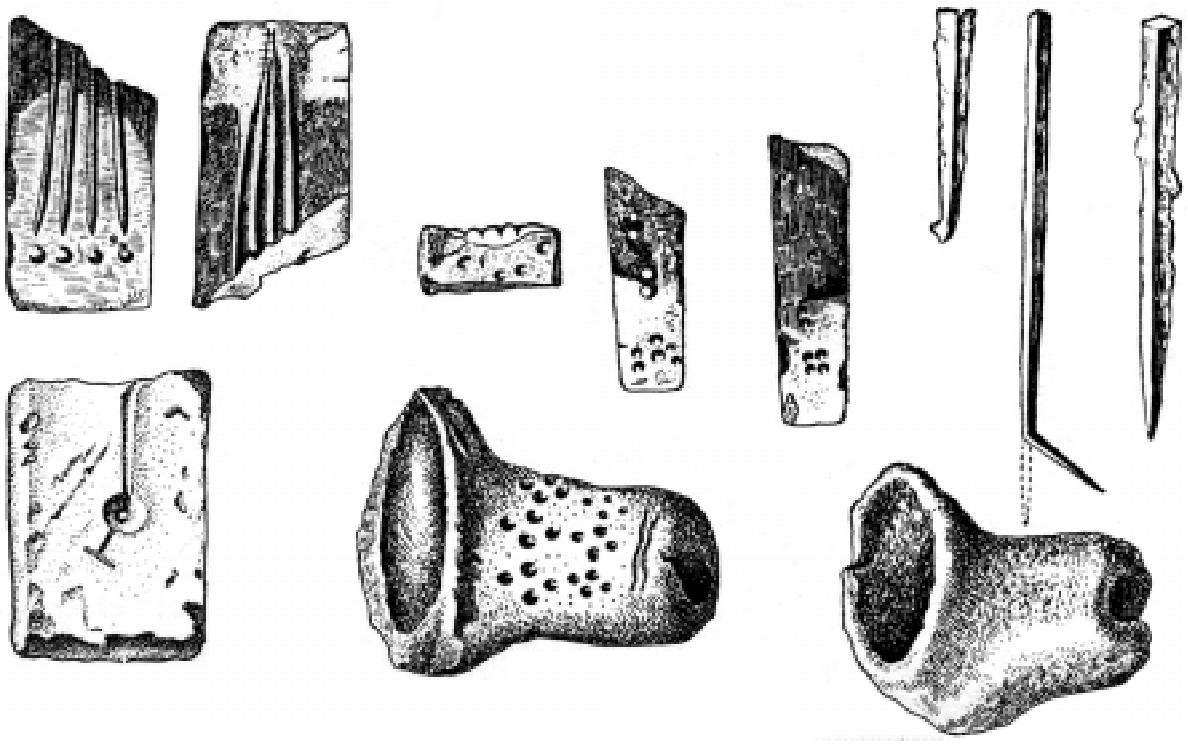
5) даже в случае их отсутствия имеются многочисленные реликты мерянского языка, которые позволяют, хотя и с пробелами, установить многие его стороны; изучение записей мерянской ономастики, произведенных в разное время, позволяет до известной степени представить себе историю мерянского языка и его диалектную вариативность, в особенности фонетическую и лексическую;

6) все это позволяет рассматривать изучение и реконструкцию мерянского языка из его субстратных элементов как едва ли не наиболее перспективную среди других субстратов; это, несомненно, даст возможность воспользоваться ее опытом для более сложных реконструкций других субстратных языков, в том числе дославянских (в частности, скифского, дакийского, возможно, также синдского для украинского, ятвяжского и других, балтийских — для белорусского, кельтских и германских — для западнославянских, романских и (палео)балканских и частично греческого — для южнославянских);

7) изучение мерянского языка, важное само по себе и с точки зрения финно-угристики, не менее важно с двух точек зрения и для славистики — 1) как путь к изучению ряда черт специфики русского языка; 2) как подход к проблеме домерянского субстрата мерянского языка, который мог отражать протославянскую стадию развития славянских языков.

6. Изучение мерянского языка позволяет проникнуть в глубь истории финно-угорских языков и, возможно, открыть наиболее древние памятники финно-угорских (в частности, финских) языков, восходящие к XI в.

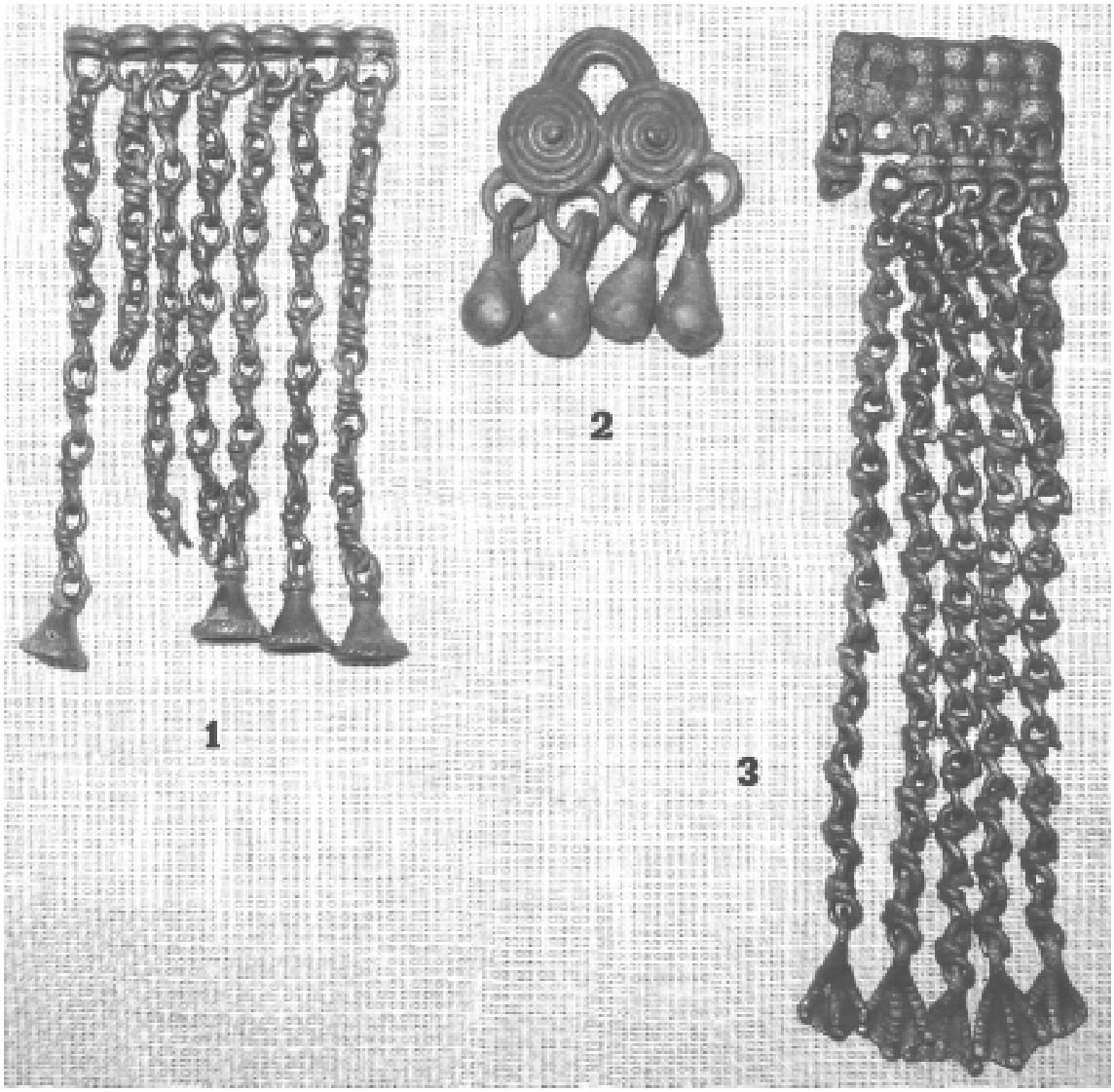
7. Сложность и ответственность задач, возникающих при реконструкции мерянского языка и изучении его истории, внутренней и внешней, что требует комплексного подхода, ставит перед необходимостью создания новой отрасли науки — мерянистики, находящейся на стыке финно-угроведения и славистики, целью которой является всестороннее изучение мерянских, в том числе языковых, древностей и этноса, носителя мерянского языка, в его истории.



Орудия литейщика-ювелира с Дурасовского городища IX в. на р. Стежере.
[22, стр. 114]

ЧАСТЬ 3

MERIANICA



Бронзовые шумящие подвески 2 пол. 1 тыс. н.э. (по краям)
и конца 1 - начала 2 тыс. н.э. (в центре) из фондов ГУК КГИАХМЗ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третья часть настоящей книги ввиду своей специфики представлялась, как и две предыдущие, заслуживающей особого предисловия. В ней собраны все работы, так или иначе связанные с мерянской языковой проблематикой, но не вошедшие в состав двух других частей (в прошлом — книг). В какой-то степени эти работы, несмотря на некоторые почти неизбежные повторы, либо дополняют, либо резюмируют то, о чём говорится в предшествующих частях, и тем самым могут быть полезны.

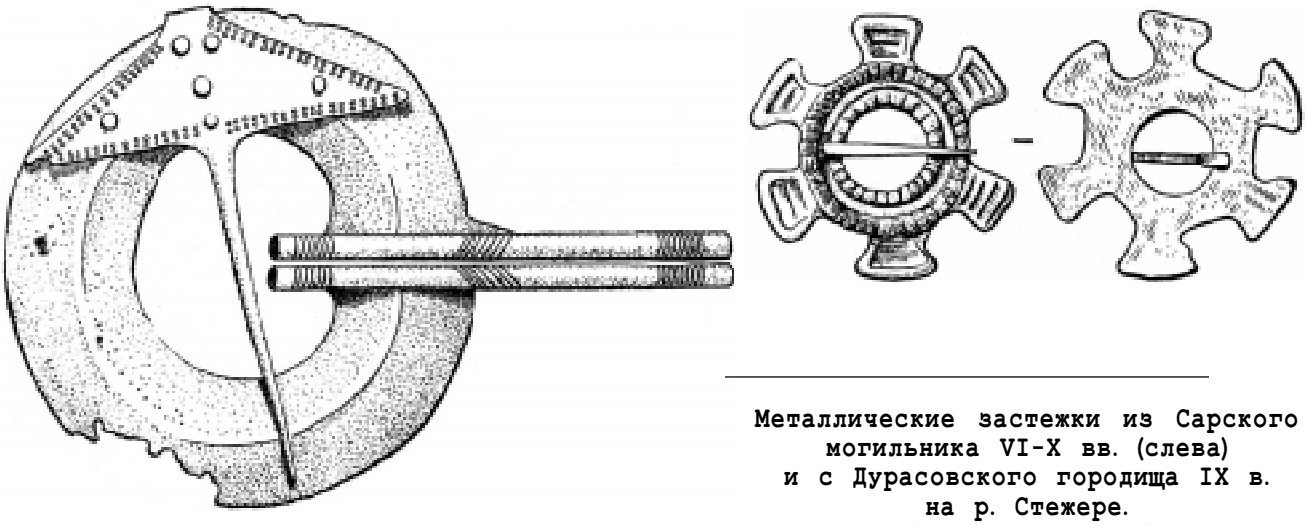
Поскольку содержание статей весьма разнообразно, представляя собой своего рода лингвистическую «мозаику», казалось неоправданным и почти невозможным располагать их по тематическому признаку. Ему был предпочтён чисто хронологический порядок. Исключение сделано только для работы «О некоторых особенностях реконструкции мерянского языка», которая, как непосредственно связанная с содержанием первой части («Мерянский язык»), помещена в начале.

Необходимость собрать приведённые работы «под одной крышей» диктовалась желанием дать читателю максимум всего написанного автором по поводу мерянского языка. Иначе, будучи разбросанным в разных, к тому же не всегда доступных изданиях, часть вышесказанного по этому поводу выпала бы из его поля зрения, в чём-то обеднив представление о проблеме в целом. А это было бы крайне нежелательно в связи с важностью проблемы мерянского языка, к изучению которого хотелось бы привлечь внимание как можно более широкого круга исследователей. Ведь время идёт и уносит вместе с собой (быть может, невосполнимо) то, что осталось от этого угасшего и надолго забытого (с большим ущербом для науки) языка.

Латинское название «Merianica» («Мерянское») дана собранию приведённых статей по образцу аналогичных работ, посвящённых другим (и часто так же мёртвым) языкам типа «Polabica», «Prussica» и т.п.

В третью часть включён также справочный библиографический аппарат, связанный со всеми частями.

Завершает третью часть «Приложение (Автор о языках и о себе)», в какой-то степени дополняющее изложенное в предшествующих частях книги, поскольку, помимо сугубо биографического материала, здесь содержатся мысли, связанные с природой языков и их изучением.



Металлические застежки из Сарского могильника VI-X вв. (слева) и с Дурасовского городища IX в. на р. Стежере.
[22, стр. 114, 118]

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА*

Стремясь к возможно более полной реконструкции мерянского языка, восстановимого пока только на основании его отражений в русском, исследователь не имеет права пренебречь ни одним из подобных отражений как материальных в виде слов мерянского происхождения со всем, связанным с ними набором форм, так и, образно говоря, отражений идеальных, представленных мерянской семантикой (внутренней формой), выраженной, однако, русскими (славянскими) оборотами, словами и их грамматическими показателями.

Подобные случаи реконструкции не по форме внешней (материальной) соответствующих фактов, а по их внутренней идеально-семантической форме представляют наибольшую сложность ввиду того, что преимущественно мы бываем лишены возможности воссоздать конкретный мерянский материальный облик предполагаемых лексических, грамматических либо фразеологических фактов и в связи с этим вынуждены реконструировать их в обобщенной финно-угорской форме той или иной хронологической глубины. Естественно, что подобные условные реконструкции, которые только предстоит «мерянизировать» в случаях, когда будут обнаружены их точные мерянские материальные соответствия, не могут полностью удовлетворить в связи с незавершенностью их реконструкции как конкретных явлений мерянского языка. Однако при всей их реконструктивной незавершенности они имеют несомненную исследовательскую ценность, поскольку дают, пусть в вынужденно обобщенном и незавершенном виде, общее, более полное, чем могло бы быть без них, представление о грамматической, фразеологической, лексической системе мерянского языка.

Поскольку вопросы подобного рода реконструкций лексики и фразеологии мерянского языка затронуты в других работах автора данной статьи, здесь наиболее целесообразно остановиться на особенностях реконструкции грамматических, в частности субстантивных, форм, тем более, что данные реконструкции, однако, с вынужденно кратким комментарием, их обоснованием, приведены в части 1-ой наст. изд. (см. с. 66–70).

Для того чтобы проиллюстрировать исследовательские приемы, с помощью которых следует реконструировать часть мерянских падежей, существование которых можно предположить на основе их семантического отражения в русском языке, целесообразно в частности воспользоваться системой финно-угорских местных падежей, по-видимому, нашедших свое отражение в двух вариантах русского предложного падежа целого ряда существительных единственного числа мужского рода 2-го склонения. — Ср.: *В этом саду* есть беседка, но *В этом саде есть что-то особенное*. В первом случае речь идет о чем-то, находящемся внутри сада, во втором речь идет о саде в целом, как бы рассматриваемом со стороны. Подобное значение может быть также передано синонимическим предложным сочетанием *У этого сада есть что-то особенное*. Точное соответствие подобной семантики можно найти в прибалтийско-финских языках, в частности, в эстонском и финском языках, — ср.: эст. *Selles aias* on lehtla «*В этом саду* есть беседка» — *Sellel aial on miski eriline* «В этом саде есть что-то особенное (*У этого сада* есть что-то особенное); ф. *Tässä tarhassa* on lehtimaja «*В этом саду* есть беседка»; *Tällä tarhalla* on jokin erikoinen «*В этом саде (У этого сада)* есть что-то особенное».

Ввиду, однако, того, что в случае, если бы данная черта русского языка объяснялась лишь влиянием прибалтийско-финских языков, то она затронула бы только часть периферийных северорусских гово-

* Статья возникла как необходимое объяснение части реконструкций мерянского отыменного склонения в ч. 1-ой (Мерянский язык), с. 66.

ров, между тем как ей суждено было стать чертой русского (литературного) языка в целом, естественней предположить, что здесь скорее речь идет о мерянском влиянии. Подобное предположение выглядит тем более правдоподобным, что в ряде других своих особенностей, в частности лексических, мерянский язык обнаруживает особую близость к прибалтийско-финским языкам. Следовательно, не было бы ничего неожиданного и в том, если бы субстантивно-падежная система мерянского языка обнаруживала черты сходства с прибалтийско-финской. Именно мерянский язык, распространенный в Центральной России, на территории формирования русского литературного языка при своем медленном угасании (с 10–11 по 18-ый век) и, следовательно, длительном воздействии, мог повлиять на русский язык, передав ему данную семантическую падежную модель, выраженную двумя формами предложного падежа русского языка.

Наличие отражений внутриместного падежа (инессива) и внешнеместного (адессива), не различающихся ни в мордовском, ни в марийском языках и дифференцированных в прибалтийско-финских, заставляет предположить, что мерянский язык в этом отношении отличался от волжско-финских языков, имея структурное сходство с прибалтийско-финскими. Однако ввиду того что в прибалтийско-финских языках, как в ряде других финно-угорских, например венгерском и мордовских, каждый из местных падежей, помимо формы, отвечающей на вопрос *где?*, имеет также формы, отвечающие на вопросы *куда?* и *откуда?*, выраженные в прибалтийско-финских языках соответственно для внутренне местных падежей формами *иллатива* (куда?) и *элатива* (откуда?), а для внешнеместных формами *аллатива* (куда?) и *аблатива* (откуда?), вполне естественно предположить их наличие и у мерянского.

Исходя из данных сравнительно-исторической грамматики финно-угорских языков, и прежде всего опираясь на показания истории прибалтийско-финских и мордовских языков, в обобщенном (исходном для мерянского) виде, предполагаемые падежи мерянского языка можно представить для мерянского слова palo «село, деревня» в том виде, в котором они даны в книге «Мерянский язык», а именно:

инессив **palosa (< **palosna) «в деревне»

элатив **palosta «из деревни»

адессив **palola (< palolna) «на деревне»[1]

аллатив **palol «на деревню»

аблатив **palolDa «с деревни».

В более упрощенной, принятой для реконструкции мерянских форм, слов и оборотов символике данные реконструированные формы предстают в следующем виде:

инессив [*palosa (< *palosna)] «в деревне»

элатив [*palosta] «из деревни»

адессив [*palola (< *palolna)] «на деревне»

аллатив [*palol] «на деревню».

аблатив [*palolDa] «с деревни».

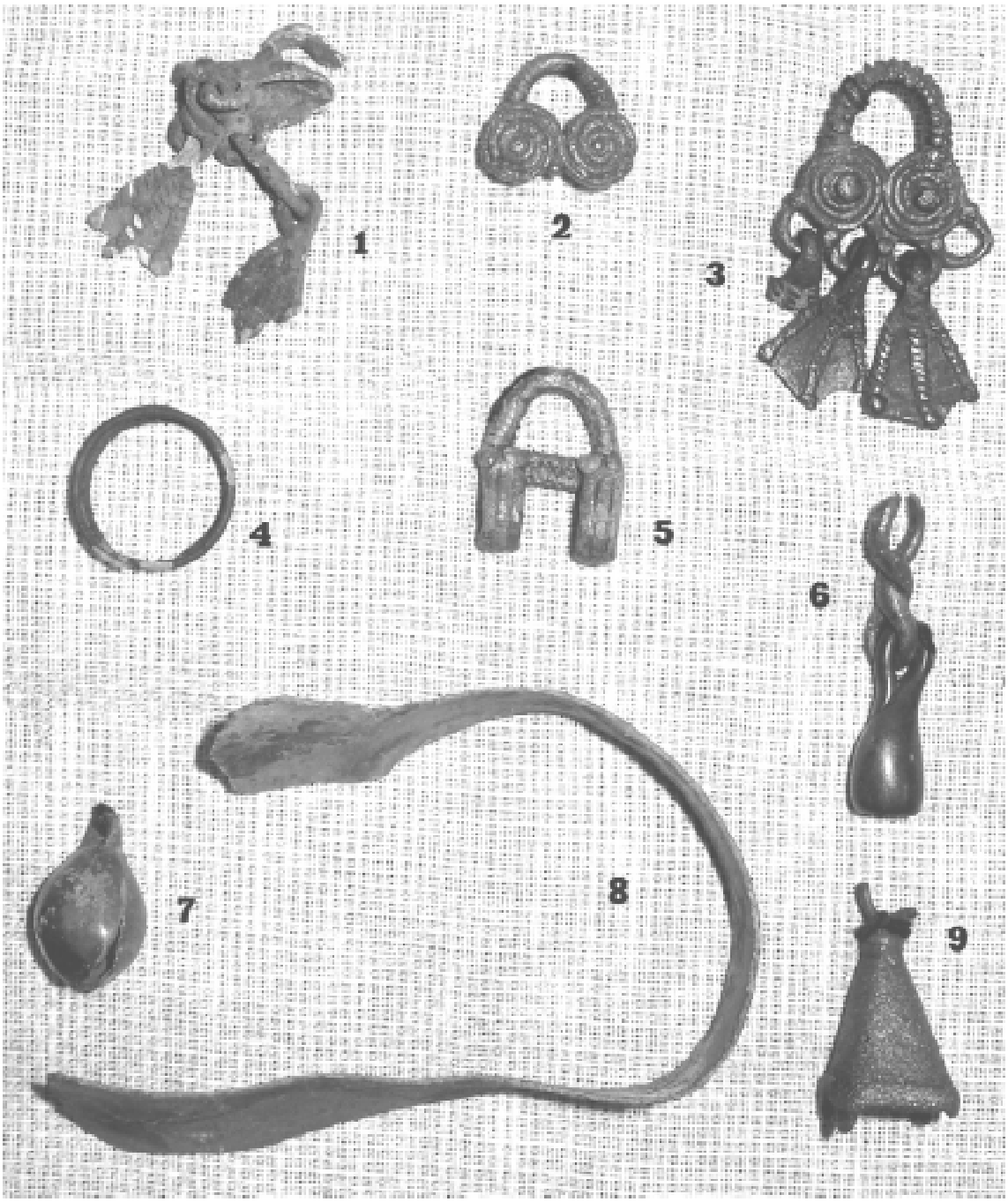
Реконструкция по внутренней, а не по внешней, форме мерянских фактов, отраженных в русском языке лишь семантически, разумеется, как уже сказано, не имеет той относительной завершенности, которую могут дать материальные свидетельства мерянского языка. Однако польза их в том, что с их помощью можно расширить наше представление о системе мерянского языка в целом, а впоследствии при обнаружении дополнительных материальных данных получить более точное представление о тех грамматических явлениях, которые вначале вынужденно предстают в обобщенно-гипотетической (праязыковой) форме.

Ввиду отличия подобного типа реконструкций от восстановления по материальным остаткам, заключающегося в их большей гипотетичности, реконструируемые таким образом языковые факты должны отличаться с помощью особых символов от реконструкций материальных. Если материальные реконструкции имеют перед собой знак * (астериск), то семантические реконструкции должны сигнализироваться знаком ** (два астериска), что и сделано в книге «Мерянский язык». Если же для материальной реконструкции считать до-

[1] В русском языке для существительных мужского рода этой форме соответствуют упомянутые предложеные конструкции с предлогами *в* (в этом саде) или *у* (у этого сада).

статочным передачу ее в латинской графике (ср.: urma(-ə̑) «белка», – в отличие от мерянизма русского языка, передаваемого кириллической графикой (*урма*)), то реконструкцию по внутренней форме более логично передавать в квадратных скобках с астериском перед ней [*palosa] «в деревне»). Скобки [ ] должны указывать на обобщенно-гипотетическую (праязыковую) форму реконструкции, нуждающейся в производной мерянской конкретизации, * (астериск) – на реконструктивность формы. Что касается в таком случае форм со знаком * (астериском) без квадратных скобок, то они должны обозначать предшествующие засвидетельственным материальным фактам мерянского языка их предполагаемые (незасвидетельствованные) формы, например: urma(-ə̑) «белка» < *or(ə̑)βa(-ə̑), < *oraβa.

Представленные в формах соответствующей символики различия в типах реконструкции мерянского языка отражают как исходные для реконструкции данные (материальные или семантические), так и степень нашей продвинутости в приближении к подлинной форме, реконструируемых мерянских языковых явлений.



Бронзовые украшения 2 пол. 1 тыс. н.э. и конца 1 - начала 2 тыс. н.э. из фондов ГУК КГИАХМЗ.

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИННО-УГОРСКОГО СУБСТРАТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Финно-угорский субстрат в русском языке относится к наиболее сложным объектам исследования как в финно-угроведении, так и в славистике. Поэтому до последнего времени специалисты обеих областей часто избегали касаться связанных с ним вопросов даже там, где это было необходимо. Тем не менее существует ряд фактов русского языка, не понятных без обращения к финно-угорскому субстрату. К ним относятся явления, которые при материальном или типологическом сходстве с финно-угорскими и при отсутствии убедительных аналогов в других славянских и смежных с русским нефинно-угорских языках, в то же время не могут принадлежать ни одному из существующих финно-угорских языков. Если упомянутые явления будут обнаружены и доказаны, то мы имеем факты финно-угорского субстрата в русском языке. Бесспорно, что в обнаружении и истолковании этих фактов заинтересованы как финно-угроведы, так и слависты.

Недостаточная изученность большинства финно-угорских языков до Октябрьской революции препятствовала исследованию финно-угорского субстрата в русском языке. Большие успехи советского финно-угроведения в целом, особенно же в изучении мордовских, марийского, пермских и обско-угорских языков, а также достижения в области русистики, в частности истории и диалектологии русского языка, способствовали заметному оживлению исследования финно-угорского субстрата русского языка. Об этом свидетельствует ряд работ, появившихся за последние 10-15 лет.[1] Основу для дальнейшей работы отчасти создают и близкие по теме археологические исследования.[2] Однако сделаны лишь первые шаги как в обнаружении несомненных субстратных элементов и реконструкции их исходных финно-угорских форм, так и в разработке необходимых теоретических предпосылок. В связи с этим представляется целесообразным затронуть некоторые вопросы, связанные с данной проблематикой.

1. Языковая неоднородность финно-угорского субстрата в русском языке и значение его исследования для финно-угроведения

Выражение «финно-угорский субстрат русского языка» является в сущности сокращением более точного понятия: финно-угорские субстраты диалектов русского языка. Последнее обусловлено принадлежностью финно-угорских субстратных включений русского языка не какому-то одному финно-угорскому языку, а целому ряду языков и диалектов. Эти субстраты относятся к нескольким видам, основные из которых — 1) частичные субстраты и 2) полные субстраты. Первому виду принадлежат явления, связанные с частичным переходом на русский язык представителей определенной этнолингвистической общности, при котором другая её часть сохраняет свой язык (водский, ижорский, вепсский), как правило, хо-

* Публикация в ж.: Советское финно-угроведение (Таллинн), 1978 (XIV), № 3, с. 204-209.

[1] См., например: *В.Т.Ванюшечкин*, К вопросу о финно-угорских элементах и лексике мещерских говоров. — СФУ IX 1973, стр. 179-184; *В.И.Лыткин*, Еще к вопросу о происхождении русского аканья. — ВЯ 1965, № 4, стр. 44-52; *А.К.Матвеев*, Субстратная топонимика русского Севера. — ВЯ 1964, № 2, стр. 64-83; *его же*, Этимологизирование субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем. — ВЯ 1976, № 3, стр. 58-73; *Б.А.Серебренников*, О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике русского Севера. — СФУ III 1967, стр. 199-205; *его же*, О гидронимических формантах *-ньга*, *-юга*, *-уга*, *-юг*. — СФУ II 1966, стр. 59-66:, *G.Stipa*, Zur Frage des mordwinischen Substrats im Südgroβrussischen — Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itokonen, Helsinki 1973 (MSFOu 150), стр. 380-389; *W.Veenker*, Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen Sprache, Bloomington — The Hague 1967 (UAS 82).

[2] См.: *А.П.Смирнов*, Очерк древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья, Москва 1952; *Е.И.Горюнова*, Этническая история Волго-Окского междуречья, Москва 1961.

рошо зафиксированный. Ко второму относятся случаи давно исчезнувших языковых образований (языков или диалектов), которыми пользовались этнически определенные общности (меря, мурома), этнически не расчлененные группы (заволочская чудь), этнически не определенное финно-угорское население (например, по-видимому, прибалтийско-финские насельники на территории между землями древних эстов и мери, ср. *Мста* — фин. *musta* «чёрный», *Тверь* (древнерус. *Тьхвѣрь*) — фин. *Tihverä*).

Однако степень полноты второго вида субстратов далеко не одинакова во всех случаях, поэтому разница между ними и частичными субстратами отнюдь не абсолютна, а зависит от степени языкового своеобразия данного полного субстрата. Здесь можно выделить случаи 1) субстратного диалекта; 2) субстратного языка как члена существующей финно-угорской языковой группы; 3) субстратного языка (или языков), образующего особую языковую группу.

Последний случай в первую очередь заслуживает отнесения к полным субстратам в связи с наиболее сложной реконструкцией исходного (финно-угорского) состояния. Первый не может быть отнесен безоговорочно к частичным субстратам главным образом в силу большей хронологической глубины. При всей неполноте имеющихся сведений уже теперь можно полагать, что большинство полных субстратов русского языка связано с диалектами или — реже — возможно, с языками двух групп — прибалтийско-финской (заволочская чудь[3], языковая территория между древнеэстонскими и мерянскими землями) и мордовской (мурома[4], мещера[5]).

Исключение, видимо, составляет только мерянский язык. Попытки видеть в нем язык, близкий к марийскому[6], вряд ли обоснованы. Более оправданно рассматривать мерянский язык в качестве связующего звена между прибалтийско-финскими и мордовскими[7], а также, по-видимому, марийским языками. Наличие в мерянском языке отдельных лексических элементов, общих с угорскими, возможно, говорит о каких-то древних меряно-угорских связях[8]. Предположению о марийском характере мерянского языка противоречат данные той субстратной русской лексики, которую можно связать с мерянским языком. Здесь наряду со словами, сходными с марийскими (преимущественно с параллелями в других родственных языках), типа *Юкша* (мар. *йӱксӧ* «лебедь», фин. *joutsen*, диал. *joeksen*, манс. *josch(woi)* то же), *Шерна (Шорна)* (мар. *шертне* «верба», фин. *saarni* «ясень»), *Ингирь* (мар. *энгер* «речка»), выступают также важные слова, явно связанные с прибалтийско-финскими, рус. (костромск.) *лéйма* «корова» (фин. *lehmä* «корова», эст. *lehm*, вепс. *l'ehm* то же — морд Э *лишме* «лошадь», мар. *ушкал* «корова»), рус. (костромск., галич.) *сúка* «свинья» (фин. *sika* «свинья», эст., вепс. *siga* то же — мар. *сӧсна* «свинья», морд. *туво* то же). Часть же слов, имея параллели в ряде финно-угорских языков, значительно от них отличается по форме: *Яхрен*, *Яхрень* (мер. **jähr(e)* «озеро», *jähren(-ń)* «óзера; озёрный» — морд. *эрьке* «озеро», *эрькень* «óзера; озёрный», фин. *järvi*, эст. *järv*, саам. *jaw're*, мар. *ер* то же), рус. (костромск.) *ýрма* «белка» (фин. *orava* «белка», эст. *orav*, вепс. *orau*, мар., морд., коми *ур* то же). Всё это подтверждает мнение А.И.Попова: «...меря, несмотря на несомненные общности в словаре с другими финно-уграми, существующими ныне, в то же время значительно от-

[3] *А.К.Матвеев*, Субстратная топонимика русского Севера. — ВЯ 1964, № 2, стр. 83.

[4] *А.И.Попов*, Названия народов СССР. Введение в этнонимику, Ленинград 1973, стр. 101-102; *Е.И.Горюнова*, указ. раб., стр. 155, 159, 161.

[5] *В.Т.Ванюшечкин*, К вопросу о финно-угорских элементах в лексике мещерских говоров. — СФУ IX 1973, стр. 179-184.

[6] *M.Vasmer*, Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas III. Merja und Tscheremissen, Berlin, 1935, S. 507-594.

[7] Ср. *P.Ravila*, Polemik. Merja und Tscheremissen. — FUFAnz. XXVI 1938, S. 25-26; *А.И.Попов*, указ. раб., стр. 101, 106; *Б.А.Серебренников* (Обсуждение докладов и сообщений. Ответы на вопросы). — Происхождение марийского народа. Материалы научной сессии, проведённой Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (23-25 декабря 1965 года), Йошкар-Ола 1967, стр. 288-289.

[8] Ср. компонент *-бол(-)* в топонимах бывших мерянских земель типа *Пушбола*, *Яхробол* и под., сопоставляемый с венг. *falu* «деревня», манс. *павыл* то же, см. *Б.А.Серебренников*, Происхождение марийского народа по данным языка. — Происхождение марийского народа, стр. 179.

личалась в языковом отношении...».[9] Есть основание считать, что мерянский язык среди финно-угорских мог составлять особую языковую группу. Расположение ее в центре древней финно-угорской языковой территории, между прибалтийско-финскими, мордовскими, марийским, возможно, также угорскими и пермскими языками вместе с тем обстоятельством, что это, видимо, единственная финно-угорская языковая группа, представленная только в виде субстрата, делает особенно важной реконструкцию исходной финно-угорской формы её языковых реликтов.

Возможное частичное восстановление лингвистических фактов исчезнувших финно-угорских языков и диалектов, особенно мерянского языка, могло бы сыграть важную роль в выяснении древнейших взаимоотношений между финно-угорскими языками. В частности, это помогло бы в известной степени восстановить утраченные связующие звенья между прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками. Более же древние явления, относящиеся к диалектам прибалтийско-финского и мордовского типа и заключенные в их реликтах, могли бы представлять ценность для истории соответствующих языковых групп. В связи с этим финно-угорское языкознание максимально заинтересовано в возможно полном выяснении исходных финно-угорских фактов, лежащих в основе субстратных элементов русского языка.

2. Значение исследования финно-угорского субстрата в русском языке для русского и славянского языкознания

Выяснение названной проблемы предполагает знание специфических явлений русского языка, отличающих его от других славянских, которые можно рассматривать как результат воздействия субстратных языков. Работа, проделанная до сих пор, слишком незначительна, чтобы судить об объёме и роли финно-угорского субстратного вклада в русский язык. Даже факты, увязываемые с финно-угорским субстратом, исследованы, как правило, не настолько глубоко, чтобы считаться бесспорными. Следовательно, приводимые ниже примеры[10] можно расценивать как предположения. Однако даже объём выдвигаемой в них проблематики свидетельствует до некоторой степени о возможной роли финно-угорского субстрата в формировании особенностей русского языка, а это уже частичный ответ на вопрос о значении его исследования.

Не касаясь особенностей, связываемых с финно-угорским субстратом в русских диалектах, упомянем здесь только явления, свойственные русскому литературному или общенародному языку.

1. В фонетике. Аканье и редукция как возможный результат субстратного влияния со стороны древнемордовских диалектов мокшанского типа, для которых были характерны редуцированные и невозможно положение *о* вне ударения.[11]

2. В словоизменении. Особенности склонения существительных мужского рода II склонения: наличие в родительном падеже, наряду с формой на *-а*, формы на *-у(-ю)* у существительных преимущественно вещественного значения для обозначения части целого: *достать (купить) луку, уксусу, чаю — цена лука, уксуса, чая*.[12] Как типологическая параллель этого в прибалтийско-финских языках существует наряду с генитивом партитив, выражающий часть или неопределенное количество целого: эст. *saama (ostma) sibulat*, *äädikat, teed* «достать (купить) луку, уксусу, чаю» — *sibula, äädika, tee (hind)* — «(цена) лука, уксуса, чая». Близкое явление известно и мордовским языкам, где в функции партитива выступает связанный с ним по происхождению аблатив: морд Э *чайде* (аблатив) *симемс* «выпить чаю» — *чаень*

[9] *А.И.Попов*, указ. раб., стр. 101.

[10] При рассмотрении вопросов словоизменения и синтаксиса автор опирается частично на книгу В.Феенкера (*W.Veenker*, указ. раб., стр. 86, 117-118).

[11] См.: *В.И.Лыткин*, Ещё к вопросу о происхождении русского аканья. — ВЯ 1965, № 4, стр. 44-52; *Б.А.Серебренников*, Об относительной самостоятельности развития системы языка, Москва 1968, стр. 12-13; *G.Stipa*, Zum Einfluβ des Mordwinischen auf das russische Akanje. — CIFU III, стр. 515-521.

[12] См.: Грамматика русского языка. Т. I. Фонетика и морфология, Москва 1953, стр. 143-145.

(генитив) *тансть* «вкус чая». Характерно, что ни в одном из остальных славянских языков функции форм родительного падежа на *-а(-я)* и *-у(-ю)* не распределены таким образом, как в русском.

3. В словообразовании. Большая продуктивность сложных слов копулятивного типа, особенно в разговорном и фольклорном языке (менее характерная для других восточнославянских языков черта)[13]: *путь-дорога*, *руки-ноги*, *есть-пить*, *кинуть-бросить*, *жив-здоров*, *нежданно-негаданно*, *такой-сякой*, — очень типичных для финно-угорских языков, например: фин. *isä-äiti* «отец-мать», эст. *sööma-joota* «есть-пить», саам. *aka kalsa* «старуха-старик», морд Э *кепе-штапо* «босой-голый», мар. *таче-эрла* «сегодня-завтра», коми З *гöрöдны-сьывны* «крикнуть-спеть», удм. *йöл-вöй* «молоко-масло», манс. *уй-хул* «зверь-рыба», хант. *лисёγ-кавсеγ* «(мы) наелись-насытились», венг. *ilyen-olyan* «такой-сякой».

4. В синтаксисе. Существование особой притяжательной конструкции *У меня есть...*[14], соответствия которой менее характерны для других восточнославянских языков и совершенно отсутствуют в южно- и западнославянских, где, как и в западноевропейских языках, известен лишь оборот типа поль. *Mam...* «(Я) имею...» (ср. нем. *Ich habe...*, англ. *I have...*, фр. *J'ai...* «то же»). В финно-угорских языках (за исключением обско-угорских) также выступает конструкция с глаголом *есть* при прямом падеже обладаемого и косвенном обладателя: адессиве (в большинстве прибалтийско-финских), генитиве (в мордовских, марийском и пермских), дативе (в венгерском и ливском) или инессиве-элативе (в саамском языке): фин. *Minulla on...* «У меня есть...», вепс. *Minā̆ (mińäi) om...*, морд Э *Монь ули...* то же; венг. *Nekem van...* «Мне есть...»; саам. *Monɛšt' l'i...* «Во мне (из меня) есть...».

5. Во фразеологии. Ряд семантически близких формул речи в разговорном языке и языке фольклора, как правило, не известных другим славянским языкам: а) рус. *жил-был*, *житьё-бытьё* — коми *оліс-выліс* «жил-был», эст. *elu-olu* «житьё-бытьё»[15]; б) рус. *Стали они жить-поживать* — кар. *alettih eliä elmetellä* «(Они) начали жить-поживать», венг. *Élt egyszer éldegélt egy öreganya* «Жила когда-то поживала одна старуха» (в финно-угорских языках, как и в русском, здесь употреблена форма фреквентатива, связанная с малой интенсивностью действия)[16]; в) рус. *Как можется?* «Как здоровье?» — фин. *Kuinka voit?* «Как твоё здоровье?» (букв. «Как (ты) можешь?»); г) рус. *Как живёте-можете?* — кар. *Куй эляттö-войтто?* «Как поживаете?» (букв. «Как живёте-можете?»).

6. В фольклорной стилистике (или поэтике). Приём смежных синонимичных повторов: рус. *Меня чёрт бросил, а водяной кинул с сильными богатырями биться-ратиться!* — фин. *Kumman miekka mielusampi, Kumman kalpa kaunihimpi* «У которого меч лучше, У которого сабля краше».

7. В лексике. Связанные с кругом основных понятий слова типа рус. *ковылять* (ср. фин. kävellä «ходить, гулять»), *колеть (о|колеть)* (ср. вепс. *колеп*, эст. диал. *koolen* «умираю»)[17] и т.п. Несомненно, здесь возможны ещё открытия, о чём косвенно свидетельствуют около 1000 слов финно-угорского происхождения (не считая венгерских) в «Этимологическом словаре русского языка» М.Фасмера, а также множество финно-угорских топонимов на русской языковой территории.

---

[13] Из южно- и западнославянских языков она в какой-то мере свойственна только болгарскому, македонскому и словацкому языкам, испытавшим сильное влияние тюркских или финно-угорских языков.

[14] Подробнее см.: *H.Safarewiczowa*, Oboczność я имею і у мень есть w języku rosyjskim dziś i dawniej. Wroclaw — Warszawa — Kraków 1964.

[15] Подробнее см.: *О.Б.Ткаченко*. Одна общая семантико-фразеологическая изоглосса финно-угорских и русского языков. (К вопросу финно-угорского субстрата в русском языке). — СФУ XII 1976, стр. 245-253.

[16] Характерно также, что карельский и венгерский глаголы (*elmetellä, éldegélni*) имеют значение «жить беззаботно, спокойно, в тихом уединении» (см. Karjalan kielen sanakirja I, Helsinki 1968 (LSFU XVI, 1), стр. 105; Magyar értelmező kéziszótár, Budapest 1975, стр. 271), что близко по смыслу к рус. *поживать*.

[17] См.: *М.Фасмер*, Этимологический словарь русского языка II, Москва 1967, стр. 274, 290, где финно-угорские сближения считаются неубедительными, хотя предложенные славянские параллели вряд ли надёжнее (сам М.Фасмер первое слово характеризует как тёмное).

Приведена только часть явлений, которые могут восходить к финно-угорскому субстрату.[18] Однако уже тот факт, что предполагаемые следы его влияния отмечаются на всех уровнях языковой системы – фонетическом, грамматическом и лексико-фразеологическом, свидетельствует о важности и актуальности исследования финно-угорского субстрата для русского языкознания и славянского языкознания в целом.

3. О методах исследования

Бóльшая или меньшая адаптация финно-угорских субстратных элементов в русском языке славянской языковой системой затрудняет выделение даже материальных включений, а тем более – возможных семантических заимствований (лексико-фразеологических и грамматических). Это предъявляет исследователю высокие и сложные требования, относящиеся, видимо, к субстратным разысканиям вообще:

1. Большое значение имеет семантика, которую необходимо исследовать в тесной связи с грамматической формой рассматриваемых слов и конструкций.

2. При исследовании субстратных синтаксических конструкций представляют интерес устойчивые обороты речи (языковые формулы). Здесь возможна длительная преемственность, не прерываемая даже сменой языка.

3. Чтобы достичь наибольшей точности при определении и хронологии каждого субстратного явления, нужно рассматривать его как в связи с языком, где оно обнаружено, и всеми родственными с ним языками, так и с его субстратом и всеми родственными ему языками. Это предопределяет сопоставление соответствующих данных двух сравнительно-исторических грамматик, в данном случае – славянской и финно-угорской.

4. Чтобы исключить из круга рассматриваемых явлений не связанные с субстратом, следует проверить факты всех языков данного ареала.

5. Достоверность субстратных исследований обеспечивается не только строгостью и точностью лингвистических фактов и выводов, но и возможно широким привлечением вспомогательных внелингвистических данных.

6. В настоящее время, когда имеется еще слишком мало бесспорных субстратных фактов, ведущая роль в их исследовании должна принадлежать микролингвистическому методу. Последнее особенно справедливо в отношении апеллятивов, выделяемых хуже и в меньшем количестве, чем субстратные топонимы; впрочем, последние тоже нуждаются в микролингвистическом подходе при окончательном уточнении.

Исключительная сложность и многообразие работы при реконструкции праформы реликтных слов и выражений требует особой тщательности и внимания к каждому рассматриваемому явлению, которое во избежание атомарности и неполноты освещения должно изучаться (каждое отдельно) на фоне всех языковых систем и языков, с которыми оно связано. Ввиду этого преобладающий до сих пор в языкознании макролингвистический подход, когда в большой работе исследуется несколько лингвистических явлений, здесь представляется малоперспективным. На первый план выдвигаются микролингвистические работы, где всё внимание сосредотачивается на одном лингвистическом факте. Микролингвистический метод[19] позволяет рассматривать каждое из языковых явлений не вскользь, не издали, а крупным планом, как бы под микроскопом, во всестороннем освещении. В сочетании с макролингвистическими исследованиями, особенно важными на стадии собирания и первичной обработки материала, он поможет наиболее полно обнаружить и изучить многообразные и сложные лингвистические явления, связанные с финно-угорскими субстратами русского языка.

[18] В.Феенкер (*W.Veenker*, указ. раб.) указывает свыше 22 особенностей русского языка, с разной степенью вероятности связываемых с финно-угорским субстратом.

[19] Тяготение к этому методу и в других субстратных исследованиях отмечает В.Н.Топоров, рассматривающий прусские субстратные лексемы «только как предварительный материал, нуждающийся в более детальном (каждый раз монографическом) исследовании» (*В.Н.Топоров*, Прусский язык. Словарь. A–D, Москва 1975, стр. 8).

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОСЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ СЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*

На части нынешней славянской этнической территории, как известно, в прошлом, до появления там славян, проживал целый ряд неславянских народов, впоследствии слившихся со славянами и постепенно усвоивших их язык. Сложные этноязыковые процессы, хотя и завершились распространением на данных территориях того или иного из славянских языков, однако не прошли бесследно и для славян. Если неславянское население через промежуточный этап более или менее длительного периода двуязычия постепенно полностью перешло на славянский язык, то и славянское население в процессе сосуществования с неславянским испытало определенное влияние на свой язык, усвоив в той или иной форме часть элементов чужого языка, не говоря уже о том, что и неславянское население в процессе славизацни сохранило в своей славянской речи часть элементов и особенностей прежнего, неславянского языка. Впоследствии эти дославянские субстратные элементы становились общим достоянием местных славянских говоров независимо от происхождения их носителей, в прошлом то ли неславян, то ли славян. Впрочем, процессы этнического смешения в настоящее время не дают возможности провести четкую грань между ними.

В настоящее время нет, пожалуй, ни одного славянского народа, на территории которого нельзя было бы предположить существования какого-либо неславянского народа (народов) и, соответственно, языка. Частично романизованные или эллинизированные палеобалканские народы существовали, по-видимому, на Балканах до прихода сюда славян. На территории западнославянских народов могло размещаться романское население, кельты, частично германцы, на территории Белоруссии — балты, Украины — ираноязычные скифы, даки с их палеобалканским языком, возможно, также индоязычные синды. Не составляла исключения и территория современной России, в том числе Центральной, где многочисленные топонимы явно финно-угорского происхождения свидетельствуют о существовании здесь в прошлом финно-угорского населения, известного в летописных источниках как меря, мурома и мещера.

Из этих финно-угорских народностей едва ли не наибольший интерес исследователей вызывает меря, что объясняется расположением ее в центре формирующегося Русского государства (на территории Владимиро-Суздальской, затем Московской, Руси), ее относительной многочисленностью, длительностью ассимиляции, допускающей возможность сохранения мерянского языка еще в начале XVIII в.[1], по-видимому, особым местом мерянского языка среди финно-угорских[2].

На основании сохранившихся в составе русского (главным образом диалектного) языка элементов языка мерянского можно и следует ставить вопрос о реконструкции последнего в допустимых пределах. Наука заинтересована в подобной реконструкции мерянского языка, — а вместе с тем вообще с соответствующими изменениями любого дославянского субстратного языка, — по целому ряду причин. Прежде всего большое культурно-лингвистическое значение имеет само по себе возможное восстановление исчезнувшего своеобразного финно-угорского языка. В то же время мерянский язык важен, с одной стороны, в качестве утраченного звена в истории финно-угорских языков, а с другой — как язык, проливающий определенный свет на часть особенностей

* Публ. по: *О.Б.Ткаченко.* Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов // Слов'янське мовознавство (доповіді). - Київ: Наукова думка, 1983, с. 220-237.

[1] *Ткаченко О.Б.*, 1979, с. 236.
[2] *Попов А.И.*, с. 101.

русского языка в его говорах. Помогая объяснению части самобытных черт русского языка на фоне славянских, реконструкция мерянского языка представляет собой определенный интерес не только для русистики, но и для славистики в целом. Поскольку речь идет о восстановлении субстратного языка на основе его сохранившихся элементов, — а этот вопрос выходит далеко за рамки славистики и финно-угристики, — проблема реконструкции мерянского языка не безынтересна и с точки зрения общего языкознания.

Исходя из имеющихся данных, мерянский язык следует отнести к мертвым бестекстным языкам, то есть языкам, не имеющим письменных памятников (в виде связных текстов или хотя бы разрозненных предложений). Однако степень его бестекстности относительна, неабсолютна. Прежде всего, мерянский язык передал, видимо, русскому (особенно областному) языку часть своих фразеологизмов, а значит, и соответствующих минимальных текстов-предложений в виде калек[3]. Мерянский язык отражен в них только в своей внутренней форме. Однако в случае реконструкции соответствующих мерянских слов в их фонетических и грамматических формах есть возможность восстановить и внешний облик соответствующих мерянских фразеологизмов, а тем самым — и небольших текстуальных фрагментов мерянского языка. Наряду с подобными переодетыми в «одежду» славянского русского языка мерянскими оборотами есть, однако, и фразеологизмы, которые в русских говорах на бывшей мерянской территории восходят непосредственно к мерянскому языку. Как и калькированные мерянские фразеологизмы, они принадлежат, как правило, к так называемым языковым формулам (формулам речи), являющимся в силу своей важности и частотности едва ли не наиболее стойкими из фразеологических оборотов. Реконструкция и интерпретация данных предложений-фразеологизмов, конечно, проще, чем реконструкция исходных мерянских оборотов на основе их ка́лек, однако имеет свои специфические трудности, объясняемые как тем, что упомянутые выражения ввиду их частой употребляемости подвергаются эллиптизации, так и тем, что в силу их инородности в русской речи они подверглись определенным видоизменениям.

Восстановление любого мерянского фразеологизма, представляющее интерес прежде всего с точки зрения фразеологии и синтаксиса, требует и всестороннего фонетического, грамматического и лексико-семантического анализа, связанного с этимологическим истолкованием и синтезом полученных результатов, при котором одинаково важное значение имеют как сопоставительно-типологический подход с точки зрения фактов русского и славянских языков, так и сравнительно-исторические данные, предоставляемые финно-угорскими языками. Именно поэтому вопрос о реконструкции мерянских фразеологизмов дает возможность с наибольшей полнотой ввести в реконструкцию мерянского языка в целом, а через нее взглянуть конкретно и на общую проблему восстановления дославянских языковых субстратов.

К числу подобных фразеологизмов принадлежит русский (диалектный) приветственный оборот *Елу́сь поелу́сь*[4], записанный в бывшем Солигаличском уезде Костромской губернии (ныне Солигаличский р-н Костромской обл.). В «Словаре русских народных говоров» этот приветственный оборот объясняется как «хлеб да соль (приветствие во время обеда)». Выражение записано в первой половине XIX в., поскольку в XVIII в. диалектные слова и выражения почти не записывались, — их собирание началось в XIX в., — кроме того, данное выражение впервые фиксируется в «Опыте областного великорусского словаря», изданного в 1852 г. Здесь предпринята попытка объяснения выражения, ср.: «Елу́сь (сов. поелу́сь) повелительное наклонение, употребляется во время обеда, в виде приветственного междометия: хлеб да соль»[5]. Из толкования вытекает, что и слово *елусь,* и форму *поелусь* составители словаря (а возможно, еще лицо, записавшее выражение) воспринимали как глагол, употребленный в повелительном наклонении, причем элемент по- в фор-

[3] Об одной из них см. подробно в кн.: *Ткаченко О.Б.* Указ. соч., с. 227–235.

[4] Словарь русских народных говоров. — Л., 1972, 8, с. 349.

[5] ООВС, 8, с. 54.

ме *поелусь* рассматривался ими как приставка по-, служащая для образования совершенного вида, ср.: *ешь — поешь, пей — попей, неси — понеси* и т.п. Таким образом, выражение в целом ими рассматривалось если не как полностью русско-славянское, то во всяком случае как оформленное согласно правилам русской грамматики, в частности в видовом отношении. Тем не менее слова и форма выражения именно с точки зрения славянских элементов русского языка труднообъяснимы. Правда, если считать форму производной от глагола **елузить,* то можно было бы принять как возможную форму повелительного наклонения *елусь* (с отражением фонетического оглушения), ср. такую же фонетическую форму *волтусь* (орф. *волтузь*) от диалектного рус. *волтузить* (укр. *вовтузити*) «бить, возить кого-либо (что-либо), схватив его». Глагол **елузить* не обнаружен, зато в говорах близких местностей представлены глагольная форма *наелузиться* «наесться до отвалу» (Галич — МКНО) и несколько видоизмененная форма *наюлызиться* «то же» (Кинешма — МКНО). Однако оба глагола скорее всего и по форме, и по значению являются производными от формы *елусь.* Таким образом, ничего не объясняя, они возвращают к тому же выражению, создавая явный порочный круг. Тем не менее эти данные оказываются не бесполезны, поскольку они косвенно указывают на употребление выражения *елусь (поелусь)* — по крайней мере в прошлом, до того как в Солигаличском районе (уезде) было записано это выражение — также в бывших Галичском и Кинешемском уездах Костромской губернии (ныне в Галичском р-не Костромской и Кинешемском р-не Ивановской областей). Поскольку все три района были в прошлом местом обитания мери, вполне закономерен вопрос, не является ли рассматриваемый оборот мерянским, сохраненным частью русских говоров на русской языковой территории. При этом чрезвычайно важно сразу же подчеркнуть, что все три местности принадлежат именно к бывшей территории распространения мерянского и никакого иного финно-угорского языка и ввиду этого расположены в настоящее время на собственно русской языковой территории, вдали от каких-либо финно-угорских народов и их языков.

Кроме этого, чисто экстралингвистического, обстоятельства в пользу мерянского происхождения оборота говорят его собственно языковые особенности. Выражение *елусь поелусь* при лингвистическом, этимологическом, анализе обнаруживает возможность его расчленения на слова, с одной стороны, несомненно финно-угорские по происхождению, с другой — присущие в своей своеобразной форме, по-видимому, из финно-угорских только мерянскому языку. Лексема *елусь* здесь отнюдь не одинока, находя на бывшей мерянской языковой территории другие, явно связанные с ней слова, которые, являясь финно-угорскими по происхождению, дают основание причислить их к мерянским ввиду своего своеобразия. Ср., например, такие диалектные (и арготические) слова с той же территории, как *неёла* «нет» (букв. «не есть»), ср. эст. Та *ei ole* õpilane[6] (букв. «Он *не есть* ученик(ом)») ЯОСК (Свеш 93 — Углич), *неiола* «нет» (ТОЛРС, XX, 166 — Кашин), *неёла* «неудача» (ООВС, 124 — Нерехт. у-д), *ёла* «есть» ЯОСК (Свеш 89 — Углич), а также связанные с ними формы того же корня типа *ульшага* «умерший, покойник» (Свеш 92 — Углич) (по образцу *бедняга, трудяга* от **ульша* «бывший» с формантом -ша, связанным с мар. -шо (*колы-шо* «умерший»), — ср. р. (Яросл., Костр.) *побывшиться* (букв.) «стать бывшим, то есть умереть» ЯОСК), *ульшил* «умер» ЯОСК (Свеш 92 — Углич), *ульшили* «убили» ЯОСК (Свеш 92 — Углич) (два последних глагола образованы также от **ульша* «бывший»), р. *Ульшима* (букв.) «бывшенье, то есть гибель, смерть».

Все приведенные выше слова представляют собой образования, связанные с финно-угорским глаголом *wolę- «быть», ср.: фин olla «быть», эст. olema, морд. (эрзя, мокша) *улемс,* мар. *улаш* «то же», коми *вöлi* «был», удм. *вал* «был», хант. (казым.) *вəл'ты*

[6] Таким образом, рус. диал. (угл.) *неёла* отражает, видимо, в качестве полукальки форму мерянского отрицательного спряжения [*э] *ела/йола* (< **эй ола* «не есть»); форма *ёла* «есть» образовалась, очевидно, уже на русской почве от *неёла* «нет (не есть)». Что касается явно вторичного значения «неудача» *(неёла)* и «удача» *(ёла)* (ООВС, 54 — Нерехт. у-д), то с ним, возможно, как калька частично связано рус. диал. (Костр.) *есть* «имущество, приданое» (МКНО).

«быть; жить», манс. ōli «будет», венг. volt «был»[7]. Своеобразие мерянских форм языка обнаруживается в том, что часть их, связанная с глаголом *быть*, — как правило, формы, где исходное корневое ол- перед гласным, — получила перед начальным о- вторичное й-, те же формы, где в следующем после ол- слоге выпал гласный, в результате последовавшего удлинения заменили первоначальное о- позднейшим у-. Этот процесс вообще характерен для мерянского языка, ср. мер. *урма* «белка» при ф. orava «то же». Вследствие сказанного форму написания *елусь* следует понимать или как орфографическую передачу действительного фонетического *ёлусь* (случаи подобной неточности встречаются и при передаче мерянских по происхождению местных названий, ср. орфографические *Векса, Челсма* в Галичском р-не Костромской обл., произносимые *Вёкса, Чёлсма)* или как отражение действительного произношения, где согласно особенностям фонетики русского литературного языка безударное -ё- было заменено -е- (для севернорусских говоров -ё- характерно не только в ударной, но и безударной позиции).

Как бы то ни было, исходя из других известных форм глагола *быть* в мерянском языке, отраженных в лексике постмерянских русских говоров, первоначальной, мерянской, следует признать форму *ёлусь.*

Ввиду того что слово *ёлусь*, несомненно, является глаголом и в то же время выступает в приветственном обороте, где самым естественным есть доброе пожелание, наиболее логично его рассматривать (в чем можно согласиться с его трактовкой в словаре) как форму повелительного наклонения. Однако поскольку производные от него или связанные с ним глаголы *наелузиться, наюлузиться* имеют значение «наесться (досыта)», а глагол *ёлусь* — это одна из форм глагола *быть,* форму *ёлусь* нельзя связать со значением «ешь (наедайся)», а следует рассматривать только в качестве одной из форм повелительного наклонения глагола *быть.*

С формальной и семантической точки зрения логичнее всего видеть в *ёлусь* форму 3 л. ед.ч. повел. накл., поскольку с семантической точки зрения в пожелании, связанном с едой, трудно представить себе глагольную форму со значением «будь», больше напрашивающуюся при пожелании здоровья (*будь* здоров!). С формальной точки зрения возможность форманта -сь в качеств показателя 3 л. ед.ч. повел. накл. подтверждают многочисленные параллели из других финно-угорских языков, где выступают параллельные образования с суффиксом -s-, — как полагает Б.А.Серебренников, первоначально суффиксом притяжательности 3 л. ед.ч., — ср.: морд. *кундазо* «пусть ловит»[8], мар. luδ-šo «пусть читает»[9], саам. bottu-s «пусть приходит», возможно, также коми (med) munas «пусть пойдет» и удм. (med) munoz «то же»[10].

Следовательно, значение слова *ёлусь* (зафиксированное *елусь)* следует истолковывать как «пусть будет», букв. «пусть есть» или, прибегая к помощи языков, позволяющих передать данную форму в ее синтетическом (однословном) виде, перевести ее с помощью нем. (es) sei или фр. soit.

Поскольку форма *ёлусь* и в корневой и в суффиксально-флективной частях обнаруживает себя как чисто финно-угорская, мерянская, возникает повод для сомнения в интерпретации элемента по-. Истолковать его в качестве приставки сомнительно уже потому, что в данном случае речь идет, очевидно, не о кальке или полукальке, а о сохраненном в русской народной фразеологии подлинном мерянском фразеологизме. Заимствование же морфологического форманта, тем более префикса, в мерянский язык маловероятно, поскольку он, как и все финно-угорские языки, по-видимому, не знал префиксации, которая значительно позже стала развиваться в некоторых финно-угорских языках (в частности, венгерском и эстонском). Более убедительно видеть в по- какой-то другой морфологический элемент или

[7] ОФУЯ, 1, с. 417; КЭСКЯ, с. 65, 67, 71; MSzFUE, III, l. 669–671.

[8] *Серебренников Б.А.,* М., 1967, с. 167.

[9] Другого мнения о происхождении -š- (< *-s-) придерживается И.С.Галкин *(Галкин И.С.*, 1964, ч. 1, с. 140).

[10] Ср.: *Серебренников Б.А.*, 1963, с. 292, где он высказывает мнение по поводу возможной, хотя еще и не выясненной, связи данных пермских форм с формой 3 л. ед.ч. повел. накл. приведенных выше финно-угорских языков.

даже слово, расположенное между двукратным повтором *ёлусь – ёлусь* и только вторично, – под влиянием сближения с грамматико-семантическими особенностями русского языка, – воспринятого и истолкованного как близкая по звучанию русская глагольная приставка по-. Наиболее оправданно предполагать в элементе по- союз, расположенный между двумя словами (здесь – глаголами), или постпозитивную энклитическую частицу, связанную с первым из глаголов. В финно-угорских языках, например хантыйском, действительно обнаруживается подтверждающее это предположение и не противоречащее общему возможному смыслу оборота слово. Это союз *па* «и, тоже, другой», напр.: асем *па* аӈкем «мой отец *и* моя мать»; Муӈ школаев вән *па* нӧвы «Наша школа большая *и* светлая»; Л'ошек ики юх ил'пия ӧл'ыс *па* вәёмтыс «Россомаха-старик под дерево лег *и* заснул»[11]. Таким образом, звуковой комплекс по- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании *по*, а о слове с формой *па*, где замена фонетического *па* орфографическим *по* была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом по- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.

Таким образом, оборот в своей наиболее точной исходной форме должен иметь вид *ёлусь па ёлусь* и переводиться «пусть будет и будет», букв. «пусть есть и пусть есть». Однако в таком виде он представляет собой явно эллиптизированную форму более полного приветственного выражения-пожелания, сокращение оборота в результате его частого употребления; полностью приветствие-пожелание произносилось только в наиболее важных случаях.

Можно только предполагать, какие слова произносились в подобных случаях. Поскольку это – пожелание, речь в нем должна идти о том, чтобы у того (тех), к кому оно относилось, всегда была пища *(еда-питье, хлеб-соль* или подобные синонимы). В начале формулы дважды повторялся глагол, указывая на постоянство обозначаемого им состояния, так что становилось излишним употребление наречия со значением «всегда (постоянно, вечно)». Если учесть эти особенности, то формула пожелания могла иметь (в передаче на русском языке) следующий вид: «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя пища (еда-питье...)».

При всей фрагментарности данных о мерянском языке попытка гипотетической (в том или ином приближении) реконструкции отсутствующей части фразеологизма представляется все же возможной.

С чисто семантической точки зрения следует исходить из того, что в финно-угорских языках чрезвычайно распространенным является парное сложное слово с буквальным значением «еда-питье», обозначающее пищу в целом. В ряде языков оно имеет идентичную в этимологическом отношении корневую часть обоих компонентов. В тех финно-угорских языках, где произошла частичная или полная замена компонентов парного слова, принцип семантического построения композита не изменен: имея в целом значение «пища; питание», иногда «пир», оно состоит из двух слов, обозначающих в отдельности «еду-питье». В тех финно-угорских языках, где не сохранились или не обнаруживаются существительные с подобным значением, выступают соответствующие парные слова-глаголы. Это дает основание считать, что и в них парное существительное «еда-питье», даже в случае его отсутствия теперь, должно было употребляться в прошлом, об этом говорит, например, легкость образования в них отглагольных существительных, нередко частично совпадающих с формами инфинитива. Ср. соответствующие данные: коми *сёян-юан* «пища, продовольствие, довольствие», букв. «еда-питье», *сёйны-юны* «есть-пить, питаться, столоваться; пьянствовать, кутить; (неодобр.) излишествовать»; удм. *сион-юон* «пища, еда, продукты питания», букв. «еда-питье», *сиыны-юыны* «угощаться (есть-пить)»; манс. *тэнут-айнут* (конд. *тенэха°р-äйнэха°р)* «пища (еда-питье)»; венг. eszem-iszom «обильное угощение, пир», букв. «еда-питье», eszik-iszik «откушает, потчуется», букв. «ест-пьет»; ф. syödä jouda «есть-пить»; карел.

[11] *Русская*, 1961, с. 80, 111, 190, 198, 231.

syyväh juuvah «едят-пьют»; вод. sõ·tī jõ·tī «ели-пили»; эст. süüa juua «есть-пить»[12]; морд. (эрзя) *ярсамо-симема* «пир. угощение», букв. «еда-питье», *ярсамс-симемс* «есть-пить, угощаться, пировать», мар. *ко́чкыш-йӱ́ыш* «пища и питье, провизия (еда-питье)», *кочка́ш-йӱ́а́ш* «есть-пить, питаться».

Учитывая сказанное, не представляется слишком смелым предположение, что парное слово с буквальным значением «еда-питье» существовало еще в финно-угорском праязыке и оттуда было унаследовано (первоначально в идентичном виде или с идентичными по происхождению корнями обоих компонентов) всеми финно-угорскими праязыковыми диалектами, развившимися вспоследствии в отдельные финно-угорские языки. Большинство из них сохранило связь с этими праязыковыми финно-угорскими корнями[13]. Однако часть финно-угорских языков, как, например, марийский и мордовский, претерпела изменения в составе компонентов данного сложного слова, порой весьма значительные.

Данные, имеющиеся в распоряжении науки в настоящее время, не дают возможности с точностью ответить на вопрос, к каким из финно-угорских языков относился мерянский: к тем, которые унаследовали финно-угорское парное слово с неизменными (точнее, незамененными) корнями обоих компонентов, или к тем, где парное слово претерпело значительные изменения. Ввиду того что мерянский язык, по крайней мере в начале своего развития, должен был унаследовать парное слово с исходными праязыковыми компонентами, данный член фразеологизма может быть в настоящее время реконструирован только в виде сочетания обоих корней в их прафинно-угорской реконструированной форме. Сведения о праязыковой форме суффиксальной и флективной частей слов отсутствуют, поэтому они обозначаются соответствующими прочерками. Поскольку для многих мерянских существительных отглагольного происхождения, видимо, характерна суффиксально-флективная конечная часть -м-а (ср. Костро-м-а, Ульш-м-а и т.п.), можно предполагать ту же конечную часть и для рассматриваемого парного существительного мерянского языка. Однако, ввиду того что конкретные компоненты данного слова в точности неизвестны и нет уверенности, что в праязыковой период здесь были те же суффиксы, более обоснованным будет опущение данных формантов. Исходя из реконструкций обоих компонентов слова, оно может быть восстановлено в следующем виде: ⌊**[seγe(--) – juγe(--)]⌋, где ** указывают на вынужденную особую условность реконструкции, ⌊[ ]⌋ отделяют реконструированную форму от материально засвидетельствованных мерянских слов, а заключенные в круглые скобки два прочерка соответствуют возможным суффиксальной (в том числе и нулевой) и флективной частям слова. Квадратные скобки и заключенные в них слова указывают на явно временный характер предложенного финно-угорского (мерянского) решения данной лингвистической задачи. Впоследствии при обнаружении новых фактов или при более надежной реконструкции они могут быть полностью сняты и две звездочки (астериска) могут быть заменены одной, указывающей на большую степень приближения к лингвистической истине, а тем самым на большую вероятность предложенного решения.

Столь же (или почти столь же) условно может быть, к сожалению, реконструирован и другой неизвестный член фразеологизма, местоимение «у тебя (у вас)», которое в данном случае берется в первой из возможных форм, именно в форме единственного числа. При поисках конкретной падежной формы следует, по-видимому, искать наиболее вероятный вариант, сообразуясь с данными как финно-угорских языков, окружавших мерянский, так и русского языка, на который в какой-то степени могла влиять и система мерянского языка.

[12] Данные примеры из прибалтийско-финских языков (финского, карельского, водского, эстонского) взяты из кн.: *Pulkkinen P.* Asyndeettinen rinnastus suomen kielessä. – Helsinki, 1966, s. 209, факты других финно-угорских языков почерпнуты из словарей (Коми-русский словарь, с. 619, 621; Удмуртско-русский словарь., с. 271, 272; *Баландин А.П., Вахрушева М.П.*, 1958, с. 127; *Hadrovics L., Gáldi L.* Magyar-orosz szótár. Budapest, 1974, I, l. 639–640; Эрзянско-русский словарь, с. 267; Марийско-русский словарь, с. 226).

[13] Ср.: MSzFUE, I, l. 164–165; II, l. 329–330.

Форма «у тебя» явно связана с понятием принадлежности, в том числе и в такой характерной для русского языка синтаксической конструкции, как *у меня (у тебя, у него...) есть...* Характерно, что для всех западно- и южнославянских языков в отличие от русского подобный оборот совершенно не характерен. Вместо него здесь засвидетельствована посессивная конструкция типа *я имею...* (ср. п. Mam książkę «(Я) имею книгу»). Другим восточнославянским языкам (украинскому и белорусскому), хотя и не чужд полностью оборот типа русского *у меня есть,* однако он принадлежит к значительно менее употребительным, что особенно относится к западной части украинской и белорусской языковой территории. Вследствие этого, а также в связи с тем, что финно-угорским языкам — у которых, кроме обско-угорских, нет глагола со значением «иметь», а известен только глагол *есть* — также чрезвычайно свойственны обороты типа русского *у меня есть,* можно предположить, что своей распространенностью эта конструкция в русском языке в значительной степени обязана финно-угорскому, в том числе и мерянскому, влиянию.

Правда, в финно-угорских языках, хотя в них всюду выступает глагол *есть,* в данной конструкции далеко не одинаковы падежи, обозначающие лицо, которому принадлежит предмет. Так, в прибалтийско-финских языках здесь выступает адессив, который в данном случае переводится на русский язык предложной конструкцией *у тебя (у меня...),* однако с большей точностью должен был бы переводиться с предлогом *на,* ср.: ф. *Minulla* on kirja «*У меня* есть книга», точнее, *«На мне* есть книга». В венгерском языке тот же оборот требует дательного падежа владельца: *Nekem* van könyvem букв. *«Мне* есть книга (моя)». Только в финно-угорских языках, находившихся в наиболее тесных контактах с русским языком и в то же время территориально наиболее связанных с мерянским, встречаем другой падеж, родительный, с окончанием -н, современным или историческим[14], представляющим собой первоначальный локатив, отвечающий на вопрос «где?» и соответствующий конструкции с предлогом *у*[15]. Следовательно, употребляемая, например, в мордовском-эрзя языке форма родительного падежа при обозначении принадлежности сохраняет свое прежнее локативное значение и совершенно точно переводится предложной конструкцией с предлогом *у*, ср.: морд. (эрзя) *Монь* ули книгам «*У меня* есть книга (моя)»; *Тонь* ули книгат «*У тебя* есть книга (твоя)» и т.п. То же относится и к марийскому языку с его родительным падежом, имеющим формант -(ы)н, бывший показатель локатива, ср.: мар. *Пӧлемын* кок окнаже уло «Комната имеет два окна», букв. «*У комнаты* два окна (ее) есть». Поскольку мерянскому языку, видимо, также был свойствен родительный падеж (< бывший локатив) на -н, ср.: (р.) Яхре-н (от **яхре* «озеро») «о́зера, озерная (< у озера)», Неро-н «название Галичского озера в галичском арго», букв. «болота», род. пад. от «болото», «болотное (у болота)», — озеро отличается заболоченными берегами, — а соседним с мерянским финно-угорским языкам (мордовским и марийскому) бывшие локативные формы на -н с посессивной функцией в высшей степени свойственны, — следует считать, что и в мерянском в качестве показателя принадлежности выступал родительный (бывший локативный) падеж с окончанием -н. Поскольку ни одна форма местоимения «ты» в мерянском языке не известна, форма его родительного падежа (< локатива) ед. числа на -н (-n) может быть реконструирована лишь гипотетично на основе финно-угорской праязыковой формы с добавлением окончания -n, то есть как **tenän[16]. Две звездочки в данном случае относятся не к прафинно-угорской реконструкции, где выступает одна, а к данной форме как отражению конкретного мерянского слова, так как она отражает ту финно-угорскую праформу, которую еще предстоит конкретизировать, исходя из фонетико-морфологических особенностей мерянского языка. В конечном

[14] См., например, для пермских языков: *Серебренников Б.А.* Историческая морфология пермских языков. — М., 1963, с. 185-186.

[15] *Бубрих Д.В.* Историческая морфология финского языка. — М.; Л., 1955, с. 12-14.

[16] Возможна также форма **tinän (ОФУЯ, 1, с. 399).

счете, переводя для единообразия все в латинскую графику, мерянский фразеологизм на данной стадии реконструкции можно представить в следующем виде: *Joluś pa joluś ∟**(tenän seγe(--) – juγe̱(--)]⌟ «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя еда-питье».

С формальной точки зрения, в данном обороте глагольное образование joluś, видимо, не является наиболее архаичной из известных форм. На то, что могла существовать и более древняя форма *joloZe, сохранившая в несокращенном виде окончание 3 л. ед.ч. повел. накл., сокращение которого вызвало удлинение -о- с переходом в -u- (-у-), указывает существование фиксированных у В.Даля диалектных пермских выражений, явно связанных с рассматриваемым оборотом и сохранивших в нем -о- в соответствии с костромским -у- (-u-), ср.: рус. (перм.) *наело́зиться* «накушаться, насытиться». *Благодарствуем, наелозились*, – отвечают гости на приглашение: поелозить еще! (Даль, II, 413); перм. *ело́зить* «есть, хлебать, кушать (то есть *елозить ложкою)». Елозьте, поелозьте, гости мои!*[17] привет застольникам: *ело́зь* (Слов. акад. *елу́сь)!* здорово хлебать! сходится с пожеланием: *ѣлось бы,* желаю здорово поесть (Даль, I, 518).

Вне всякого сомнения, объяснение, предложенное В. Далем, – его сближение с *елозить ложкою, есть (елось)* – так же, как и упомянутые ниже сближения А.А.Потебни и А.Преображенского – являются ничем иным, как плодом народно-научной этимологии, в связи с чем совершенно прав М.Фасмер, замечающий по этому поводу в своем словаре: «елози́ть, ёлзать «есть» [приведенные здесь формы неправильны, так как у В.Даля, судя по его примерам, с этим значением связано лишь образование *ело́зить. – О.Т.*]. Совершенно ошибочно связывается Потебней (РФВ, I, 76) и Преобр(аженским) (I, 464) с *ложка.* Ср. «*ёлзать* II» (М.Фасмер, ЭСРЯ II – М., 1967, с. 17); и далее: «ёлзать II, *елозить* «хлебать, черпать ложкой, есть». Темное слово. По мнению Потебни (ФЗ, 1876, вып. 2, с. 97), заимствование из тюрк. (без указания источника). Ср. *елози́ть, елоси́ть»* (там же, с. 15)[18].

[17] ООВС. – Спб., 1852, с. 54.
[18] *Фасмер М.* ЭСРЯ II, с. 15.

Возникает вопрос о происхождении пермского слова и выражения (ср. *Елозьте, поелозьте,* по-видимому, представляющее собой отражение исходного **Елозь, поелозь* < **Ёлозе па ёлозе),* аналогичного костромскому. Поскольку убедительного объяснения ему на основе славянских элементов русского диалектного языка найдено быть не может, а мерянскими (финно-угорскими) фактами оно объясняется вполне логично, и поскольку пермское выражение почти полностью совпадает с костромским, единственно вероятным объяснением может быть следующее. Пермское выражение представляет собой результат переселения носителей части костромских говоров, которое шло в восточном направлении через Вятскую землю на Урал. Так как переселение происходило в тот момент, когда мерянский язык находился на более древней ступени развития, переселенцы унесли с собой на восток более архаичную форму рассматриваемого фразеологизма. Там вследствие русификации этой части населения, – возможно, первоначально носителей мерянского языка – эта форма как бы инкрустировалась в составе русского языка, застыла в своем развитии, что и вызвало в ней сохранение -о- даже в условиях нового закрытого слога (ср. елозь(те), хотя в этих условиях в мерянском -о-, как правило, переходило в -у-.

Другой интересной, видимо, не столько архаичной, сколько диалектной формой, отражающей отчасти аналогичное новообразование, является форма того же слова **юлысь,* представленная в уже приводимом выше кинешемском слове *наюлызиться.* Что касается начального ю-, то своим образованием оно, видимо, было обязано тому, что часть форм глагола *быть* в мерянском языке (напр., **ульша* «бывший») имела начальное у-; сближение их с формами на й- (типа **ёлусь, *ёлозе* и т.п.) должно было привести к распространению начального й- и на них. Вследствие стремления к еще большему единообразию в части мерянских говоров во всех формах глагола *быть* распространилось начальное ю-. Что касается перехода -з- в интервокальной позиции (-с(ь) в конечной), то он также не противоречит фонетике мерянского языка, насколько ее можно

прослеживать в местном русском языке на словах как русского, так и мерянского происхождения (ср., например, среди первых такие примеры, как, с одной стороны, *сабог* вместо сапог (яросл.), а с другой – *кадюка* вместо гадюка (там же) и обычное для русского литературного языка оглушение в конечной позиции звонких согласных).

Особый интерес представляет также вопрос об ударении в глагольных формах рассматриваемого фразеологизма. Несмотря на то что во всех известных формах – *елу́сь, ело́зьте (на)ело́зиться, (на)юлы́зиться* – ударение падает на второй слог от начала корня, есть основание усомниться в его первичности, поскольку, судя по географическим названиям бывшей мерянской территории, в мерянском языке абсолютно преобладало, если не было единственно возможным, инициальное, начальное ударение (ср.: *Я́хрома, Чу́хлома,* (диал.) *Ко́строма, Не́ро, Ки́нешма, Ко́стома* и т.д.). По-видимому, и в данном фразеологизме первоначально ударение падало на первый слог слова. Только впоследствии, в связи с ассимиляцией мери, когда сохранившиеся слова и обороты стали видоизменяться под влиянием фонетико-грамматической и семантической систем русского языка, и в данном обороте произошло передвижение ударения. Видимо, это было связано с тем, что таковым, то есть сдвинутым к концу слова, было наиболее естественное ударение в форме 2 л. ед. (и мн.) ч. повел. накл., в качестве каковой стала восприниматься форма *елусь* или *елозь.* В случае формы *елозь* могла действовать и аналогия со стороны русского глагола *елозить.* Следовательно, первоначально и в глагольных формах ёлусь *(*ёлоз(е), *юлысь),* как и во всех других словах оборота, должно было употребляться начальное (инициальное) ударение.

Рассматриваемый оборот, помимо того интереса, который он представляет с сугубо лингвистической точки зрения как отражение мерянской фразеологии и языка в целом, чрезвычайно интересен и как отражение древнего мировоззрения, не чуждого, судя по близким финно-угорским и славянским оборотам, остальным финно-уграм и славянам в наиболее древний период их истории.

Если современный языковой этикет, выработавшийся у европейских народов, стал предписывать желать едящим людям приятного аппетита, – обычай, несомненно, связанный с господствующими и преуспевающими слоями общества, которых больше заботил их аппетит, чем проблема добывания еды, – то человеку древнего периода прежде всего важно было иметь вдосталь еды, не испытывать голода. Поэтому самым важным для него было пожелание постоянного достаточного запаса пищи, в связи с чем вполне естественным было обращаться с пожеланием и слышать, как у мерян, приветствие «Пусть будет и будет (т.е. не выводится) у тебя еда-питье!».

Вполне соответствует этому пожеланию, если не по форме, то по содержанию, духу, и эстонское аналогичное пожелание: Jätku leiba! букв. «В достаче (вам) хлеба!», на которое следует ответ: Jätku tarvis «Достача нужна».

Очевидно, подобный характер имеет и русское пожелание *Хлеб-соль!*, которое, вероятно, возникло в результате сокращения из более полного «Пусть будет (или: Да будет) (у вас всегда) *хлеб-соль!».*

В связи с этим *наелузиться (наелозиться, наюлызиться)* приобрело значение «наесться (вследствие того, что осуществилось пожелание и стол ломился от еды)». Не исключено, что глагольная форма *ёлусь* (или ее варианты) могла еще в мерянском языке повести к образованию глагола **ёлузимс*[19] *«ёлузить* (произносить пожелание *Ёлусь па ёлусь),* то есть желать изобилия еды и питья, большого количества пищи», вследствие чего так естественно образовался соответствующий русский диалектный глагол.

Если при восстановлении оборота *Joluś pa joluś ⌊**(tenän seγe(--) – juγę(--)]⌋ (<*JoloZe pa joloZe ⌊**[tenän seγe(--) – juγę(--)]⌋) недостающую его часть приходится временно приводить к «неме-

[19] Форма инфинитива на -с (по происхождению иллативная) для мерянского языка – как и для мордовских – наиболее правдоподобна в связи с тем, что здесь номинативная форма (с суффиксом -ма и нулевой флексией) употребляется широко в функции отглагольных существительных, в частности в местных названиях.

рянизированной» гипотетической общефинно-угорской праязыковой форме, то в тех случаях, когда новый материал позволяет конкретизировать подобные общие формулы реконструкции, появляется возможность дать их в большем приближении к конкретно доказуемым фактам мерянского языка. Так, восстановленную в прошлом в наиболее гипотетичном виде формулу сказочного зачина мерянской сказки ⌊**[Eli-woli̯]⌋ urma «Жила-была белка»[20] в связи с тем, что стали точнее известны формы глагольной парадигмы мерянского языка и особенности его фонетики, появилась возможность представить в менее гипотетическом и не обобщенно финно-угорском, а именно мерянском виде, хотя и реконструированном. Так, исходя из того, что в 3 л. ед.ч. наст. вр. глагол *быть* имеет смягченное конечное -ń (-нь) вместо обычно твердого -n других финно-угорских языков (ср. рус. (диал. < мер.) *сиень* «есть» (< *Si joń «это есть»), ф., эст. (se(e)) on «(это) есть» и венг. van «есть»), можно предположить, что это смягчение возникло под влиянием формы глаголов 3 л. ед.ч. прош. вр., где в результате отпадения конечного -i (-и) произошло смягчение предшествующего согласного. Вместо форм, подобных ф. eli «жил(-а)», oli «был(-а)», в мерянском языке произошла первоначально их замена формами типа el′ и ol′. Однако в связи с тем, что в новых закрытых слогах e (э) переходило в i (и), а o в u (у), ср.: *ul′ša «бывший» при joluś «пусть будет (есть)» или (р.) Ильдомка[21] «без жизни, безжизненная» при (названии деревни) Элино (бывш. Кологривского уезда Костромской губернии) (от *Эля «живой»), — и в данных формах e перешло в i, а o в u, в связи с чем для мерянского языка сказочный оборот следует принять в следующей форме: ⌊*Il′ — ul′⌋ urma «Жила-была белка», где часть, заключенная в скобки и снабженная звездочкой, обозначает фрагмент сказочного зачина, устанавливаемый путем реконструкции, а слово urma, расположенное вне скобок, связано с конкретным диалектным русским словом, восходящим непосредственно к позднемерянской лексеме.

Анализ и проведенная на конкретных примерах реконструкция мерянских фразеологизмов говорят о перспективности дальнейшей работы по реконструкции мерянского языка, и в частности о возможности, по крайней мере частичного, восстановления мерянской фразеологии. Тем самым будут проясняться не только темные места финно-угристики, но и целый ряд неясных слов и выражений русского, в особенности диалектного, языка.

Проведенное конкретно небольшое исследование показывает и ряд специфических особенностей субстратоведческих разысканий, которые должен иметь в виду исследователь субстратных языков и с которыми он не может не считаться. Обнаружение фактов субстратного языка требует тщательного рассмотрения прежде всего апеллятивных диалектных и ономастических фактов с бывшей мерянской территории. Массовый сбор данных вначале вынужден носить несколько суммарный, поверхностный характер. Стержневыми показателями, на основе которых обычно выделяются те или иные слова и обороты для анализа на их субстратность, являются элементы русского языка, которые (по крайней мере с первого взгляда) находятся в известном противоречии либо с системой русского литературного языка и большинства его говоров, либо хотя и являются вполне органичными для современного русского языка, однако противоречат особенностям других славянских (в том числе и восточнославянских) языков.

Отобранные элементы русского языка, которые предстоит проверить как возможные субстратные финно-угорские, мерянские по своему происхождению, должны затем пройти своеобразный отсев путем нескольких процедур. Прежде всего (1) отсеивается то, что с первого взгляда могло казаться неславянским, но с привлечением диалектных, славянских по происхождению, данных русского и других славянских языков оказалось славянским. Те славянские элементы, которые обнаруживают явные следы своего былого заимствования финно-угра-

[20] См.: *Ткаченко О.Б.* Указ. соч., с. 228.

[21] От **иль-дома* «безжизненный, неживой, нежилой», абессива от **эля* «живой» или абессивной формы прилагательного (ср. морд. (эрзя) вал-*томо* «без слова», мар. илы-*дыме* «нежилой»). См.: *Семенов Т.*, т. 2, с. 233.

ми (в частности, в фонетике) и могут быть в русском диалектном языке отражением былых славянских заимствований мерянского языка, остаются как дополняющие данные о мерянском языке в его заимствованной, в данном случае славяно-русской, лексике. Следующим этапом (2) является стадия отбрасывания фактов, хотя и не славянских, но и не финно-угорских языков. Особый случай образуют те языковые явления, которые в ряде своих особенностей обнаруживают черты прохождения через среду финно-угорского языка то ли в своей фонетике, то ли в грамматической, то ли в семантической специфике. Поскольку эти слова могли быть в свое время заимствованы мерянским языком и попасть в русский через него, они также заслуживают внимания для полноты представления о мерянском языке не только в его исконных финно-угорских, но и субстратных и заимствованных элементах. Следующим этапом (3) является отсев тех элементов, которые хотя и являются финно-угорскими, однако не могут быть отнесены к мерянскому языку, явно относясь к другим финно-угорским языкам. Здесь следует оставить то, что может представлять собой по каким-либо признакам заимствования из других финно-угорских языков в мерянском.

Та часть лексики, которая останется после всех проведенных процедур и, по всей видимости, должна представлять собою элементы мерянского языка, подвергается окончательному (4) анализу «на мерянскость», задачей которого является не столько подбор отрицательных аргументов, сколько тщательная проверка тех доказательств, которые можно привести в пользу мерянского происхождения рассматриваемых элементов, с одновременным привлечением возможных контраргументов. Собранный таким образом материал также подвергается рассмотрению и доказательству в определенной очередности. В первую очередь, естественно, в фонд наиболее проверенных мерянских фактов попадают те из них, которые обнаруживают даже при первом рассмотрении максимум дифференциальных мерянских черт. Потом следуют факты, которые хотя и имеют ряд особенностей, говорящих в пользу их «мерянскости», однако несколько затемненных, недостаточно однозначных (возможно, в силу слишком сильной трансформации под славянским влиянием). Для них подыскиваются новые аргументы и слой за слоем снимаются возможные постмерянские наслоения.

Одной из наиболее важных особенностей работы над мерянским материалом является то, что в ходе исследования он рассматривается в максимально возможном системном плане. Если критерием выделения мерянского материала из русского является асистемность, то заданием наиболее точной его интерпретации как мерянского является построение возможно полной, хотя бы частичной, системы, какого-то ее подразделения, куда бы тот или иной элемент мог войти, найти там свое место. Так, звукотип, фонема должны быть сопоставлены с системой или хотя бы группой ближайших фонем, падеж или глагольная форма мыслится как часть определенной парадигмы, фрагмент фразеологизма — как часть фразеологизма в целом и т.д. Даже фрагменты реконструкции должны мыслиться как часть чего-то целого. При восстановлении языка следует находить место его фрагментов в воссоздаваемых с их помощью своеобразных таблицах элементов исследуемого языка. Эти таблицы по возможности должны заполняться наряду с фактическим материалом более или менее гипотетическими реконструкциями отсутствующих, но доказуемых элементов. Некоторые клеточки таблиц (фонетических и парадигматических) могут оставаться пустыми. Однако важно, чтобы с самого начала работы и на всем ее протяжении исследователь мог руководствоваться в своей работе, беспрерывно их корректируя, хотя бы наиболее общими, еще недостаточно четкими контурами системы языка в целом, дающими ему и наиболее осмысленную перспективу дальнейшего продвижения по пути исследования дославянских субстратов.

Таковы те основные предпосылки работы в области дославянских субстратов, которые можно считать условием их максимальной эффективности, важной для разработки этой пограничной и наименее исследованной области славянского языкознания.

В заключение следует коснуться вопроса о перспективах исследования мерянского языка. Наряду с использованием того источника, который является пока единственным — всех видов местного русского языка и ономастики постмерянских областей Центральной России со следами мерянского языка, — должны быть начаты также поиски другого источника — возможных памятников мерянского языка. Обнаружение хотя бы небольших связных мерянских текстов могло бы дать значительно более полное представление о его лексике и грамматике, чем то, которое можно будет получить лишь на основе его рассеянных остатков.

Однако важно было бы уже теперь знать, могли ли вообще возникнуть памятники на мерянском языке. На данный вопрос есть основания ответить положительно. Прежде всего, это вытекает как из общих установок православных миссионеров, так и из связанного с этим развития письменности и грамотности в доордынской Руси. Как известно, в отличие от католической церкви, относившейся сдержанно, если не отрицательно, к переводу Священного писания на национальные языки с латинского и греческого и допускавшей его только как вспомогательное средство, православная церковь прибегала к подобным переводам довольно часто. Следствием этого было, в частности, появление старославянских переводов, связанных с деятельностью Кирилла и Мефодия.

Эта традиция продолжалась и у восточных славян, в частности, по отношению к финно-угорским языкам: создание древнепермской письменности и перевод богослужебной литературы на древнепермский язык (XIV в.), попытки перевода религиозной литературы на карельский и марийский языки (XVI в.). С другой стороны, в связи с распространением письменности на национальном (или близком к нему) языке, большое распространение на Руси получила грамотность, дававшая возможность ранней фиксации не только славянских, а и финно-угорских текстов, о чем свидетельствует древнейший памятник карельского языка (заговор от грозы XIII в.), найденный среди новгородских берестяных грамот.

Наряду с этими общими предпосылками, позволяющими считать возможными фиксации мерянского языка или переводы на него богослужебной литературы, в пользу этого говорят более конкретные аргументы. К ним относится, в частности, упоминание в «Житии святого Леонтия», первого ростовского епископа, того обстоятельства, что он «руський и мерський язык добрѣ умѣяше»[22]. Поскольку св. Леонтий добился значительного успеха в христианизации языческого мерянского населения, видимо, именно благодаря хорошему знанию мерянского языка, в его «Житии» этот факт упоминается как существенный. Однако то же упоминание позволяет предположить, что св. Леонтий, как и его последователи в деле христианизации мери — среди которых были и местные уроженцы, в частности св. Авраамий[23] — должны были пользоваться в своей миссионерской деятельности мерянским языком. Это же, — поскольку всякие варианты и колебания, возникавшие невольно только при устной передаче духовных текстов, были нежелательны в усвоении догматов новой веры, — неизбежно влекло за собой необходимость хотя бы частичных письменных переводов богослужебных текстов на мерянский язык. Если учесть при этом, что по преданию св. Леонтий и его предшественники в Ростове, епископы Феодор и Илларион, были греками[24] и что перевод духовной литературы на финно-угорские языки осуществлялся непосредственно с греческого (напр., при переводе Стефаном Пермским на древнепермский язык)[25], не покажется странным и то, что богослужебная литература на мерянский язык могла переводиться непосредственно с греческого, минуя старославянский. Видимо, свидетельством подобной практики, а также полной реальности в прошлом не только проповеди христианства на мерянском языке, но и существования письменных переводов на этот язык с греческого является и одно из русских диалектных (постмерянских) слов, явно связанных с упомянутой христианизацией мери (XI—XII вв.). Речь идет о русском

[22] «Житие св. Леонтия...», с. II.

[23] *Корсаков Д.*, 1872, с. 93.

[24] Там же, с. 86; *Ткаченко О.Б.* Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. Киев, 1979, с. 237.

[25] *Корсаков Д.* Указ. соч., с. 220.

(диалектном) слове *ёлс* «леший, черт», распространенном именно на территории, занятой в прошлом мерей: Угличский р-н Ярославской области, Кинешемский р-н Ивановской области, Костромской и Солигаличский р-ны Костромской области[26]. Попытка объяснения слова Д.К.Зелениным как преобразованного в силу его табуизации из *Велес*[27] не может быть признанной вполне убедительной с формально-семантической и с лингвогеографической точки зрения: трудно объяснить, почему именно здесь, на мерянской территории, сохранилась эта славянская табуизированная форма; ее же изменение, не вызванное табуизацией, а просто фонетическими причинами, – влиянием мерянского языка, не соответствует тому, что о нем известно.

Более естественно как с лингвистической и семантической, так и фонетической точки зрения исходить из того, что русское (диалектное) *ёлс* является отражением мерянского слова, возникшего на основе заимствованного в мерянский для передачи этого важного религиозного понятия греческого (ὁ) διάβολος «дьявол».

Другим славянским языкам, в том числе и говорам русского языка, кроме упомянутых, распространенных на бывшей мерянской языковой территории, слово *ёлс* или его соответствия не известны. Не известно оно, – по-видимому, в связи с особенностями истории соответствующих языков, – также ни одному из существующих финно-угорских языков. Правда, некоторым из них известно понятие «дьявол», передаваемое словом, частично (в своем начале), близким к мерянскому, однако в связи с разными источниками заимствования и особенностями фонетического развития эти слова не совпадают с предполагаемым мерянским в своей внутренней и конечной части, ср.: рус. (диал., постмер.) *ёлс* «леший, черт» при коми *дявӧл* «дьявол», мар. *явыл* (jaβə̑л), хант. i̯auə̑ɬ.

При заимствовании греческого διάβολος оно должно было подвергнуться в мерянском следующим изменениям: 1) гр. (византийск.) διάβολος (djávolos) в связи с невозможностью двух и более согласных в начале мерянского слова (ср.: рус. (постмер.) пасибо < спасибо, рахать < страхать и под.) и, видимо, отсутствия, как и в марийском, звука v, передаваемого мерянским β (ср. связанное с этим рус. (постмер.) смешение б/в: варахло «барахло», бёзли «возле» и под.) должно было дать *jáβolos; 2) нередкое в мерянском синкопирование – с предшествующей редукцией – привело к выпадению первого заударного гласного, что закономерно вызвало (через стадию удлинения) замену гласного -a- предыдущего нового закрытого слога гласным более высокого подъема -o-: *jóβlos (ср.: мер (–) *бол* < (–) *бало* «деревня»; *урма* < **ора(м/β)а*, – ф. orava «белка» и под.

Возникновение формы *ёлс,* видимо, произошло уже на почве русского языка в результате развития парадигмы с конечным выпадным -o- при ее аналогичном выравнивании; **ёвлос – *ё(в)лса* > *ёлс – ёлса* (ср.: рус. *заём – займа* > (разг.) *займ – займа).*

Понятие «дьявол», особенно важное при пропаганде христианства среди язычников, религия которых изображается миссионерами как его порождение, должно было поэтому довольно часто употребляться ими при христианизации мери, и именно поэтому, возможно, закрепилось в мерянском языке, перейдя из него в русский.

При всей узости приведенного аргумента он показателен и тем, что свидетельствует не только о возможности существования богослужебных мерянских текстов, а и, видимо, о довольно длительной традиции их использования, поскольку иначе не могло бы так основательно врасти в язык мери важное слово, связанное с христианской религией.

Пластинчатый браслет конца 1 – начала 2 тыс. н.э. из фондов ГУК КГИАХМЗ.

[26] Словарь русских народных говоров, 1972, вып. 8, с. 348.

[27] *Фасмер М.* ЭСРЯ, т. 2, с. 17, – где отражен взгляд Д.К.Зеленина со ссылкой на его работу (*Зеленин Д.*, ч. 2, с. 99).

ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИКИ ДОСЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЯЗЫКОВ. ИСТОЧНИКИ И КРИТЕРИИ (НА МАТЕРИАЛЕ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА)*

Мерянский язык, как и большинство дославянских субстратных языков, относится к числу бестекстных. Этим во многом определена специфика источников, откуда можно почерпнуть сведения о нем, и критериев, с помощью которых можно выделить и реконструировать, хотя бы фрагментарно, его как систему. Трудности, возникающие при системной, а не дифференциальной реконструкции его лексики, вызываются, в частности, сложностью размежевания мерянского и финно-угорских словарей и отсутствием опыта выделения лексических заимствований мерянского, как и любого субстратного, языка.

Единственным общим источником сведений о мерянском языке пока и впредь, — если не будут обнаружены какие-либо его тексты, — является, в сущности, русский язык в своих конкретных проявлениях (возможность обнаружения мерянских заимствований в финно-угорских языках более проблематична). Как и все элементы мерянского языка, за исключением фонетических, мерянская лексика сохранена русским языком в двух видах — материальном и калькированном. Конкретными источниками обнаружения материальных включений мерянской лексики в русском языке являются связанные преимущественно с постмерянской территорией 1) апеллятивы территориальных диалектов, 2) апеллятивы социолектов (арго), 3) антропонимы, 4) топонимы, 5) этнонимы. Калькированная лексика представлена главным образом апеллятивами в локо- и социолектах. Частично оба вида лексических мерянизмов могут быть отражены и русским литературным языком, особенно на стыке с диалектным и арготическим. Источником хронологической стратификации мерянской лексики (ономастики) может быть разновременность ее проникновения в русский язык и связанные с этим изменения, в том числе отраженные в письменных памятниках. Территориальное различие вариантов тех же самых слов может послужить источником установления диалектных расхождений.

Общими критериями вычленения лексики мерянского происхождения из русского и ее идентификации в качестве финно-угорской являются в первом случае сопоставительно-типологический, во втором — сравнительно-исторический (этимологический). Установление ее собственно мерянской принадлежности опирается на частные критерии внешнего порядка (социолингвистический, лингвогеографический, лингвоисторический) и внутреннего (фонетический, морфологический (формантный), семантико-типологический). Указание ряда или хотя бы части критериев на мерянские черты анализируемых русских слов и названий позволяет доказать их принадлежность мерянской лексике, исконной или заимствованной (субстратной /«фатьяновской»), балтийской, булгарской, угорской, славяно-русской и др.). Методы внешней и внутренней реконструкции дают возможность воссоздать соответствующие мерянские лексемы в предполагаемой исходной форме большей или меньшей хронологической глубины.

---

* Публ. по: *О.Б.Ткаченко.* Проблемы и принципы реконструкции лексики дославянских субстратных языков. Источники и критерии (на материале мерянского языка) // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. *Москва, 21-26 мая 1984 г.* Тезисы докладов. — Москва: Наука, 1984, с. 42-43.

ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИКИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (ИСТОЧНИКИ И КРИТЕРИИ)*

Мерянский язык по имеющимся в настоящее время у науки данным относится к числу мертвых бестекстных языков. Этим определяется специфика источников сведений о нем и критериев, помогающих выделить его элементы и реконструировать, хотя бы фрагментарно, его как определенную языковую систему, в том числе лексическую. Трудности, возникающие при системной реконструкции его лексического состава, вызываются, в частности, сложностью разграничения мерянского и инофинно-угорских словарей как в их исконных элементах, так и в возможных взаимных заимствованиях, где не исключены случаи полного формального и семантического совпадения. При смежности родственных языков, возможности массовых миграций их носителей и недостаточно точных данных о границах бывшей мерянской языковой территории случаи подобной слабой или нулевой дифференцированности предполагаемых мерянских и инофинно-угорских лексем могут вызывать сомнения в том, относится ли то или иное слово к исконной мерянской лексике, принадлежит ли оно в мерянском к заимствованиям из какого-либо родственного языка или является результатом переселения носителей соседнего финно-угорского языка на мерянскую территорию и в состав мерянской лексики никогда не входило. Не менее сложно выяснить состав нефинно-угорских лексических заимствований мерянского, что необходимо для полноты представления о его словаре. Указанные трудности исследования мерянской лексики обусловлены отсутствием среди источников данных о ней связных мерянских текстов, так как только они дают возможность без сомнений причислить к определенному языку лексику как исконную, так и заимствованную. Ввиду отсутствия подобных источников у мерянского тем более остро стоит вопрос о других, имеющихся в распоряжении в настоящее время.

Основным общим источником сведений о мерянской лексике является пока русский язык в своих конкретных, включающих ее, ответвлениях. Хотя не исключена полностью возможность обнаружения мерянских заимствований и в финно-угорских языках, особенно смежных в прошлом с мерянским, уже в связи с обстоятельствами истории его носителей — прежде всего с тем, что вся бывшая мерянская языковая территория в результате ассимиляции мерян вошла в состав русского языкового пространства, — следует считать, что по сравнению с количеством мерянских включений в русском число заимствований из мерянского в финно-угорских языках значительно меньше, и поэтому их роль может быть лишь вспомогательной. Кроме того, по-видимому, следует считаться и с тем, что в других финно-угорских языках, ввиду их родственности мерянскому, мерянская лексика могла подвергаться значительно большей степени адаптации, а следовательно, и изменению своей первоначальной формы, чем в русском, а это также облегчает использование русского языкового материала в качестве источника для выделения и реконструкции мерянской лексики и делает его более доступным для мерянистики.

Как и все элементы мерянского языка, за исключением фонетических, его лексика отражена русским языком в двух видах — материальном и семантическом (калькированном), Конкретными источниками обнаружения материальных включений мерянской лексики в русском языке служат связанные, как правило, с постмерянской территорией:

* Расширенный вариант статьи, опубликованной под названием «Проблемы и принципы реконструкции лексики дославянских субстратных языков. (На материале мерянского языка)» // Этимология, 1984. — М., Наука, 1986, с. 202-205.

1) апеллятивы диалектов (костр. *урма* «белка» (ООВС, с. 240) – ф. orava, эст. orav, морд. ЭМ, мар., коми *ур* «т.с.»);

2) апеллятивы социолектов (угл. (арго) *иканя* «одна копейка» (букв. «один» в уменьшит. форме)» (Свеш 82) – мар. *ик* «один», ф. yksi, эст. üks, морд. Э *вейке* , морд. М *фкя* (уменьшит. *фкяня)* «т.с.»);

3) топонимы (влад. Kibalo (1578 г.) (Vasmer 417) < мерян. K(i/ü)Balo < *K(i/ü) + palo(-ə̑) «Каменная (букв. Камень) деревня» – мар. *кӱ* «камень», эст. kivi «т.с.» и в синкопированной форме (ves)ki (< *vesikivi) «мельница (букв. – (водяной) камень)», венг. falu (< *palu) «село, деревня»);

4) антропонимы (влад. *Шомарь* (1599 г.) (Веселовский 372) < мерян. šom + mar(ə) (< šamə + marə < *šämə + marə «Черника» (букв. «Черная ягода») – мар. *шем(е)* «черный; грязный», морд. М *шямонь* «ржавчина», манс. *сэмыл* «тёмный, чёрный», ф. marja «ягода», морд. М *марь* «яблоко (< *ягода)»);

5) этнонимы (костр. Ruž(bal) (Vasmer 417)[1] < мерян. Ruš (+ pal(o)) «Русская (деревня)», название реки, видимо, по селению), – следовательно, мерян. ruš «русский» – мар. *руш* «русский», морд. ЭМ *рузя*, коми *роч*, удм. *ӟуч* «т.с.»).

Калькированная полностью или частично лексика представлена с наибольшей четкостью в локо- и социолектах, ценность которых как источника заключается в том, что здесь наиболее ясно представлено значение соответствующих слов[2] – ср.: яросл. *побывшиться* «умереть (букв. «стать бывшим») (КЯОС, с. 147) от мерян. ul′šem(-) «умереть, стать бывшим», производного от мерян. ul′ša(ə) «бывший», *перен.* «покойник»[3] (ср. угл. (арго) *ульшил* «умер» (Свеш, с. 92) *ульшага* «покойник» (там же), производные от *ульша* (по образцу *бедняга, трудяга, бродяга* и под.); кашин. (арго) *неіола* «нет» (ТОЛРС XX, с. 166) от мерян. e jola (-ə) «нет (не есть)» – эст. ei ole «т.с.»[4].

Историю мерянских слов отражает разновременность их проникновения в русский язык; раньше на западе мерянской территории (когда мерянский язык имел более архаичные формы), позже на востоке (когда в результате исторического развития те же формы претерпели определенные изменения, в частности, сокращение слов и изменения в области вокализма)[5]. Исторические изменения слов отражает также их разновременная фиксация в письменных памятниках. Упомянутые случаи отражаются в следующих примерах:

1) (влад.) (Šorn)oga (Vasmer, S. 417) от мерян. (раннего) (Šorn)joGa(-ə) «(Ивовая) река» – мар. *шертне* «ива», ф. joki «река», эст. jõgi «т.с.» при костр. (Šort)jug (Vasmer, s. 417) от мерян. (позднего) (Šort)juk «(Лосиная) река» – мар. *шордо* «лось», морд. Э *сярдо* «т.с.», ф. joki «река», коми *ю* «т.с.»;

2) (влад.) (Ki)balo (1578 г.) (Vasmer, S. 417) от мерян. (K(i/ü)Balo «(Каменная) деревня» при влад. (современном) Kibol (Vasmer, ibid.) от мерян. (позднейшего) K(i/ü)Bol «т.с.».

Локальные различия между формами слов могут свидетельствовать об их диалектных вариантах – ср.: солигал. *елусь, поелусь* «пожелание едящим типа «Хлеб-соль!» (ООВС, с. 54) (от мерян. joluś pa joluś [*tenän seγe(--) – juγę(--)] «пусть будет и пусть будет» [*у тебя еда-питье]»[6], с производным *наелузиться* «наесться» (МКНО) и кинеш. *наюлызиться* «т.с.» (МКНО), возможно, образованное от другой (диалектной) формы того же глагола julyś «пусть будет».

Итак, указанные источники дают довольно разнообразные сведения о мерянской лексике. Однако поскольку эти сведения извлекаются не из связных мерянских текстов, а из русского языка, где эта лексика представляет собой разрозненные

[1] Сравнение с топонимом Ruža в Муромском уезде (Vasmer, ibid.) сомнительно в связи с тем, что здесь в прошлом обитала мурома – видимо, одно из мордовских племен, не связанное с мерей.

[2] Подобные же случаи в составе ономастики дают более проблематичный материал ввиду большой степени десемантизации соответствующих лексем. Очевидно, установление семантики здесь неизбежно связано с изучением топонимов в их увязке с характером обозначаемых ими частей местности, т.е. в сущности, с методом «слов и вещей» (Wörter und Sachen) в его топонимическом плане «слов и мест» (Wörter und Örter).

[3] Наст. изд., с. 79–81.

[4] *Ткаченко О.Б.* Merjanica. Фрагменты мерянской глагольной системы: Спрягаемые формы. – СФУ (1983), X X, с. 107; наст. изд., с. 77–78.

[5] Подробнее см.: *Ткаченко О.Б.* Проблема реконструкции... – К., 1983, с. 224–229.

[6] Подробнее см. там же.

вкрапления и где ее еще надо обнаружить, неизбежно возникает вопрос о критериях ее выделения.

Общими критериями выделения лексики мерянского происхождения из русской и ее идентификации в качестве финно-угорской являются критерии сопоставительно-типологический (черты отличия от лексики славянского происхождения) и сравнительно-исторический (черты сходства с лексикой финно-угорских языков). При выделении из русской апеллятивной лексики и ономастики элементов мерянского происхождения приходится идти путем постепенного исключения всего немерянского в ней: 1) инославянского: не русского, но славянского, 2) не славянского, но и не финно-угорского (индоевропейского, тюркского и т.п.), 3) финно-угорского, однако не мерянского, исключая то, что могло быть заимствовано из соответствующих языков в мерянский. Оставшиеся после отсева, в том числе заимствованные, лексические элементы должны быть окончательно обоснованы в качестве мерянских и реконструированы в своей исходной форме вместе с максимально восстановимыми данными об их семантике. Установление собственно мерянской принадлежности лексики опирается при этом на частные критерии внешнего и внутреннего порядка. К первым принадлежат критерии социолингвистический (ориентация постмерянской лексики как субстратной на социолингвистически «низкие» слои словаря – конкретные детали местной природы, быта, реалий, просторечие и вульгаризмы), лингвогеографический (связь лексики с (пост)мерянской территорией), лингвоисторический (зависимость от обстоятельств внешней истории языка – миграций его носителей и преемников его элементов, связи мерянского с другими языками и т.п.). Причинами того, что субстратная лексика имела шансы сохраниться, как правило, либо в составе наименований сугубо местных реалий, либо в качестве синонимов к словам славянского происхождения, является в первом случае их непереводимость и отсутствие точных соответствий среди слов славянского происхождения, во втором – бóльшая эмоциональность по сравнению с общерусскими (позднее – литературными) словами у слов мерянского происхождения. Частично ввиду их непонятности для русских из других местностей (вне (пост)мерянской территории) слова мерянского происхождения вошли также в состав местных профессиональных «тайных языков» (арго). По-видимому, к числу подобных слов, кроме уже упомянутых выше, относятся также, в частности, следующие: костр. *кандейка* «два глиняных сосуда, соединенных вместе, в которых носят завтрак работающим (в одной кринке молоко, в другой – суп)» (КОСК); яросл. *кандёхать* «(груб.) работать» (ЯОСК). Оба слова могут иметь своим корнем мерян. (< ф.-уг.) kanD- «нести, носить» (ср.: ф. kantaa «нести, носить», эст. kandma «т.с.», морд. Э *кандомс* «нести», мар. Г *кандаш* «приносить»), во втором случае переосмысленное от значения «носить, таскать (тяжести)» > «(тяжело) работать». Если первое слово сохранилось как обозначение специфической местной реалии, которую с помощью литературного языка можно было бы обозначить только описательно, то второе удержалось в языке благодаря приобретенной им экспрессивной яркости, которую было бы невозможно передать с помощью нейтрального *работать*, к тому же выразительность слова была подчеркнута огрубляющим суффиксом -ёха(-оха), стоящим в ряду близких по форме и по функции суффиксов с -х- (-ах(а), -ха) (ср. грубое *тетёха* вместо *тётя*, *картоха* вместо *картофель*, *картошка,* а также *деваха* (неодобрительное) вместо *девушка, дрыхать* (грубое) «крепко и долго спать» и под.). Сюда же можно отнести (яросл.) *пуйка* «мальчик, подросток» (ЯОСК) с его финно-угорскими параллелями (ср. ф. poika «мальчик, парень; сын», эст. poeg «сын», коми, удм. *пи* «сын, мальчик», венг. fiú «мальчик; сын», манс. *пыт* «сын», хант. (вах.) рӑγ «сын; мальчик» и (под вопросом) морд. Э bujo, pijo «внук», а также мар. Г *пуаэргы* «мужчина», выводимые из ф.-уг. *pojka (MSzFUE, I k., 206-207 l.)[7]. Слово могло сохраниться благодаря

[7] О специфике слова *пуйка*, заставляющей предположить его мерянское происхождение, кроме его территориальной принадлежности к (пост)мерянской территории, свидетельствует при известном формальном и семантическом сходстве с другими финно-

своей большей привычности (по сравнению с *мальчик*), а также большей эмоциональной близости носителям говоров, где оно употребляется.

Ко вторым (внутренним) критериям относятся черты структуры мерянского, выделяющие его на фоне других финно-угорских языков и отличающие слова мерянского происхождения от их соответствий в других финно-угорских языках:

1) критерий фонетический: переход гласных новых закрытых слогов в гласные более высокого подъема (а > о, о > u, ä > е, е > i: мерян. KiBalo > KiBol «Каменная деревня»; *oraβa > urma(-ə̑) «белка», βänək (мн. ч.) > βeń (ед.ч.) «вилы-двойчатки» (ср.: яросл., костр. *бяньки/вянки – бени)* «т.с.»[8]; *eli «жил» > il′ «т.с.» (ср.: костромские топонимы (р.) *Ильдомка* и (село) *Элино*); согласный β (существование которого можно предполагать на основе параллельного существования б и в в формах целого ряда (пост)мерянских русских слов);

2) морфологический (формантный): в частности проявляющийся в наличии вариантов jol-: ul- у глагола со значением «быть» (joluś «пусть будет»: ul′ «был», ul′ša «бывший»);

3) семантико-типологический: ul′šem (-) «умирать (становиться бывшим)» от ul′ša «бывший» (ср.: мар. *улшо* «присутствующий, присутствовавший»).

Учет упомянутых критериев, указание всех их или хотя бы их части на мерянское происхождение слова позволяет с большей или меньшей долей вероятности относить его к уже рассмотренным исконным или заимствованным элементам мерянского языка. К последним на основании их фонетического или семантического своеобразия можно, в частности, отнести заимствования:

1) из какого-то субстратного индоевропейского языка (видимо, представителей фатьяновской культуры) (яросл., костр. *бени* «вилы-двойчатки», *бяньки/вянки* «т.с.» (ЯОСК, КОСК) < мерян. βeń (ед.ч.) – βänək (мн.ч.) < и.-е. *dwäni «т.с.»;

2) из балтийских языков, возможно, через посредство прибалтийско-финских (угл. (арго) *кирбяс* «топор» (Свеш, 89) < мерян. kirβäs < ? прибалт.-фин. *kirves (фин. kirves) < лит. kirvis «т.с.»);

3) из языка древнеславянского населения, видимо, ассимилированного мерянами (яросл. (Пошехон. у.) *цолонда* «в доме: здравствуй, хозяин» (КЯОС, с. 212) < мерян. Cöl, ənDa! < *Cöl, anDo(βa)! «(Будь) здоров, хозяин (букв. кормящий)!», где мерян cöl < пслав. сѣлъ «здоров, цел» из сокращенного оборота *Bǫdi сѣлъ! «Будь здоров (цел)!»[9];

4) из русского языка на ранней стадии его усвоения, когда русско-славянское *х* передавалось мерянским к (яросл. *коронить «*прятать» (КЯОС, с. 93) < мерян. koronim (-) < рус. (стар.) *хоронити* (-*ь*); на возможность заимствования слова еще в период существования мерянского языка указывает его фонетическая особенность: в настоящее время звук *х* в местных русских говорах широко распространен и нигде не заменяется звуком *к*.

Восстановление первоначального облика мерянских слов, сохраненных в русском языке иногда в одной из застывших «несловарных» форм или обросших русскими (славянскими) формантами, требует снятия избыточных мерянских или русских формантов и объяснения структуры слова:

1) (галич.) (арго) *Нерон* «Галичское озеро» (Вин., 48) от мерян. ńeron (jahrə)

угорскими соответствиями и его несомненное формальное (фонетическое) своеобразие, которое, возможно, заставит менее скептично посмотреть на мордовскую-эрзя и марийскую (горную) параллели: своим консонантизмом (пост)мерянское *пуйка* (< мерян. pujka (-ə̑) близко к финскому poika, что же касается вокализма начального слога, то оно скорее близко к морд. Э bujo и мар. Г *пӱэргы*, как бы образуя связующее звено между финским и волжско-финскими языками.

[8] В отличие от реконструируемых мерянских форм, где различались ед. и мн. числа, в русских постмерянских говорах подобно словам типа *тиски, ножницы, щипцы,* данные слова относятся к числу т. наз. pluralia tantum и поэтому выступают только в форме множественного числа.

[9] Интересно отметить существование данного (сокращенного) оборота (видимо, из праславянского) в полабском (ср. полаб. ćol с французским и немецким переводами «A vôtre santé», «Eure Gesundheit; Willkommen», где ćol (< пслав. сѣлъ) имеет балтийские и германские параллели в подобных приветственных формулах – ср. прус. kails «(будь) здоров», гот. hails «здоровый», отраженное также в нем. Heil «благо»; Heil (dir)! «Привет (тебе)!» и англ. hail «приветствие»; (hail!) «привет!».

«(букв.) Болóта (= Болотное) (озеро)», где ńeron род. пад. ед.ч. от мерян. ńero(-ə̑) «болото»[10] (ср. манс. *няр* «болото», венг. nyirok «сырость; влажность», коми, удм. *нюр* «болото», ф. järvi «озеро», саам H jaw're «т.с.»);

2) костр. при-о-тудоб-еть «окрепнуть (< прийти в себя (стать (осо)знающим)) (МКНО) от мерян. tuDoβa(-ə̑) «(осо)знающий»[11] (ср. ф. tuntea «чувствовать; знать», tunteva «чувствующий; знающий», эст. tundma, tundev «т.с.», венг. tud «(он) знает», tudó «знающий»)[12].

Методы внешней и внутренней реконструкции, применяемые при этом, дают возможность воссоздать соответствующие мерянские лексемы в предполагаемой исходной форме большей или меньшей хронологической глубины.

При этом, однако, следует считаться с тем, что, как и при всякой реконструкции, полученные результаты восстановления исходной мерянской формы слов неизбежно — особенно на первых порах, когда собранных (пост)мерянских данных слишком мало — должны иметь более или менее условный характер. Последнее относится как к реконструкции материальной (фонетической), так и семантической.

Что касается мерянской фонетики, то основная причина проблематичности ее восстановления ясна: ввиду различия между мерянской и русской фонетическими системами и в связи с адаптацией мерянской фонетики к русской многие мерянские особенности не отражались полностью либо отражались только частично. Одним из примеров этого может быть вопрос о мерянских редуцированных, существование которых в мерянской фонетике можно предполагать. В частности, наличие одного из редуцированных (заднерядного ə̑) можно предположить на основе исторического развития формы явно (пост)мерянского в русском местного названия реки и города (на ней) *Москва*[13]. Как бы ни рассматривать первоначальное происхождение названия, то ли как исконно мерянское, то ли как вторично деэтимологизированное и осмысленное в качестве мерянского в мерянской языковой среде из первоначально балтийского топонима[14], ясно одно: в момент появления его в языке вятичей, одного из восточнославянских (прото(велико)русских) племен, слово было ими усвоено непосредственно из мерянского языка. Об этом говорит как его семантика, так и фонетическая и (первоначальная) морфологическая форма. С семантической точки зрения название — типичный мерянизм, поскольку русскославянское название реки в ее верхнем течении явно калькирует мерянское название той же реки в ее среднем и нижнем течении: до своего впадения в большое озеро, известное под названием *Москворецкая лужа*, река называется *Коноплёвка*, что можно рассматривать как сокращенную субстантивированную форму первоначального названия **Коноплёвая река*; после своего истока из того же озера она уже называется *Москва* (< **Москы*)-*река* (< *рѣка*), что можно рассматривать как полукальку мерянского Moskə̑juk «(букв.) Коноплёвая (букв. Конопля) река», т.е. та же, но уже в полумерянской языковой форме *Коноплёвка*. Подобное истолкование первой части былого сложного слова вытекает из того, что первый его компонент móska (-ə̑) находит себе финно-угорские параллели в морд Э *мушко* «конопля; пенька», морд. М *мушка* «волокно; кудель», мар. *муш* «пенька, кудель»[15], и, следовательно, мо-

[10] Следует заметить, что берега Галичского озера действительно имеют болотистый характер, в чем можно убедиться при посещении Галича и что подтверждает предложенную этимологию его мерянского названия.

[11] *Ткаченко О.Б.* Merjanica. Фрагменты мерянской глагольной системы: спрягаемые формы. — СФУ, 1983, № 2. — С. 105–106.

[12] Обращает на себя внимание оригинальность формы слова: корень его, как представляется, отличается от формы корня в прибалтийско-финских языках и больше похож на его форму в венгерском и пермских языках (отсутствие -n-) (MSzFUE, III k., 646-648 l.); что касается форманта причастия, то он близок к представленному в прибалтийско-финских языках. Это своеобразие формы слова, выделяющее его на фоне финно-угорских соответствий вместе с его обнаружением на постмерянской территории свидетельствуют о его мерянском происхождении.

[13] Подробно см.: *Халипов С.Г.* Что значит *Москва*. — СФУ, 1984, № 2. — С. 129–131, а также наст. изд., с. 54–55, 225–226.

[14] См.: Этимологический словарь славянских языков. — Вып. 20. — С. 19–20.

[15] Речь в данном случае идет, естественно, не о первоначальном происхожде-

жет рассматриваться как имеющий значение «конопля; пенька». В пользу этого говорит и славянское название реки, которая может рассматриваться также в качестве части течения реки, известной сейчас под названием *Москва-река*. О финно-угорском мерянском происхождении названия реки[16] говорит и его «странная» (с точки зрения славянских названий рек) структура: не по типу *река* Волга, *река* Ока, *река* Дон, а Москва-*река*, где, как и во всех финно-угорских названиях рек, слово со значением *река* в качестве определяемого стоит всегда на втором месте (ср. ф. Kokemäen*joki*, эст. Ema*jõgi*, морд. Э Раторл*ей*). Аргументом в пользу именно (пост)мерянского происхождения названия в русском языке является и его фонетика. Как известно, балтийским языкам редуцированные звуки не свойственны. Между тем развитие слова в русском языке неопровержимо свидетельствует о том, что в конце слова здесь выступал заднерядный редуцированный. Поскольку в языке вятичей, будущих русских, подобного звука тогда не существовало, слово было заимствовано в двух формах — как (*) *Мóска* (ср.: *на Мосцѣ* (1208 г.) (Смол, с. 287) — форма предл. пад. ед.ч. — ср.: друс. *на руцѣ* от *рука*) и как **Мóскы*. Не имея в своем языке подобного звука, вятичи передавали его как *а* или как *ы* (поскольку редуцированный, действительно, напоминал очень краткое (беглое) *ы*). Форма *Мóска*, отраженная в итальянском *Mósca* «Москва», однако, постепенно была вытеснена формой **Мóскы*, которая не засвидетельствована в письменных памятниках, но продолжение которой вполне логично усматривать в позднейшей форме *Мóсковь* (1147 г.), отраженной в англ. Moscow, нем. Moskau и, по-видимому, во фр. Moscou. Именно ее продолжением является современная форма *Москва*. Путь формального развития здесь был подобен той эволюции, которую прошли в большинстве славянских языков (в том числе и в русском) все существительные (женского рода) на *-ы* (т.наз. -ū-основ) типа *свекры* «свекровь», *кры* «кровь», *цьркы* «церковь», в ряд которых вошло и название **Мóскы*, постепенно и в им. пад. ед.ч. которого окончание *-ы* было вытеснено также окончанием *-овь* (по аналогии к косвенным падежам, где оно выступало). Форма *Мóсквá* (из *Мóсковь*) могла появиться под влиянием собирательных образований типа *листва, братва* и под. Столь подробную аргументацию было необходимо привести, поскольку она совершенно недвусмысленно свидетельствует о существовании в заударных (в частности, конечных) слогах мерянских слов редуцированного ə̂, выступавшего после твердых согласных. Отсюда логично сделать вывод, что в той же позиции после мягких (палатальных) согласных должен был выступать редуцированный переднего ряда ə. Из этого следует, что при реконструкции мерянских слов в подобной позиции вполне допустимо вместо гласных полного образования (например, *а* или *е, о*), выступающих в постмерянских русских словах, в соответствующих мерянских реконструкциях на их месте ставить ə̂ либо ə. Однако ввиду того что далеко не всегда нам известен характер предшествующего согласного (его твердость или мягкость — например, у согласного š), в ряде случаев следует либо указывать возможность двоякой трактовки (ul'šə̂/ə «бывший»), либо оставлять гласный, отраженный в русском слове (*ul'ša). Ввиду того что необходимо как постепенно стремиться к фонетической реконструкции мерянских слов, так и подтверждать их данными тех разновидностей русского языка, откуда извлечены их русские отражения, очевидно, единственно правильным решением является двоякое представление мерянских фактов, как в их русских отражениях, так и в реконструкциях. Приведен-

нии названия, которое могло быть балтийским, а о том его качестве, в котором оно было воспринято славянами, непосредственно столкнувшимися с мерей и именно у нее со всеми его изменениями, произошедшими в мерянской среде, непосредственно заимствовавшими.

[16] Отражение названия реки как **Мошка* (ср.: очевидно, гиперическое — *на Можцѣ* (вместо: **на Мощцѣ*), — 1208 г.) (Смолицкая, с. 287) свидетельствует о том, что в мерянском яыке в слове выступал либо звук s, подобный s финского языка, воспринимаемый славянами на слух как звук средний между мягкими s и š, либо это последнее с очень большой степенью мягкости. Отсюда колебания в выборе славянского звука для его передачи. Случай этот на постмерянской территории не единичен: как известно, современному *Суздаль* в X–XIV вв. соответствовало *Суждаль*.

ный пример восстановления только двух мерянских звуков ə̑ и ə̲ — а такие случаи далеко не единичны — свидетельствует о всей сложности воссоздания подлинной фонетической формы мерянских слов.

Не менее сложна по-своему и проблема их значений. Здесь обращают на себя внимание прежде всего два случая:

1) наличие финно-угорских параллелей с засвидетельствованной семантикой, например, в мерянских названиях деревень типа (Ате)бал, (Ки)бол (< (Ки)бало, — 1578 г.), (Яхро)бол, (Муш)пол — венг. falu (< *palu) «село, деревня»);

2) существование для отражений мерянских слов в русских источниках, наряду с подтверждающими их финно-угорскими параллелями, также русских ка́лек определенной семантики (рус. (постмерян.) *ульшага* «покойник», *ульшил* «умер» — ф., эст. oli «был», венг. volt «т.с.», мар. *улшо* «присутствующий, присутствовавший», а также рус. (диал.) *побывшился* «умер»). В них представлена как форма мерянского слова, его материальная сторона, так и его значение[17].

Однако, помимо двух подобных возможностей не исключена и третья, когда можно говорить о значении мерянского слова при том, что само слово отсутствует и представлено только его русским переводом. Очевидно, и в данном случае нельзя пренебрегать подобными фактами, так как они освещают какой-то из элементов лексической системы языка, пусть и отсутствующий в настоящее время. Так, например, среди мест обитания мери упоминается и два селения к западу от Москвы, *Меря Старая* и *Меря Молодая* (Третьяков, с. 135–137). В указанном случае естественно предположить, что русские топонимы представляют собой, по-видимому, перевод с мерянского, в котором слово со значением «новый» могло иметь одновременно также значение «молодой», что и вызвало трудности при переводе[18]. Так как слово со значением «новый» почти во всех финно-угорских языках (за исключением обско-угорских) продолжает ту же самую праязыковую лексему, реконструируемую как *wuδ′e (MSzFUE, III k., 651 l.), без особого риска можно предположить, что и мерянский продолжил то же самое прaслово, что можно представить как мерян. [*wuδ′e], т.е. в символах как особую (вначале диалектную) мерянскую линию его развития, которую в ее конечном результате предстоит со временем установить с помощью найденного материала или более конкретной реконструкции. В отношении семантики обращает на себя внимание то, что почти во всех ныне известных финно-угорских языках, где соответствия праязыкового слова *wuδ′e засвидетельствованы, оно выступает только со значением «новый», имея для выражения понятия «молодой» другие слова, — ср.: ф. uusi «новый», эст. uus, кар. ūži, вепс. ūź, uź вод. ūsi, ūs, лив. ūž, саам (кильд.) ōtt, мар. *у*, коми[19], удм. *выль*, венг. új «т.с.».

В отличие от этой преобладающей части финно-угорских языков в обоих мордовских языках слово, продолжающее прафинно-угорское *wuδ′e, кроме значения «новый», имеет также значение «молодой», — ср.: морд. Э *од* «новый; молодой», морд. М *од* «новый; молодой» (SKES IV, 156 S.; MSzFUE, III k., 651 l.)[20]. Есть основание предполагать, что и в латышском языке, где у слова jauns отмечаются одновременно два значения: «молодой» и «новый» (ср. лит. jáunas «молодой», naũjas «новый»), подоб-

[17] Безусловно, в ряде случаев, даже когда в силу фиксации слова на постмерянской территории и обнаруживаемой им связи с другими финно-угорскими словами, можно говорить о его мерянском происхождении, далеко не всегда с точностью можно определить его значение в мерянском языке, поскольку, как известно, слова общего происхождения в разных родственных языках в ходе их развития могут изменять свое значение. Особенно трудно установить точное значение слова в ономастике.

[18] При наиболее точном (и в отношении порядка слов) переводе с мерянского должно было бы быть: *Старая* Меря, *Молодая («Новая»)* Меря.

[19] Наличие в коми языке у слова, кроме значения «новый», также семантического оттенка «свежий» (MSzFUE, III k., 651 l., Коми-русский словарь. — С. 148) на общую оценку ситуации не влияет, так как и здесь нигде не обнаруживается значение «молодой».

[20] Это подтверждается и словарями мордовских языков — ср.: Эрзянско-русский словарь. — С. 153; Эрзянь-рузонь валкс. — М., 1993. — С. 430; Мокшанско-русский словарь. — М., 1949. — С. 188; Русско-мокшанский словарь. — М., 1951. — С. 263, 311.

ный семантический сдвиг, – поскольку ничего подобного нет ни в литовском, ни в других смежных индоевропейских языках, славянских и германских, – мог возникнуть под влиянием какого-то прибалтийско-финского языка, либо как последствие древней стадии семантического развития слова, либо как отражение черты его исчезнувшего диалекта. Как известно, из балтийских языков латышский в наибольшей степени подвергался финно-угорским влияниям. Следовательно, есть основание считать, что изоглосса (изосема), заключающаяся в совмещении двух значений «новый» и «молодой» в одном слове, в большинстве финно-угорских языков, имеющем только значение «новый», теперь ограниченная только мордовскими языками, в прошлом могла быть значительно шире. На востоке она могла охватывать мордовские языки, а на западе какую-то часть прибалтийско-финских. Что касается мерянского языка, то он, очевидно, располагался в центре этой изосемной области[21].

Очевидно, подобных случаев, когда мерянская семантика может быть известна только благодаря ее отражениям в русской лексике славянского происхождения, что может относиться также к мерянской грамматике и фразеологии, может быть довольно много, и ни один из них нельзя упускать из виду, поскольку они могут дополнять сведения о мерянском языке, полученные с помощью его материальных остатков в русском. При отсутствии сведений о соответствующих мерянских материальных фактах (словах, грамматических формах, фразеологических оборотах) эти предполагаемые только на основе их семантики и функций факты мерянского языка, пока не будут обнаружены соответствующие искомые мерянские материальные данные, следует представлять в обобщенной и специально оговоренной с точки зрения символики финно-угорской форме большей или меньшей временно́й глубины.

В связи с этим возникает чисто технический вопрос, как обозначать и различать два типа мерянских реконструкций – (1) построенные на основе засвидетельствованных (пост)мерянских материальных фактов, (2) воссозданные на основе предполагаемых рефлексов мерянских явлений, отраженных в русском языке только семантически (функционально). Первые ввиду достаточной уже графический их различимости (русские данные в кириллической графике – реконструкции в латинской) представляется целесообразным передавать только с помощью соответствующих граф ик без применения астериска («звездочки») перед реконструированными формами. Исключение делается только в случае предполагаемых предшествующих мерянских стадий, выводимых гипотетически без опоры на какие-либо реальные (пост)-мерянские факты в русском (напр.: рус. (постмерян.) (костром.) *урма* «белка»: мерян. urma(-ə̑) < *orə̑βa(-ə̑) < *oraβa(-ə̑) «т.с.»). Во втором случае предлагается незасвидетельствованный материально мерянский факт представлять с помощью финно-угорской (или другой доступной, более близкой) праформы, снабженной астериском перед ней и заключенной в квадратные скобки. Последние должны указывать на то, что речь идет о праформе как только об отправном пункте для особой мерянской линии развития. На то же должна указывать предшествующая надпись-определение *мер.(янское)*, которое в его конкретности еще предстоит установить (напр.: мер. [*wuδ′e] «новый; молодой»). Именно подобная система реконструкций и их различения применена впервые в этой статье. До сих пор в первом случае применялся астериск, во втором два астериска, что усложняло символику реконструкций, не способствуя ее большей точности.

Из рассмотренного выше вытекает следующий общий вывод. Поскольку русский

[21] Более того, имеющееся в финно-угорских языках положение, при котором у подавляющего их большинства слова со значением «новый» восходят к общему истоку (ф.-уг. *wuδ′e), а слова со значением «молодой» различаются по группам и даже по отдельным языкам (ср.: ф. nuori «молодой», эст. noor, мар. *самырык*, *рвезе,* коми *том,* удм. *егит*, *пинал,* венг. fiatal, ifjú «т.с.»), заставляет предположить, что состояние, при котором значения «новый» и «молодой» передавались одним словом, могло быть праязыковым, а их передача разными словами развилась вторично, после распада праязыка. В таком случае мордовские и мерянский язык только сохранили это праязыковое состояние.

литературный язык сложился в Центральной России, на территории, в основном совпадающей с (пост)мерянской, для наиболее достижимой в настоящее время полноты реконструкции мерянского языка следовало бы подвергуть анализу «на мерянскость» все его элементы за исключением в основном церковнославянских и, разумеется, относимых к поздним заимствованиям. Так же и даже более тщательно и углубленно должны были бы быть с той же целью рассмотрены все диалектизмы данной территории, все ее арготизмы (особенно старые) и вся ее ономастика. Для этого должны быть учтены как все современные данные, так и факты, извлеченные из исторических памятников. Само собой разумеется, что ввиду большей незыблемости и фиксированности литературного языка его изучение под углом зрения (пост)мерянскости не требует такой срочности и неотложности, как изучение того, что могут дать локо- и социолекты, ономастика и фиксации в памятниках письменности, начиная с наиболее отдаленных по времени. Ведь диалекты и «тайные языки» исчезают, приорода (особенно в 20–80-ые годы XX века, да и позже) варварски «преобразовывалась» и «преобразуется», вместе с чем исчезают и топонимы, а рукописи (вопреки утверждению М.А.Булгакова) горят.

Лингвистическая мерянистика как особенно сложная область финно-угроведения, устанавливающая свои исследуемые и реконструируемые факты (по крайней мере пока)[22] на основе всестороннего как славистического, так и финно-угроведческого анализа данных русского языка и ономастики (пост)мерянского региона России, требует от каждого исследователя, занятого ее проблематикой, одновременного сочетания в себе русиста, слависта и финно-угроведа.

В данной статье ее автор старался показать возможные пути исследования одного из уровней мерянской языковой системы (лексики), в настоящее время наиболее доступного и тем самым дающего факты не только для своей сферы, а и для освещения остальных уровней языка (фонетики, а также фрагментов грамматики и фразеологии), а следовательно, и для изучения языка в целом.

Металлические подвески-птицы из могильников на мерянской территории. *[22, стр. 146]*

[22] Даже в случае обнаружения связных мерянских текстов (вряд ли к тому же обширных) роль русского языка при воссоздании мерянского в целом, за исключением фонетики и грамматики, существенно не изменится. Учитывая, по всей вероятности, переводной религиозный характер возможных текстов, можно предположить, что основная масса лексики и фразеологии окажется вне их границ, а ввиду этого за (пост)мерянскими данными русского языка сохранится их важная роль при возможно полной реконструкции мерянского языка.

СЛАВЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ КАК ИСТОЧНИК ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ*

Для воссоздания дописьменной истории славянские, как и другие, языки нуждаются в реконструкции утраченных этапов развития своих элементов. Кроме внутренней (исторической) и внешней (сравнительно-исторической) существует также внешняя реконструкция, которую как комбинированную можно назвать сопоставительно-исторической (из сокращения ее полного названия «сопоставительно[-типологическая и сравнительно]-историческая реконструкция»)[1]. В отличие от первых двух реконструкций, где используются исконные элементы в их генетических связях, материалом третьей являются заимствования, в частности славянские заимствования в неславянских языках.

Каждая из трех упомянутых реконструкций имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам сопоставительно-исторической реконструкции принадлежит конкретно-материальный характер реконструируемого факта. Если при двух других реконструкциях, отправляясь от зафиксированных форм, исследователь выводит как их результат незасвидетельствованную и, как правило, недоступную проверке форму, то здесь он имеет ее сразу во всей ее конкретности, правда, в более или менее измененном под влиянием языка-преемника виде. Вместе с тем факт заимствования именно того, а не иного слова может что-то сказать и о характере контактов соприкасавшихся народов, а тем самым и о социолингвистической стороне контактов, стоящих за реконструируемыми языковыми явлениями, не говоря уже о важности в целом установления взаимосвязей языков, свидетельствующих об исторических судьбах народов, их носителей, о занятых ими в тот или иной исторический период территориях. Недостатком данного типа реконструкции является то, что для ее точности необходимо максимально полное представление о языке-преемнике. Ввиду неудовлетворительной изученности как языков-источников (в данном случае славянских), так и связанных с ними языков-преемников в доисторический период их развития применение сопоставительно-исторической реконструкции сталкивается со значительными трудностями и, несмотря на ряд важных сведений, полученных к настоящему времени, дает пока не всегда и не во всем убедительные, частично спорные (или оспариваемые) результаты[2]. Это заставляет, находя указанный тип реконструкции перспективным, считать его далеко не исчерпавшим все свои возможности. Дальнейшего уточнения получаемых данных следует в основном ожидать от усовершенствования методики реконструкции и обнаружения новых фактов, уточняющих уже известные. То и другое, как правило, взаимосвязано.

К числу неславянских языков, особенно тесно связанных со славянскими,

---

* Публ. по: Ткаченко О.Б. Славянские заимствования в неславянских языках как источник древнейших славянских реконструкций // Слов'янське мовознавство (доповіді). — Київ: Наукова думка, 1988, с. 42-53.

[1] Подробнее о сопоставительно-историческом методе, лежащем в основе данного типа реконструкций, см.: *Ткаченко О.Б.*, 1979. — С. 3-9; *Ткаченко О.Б.* Проблемы сопоставительно-исторического изучения славянских языков // Вопр. языкознания. — 1981. — № 1. — С. 48-51.

[2] О ценности данных славянских заимствований в неславянских, в частности финно-угорских, языках см.: *Рот О.М.* Проблеми інтерлінгвістики і фінно-угорсько-східнослов'янські мовні контакти найдавнішого періоду // Мовознавство. — 1971. — № 4. — С. 16—27; *Рот А.М.* Венгерско-восточнославянские языковые контакты. — Budapest, 1973; *Kiparsky V.*, 1963. — Bd. I. — S. 75—84. Более скептическая их оценка содержится в кн.: *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. — М., 1961. — С. 45—47.

относятся балтийские, германские, восточнороманские, среднегреческий и новогреческий, албанский, финно-угорские. Ввиду многообразной специфики контактов славянских языков со всеми перечисленными целесообразно остановиться только на славяно-финно-угорских связях. Одним из наименее выясненных вопросов этих контактов, от решения которого во многом зависит оценка славянских заимствований в финно-угорских языках как источника древнейших славянских реконструкций, является вопрос об их хронологической глубине. Длительное время преобладала тенденция характеризовать их как относительно поздние, в связи с чем подвергались сомнению даже те случаи, где отражены факты явно праславянского или близкого к нему периода (сочетания *tort (*tart), *tolt (*talt) и под., редуцированные гласные или их предшественники, количественные различия в вокализме говоров — предков восточнославянских языков и т.д.)[3]. Тем не менее в последнее время у ряда исследователей, как славистов, так и финно-угроведов, касавшихся древних славяно-финно-угорских языковых связей (таких, как В.Н.Топоров, О.Н.Трубачев, Б.А.Серебренников, В.Кипарский, А.М.Рот, В.Т.Коломиец)[4], постепенно появляется фактически все больше отдельных возражений против подобного недоверия к языковым показаниям, связанным с финно-угорскими контактами. Это ведет к необходимости пересмотреть правомерность положения об их позднем начале. Лучшему пониманию причины их возможной хронологической глубины способствует концепция подвижности обоих ареалов во времени, представленная в последних работах как по этногенезу славян (О.Н.Трубачев), так и по этногенезу финно-угров (П.Хайду)[5]. Яснее история славяно-финно-угорских языковых отношений и их хронологическая протяженность становятся и благодаря включению в число известных науке финно-угорских фактов мерянского языка, реконструктивное исследование которого позволяет обнаружить в составе его лексики субстратные включения из языка носителей фатьяновской культуры явно (прото) славянского типа[6].

В связи с указанным есть смысл остановиться на реконструкции нескольких древних славянских заимствований в финно-угорских языках, уже частично рассматривавшихся в литературе, чтобы на их основе ответить конкретно как на вопрос о хронологии контактов славянских и финно-угорских языков, так и о значении славянских заимствований в финно-угорских языках в качестве источника древнейших славянских реконструкций. Анализируемые слова будут рассмотрены в примерном хронологическом порядке их заимствования.

Слово со значением числа «семь», известное всем финно-пермским языкам (фин., иж. seitsemän, кар. seit't'šemen, вепс. śeit'šime, вод. seitse, эст. seitse (ген. seitsme), лив. seìs, саам К čihčem, морд. Э *сисем,* морд. М *сисем* (sisəm), мар. *шым (ыт),* мар. Г *шӥм,* удм. *сизьым,* коми З, коми-перм. *сизим,* мер. *šeZ'um/*s'iZ'um (наст. изд., с. 73)), в связи с его структурой Б.А.Серебренников считает заимствованным из ка-

[3] Подробнее см.: *Kiparsky V.* Op. cit. — S. 78, 83.

[4] Кроме уже упоминавшихся трудов А.М.Рота и В.Кипарского, см. также: *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1963. — С. 246—247; *Серебренников Б.А.* Историческая морфология пермских языков. — М., 1963. — С. 221; *Коломиец В.Т.* Происхождение..., с. 85—87, 124—127; *Коломиец В.Т.* Значение..., с. 79—82.

[5] Ср.: «Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще — с фактом сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — со смешанным характером заселения Европы, далее с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории» *(Трубачев О.И.* Языкознание и этногенез славян: Древ. славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание: Докл. сов. делегации на IX Междунар. съезде славистов. — М., 1983. — С. 234-235); «... экспансия финно-угорской охотничье-рыболовецкой культуры, оказавшей модифицирующее и нивелирующее влияние на другие культуры, не явилась единовременным актом. Финно-угры накатывались все новыми и новыми, разделенными во времени и пространстве волнами, пока не овладели лесной полосой Восточной Европы» *(Хайду П.* Уральские языки и народы. — Л., 1985. — С. 164).

[6] См. наст. изд., с. 32, 36-38, 71-72, 91-97, 112-114, 121, 122, 125-126, 137-138. Понятием «протославянский» обозначается ранний этап развития праславянского языка, в том числе на занятой финно-уграми территории.

кого-то индоевропейского языка славяно-балтийского типа[7]. Однако, так как финно-пермские языки не отразили в слове звук -p̲-, сохраненный балтийскими языками (лит. septyni, лтш. septiņi «семь», прус. septmas «седьмой»), но утраченный славянскими (р. *семь, седьмой,* укр. *сім, сьомий,* бел. *сем, сёмы,* п. siedem, siódmy, ч. sedm, sedmý, слц. sedem, siedmy, вл. sydom, sydmy, нл. sedym, sedymy, полаб. sidĕm, sidmĕ, болг. *седем, седми,* м. *седум, седми,* схв. *седам, седми,* слн. sedem, sedmi, стсл. сєдмь, сєдмъ — «семь, седьмой»), с бóльшим основанием слово можно считать заимствованием из языка собственно славянского типа. Наиболее архаично и близко по структуре к форме слова в языке-источнике, видимо, финское соответствие, где конечное -män должно было возникнуть под влиянием сингармонизма из первоначального -man (или близкого к нему звукосочетания). Дифтонгическое -*e̲i̲*- скорее всего отражает несущественный вариативный оттенок в произношении фонемы *e̲*, воспринятой в данной позиции как дифтонг, причем, возможно, только частью финно-пермян[8]. Изложенное дает основание считать, что финское (≦ прафинно-пермское) seitsemän отражает протославянское, то есть раннепраславянское, *setseman (*-mɔn), один из этапов развития от протославянского *septeman (*-mɔn) «седьмое» к позднепраславянскому sedmo «тс». Очевидно, весь путь этого развития следует рассматривать как цепь следующих переходов: *septeman (*-mɔn) «седьмое» (ср. гр. ἕβδομος (*< sébdomon «седьмое»), динд. saptamáḥ < *septemós «седьмой») > *setteman > *setseman (как результаты разных типов ассимиляции, непосредственной и дистантной) > *setman (следствие гаплологии, приведшее к опущению второго слога слова, почти идентичного с первым) > *sedman (*-mɔn) > *sedmo. Столь сильные структурные изменения в слове, потребовавшие значительного времени, объясняются теми неизбежными ассимиляционными процессами и сокращениями, которые часто возникают у числительных вследствие их быстрого проговаривания при счете. Отраженная финно-пермскими языками форма, близкая к отправной *septeman (*-mɔn) «седьмое» (муж. р. ед.ч. *septemas/ *-ɔs «седьмой») как структурой корневой части, так и окончанием (с сохранением конечного согласного, еще не подвергшегося действию закона открытых слогов) свидетельствует о чрезвычайной своей архаичности и соответственно очень древнем периоде заимствования протославянского слова этими языками[9].

Слово со значением «дуб (Quercus)», представленное, видимо, как в финских, так и в пермских языках, хотя и различающимися рефлексами (фин., кар., иж., вод. tammi, эст. tamm (ген. -e), лив. täm̄ (ген. tam̄), морд. Э *тумо,* морд. М *тумо* (tumă), мар. *тумо*, мар. Г *тум,* мер. *toma (*-ə̑) (наст. изд. с. 120); коми З (дперм.) *тупу,* коми-перм. *тыпу,* удм *тыпы*) предполагает для себя две праформы — прафиннскую *tomma[10] и прапермскую (позднюю) *tupu[11]. Обе праформы могли развиться из общей прафинно-пермской праформы *tompa[12] путём прогрессивной ассимиляции в прафинском, давшей *tomma, и регрессивной ассимиляции в прапермском, давшей *toppa с его позднейшим развитием в *toppa > *tupu. Исходя из первоначального отсутствия в финно-угорских языках звонких согласных и, следовательно, замены славянских d̲, b̲ в финно-угорском их глухими соответствиями t̲, p̲, а также из того, что им совершенно несвойственны носовые гласные, финно-

[7] *Серебренников Б.А.* Указ. соч. — С. 221.

[8] См. по этому поводу у Б.А.Серебренникова: «В финском seitsemän представлен дифтонг. Б.Коллиндер считает, что в удмуртском śiźym «семь» первое i̲ возникло из дифтонга ei̲ *(Collinder B.,* p. 175). Однако дифтонг мог быть также чисто зональным явлением» *(Серебренников Б.А.,* 1967, с. 112).

[9] Допускается и другое толкование слова, как ф.-перм. *śeŋćemä (*Редеи К.* и *Эрдейи И.* Сравнительная лексика финно-угорских языков // Вопросы происхождения и развития ф. языков. — М., 1984. — С. 433). Однако в финно-угорских оно ничего не меняет, так как и здесь речь идет о протославянском заимствовании, в основе которого, по-видимому, лежит протосл. *semtsema. При этом только несколько меняется представление о пути развития слова. Кроме того, принятие данной праформы предполагает также действие закона открытости слогов уже в протославянском даже этого периода.

[10] *Collinder B.* Op. cit. — P. 155.

[11] *Лыткин В.И., Гуляев Е.С.*, с. 286.

[12] Наст. изд., с. 121.

пермское *tompa наиболее обоснованно считать отражением протославянского *dǫba (*-ɔ) < *dumbos «дуб». О том, что финно-пермскому -om-, действительно, соответствовало протославянское -ǫ-, а не звукосочетание -om-, говорит открытость конечного слога слова: поскольку открытым стал конечный слог, то же самое должно было произойти в другом слоге, то есть сочетание «гласный + носовой согласный» должно было быть заменено носовым гласным. На славянское происхождение слова с этимологической точки зрения указывает то, что, развившись на индоевропейской основе, оно является новообразованием именно славянских языков, не имея соответствий в других индоевропейских[13]. С фонетической точки зрения об этом свидетельствует, несомненно, открытый характер конечного слога слова (вместо ожидавшегося для других индоевропейских языков, в том числе раннепраславянского, в им.пад. ед.ч. муж.р. o-основ закрытого слога с конечным -s или его рефлексами). В то же время конечный слог, судя по наиболее достоверным отражениям финских языков, сохранял в данном случае еще гласный полного образования заднего ряда низкого (или среднего) подъема вместо развившегося здесь позже независимо от тембра гласного (в случае его принадлежности к заднему ряду) звука -ŭ, смененного в дальнейшем редуцированным -ъ. Следовательно, в период заимствования слова финно-пермским праязыком в славянском уже действовал закон открытых слогов, проявившийся в рассматриваемом слове в утрате конечного -s, вполне возможного в финно-пермских языках (ср. ф. kalastus «рыболовство», коми З *ломтас* «топливо»). Однако конечный гласный, ставший таковым после отпадения следовавшего за ним согласного (-s), в то время еще сохранял свое первоначальное качество. Это говорит о том, что заимствование произошло вскоре после отпадения конечного согласного в слове, задолго до начала процесса, приведшего постепенно к превращению его конечного гласного из гласного полного образования в редуцированный. Протосл. *dǫba (*dǫbɔ) является через стадию *dǫbŭ предшественником позднейшего псл. dǫbъ, имеющего соответствия во всех славянских языках, ср. р., укр., бел., схв. *дуб,* др. *дубъ,* п. dąb, ч., слц., вл., нл. dub, полаб. dǫb, болг. *дъб,* м. *даб,* слн. dob, стсл. дѫбъ.

Слово со значением «озеро», имеющее достоверные соответствия только в финских и саамском языках[14] (фин., кар., иж. järvi, вепс. jäŕv, вод. jarvi, эст. järv (ген. -e), лив. jā̆ŕa, саам Н jaw'rе, морд. Э *эрьке*, морд. М *эрьхке* (-ке — уменьшительный суффикс), мар. *ер,* мар. Р *йӓр,* мер. *jähre (наст. изд., с. 67, 121)), учитывая закономерности финно-угорских диахронных переходов (в том числе -rv- < *-vr- и -i < -*a в части прибалтийско-финских языков), позволяет реконструировать свою праформу как *jäγera (или — с учетом сингармонизма — как *jäγerä)[15]. Исходную форму слова в языке-источнике следует реконструировать как *jäγ'era (*jäγ'erɔ), то есть как предшествующую позднейшему псл. *ezero (*ezerъ) «озеро», имеющему продолжение во всех славянских языках (ср. р., укр. *озеро,* бел. *возера,* п. jezioro, ч. jezero, слц. jazero, вл. jězor, нл. jazoro, болг., м. *езеро,* схв. *језеро*, слн. jezero, стсл. ꙗзєро «озеро»). Звук ä, выступающий после j в протославянском слове, о котором свидетельствуют данные всех финских и саамского языков, говорит своей открытостью о том, что слово продолжает скорее и.-е. *aǧhero-, чем *eǧhero-[16]. Возможность истолкования слова как балтизма полнос-

[13] См.: Этимологический словарь славянских языков, вып. 5, с. 95–97. Ошибочно мнение о финском происхождении слова (*Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Указ. соч. — С. 246), так как, имея убедительную славянско-индоевропейскую этимологию, оно не имеет такой же финно-угорской. Заимствование же слова, обозначавшего дерево, неизвестное финно-уграм на своей прародине, является вполне естественным.

[14] Сближение указанных финских и саамского слова с коми *йир* «омут, глубь, глубина; (диал.) крутой обрыв на дне реки или озера» вряд ли допустимо ввиду слишком большого расхождения в значениях (КЭСК, с. 111).

[15] *Лыткин В.И.,* 1974, с. 129-130, 135-137; наст. изд., с. 122 (здесь необходимо уточнение в связи с неучтенным автором прибалтийско-финским историческим переходом *a* > *-e* (*-i*) в ф. järvi «озеро» (ср. лив. jā̆ra «т.ж.»)) (см.: *Аристэ П.А.* Примечания // Хакулинен Л., ч. 1, с. 23).

[16] Этимологический словарь славянских языков. — Вып. 6. — С. 34.

тью исключена вследствие отсутствия в его финских и саамских отражениях конечного -s̲ или -n̲ (ср. лит. ežeras, ažeras, лтш. ezers (< *ezeras), прус. assaran[17] «озеро»), вполне возможного в этих языках (ср. ф. loistelias «блестящий», seitsemän «семь»). Следовательно, финские и саамский языки заимствовали славянское слово уже в тот период, когда оно испытало воздействие закона открытых слогов и утратило первоначально свойственный ему конечный согласный (очевидно, *-n̲). С другой стороны, полная реальность сохранения в слове протосл. *-γ̲′- (< *-ĝ̲h-), еще не перешедшего в позднейшее -z̲-, вытекает как из закономерной передачи звонкого сл. -γ̲′- финно-угорским -γ̲- и рефлексами последнего, так и из того, что сл. -z̲- (или балт. -ž̲-), субституировавшееся финно-угорским -s̲- (или -š̲-), должны были бы дать в рассматриваемых финно-угорских языках другие рефлексы: ф.-уг. -s̲- — ф. -s̲-, саам. -s̲-, морд. -z̲-, мар. -ž̲-; ф.-уг. -š̲- — ф. -h̲-, саам. -ss̲-/-s̲- (-šš̲-/-š̲-), морд. -ž̲-, мар. -ž̲-[18]. Реконструируемое раннепраславянское *jäγ′era (*jäγ′erɔ) как форма, предшествующая позднепраславянскому *ezero, отразила ту весьма архаичную стадию в развитии слова, когда в нем уже отпал конечный согласный (по-видимому, *-n̲), но еще не произошел фонетический переход *-γ̲′- (< -*ĝ̲h-) > -z̲-. Судя по заимствованию слова только финскими и саамским языками, такое состояние сохранялось уже после отделения этих языков от пермских. В целом, заимствование рассмотренных слов было связано, как это наблюдается в большинстве случаев, с отсутствием или большей развитостью соответствующих, обозначаемых ими, понятий или предметов. Заимствование числительного со значением «семь» могло объясняться или слабым развитием счета у финно-угорских народов, которых в этом отношении опередили индоевропейские (в том числе славяне), или тем, что вследствие большего совершенства тех областей, где требовался счет (например, торговли), славянское числительное вытеснило соответствующее финно-угорское[19]. Заимствование слова со значением «дуб» объясняется тем, что это дерево не было распространено на прародине финно-угров (ср. венг. tölgy «дуб», заимствованное, как полагают, из древнеосетинского языка)[20]. Заимствование понятия «озеро», связанное, по-видимому, с утратой собственного слова, сохраненного всеми остальными уральскими народами (ср. коми З, коми-перм., удм. *ты,* манс. tō, хант. С təw, венг. tó (tavat — аккуз. ед.ч.), нен. tō, эн. to, нган. túrku, сельк. tu, кам. t'u, матор. toa, тайг. to «озеро»)[21], объяснить значительно сложнее. Одной из возможных причин, видимо, могло быть заимствование слова в качестве синонима, который как более точный и выразительный, например в силу возникшей неудобной омонимии, коснувшейся исконного слова, мог его впоследствии полностью вытеснить. Другой причиной, возможно, связанной с первой, могло быть сохранение слова в качестве субстратного пережитка в речи славян, переходивших на финно-угорский язык.

Слово со значением «цел(ый), здоров(ый)», представленное только в мерянском языке: мер. *cölə̑ (наст. изд., с. 112-113) и отраженное в русском (диалектном) выражении «*Цолонда!*» — «Здравствуй, хозяин!» (< мер. *Cölə̑-nDə̑! < *Cölə̑, anDə̑ (βa)! «Здоров(ый) (будь), кормящий!»), является, очевидно, включением из субстратного славянского, которое на основе его рефлекса в мерянском можно реконструировать как *ćölŭ(/-ъ) < *kɔilŭ(/-ъ) < *kailo(/-u) s[22] «целый, здоровый». Ввиду возможности в мерянском звукотипа ö̲ подтверждается реальность сл. *-ō̲- (< *-ɔi̲-) как одного из этапов и линий развития звука -ĕ̲-. Слово интересно также тем, что в качестве засвидетельствованного инославянского соответствия в близкой приветственной формуле имеет только полаб. c'ol (!) «за (твое, ваше) здоровье!» (букв. «цел (то есть здоров) (будь)!»), хотя в самостоятельном нефразеологическом употреблении имеет соответствия и во всех других сла-

[17] Этимологический словарь славянских языков. — Вып. 6. — С. 34.

[18] *Лыткин В.И.* Указ. соч. — С. 141-142.

[19] Надо считаться и с тем, что «семь» у финно-угров несчастливое число. Отсюда потребность в его «маскировке» чужим словом.

[20] MNTESz, III. — L. 959-960.

[21] MSzFUE, III. — L. 634.

[22] Наст. изд., с. 112—114.

вянских языках (ср. р. *цел(ый),* укр. *цілий,* бел. *цэлы,* п. cały, ч., слц. celý, вл. cyły, нл. ceły, болг. *цял,* м. *цел,* схв. *цео,* слн. cel, стсл. цѣлъ» «целый»). Реконструируемое на основе мерянского заимствования протосл. *c'ölŭ (/-ъ) отражает (правда, в несколько видоизмененном виде (переход *k- > c'- до перехода -ō- > -ě-[23], что могло быть обусловлено обособленным развитием местного славянского диалекта) ту линию развития, которая привела в конечном счете к позднепраславянской форме *cělъ (jь).

Слово со значением «двурогие вилы», представленное только в мерянском языке: мер. *βeń (ед.ч.), *βänək (мн.ч.) (наст. изд., с. 96) и отраженное в р. (диал.) *бени (бяньки)* «двурогие (преимущественно деревянные) вилы», является, по-видимому, как и предыдущее слово, субстратным включением мерянского из славянского языка, распространенного на мерянской территории до переселения сюда (прото)мери, впоследствии вытесненного мерянским языком. На основе особенностей мерянского слова, как формальных, так и семантических, лежащую в его основе форму славянского слова можно реконструировать как *dväni (дв.ч.)[24] со значением «двойни — предмет, состоящий из двух частей». Очевидно, этимологически близким к реконструируемому слову является болг. (ст.) *двенки* «двое, две» (< псл. *(d(ъ)vĕnъki)[25], отличающееся от мерянского твердостью основы (-a вместо протосл. *ja), а также присоединенным к основе суффиксом -k- (y), отсутствующим у реконструированного слова.

Два последних слова интересны тем, что в них, по-видимому, отражены две разные стадии в развитии сл. -ě-. Если в слове *ćölŭ(/-ъ) отражена та стадия, когда еще различались рефлексы звуков, впоследствии слившихся в едином звуке ě[26], то слово *dväni отражает своим *-ä- или сам звук ě, или непосредственно предшествующее его появлению состояние. Об этом свидетельствуют наличие звука ä вместо ожидавшегося (и ранее имевшегося здесь) звука ö(/ō), развившегося из существовавшего перед тем дифтонга (*dvöni < *d(u)u̯ainjei < *d(u)u̯ainjai), а также то, что звуку ě в наиболее старых заимствованиях финского языка, генетически и территориально близкого мерянскому, соответствует ää (ср. ф. määrä — псл. měra «мера»). Очевидно, прасл. ě было звуком открытым и низкого подъема, а поэтому близким к финно-угорскому ää. Только впоследствии в некоторых из славянских языков, в частности восточнославянских, он значительно сузился, а иногда перешел в дифтонг. Поэтому при заимствовании восточными славянами рассматриваемого мерянского слова в форме мн.ч. *βänək с мер. ä (≮ протосл. ä (?-ě)) этот звук был воспринят ими не как соответствующий их ě, а как идентичный -'a- (-я-) (ср. р. (диал.) *бяньки* «двурогие вилы». Напротив, выступающее в форме ед.ч. мер. -e- (*βeń) как узкий звук, напоминавший восточнославянское (прото(велико)русское) ě, было идентифицировано восточными славянами с этим звуком, о чем свидетельствуют диалектные варианты *бени — бини,* которые могли возникнуть только на основе др. *бѣни*[27]. Ввиду того что в настоящее время ничего не известно о количестве мерянских гласных (скорее всего, как и в других волжско-финских языках, количество здесь в основном не получило развития), трудно что-либо определенное сказать и о количестве гласных ö, ä в соответствующих славянских словах, легших в основу мерянских заимствований. Долготу в реконструируемых сл. *ćölŭ(/-ъ) и *dväni с определенностью можно предполагать только для начального периода их существования.

С семантической точки зрения слова *dväni и *ćölŭ(/-ъ), реконструируемые на основе их мерянских отражений *βeń (*βänək) и *cölə̂, интересны тем, что говорят о влиянии славян на мерю как в материальной, так и в духовной жизни. Заимствованное *βeń (*βänək) «двурогие вилы» свидетельствует о том, что у славян мерянские племена учились ведению скотоводства, что было связано с заготовкой кормов и необходимыми при этом сельскохозяйственными

[23] Наст. изд., с. 114; *Коломієць В.Т.* Фонетика // Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов / За ред. О.С.Мельничука. — К., 1966. — С. 66.

[24] Наст. изд., с. 94.

[25] *Этимологический* словарь славянских языков. — Вып. 5. — С. 188.

[26] *Коломієць В.Т.* Фонетика. — С. 57, 66.

[27] Наст. изд., с. 95—97.

орудиями. Заимствованное в составе приветственной формулы слово *cölə̑ «здоровый, целый» говорит о длительных контактах мери с той частью славян, которая впоследствии была ею ассимилирована, и о знании этого славянского языка по крайней мере частью мерянского населения. Иначе трудно себе представить усвоение приветственной формулы, относящейся к такой сложной части языка, как языковой этикет. В свою очередь, косвенно это указывает на то, что полный переход той части славян, которая оказалась в мерянском окружении, на мерянский язык проходил медленно, скорее всего на протяжении нескольких веков. При своем небольшом количестве рассмотренные выше слова, особенно наиболее древние из них, представляют значительный интерес, говоря с несомненностью о большой временно́й глубине славяно-финно-угорских языковых контактов. На это указывает целый ряд обстоятельств, как внешнеязыковых, так и внутриязыковых, одновременно уточняющих и конкретизирующих те условия, при которых эти контакты протекали. Все рассмотренные слова являются праславянскими (< протославянскими) по происхождению, поскольку или обнаруживают соответствия во всех славянских языках (*setsemɔn, *dǫbɔ, *jäγ′erɔ, *ćölŭ (/-ъ)), или при их отсутствии в большинстве из них имеют широкие внеславянские индоевропейские параллели (*dväni — лат. bīnī (< *dṷisno) «двукратный», лит. dvynu «близнецы», дсакс. twēne «двое» и под. того же корня и с тем же суффиксальным -n-), что говорит об их древнем общеславянском происхождении. Однако само по себе это еще не является показателем такой же древности их проникновения в соответствующие финно-угорские языки, о чем свидетельствуют другие аргументы внешнелингвистического и внутрилингвистического характера. С внешнелингвистической точки зрения обращает на себя внимание то, что наиболее древние из рассмотренных заимствований проникли в финно-угорские языки в эпоху после их распада на финно-пермскую и угорскую ветви, однако в период сохранения финно-пермского единства. На это указывает тот факт, что (прото)славянские по происхождению слова со значениями «семь» и «дуб» не известны ни одному из угорских языков, имея соответствия во всех финских (частично и саамском) и пермских языках. Учитывая, что распад финно-угорского единства относят к VI тыс. до н.э., а III тыс. до н.э. считают временем выхода прибалтийских финнов к Балтике[28], то есть также временем их отделения от финнов волжских, период финно-пермского единства следует связывать с VI—V/IV тыс. до н.э. Именно в этот период (и не позже) могли быть заимствованы данные слова, поскольку позднее проникновению в пермские языки должно было воспрепятствовать их отделение от финских. Слово со значением «озеро» заимствовано уже только прибалтийско-финскими, волжско-финскими и саамским языками (в пермские языки оно, по-видимому, не проникло). Это говорит о том, что его проникновение в финские и саамский языки произошло уже после распада финно-пермского языкового единства, но еще задолго до разделения финских языков на прибалтийско-финские и волжско-финские. Иначе оно не получило бы в них столь повсеместного распространения. Следовательно, скорее всего заимствование произошло ближе к временному рубежу V—IV тыс. до н.э., чем к III тыс. до н.э., когда уже были прерваны непосредственные родственные связи с пермской языковой ветвью, которая начала свое самостоятельное развитие, но еще полностью сохранялось единство финских идиомов, основы будущих отдельных прибалтийско-финских, мордовских, марийского и мерянского языков. С еще более продвинутым этапом развития финских языков в целом связано заимствование славянских слов со значением «целый, здоровый» и «двурогие вилы» (< «двойни — предмет из двух частей»), поскольку их соответствия не обнаруживаются ни в одном из финских языков, кроме мерянского. Это дает основания считать начальным рубежом их возможного проникновения в мерянский язык начало I тыс. до н.э. — время предположительного сложе-

[28] См.: *Вийтсо Т.-Р.* [Рецензия] // Сов. финно-угроведение. XVI. — 1980. — № 3. — С. 238. — (Рец. на дис.: *Хелимский Е.А.* Древнейшие угорско-самодийские языковые связи: Анализ некоторых аспектов генет. и ареал. взаимоотношений между уральскими яз. / Дис. ... канд. филол. наук. — М., 1978).

ния мери в отдельный финский этнос, а конечным рубежом первые века нашей эры, скорее всего не позднее V в., поскольку при первом упоминании мери (в VI в. н.э.) у готского историка Иордана[29] никакие славяне вместе с нею не упоминаются, тем более не оставалось этих славян на мерянской территории к началу контактов мери с древнерусскими племенами в IX–X вв.

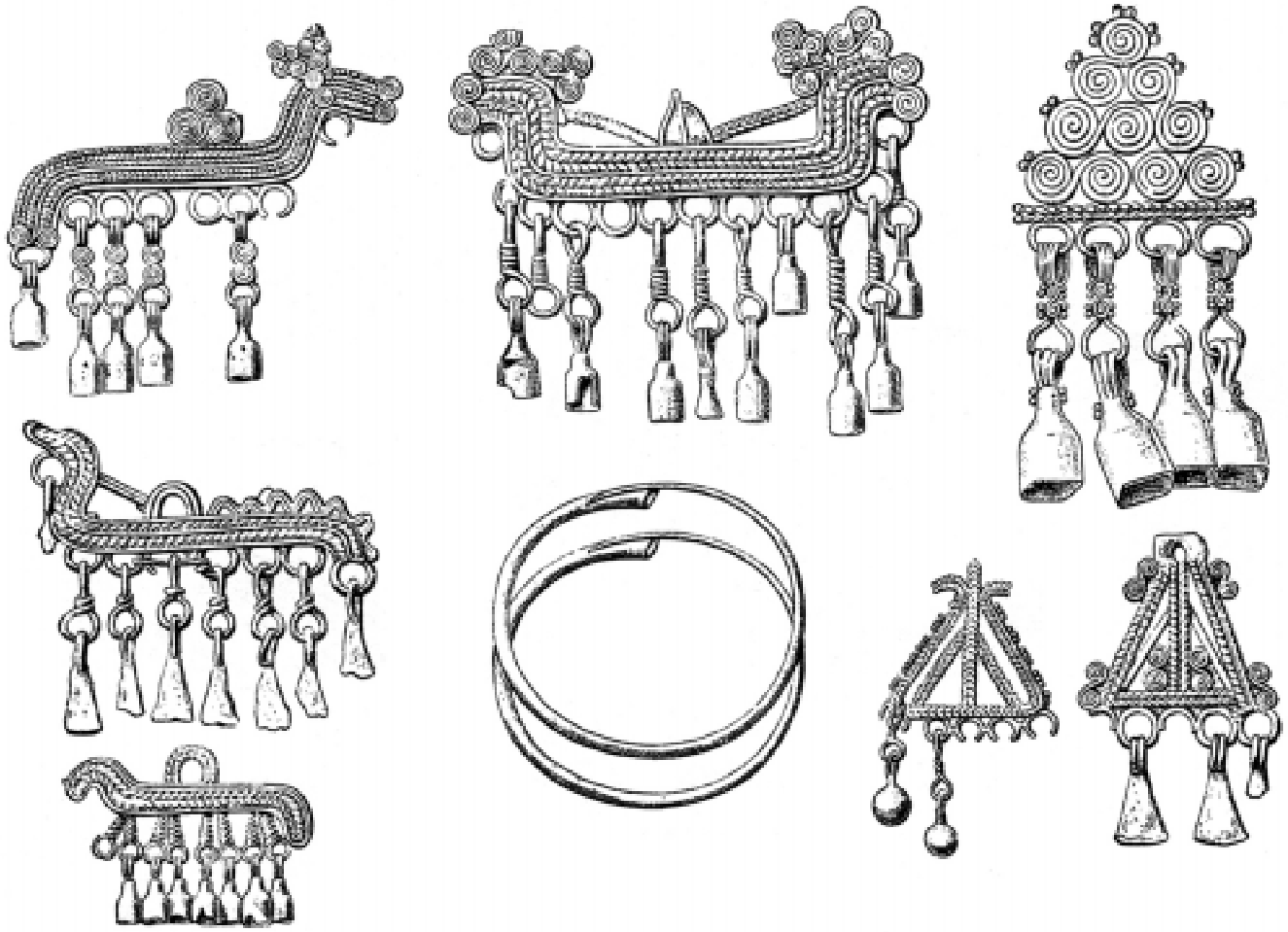
Итак, на основании чисто экстралингвистических данных абсолютная хронология заимствования рассмотренных слов финно-пермскими языками устанавливается как период примерно от VI–V тыс. до н.э. – V в. н.э. Возможность такой хронологической протяженности и одновременно глубины контактов, допущенных на основе экстралингвистических данных, подтверждается внутрилингвистическими данными: для древнейшего заимствования можно предположить сохранение впоследствии отпавшего конечного согласного; для следующего по времени – сохранение качества конечного гласного полного образования в именительном падеже единственного числа мужского рода после отпадения следовавшего за ним согласного; для еще более позднего заимствования наличие *-γ′- (< -*ĝh-) без его перехода в -z-; даже наиболее поздние мерянские субстратные включения отражают еще не закончившийся процесс образования звука ě. Проанализированные слова отражают, таким образом, чрезвычайно большой доисторический период развития славянского языка, обнаруживая в сохраненных благодаря заимствованию формах слов те явления, которые можно только предполагать с помощью двух других типов реконструкций. В свете приведенных фактов отпадают всякие сомнения в древности славянских заимствований в финно-угорских языках. Есть все основания считать, что среди славянских заимствований в неславянских языках им принадлежит одно из первых мест (если не самое первое). Это делает необходимым самый тщательный анализ и тех славянских заимствований в финно-угорских языках, которые давно известны науке, но до сих пор из-за недостаточности сведений о них, в том числе о возрасте наиболее древних, не получили вполне однозначного истолкования[30]. Исследованные факты, говоря о большой древности контактов славян с западной частью финно-угорских народов, их финно-пермской ветвью, и очень раннем начале их взаимосвязей, ставят одновременно перед вопросом о территории, на которой они могли иметь место. Безусловно, свое мнение относительно этого должны сказать не только лингвисты, но и историки, а также археологи. На основании одних лингвистических фактов ответить на данный вопрос с надлежащей полнотой невозможно. Тем не менее даже одни лингвистические явления говорят о том, что, поскольку в начале этих контактов приняли участие как будущие финны, так и пермяне, территория, занятая славянами в то время, простиралась значительно дальше к востоку, чем предполагалось для всех допускавшихся до сих пор славянских прародин. Именно славяне, а не балтийцы должны были быть после индоиранцев первым индоевропейским народом, с которым столкнулись финно-пермские племена при их движении на запад. Об этом говорят древние славизмы пермских языков, где одновременно полностью отсутствуют заимствования из балтийских. Очевидно, дальнейшие исследования должны привести к новым открытиям следов древних славяно-финно-пермских контактов. Однако бóльшие связи у славянских языков обнаруживаются с финскими языками. Скорее всего, это объяс-

[29] О происхождении и деяниях гетов. Getica. – М., 1960. – С. 150.

[30] Так, ввиду отражения протосл. -γ′- (< *-ĝh) в прафин. *jäγ′erä «озеро» с большим основанием можно в ф. kimalainen «шмель» усматривать отражение протосл. *kimeli (> псл. čьmel′ъ «тс») (см.: *Toivonen Y.H.* Suomen kielen etimologinen sanakirja. – Helsinki, 1978. – S. 194), которое ставилось под сомнение как древнее заимствование из славянского языка (*Фасмер М.*, т. 4. – С. 459). О возможности длительного проживания протославян с предками прибалтийских финнов, при котором часть из них перешла на прибалтийско-финский идиом (> язык), свидетельствует характер некоторых из древнейших славянских заимствований в прибалтийско-финских языках, например приведенное выше ф. kimalainen «шмель», а также varpunen (< псл. *varbŭ / *vъrbŭ) «воробей», смысл которых как заимствований непонятен, но вполне объясним для субстратных включений, обозначающих наиболее распространенные и обыденные понятия.

няется тем, что при своем движении с востока финно-пермские племена оттеснили славян к западу. Поэтому для пермян, оставшихся на востоке, связи с древними славянами прекратились значительно раньше, чем для финнов, продолжавших продвигаться на запад. Особенно долго связь с этими славянами сохранялась у мерян, так как они поселились на территории, где продолжало оставаться славянское население, постепенно, в течение ряда веков, ассимилированное мерянским. Не исключено, что на этой же территории какое-то время вместе с мерянами, непосредственно контактируя со славянами, до своего переселения к Балтийскому морю находились и предки прибалтийских финнов. Возможно, именно этим объясняется довольно большое количество древних заимствований праславянского типа в прибалтийско-финских языках[31] при их почти полном отсутствии (за исключением рассмотренных) в мордовских и марийском.

Как видно из изложенного, славянские заимствования в неславянских (в частности, финно-угорских) языках являются ценным источником для древнейших славянских реконструкций. Они позволяют не только воссоздать утраченные древние формы славянских слов, не отраженные даже самыми старыми письменными памятниками, но и узнать из древнейшего славянского прошлого многое, не известное из исторических источников. Указанное выше, говоря о большой пользе и перспективности рассмотренного источника, требует дальнейшего целенаправленного и интенсивного исследования древних славяно-неславянских языковых связей.



Подвески и височные кольца мерянского типа X - сер. XI в. *[22, стр. 98]*

[31] См.: *Kiparsky V.* Op. cit. – S. 73-84.

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА*

Мерянский является единственным мёртвым финно-угорским идиомом, который с наибольшим основанием можно считать языком, а не диалектом. Своеобразие заставляет предполагать в нём представителя особой финно-угорской группы. В своих сохранённых остатках мерянский полностью растворился в русском языке тех мест, где жили его носители. Его памятники, если и были, до сих пор не обнаружены. Поэтому изучать мерянский язык можно пока лишь путем его реконструкции из русского (в диалектных апеллятивах и ономастике). Предпринятые до сих пор попытки его исследовать (Т.С.Семёнов — 1891 г., М.Фасмер — 1935 г., О.В.Востриков — 1978, 1981 гг.), дали сравнительно мало для представления о языке в целом, так как не имели в виду всестороннего исследования языка. Опираясь на опыт и достижения предшественников, эту задачу поставил перед собой автор доклада. Материалом при этом послужили как показавшиеся надёжными данные из работ предшественников, так и апеллятивные диалектные факты. При исследовании предполагаемого мерянского языкового материала был применён особый сопоставительно-исторический (историко-типологический) метод, представляющий собой сочетание сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического и позволяющий с помощью первого из них выделить факты мерянского происхождения из русского языкового материала и с помощью второго доказать их финно-угорское, мерянское происхождение. Результаты этой работы полностью отражены в книге докладчика «Мерянский язык» и его статье «Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов»**. Данный доклад представляет собой краткий конспект того, что шире и аргументированней изложено там.

ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ. Мерянский язык в основном был распространён на территории современных Ярославской, Ивановской, Костромской, частично Владимирской, Московской, Калининской [с 1991 г. — Тверской. — *Прим. ред.*] областей. Финно-угорские предки мери переселились сюда с финно-угорской прародины, видимо, во II — начале I тысячелетия до н.э. С 10–11-го веков на мерянские земли проникают восточные славяне. Мирные взаимоотношения мерян со славянами вместе с продолжительностью контактов (с 10-го до 18-го в. в общей сложности 800 лет), ведя к смене мерянского языка славянским, русским, не могли не отразиться на последнем. Эти сохранённые русскими говорами субстратные элементы мерянского происхождения дают возможность судить о внутренних особенностях мерянского языка.

ФОНЕТИКА. На основе изучения русских диалектных слов и названий мерянского происхождения, а также диалектной лексики славяно-русского происхождения со следами мерянского фонетического влияния, можно прийти к следующим заключениям по поводу звукового состава и фонетических свойств мерянского языка.

Для мерянского языка устанавливается около 42 звукотипов, из которых пока с наибольшим вероятием как фонемы могут рассматриваться 24: 1) (гласные) a, ä, e, i, o, u, ö?, ü?, ə̂, ə; 2) (согласные) *p/*B, *β/*u̯, *t/*D, *k/*G, *s/*Z, *š/*Ž, *h, *c, *č, *m, *n, *ŋ, *l/*L, *r/*R, *δ?, *γ?, *ť/*Ď, *ś/*Ž?, *ń, *Í, *ŕ?, *j. К основным чертам

---

* Публикация в кн.: Материалы VI международного конгресса финноугроведов. Том 2. — М., «Наука», 1990, стр. 190-192. (Доклад на VI международном конгрессе финно-угроведов (Сыктывкар, 1985)).

** См. часть 1 и стр. 265-277 наст. издания. — *Прим. ред.*

мерянской фонетики, судя по её отражениям в названиях русских говоров постмерянских территорий, относились: 1) отсутствие скоплений согласных в начале слова; 2) отсутствие фонематического противопоставления по глухости-звонкости с частичным озвончением глухих в интервокально-сонантной позиции; 3) наличие звука β (вместо b, v), что привело к смешению б и в в местных русских говорах; 4) богатство консонантизма при относительной бедности вокализма; 5) сужение гласных с переходом в гласные более высокого подъёма в новом закрытом слоге *e > *i (*Элино – Ильдомка*); *o > *u (*oraBa (фин. orava) > urma «белка»); *a > *o (*Кибало* (1578 г.) > *Кибол*); *ä > *e (*βänək (мн.ч.) > βeń (ед.ч.)); 6) по-видимому, оглушение сонорных (стоп < стоЛп < столп «столб»); 7) отсутствие чередования ступеней согласных как морфонологического явления при возможности отдельных его зачатков на стадии фонетической вариативности; 8) очевидно, отсутствие сингармонизма; 9) инициальное ударение (*Ки́нешма*, *Я́хрома*, *Ко́стома*, *Чу́хлома*). Рассмотренная в целом, фонетика мерянского языка при чертах своеобразия обнаруживает наибольшее сходство с фонетикой волжско-финских языков – мордовского и марийского.

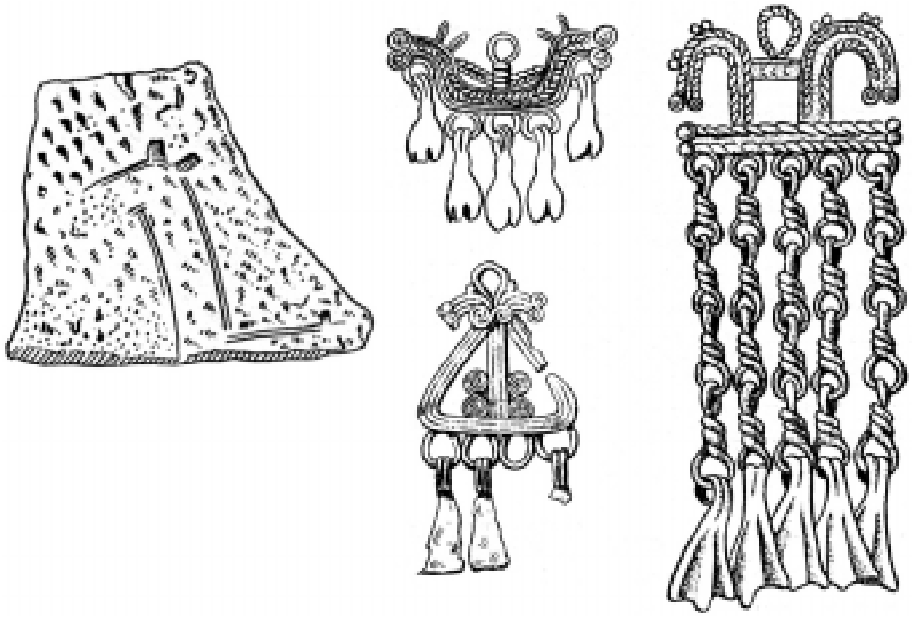
ГРАММАТИКА. Фрагменты грамматической системы обнаруживаются только для двух частей речи – существительного и глагола. Существительное (склонение): ед.ч. ном. *palo (*Кибало*, *Нушполо* < **пало*); ген. *palon (*Нерон* < *N′eron (jähre) «болота (озеро)»); парт. **paloDa (фин. ст. kyläðä, р. стакан чаю – цена чая); инесс. **palosna (>) **palosa (ф. kulässä, морд. М *велеса*, – р. в лесу – в лесе); иллат. *palos (р. (арг.) *дульяс* < *tuljas «огонь < *в огонь, *огню», морд. М *велес*, фин. ylös); элат. **palosta (фин. kulästä, морд. М *велеста*); адесс. **palolna (<) **palola (фин. kylällä, морд. М *фтала* «сзади», – р. в лесе – в лесу); аллат. **palol (фин. kylläle < *kylälen < kyläl (en)); аблат. **palolDa (фин. kylältä); вокат. *aťaj «отче» (р. (диал.) *мамай!* «мама»!; морд. М *атяй* «дед!»); мн.ч. ном. *palok (*βänək «двузубые вилы», р. диал. *бяньки – бени, бини*). Мерянская система склонения при доступной сейчас реконструкции её фрагментов обнаруживает наибольшее сходство с прибалтийской и мордовской, особенно в их древнем состоянии. Однако форма номинатива множественного числа наиболее близка к венгерской (и западносаамской).

Глагол. (Спряжение: Некоторые личные формы в основном только для глагола *jol/-*ul- «быть». Положительные формы – 3 л. ед.ч. *joń «есть» (рус. (арг.) *(си)ень* «(это) есть» < мер. *(si)joń). Отрицательная форма настоящего времени. 1-3 л. ед.ч., мн.ч. *e jola (-ê) «не есть» (рус. (арг.) *не ёла* «нет (< не есть)», – эст. (ma, sa, ta, me, te, nad) ei ole «(я, ты, он, мы, вы, они) не есть»). Прошедшее время. 3 л. ед.ч. *uĺ «был» < *oli, мер. *uĺša «бывший», фин., эст. oli «был»; морд. Э *ульсь*, мар. *ыле*). Повелительное (побудительное) наклонение. 3 л. ед.ч. joluś (joloZe) «пусть будет (есть)» (р. (диал.) *елусь поелусь*) joluś pa joluś «пусть будет и будет», пожелание едящим); морд. Э *улезэ* «пусть будет». Кроме того обнаруживается также форма 2 л. ед.ч. повелительного наклонения (возможно, объектная) для глагола «сказать, говорить» *merək «скажи» (ср. рус. (диал.) *Ну, мерек* «Неужели; (букв.) Ну, (ты) скажи!»; *мерекать* «говорить») (ср. морд. Э *кундак* «лови», *кундык* «поймай его»). Причастия: anDoBa «кормящий» (р. *Андоба*, приток р. Кострома; фин. antava «дающий»; морд. Э *андыця* «кормящий»); *uĺša «бывший» (рус. (арг.) *ульшага* «покойник», *ульшить* «умереть», мар. *улшо* «присутствующий, присутствовавший», морд. Э *сермадо-зь* «написанный»). Отглагольное существительное на -ma *kolema «*смерть, *умирание; > (тяжёлая болезнь)» (рус. (диал.) колема «болезнь»). Рассмотрение реконструируемых мерянских глагольных форм показывает, что они занимают промежуточное положение между прибалтийско- и волжско-финскими.

В целом мерянская грамматическая система на основании реконструкции фрагментов проявляет себя как наиболее тесно связанная с прибалтийско-финской, мордовской и марийской. В одной из особенностей, однако, она более близка к венгерскому (и отчасти саамскому) языку.

ЛЕКСИКА. Из 100 исследованных слов предполагаемого мерянского происхожде-

ния, исконных и заимствованных, наиболее подробному этимологическому анализу были подвергнуты 68 корневых лексем, относящихся преимущественно к исконно финно-угорским или – в незначительной части – к древнейшим заимствованиям данных языков. Этимологический анализ этих 68 предполагаемых реконструированных мерянских слов, показательных несмотря на своё количество тем, что они обозначают наиболее элементарные понятия и, следовательно, относятся к наиболее употребительной лексике, показал, что из них 52 слова связаны с прибалтийско-финской лексикой, 38 – с марийской, 48 – с мордовской, 36 – с пермской, по 31 слову – с саамской и обско-угорской, 28 – с венгерской, 21 – с самодийской. Следовательно, на данном проанализированном материале мерянского языка обнаруживается, что мерянская лексика связана с прибалтийско-финской на 76,5%, с мордовской – на 70,6%, с марийской – на 55,9%, с пермской – на 51,5%, с саамской и обско-угорской (отдельно) – на 44%, с венгерской – на 41,2%, с самодийской – на 31%. Лексически в своём исконном словаре мерянский наиболее близок к финским языкам в широком смысле, а среди них тесно связан с прибалтийско-финскими и мордовскими. В то же время среди лексики, обозначающей либо важные понятия (*palo «деревня»), либо служебные слова (союз ра «и»), – что может говорить о длительных контактах, – обнаруживается связь с угорскими языками. Поскольку такая же связь проявляется и в области грамматики, причём в исторический период мерянская территория нигде не соприкасалась с угорской, наиболее естественно предположить, что контакты мерянского с угорскими языками имели место ещё в протомерянский период, до переселения протомерян со своей финно-угорской прародины. В разные периоды своей истории мерянский язык вобрал в себя ряд лексических заимствований и субстратных включений из родственных и неродственных языков, в частности из угорских языков, из фатьяновского, – частично связанного с протославянским, – индоевропейского субстрата, из булгарского, балтийского, греческого в связи с христианизацией и, видимо, переводом с греческого богослужебных книг, из славяно-русского и т.д. С помощью сведений о мерянской фонетике, грамматике и лексике вместе с данными о материальных или калькированных фрагментах мерянских оборотов и синтаксических конструкций становится возможной попытка реконструкции мерянской фразеологии. Исследование мерянского языка важно как само по себе в связи с тем, что оно позволяет сделать доступным для науки исчезнувший язык, так и ввиду того, что оно вводит в оборот много новых фактов, важных для финно-угристики, русистики и славяноведения. Дальнейшее его изучение должно идти по пути поисков памятников мерянского языка и слов мерянского происхождения.



Мотивы коня в керамике и привесках из могильников Костромской и Ярославской обл. *[22, стр. 141]*

К ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТУ ДРЕВНЕЙШИХ ФИННО-УГОРСКИХ СЛАВИЗМОВ*

Вопросы древнейших взаимосвязей этносов и их культур могут быть полностью решены только совместными усилиями представителей всех причастных к этому наук, список которых беспрерывно возрастает. Однако ввиду сложной системы понятий и терминов, как и способов аргументации каждой из них, обеспечить взаимопонимание их представителей чрезвычайно трудно. Выход из создавшегося положения видится поэтому не столько в усвоении каждым специалистом, наряду со своими необходимыми данными, сведений смежных наук, — это возможно лишь частично, — сколько в периодическом обмене полученными, интересными для всех, результатами с минимальным привлечением сугубо специальных выкладок и терминологии. Каждый специалист должен при этом сообщить остальным то доступное для всех видение изучаемых исторических процессов, на которое его уполномочивают данные его науки. Только после сопоставления полученных таким образом картин, даваемых каждой наукой, можно будет прийти к общим выводам, отобрав как наиболее надежные те свидетельства, которые подтверждаются данными их всех или их большинства.

Именно подобная интерпретация лингвистических фактов имеется в виду в данном случае. Цель ее не столько аргументировать языковые явления, представляющие собой древнейшие финно-угорские лексические славизмы, — это в основном уже сделано в предшествующих работах (SKES 1978, 194; SKES 1975, 1658; Ткаченко 1988, 42-53), сколько попытаться ответить на вопрос о том, какие этнокультурные процессы стоят за ними.

С помощью сравнительно-исторических данных можно установить, что такие финские слова, как seitsemän «семь», tammi «дуб», järvi «озеро», kimalainen «шмель», varpunen «воробей» имеют — первое — соответствия во всех финно-пермских языках[1], второе — также во всех них (за исключением вепсского и саамского), однако с заметным расхождением между формами финских и пермских языков[2], третье — соответствия только во всех финских языках[3], четвертое и пятое — соответствия только в части прибалтийско-финских языков[4]. На основании этих данных можно реконструировать следующие праформы: финно-пермское *śe(ŋ)ćemä(n)[5] «семь», финно-пермское *tompa «дуб» (с позднейшим прафинским *tomma и прапермским *toppa > *tupu «то же»), прафинское *jäγ′era (-ä) «озеро», прибалтийско-финские (?диалектные) *kimeli «шмель» и *varpu(-) «воробей». Отсутствие соответствий этим словам в других финно-угорских (и уральских) языках заставляет видеть в них заимствования (или включения) из другой языковой семьи. Эти соответствия обнаруживаются в индоевропейских языках, причем именно среди

---

* Публ. по: *О.Б.Ткаченко.* К этнокультурному аспекту древнейших финно-угорских славизмов. — Uralo-indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей // Материалы 3-ей балто-славянской конференции, 18-22 июня 1990 г. Часть I. — М., 1990, с. 23-27.

[1] ф. seitsemän «семь» — иж. seitsemän, кар. seit′t′šemen, вепс. śeit′šime, вод. seitse, эст. seitse (ген. seitsme), лив. seis, саам. К čihčem, мер. *šeZ′um, морд. Э, М *сисем*, мар. *шым(ыт)*, мар. Г *шӥм*, удм. *сизьым*, коми З, П *сизим* «то же».

[2] ф. tammi «дуб» — кар., иж., вод. tammi, эст. tamm, лив. täm̄, мер. *toma (-ə̑), морд. Э, М, мар. *тумо*, мар. Г *тум*, коми З (др. перм.) *тупу*, коми-перм. *тыпу*, удм. *тыпы* «то же».

[3] ф. järvi «озеро» — кар., иж. järvi, вепс. jäŕv, вод. jarvi, эст. järv, лив. jā̆ra, саам. Н jaw′re, мер. *jähre, морд. Э *эрьке*, морд. М *эрьхке*, мар. *ер*, мар. Г *йӓр* «то же».

[4] ф. kimalainen «шмель» — кар. (ливв.) kimaleh, вод. tšimo, tšimoЛain, эст. kimalane, kimeline «то же»; ф. varpunen «воробей» — кар. (ливв.) varpuni, varbune, вод. värpo, värpu, эст. varblane, värb «то же».

[5] На основании вариантов, предложенных Б.А.Серебренниковым (ИММЯ 1967, 112) и К.Редеи, И.Эрдеи (ОФУЯ 1974, 1, 433).

славянских. Реконструированные финно-пермские, общефинские и прибалтийско-финские праформы позволяют вывести себя из лежащих в их основе раннепраславянских (протославянских) слов *se(m)tseman(-ɔn) (< *septemon) «седьмое», *dǫba(-ɔ) «дуб», *jäγera(-ɔ) «озеро», kĭmelĭ «шмель», varbŭ «воробей», которые можно рассматривать только как наиболее древние, не сохраненные памятниками, формы позднейших идентичных по значению праславянских *sedmo-(je), *dǫbъ, *(j)ezero, *čьmelь, *vorbъ, (др.-р. *vorъbъ). Приведенных древних праславянских заимствований (включений) в финно-угорских языках немного, очевидно, не только потому, что до сих пор их специально не искали, а и потому, что в своей древнейшей форме праславизмы малоотличимы от других индоевропеизмов. Что касается данных примеров, то они сравнительно легко выделяются на фоне индоевропейских языков как праславянские благодаря чертам, свойственным именно славянским языкам и хорошо известным языковедам-славистам (отсутствие звука -р- в основе слова со значением «седьмое», действие закона открытости слогов, носовой гласный -ǫ-, само слово *dǫba(-ɔ), славянское новообразование на индоевропейской основе и т.п.).

Несмотря на небольшое количество приведенных слов, они дают возможность прийти к важным выводам относительно этнокультурных связей финно-угров и славян и их характера.

Прежде всего они свидетельствуют о том, что первые контакты со славянами совпадают с распадом финно-угров на финно-пермскую и угорскую языковые ветви. Именно носители финно-пермских языков первыми из финно-угров соприкоснулись со славянами. Угры длительное время никаких связей с ними не имели. Поэтому ни один из приведенных древнейших славизмов не выступает в угорских языках. Слово со значением «семь» в угорских языках также является заимствованием, однако не из праславянского, а, как полагают, праарийского (праиндоиранского) языка[6]. Слово со значением «дуб» заимствовано в венгерский из древнеосетинского (аланского) языка[7].

Наиболее древним по форме как в славянских, так и финно-пермских языках является слово со значением «семь (> седьмое)». Это говорит о том, что оно проникло в финно-пермский вскоре после его выделения из финно-угорского, а, следовательно, задолго до его распада.

Слово со значением «дуб» проникло, видимо, в финно-пермский праязык незадолго до его расчленения на финскую (западную) и пермскую (восточную) ветви. Об этом говорят его сильно разнящиеся формы в финской и пермской языковых ветвях, хотя их еще можно возвести к общей финно-пермской праформе.

Заимствование числительного, обозначающего число первого десятка «семь», говорит об интенсивности финно-пермско-славянских контактов, однако не обязательно предполагает, что в это время финно-пермяне проникли на славянскую территорию. Ведь единицы счисления, предполагающие их употребление в процессе торговли (обмена) между этносами, могли заимствоваться и при соседстве с разделяющей их границей.

Иначе обстоит в случае заимствования слова со значением «дуб». Скорее всего данный факт свидетельствует о том, что в это время финно-пермские племена уже проникли на славянскую территорию.

Ввиду того что прародина финно-угров располагалась в зоне тайги, где дуба нет, слово вместе с соответствующей реалией стало известно финно-пермянам только при переселении с их прародины на территорию, занятую славянами. Поскольку зона распространения дуба тянется на севере несколько южнее Вологды и Перми до Уральского хребта, а на востоке имеет своей границей его западные склоны, следует полагать, что ко времени проникновения финно-пермян на славянскую территорию она могла на Востоке граничить либо с западными склонами Урала, либо по крайней

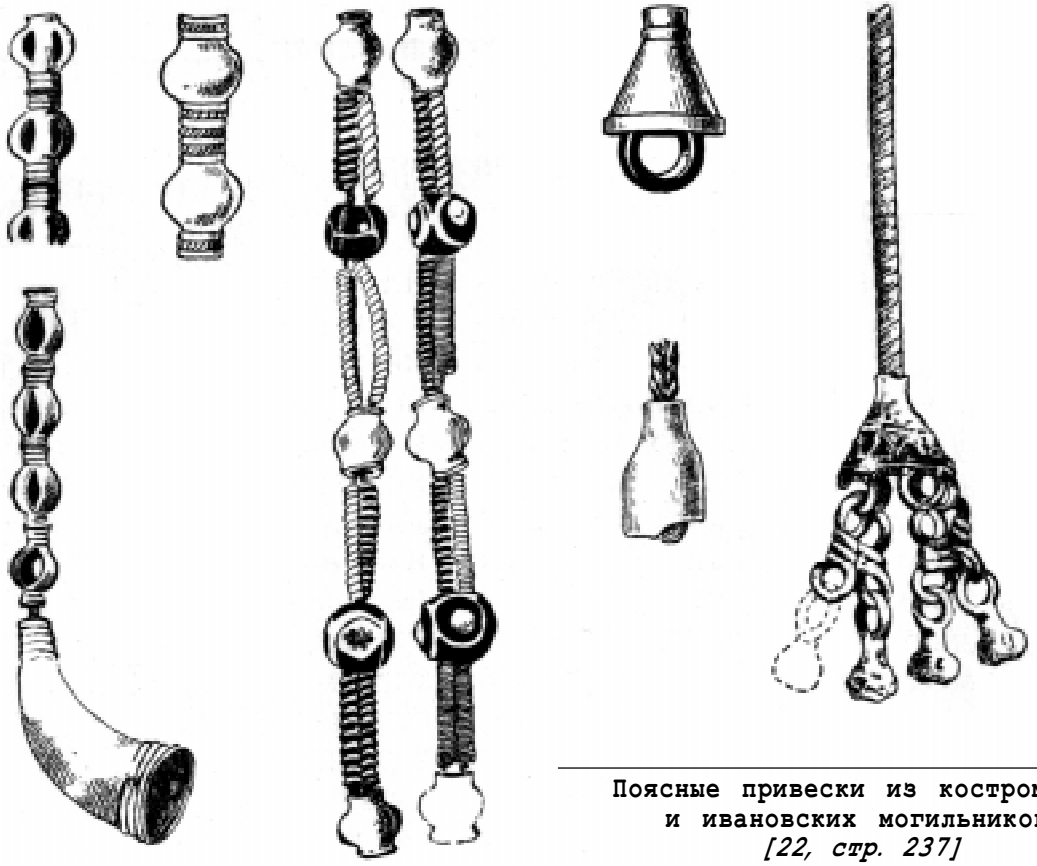
[6] Ср. венг. hét, манс. sat, хант. labeth < праар. *septa (др.-инд. sapta, авест. hapta).

[7] Ср. венг. tölgy «дуб» — осет. tūldz/ toldzæ то же; в хантыйском и мансийском слово дуб, позднее заимствование из рус., осталось экзотизмом, т.к. на территории этих народов дуба нет.

мере доходить до низовьев реки Вятки и Камы. Иначе трудно было бы объяснить проникновение раннего праславизма *dǫba(-ɔ) «дуб» в пермские языки, носители которых к западу от этой территории не продвинулись.

Очевидно, позднейшее отсутствие славян на территории центральной и восточной частей европейской России явилось результатом их вытеснения, а частично ассимиляции финно-уграми. Именно о последнем, т.е. о частичной ассимиляции местных славян финно-уграми, финскими племенами в целом и прибалтийскими финнами, говорит наличие в общефинском слова со значением «озеро», а в прибалтийско-финском — слов со значением «шмель» и «воробей». С точки зрения заимствования, подобные слова совершенно избыточны и неоправданны. Однако как включения в свой второй (финно-угорский) язык носителями первого (праславянского) при их переходе с этого первого на второй язык слова эти вполне объяснимы и естественны. Ведь при ассимиляции субстратными словами-реликтами во вновь усвоенном языке зачастую становятся именно те, которые обозначают наиболее частотные, связанные с повседневной жизнью понятия.

Разумеется, нельзя отрицать, что у славян прибалтийские финны заимствовали много культурных понятий (об этом свидетельствуют, напр., такие слова, как ф. kuontalo «кудель», akkuna «окно», palttina «полотно»). Однако факт этот давно известен и в доказательствах не нуждается. Менее известно то, что, как об этом неопровержимо свидетельствуют приведенные языковые данные, часть славян была финнизирована. Очевидно, именно ассимиляция славян, а также и других народов финно-пермянами, вызванная их распространением на обширной территории, способствовала в конечном счете тому, что первоначальное финно-пермское единство распалось впоследствии на целый ряд отдельных языковых групп и языков. На основании одних языковых свидетельств можно только говорить об относительной хронологии процесса распада финно-угорского языкового единства, отдельные этапы которого отражают, в частности, древнейшие славянские заимствования и включения в финно-пермских языках. Установить абсолютную хронологию поможет, очевидно, привлечение других, внеязыковых, данных.



Поясные привески из костромских и ивановских могильников.
[22, стр. 237]

ЭТИМОЛОГИЯ РУССКИХ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ КАРТОТЕКИ «КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ»*

Костромская область — одна из территорий с наиболее длительным сохранением мерянского языка, в диалектной лексике которой вследствие этого мы вправе ожидать особенно много мерянских субстратных реликтов. Остатки мерянского языка отражены, видимо, и в тех трех диалектных костромских словах, этимологии которых приводятся ниже:

Пе́нек «зуб» (Судиславль) находит себе соответствия во всех финно-угорских языках (ср.: ф., эст. pii «зуб (зубья), зубец», морд. Э *пей* «зуб; зубец», диал. реӈ, морд. М *пей*, мар. *пӱй*, коми, удм. *пинь*, хант. *пеӈк*, манс. *пуӈк*, венг. fog «т.с.», восходящие к ф.-уг. *piŋe, являясь, по-видимому, отражением формы множественного числа мерянского penə̑k «зубы» от формы ед.ч. pen(ə̑) «зуб»[1]. Сохранению слова в русском диалектном языке могло способствовать стремление к табуизации понятия «зуб», особенно в связи с болезнью зубов. Деэтимологизировавшаяся форма мерянского множественного числа, к тому же могущая сближаться в сознании с уменьшительными (типа *пенёчек, ко́лышек* и под.), была использована в качестве формы единственного ввиду нежелательности отождествления формально близкого мерянского единственного числа pen(ə̑) «зуб» с русским (< славянским) *пень.*

Сенёк «селезёнка» (мн.ч. *сеньки* «внутренние органы человека») (Мантурово), не находя себе соответствий в инославянском и даже в инодиалектном русском языковом материале, невольно заставляет искать своего истолкования в данных финно-угорских языков, исходя из дославянского финно-угорского прошлого Костромской области. Попытки отыскания параллелей в финно-угорских словах со значением «селезёнка» (исходя из семантики диалектного слова) приводят к отрицательному выводу о возможности подобного значения. Данное понятие, по-видимому, не имело для своего выражения ни одного общего прафинно-угорского слова в качестве отправного пункта развития (либо подобное общее слово финно-угорские языки утратили). В настоящее время можно исходить только из того, что рассматриваемые языки имели, видимо, три не связанных между собой праслова: одно для прибалтийско-финских языков, другое — для мордовских (эрзянского и мокшанского) и третье — для остальных (марийского, пермских, обско-угорских и венгерского языков), — ср.: (1) ф. perna «селезёнка», кар. pärnä, вепс. pern, perm, эст. põrn, вод. pe̮rna, лив. pē̮rna, диал. (лифлянд.) pīrna, ст. pū̆rna; (2) морд. Э *чечей*, морд. М *ши́че*; (3) венг. lép, хант. (казым.) лɛрətnɛ, мар. *леп*, коми, коми-перм. *лоп*, удм. *луп* «т.с.» (восходящие к праязыковому *leppä/*läppš[2]. Как выте-

---

* В сокращенном виде содержание статьи частично отражено в опубликованных тезисах: Merianica (Этимология диалектных слов из картотеки «Костромского областного словаря») // Русская диалектная этимология / Тезисы межвузовской научной конференции (10-12 октября 1991 г.). — Свердловск, 1991, с. 37-38.

[1] См.: MSzFUE I 208-209. Не исключено, однако, что ввиду действовавшей в мерянском языке закономерности, на основании которой в новом закрытом слоге гласный более высокого подъема переходил в гласный более низкого подъема (a̲ > o̲, o̲ > u̲, ä̲ > e̲, e̲ > i̲, — см. наст. изд., с. 34-35), первоначальная форма единственного числа pen(ə̑) в случае отпадения конечно редуцированного и возникновения в связи с этим нового закрытого слога могло давать позднейшую форму piń (при том, что во множественном числе ввиду сохранения открытости первым слогом в слове гласный -e̲- сохранялся без изменений. — Отсюда форма penək у множественного числа).

[2] SKES III 525; ЭрзРС 217; МокшРС 312; MSzFUE II 399; КЭСКЯ 161.

кает из рассмотренного, ни одна из приведенных лексем не имеет ничего общего с р. (диал., костром.) *сенёк*. В отличие от этого оно находит самую широкую сумму соответствий во всех не только финно-угорских, а и самодийских, следовательно, уральских языках, однако, в словах со значением «сердце», – ср.: ф. sydän «сердце (ген. sydämen), диал. syväm, sy(v)än, syön, *sään (ген. säämen, у Леннрота, из первоначального olla säämissään, «(букв.) быть в своём сердце (= сердиться)» из карельского), кар. süvän, süän, šeän «т.с.», вепс. (1) süd'äin, südäm, «нутро, начинка»; (2) südäimed (мн.ч.) «внутренности (человека, животных)»; (3) südäin (südäm) «сердце», вод. süä «сердце», эст. südam «сердце; середина; внутренность, нутро», лив. sidàm, südàm «сердце», саам. H čada, морд. Э *седей*, диал. *седе́й*, морд. М *се́ди*, мар. *шӱм*, коми *сьӧлӧм* «т.с.», удм. *сюлэм* «сердце; сердцевина», хант. *сəм* «сердце», манс *сим* «сердце; сердцевина; центр», венг. szív, диал. szűv (szüv) szű (szü) «сердце; центр; дух, мужество»; нен. *сей* «сердце», эн. seijo, нган. sa (soa), селькуп. síd'e, камас. sī «т.с.», восходящие к прауральскому *śiδä(-mɜ)/*śüδä(-mɜ)[3]. Приведенные данные дают основание для того, чтобы считать диал. (костром.) *сенёк* отражением исходного мерян. śenək, формы множественного числа от единственного, реконструируемого с наибольшим вероятием как *śeń (или на более продвинутой стадии развития как *śiń, в связи с закономерным переходом в новом закрытом слоге гласного низкого подъема в гласный подъема более высокого в мерянском языке)[4]. Форма *сенёк* на русско-славянской почве осознавалась, однако, как форма единственного числа. Только уже в «обрусевшей» форме, с наращенным русским окончанием множественного числа -*и* (как *сеньки* «внутренности»), она воспринималась в качестве формы множественного числа, хотя исходно, в сущности, обе формы были формами множественного числа в мерянском, поскольку в обеих выступал мерянский показатель множественного числа -k (о чем подробней см. наст. изд., с. 64).

Исходя из значения «внутренности», свойственной форме множественного числа слова, казалось бы, являлось возможным, чтобы в русской форме единственного числа значение «селезёнка» могла появиться в результате переосмысления первоначального значения «сердце» и замены его значением «селезёнка» (как одного – вместе с сердцем – из внутренних органов) и что подобная семантическая трансформация могла произойти уже в мерянском языке (единственном среди уральских). Однако подобному предположению, уже сомнительному ввиду единичности такой трансформации среди всех уральских языков, противоречат и другие, не менее важные обстоятельства, указывающие на то, что переосмысление слова (появление у него значения «селезёнка») произошло уже в русском языке. Первоначальным же значением предполагаемого мерянского śeń/*śiń (ед.ч.) было «сердце», как и во всех других родственных уральских языках, тем более, что формально мерянское слово очень близко, в частности, к ряду других финно-угорских слов с тем же значением, ср. в частности, ряд прибалтийско-финских параллелей, таких как ф. (диал.) syän, *sään, кар. šeän. Заставляет это предположить и то обстоятельство, что форма множественного числа слова, отраженная в руссифицированном *сеньки*, представляет собой, видимо, остаток некогда существовавшего мерянского парного словосочетания śenək – [*maksə̑k] (букв.) «сердца-печени (= внутренности)», – ср. морд. Э *седейть-максот* «(букв.) сердца-печени (= (собир.) ливер < продукт из печени, легких, сердца, селезёнки убойных животных)», где, помимо, видимо, общей с мерянским словом семантики, обращает на себя внимание и общность формы: в обоих случаях оба компонента парного слова выступают во множественном числе. Близко по семантике, однако, уже в форме единственного числа для обоих компонентов, и марийское парное слово *шӱм-мокш* «(собир.) ливер (букв. сердце-печень)». В том случае, если бы мерянское парное слово śenək – [*maksə̑k] начало выступать и с обратным порядком компонентов [*maksə̑k] – śenək «печени-сердца» – подобные случаи известны в

[3] SKES IV 1142-1143; *Зайцева-Муллонен* 532; КЭСКЯ 270; СВХД 446; *Janhunen* SW 139; MSzFUE III 590-591.

[4] См. наст. изд., с. 37-38.

других ф.-уг. языках (ср. кар.: eletäh-ollah «живут-суть» и ollah-eletäh «суть-живут»), а, следовательно, их нельзя исключить и для мерянского – при том, что русским говорам известно слово *макса* «рыбья печень», которое могло, как диалектное и арготическое, сохранять и более широкое значение «печень (вообще)», слово же *сенёк* было десемантизировано, последнее могло быть осмыслено как «селезёнка». Толчок этому могло дать существующее в русском народно-разговорном языке словосочетание *печёнки-селезёнки*. Наиболее естественно предположить возможность подобного семантического преобразования рассматриваемого слова в последний период существования мерянского языка, когда в условиях вытеснения мерянского языка со стороны русского семантика многих мерянских слов и словосочетаний начала стираться в памяти носителей языка. Дополнительным фактором, способствовавшим переосмыслению первоначального *śeń/*śiń, «сердце», могло быть и то, что последнее слово в мерянском языке, возможно, вытеснялось в этом значении каким-то другим, – ср. вепс. süd'äin, südäm «сердце», вытесняемое словом heng с тем же значением (первоначально с семантикой «душа»).

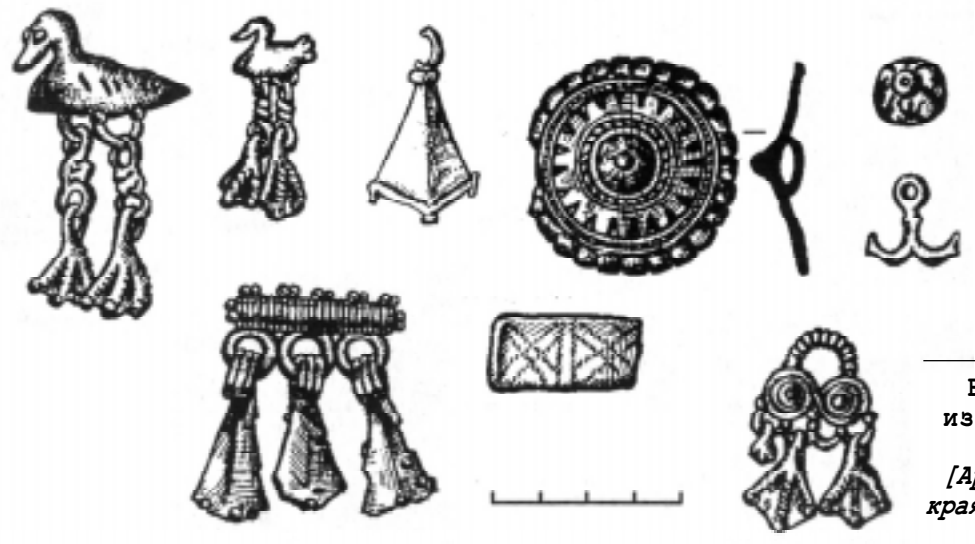
Кандейка (Буйский р-н Костромской области) «два сосуда, в которых носят есть пастухам (в одной кринке – молоко, в другой – суп) (с. Чернопенье); два глиняных горшка, соединенных вместе, в них раньше носили завтрак (д. Зарубино)» – слово неясное ввиду своей изолированности на фоне славянской лексики, которое получает, однако, вполне убедительное истолкование на фоне лексических систем финно-угорских языков. Корень *канд-*, присутствующий, видимо, также в диалектном (ярославском) *кандёхать* «работать» (очевидно, первоначально «выполнять (тяжелую) работу (связанную с ношением тяжестей)», по-видимому, имеет своей исходной основой мерян. kanD – «нести, носить» (ср. родственые ему: ф. kantaa «нести, носить», кар. kandoa, вепс. kantta, вод. kantā, эст. kandma, лив. kañdô, саам. guod'det, морд. Э *кандомс*, морд. М *кандомс* (kandôms) «т.с.», мар. *конда́ш* «приносить, принести», мар Г *ка́ндаш* «т.с.», манс. *хунт* «котомка (< ноша)», *хунти* (khunti) «взваливать ношу (на спину)», хант. (вост.) ķantemta «т.с.», нен. *хана(сь)* «унести, отнести», эн. kaddabo (haddabo) «т.с.», восходящие к прауральскому *kant- «нести, носить»)[5]. Таким образом, данное слово отсутствует только в пермских (коми и удмуртском) языках и частично в угорских. Наличие данного слова (корня) почти во всех уральских языках, а, следовательно, его прауральский (в том числе, и прафинно-угорский) характер, как и несомненная семантическая мотивированность реалии (ведь речь идет именно о ноше, посуде для переноски еды) позволяет обосновать финно-угорский характер рассматриваемого областного слова. О его именно мерянском происхождении говорит как то, что оно засвидетельствовано на постмерянской территории, так и его несомненная мерянская самобытность, заключающаяся в самой его структуре. Поскольку в данном случае речь идет не об одном, а о двух сосудах, вполне логично допустить, что исходной для русского диалектного слова *кандейка* могла быть мерянская форма множественного числа с показателем множественности, конечным -k. В таком случае, по-видимому, мерянской формой, лежащей в основе диалектного (костромского) слова должна была быть форма kanD-ej-ə-k, где kanD- является корнем, компонент -ej- – суффиксом, -k- – показателем множественного числа. Что касается -ə-, представленного редуцированным переднего ряда, то оно является необходимым вокалическим элементом между суффиксом и показателем множественного числа, поскольку судя по фонетическим тенденциям русских (постмерянских) говоров, отразивших фонетику мерянского языка, последнему, как и всем финно-угорским языкам, особенно исходно, были чужды скопления согласных (их должно было быть не больше одного), как в начале, так и в конце слова (см. наст. изд., с. 15–17). Это вынуждало прибегать к вставному гласному, который, ввиду своей заударности в конце слова, вероятней всего должен был быть представлен редуцированным, переднерядным в качестве находящегося после среднеязычного (палатального) -j-.

[5] SKES I 157; СВХД 144; Janhunen 59-60.

При попытке объяснения функции суффикса -ej-, наиболее обоснованным представляется его истолкование Б.А.Серебренниковым (см.: Серебренников Б.А., 1964, с. 171-172). Б.А.Серебренников, опираясь на данные целого ряда уральских языков, в частности, таких, как мордовские, пермские, саамский и самодийский ненецкий, приходит к выводу о существовании в них причастий на -j-). В других из данных языков -j- мог стать словообразовательным элементом отглагольных существительных (ср. ф. ostaja «покупатель» от глагола ostaa «покупать», lähettäjä «отправитель» от глагола lähettää «отправлять, отправить»).

Следовательно, формой единственного числа в мерянском языке было kanDej(-əj). Наиболее близки к ней имена действия на -ej ненецкого языка (исходно, по-видимому, соответствующие действительные причастия настоящего времени), — ср.: нен. talej «вор (т.е. «ворующий») от tale(ś) «украсть», poŋgej (*поӈгэй*) «вихрь (крутящийся)», kharej «хорей (шест для погоняния оленей)» («пугающий» от khare(s) *(харе(сь))* «испугать, вспугнуть; погнать (оленью или собачью упряжку)». Таким образом, точное значение мер. kanDej(-əj) — «носитель (несущий)». Скорее всего, однако, если даже в прошлом у слов с суффиксом -ej- в мерянском и было значение действительного причастия настоящего времени, ввиду того, что в нем эту роль выполняли образования на -βa (ср.: tuDoβa «знающий», anDoβa «кормящий (< дающий)» (см. наст. изд., с. 78–79), формы с -ej- приобрели в мерянском языке значение отглагольных существительных типа финских образований на -aj(a), приведенных выше. Есть, следовательно, наибольшее основание считать, что мерянское kanDej имело значение «носитель» и соответственно kanDejək «носители (два кувшина)». При адаптации русским языком формы мерянского мн.ч. kanDejək, употреблявшейся вполне естественно в мерянском, поскольку речь шла не об одном, а о двух кувшинах (где логичной была множественная форма) — появлялось странное, с точки зрения русской слово- и формообразовательной системы, образование **кандеек*, похожее на форму род.пад. мн. числа женского рода типа *леек* от *лейка, канареек* от *канарейка* и под.). Вследствие этого вполне естественным было выведение этого образования из логичной с точки зрения русского языка формы им.пад. ед. числа *кандейка,* тем более, что данная словообразовательная модель (с суффиксальной частью -ей-к(а)) при образовании слов с предметным значением является в русском языке довольно распространенной (ср. образования типа *кацавейка, цигейка, тюбетейка, скуфейка*, корни которых зачастую, как и в *кандейка*, также затемнены, являясь иноязычными заимствованиями).

Рассмотренные этимологии всех трех слов интересны и с грамматической точки зрения, поскольку наряду с уже приводимыми примерами (см. наст. изд., с. 64) они лишний раз подтверждают реальность для мерянского языка в качестве показателя множественного числа у имен существительных форманта -k.



Бронзовые украшения из Поповского городища VII-IX вв. *[Археология Костромского края. Кострома, 1997, с. 127]*

МЕРЯНИСТИКА КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ РУССКОГО СУБСТРАТНОГО ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ. (ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)*

Мерянистика — область финно-угроведения, занятая исследованием мёртвого финно-угорского мерянского (мерьского) языка, примерно между 1000 г. до нашей эры и 1730/50 гг. распространённого в Центральной России и постепенно вытесненного русским языком. В отличие от других финно-угорских субстратов русского языка, прибалтийско-финского и мордовского, представленных, кроме вымерших идиомов, и рядом живых языков, мерянский вымер полностью. А поскольку, судя по всему, это был язык, отличавшийся от других финно-угорских и составлявший отдельную группу, связующее звено между прибалтийско-финской, мордовской, марийской и в какой-то степени угорской, задача реконструкции и исследования этого языка чрезвычайно важна и должна стать назначением особой области русского субстратного финно-угроведения. Значение мерянистики для русистики и славяноведения в целом объясняется тем, что былая область распространения мерянского языка расположена на территории Центральной России, средоточия образования и развития русской государственности, языка и культуры, специфику которых невозможно полностью установить без учёта особенностей этих субстратных истоков.

В настоящее время удалось реконструировать фонетическую систему мерянского языка, фрагменты его грамматики (существительного и глагола), небольшую часть его лексики и фразеологии, а также восстановить в общих чертах картину его внешней истории. Ввиду того, что по крайней мере пока мерянский не располагает связными текстами, — которые могли возникнуть при христианизации мери в XI веке, — мерянский язык приходится реконструировать из русского языка (главным образом из диалектного и социолектного и из ономастики бывших мерянских территорий Центральной России).

Эта работа должна быть продолжена путем исследования русских говоров и социолектов постмерянских территорий, их ономастики (главным образом топонимов) и тщательного изучения материалов архивов соответствующих местностей. Возможно, в ходе этих поисков удастся обнаружить и памятники (связные тексты) мерянского языка, что значительно облегчит дальнейшую исследовательскую работу. Впрочем, даже без этих, безусловно, наиболее ценных данных, даже фрагментарные сведения, извлеченные из говоров, ономастики и архивных материалов смогут пролить свет на целый ряд вопросов как системы мерянского языка в целом, так и его истории и диалектологии. В ходе их изучения и сравнения с другими родственными языками должна всё более совершенствоваться методика этой сложной поисковой работы.

---

* Публикация в кн.: Русская народная культура и её этнические истоки. (Пошехонские чтения-99. 1-й семинар). — М.: Современный писатель, 1999, стр. 16-17.

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ КОМПОНЕНТА -БАЛ(О) (-БОЛ/-ПОЛ) В ТОПОНИМАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Среди многочисленных предполагаемых финно-угорских топонимов на бывшей территории финно-угорского мерянского языка в Центральной России, – куда по современному административному делению полностью или частично входили области Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская, Владимирская, Московская, а по старому соответственно Ярославская, Костромская, Новгородская, Владимирская, Московская губернии, – особое внимание обращают на себя характерные для нее топонимы, названия деревень на -бол, -пол, -поло, -бал, -бало, иногда с наращением суффиксальных элементов -(о)во, -ка, -ов-ка[1]: (Яросл. губ.) Искробол, Яхробол, Шачебол (Даниловск. уезд); Толгобол (Яросл. у.); Пачебол (Рыбинск. у.), Мушпол, Ракобол, Почеболка (Пошехон. у.); Пушбол (Ростов. у.); Куткобал (Углич. у.); (Костром. губ.) Пезобал, Кужбал (Кологрив. у.); Шебал (Галич. у.); (Новгород. губ.) Ватбол, Патробал (Белозерск. у.); (Владимир. губ.) Кибол (более ранняя форма (1578 г.) – Кибало), Шихобалово (Суздальск. у.); Кинобол (Юрьев-Польский у.); Вежболово (Владимир. у.); Шудобол (Переяславльск. у.); Нушполо (Александровск. у.); (Московск. губ.) Атебал (Дмитровск. у.); возможно также – Шаболовка (один из старых окраинных районов Москвы, который мог быть прежней деревней, позже вошедшей в черту города)[2].

Ввиду слабой изученности мерянского языка, а также искажения мерянских слов в связи со славизацией мерянского населения, далеко не все первые компоненты приведенных названий ясны в своих значениях. Однако часть из них вполне прозрачна, находя убедительные соответствия в родственных языках: *Яхро- (< *Яхре-,* ср. р. *Яхрень* того же региона), очевидно, означает «озеро» (ср. ф. järvi «озеро»), саам. (норв.) jaw're , морд. Э *эрьке*, мар. *ер* «т.ж.»); *Пезо* – в *Пезобал* – «гнездо» (ср. ф. pesä , морд. М *пиза,* мар. *пыжаш*, коми *поз,* венг. fészek «т.ж.»); *Ки* – в *Кибол (Кибало)* – «камень» (ср. ф. kivi «камень», эст. kivi (и синкопированное ki в ves-ki < *vesi-kivi «мельница» (букв. «вода», т.е. водяной) – камень»), морд. Э *кев*, мар. кӱ, венг. kő «т.ж.»); *Ате* – в *Атебал* – «отец» (ср. морд. Э *атя* «старик», мар. *ача* «отец», венг. atya «т.ж.»). Таким образом, композиты со вторым компонентом *-бол (-бал, -бало, -пол(о))* являются финно-угорскими по своему происхождению. Об этом говорит этимологический анализ их первых компонентов. О том же свидетельствует их характерная для финно-угорских языков структура – простое сложение двух слов, первое из которых определяет второе. Однако, относясь к финно-угорским, данные образования в то же время характеризуются своеобразием, выделяющим их на фоне родственных языков и позволяющим отнести их к особому языку, отличающемуся от всех остальных, которым должен быть мерянский. Об этом свидетельствует не только их территориальная принадлежность местностям, в прошлом населенным мерянским этносом, а и чисто языковое своеобразие: *Яхро* – (мер. *jähre/ə) – ф. järvi, саам. jaw're, морд. Э *эрьке*; *Ате* – (мер. *at'e/-ə) – морд. Э *атя*, мар. *ача*, венг. atya (где конечное -*е* может отражать свойственный мерянскому редуцированный -ə). О том же свидетельствует свое-

---

* В основу исследования легла статья с тем же названием в кн.: Юбілейний збірник на честь 70-річчя від дня нарождення проф. Петра Лизанця. – Ужгород: Ужгородський державний університет, 2000, с. 506-510.

[1] Употреблено старое административное деление ввиду его использования М.Фасмером, из работы которого (Beiträge... – S. 416-418) взяты примеры, а также ввиду возможности позднейшей утраты части топонимов, вызванной исчезновением деревень в связи с преобразованиями природы и миграциями населения.

[2] Ср. ее упоминание у Тургенева: «Весной 1878 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике *на Шаболовке*, молодой человек, лет двадцати пяти, по имени Яков Аратов». (Клара Милич. (После смерти). – Тургенев И.С. Песнь торжествующей любви. (Повести). – М., 1984. – С. 92).

образие конечного компонента, выступающего чаще всего в форме *-бол, -бал*, но имеющего также вариант *-пол* и, по-видимому, более раннюю форму – *-бало*: о последнем говорит, как уже упоминалось, его фиксация в этой форме в 1578 году при позднейшей форме Кибол (следовательно, Кибол < Кибало).

Наличие данного компонента в названиях деревень позволяет предположить, что он имеет значение «деревня», и следовательно, в частности, приведенные топонимы *Яхробол, Пезобал, Кибол (Кибало), Атебал* истолковываются соответственно как «Озерная деревня», «Гнездовая деревня (деревня (семейного, родового) гнезда)», «Каменная деревня», «Отцовская деревня». Подобное предположение, логично вытекающее как из характера топонимов, так и из несомненной формальной близости между мерянским топонимным компонентом *бал(о),* (*-бол, -пол*) и угорскими словами со значением «деревня, село» (ср.: венг. falu (мн.ч. faluk/falvak), манс. *пӑвыл,* хант. *пӯхыл),* высказал в своем письме к М.Фасмеру (в 1935 г.) Я.Калима[3].

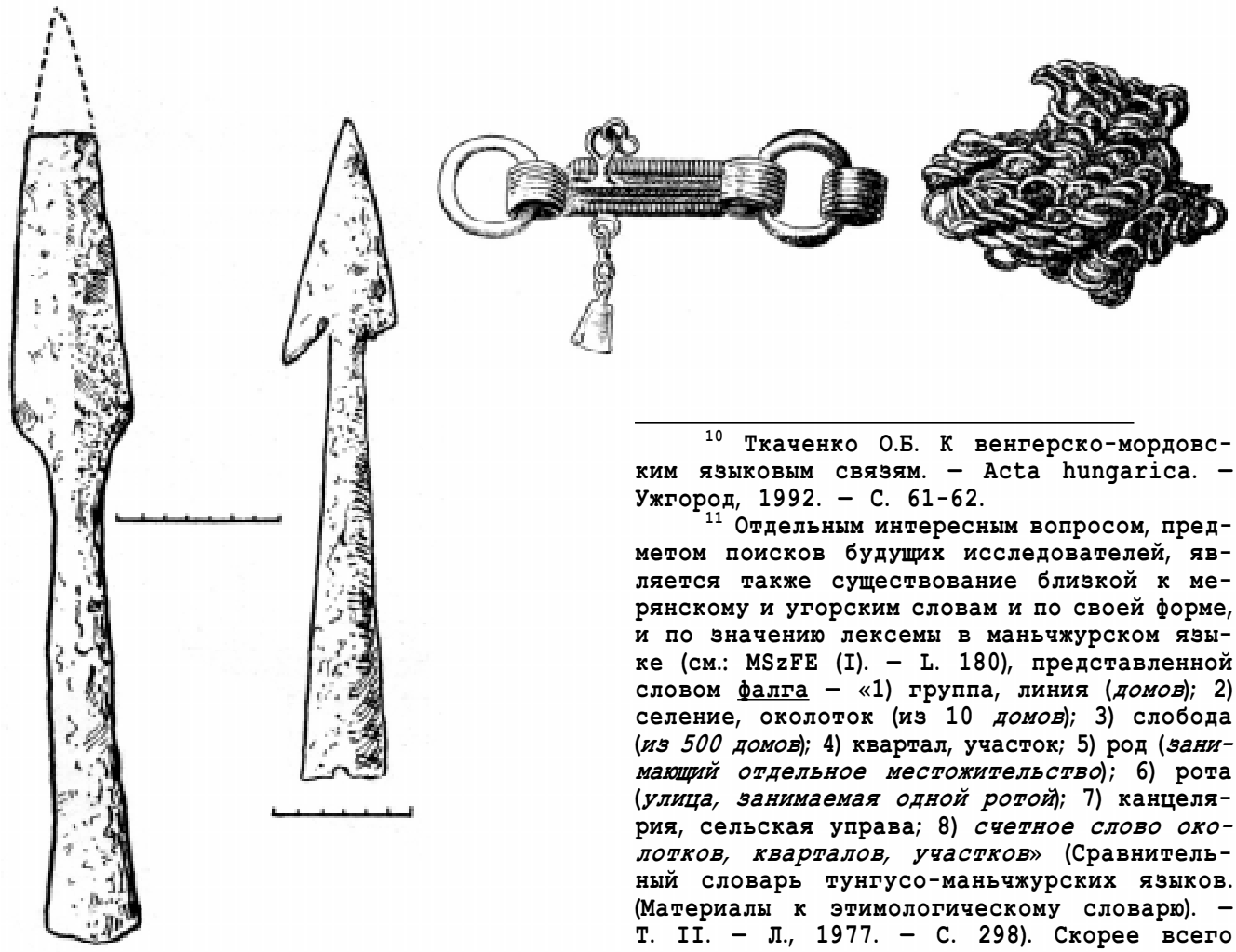
Еще более убедительным указанное предположение становится при реконструкции исходной формы мерянского компонента в качестве отдельного слова, обнаруживающего максимальную степень сходства с угорскими словами. Учитывая особенности мерянской фонетики – 1) наличие только глухих согласных с их позиционным переходом в полузвонкие в интервокальной (интервокально-сонантной) позиции (ср. характерную передачу русско-славянских слов в постмерянских русских говорах: *кадюка* (< *гадюка*), *падок* (< *батог*)[4]; 2) переход в новых закрытых слогах гласных высокого подъема в гласные подъема менее высокого и, в частности, а в о (Кибало > Кибол)[5] – есть все основания реконструировать исходную форму слова, лежащую в основе рассматриваемого второго компонента приведенных сложных слов как *palo (начальное р- которого в интервокальной позиции переходило в полузвонкое -В-, передаваемое -б- в русском языке). Промежуточной формой слова (перед исчезновением конечного гласного) является, по-видимому, вариант *palə̑ (с конечным редуцированным заднего ряда). Обе формы, и особенно первая, учитывая происхождение современного венгерского f- из более раннего *р-, безусловно, и формально, и семантически согласуется со всеми соответствующими им приведенными выше угорскими словами со значением «деревня, село», восходя к общей праформе *palγɛ с тем же значением[6]. При этом в сопоставлении с обско-угорскими соответствиями – манс. *пӑвыл,* хант. *пӯхыл* – бросается в глаза особенная формальная близость между мерянским *palo и венгерским falu (< *palu).

На фоне всех финно-пермских слов со значением «деревня, село» мерянское *palo(-ə̑) резко выделяется своим полным отсутствием какой-либо связи с ними одновременно со своей, уже отмеченной несомненной связью с угорскими словами той же семантики – ср.: ф. kylä «деревня, село», эст. küla, кар., вепс. külä, водск. tšülä, лив. kilà (külà)); саам. (норв.) gille (< ф. kylä; морд. Э, М *веле;* мар. (луг.) *ял,* мар. (горн.) *сола* «т.ж.»; коми (зыр.) *сикт* «деревня», *грезд* «село» (в коми-пермяцком вместо этого русские заимствования – *деревня, село* – при собственном *кар* «город»)[7]; удм. *гурт* «деревня» (*черко гурт* «село») – мер. *palo(-ə̑) «деревня, село», венг. falu, манс. *пӑвыл,* хант. *пӯхыл* «т.ж.»[8].

Поскольку в исторический период вследствие их расселения меряне и угры утратили непосредственные территориальные контакты, следует предположить, что их общая лексическая изоглосса (изолек-

[3] См.: Vasmer M., ibidem. – S. 418.
[4] Наст. изд., с. 12-15.
[5] Наст. изд., с. 62-63.
[6] MszFE I. – L. 180-181.
[7] Коми-пермяцко-русский словарь. – С. 117, 165, 422.
[8] Явления тесной связи мерянского и угорских слов и их важной роли в системе своих языков не мог бы преуменьшить факт существования среди финских географических названий компонента (слова) Palva (Palvala «деревня в Сюсмя», Palvajärvi «два озера в приходе Геймола»), а также карельского palvi «место жительства», даже если бы они были связаны с данными мерянским и угорскими словами (Kalima FUF. XVIII. 147), – что ставят под сомнение авторы MSzFUE (I. – L. 180), – поскольку в отличие от мерянского и угорских слов данные финское и карельское слова находятся явно на периферии лексических систем своих языков, что ставит также вопрос об их исконности в них.

са) скорее всего возникла до распада финно-угорской общности, где протомерянский идиом (диалект), входя в финно-пермскую (праокскую) диалектную группу, должен был, видимо, располагаться на ее границе, в непосредственной близости от угорской[9]. Возможно, закреплению данной общей с угорскими языками черты в мерянском способствовало также то, что он некоторое время входил в предполагаемый общий языковой союз вместе с угорскими, мордовским, саамским и самодийскими языками[10]. Пока сказать что-то более определенное о характере этих языковых контактов невозможно. Ясно только одно: для того чтобы в язык мерян столь прочно вошло чрезвычайно важное слово, связанное с их жизнью и общественным строем, их контакты с угорскими народами (и в том числе протовенграми) должны были быть очень тесными и продолжительными[11].



Копья V-VII вв., фрагменты литого серебряного мужского пояса XI-XII вв. и кольчуги IX в. Из мерянских погребений на р. Тезе (Холуй) и в Костромской губ. и с Дурасовского городища на р. Стежере.
[22, стр. 114, 115, 123]

[9] Ткаченко О.Б. Merianica. К периодизации мерянского языка. — Советское финно-угроведение, 1987, № 1. С. 14.

[10] Ткаченко О.Б. К венгерско-мордовским языковым связям. — Acta hungarica. — Ужгород, 1992. — С. 61-62.

[11] Отдельным интересным вопросом, предметом поисков будущих исследователей, является также существование близкой к мерянскому и угорским словам и по своей форме, и по значению лексемы в маньчжурском языке (см.: MSzFE (I). — L. 180), представленной словом <u>фалга</u> — «1) группа, линия (*домов*); 2) селение, околоток (из 10 *домов*); 3) слобода (*из 500 домов*); 4) квартал, участок; 5) род (*занимающий отдельное местожительство*); 6) рота (*улица, занимаемая одной ротой*); 7) канцелярия, сельская управа; 8) *счетное слово околотков, кварталов, участков*» (Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. (Материалы к этимологическому словарю). — Т. II. — Л., 1977. — С. 298). Скорее всего здесь речь идет о заимствовании, причем поскольку маньчжурское слово является совершенно изолированным в кругу родственных тунгусо-маньчжурских языков, больше оснований видеть в данном случае направление заимствования «от финно-угров к маньчжурам», чем наоборот. Остается также возможность заимствования слова и финно-уграми и маньчжурами из какого-то третьего источника, который в таком случае еще предстоит определить. Что касается приводимого в качестве возможно другого алтайского соответствия тур. ağıl «отгороженное пастбище; загон (для овец и т.п.)» (MSzFUE (I), — Budapest, 1967. — L. 180), то его связь с угорскими и мерянскими словами ввиду большого формального и семантического разрыва представляется более проблематичной.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения источников

Периодические издания

СФУ — Советское финно-угроведение. 1965

FUF Anz — Anzeiger der Finnisch-ugrischen Forschungen. 1901

MSFOu — Mémoires de la Société Finno-ougrienne, 1880

Источники

Аристэ — Аристэ П.А. Примечания. — В кн.: Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка: Фонетика и морфология. М.: Изд-во иностр. лит., 1953, ч. 6, с. 290-306.

Баландин — Вахрушева — Баландин А.Н., Вахрушева М.П. Мансийско-русский словарь с лексическими параллелями из южномансийского (кондинского) диалекта. — Л.: Учпедгиз, 1958. — 228 с.

Веселовский — Веселовский С.Б. Ономастикон: Древнерус. имена, прозвища и фамилии. — М.: Наука, 1974. — 382 с.

Вин. — Виноградов Н.Н. Галивонские алеманы: Услов. яз. галичан (Костром. губерния). — Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Императ. Акад. наук (1915), т. 20, кн. I, с. 18-52.

Востр. I — Востриков О.В. Несколько субстратных включений в русских говорах Костромской области (сорьез, тохта, шохра). — В кн.: Этимологические исследования: Этимология рус. диалект. слов. Свердловск, 1978, с. 45-53.

Востр. II, Востр. ФУЛЭ — Востриков О.В. Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья. — В кн.: Этимологические исследования: Этимология русских диалектных слов. Свердловск, 1978, с. 3-45.

Галкин — Галкин И.С. Историческая грамматика марийского языка: Морфология. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1964. — Ч. I. 203 с.

Гринченко — Словарь украинского языка: Собр. ред. журн. «Киевская старина» / Ред. с доб. собств. материалов Б.Д.Гринченко. — Киев: 1907-1909. — Т. 1-4. — (Надрук. з вид. 1907-1909 рр. фотомех. способом. К.: Вид-во АН УРСР, 1958).

Даль — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: ГИС, 1955. — Т. 1-4. — (Набрано и напеч. со 2-го изд.: 1880-1882 гг.).

Дитмар — Дитмар А.Б. Над старинными рукописями: «Топогр. описания Яросл. края» конца XVIII в. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. — 125 с.

Егоров — Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1964. — 355 с.

Зайцева — Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка: Фонетика и морфология. — Л.: Наука, 1981. — 360 с.

Зайцева-Муллонен — Зайцева М.И., Мулонен М.И. Словарь вепсского языка. — Л.: Наука, 1972. — 746 с.

КГЗ, КГЗ (СНМ) — Костромское губернское земство: Список насел. мест Костром. губернии (по сведениям 1907 г.) — Кострома: Б.и., 1908. — 347 с.

КОСК — Костромской областной словарь (картотека) (хранится на кафедре русского языка Костромского пед. ин-та им. Н.А.Некрасова)*.

КЭСКЯ — Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. — М.: Наука, 1970. — 386 с.

КЯОС — Мельниченко Г.Г. Краткий ярославский областной словарь, объединяющий материалы ранее составленных словарей (1820-1956 гг.). Более 10000 слов: Введ. и слов. — Ярославль: Б.и., 1961. — Т. I. 224 с.

Лыткин Ист. вок. — Лыткин В.И. Исторический вокализм пермских языков. — М.: Наука, 1964. — 270 с.

* В настоящее время — Костромской государственный университет *(прим. ред.)*

Мар РС — Марийско-русский словарь. — М.: ГИС, 1956. — 863 с.

МКНО — Материалы костромского научного общества (хранящиеся в архиве Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, быв. Ипатьевский монастырь).

МокшРС — Мокшанско-русский словарь. — М.: ГИС, 1949. — 359 с.

Мурз — Мурзаев Э., Мурзаева В. Словарь местных географических терминов. — М.: Географгиз, 1959. — 303 с.

ООВС, ООСВН — Опыт областного великорусского словаря: Изд. 2-м отд-нием Императ. Акад. наук. — Спб.: Тип. Акад. наук, 1852. — XII + 275 с.

ОСНЯ — Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский): Сравн. слов. (1-3). Указ. — М.: Наука, 1976. — 156 с.

ОФУЯ — Редеи К., Эрдейи И. Сравнительная лексика финно-угорских языков. — В кн.: Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.). М.: Наука, 1974, с. 397-438.

План р. Костромы — План реки Костромы от гор. Костромы до истока. Кострома: Костром, науч. о-во, 1930. — 35 с.

Р Коми С — Русско-коми словарь. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1966. — 776 с.

РКС — Русско-карельский словарь / Сост. Г.Н.Макаров. — Петрозаводск: Карелия. 1975. — 160 с.

Р Мокш С — Русско-мокшанский словарь. — М.: ГИС, 1951. — 688 с.

Ромб — Куз — Ромбандеева Е.И., Кузакова Е.А. Словарь мансийско-русский и русско-мансийский. — Л.: Просвещение, 1982. — 360 с.

Р Эрз С — Русско-эрзянский словарь. — М.: ГИС, 1948. — 430 с.

Сав — Уч — Саваткова А., Учаев З. Краткий грамматический очерк марийского языка. — В кн.: Марийско-русский словарь. М.: ГИС, 1987, с. 793-863.

Свеш — Слова торговцев г. Углича, доставленные Н.Свешниковым (денежный счет, отдельные слова и речь). — Яросл. ист. музей, ф. 37. ед. хр. 322, л. 80-94.

СВХД — Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. — Л.: Наука, 1981. — 544 с.

Семенов — Семенов Т. К вопросу о родстве и связи мери с черемисами. — В кн.: Тр. VII археол. съезда в Ярославле в 1887 г. М.: Б.и., 1891, т. 7, с. 228-258.

Серебр. Ист. морф. морд. яз., ИММЯ — Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков. — М.: Наука, 1967. — 262 с.

Серебр. Ист. морф. перм. яз. — Серебренников Б.А. Историческая морфология пермских языков. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 391 с.

Серебр. Осн. лин. разв. — Серебренников Б.А. Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках. — М.: Наука, 1964. — 183 с.

Серебр. Происхожд. — Серебренников Б.А. Происхождение марийского народа по данным языка. — В кн.: Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1967, с. 165-180.

Смирнов — Кашинский словарь / Сост. И.Т.Смирнов. — Спб.: Тип. Акад. наук, 1901. — 312 с. — (Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности Императ. Акад. наук: Т. 70, № 5).

Смол — Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки: (Список рек и озер). — М.: Наука, 1976. — 404 с.

СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. — Свердловск: Урал. рабочий, 1971. — Т. 2. 214 с.

СРНГ — Словарь русских народных говоров. — Л.: Наука, 1965-1983. — Вып. 1-19.

СРНГК — Словарь русских народных говоров (картотека) (хранится в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР).

СРГНО — Словарь русских говоров Новосибирской области. — Новосибирск: Наука, 1979. — 605 с.

Терещенко Нган. яз. — Терещенко Н.М. Нганасанский язык. — Л.: Наука, 1979. — 322 с.

Ткаченко — Ткаченко О.Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. — Киев: Наук. думка, 1979. — 298 с.

---

* В настоящее время — Государственное учреждение культуры «Костромской государственный историко-архивный и художественный музей-заповедник» *(прим. ред.)*

ТОЛРС VII – Труды Общества любителей российской словесности при Моск. ун-те, 1828, ч. 7.

ТОЛРС XX – Труды Общества любителей российской словесности при Моск. ун-те, 1820, ч. 20.

Топоров (I – К) – Топоров В.Н. Прусский язык: Словарь. I – К. – М.: Наука, 1980. – 384 с.

Хакулинен – Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. – М.: Изд-во иностр. лит., 1953-1955. – Ч. 1-2.

Халипов – Халипов С.Г. Что значит Москва. – СФУ, 1984, № 7, с. 129-131.

Хелимский – Хелимский Е.А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели: Лингв. и этногенет. интерпретация. – М.: Наука, 1982. – 164 с.

Чернецов – Чернецова, КМРС – Чернецов В.Н., Чернецова И.Я. Краткий мансийско-русский словарь с приложением грамматического очерка. – М.; Л.: Учпедгиз, 1936. – 115 с.

Чув РС – Чувашско-русский словарь. – М.: ГИС, 1961. – 630 с.

Экон. прим. – Экономические примечания к генеральному межеванию (конец XVIII века). – Архив Костром. обл., ф. 138, оп. 5, ед. хр. 17-18.

Эрз РС – Эрзянско-русский словарь. – М.: ГИС, 1949. – 292 с.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд. – М.: Наука, 1974-1983. – Вып. 1-10.

ЭСТЯ – Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюрк. и межтюрк. основы на гласные. – М.: Наука, 1974. - 767 с.

ЯОС – Ярославский областной словарь. – Ярославль: Б.и., 1981-1982. – Аа-Бобинка; Бобовка-вертушок.

ЯОСК – Ярославский областной словарь (картотека) (хранится на кафедре русского языка Ярославского пед. ин-та им. К.Д.Ушинского*).

Alvre I – Alvre P. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusi. – Lesanded ja materjalid (Üksikkonsonandid). – Tartu: Tartu riiklik ülikool, 1979. – 110 lk.

Alvre II – Alvre P. Uurali keelte ajaloolise foneetika harjutusi. – Lesanded ja materjalid (Konsonantühendid). – Tartu: Tartu riiklik ülikool, 1979. – 116 lk.

Collinder – Collinder B. Comaparativ grammar of the Uralic Languages – Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1960. – 419 p.

Janhunen, SW – Janhunen J. Samojedischer Wortschatz: Gemeinsamojedische Etymologien. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1977. – 186 S.

Kluge-Mitzka – Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache 20. Aufl./Bearb. W. Mitzka. – Berlin: Gruyter, 1967. – 915 S.

Lagercrantz – Lagercrantz E. Lappischer Wortschatz. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1939. – 1250 S.

MNTESz – A magyar nyelv történeti-etimológiai szótár k. 1-3. – Budapest: Akad. kiadó, 1967-1976.

MSzFUE – A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár. – Budapest: Akad. kiadó, 1967-1978. – 727 l.

Nirvi – Inkeroismurteiden sanakirja. Vast. toim. R.E. Nirvi. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1971. – 730 s.

SEJDrzP – Lehr-Spławiński T., Polański K. Słownik etymologiczny języka Drzewian połabskich. – Wrocław etc.: PAN. Zakł. nar. im. Ossolińskich, 1962. – Z. 1. 126 s.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1955-1978. – 1899 s.

Vasmer – Vasmer M. Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. 3. Merja und Tscheremissen. – In: Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde / Hrsg. H. Bräuer. Berlin; Wiesbaden: Gruyter, 1971, Bd 1, S. 345-418.

VMS – Väike murdesõnastik. I / Toim. vast. V. Pall. – Tallinn: Valgus, 1984. – 503 lk. (Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut).

Walde – Walde A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch 3. Aufl. – Neubearb. J.B. Hofmann. – Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1938. – Bd 1-2.

* В настоящее время – Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского *(прим. ред.)*

Сокращения названий языков и диалектов (говоров)

аб. – абаканский
абадз. – абадзехский
абаз. – абазинский
абх. – абхазский
авар. – аварский
азерб. – азербайджанский
акуш. – акушинский
алб. – албанский
англ. – английский
арм. – армянский
арх. – архангельский
афг. – афганский (пушту)
балк. – балкарский
балт. – балтийский
бежет. – бежетинский
бел., бр. – белорусский
белудж. – белуджский
болг. – болгарский
большезем. – большеземельский
булг. – булгарский
вас. – васюганский
вах. – ваховский
вейнах. – вейнахский
венг. – венгерский
вепс. – вепсский
визант. – византийский
вл. – верхнелужицкий
влад. – владимирский
вод. – водский
гал. – галльский
галич. – галичский
герм. – германский
гот. – готский
гр. – греческий
груз. – грузинский
дангл. – древнеанглийский
дарг. – даргинский
дат. – датский
дболг. – древнеболгарский
двенг. – древневенгерский
двн. – древневерхненемецкий
дид. – дидойский
динд. – древнеиндийский
дмер. – древнемерянский
донск. – донской
дперм. – древнепермский
др.-ар. – древнеарийский
друс. – древнерусский
дсакс. – древнесаксонский
ибер.-кавказ. – иберийско-кавказский
инг. – ингушский
ирл. – ирландский
и-е. – индоевропейский
иж., ижор. – ижорский
исп. – испанский
итал., ит. – итальянский
каб. – кабардинский
казах. – казахский
казым. – казымский
кал. – калининский
кам. – камасинский
кар. – карельский
караг. – карагасский
кашуб. – кашубский
кильд. – кильдинский
кимр. – кимрский
кинеш. – кинешемский
койб. – койбальский
коми, коми-зыр., коми З – коми-зырянский
коми-перм., коми П – коми-пермяцкий
конд. – кондинский
костр. – костромской
курд. – курдский
кыпч. – кыпчакский
лат. – латинский
лив. – ливский
ливв. – ливвиковский
лит. – литовский
лтш., латыш. – латышский
люд. – людиковский
мак. – македонский
манс. – мансийский
мар. – марийский (луговой)
мар. В – марийский (восточный)
мар. Г – марийский (горный)
матор. – маторский
мегр. – мегрельский
мер. – мерянский
морд. – мордовский (эрзя и мокша)
морд. М – мордовский-мокша
морд. Э – мордовский-эрзя
моск. – московский
нар.-лат. – народнолатинский
нган. – нганасанский
нем. – немецкий
нен. – ненецкий
нл. – нижнелужицкий
норв. – норвежский
осет. – осетинский
п. – польский

перс. – персидский
пехл. – пехлевийский
пгерм. – прагерманский
полаб. – полабский
порт. – португальский
постмер. – постмерянский
прибалт.-фин. – прибалтийско-финский
прованс. – провансальский
протосл. – протославянский
прус. – прусский
псл. – праславянский
пфин. – прафинский
рум. – румынский
рус. – русский
ряз. – рязанский
саам. – саамский
саам. И – саамский Инари
саам. К – саамский (кольский)
саам. Л – саамский-луле
саам. Н – саамский (норвежский)
сал. – салымский
сван. – сванский
сгр. – среднегреческий
сельк. – селькупский
слав. – славянский
слн. – словенский
словин. – словинский
слц. – словацкий
снн. – средненижненемецкий
сосьв. – сосьвинский
ср.-лозьв. – среднелозьвинский
ср.-обск. – среднеобский
струс. – старо(велико)русский
стсл. – старославянский
стфр. – старофранцузский
сургут. – сургутский
схв. – сербскохорватский
тавд. – тавдинский
таз. – тазовский
тайг. – тайгийский
тат. – татарский
тур. – турецкий
турк. – туркменский
туш. – тушинский (бацбийский)
убых. – убыхский
угл. – угличский
угор. – угорский
удм. – удмуртский
укр. – украинский
урал. – уральский
ф. – финские
фатьян. – фатьяновский
фин. – финский
ф.-перм. – финно-пермский
фр. – французский
ф.-уг. – финно-угорский
хант. – хантыйский
хант. С – хантыйский сургутский
хварш. – хваршинский
хиналуг. – хиналугский
холмог. – холмогорский
цсл. – церковнославянский
ч. – чешский
чеч. – чеченский
чув. – чувашский
швед. – шведский
эн. – энецкий
эст. – эстонский
ям. – ямальский
яросл. – ярославский

Сокращения единиц административно-территориального деления (области – районы; губернии – уезды)*

Ал, Александр – Александровский
Антр – Антроповский
Аньк – Аньковский
Ареф – Арефинский
Балаш – Балашихинский
Большес, БС – Большесельский
Борисогл – Борисоглебский
Брейт – Брейтовский
Буй – Буйский
Бурм – Бурмакинский
Варн, Варнав – Варнавинский
Ветл – Ветлужский
Вл, Влад – Владимирская обл.; Владимирский р-н (уезд)
Вл. губ., Влад. губ. – Владимирская губ.
Волог – Вологодская обл.; Вологодский р-н (уезд)
Волог. губ. – Вологодская губ.
Вох – Вохомский
Вязн – Вязниковский
Вят. губ. – Вятская губ.
Гавр.-Ям – Гаврилов-Ямский
Гал – Галичский р-н (уезд)

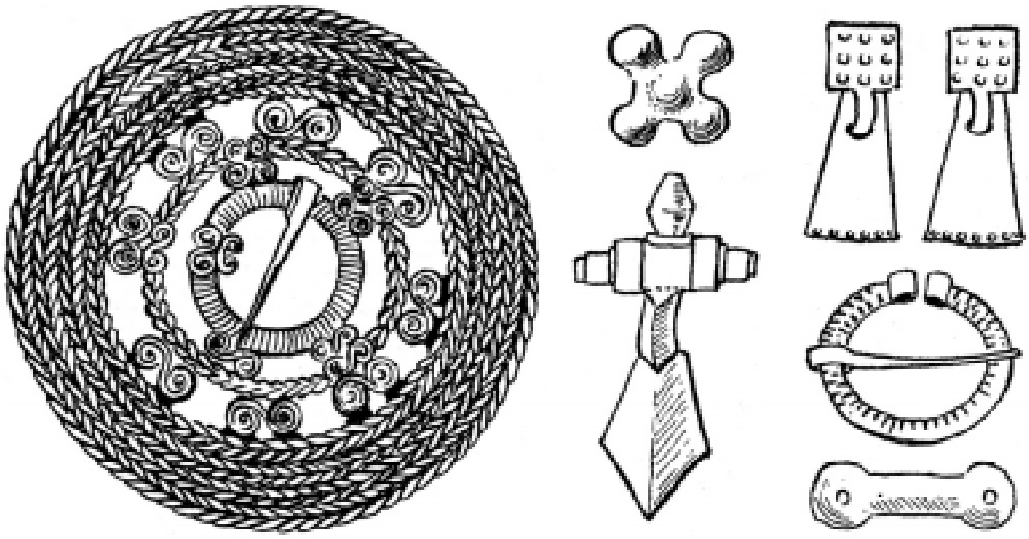
* Названия административных единиц послереворлюционного периода даются на основании административно-территориального деления советского времени (без учета возможных позднейших изменений).

Горох – Гороховецкий
Давыдк – Давыдковский
Дан – Даниловский
Дмитр – Дмитровский
Ерм, Ермак – Ермаковский
Ив, Иван – Ивановская обл.; Ивановский р-н
Игод – Игодовский
Ильин – Ильинский
Ильин.-Хов – Ильинско-Хованский
Кадый – Кадыйский
Казан. губ. – Казанская губ.
Камышл – Камышловский
Каш – Кашинский
Кин – Кинешемский
Ковр – Ковровский
Козьмодем – Козьмодемьяновский
Кол, Кологр – Кологривский
Комс – Комсомольский
Костр – Костромская обл. (губ.); Костромской р-н (уезд)
Костр. губ. – Костромская губ.
Крас, Краснос – Красносельский
Куйб – Куйбышевская обл.; Куйбышевский р-н
Люб, Любим – Любимский
Мак, Макар – Макарьевский
Мант – Мантуровский
Меж – Межевский
Мелен – Меленковский
Мол – Мологский
Моск – Московская обл.
Моск. губ. – Московская губ.
Мышк – Мышкинский
Нагор – Нагорьевский
Ней – Нейский
Некоуз – Некоузский
Некр – Некрасовский
Нер, Нерехт – Нерехтский р-н (уезд)
Нижегор. губ. – Нижегородская губ.
Никол. – Никольский
Остр – Островский
Парф – Парфеньевский
Пенз – Пензенская обл.; Пензенский р-н (уезд)
Пенз. губ. – Пензенская губ.
Первом – Первомайский
Пересл, Переясл – Пере(я)славский
Петр – Петровский
Подольск – Подольский
Поназ – Поназыревский
Пош – Пошехонский р-н (уезд)
Пречист – Пречистенский
Псков – Псковская обл.; Псковский р-н (уезд)
Псков. губ – Псковская губ.
Пыщ – Пыщугский
Рост – Ростовский р-н (уезд) Ярославской обл. (губ.)
Рыб – Рыбинский
Рязанц – Рязанцевский
Самар. губ. – Самарская губ.; Самарский уезд
Свердл – Свердловская обл.
Серед – Середской
Симб. (губ.) – Симбирская губ.; Симбирский уезд
Слобод – Слободской
Солигал – Солигаличский
Судисл. – Судиславский
Судог – Судогодский
Суздал – Суздальский
Сусан – Сусанинский
Тамб – Тамбовская обл.; Тамбовский р-н (уезд)
Тамб. губ. – Тамбовская губ.
Твер. губ. – Тверская губ.
Тобол. губ. – Тобольская губ.
Толбух – Толбухинский
Том. губ. – Томская губ.
Тут – Тутаевский
Угл – Угличский
Чухл – Чухломский
Шар – Шарьинский
Шуй – Шуйский
Щерб – Щербаковский
Юр.-Пол – Юрьев-Польский
Юрьев – Юрьевецкий
Ядрин – Ядринский
Яр – Ярославская обл.; Ярославский р-н (уезд)
Яр. губ. – Ярославская губ.

Сокращения ремарок

аблат. – аблатив
адесс. – адессив
акк., аккуз. – аккузатив
аллат. – аллатив
анат. – анатомическое
арг. – арготическое
бран. – бранное
букв. – буквально
быв. – бывший

вокат. – вокатив
вост. – восточный
вр. – время
г. – город
ген. – генитив
гл. – глагол
груб. – грубое
д. – деревня
дееприч. – деепричастие
диал. – диалектное
др. – древнее
зап. – западный
зват., зв. ф. – звательная форма
изъяв. – изъявительное
илл. – иллатив
им. п. – именительный падеж
инесс. – инессив
ирон. – ироническое
лингв. – лингвистическое
лит. – литературное
межд. – междометие
мн. – множественное
накл. – наклонение
нар. – народное
нар.-поэт. – народно-поэтическое
направит.-внос. – направительно-вносительный
наст. вр. – настоящее время
ном. – номинатив
н. п. – населенный пункт
н. э. – нашей эры
обл. – областное
оз. – озеро
орф. – орфографическое
п. – падеж
парт. – партитив
перен. – переносно
побуд. – побудительное
повел. – повелительное
поздн. – позднее
поэт. – поэтическое
р. – река
разг. – разговорное
с. – село
сев. – северный
сев.-зап. – северо-западный
совр. – современное
ст. – старое
субстр. – субстратное
суф. – суффикс
тыс. – тысячелетие
указат. – указательное
уменьш. – уменьшительная форма
уст. – устаревшее
фон. – фонетическое
ч. – число
шутл. – шутливое
эвфем. – эвфемистическое
элат. – элатив
юго-зап. – юго-западный
юж. – южный



Предметы из мерянского могильника
V-VII вв. на р. Теза (Холуй)
[22, стр. 123]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Абаев В.И.* Осетинский язык и фольклор. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — Т. 1. — 601 с.

2. *Абаев В.И.* О языковом субстрате // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, 1956. — Т. 9. — С. 57-69.

3. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. — Т. 1. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 655 с.

4. *Абаев В.И.* Скифо-европейские изоглоссы: На стыке Востока и Запада. — М.: Наука, 1965. — 168 с.

5. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. — Л.: Наука, 1973. — Т. 2. — 448 с.

6. *Адлер Э.* Водский язык // Языки народов СССР: Финно-угор. и самодийск. яз. — М.: Наука, 1966. — Т. 3. — С. 118-137.

7. *Аристэ П.А.* Примечания // *Хакулинен Л.* Развитие и структура финского языка: Фонетика и морфология. — М.: Изд-во иностр. лит., 1953. — Ч. I. — С. 290-306.

8. *Баландин А.Н., Вахрушева М.П.* Мансийско-русский словарь с лексическими параллелями из южномансийского (кондинского) диалекта. — Л: Учпедгиз, 1958. — 228 с.

9. *Бодуэн де Куртенэ.* Проблемы языкового родства // *Бодуэн де Куртенэ.* Избр. тр. по общ. языкознанию. — М., 1963. — Т. 2. — С. 342-352.

10. *Борковский В.И.* Вступительное слово // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, 1956. — Т. 9. — С. 5-7.

11. *Вайнрайх У.* Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования. — Киев: Изд-во при КГУ, 1979. — 264 с.

12. *Ванюшечкин В.Т.* К вопросу о финно-угорских элементах в лексике мещерских говоров //СФУ, 1973. — № 9. — С. 179-184.

13. *Векслер Б.Х., Юрик В.А.* Латышский язык: (Самоучитель). — Рига: Звайгзне, 1975. — 462 с.

14. *Виноградов Н.Н.* Галивонские алеманы: Условн. яз. галичан (Костром. губ.) // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1915. — Т. 20. — Кн. 1. — С. 18-52.

15. *Востриков О.В.* Несколько субстратных включений в русских говорах Костромской области (*сорьез*, *тохта*, *шохра*) // Этимологические исследования: Этимология рус. диалект. слов. — Свердловск, 1978. — С. 45-53.

16. *Востриков О.В.* Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья //Этимологические исследования. — Свердловск, 1981. — С. 3-45.

17. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов"янських мов. — Київ: Наук. думка, 1966. — 595 с.

18. *Вяари Э.Э.* Ливский язык // Языки народов СССР: Финно-угор. и самодийск. яз. — М.: Наука, 1966. — Т. 3. — С. 138-154.

19. *Гавранек Б.* К проблематике смешения языков // Новое в лингвистике, 1972. — Вып. 6. — С. 94-111.

20. *Галкин И.С.* Историческая грамматика марийского языка: Морфология. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1964. — Ч. 1. — 203 с.

21. *Гаркавец А.Н.* Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским языкам в XVI—XVII вв. — Киев: Наук. думка, 1979. — 100 с.

22. *Горюнова Е.И.* Этническая история Волго-Окского междуречья. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 267 с. — (Материалы и исслед. по археологии СССР. — № 94).

23. Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков: Фонетика и морфология. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 1962. — Ч. 1. — 376 с.

24. Грамматика финского языка: Фонетика и морфология. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 296 с.

25. *Грузов Л.П.* Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1964. — 244 с.

26. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: ГИС, 1955. — Т. 1-4. — (Набрано и напеч. со 2-го изд.: 1880-1882 гг.).

27. *Джапаридзе З.Н., Стрельников Ю.А.* О различиях в плаче новорожденных разной национальности и пола: (К проблеме уровней фонетической организации членораздельной речи) // Экспериментально-фонетический анализ речи: Проблемы и методы. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. — С. 58—64.

28. *Дыбо В.А.* От редактора // *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский): Введение. Сравн. слов. (b-Ḳ). — М.: Наука, 1971. — С. I-XXXVI.

29. *Европеус Д.* К вопросу о народах, обитавших в нынешней России до поселения в ней славян // Журн. м-ва нар. просвещения, 1868. — Ч. 139. — С. 56-81.

30. *Егоров В.Г.* Этимологический словарь чувашского языка. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1964. — 355 с.

31. *Жирков Л.* Персидский язык: Элементарная грамматика. — М., 1927. — 207 с. — В надзаг.: Ин-т востоковедения им. Н.Нариманова при ЦИК СССР.

32. Житие св. Леонтия, епископа Ростовского / С предисл. *А.А.Титова* // Чтение в Имп. о-ве истории и древностей рос. при Моск. унте. — М., 1893. — Кн. 4/167. — V + 129 с.

33. *Задорожний Б.М.* До питания про інтонацію в слов'янських мовах // Вопросы славянского языкознания. — Львов; Харьков, 1953. — Кн. 3. — С. 107-116.

34. *Занд М.И.* Идиш как субстрат современного иврита // Семитские языки. — М.: Наука, 1965. — Вып. 2. — Ч. 1. — С. 221-245.

35. *Зеленин Д.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. — Л.: Academia, 1929-1930. — Ч. 1/2. — (Сб. Музея антропологии и этнографии. — Т. 8/9).

36. *Иллич-Свитыч В.М.* Краткий грамматический справочник // Македонско-русский словарь. — М.: ГИС, 1963. — С. 547-576.

37. *Иордан.* О происхождении и деяниях гетов. Getica. — М.: Изд-во вост. лит., I960. — 436 с. — (Памятники средневековой истории Центр. и Вост. Европы).

38. Ипатьевская летопись. — М., 1962. — 938 с. — (ПСРЛ; Т. 2).

39. История СССР: С древнейших времен до Великой Окт. соц. революции. — М.: Наука, 1966. — Т. I. — 631 с.

40. *Керт Г.М.* Саамский язык (кильдинский диалект): Фонетика, морфология, синтаксис. — Л.: Наука, 1971. — 355 с.

41. *Ключевский В.О.* Сочинения: Курс рус. истории. — М.: Политиздат, 1966. — Т. I. — Ч. I. — 427 с.

42. *Коведяева Е.И.* Марийский язык // Основы финно-угорского языкознания: Марийс., перм. и угор. яз. — М.: Наука, 1976. — С. 3-96.

43. *Коломиец В.Т.* Значение данных сравнительно-исторической фонетики для исследования славянского этногенеза //Доп. IX Міжнар. з"їзду славістів: Слов. мовознавство. — Київ: Наук. думка, 1983. — С. 70-86.

44. *Коломиец В.Т.* Происхождение общеславянских названий рыб // К IX Междунар. съезду славистов. — Киев: Наук. думка, 1983. — 159 с.

45. *Комлев Н.Г.* Лингвистическая аксиология. Постановка проблемы социальной лингвистики // Теоретические проблемы социальной лингвистики. — М.: Наука, 1981. — С. 102-109.

46. *Корсаков Д.* Меря и Ростовское княжество: Очерк из истории Рост.-Сузд. земли. — Казань: Тип. Каз. ун-та, 1872. — III + VIII + 246 + II с.

47. *Крайнов Д.А.* Древнейшая история Волго-Окского междуречья // Фатьяновская культура: II тысячелетие до н.э. — М.: Наука, 1972. — 274 с.

48. *Крайнов Д.А.* Фатьяновская культура // Сов. ист. энцикл., 1973. — Т. 14. — С. 968-969.

49. *Лаанест А.* Ижорский язык // Языки народов СССР: Финно-угор. и самодийск. яз. — М.: Наука, 1966. — Т. 3. — С. 102-117.

50. *Лаанест А.* Прибалтийско-финские языки // Основы финно-угорского языкознания: Прибалт.-фин., саам. и морд. яз. — М.: Наука, 1975, с. 5-122.

51. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку. — М., 1962. — 579 с. — (ПСРЛ; Т. I).

52. *Лыткин В.И.* Ещё к вопросу о происхождении русского аканья. — Вопр. языкознания, 1965. — № 4. — С. 44-52.

53. *Лыткин В.И.* Сравнительная фонетика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.). — М.: Наука, 1974. — С. 108-213.

54. *Лыткин В.И., Гуляев В.С.* Краткий этимологический словарь коми языка. — М.: Наука, 1970. — 386 с.

55. *Майтинская К.Е.* Сравнительная морфология финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.). — М.: Наука, 1974. — С. 214-382.

56. *Макаров Г.Н.* Образцы карельской речи: Калинин. говоры. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — 194 с.

57. *Мартине А.* Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике, 1963. — Вып. 3. — С. 528-566.

58. *Матвеев А.К.* Субстратная топонимика русского Севера // Вопр. языкознания, 1964, № 2, с. 64-83.

59. *Матвеев А.К.* Этимологизирование субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // Вопр. языкознания, 1976. — № 3. — С. 58-73.

60. *Мейе А.* Сравнительный метод в историческом языкознании. — М.: Изд-во иностр. лит., 1954. — 99 с.

61. *Меновщиков Г.А.* Алеутский язык // Языки народов СССР. — Л.: Наука, 1968. — Т. 5. — С. 386-406.

62. *Мечковская Н.Б.* Язык как исторически изменяющееся явление // Общее языкознание. — Минск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 335-421.

63. *Миллер Вс.* Язык осетин. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. — 190 с.

64. *Миронов С.А.* Энгельс и изучение истории нидерландского языка // Энгельс и языкознание. — М.: Наука, 1972. — С. 243-260.

65. Мокшанско-русский словарь. — М.: ГИС, 1949. — 359 с.

66. *Молданова С.П., Немысова Е.А., Ремезанова В.Н.* Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский. Ок. 4000 слов: Пособие для учащихся нач. шк. (на яз. казым. ханты). — Л.: Просвещение, 1983. — 286 с.

67. Основы финно-угорского языкознания: Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз. — М.: Наука, 1974. — 484 с.

68. *Пенгитов Н.Т.* Сопоставительная грамматика русского и марийского языков: Введение, фонетика, морфология. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1958. — Ч. I. — 175 с.

69. *Пименов В.В.* Вепсы: Очерк этн. истории и генезиса культуры. — М.; Л.: Наука, 1965. — 264 с.

70. *Попов А.И.* Названия народов СССР: Введ. в этнонимику. — Л.: Наука, 1973. — 170 с.

71. *Поспелов Б.М.* Материалы к топонимическому словарю Московской области // Проблемы восточнославянской топонимии. — М., 1979. — С. 124-136.

72. *Потапкин С.Г.* Краткая грамматика мокшанского языка // Мокшанско-русский словарь. — М.: ГИС, 1949. — С. 323-359.

73. *Редеи К., Эрдейи И.* Сравнительная лексика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.). — М.: Наука, 1974. — С. 397-438.

74. *Ромбандеева Е.И., Кузакова Е.А.* Словарь мансийско-русский и русско-мансийский. — Л.: Просвещение, 1982. — 360 с.

75. *Русанівський В.М.* Джерела розвитку східнослов'янських літературних мов. — Київ: Наук. думка, 1985. — 232 с.

76. Русская диалектология / Под ред. *Р.И.Аванесова, В.Г.Орловой.* — М.: Наука, 1964. — 306 с.

77. Русская диалектология / Под ред. *Н.А. Мещерского.* — М.: Высш. шк., 1972. — 302 с.

78. *Русская Ю.Н.* Самоучитель хантыйского языка. — Л., 1961.

79. Русско-еврейский (идиш) словарь. — М.: Рус. яз., 1984. — 720 с.

80. *Свиньин П.* Краткая записка о древностях, найденных близ Галича // Русский исторический сборник. — М., 1837. — Т. I. — Кн. I. — С. 102-105.

81. *Селищев А.М.* Полабские славяне // *Селищев А.М.* Славянское языкознание — М., 1941. — Т. 1. — С. 417—448.

82. *Семенов Т.* К вопросу о родстве и связи мери с черемисами // Тр. VII археол. съезда в Ярославле 1887. — М., 1891. — Т. 2. — С. 228-258.

83. *Серебренников Б.А.* О некоторых косвенных данных, свидетельствующих о древних юго-западных границах народа коми // Зап. Удм. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Совете Министров Удм. АССР, 1957. — Вып. 18. — С. 141-144.

84. *Серебренников Б.А.* Историческая морфология пермских языков. — М.: Наука, 1963. — 391 с.

85. *Серебренников Б.А.* Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках. — М.: Наука, 1964. — 183 с.

86. *Серебренников Б.А.* О гидронимических формантах *-ньга, -юга, -уга, -юг* // СФУ, 1966. — № I. — С. 59-66.

87. *Серебренников Б.А.* Историческая морфология мордовских языков. — М.: Наука, 1967. — 262 с.

88. *Серебренников Б.А.* О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике русского Севера // СФУ, 1967. — № 3. — С. 199-205.

89. *Серебренников Б.А.* Происхождение марийского народа по данным языка // Происхождение марийского народа: (материалы науч. сес., провед. Мар. НИИ, 23-25 дек. 1965 г.). — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1967. — С. 165-180.

90. *Смирнов А.П.* Археологические памятники на территории Марийской АССР и их место в материальной культуре Поволжья. — Козьмодемьянск: Мар. кн. изд-во, 1948. — 192 с.

91. *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна Оки: Список рек и озер. — М.: Наука, 1976. — 404 с.

92. *Смолицкая Г.П.* О типе словарной статьи в топонимическом словаре Московской области // Проблемы восточнославянской топонимики. — М., 1979. — С. 76-88.

93. *Стеблин-Каменский М.И.* История скандинавских языков. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. — 340 с.

94. *Терешкин Н.И.* Словарь восточно-хантыйских диалектов. — Л.: Наука, 1981. — 544с.

95. *Террачини Б.* Субстрат // Современное итальянское языкознание. — М.: 1971. — С. 17-55.

96. *Титов А.А.* «Велесово дворище» и легенда о жреце Киче. — М., 1887. — 16 с.

97. *Ткаченко О.Б.* Питания мовного розвитку і мовної спадковості // Мовознавство, 1975. — № 4. — С. 158-175.

98. *Ткаченко О.Б.* Одна общая семантико-фразеологическая изоглосса финно-угорских и русского языков: К вопросу финно-угорского субстрата в русском языке // СФУ, 1976. — № 4. — С. 245-253.

99. *Ткаченко О.Б.* Некоторые вопросы исследования финно-угорского субстрата в русском языке // Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязи и с языками и литературами народов СССР: Тез. докл. Всесоюз. науч. совещ. финно-угроведов, 27—30 окт. 1977 г. — Ужгород: Изд-во Ужгород, ун-та, 1977. — С. 75—76.

100. *Ткаченко О.Б.* К исследованию финно-угорского субстрата в русском языке // СФУ, 1978. — № 3. — С. 204-210.

101. *Ткаченко О.Б.* Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. — Киев: Наук. думка, 1979. — 298 с.

102. *Ткаченко О.Б.* Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков: АДД. Автореф. — Л., 1982. — 45 с.

103. *Ткаченко О.Б.* Merjanica. Фрагменты мерянской глагольной системы: Спрягаемые формы // СФУ, 1983. — № 2. — С. 105-111.

104. *Ткаченко О.Б.* Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов // Доп. IX Міжнар. з"їзду славістів: Слов. мовознавство. — Київ: Наук. думка, 1983. — С. 220-237.

105. *Ткаченко О.Б.* Мерянский язык. — Киев: Наук. думка, 1985. — 207 с.

106. *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — 270 с.

107. *Третьяков П.Н.* Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. — М.; Л.: Наука, 1966. — 308 с.

108. *Третьяков П.Н. У* истоков древнерусской народности. — Л.: Наука, 1970. — 156 с.

109. *Фалькович Э.* О языке идиш // Русско-еврейский (идиш) словарь. — М.: Рус. яз., 1984. — С. 666—715.

110. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка (Пер. с нем. и доп. *О.Н.Трубачева*). — М.: Прогресс, 1964—1973. — Т. 1-4.

111. *Фаукес Р.* Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата // Новое в лингвистике. — 1972. — Вып. 6. — С. 333-343.

112. *Феоктистов А.П.* Русско-мордовский словарь: Из истории отечественной лексикографии. — М.: Наука, 1971. — 371 с.

113. *Феоктистов А.П.* Мордовские языки // Основы финно-угорского языкознания: Прибалт.-фин., саам. и морд. яз. — М.: Наука, 1975. — С. 248-345.

114. Финско-русский словарь. — М.: Рус. яз., 1975. — 815 с.

115. *Фрингс Т.* Энгельс как филолог // Немецкая диалектография. — М.: Изд-во иностр. лит., 1955. — С. 220—223.

116. *Хакулинен Л.* Развитие и структура финского языка. — М.: Изд-во иностр. лит., 1953-1955. — Ч. 1-2. — 311 с.; 292 с.

117. *Халипов С.Г.* Что значит Москва // СФУ, 1984. — № 2. — С. 129-131.

118. *Ходаковский Д.* Пути сообщения в древней Руси // Русский исторический сборник. — М., 1837. — Т. I. — Кн. I. — С. 20-45.

119. *Чернецов В.Н., Чернецова И.Я.* Краткий мансийско-русский словарь с приложением грамматического очерка. — М.-Л.: Учпедгиз, 1936. — 115 с.

120. *Шестаков П.Д.* Родственна ли меря вогулам? — Изв. Каз. ун-та, 1873. — № 1. — С. 151-183.

121. *Энгельс Ф.* Франкский диалект. — М.: Партиздат, 1935. — 144 с.

122. Эрзянско-русский словарь. — М.: ГИС, 1949. — 292 с.

123. Этимологический словарь славянских языков: Прасл. лекс. фонд. — М.: Наука, 1974-1983. — Вып. 1-10.

124. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára k. 1-3. — Budapest: Akad. kiadó, 1967-1976.

125. A magyar szókészlet finnugor elemei etimológiai szótár. — Budapest: Akad. kiadó, 1967-1978. — 727 l.

126. *Ascoli G.I.* Una lettera glottologica. — Torino, 1881. — 71 p.

127. *Brückner A.* Powstanie i rozwój języka literackiego // *Brückner A.* Początki i rozwój języka polskiego: Wybór prac / Pod red. *M. Karasia*. — Warszawa: 1974. — S. 73-106.

128. *Castrén M.A.* Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845-1849. — SPb: Druck. Akad. Wiss. 1856. — X + 527 S. (Nordische Reisen und Forschungen Dr. M.A.Castrén / Hrsg. A.Schiefner. Bd 2).

129. *Collinder B.* Comparative Grammar of the Uralic Languages. — Stockholm: Almqvist och Wiksell, 1960. — 419 p.

130. *Dauzat A.* Dictionnaire étymologique de la langue française. — Paris: Librairie Larousse, s. a. — XXXVII. — 824 p.

131. *Dauzat A.* L'Europe linguistique. — Paris: Payot, 1953. — 236 p.

132. *Décsy Gy.* Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. — Wiesbaden: Harrassowitz, 1965. — 251 S.

133. *Delattre P.* German phonetics between English and French // Linguistics. — 1964. — 8. — P. 43-55.

134. *Ernits E.* Votoj kaj iĵoroj // Amikeco, 48 k. — Riga; Tallin, 1982. — P. 13-15.

135. *Gamillscheg E.* Über Lautsubstitution // Zeitschrift für romanische Philologie. — 1911. — H. 27. — S. 180—192.

136. *Ginneken van J.J.* Die Erblichkeit der Lautgesetze // Indogermanische Forschungen. — 1927. — Bd. 45. — S. 1-44.

137. Istoria limbii române. — Bucureşti: Ed. Acad. RSR, 1969. — Vol. 2. — 464 p.

138. *Kalima J.* Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. — Helsinki: Société Finno-ougrienne, 1919. — 265 S. — (MSFOu; Bd 44).

139. *Kask A.* Eesti keele ajalooline grammatika: Häälikulugu. — Tartu: Tartu Riiklik Ulikool, 1972. — 177 lk. — (Tartu Riiklik Ülikool / Eesti keele kateeder).

140. *Kiparsky V.* Russische historische Grammatik. — Heidelberg: C. Winter — Universitätsverlag, 1963. — Bd. l. — 171 S.

141. *Kloss H.* Prefatory Notes: Core Problems and Marginal Problems // Description and Measurement of Bilingualism: an Intern. Seminar Univ. of Moncton, June 6-14. — Toronto, 1969. — P. 302—307.

142. *Kniezsa I.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai. — Budapest: Akad. kiadó, 1973. — 1044 l.

143. *Lehtisalo T.* Über die primären ururalischen Ableitungssuffixe. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1936. — 399 s. (MSFOu; 72).

144. *Lewy E.* Zur Sprache des alten Goethe: Ein Versuch Über die Sprache des Einzelnen (1913) // *Lewy E.* Kleine Schriften. — Berlin: Akademie — Verlag, 1961. — S. 91-105.

145. *Lewy E.* Die Sprache des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentierung (1930—1931) / *Lewy E.* Kleine Schriften. — Berlin: Akademie — Verlag, 1961a. — S. 106-112.

146. Magyar értelmező kéziszótár. — Budapest: Akad. kiadó, 1975. — 1550 l.

147. *Mägiste J.* Merjalaisten kansallisuusnimi ja merjalaisprobleemi. — Virittäjä, 1966. — N 1. — S. 114-120.

148. *Pogodin A.* Was ist Merja? — MSFOu, 1933, t. 67, S. 323-331. (Liber semisaecularis Societatis Fenno-Ugricae).

149. *Ravila P.* Polemik: Merja und Tscheremissen // FUF Anz., 1940. — Bd. 26. — S. 19-26.

150. *Reichenkron G.* Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen) – Heidelberg: Winter – Verlag, 1966. – 227 S.

151. *Roos T., Tamm I.* Puhutteko suomea? – Tallinn: Valgus, 1981. – 311 lk.

152. *Rudzīte M.* Latviešu dialektoloģija. – Rīgā: Latvijas valsts izdevniecība. – 1964. – 432 lp.

153. *Schönfelder K.-H.* Probleme der Völker- und Sprachmischung. – Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag, 1956. – 80 S.

154. *Szober S.* Pochodzenie i rozwój polskiego języka literackiego // *Szober S.* Wybór pism. – Warszawa: PWN, 1959. – S. 75-97.

155. *Stipa G.* Zur Frage des mordwinischen Substrats im Südgroßrussischen // Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1973. – S. 380-389. (MSFOu; Bd 150).

156. Suomen kielen etymologinen sanakirja. – Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura – (Lexica Societatis Fenno-Ugricae: n. I-VI). – 1898 s.

157. *Tkačenko O.* Probleme der Rekonstruktion des Merjanischen // Rmpt.: Шестой международный конгресс финно-угроведов (Сыктывкар, июнь 1985 г.): Тезисы. – Сыктывкар, 1986. – С. 97.

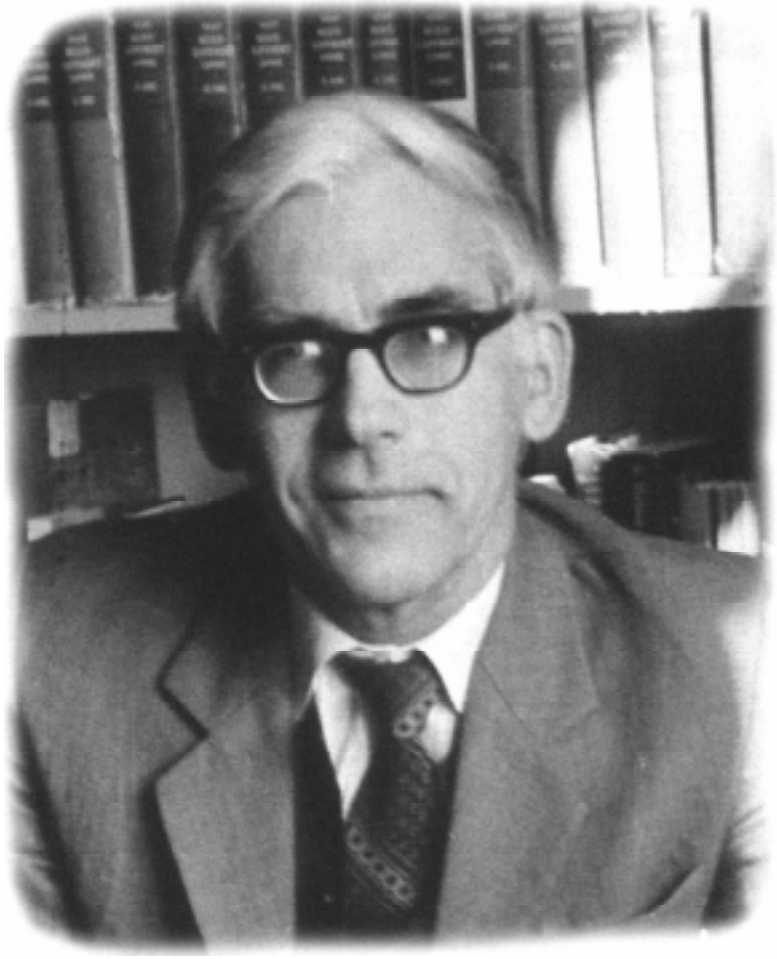
158. *Vasmer M.* Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. 3. Merja und Tscheremissen // *Vasmer M.* Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde / Hrsg. H. Bräuer. Berlin; Wiesbaden: Gruyter, 1971. Bd 1, S. 345-418.

159. *Veenker W.* Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen Sprache. – Bloomington; Hague: Mouton, 1967. – XV + 329 S. – (Ind. Univ. Publ. / Uralic and Altaic Ser.; Bd. 82).

160. Vene-eesti sõnaraamat. – Tallinn: Eesti riiklik kirjastus, 1953. – 636 lk.

Украшения костромской мери XI-XII вв.
[22, стр. 236]

Автор о языках и о себе



О ЯЗЫКАХ
(попытка некоторых личных и общих объяснений)

У читателей моих книг может невольно возникнуть вопрос, относящийся к автору: сколькими же языками он владеет? Им я и хочу ответить на этот вопрос, стараясь быть предельно честным. А попутно мне хочется поделиться своим опытом занятий языками. Пусть этот опыт во многом несовершенен и состоит не столько из проб, сколько из ошибок, но, может быть, он пригодится тем, кто желает заняться изучением языков, хотя бы для того, чтобы избежать ошибок и быть удачливыми в своих пробах (стремлениях).

Итак, начнём с ответа на вопрос о многочисленности языков и об умении языковедов (и конкретно меня как языковеда) оперировать большим количеством разнообразных языковых фактов. В мире, по приблизительным подсчётам, существует от 2500 до 5000 языков. Почему такое колоссальное расхождение в цифрах? Да потому, что подавляющее большинство языков мира — это языки бесписьменные, а в таком случае очень трудно определить всегда, идёт ли речь о близкородственных языках или просто о сильно разнящихся диалектах какого-то одного языка. К тому же, даже письменные фиксации того или иного идиома (так назовём языковое образование, неясное по своему статусу, язык это или диалект) ещё не говорят о том, что это обязательно язык. Ведь есть, кроме макроязыков (языков в полном смысле слова), и так называемые микроязыки, представляющие нечто среднее между диалектом и языком. Подобный микроязык можно назвать культивируемым (в определенных функциях) диалектом. А потом подобный микроязык может либо исчезнуть, будучи вытесненным макроязыком, близким к нему, либо, наоборот, стать полноценным макроязыком. Чтобы понять, о чём идёт речь, придётся привести несколько примеров. Вот, например, один из славянских микроязыков — кашубский, или поморский.

В прошлом носители этого языка занимали довольно обширную полосу вдоль южного побережья Балтийского моря, примерно от Гданьска на востоке до Щецина (в Польше) на западе. В это время у поморского (или кашубского) идиома были все шансы стать полноценным и полнофункциональным (макро)языком, таким, как русский, польский, чешский, сербский, болгарский. Однако историческая судьба была немилостива к поморянам (или кашубам). Подавляющее их большинство было германизировано, перешло на немецкий язык. Осталась только небольшая их часть на довольно узком пространстве, в основном на севере Польши, около городов Гданьск, Сопот, Гдыня и на несколько десятков километров к югу. К

тому же кашубские говоры очень неоднородны, особенно северные и южные. Пользуются ими в настоящее время около 300 тысяч человек, правда, на основе этих говоров сложился литературный кашубский язык. Сейчас этот язык воспринимается как один из диалектов польского языка, хотя и наиболее отличающийся от него: он противостоит как поморский всем остальным диалектам польского языка (великопольскому, малопольскому, мазовецкому и силезскому), которые называются континентальными. Кашубский микроязык имеет даже свои особые звуки, обозначаемые особыми буквами, отсутствующими в польском языке. Этим языком пользуются как разговорным, на нём создается (и записывается) фольклор, пишутся литературные произведения. Газета «Kaszëbë» (по-польски «Kaszubi») печатает свои материалы по-польски и по-кашубски. Но на этом языке не ведётся преподавание в школах кашубского региона, на нём не пишутся научные работы (даже о кашубском языке), на него не переводят с других языков. Во всех этих случаях кашубов обслуживает польский язык. Ниже, чем у польского, и социальный статус кашубского языка. Это язык преимущественно «домашнего обихода», в официальных учреждениях, особенно вне своего региона, кашубы пользуются польским языком. Кашубы не хотят и не могут расстаться со своим собственным малым языком, но в то же время для широких функций, связи с миром, они пользуются наиболее близким для себя большим польским языком. Поэтому кашубская интеллигенция, кроме той её части, которая связала себя с творчеством на кашубском микроязыке, преимущественно пользуется польским (макро) языком. Основными носителями кашубского (микро) языка остаются крестьяне, рыбаки, ремесленники-надомники, занятые изготовлением ценимых предметов народного искусства.

Совсем не таков удел другого микроязыка, швейцарско-немецкого, сложившегося на основе алеманского диалекта немецкого языка. Швейцарско-немецкий очень сильно отличается от немецкого литературного языка. В отличие, однако, от кашубского, это общеразговорный язык Швейцарии с двумя ведущими вариантами, цюрихским и бернским (наиболее престижным считается первый). Немецким литературным языком немецкоязычные швейцарцы пользуются в литературном творчестве (хотя много пишут и на швейцарско-немецком), на нём же в основном ведётся и радиовещание (впрочем, и оно остаётся-таки не без участия швейцарско-немецкого), но между собой в разговоре швейцарцы (немецкоязычные) предпочитают пользоваться швейцарско-немецким языком, причём независимо от их ранга. Профессор в аудитории читает лекцию, допустим, по атомной физике на литературном немецком языке, но, выйдя в коридор на перемене, те же проблемы со студентами будет обсуждать на швейцарско-немецком. Поэтому иностранец, особенно долго живущий в Швейцарии, вынужден знать швейцарско-немецкий. И в силу этого в Швейцарии на литературном немецком языке пишутся и издаются самоучители и грамматики швейцарско-немецкого языка. Язык этот остро практически необходим. Он, в сущности, уже очень приблизился к статусу настоящего макроязыка, правда, ещё только в основе разговорного, но зато общенародного и, если можно так выразиться, общеклассового, то есть на нём в немецкой части Швейцарии говорят все швейцарцы, — и какой-нибудь скромный крестьянин низшего образовательного ценза, и профессор, и самый убогий бедняк, и преуспевающий бизнесмен. От немецкого литературного языка швейцарские немцы все же не отказываются, потому что этот язык связывает их с другими немецкоязычными странами — ФРГ, Австрией, Лихтенштейном, Люксембургом и даже с миром, потому что немецкий язык как один из мировых известен и вне пределов этих стран, например, в Бельгии, Нидерландах, Скандинавских странах. Но в то же время, в Швейцарии в качестве разговорного и языка местной литературы у них в большом ходу швейцарско-немецкий, а это, в свою очередь, наложило определенный отпечаток и на тот литературный общенемецкий язык, которым там пользуются: есть особый швейцарский вариант общенемецкого литературного языка со своими специфическими словами и оборотами.

Здесь пришлось много сказать о микроязыках для того, чтобы стала понятна общая закономерность языковой жизни мира.

В языковой жизни мира происходят беспрерывные изменения: одни языки полностью или почти полностью вытесняются (полностью вымер, например, древнеегипетский язык, а вот латынь, хоть и стала мёртвой, все еще, пусть ограниченно, употребляется, а потому и изучается), а другие возникают. И очень часто из бывших микроязыков. Так, с 1943-его года среди славянских языков появился новый македонский язык, длительное время считавшийся всего лишь диалектом болгарского. В Испании общепризнан в качестве отдельного литературного языка галисийский, который до того считали диалектом португальского. Среди германских языков в последнее время заявил о себе фризский язык, распространенный в основном в Нидерландах. Есть и случаи воскрешения языков. Так, не позже, чем в 6-ом веке нашей эры, а возможно, и значительно раньше, в 1-ом или 2-ом, вышел полностью из употребления, как бытовой разговорный язык, иврит (менее точное его название – древнееврейский). Со второй половины 19-ого века этот язык возрожден как разговорный, и в настоящее время в Израиле им пользуются как полноценным живым языком около 4 млн. человек. Причиной этого подлинного лингвистического чуда воскрешения языка, бывшего в состоянии мертвого около 2 тысяч лет, является то, что евреи сделали этот язык для себя священным и как таковой сохраняли его знание на протяжении этих тысячелетий, на нем молились, на нем читали свои священные книги, хотя и ограниченно пользовались им как общееврейским языком при общении евреев, живших в разных странах, например, в Германии и Аравии, Испании и Таджикистане. Вот эта привязанность к своему языку как к величайшему культурному духовному сокровищу и позволила языку сохраниться, а когда возникли благоприятные условия – и воскреснуть.

Но мы далеко отошли (а может, и наоборот, приблизились) от вопроса о множественности языков и от владения ими. А для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, сразу же зададим себе другой вопрос, более конкретный, о каком овладении идет речь.

Один из известнейших русских языковедов Л.В.Щерба в своей книге «Как изучать иностранные языки» (название ее привожу по памяти, поэтому, возможно, не совсем точно) – кстати, до сих пор удивляюсь, почему эту крайне важную книгу, изданную, насколько помню, в 1923 или 1924-ом году, до сих пор не переиздали* – говорит, что прежде, чем браться за изучение того или иного языка, надо задать себе вопрос: для чего я хочу изучить данный язык? Нужно ли это мне для туристической поездки, для чтения литературы на данном языке или, может быть, для теоретической работы, связанной с языками. От этого зависит и уровень знаний, связанных с тем или иным языком. Если язык Вам нужен для кратковременной поездки и потребностей бытового общения, Вам достаточно умения правильно (понятно) произносить звуки нужного Вам языка, элементарного знакомства с основами его грамматики и набора наиболее важных фраз. Если Вы собираетесь читать на определённом языке, здесь уже нужны более основательные знания и прочтение хотя бы одной книги специальной или/и художественной страниц не меньше ста, а то и нескольких сотен. Если, наконец, Вы нуждаетесь в знании языка для научных разысканий, то здесь надо «набить себе руку» (а может быть, и язык) в изучении нескольких, желательно разных языков. Это позволит Вам буквально «на лету» ориентироваться в специфических чертах разных фонетик и грамматик и как пилоту во время слепого полета с помощью приборов, а не ориентировки по видимым предметам, благополучно пройти по всем лабиринтам даже незнакомых языков и не «разбиться», то есть не ошибиться в своих описаниях. Сошлюсь на свой пример, конечно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы объяснить суть вопроса. Когда я писал свою первую книгу, в которой вплотную подошёл к проблеме мерянского языка (между прочим, вполне неожиданно для себя), я на теоретическом уровне более или менее был

* Эта брошюра, изданная в Москве в 1929 году, доступна в Интернете, например, по адресу: http://dmtr.nm.ru/scherba/ – *(прим. ред.)*

знаком с эрзя-мордовским языком (с которого начинал), с финским, венгерским и эстонским. То есть я знал эти языки чисто книжно: я на них не говорил, но более или менее много (или мало) читал, пробовал немного писать (маленькие поздравительные письма по-эрзянски) и, пожалуй, если было бы надо, я мог бы на них мысленно составить маленькие предложения, то есть очень медленно (мысленно) говорить. Это дало мне некоторую ориентацию в финно-угорских языках. Поэтому когда мне пришлось затем разбираться в карельских, ижорских, вепсских, водьских, ливских текстах, а я уже сталкивался с финским и эстонским языками (так же, как и с другими прибалтийско-финскими), то я уже мог более или менее грамотно в них разбираться. Это мне помогло и в работе над саамским языком. Знакомство с эрзя-мордовским помогло понять мокша-мордовский. Знакомство с мордовскими языками помогло разобраться в марийском, а затем и в пермских языках, удмуртском, коми-зырянском и коми-пермяцком. Дальше — больше, в хантыйском языке и самодийских языках мне помогли разобраться учебники, грамматики и словари, а частично и неоценимая помощь двух прекрасных знатоков этих языков, Юлии Николаевны Русской (специалиста по хантыйскому языку) и Наталии Митрофановны Терещенко (прекрасного специалиста в области самодийских языков, прежде всего ненецкого). Обе эти замечательные женщины, ленинградки, бескорыстно поделились со мной обширными знаниями в области своих языков, редких и очень важных для глубокого понимания, например, венгерского языка. Я, конечно, мог усвоить только крупицу их знаний, но даже знание этой крупицы мне очень помогло. Обеих, к сожалению, уже давно нет, но память о них меня будет вечно сопровождать.

Знакомство с хантыйским (и венгерским) помогло разобраться в мансийском, особенно близком из обско-угорских к венгерскому. Все время, конечно, когда я писал обо всех этих языках, бесконечно проверяя себя по грамматикам, учебникам и словарям, у меня было ощущение ходьбы по зыбкому болоту... На кафедре общего языкознания Ленинградского (теперь уже Санкт-Петербургского) университета, куда я подал для защиты свою диссертацию, тоже её приняли не без некоторого сомнения: всё же славист, и вдруг пишет о совершенно далёких языках. Где гарантия, что это не какой-то сплошной «бред собачий»? Хотя прямо этого, конечно, мне никто не сказал, но я прекрасно понимал настроение коллег. Я бы и сам на их месте засомневался... И вот при этом, конечно, огромной моральной поддержкой для меня самого и наиболее весомым аргументом для петербургских учёных был письменный отзыв профессора Пауля Алвре из Эстонии (ныне академика Финской академии наук). Этот крупнейший финно-угровед в своём отзыве написал примерно так (цитирую по памяти), что он как финно-угровед особенно внимательно отнёсся ко всему тому, что О.Б.Ткаченко пишет о финно-угорских языках и, после тщательного анализа, находит, что все их факты изложены вполне корректно.

Лучшей похвалы своему «слепому полету» я не мог ожидать, и петербургские коллеги после этого тоже вполне серьезно отнеслись к моей работе: как-никак, отзыв исходил от вполне авторитетного специалиста. Несомненно расположило их в мою пользу и то, что оппонентом работы согласился стать академик Эстонской ССР, профессор Пауль Аристэ, с которым приехал профессор Пауль Алвре и профессор Вальдек Палль (из Эстонии). От тогдашнего Ленинградского университета в ученый совет была введена проф. З.М.Дубровина, написавшая докторскую диссертацию по очень нелегкому вопросу финской грамматики, об инфинитиве финского языка (там это сложнейшая категория: инфинитивов четыре, в каждом не менее двух, а то и больше падежей, с помощью которых передается содержание целых придаточных предложений). Именно эти светила финно-угристики меня и «крестили», и благословили на тернистый путь финно-угроведа, которым я (совершенно неожиданно для себя) стал, да ещё и доктором... И вот, чтобы не выглядеть «самозванцем», я и вынужден теперь параллельно со своей основной работой стремиться изучить (в условиях Киева, вдали от финно-угорских земель) финно-угорские языки, хотя бы часть из них

(причем на старости лет, когда уже и память не та)...

И здесь я подхожу к фатальному для каждого языковеда вопросу, знанию языков.

Есть два типа их знания. Полиглотизм и более скромное ограниченное, главным образом, теоретическое их знание. Правда, есть и редкое сочетание теоретической глубины и полиглотизма. Очевидно, резкой границы провести между ними нельзя... Но все же постараюсь ее провести, приведя два наиболее разительных примера.

Был классический пример великолепного полиглота, кардинал Меццофанти. Говорят, что этот кардинал знал не то 100, не то 150 языков. Русскому языку он научился от Н.В.Гоголя, жившего в то время вместе с кардиналом в Риме. Говорят, что он быстро усваивал несколько слов и беспрерывно их повторял: например, «На мне большая белая шляпа», «Я вижу большую белую шляпу», «У меня нет большой белой шляпы» и т.д. Общаясь с Гоголем в течение двух-трех недель, он довольно сносно научился по-русски говорить и даже на прощание написал ему маленькое стихотворение по-русски. Итак, это настоящее светило полиглотизма, но в мировой лингвистике он не оставил никакого следа, не написал ни одного труда, монографии или хотя бы учебника, где бы осветил свой опыт изучения языков.

Другой пример: Хуго Шухардт — крупнейший австрийский языковед, один из столпов языкознания. Но на вопрос: «Welche Sprachen kennen sie?»- «Какие языки Вы знаете?» — он скромно ответил: «Ich kenne kaum die eigene» — «Я едва ли знаю свой собственный (язык)», т.е. немецкий.

Правда, Шухардт «преувеличил»: он знал, кроме немецкого, и классические языки, и был знаком с венгерским, и знакомился с баскским... Но значит ли, что в своем ответе он покривил душой? Совсем нет. Ведь еще Вольтер как-то сказал: «Языки Европы в основном так близки друг к другу, что можно без особого труда их изучить и ими пользоваться. Но свой родной язык мы учим всю жизнь, и все же так до конца его и не можем усвоить». Это изречение только с первого взгляда парадоксально. Как и утверждение Шухардта. Да, поверхностно можно усвоить много языков. Но для того, чтобы усвоить какой-то язык во всем объёме, не хватит и жизни. Каждый из нас усваивает только какой-то кусочек даже родного, своего языка...

Но чтобы познать его во всем объёме, надо, очевидно, быть не меньше, чем Господом Богом. Ведь язык – это вся вселенная. Попробуйте-ка усвоить все термины всех наук, искусств и ремесел, названия всех трав, птиц и всех насекомых. Да никогда. Каждый знает только слова общеразговорного и литературно-книжного языка (причем нередко и их неточно) плюс терминологию и лексику своей специальности (тоже зачастую далеко не в полном объеме)... А кроме того, что значит знать свой язык? Это уметь всё в нем объяснить, но ведь это огромный труд: в языке мы многое употребляем интуитивно, и часто, задай нам иностранец простой вопрос, почему, допустим, в русском принято говорить так, а не иначе, мы станем в тупик и скажем только: «Да, это логично, но почему-то так не говорят...». Но разве это ответ? Например, по-русски говорят: ты очутишься, он очутится, — но вот уже в 1-м лице надо сказать — я окажусь, потому что ни «очуччусь», ни «очутюсь» здесь вряд ли «возможны»... А почему так, мы не объясним: разве скажем, что это что-то вроде латинских verba defectiva (недостаточных глаголов)... Часто поэтому нас поражают дети своей логичностью: ведь они учат язык (как иностранцы) и задают иногда любопытные вопросы, например: «Почему из ружья стреляют, а не пуляют?» или «Почему огромные два колеса с толстой осью посредине, на которую наматывают проволоку, называют катушка, а не катуша? Ведь катушка — это что-то маленькое».

Вот почему уже упоминаемый мною профессор Пауль Аристэ (к сожалению, тоже давно умерший), которого считали полиглотом, высказался о полиглотизме довольно скептически. Сам он в разной степени знал, как считают, 40 языков, но сказал так: «Я скептик в отношении людей, считающихся полиглотами. Пессимист и скептик потому, что знания многих языков у одного человека все же ограничены. Когда речь идет об усвоении многих языков при ограниченности извилин коры головного мозга,

то усвоение этих языков не может быть настолько глубоким, как когда речь идет об одном или двух-трёх языках». И академик чистосердечно (и вполне самокритично) признаётся, что даже в отношении тех четырёх языков, в которых он сам считал себя наиболее сильным, в эстонском, финском, немецком и шведском, у него нередко бывали «проколы». Немцы поражались его беглой немецкой речью, но нередко спрашивали, из какой он местности родом. Финны считали его финский язык несколько архаичным (или искусственным): дело в том, что финский разговорный язык, действительно, нередко сильно отличается от литературно-книжного. Что-то не устраивало и шведов. И даже в эстонском языке (родном языке академика), к его большому огорчению как носителя литературного языка, при фонетической записи были замечены явные восточно-эстонские диалектные черты... а что уж говорить о простых смертных, когда такие оплошности встречаются у лингвистов с мировым именем?

И вот ещё пример другого полиглота. К сожалению, запамятовал его имя и отчество (и даже инициалы). Речь идет о профессоре Зализняке (из Москвы)*. Мне рассказывали, что он довольно быстро усвоил арабский язык (но, видимо, так же быстро его и забыл), и поэтому, когда коллеги, памятуя о его знании арабского, хотели его познакомить и свести для разговора с каким-то арабом, он страшно перепугался и долго старательно прятался от этого араба по каким-то институтским (очевидно, Института языкознания) закоулкам, так как язык — это беспрерывное повторение. Если не говорить или (по крайней мере) постоянно не читать на языке, можно его полностью забыть, даже если когда-то этот язык был собственным родным языком.

Мне как-то запомнился рассказ об одной русской девушке, вышедшей замуж за австрийца и уехавшей с ним в Австрию задолго до 1-ой мировой войны. Очевидно, ей было тогда не меньше, чем 18 лет, но когда в 1945-ом году русские солдаты попали в местность, где она жила, она настолько основательно забыла русский язык, что не могла с ними разговаривать. Думаю, что ей, во-первых, в течение каких-то 50, а то и больше лет не с кем было говорить по-русски, во-вторых, попав в немецкое окружение, она старалась изо всех сил, чтобы ее не воспринимали как чужую, и поэтому все ее силы ушли не на то, чтобы не забыть русский, а чтобы как можно более совершенно овладеть немецким (и поэтому немецкий язык из нее усиленно «выбивал» русский), и, в-третьих, выйдя замуж за австрийца, она поменяла вероисповедание, стала римо-католичкой, а следовательно, не ходила в русскую церковь, не слышала ни церковнославянского языка, ни проповеди на русском языке, а только латынь и немецкую проповедь, а в-четвертых, она не читала по-русски (может быть, не любила читать, а может быть, сознательно стремясь себя «онемечить»), и вот Вам результат — полное забвение своего языка.

А теперь перейдём к моим языкам. В сущности, от всего их «богатства» осталось очень мало. Почему? Да по той же причине, что и у профессора Зализняка. Я учил их очень много, но теперь, когда речь идёт о том, чтобы их не забыть, я должен этим пренебречь. Чтобы их все не забыть, я должен был бы день-деньской только тем и заниматься, что все их повторять и, в конечном счете, или — в лучшем случае — в голове образовалась бы какая-то каша, особенно из родственных языков или — в худшем случае — закончилось бы или инсультом, или инфарктом. Поэтому я вынужден сознательно перестать ими заниматься, то есть постепенно их забывать. Очень жаль, но ничего не поделаешь... Но был ли тогда смысл вообще их учить? Считаю, что был. Всё-таки мои улетучивающиеся знания даром не пропали. Кое-что основное задержалось в голове. Выработалась определенная «хватка», интуитивное умение оперировать разнообразным языковым материалом, умение догадываться по внешнему облику слов, откуда то или иное слово: отсутствие скопления согласных в начале слова, определенная «монотонность» гласных, ударение на конце слова... Ага, тюркское?.. in вместо союза i, že вместо «уже», še вместо «ещё» —

* Биографические данные об Андрее Анатольевиче Зализняке см. в Интернете: http://hp.iitp.ru/koi/34/3423.htm — *(прим. ред.)*

словенский текст?.. И очень часто «попадание в яблочко».

Однако жизнь требует самого жесткого самоограничения, и я вынужден, кроме 1) украинского, 2) русского и 3) мерянского, — который исследую, а не изучаю, — ограничить себя ежедневным изучением 1) венгерского и 2) английского и еженедельным, — чтобы не забыть, — чтением на 3) польском, 4) немецком и 5) эстонском языках[1]. В качестве изучаемого нерегулярно я еще оставил эрзянский (эрзя-мордовский) язык. Финским временно бросил заниматься, чтобы не путать его с эстонским. Если бы меня спросили, какой ещё язык я хотел бы изучать, я бы сказал: иврит. И не потому, что я еврей, хотя я, не будучи евреем, а соединением двух стихий, украинской и русской, глубоко уважаю этот народ за его поразительную языковую стойкость... Но, конечно, я не фантазёр. И, отдавая себе отчёт в том, что для меня это абсолютно нереально, ограничился тем, что прочёл в подлиннике и подробно разобрался только в одном тексте на иврите. Это известный псалом 136 (137) «На реках Вавилонских (или: Вавилона) там мы сидели и плакали, вспоминая Сион...». Мне кажется, что именно в этом псалме квинтэссенция еврейской языковой и национальной стойкости, которой так не хватает украинцам, и поэтому стоит именно с этим текстом познакомиться. Что касается остальных языков, то я ещё надеюсь вернуться (если доживу) к финскому (когда-то мечтал прочесть по-фински «Калевалу»)... А также к французскому и эсперанто. Оба эти языка я пока не учу (т.е. не читаю на них), т.к. считаю, что английский с его преизобилием слов романо-латинского происхождения не даст мне полностью забыть ни французский, ни эсперанто, этот самый легко усваиваемый и в то же время такой гармоничный язык.

Мне не хотелось бы объяснять свой выбор. Но все же вкратце попробую объяснить. Украинский язык — родной. Русский и польский — это языки двух самых мощных и, считаю, равновеликих славянских культур. Венгерский, финский, эстонский — языки трёх самых развитых финно-угорских культур. А эрзянский выдающийся русский финно-угровед Д.В.Бубрих (вместе с мокшанским) назвал финно-угорским санскритом. Тот, кто знает, какое огромное значение имеет санскрит для индоевропеистики, поймёт, что значит это сравнение. Кроме того, кое-кто из эрзян меня почти уверил, что поскольку мои русские предки Косолаповы родом из бывшей Рязанской губернии, то скорее всего кто-то из них мог быть связан не с мерянами (меричами), а именно с эрзянами, ведь само название Рязань связывают с бывшим Эрзянь ош «Эрзянский город». Какое-то особое тяготение к эрзянскому языку во мне, возможно, и объясняется этим отдаленным зовом забытых предков.

Собственно, мое увлечение финно-угристикой началось от двух толчков. В детстве я прочитал, в русском переложении для детей, «Калевалу», и этот эпос меня очень к себе привлёк. А второй толчок произошёл во время советско-финской войны. Я тогда прочел в дореволюционном учебнике «Русская история» фразу: «Великорусы произошли от смешения южнорусов с финнами»[2].

Так как мой дед по матери Яков Иванович Косолапов был типичным великорусом, то я не мог не подумать: «Значит и во мне есть что-то финское». И дальнейшее увлечение финно-угристикой стало для меня как бы поиском своих наиболее глубоких русских корней, особенно для меня важным, потому что я рос на границе двух славянских культур, украинской и русской. Финно-угристика помогла понять своеобразие каждой, с их расхождением в основном по «отцовской» линии. Не будь этой личной заинтересованности, я вряд ли бы пошел по этому сложному пути.

Понимая, что эти финны, слившиеся с русскими (великорусами), исчезли, я задумал было поэму в стиле Лермонтова, которым тогда очень увлекался. Начиналась она с того,

[1] Кстати, эта языковая программа постоянно меняется. Сейчас, например, я вынужден из финно-угорских ограничить себя одним венгерским; так как появилась аспирантка с крымскотатарским, то я вынужден спешно знакомиться с... турецким языком.

[2] Несомненная неточность этого утверждения в том, что смешивались с финнами не южнорусы, а севернорусы.

что какой-то «последний из могикан» этих исчезнувших финнов мне (а скорее, герою поэмы) рассказывает о судьбе своего исчезнувшего племени. Действие должно было происходить где-то в Центральной России и почему-то (так мне казалось) у озера Селигер. Поэма начиналась так:

Я эту песню услыхал
Не там, где плещет бурный вал,
Где не услышишь крик орлов,
Парящих между облаков...
Мне пел её старик седой,
От старости почти слепой,
Но чудо! Он, когда запел,
На много лет помолодел...

И на этом я и закончил. Ведь я тогда ничего не знал о таинственной Мере. Теперь, однако, когда я сам седой, и «от старости почти слепой», я уже мог бы продолжить поэму... Но вместо неё я написал свою «мерянскую трилогию», заменившую поэму.

Но я не закончил перечисление своих языков. Знание немецкого, английского и французского вполне понятно – это знание трёх самых важных западноевропейских языков. Эсперанто – самый перспективный из так называемых искусственных (а точнее – плановых) языков.

Он интересен по своему строению, сближающему его и с финно-угорскими, и с семитскими, и с китайским языком. А лексическая его основа также симпатична. Это – «третье дыхание латыни», основа лексики латино-романская.

А теперь от этих слишком обширных, может, тоже чем-то интересных языковых воспоминаний и рассказов я перейду к тому, чем хотел закончить. Это – те советы, которые сами собой напрашиваются и из моего личного опыта, и из опыта тех, кто много занимался изучением языков (имея в виду не их исследование, а усвоение).

Изучать языки полезно даже уже для того, чтобы лучше понять и познать свой язык. Кроме того, их изучение развивает гибкость ума, умение смотреть на мир не только «через одни очки». Кто-то сказал: сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек*.

Л.В.Щерба, о котором я упоминал, советовал изучить хотя бы два языка и особенно советовал это делать русским. Дело в том, что русский – один из мировых языков, а их носители отличаются нередко «языковой ленью». Раз язык распространён, значит, зачем учить другие языки. В частности, немного «навредил» здесь ещё В.В.Маяковский своим: «Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин...». И вот на этой почве, хотите верьте рассказанному, хотите нет... Для меня этот когда-то слышанный рассказ звучит, как анекдот, но говорят, нечто подобное когда-то действительно было... Короче говоря, картина следующая. Где-то в Каире среди прочих иностранцев-туристов была и одна наша генеральша. Заходят в магазин. Генеральша на русском языке что-то энергично говорит и спрашивает, обращаясь к продавцу, тот, естественно, в недоумении молчит, тараща на неё глаза и стараясь уразуметь, чего же требует от него эта симпатичная, непонятная леди... К генеральше тогда обращается сестра-славянка, словачка, поняв-шая её, и предлагает ей, что она, зная английский, лучше объяснит продавцу, что ей надо... И вдруг слышит в ответ: «Да пошли Вы знаете куда со своим английским... Я с ним говорю на языке великого Ленина...». Видимо, крепко, ещё со школьной скамьи, засела у неё в голове цитата из Маяковского, знакомая всем, кто учился в средней школе (вместе с изречением Ломоносова и одним из «Стихотворений в прозе» Тургенева). Спору, конечно, нет, что русский язык и прекрасен, и велик, прежде всего потому, что на нём писали и его совершенствовали прекрасные писатели, начиная с того же Ломоносова, Державина и Карамзина, кончая Чеховым и многими другими и великими, и выдающимися писателями, но при этом не следует забывать и о существовании других языков и культур, которые немало дали образцов для тех же русских писателей, совершенствовавших русский язык, как бы состязаясь с ними.

---

* Приписывается *(www.temadnya.ru/interview/28sep2001/599.html)* К.Марксу. – *Прим. ред.*
Есть и другое мнение: считают, что эти слова принадлежат Карлу V (1500-1558). – *Прим. автора.*

И именно поэтому Л.В.Щерба писал, что недостатком носителей русского языка является то, что им не хватает двуязычия. Впрочем, у дворянских русских писателей 18-ого – начала 19-ого века этого двуязычия было предостаточно: все они, как правило, великолепно знали французский язык: как известно, Татьяна Ларина писала Онегину письмо по-французски. Пушкин пишет, что русский текст ее письма — перевод с французского.

В этом отношении украинцы в лучшем положении: они, кроме украинского, знают, как правило, и русский, а те, которые в Западной Украине, часто ещё, кроме того, в Галиции и на Волыни — польский, на Буковине — румынский, в Закарпатье — венгерский, а часто и немецкий (или словацкий). А знание ещё одного языка делает более легким усвоение других языков. Поэтому в Чехии мне говорили, что им больше как переводчики нравились украинцы: у них в чешском языке и лучше произношение и более непринужденный беглый язык, чем у переводчиков-русских.

А что нужно, чтобы добиться успеха в изучении языков?

1) Я уже писал, что надо сразу же поставить перед собой вопрос: какой язык учить и с какой целью это делать?

2) Если взялся за язык, учить его надо, пусть понемногу, но каждый день, повиснуть на нём бульдожьей хваткой и не «отпускать», пока основательно его не выучишь, 15-30 минут каждый день всегда можно найти.

3) Очень важно найти хороший учебник. Быстро его проработать, а затем как можно скорей переходить к чтению.

4) Читать, конечно, можно и надо и специальную литературу, но, очевидно, или вместе с ней, или после неё надо как можно больше читать интересной художественной литературы: там богаче и разнообразнее язык, а интересный сюжет невольно привлечёт и заставит с увлечением читать.

5) Кроме чтения со словарём (которое тоже важно), можно практиковать и так называемое интуитивное чтение (по догадке), а чтобы не слишком «разлениться» и правильно понимать слова, стоит воспользоваться ещё проверкой по «противоположному» словарю: читаешь по-немецки — пользуешься не немецко-русским, а русско-немецким словарём, проверяя правильность догадки. Например, встретилось слово Wald, по смыслу текста вроде бы «лес». Так не заглядывай в немецко-русский словарь, а в русско-немецкий... Проверил себя: а как «лес» по-немецки? Der Wald... Прекрасно. Поставил себе мысленно «5» и пошел дальше. Полезно на продвинутой стадии пользоваться также толковыми словарями, где все слова объяснены на языке, который изучаешь, это сильно обогащает знание языка.

6) Я лично избегал и избегаю адаптированных текстов. Лучше были дореволюционные издания, где тексты не адаптировали, а давали в оригинальном виде, но с подробными объяснениями. Конечно, адаптированный текст читать проще, но и неинтересней. Прочёл книгу. Вопрос знакомого: «Какую?». И даже неудобно отвечать, потому что читал не Диккенса, а «по Диккенсу», не Марка Твена, а «по Марку Твену» и т.д. Лучше уж прочесть что-то маленькое, но оригинальное, а потом гордо говорить, что ты в оригинале прочёл какого-то известного английского или американского писателя. И так, естественно, будет и с немецким, и с французским.

7) Советую не читать переводы с русского на иностранные языки. Этот метод, может быть, и полезный, но невероятно скучный. Иностранный язык – это окно в новый неизвестный мир. Но какой мир нам откроет Чехов по-английски или Тургенев по-немецки. Однако это неплохой способ освежить забытый язык: можно читать бегло и почти без словаря.

8) Есть свои секреты и в уменье читать. Читать надо не в том порядке, как идут слова. Это себе можно позволить, только хорошо зная язык, или, наверно, на родственном языке (например, русскому по-польски или поляку по-русски). В незнакомом (неродственном) языке надо прежде всего найти сказуемое (глагол), подлежащее (существительное или местоимение), а потом, когда костяк предложения понят, разбираться уже во второстепенных членах предложения.

9) Очень важно хорошо усвоить грамматику (окончания), а также служебные слова (союзы, предлоги, частицы).

Вот, пожалуй, и всё основное, что хотелось сказать.

Написалось и так много (наверно, слишком много) потому, что язык (и языки) — очень сложная вещь.

Но прежде всего надо помнить, что язык — это средство познания культуры. Чем богаче культура, тем и интересней, и важней язык, на котором она создана.

И ещё одно. С какого иностранного языка начинать? Если речь идет о трёх основных европейских, то раньше начинали с немецкого и французского, а заканчивали английским. Лексически английский связан и с тем, и с другим, и тот, кто знает эти оба языка, без особого труда усвоит английский. Сложность будет только с произношением. Но теперь во главу угла поставлен английский. Значит, с него есть смысл и начинать. Однако при этом надо помнить, что начинаешь с самого лёгкого. Грамматически, пожалуй, и французский, а особенно немецкий гораздо сложней. Л.В.Щерба советовал изучить как минимум два иностранных языка. Вот и выбирайте, какой язык для Вас наиболее важен (наряду с английским), пусть он и во много раз труднее английского. И ещё о так называемой красоте языков, понятии очень субъективном.

Студентам я это популярно объяснял так. Во французском есть сила красоты. А в немецком и английском присутствует красота силы. Это в чём-то как сравнение двух тел, женского и мужского. В женском нас пленит грация, нежность, мягкость, т.е. красота, и в этой красоте сила женщины. Она этим побеждает и бросает к своим ногам самого мощного мужчину. Но есть и красота в силе мужского тела. Разве по-своему не прекрасно тело борца, атлета, боксёра своими мускулами, гармоничностью телосложения, его упругостью?

Итальянский, французский, румынский – это сыновья золотой латыни, жёсткого и мужественного языка, в котором слышится чеканный шаг римских легионов, но который под пером Катулла, Овидия и Горация оказался способным нас очаровать и своей нежностью, — в романских языках много женского очарования. Много мягкости, нежности, звонкости, хотя временами, когда надо, в них слышится и торжественная бронза латыни (например, терцины Данте).

Немецкий и английский – это языки воинов, сухопутных или морских. В них много упругости и мускулистости. Но когда надо, и они не лишены нежности.

Например, когда читаешь песню рыбака из «Вильгельма Телля» Ф.Шиллера, то этот стих прямо-таки ласкает ухо (значит, всё дело в мастерстве поэта):

Es lächelt der See, er ladet zum Bade.
Der Knabe schlief ein am grünen Gestade…

Подстрочный (почти буквальный) перевод:

Улыбается озеро, оно приглашает (зовёт) купаться (к купанью).
Мальчик уснул у зелёного берега…

Русский перевод Тютчева, напротив, просто рычит:

С озера веет прохлада и нега,
Отрок уснул, убаюкан у брега…

У Шиллера слышится плеск волны, у Тютчева слышим, как сильно тарахтят прибрежные камешки, оркестровка совсем не та. (А ведь Тютчев — прекрасный поэт и превосходно знал немецкий язык).

А в общем, каждый язык по-своему неповторим и прекрасен. Необходимо только мастерство писателя, которое скрасит шероховатости, неизбежные в каждом языке, и покажет в нём только прекрасное…

Но правы и те, которые говорят, что дороже всего каждому человеку и милее всего родной язык: «Каждый кулик свое болото хвалит».

Мой разговор, как и тема, не имеет конца. Поэтому я его лучше закончу не точкой, а многоточием… (У кого есть за душой, что к этому добавить, пусть продолжит и закончит эту песню о языке и языках).

У А.Мицкевича поэма «Конрад Валленрод», начало которой, «Вступление», перевел Пушкин (друживший с Мицкевичем), заканчивается словами:

Taka pieśń moja o Aldony losach.
Niechaj ją anioł harmonii w niebiosach,
A czuły słuchacz w duszy swej dośpiewa.

(Такова (такая) песня моя о Альдоны судьбах. *(Альдона – героиня поэмы)*. Пусть её ангел гармонии в небесах, а чуткий слушатель в душе своей допоёт).

Именно это я имел в виду, пиша (как бы сказал Л.Толстой) о недопетой песне.

Написано было вроде бы предостаточно, но многие, тем не менее, обвинят меня в том, что я ушёл от прямого ответа, какие же языки я всё же знаю и в какой степени.

Постараюсь ответить как можно точнее. Практически я владею 4-мя языками:

1) украинский;
2) русский;
3) польский;
4) немецкий.

Первые два в постоянной работе, а со вторыми двумя хуже: их постоянно приходится поддерживать, т.е. стараться на них читать (за неимением среды), правда, при случае я могу на них довольно свободно говорить. На польском, понятно, лучше, на немецком хуже. Плохо воспринимаю быструю и слишком «разговорную» немецкую речь, ведь там масса своих слов и выражений типа русских «доходяга», «его ушли» и прочего, которое почти не встречается в словарях (есть, правда, хороший словарь разговорного немецкого языка Девкина, но ведь немецкий идет в своем развитии семимильными шагами и за ним не угонишься).

Довольно свободно я читаю по-французски, т.е. могу читать даже без словаря и в основном понимать почти любые современные тексты.

С английским хуже: довольно ещё много для меня непонятных слов и особенно выражений. Кроме того, очень часто я понимаю (глазами) великолепно английское предложение, но устно воспроизвести не решаюсь, приходится заглядывать в фонетический словарь Джоунза. И пожалуй единственный иностранный язык, которым бы я сейчас мог овладеть активно, — это эсперанто.

Я даже на нём написал маленькое стихотворение типа японского хокку (или хайку):

Melankolía	*Печальная*
Sonóras melodío,	*Звенит мелодия,*
En kóro plóras.	*В сердце плачет.*

По-французски я не говорю (я даже не ставлю такой цели, тем более являясь в прошлом, как беспартийный, невыездным «в капиталистические страны»), но я, как уже написал, довольно свободно на нем читаю. Когда-то, например, болея, я от нечего делать захотел прочесть роман Стендаля «Люсьен Левен» (иногда его, кажется, еще называют «Белое и чёрное»). Копаться в словарях было сложно, и я его читал без словаря, в основном хорошо понимая (за исключением выражений финансовой терминологии, которые и по-русски плохо понимаю).

Ещё неплохо понимал (и даже пробовал на них говорить) чешский и белорусский (лучше белорусский, хуже чешский).

Писал (со словарями) по-чешски, по-словацки и по-верхнелужицки. Довольно много читал по-болгарски (например, роман Ивана Вазова «Под игото» («Под игом»)). Когда-то мне надо было написать письмо по-македонски, поднатужился и написал, и получил по-македонски ответ (значит, меня поняли). Немного учился латинскому и греческому (первому, конечно, больше). Изучал литовский и особенно много латышский. На обоих языках, – с трудом, особенно по-литовски, – но переписывался. Латышский у лингвистов считается менее важным, но мне он нравится больше: на нём писали прекрасные писатели: Ян(ис) Райнис, Андрей Упит, Андрей Пумпур, Вилис Лацис, Александр Чак. Их я больше читал в русских переводах, но стихи Райниса и Чака читал и по-латышски. Из финно-угорских языков я больше всего занимался эстонским, венгерским, эрзянским, меньше финским. Но говорить пробовал только по-венгерски. (Из трёх самых распространенных финно-угорских языков это самый простой и логичный, хотя, конечно, его простота весьма относительна, сложнее финский, а эстонский самый трудный). Однако с эстонскими знакомыми я переписывался только по-эстонски (вооружаешься словарями и грамматикой и пишешь). Потом уже запоминаешь наиболее ходкие слова и выражения. Писал лингвистам и иногда даже удостаивался похвалы. Значит, писал довольно грамотно, хоть, конечно, примитивно. По-фински написал только одно письмо в Карелию. По-эрзянски писал маленькие поздравительные письма, а однажды даже

набрался смелости и написал что-то вроде стихотворения-здравицы своему корреспонденту по переписке, известному эрзянскому писателю Кузьме Григорьевичу Абрамову (в стиле эрзянского фольклора). Однажды очень хотел получить из Тбилиси самоучитель грузинского языка и написал в Тбилиси письмо по-грузински, не уверен, всё ли было там правильно. Но меня поняли, книгу прислали и поблагодарили по-русски. В школьные годы я «расшифровал» для себя грузинский алфавит и потом часто его использовал как... тайнопись... Чем бы ещё «похвастаться»? Часто заглядывал в китайские грамматики, меньше в японские, но меня отпугнула иероглифика. Правда, зачин китайской сказки я прочитал в иероглифическом написании (Вы его встретите в первой мерянской книге) в «Русско-китайском словаре» (изданном в Шанхае). Правда, попотеть пришлось изрядно, наверно, час или полтора, пока я постиг эту китайскую грамоту. Из германских языков, кроме немецкого и английского, немного читал по-датски, по-нидерландски и на идиш. Этот любопытный язык меня заинтересовал, потому что в свое время мой дедушка Яков Иванович Косолапов приютил в своём доме во время 1-ой мировой войны евреев-беженцев из местечка Сморгони (в Западной Белоруссии), потом в нашем дворе они даже преобладали. Я с детства наблюдал их жизнь, обычаи, слышал временами этот язык, несколько похожий на немецкий, но с большим количеством ивритизмов. Потом, когда я уехал из Харькова, мне даже будто чего-то стало не хватать. Натолкнувшись как-то на произведения Шолом-Алейхема в русских и украинских переводах, я с большим интересом стал их читать и понял, что, в сущности, я в Харькове уже жил бок о бок с его героями. Тонкий и своеобразный юмор этого писателя (смех сквозь слезы или «слепой дождь», пронизанный солнечными лучами) был мне очень симпатичен, и мне очень захотелось хоть что-то прочесть в оригинале. С интересом (с грехом пополам) прочёл его, – один из самых любимых моих, – рассказов «Majn eršter roman» («Мой первый роман»).

Пробовал заниматься ирландским (гэльским) языком и даже переписал одну маленькую ирландскую сагу, но испугавшись сложности (фонетической) этого языка, где слишком «распоясалась» фонетика, так за ирландский и не засел, хотя до сих пор очень люблю читать о грамматиках и словах кельтских языков (и даже писал о галльском субстрате французского).

Из романских языков больше всего меня привлекли французский, итальянский (очень хотелось на нем петь прекрасные итальянские песни и арии) и румынский (я буквально влюблён в румынского классика, поэта Михаила Эминеску, великолепного мастера звукописи, – Бродский одно из его стихотворений «Eu am un singur dor» – «Я имею одно единственное желание» перевёл в шести вариантах, желая передать его оркестровку). Немножко «лизнул» (или «нюхнул») турецкий, татарский, чувашский и якутский (тюркские языки). Немного читал об албанском. Очень долго мечтал познакомиться с армянским (одну фразу, начало армянской сказки, написанной Ованесом Туманяном, можно у меня встретить). Но дальше нескольких, правда, очень живописных армянских слов и выражений «джюр» – «вода», «крунк» – «журавль», «цицернак» – «ласточка», «Барев цез!» – «Будь здоров!», которые встречаются и в русских переводах, я, к сожалению, почти не пошёл. Между прочим, причиной было и армянское письмо, гораздо более сложное, чем грузинское. Но навсегда запомнились прекрасные армянские поэты (в великолепных русских переводах В.Брюсова и А.Блока). Хотя бы эти потрясающие слова простенького стихотворения Туманяна:

В сновиденье мне овцой
Задан был вопрос такой:
«Бог детей твоих храни!
Как на вкус младенец мой?»

В них вся трагедия армянского геноцида. Нет, будь у меня хоть немного времени, я хотя бы это стихотворение заучил на память по-армянски.

Пробовал учить немного арабский и даже почти «прочёл» учебник для начального обучения Сегаля, но, убоявшись насмешек нашей учительницы по поводу того, что я слишком часто «сую» во все слова пресловутый арабский айн, напоминающий звук, издаваемый иногда горлом молодого верблюда, я прекратил свои занятия; араб-

скую вязь помню тоже плохо, хотя иногда мне удается до сих пор довольно сносно произнести слова му^{c}аллим(ун) «учитель» и му^{c}аллимат(ун) «учительница». Впрочем, арабский язык как язык Корана меня заинтересовал меньше, чем основной язык Библии (Ветхого Завета), иврит, — читая на нем, я понял, как ученики хедеров (еврейских религиозных школ) выучивали на этом языке целые страницы. Дело в том, что Ветхий Завет (на иврите сокращенно Та На Х-Тора (Закон) — Нэвиим (Пророки) — Кэтувим (Писания)) — книга глубоко поэтическая и часто даже написанная своеобразной ритмической прозой, в сущности «белыми стихами», то есть только без рифм (в отличие от Корана, написанного рифмованной прозой). Поэтому слова, даже поначалу непонятные, сами собой ложатся в голову. Но, конечно, иврит очень сложный язык, к тому же с довольно ещё сложной системой письма, правда, более чёткой, чем арабская вязь (которая зато хороша как стенография и красива как арабские изречения из Корана, которые арабы ввиду запрета (как и у евреев) рисовать превращали в настоящую живопись).

Из других языков я еще интересовался индонезийским, арамейским (еще один семитский язык), палеоазиатскими (в частности, эскимосским). Иберийско-кавказские языки я тоже немного «нюхнул» или «лизнул» (дошел даже до убыхского). Читая «Гайавату» (в русском переводе Бунина), невольно запоминал ирокезские слова: наверно, многим они помнятся: «цапля серая, шух-шуга», «вампум» и другие. Немного сталкивался и с монгольскими языками, (халха) монгольским и калмыцким. Фарси (персидским) не занимался, возможно, и из-за сложности письма, но пробовал знакомиться с таджикским, ближайшим родственником фарси (есть фарси-теграни, фарси-тоджики и фарси-кабули, или дари). Всё это разновидности первоначально одного языка, фарси (по-арабски), или персидского.

Ещё интересовался испанским и португальским, а в сущности, и всеми романскими языками (включая провансальский, сардинский и каталанский): одно время у меня был замысел писать об украинском обороте «Як ся маєш?» — «Как поживаешь?», который, оказывается, через польский, чешский и словацкий (есть и в словенском Како se imaš?), по-видимому, восходит к паннонской латыни... И тогда я усиленно «шуровал» по всем романским языкам, вплоть до итальянских диалектов (почти языков). Румынских лингвистов, как-то бывших в Италии, многие «рядовые» итальянцы нередко даже спрашивали: «На каком итальянском диалекте вы говорите?». Многие итальянские диалекты далеко отошли от литературного языка. Поэтому даже румынский язык воспринимался как один из них.

Как видите, значительную часть своей жизни я занимался разбрасыванием камней, а теперь пришла пора их собирать и очень умерять свои языковые «аппетиты». Да, я ещё чуть не забыл сказать, что, в сущности, я занимался всеми славянскими языками, которые даже не упомянул, вплоть до двух мёртвых, старославянского (древнего болгаро-македонского) и полабского, славянского языка, вымершего в Германии в конце 17 - начале 18 века... Почему-то, однако, я мало внимания уделил санскриту (древнеиндийскому, одним из сыновей которого является цыганский). Несмотря на то, что сейчас есть определенная «мода» на всё индийское... А может быть, именно поэтому? Меня невольно отталкивает эффект «Панургова стада».

Но, между прочим, никакой особой заслуги в этом «многоязычии» я не вижу. Ведь я мчался «галопом по Европам», и поэтому мои знания преимущественно очень поверхностны. Выработана просто особая ловкость рук, а точнее — мозга, способного теперь справляться со многими языковыми фактами... Но всё это суета сует и всяческая суета... И поэтому я искренне и по-хорошему завидую тем языковедам, которые знают, кроме своего, один-два-три языка, но зато хорошо и глубоко, в сочетании с глубоким знанием духовной культуры народа, его фольклора, литературы, обычаев. Ведь язык — это прежде всего культура, правда, словесная, но зато всеобъемлющая. И поэтому все эти хватания многого, но в минимальных размерах, напоминают не то поедание манной каши в раннем детстве, не то долбёжку музыкальных гамм и экзерцисов. Только совершен-

ное владение языком во всех его сокровенных глубинах и тонкостях даёт истинное наслаждение, как когда Вы едите уже не одну манную кашу, а весь спектр разнообразных блюд, и уже не «долбите» гаммы, а имеете счастье играть ту же «Лунную сонату» Бетховена или фортепьянные шедевры Шопена, песню Сольвейг Грига или «Неоконченную симфонию» Шуберта (в фортепьянном переложении, допустим)...

Кстати, я очень рад, что не научился играть ни на одном музыкальном инструменте, так как весь мой музыкальный заряд ушёл... в стихи (ведь стихи – это тоже музыка, только растворённая в словах). Мой отец был замечательным музыкантом-пианистом, хотя и любителем, но он рано выпал из моей жизни.

И вот вся моя музыкальная стихия ушла... в украинские стихи, которые я «рассудку вопреки, наперекор стихиям» пишу под фамилией Косолапов. А своей экзотической (мерянистической) русистикой занимаюсь (и печатаюсь) под фамилией Ткаченко. А получилось так отчасти потому, что один известный украинский писатель[3], которому я понёс свои стихи, в общем их одобрил и посоветовал писать дальше, но по поводу одного стихотворения заметил, что, хотя оно написано по-украински и на безупречном языке, но один образ там чисто русский... И вот тут-то я и решил, что мне удобней, наверное, писать под русской фамилией: «Что, мол, с этого «русака» возьмёшь: ведь Косолапов, так и видна косая русская лапа, хоть и не по-русски написано, а по-украински, а всё же что-то чувствуется русское»[4]... Так (сохраняя все пропорции) в своё время и о Гоголе говорили. Даже Белинский писал примерно так: «Хотя этот писатель писал всё время по-русски, мы никак не могли взять в толк, то ли это русский писатель, то ли украинский, пишущий по-русски»... Мне кажется, что, напротив, именно на пересечении двух культур может появиться временами что-то интересное, и поэтому не следует особенно бояться, когда в ту или иную литературу привносится что-то новое, необычное. Это может её обогатить. Чрезмерное обилие «иноземцев» в литературе может, конечно, её расшатать, лишить самобытности, но плохо и когда у неё нет контактов с другими культурами. Лучшие украинские писатели, оставаясь национальными, стремились расширить горизонты литературы. Уже у Шевченко есть и Кавказ, и средневековая Чехия, и Древний Рим на пороге нового времени (с христианством)...

Ещё больше этой широты у его последователей, Ивана Франко и Леси Украинки. А впрочем, я сейчас стыжусь кому-то признаться, что я окончил когда-то украинское отделение филологического факультета. Мы там изучали часто писателей совершенно ничтожных как мастеров языка и высокой духовной культуры, но зато вполне «идеологически выдержанных», а о великолепных первоклассных писателях, которые только из-за неблагоприятной политической конъюнктуры не стали лауреатами Нобелевской премии, говорили вскользь (если вообще их называли). «Буржуазный националист» – и на этом точка. И целые массивы, пласты этой литературы, так называемого «расстрелянного Возрождения», и эмигрантской, и диаспорной литературы (писатели Пражской школы, Нью-Йоркской школы) совершенно выпали из нашего поля зрения. Даже общепризнанные классики, которых уж никак нельзя было выбросить, выхолащивались. В общем, получилось как в двух крыловских баснях: в первой, где некто «угощает» своего друга концертом хора из безобразных голосов, но зато, говорит, не пьют (и баснописец замечает: «Пей, да дело разумей!»), и во второй, где некто морщится и кряхтит, бреясь тупой бритвой (и опять резюме: «Людей с умом боятся и терпят при себе охотно дураков», о которых зато не обрежешься)...

И вот теперь «на старости лет» мне ещё приходиться ликвидировать немалые пробелы в своём образовании как украи-

---

[3] Б.Д. Антоненко-Давидович.

[4] Была и другая, более веская причина: род Косолаповых угас, и мне хотелось, чтобы хоть благодаря этому псевдониму он не угас беспамятно. Именно по причине его угасания мой дядя Василий Яковлевич Косолапов (отец двух дочерей) просил мою мать поменять мою фамилию Ткаченко на Косолапов (тем более, что мать была в разводе с моим отцом), но мать не согласилась. Своим псевдонимом я как бы выполняю эту просьбу.

ниста, чтобы не стыдно было молодёжи в глаза смотреть.

А общий итог такой: век живи, век учись, а всё равно дураком помрёшь. Мудрые латиняне на сей счёт придумали два афоризма: «Ars longa, vita brevis est» («Искусство (т.е. и наука в широком понимании) долго, жизнь (же) коротка») и второй — «Poëta semper tiro» («Поэт всегда новичок»).

И ещё две важные сентенции, если я уж начал потчевать латынью (это уже относится к изучению языков): первая (многим известная) «Repetio est mater studiorum» («Повторение — мать учения») и вторая (менее известная, но очень полезная):

Gútta cavát lapidém non vi, sed saépe cadéndo.

Sic vir fit doctús non vi, sed saépe studéndo.

«Капля долбит камень не силой, а частотой паденья.

Так муж (то есть человек) становится учёным не силой, а частотой ученья».

Т.е. в учении языкам не должно быть никакой «штурмовщины», изучайте язык без всякого лишнего напора, понемногу, но систематично и постоянно, то есть ежедневно, и результат в конечном счёте скажется.

Правда, бывают случаи, когда людям надо экстренно ехать за границу, и их тогда обучают языку по особой методике интенсивного обучения. Но даже и в этих случаях очень полезно закреплять достигнутое тем же способом, т.е. постоянным чтением и/или, если есть такая возможность, систематически разговаривать с иностранцем на его (нужном Вам) языке.

Говорят, что полезно ещё, особенно если хочешь научиться хорошо понимать данную речь, слушать радио, телевидение на иностранном языке, пластинки с записью иностранных текстов. Я сам этим не пользовался потому, что и не было такой возможности (нельзя было никуда особенно ехать, да и времени на поездки не было, и откровенно говоря, я очень оседлый человек, и меня особенно не тянет шататься по свету). Однако, думаю, что все эти способы и хороши, и полезны.

Одно время, например, я руководил работой аспирантки-полонистки. В официальной обстановке и обсуждая конкретно текст её диссертации, написанный по-украински, мы разговаривали о нём по-украински, но в личном общении прибегали, как правило, к польскому языку. И теперь мне, конечно, очень не хватает польского языка.

Было время, когда у нас с женой были немецкие дни, но потом они, к сожалению, постепенно выпали из жизни. Всё же жизнь сейчас сверхнапряжённая, а разговор на иностранном языке требует ещё большего напряжения. Теперь наш немецкий язык сводится к тому, что я ей читаю (на память) стихи Гейне, Гёте, Шиллера или Рильке или вспоминаем какие-то отрывки из немецких новелл или романов и обсуждаем тонкости языка и стиля, — например: почему Гёте употребил неопределённый артикль в стихотворении «März» («Март»): «Es ist ein Schnee gefallen...» «Выпал (какой-то, единственный в своём роде, может быть, потому что редкий весной) снег»...

И ещё немного о моём украинском. Пока я жил в Украине, я как-то не ощущал особого значения для себя украинского языка. Говорил я тогда по-русски, хотя на уроках украинского языка отвечал по-украински, пел украинские песни, много по-украински читал... Но когда попал в Россию, и украинский язык полностью исчез, я его нигде не слышал, в библиотеке не мог взять книгу на украинском языке, мне как-то всё более катастрофически стало не хватать украинского языка. С русским языком никогда ничего подобного не происходило. И это позволило мне осознать, что я украинец не только по паспорту, но и в душе. А так как я тогда очень плохо знал язык, который стал осознавать как родной, то я и пошёл на украинское отделение филологического факультета, а перед тем стал писать по-украински дневник и, наконец, даже стихи.

Впрочем, сейчас мне очень стыдно признаваться, что я был и являюсь украинистом: нас тогда... Но я об этом уже писал.

Итак, мой языковой путь и сложен, и непрост... Но я сам его выбрал, и мне не на кого пенять: «Охота — пуще неволи». Вот она-то и заставляет меня тянуть «воз и маленькую тележку» своих языков. Только любовь, о которой когда-то по латыни было сказано: «Ómnia víncet amór...» («Всё по-

беждает любовь...»), и больше ничто заставляет меня каждое утро вместе с небольшой утренней гимнастикой заниматься «умственной гимнастикой», читать на своих языках, что сперва требует большого напряжения воли, а потом становится привычкой.

В этом есть, конечно, своя доля одержимости, но ведь недаром же Адам Мицкевич в своей «Оде к молодости» употребил парадоксальное (только на первый взгляд) словосочетание rozumni szaŀem — «разумные безумием» (о молодёжи)... А когда опускаются руки и становится слишком тяжело тащить свою поклажу, я хлещу себя как бичом «колючими» латышскими словами из известного стихотворения Ян(ис)а Райниса:

Pirmais un pēdējais vārds
(Первое и последнее слово)

Mans vārds ir viens, viņš liksies skarbs;
Kad gars tev ir kūtris un saīdzis,
Kad pats sev par nastu tu palicis,
Viens vienīgs tad ir līdzeklis:
Darbs.

Моё слово (есть) одно,
Оно покажется суровым;
Когда дух у тебя (есть) вял и угрюм,
Когда сам себе в тягость ты стал,
Одно единственное тогда есть средство:
Труд.

В настоящее время я заканчиваю свой 79-й год*. Одна цыганка мне предсказала, что проживу 86 лет. Хоть верить этому можно только отчасти, всё же полагаю, что если и была здесь ошибка, то скорее в сторону преувеличения, а не преуменьшения. Значит, рассчитывать можно не больше, чем на 6-7 лет. Значит, уже пора подводить итоги и закругляться. Языков учено немало, и кое-что из этого учения останется в голове. Рассчитывать же надо на те, которыми уже владеешь и применяешь ежедневно практически, на те, которые изучаешь научно, на те, которые особенно нужны практически, но которые знаешь ещё недостаточно и поэтому их надо учить, и на те, которые надо не забыть. В целом получается 7 языков:

I. 1) украинский; 2) русский (те языки, которые знаю и которые всегда «в работе»);

II. 1) мерянский язык (изучаемый и реконструируемый научно);

III. 1) венгерский язык; 2) английский язык (учу, т.е. главным образом читаю на них, ежедневно);

IV. 1) немецкий язык; 2) польский язык (читаю на них раз в неделю).

Остаются неучеными (т.е. нечитаемыми) остальные финно-угорские, которыми занимался (эстонский, эрзя-мордовский) и, в сущности, романские (французский и эсперанто). Конечно, это известная потеря, но другого выхода у меня нет. Если я буду «распыляться», я, не усвоив и их, помешаю своему овладению венгерским языком и английским также. Но, с другой стороны, хорошо овладев венгерским, я лучше пойму специфику других финно-угорских языков: ведь я буду смотреть на них не через славянские, а через венгерские очки, т.е. стану гораздо ближе к ним. А английский язык, в котором масса слов французского и латинского происхождения, не даст мне полностью забыть ни французский, ни эсперанто. Если бы Бог мне отпустил ещё немного лет, я, овладев указанными языками, ещё бы мог вернуться к временно забываемым языкам. Если этого не будет, удовольствуюсь тем, что более или менее реально, — этого и так достаточно: «лучше меньше, да лучше», а не «больше, да хуже».

Думаю, что и этой программы вполне достаточно на оставшееся время, тем более что я хоть и пенсионер, но работающий, которому надо выполнять и плановую работу, и свою собственную, да и не только писать, но и «пробивать» для печати написанное, что во много раз труднее. А для всего этого надо много сил. Это не значит, конечно, что другие языки, кроме указанных, совсем выпадут из поля зрения. Если потребуется для работы, я и их буду привлекать. Это значит лишь, что это будет только от случая к случаю, систематически я этими языками заниматься не буду.

Всё это я написал, исходя из своего опыта. Буду рад, если кто-нибудь почерпнёт из него что-то полезное для себя.

* Написано в письме от 22.09.2004 г. — *прим. ред.*

Совсем «под занавес» мне хотелось бы сравнить полиглота-любителя (это своеобразный «спорт») и теоретика-лингвиста.

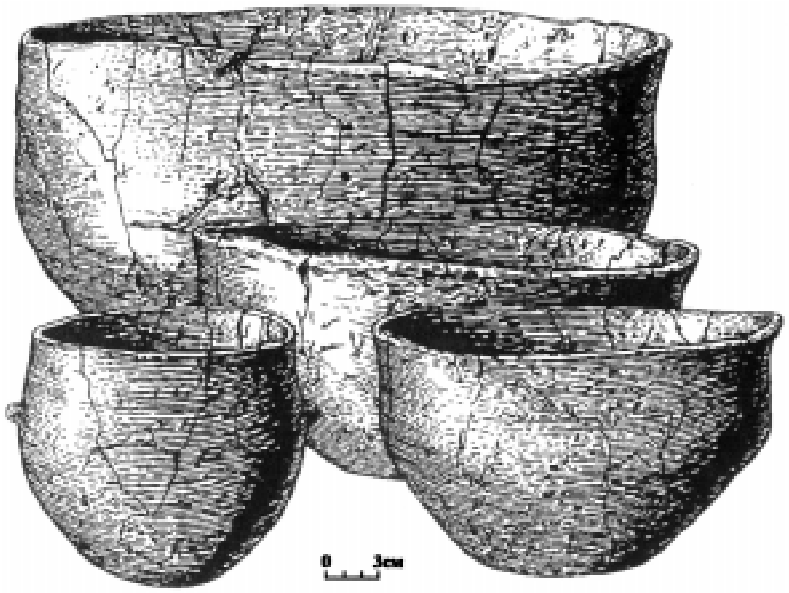
Говорят, есть такие фокусники. Они могут, даже если им напишут большие цифры от потолка до пола, мгновенно их складывать, но в вопросах теоретической математики они полные профаны. И теперь их поразительный труд свободно заменяют калькуляторы. Кстати, поэтому теперь люди постепенно разучиваются считать устно.

А есть специалисты в области высшей математики, неспособные к подобным мыслительным операциям-фокусам, но зато открывающие фундаментальные и чрезвычайно важные математические законы.

Примерно подобное сравнение можно привести в отношении полиглотов и практических знатоков ряда языков в сопоставлении с лингвистами-теоретиками. Способности первых сугубо индивидуальны. Лингвист-теоретик, напротив, написав свой труд, может чему-то научить миллионы (с помощью словарей, грамматик, монографий, на основании которых напишут учебники). Правда, и опыт полиглотов поучителен, но, возможно, для этого нужны специфические (сугубо индивидуальные) способности. Или нужна особая методика, но, видимо, и в методиках нужен учёт индивидуальных черт человека. Я, например, никогда не прибегал к переводным с русского произведениям (разве для освежения забытого), а вот один из моих знакомых, испанист, рассказывал, что когда он изучал испанский язык, почти не было хороших словарей, и он изучал испанский язык, читая испанский перевод известной повести Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» (по-испански «El hombre de verdad»), а потом читал «Дон Кихота» с параллельным русским переводом. Что же? Может быть, в случае нужды и этот метод хорош. Ещё советую многократно прочитать одну книгу. Да так, чтобы уже читать её как на родном языке... Скучновато, но зато уже следующие книги пойдут во много раз легче. Кстати, припоминаю, что в детстве я подобным образом читал некоторые особенно полюбившиеся книги. Может быть, и в связи с тем, что русский язык, основной язык моего детства, я знал тогда недостаточно. Например, только перечитывая многократно Пушкина, я стал хорошо понимать многие церковно- или старославянские слова, которых у него немало: например, ланиты — щёки, вежды — ресницы, перси — груди, выя — шея, рамена — плечи, чресла — бёдра, лядвии — ляжки, персты — пальцы и многое другое. Немало подобных слов, например, и у Жуковского в его переводе «Одиссеи». В современном русском поэтическом языке они совсем или почти не встречаются, но чем дальше от современности, тем их больше.

А вообще любой язык — это неисчерпаемый океан, охватить который невозможно. Я же так много об этом написал потому, что в этом вся моя жизнь. И как бы много я об этом ни писал, всё равно я бы не исчерпал этой темы.

О.Ткаченко



Керамика из Поповского городища VII-IX вв.
[Археология Костромского края. Кострома, 1997, с. 125]

БИОГРАФИЯ

Ткаченко Орест Борисович, украинец, родился в Харькове 10 декабря 1925 г. Родители – отец, Ткаченко Борис Данилович, языковед-украинист и переводчик художественной литературы на украинский язык с западноевропейских и русского языков (расстрелянный 23 декабря 1937 г. и посмертно реабилитированный), и мать, Ткаченко (до замужества – Косолапова) Ольга Яковлевна, с незаконченным высшим филологическим образованием, работавшая стенографисткой в научных учреждениях Харькова – развелись в 1927 году. В 1935 г. мать вторично вышла замуж за Ленского Владимира Николаевича, инженера-монтажника (от него брат Ленский Александр Владимирович, 1937 года рождения, физик по специальности).

Вследствие частых переездов родителей, связанных со спецификой работы отчима, вынужден был учиться в разных (восьми) школах. Учился в школе с русским языком преподавания с 1935 по 1945 год, поступив в среднюю школу в Харькове. С 1941 по 1943 год находился с родителями и братом в эвакуации в Свердловской области, в поселках Реж и Нейво-Рудянка. 1 января 1943 г. проходил призывную комиссию при Невьянском РВК Свердловской области, которой был признан негодным к военной службе (по причине плохого зрения).

При возвращении из эвакуации, потеряв много времени и отстав в учёбе, пошёл на производство. Работал на восстановлении Каменского (Ростовской области) химического комбината такелажником и слесарем-трубопроводчиком с марта по август 1944 года. С сентября 1944 года возобновил учебу и летом 1945 года закончил 10 класс Каменской средней школы. Осенью того же года поступил на украинское отделение филологического факультета Харьковского университета, где проучился до осени 1947 года.

Осенью 1947 года в связи с переездом родителей из Каменска в Киев перевелся на то же отделение и факультет Киевского университета, который закончил в 1950 году. Во время учёбы проявил интерес к славянской филологии (польскому языку, изученному самостоятельно с помощью учебной и художественной литературы). Принимал участие в работе студенческого научного кружка славянской филологии, где выступил с докладом «Стиль и язык поэмы Адама Мицкевича «Гражина»» (на польском языке). Дипломная работа «Стиль и язык украинского перевода повести Ванды Василевской «Райдуга» («Радуга») («Tęcza»)» была также во многом связана с проблематикой польского языка. В связи с этим был рекомендован в аспирантуру по специальности «славянские языки» при Институте языковедения НАН Украины (тогда

– АН УССР), научный руководитель акад. Л.А.Булаховский.

В аспирантуре, помимо экзамена по польскому языку как основному, изучил и сдал экзамен как по второму по чешскому языку, важному при изучении истории польского.

По окончании срока обучения в аспирантуре в 1953 году принят на работу в Институт языковедения в должности младшего научного сотрудника отдела общего и славянского языкознания. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Очерк истории изъяснительных союзов в польском литературном языке (на материале произведений второй половины XVI века «Zwierciadło» («Зерцало») Н.Рея, «Kronika polska Marcina Bielskiego» («Польская хроника Мартина Бельского») И.Бельского, «Kazania sejmowe» («Сеймовые проповеди») П.Скарги). В том же году женился на Ларисе Ивановне Прокоповой, от которой два сына: Алексей, филолог, специалист по французскому языку, 1956 года рождения, и Андрей, медик, 1964 года рождения. Л.И.Прокопова – филолог-германист (немецкий язык) и специалист по общему языкознанию (экспериментальная фонетика), доктор филологических наук, профессор (Киевский национальный университет и ряд других высших учебных заведений Киева).

С 1953 г. по настоящее время О.Б.Ткаченко работает в Институте языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины, сперва младшим, а с 1959 г. старшим научным сотрудником, вначале как славист, а позже как специалист по общему языкознанию. В качестве слависта знакомился со всеми славянскими языками, особое внимание уделив, помимо упомянутых, белорусскому, словацкому, верхнелужицкому, нижнелужицкому, болгарскому. Как филолог-языковед и в особенности специалист по общему языкознанию (специальность, приобретенная позже), обязанный иметь хотя бы общее представление о разных языках, в разной степени, кроме славянских, знакомился с современными европейскими языками (немецким, английским, датским, французским, итальянским, румынским), классическими (латинским, греческим), древнеиндийским (санскритом), литовским, латышским и частично восточными (турецким, арабским).

С 1960-х годов всё большее его внимание как исследователя, отодвигая эти многочисленные заинтересованности, привлекли финно-угорские языки, прежде всего эрзянский (эрзя-мордовский), финский, эстонский, венгерский. Научно-теоретическое овладение этими языками, как и более обширные сведения в области других, прежде всего славянских (и индоевропейских), языков, позволили ему написать и защитить в качестве докторской диссертации монографию «Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков» (Киев, «Наукова думка», 1979) в Ленинградском (ныне – Санкт-Петербургском) университете в 1982 году по специальностям: «общее языкознание», «славянские языки», «финно-угорские языки».

С 1966 по 1968 гг. принимал участие в составлении и редактировании «Словаря славянской лингвистической терминологии» (Прага, т. 1 (1977), т. 2 (1979)). В 1984 г. получил диплом доктора филологических наук. В 1992 г. получил звание профессора по специальности «теория языкознания». В 1995 г. избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины по специальности «украинский язык». С 1992 по 1996 год выполнял обязанности заведующего отделом языков Украины Института языковедения НАН Украины. С 1997 г. по настоящее время является заведующим отделом общего языкознания того же Института. Участвовал в работе семи (V, VI, IX, X, XI, XII, XIII) съездов славистов и одного (VI) международного конгресса финно-угроведов.

Основные направления работы и исследовательские области сосредоточены в изучении историко-типологического языкознания, межъязыковых контактов (в частности, теории языкового субстрата и реконструкции мерянского языка), социолингвистики (социолингвистическая классификация языков и проблема языковой стойкости народов), интерлингвистики (эсперантология), что нашло отражение в ряде коллективных работ, в которых он принимал участие как один из соавторов: в частности, «Вступ до порівняльно-історичного

вивчення слов'янських мов» («Введение в сравнительно-историческое изучение славянских языков»), Киев, 1966; «Исследования по польскому языку», М., 1969; «Исследования по серболужицким языкам», М., 1970; «Філософські питання мовознавства» («Философские вопросы языкознания»), Киев, 1972 (тж. Братислава, 1979 – переиздание на словацком языке); «Современное зарубежное языкознание. Вопросы теории и методологии», Киев, 1983; «Плановые языки: итоги и перспективы (К 100-летию эсперанто)», «Linguistica Tartuensis», Тарту, 1988; «Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов», М., 1995; «Українська мова. / Енциклопедія» («Украинский язык. / Энциклопедия»), Киев, 2000. Является одним из составителей и редакторов 7-томного издания «Етимологічний словник української мови» («Этимологический словарь украинского языка»), тт. 1-4, Киев, 1982, 1985, 1989, 2003, где ему принадлежит свыше 3000 статей. Является автором монографий: «Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков» (Киев, 1979, 2-е изд. – «По следам исчезнувших языков (Сопоставительно-историческая (историко-типологическая) фразеология славянских и финно-угорских языков)», Ньиредьхаза, 2002); «Мерянский язык» (Киев, 1985), «Очерки теории языкового субстрата» (Киев, 1989) и двух монографий, сданных в печать, но пока не изданных, – «Українська мова і мовне життя світу» («Украинский язык и языковая жизнь мира»), Киев, «Спалах» («Вспышка»), 272 стр. и «Мова і національна ментальність» («Язык и национальная ментальность»), Киев, «Грамота», 215 стр.[5] В целом ему принадлежит около 226 научных трудов. Подготовил ряд кандидатов наук. Среди учеников и последователей – член-корреспондент НАН Украины, д.ф.н., проф. Г.П.Пивторак, д.ф.н. проф. И.М.Железняк, д.ф.н. Ю.Л.Мосенкис, д-р Имре Пачаи (Венгрия).

Читал лекции и проводил занятия в Киевском, Ужгородском, Прикарпатском (г. Ивано-Франковск), Таврическом (г. Симферополь), Московском университетах, Костромском педагогическом университете*, в Мелитопольском и Николаевском педагогических институтах.

Увлечения: изучение языков; литературное творчество (поэзия), псевдонимы: Олександр Косолапов, Олесь Горленко; публикации: (вместе с М.М.Турчин) в сборнике «Каштанові свічі» («Каштановые свечи») – подборка «З полону літ» («Из плена лет»), Ивано-Франковск, 2000; журнал «Березіль» («Март»), Харьков, 1994, № 8; газета «Жива вода» («Живая вода»), Киев, 1990-ые годы. В целом опубликовано около 40 стихотворений[6].

Круг стран и местностей, которые посещал или в которых учился и работал:

славянские – Украина, Россия, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Словения;

страны балтийских народов – Литва, Латвия;

страны и автономии финно-угорских народов – Эстония, Венгрия, в Российской Федерации – Мордовия (Саранск), Республика Коми (Сыктывкар).

8 августа 2004 г. По документальным данным составил О.Б.Ткаченко

Бронзовый амулет-птичка
из Поповского могильника
VII-IX вв.
[Археология Костромского края. Кострома, 1997, с. 124]

[5] Первая из них издана в 2004 году, вторая в настоящее время готова к печати.

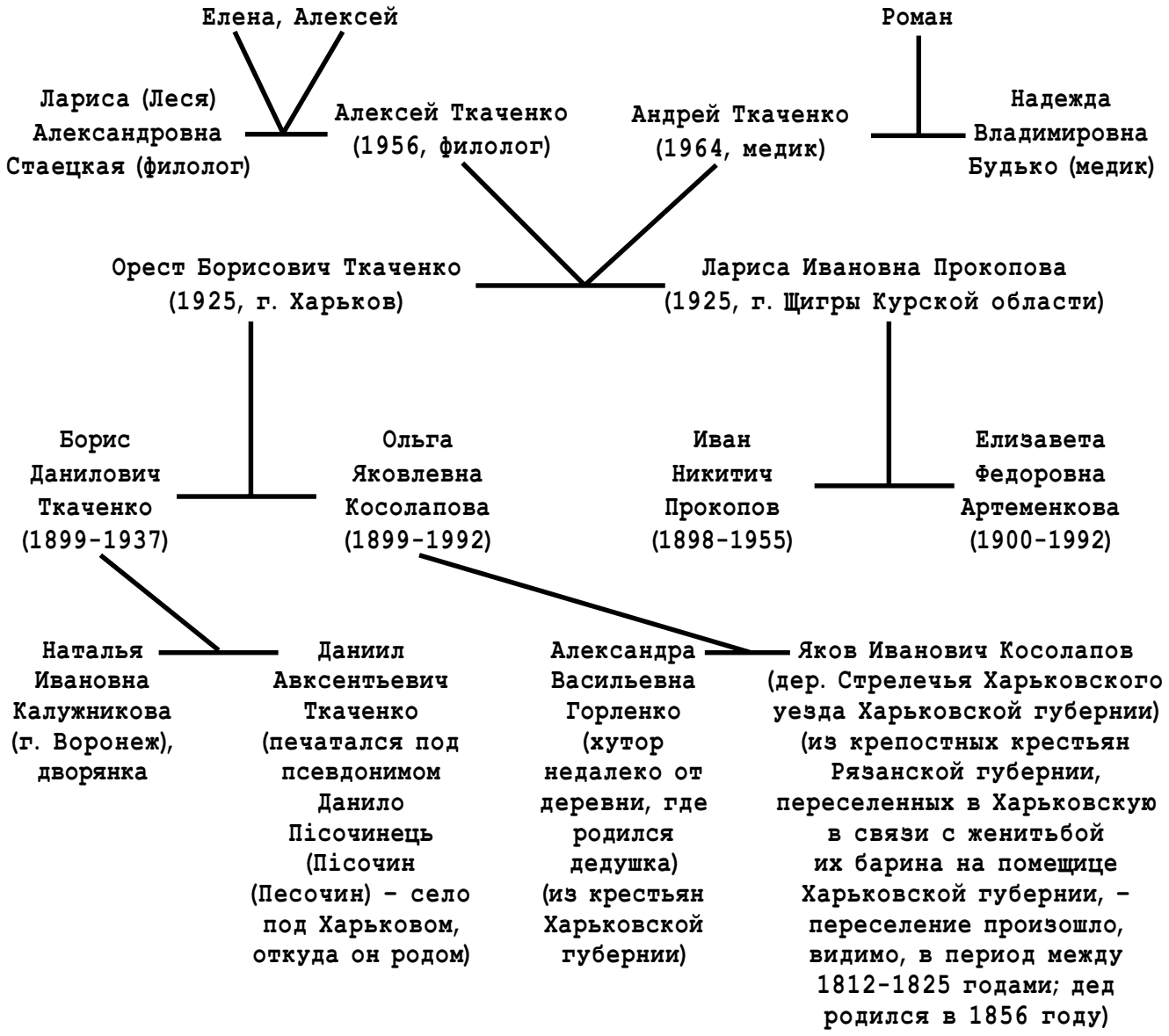
* Ныне – Костромской государственный университет. По словам его проф. Н.С. Ганцовской, и лекции и сам лектор оставили у слушателей самые лучшие воспоминания. – *Прим. ред.*

[6] Написано около 100.

Из справки, составленной в начале 2002 г. о заведующем отделом общего языкознания Института языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины О.Б.Ткаченко

<...> Личный вклад в науку: 1) обоснование нового сопоставительно-исторического (историко-типологического) метода, особенно целесообразного при исследовании глубинных (субстратных) языковых связей; 2) разработка теории языкового субстрата; 3) реконструкция мертвого финно-угорского мерянского языка (распространенного в Центральной России до 18 в.), важного как особое ответвление финно-угорских языков и субстрат русского языка для финно-угроведения, русистики и славистики; 4) обоснование новой, третьей (после генетической и типологической) социолингвистической классификации языков мира; 5) создание на основе упомянутых выше достижений и дальнейших исследований серии работ, посвященных сложному социолингвистическому положению украинского языка, где всесторонне освещаются причины подобного положения и предлагаются возможные пути выхода из него. <...>

Моя ближайшая родословная (и комментарии к ней)



В наших семейных отношениях (даже не учитывая факт развода родителей, когда мне было два года) явно преобладает (скрытый) матриархат. Поэтому свою родню со стороны матери знаю гораздо лучше, чем со стороны отца, и так, я думаю, было бы, даже если бы родители не развелись.

О своих бабушках (особенно по линии отца) знаю немного. Их жизнь — обычная жизнь дореволюционных женщин, которые по выходе замуж становились мужними жёнами и, нигде не работая, занимались домашним хозяйством и воспитанием многочисленных детей, - тоже, безусловно, большая (но не заметная) работа, чрезвычайно важная для любого государства. У бабушки по линии отца было 6 детей, у бабушки по линии матери — 5, а могло бы быть и семь (двое близнецов умерли в раннем детстве).

Больше могу сказать о дедах.

Даниил (по-украински Данило) Авксентьевич Ткаченко, переехав ещё в детстве с родителями в Харьков, служил мальчиком-посыльным у владельца и главного редактора известной харьковской газеты «Южный край». Тому понравился смышлёный мальчишка, и он помог ему поступить в гимназию и некоторое время опекал, что помогло впоследствии деду получить и высшее образование (и стать личным дворянином). К несчастью для деда, он увлёкся тем, что тогда называлось украинофильством и отнюдь не поощрялось властями. Вследствие этого, был выслан в Архангельскую губернию (работал учителем и до того, и позже) и на некоторое время был лишён права возвращения в пределы «малороссийских губерний», т.е. и в Харьковскую. Живя и работая в Воронеже (или, как тогда говорили, служа), как многие украинцы, увлекался театральным искусством, устраивал любительские спектакли, ставя украинские (т.е. на украинском языке) пьесы. В этих спектаклях участвовала и одна из воронежских барышень (хотя и русская), ставшая потом женой деда и моей будущей бабушкой. Дети этой пары дома с матерью обычно говорили по-русски, а с отцом — по-украински, изо Львова дед для них выписывал детский журнал «Дзвінок» (по-украински «Звонок»), учились же в русских школах (других тогда в Восточной Украине не было, — за исключением школ с другими (иностранными) языками), и поэтому с детства, кроме русского, прекрасно знали и украинский литературный язык, что тогда для интеллигентских городских детей в Восточной Украине было редкостью.

Дед, несмотря на свою первую ссылку, служил учителем, а потом секретарём в Харьковском университете, продолжая и свою «украинофильскую» деятельность. Дружил и сотрудничал с Борисом Гринченко, выдающимся писателем и общественным деятелем, составителем известного «Словаря украинского языка».

Предполагаю, что имя *Борис* моему отцу дед дал в честь своего знаменитого друга. Мой дед печатался в украинских журналах во Львове (до 1905 года в России подобные журналы не разрешались, выходили только альманахи). Печатали там его рецензии и статьи об украинских писателях (в частности, об украинском философе и поэте Григории Саввиче Сковороде (1722-1794) и Шевченко). В 1914 году деда снова отправили в ссылку (по той же причине, что и в первую) в город Царёвококшайск (теперь Йошкар-Ола).

Умер он, как полагаю, в 1930-м году. Дед любил до поздней осени купаться в пригородных харьковских речках (или прудах), был в какой-то степени тем, что теперь называют «моржом». Обычно, приехав домой, пил горячий чай и согревался. Но в одну из поездок потерял хлебные карточки и, думая, что это произошло уже в городе, долго их искал. Не знаю, нашёл ли, но результатом этих поисков была сильнейшая простуда и двустороннее воспаление лёгких (тогда смертный приговор: пенициллина ещё не изобрели), от чего и умер.

По-своему замечателен и дед по матери. Из крепостных он выбился в люди, т.е. стал тем, кого по-английски называют self made man (человек, сделавший сам себя, обязанный всем себе), правда, в этом помог ему немного брат. Происходил он из крепостных мастеровых (поэтому их барин и перевёл в Харьковскую губернию). Были они столярами и плотниками, делали кареты (уличное прозвище — Каретниковы). Дед переехал после службы в гвардии (отбирал в гвардию его сам Государь Алек-

сандр II с цесаревичем, будущим Александром III) из деревни в Харьков и сперва сам работал, а потом возглавил артель. Вместе со своей артелью участвовал в строительстве самых известных домов в Харькове, в частности, здания страхового (противопожарного) общества «Саламандра» в начале улицы Сумской (одной из центральных улиц Харькова).

Постепенно став зажиточным человеком, получил возможность учить своих детей в гимназии, хотя к дочерям был строг. Старшей дочери, по совету учительницы начальной школы помещённой в гимназию, говорил: «Смотри, хорошо учись, а то пойдёшь в кухарки». Бабушка хорошо знала народный украинский язык, но язык совершенно неавторитетный (на нём она говорила только со своими родственниками из села). Но несмотря на то, что, живя в городе, в основном говорила по-русски, украинский язык помнила хорошо, и мой отец от неё записал много интересных слов и выражений. Дед, хотя и самоучка и скорее малообразованный человек, очень ценил образованность детей, любил слушать, как дети читают. В семье особенно любили читать Некрасова (видимо, как крестьянского поэта, близкого деду). Со своими родственниками (русскими) дед любил петь народные русские песни (теперь их, наверное, не поют) «Снежки белые пушистые принакрыли все поля...» или «Среди долины ровныя...» (кажется, на слова Мерзлякова, — был такой поэт*).

Дом у деда (Косолапова) отобрали до НЭПа, поскольку жильцы участвовали в ремонте и стали совладельцами. Это, конечно, был большой для него удар, но еще хуже было бы, если бы его «раскулачивали» как нэпмана-буржуя. Дед как родился пролетарием, так им и умер (кажется, в 1930-м году). А двухэтажный дом и до сих пор стоит в Харькове, хотя уже никто из семьи в нем не живет.

Дед для меня особенно почитаемый человек. Хотя помню его несколько смутно, но сквозь отдаление лет вспоминаю его именно как что-то светлое, особенно любимое. Помню, как он приходил (иногда даже в рабочем фартуке) с работы (конечно, тогда у него уже не было артели, и он работал просто мастером или даже рядовым рабочим, *пролетарием*). От него очень приятно пахло деревом. А в кармане фартука он приносил разные «спилки» (есть специальное слово для этих лишних совсем остатков, но я его забыл) для меня. И это были самые дорогие игрушки. Когда дед приближался к смерти, то сильно сокрушался, кому достанутся его столярные инструменты: ведь никто в семье не пошел по его следам. Для моего отца он изготовил прекрасные полки для книг. Потом их в доме не было, отец, разведясь, забрал их с собой.

Сам я сперва научился читать по-русски. Первое, что запомнил, были слова (из начала «Генерала Топтыгина»):

Дело под вечер, зимой
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Ямщичок обратный.**
Не спешит, трусит слегка.
Лошади не слабы,
Да дорога не гладка,
Рытвины, ухабы...

Второй язык, на котором стал читать, был... белорусский. Мама привезла из поездки в Минск белорусскую антологию «Чырвоны дудар» («Красный дударь», игрок на дуде, — белорусском народном инструменте). Отец меня начинал учить украинскому, но он рано выпал из моей жизни. А белорусская фонетика ближе к русской, чем украинская. Поэтому я с большим удовольствием читал белорусские стихи Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Михася Чарота и других писателей, ставших давно белорусскими классиками.

Читать по-украински выучился позже по детским книгам, которые иногда присылал мне отец, не живший с нами.

Моя мать окончила частную гимназию, в которой преподавали два будущих академика, Александр Иванович Белецкий (литературовед) и Леонид Арсеньевич Булаховский

* Алексей Федорович Мерзляков (1778-1830), учитель Лермонтова, написал это стихотворение в 1811 г. (slova.ndo.ru), текст см.: http://star1992kafe.narod.ru/dolina.htm – *прим. ред.*

** У Некрасова – «Мужичок», но слово «Ямщичок» тоже есть пятью строками ниже – *прим. ред.*

(языковед, мой будущий научный руководитель), и будущий член-корреспондент Яков Владимирович Ролл (преподавал ботанику). На Высших женских курсах (мать вынуждена была с них уйти по семейным и прочим обстоятельствам (1919 год, гражданская война)) среди её профессоров был и крупнейший латышский (и балтийский) языковед Ян(ис) Эндзелин, мой «научный дед», учитель Л.А.Булаховского. Я приобщался к индоевропеистике по маминым конспектам.

С украинским языком мать познакомилась поздно (в 18 лет), когда подруга «подбила» её участвовать в украинском народном хоре, который возглавлял известный украинский писатель и музыкант (составитель учебника игры на бандуре), по профессии инженер, Гнат (Игнатий) Мартынович Хоткевич (расстрелянный в 1938 году). Впоследствии мама (и с помощью отца) прекрасно овладела украинским языком и, хотя в основном говорила по-русски, свободно им пользовалась и прекрасно пела украинские песни. Но об этом я, по-моему, уже где-то писал*. На русско-славянском отделении историко-филологического факультета, где она училась на курсах, она выбрала из славянских польский и сербский (из сербского помнила немного, да тогда и сербская литература была довольно бедна, а по-польски много читала) и, когда меня заинтересовал польский язык, дала мне первые уроки чтения польских букв и их произношения.

В гимназии она изучала немецкий и французский языки (второй знала особенно хорошо, и можно сказать, что её большая любовь к этому языку меня заставила его изучить). На высших женских курсах, кроме того, им читали спецкурс по «Vita nuova» («Новая жизнь») Данте (разумеется, по итальянскому тексту). Первые шаги курсистки делали на сопоставлении французского языка (который хорошо знали) с итальянским: buon giorno — bon jour — добрый день, notte — nuit — ночь, amore — amour — любовь и т.д. Потом знакомились с краткой грамматикой итальянского языка профессора Гливенко, который читал спецкурс, и начинали уже самостоятельно разбираться в итальянском тексте. Кроме того, мама (с несколькими подругами) ещё начинала учить английский язык у одного датчанина, оказавшегося в Харькове. Этот датчанин влюбился в харьковскую frøken (барышню), мою мать, предлагал ей руку и сердце и хотел увезти i København «в Копенгаген», но мать ему отказала... а то мог бы родиться некто, похожий на меня, но уже... в Копенгагене. Иногда фантазирую на тему, что бы тогда «из меня» вышло... Моя жена сердится и говорит, что это был бы не я, а я ей возражаю: но всё же отчасти «я», ведь мать была бы та же.

Мне показалось, что для полноты и эти детали были не лишними, хотя изрядно надоело это беспрерывное «яканье», «я», «меня», «мой», «мои». Вообще-то я не особый любитель откровенничать...

И ещё немного о своём «вычурном» имени, которое, откровенно говоря, не люблю. Хотел бы иметь более обычное.

Мать хотела меня назвать Александром (потому я и взял украинский псевдоним Олександр (= Александр) Косолапов), и отец склонялся к тому же. Но в это время у моего дяди, брата отца, родился тоже сын. Дядя, как истый украинец, хотел ему дать имя Тарас (в честь Шевченко) или Богдан (в честь Хмельницкого), но его тёща, бывшая дворянка, воспитанница Смольного института благородных девиц, этому решительно воспротивилась: «Дай ему обычное человеческое имя».

И вот здесь отец, листая список украинских имён, натолкнулся на народную фор-

* На этом важном моменте хотелось бы остановиться несколько подробнее. Теперь, мысленно пробегая свою жизнь, я думаю, что фактически душа моей матери говорила со мной на двух языках. Разговорным языком был русский. Но она очень много пела «для души» (то есть для себя) разных прекрасных украинских песен, и на слова Шевченко, и народных (с отцом познакомились в украинском народном хоре). Эти её песни в конечном счете сильно повлияли на меня. Они вызвали огромный интерес ко всему украинскому — языку, литературе, истории... Хотя с матерью и разговаривали по-русски, я всё больше осознавал себя как украинца. А раз так, всё больше стали тянуть к себе украинская книга и украинский язык. Стало стыдно, что я плохо владею языком, который стал воспринимать как родной. Начал себя «украинизировать»: думать по-украински (то есть в уме составлять целые фразы или рассказы), писать дневник, затем стихи и, наконец, говорить.

му имени Орест – Ярест. А надо сказать, что в своё время он как украинский диалектолог работал в селе Яреськи. Это село с великолепной украинской фонетикой (Полтавская область) впоследствии стало известно тем, что в нём Александр Довженко, выдающийся украинский (и советский) кинорежиссёр и писатель, снял два самых знаменитых украинских фильма «Звенигора» и «Земля», которые французский кинокритик Жорж Садуль впоследствии внёс в список 20-ти лучших кинофильмов всего мира. И вот у отца возникла идея: Ярест – это по-украински иначе Яре́сько (по названию его любимого села, очевидно, Яре́ськи множественное число от Яре́сько). И он или при первой встрече, или по телефону сказал брату: «»Продаю» тебе имя Александр». Так мой брат (погиб на войне) из Тараса или Богдана стал Александром. И в той семье воцарился мир и спокойствие.

Тёщу вполне устроил Александр, зятя тоже. Украинское Олександр имеет сокращённую форму Оле́сь (Ле́сик), а Олександр Олесь – это псевдоним замечательного украинского поэта (настоящая фамилия Кандыба), автора известных стихов, многие из которых стали романсами. А я... стал Яре́сько, уменьшительное (Я(ре́)сько > Яськó), но так как окружение после развода с отцом было русскоязычным, то в детстве меня звали (Я́ська >) Я́ся (укр. Васькó – русское Ва́ська (Ва́ся), Сашкó – Са́шка (Са́ша) и т.п.).*

Но судьба сыграла злую шутку с моим именем: ведь при русском аканье моё имя звучит как Аре́ст – аре́ст. И действительно, в конце октября 1937 года произошёл аре́ст отца, а затем и его расстрел. В обвинении фигурировали такие «аргументы»:

1) сын личного (т.е. нестолбового), но всё же дворянина, следовательно, классово чуждый элемент;

2) участник правотроцкистского террористического блока (но это, конечно, из типа тогдашних печальных «анекдотов», – английский шпион, – рыл подземный ход из Харькова в Лондон: тогда очень легко «выбиванием» делали из человека путём самооговоров кого угодно);

3) «отрывал украинский литературный язык от языка широких трудящихся масс», – а надо сказать, наши трудящиеся массы под давлением обстоятельств говорили нередко на невообразимом жаргоне, смеси украинского с русским (у нас этот жаргон называют суржик «смесь ржи с пшеницей»)... Не мог же мой отец, который, по выражению Л.А.Булаховского, говорил и писал на изящном украинском языке, великолепный знаток этого языка (написавший до сих пор ценимый «Очерк украинской стилистики»), Эдгара По, Проспера Мериме, Николауса Ленау, классиков американской, французской, австрийской литературы, общепризнанных мастеров и стилистов английского, французского и немецкого языков, переводить, «перепирать» на какой-то анекдотичный смехотворный жаргон. Он их переводил на полноценный украинский язык, так что и до сих пор не стыдно эти переводы читать (правда, переводы Николауса Ленау, которые очень хвалил Л.А.Булаховский, остались, по-видимому, в рукописи и, возможно, погибли или не найдены). А переводы Э.По высоко оценил А.И.Белецкий.

Так мой отец получил самую высокую «оценку» тех лет: тогда преимущественно расстреливали выдающихся украинцев (и многих русских вместе с ними, но русских по крайней мере не стреляли за язык). Серых (середнячков) тогда особенно не трогали, косили высокую траву, – тех, кто был ниже травы, эта тогдашняя «чума» не затронула.

Окно комнаты, в которой я работал в институте, как раз выходило (в Киеве) на

---

* Кстати, более симпатично моё имя звучит с западноукраинским ударением О́рест: тогда и по-русски сохраняется О́-. Но мой отец давал мне имя, исходя как раз из восточноукраинских ассоциаций. Однако имя О́рест очень популярно в Западной Украине, возможно, и потому, что у римо-католиков поляков такого имени нет: это имя только православное или греко-католическое (униатское)... Поэтому (из-за его «галицийкости») моих детей нередко спрашивали: «Ваш батько часом не зі Львова?» («Ваш отец случайно не из Львова?»). Я сам люблю Львов (и в связи с поэзией Ивана Франко), но впервые в нём побывал, когда мне было лет... этак 55 (если не больше)... А в общем, как видите, я родился и вырос где-то на границе, пересечении нескольких славянских культур: русской – украинской – белорусской – польской – чешской – словацкой – болгарской, и поэтому хотел бы, чтобы славяне жили мирно и как добрые соседи («Ребята, давайте жить дружно!» – как сказал один мудрый Кот).

бывший институт благородных девиц, в 30-е годы место пребывания НКВД, где «судили» моего отца неправедные судьи. Я иногда задумывался о его последних минутах и... тут же «приказывал» себе не думать об этом. От мысли об этой ужасной трагедии можно было бы сойти с ума.

Так даже прекрасное знание моим отцом украинского языка оказалось его тягчайшей «виной», достойной быть наказанной... смертью.*

О.Ткаченко

* А уже в 90-е годы судили некоего выродка, серийного убийцу, убившего 50 человек, — к сожалению, носящего тоже украинскую фамилию. Эта тварь сделала убийство своим спортом и... похвалялась перед немецким корреспондентом журнала «Der Spiegel» («Зеркало»), что, если бы его выпустили, он бы продолжал убивать, так как поставил своей целью убить... 365 человек.

Во многих штатах общепризнанной демократической страны США до сих пор не отменена смертная казнь... А мы этого выродка наказали... жизнью (правда, вечного заключения)... Невольно возникает вопрос: не слишком ли поторопились (в угоду Европе). Да, справедливо, что смертная казнь часто оказывалась ошибкой, а «смерть (по словам Маяковского) не умеет извинятьсся». Но к чему теперь посмертная реабилитация моего отца, который мог бы еще так много полезного сделать? И почему явного серийного убийцу мы не вправе один раз убить за 50 убитых невинных людей (убийства женщин к тому же часто предварялись изнасилованием)... Здесь один человек, сам в одном лице судья, прокурор, адвокат и палач, производит «суд» и «казнь» невинных людей (причем беззащитных)... А мы, ничтоже сумняшеся, тратим время на эту мразь, а потом еще... даруем ему жизнь. Не правильней ли делают китайцы, которые людей, заслуживающих казни, часто расстреливают публично, да ещё и заставляют родственников оплачивать стоимость пули и работы «исполнителя»... А у нас (я не знаю, как в России) идут беспрерывные «бандитские» фильмы, где воспевается всякая грязь (убийства, проституция, мошенничество в Америке). Вокруг убийц невольно создаётся некий ореол «романтизма», и к тому же их «подвиги» остаются безнаказанными... хотя тот же серийный убийца признавался, что, если бы была смертная казнь, он бы ещё задумался, убивать или нет, а так, считая, что всё сойдёт ему с рук, продолжал своё грязное и чёрное дело... А потом мы ещё удивляемся, почему при таком ужасном государственном терроризме, свирепствовавшем с 1917-го года, при нашем «смаковании» фильмов с убийствами... у нас вдруг (?) такой разгул террора с ликвидированной смертной казнью. Странный «гуманизм» к убийцам при антигуманизме к их жертвам. Это полное вырождение слишком распоясавшейся т. наз. «демократии»!

КОСТРОМСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ
(К иллюстрациям)*

Раннесредневековые древности большей части современной Костромской области (кроме Поветлужья) традиционно связываются исследователями с одним из финно-угорских племенных образований — мерей.

В пользу мерянской принадлежности раннесредневекового населения Костромского края приводятся данные об определенном (но далеко не полном) сходстве материальной культуры Костромского Поволжья и основных мерянских земель, образование в XII-XIII вв. на левом и правом берегах Волги своеобразной группы так называемых «костромских курганов», в комплексе украшений и погребальном обряде которых явственно прослеживаются мерянские черты, некоторые свидетельства гидронимии (в т.ч. повторяемость названий рек Векса, вытекающих, с одной стороны, из оз. Неро и Плещеево в центральном районе расселения мери, а с другой — из озер Галичское, Чухломское, Кишинское, Горинское в Костромском крае), летописное наименование г. Галич Костромской обл. — Галич Мерский, т.е. расположенный в земле мери, некоторые данные письменных источников XVI-XVIII вв.

Предполагается, что восточная граница мерянских земель в Костромском Поволжье проходила по реке Унжа, где меря соседствовала с древнемарийскими землями в Поветлужье. На севере меря занимала территорию вплоть до Чухломского озера, за которым шли малообжитые земли погра-

* Подборку материала подготовил ст.н.с. ГУК «КГИАХМЗ», зав. отделом хранения, к.и.н. В.С.Баранов, фотографирование и подбор иллюстраций осуществил Е.Б.Шиховцев.

ничья с другой финно-угорской группировкой – белоозерской весью.

По вопросу формирования мерянской племенной группы в литературе существуют две основные точки зрения.

Согласно одной из них, меря сформировалась в V-VI вв. н.э. в восточной части Волго-Окского междуречья и Верхнего Поволжья на основе местного населения, относимого археологами к дьяковской культуре (Горюнова Е.И., 1961).

Другая точка зрения сводится к тому, что летописная меря появилась здесь в VI-VII вв. в результате миграции населения из Среднего Поочья, включив в свой состав группы родственных в языковом и культурном отношении местных финно-угорских племен (Леонтьев А.Е., 1996).

Своеобразие костромской группы мери объясняется как местными особенностями культуры раннего железного века, так и влиянием древнемарийских племен (Горюнова Е.И., 1967). Нельзя не отметить, впрочем, что вопрос о мерянской принадлежности раннесредневекового населения Костромского Поволжья требует все же дополнительного изучения. Не исключено, что в рассматриваемый период здесь обитала иная группировка финно-угорских племен, не известная нам по названию, а многочисленные элементы культуры, связанные с мерей и прослеженные на материалах костромских курганов XII-XIII вв., были привнесены сюда во время появления в Костромском крае древнерусского населения, в состав которого входили меря из центральных районов ее расселения и представители других финно-угорских групп. Такому предположению не противоречат ни археологические данные, ни свидетельства гидронимии и письменных источников, о которых упоминалось выше.

Предметы, представленные на фото, являются частью археологических коллекций, собранных в результате раскопок двух памятников, расположенных на территории Костромского Поволжья и характеризующих культуру дорусского населения края 2 половины 1 – начала 2 тыс. н.э. Обе эти коллекции хранятся в настоящее время в фонде «Археология» Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ГУК КГИАХМЗ).

Первая из них собрана Волго-Окской археологической экспедицией Института археологии АН СССР во время исследований Поповского городища (далее – *Поп. г.*) под руководством научного сотрудника ИА А.Е.Леонтьева в 1980-1984 гг. Городище расположено у дер. Попово в Мантуровском районе Костромской области на левом берегу р. Унжа. С конца XIX века неоднократно исследовалось (в 1885 г. – Ф.Д.Неведов, в 1903 г. – Н.М.Бекаревич, в 1926 г. – О.Н.Бадер, 1979 г. – Г.А.Архипов, 1980-1984 гг. – А.Е.Леонтьев).

Культурные отложения памятника относятся к VI-VII и IX вв. Напластования VIII века отсутствуют. Городище было поставлено местным финно-угорским населением, находившимся в тесных связях с финно-уграми Верхнего Прикамья. По мнению А.Е.Леонтьева, городище принадлежало одной из небольших общин костромской группы мери. Жители поселения занимались земледелием, животноводством, охотой, рыболовством, на городище зафиксированы следы деревообрабатывающего, кузнечного, бронзолитейного, ювелирного, ткацкого производств, не выходивших за рамки домашней деятельности.

Могильник у дер. Большое Молочное на р. Костроме (далее – *Мог. Б. Мол.*) является одним из наиболее поздних памятников дорусского населения в Костромском Заволжье. Он исследовался в 1983 г. В.В.Сидоровым, в 1995 г. поиски следов могильника производил А.Е.Леонтьев. На территории могильника найдены остатки 13 захоронений по обряду трупосожжения. Сожжение умерших совершалось на стороне, вне пределов могил. Остатки помещались в неглубокие ямы, чаще всего с меридиональной ориентировкой. Вероятно, практиковался и наземный обряд погребений. А.Е.Леонтьевым высказано предположение, что, по крайней мере, некоторые погребения были помещены в наземные сооружения типа «домиков мертвых». Из инвентаря, сопутствующего захоронениям, были найдены различные украшения, предметы быта, вооружения, керамическая посуда. Принадлежность могильника местному финскому населению у исследователей не вызывает сомнения. В инвентаре погребений заметно древнерусское влияние, проявившееся в появлении таких предметов как пластинчатый браслет. Материалы могильника свидетельствуют о сохранении самобытного финского населения в бассейне р. Костромы вплоть до начала древнерусской колонизации. Памятник датируется X-XI вв., но некоторые предметы архаического облика (бронзовая подвеска-уточка) указывают на возможность существования могильника еще в VIII-IX вв.

Фото 1 (стр. 7). Керамическая посуда. КМЗ КОК 30780/1; КМЗ КОК 30780/11. *Поп. г.* 2 пол. 1 тыс. н.э.

Фото 2 (стр. 7). Предметы бронзолитейного производства. Керамические льячка и тигель. *Поп. г.* 2 пол. 1 тыс. н.э. (КМЗ КОК 37808/130; КМЗ КОК 37808/338).

Фото 3. (стр. 136). Предметы домашней утвари, охоты, рыболовства, снаряжения коня. (1, 2 – керамика; 3-8 – железо; 1-5, 7, 8 - *Поп. г.* 2 пол. 1 тыс. н.э., 6 - *Мог. Б. Мол.* Кон. 1 – нач. 2 тыс. н.э.)

1-2. Пряслица. КМЗ КОК 37808/390, КМЗ КОК 37808/372.

3-4. Крючки рыболовные. КМЗ КОК 37808/132, КМЗ КОК 37808/202.

5, 8. Наконечники стрел. КМЗ КОК 37808/258, КМЗ КОК 37808/259.

6. Кочедык. КМЗ КОК 48467/29.

7. Удила. КМЗ КОК 37808/303.

Фото 4 (стр. 255). Изделия бронзолитейного производства. Шумящие подвески. Бронза.

1. КМЗ КОК 37808/228. *Поп. г.* 2 пол. 1 тыс. н.э.
2. КМЗ КОК 48467/1. *Мог. Б. Мол.* Кон. 1 – нач. 2 тыс. н.э.
3. КМЗ КОК 37808/375. *Поп. г.* 2 пол. 1 тыс. н.э.

Фото 5. (стр. 259). Изделия бронзолитейного производства. Бронза (1-3, 5-7, 9 - *Поп. г.* 2 пол. 1 тыс. н.э.; 4, 8 - *Мог. Б. Мол.* Кон. 1 – нач. 2 тыс. н.э.)

1. Подвеска-уточка. КМЗ КОК 37808/325.
2. Очковидная пронизка. КМЗ КОК 37808/2.
3. Очковидная подвеска. КМЗ КОК 37808/297.
4. Перстень спиральный. КМЗ КОК 48467/25.
5. Пронизка. КМЗ КОК 37808/55.
6. Бутылковидная привеска. КМЗ КОК 37808/54.
7. Бубенчик. КМЗ КОК 37808/161.
8. Пластинчатый браслет. КМЗ КОК 48467/10.
9. Подвеска-пирамидка. КМЗ КОК 37808/169

Фото 6. (стр. 277). Пластинчатый браслет. КМЗ КОК 48467/10. *Мог. Б. Мол.* Кон. 1 – нач. 2 тыс. н.э.

Ст.н.с. ГУК «КГИАХМЗ», зав. отделом хранения, к.и.н. Баранов В.С.

На титульном листе воспроизведена скульптурная реконструкция 35-40-летней мерянки с городища Плёс Ивановской области. Работа Елизаветы Валентиновны Веселовской (Лаборатория пластической антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН). Фото Максима Войлошникова (впервые опубл. в его статье в журнале «Вокруг света», № 2 (2689), февраль 1998 г.) *[http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/archives/?item_id=690]*

От издателя

Эта книга готовилась долго. Начало ей положила переписка Е.Б.Шиховцева с О.Б.Ткаченко о переиздании «Мерянского языка». В итоге переписки обозначился более широкий состав книги. Готовилась она скорее на энтузиазме издателей, чем на профессиональной готовности к столь ответственному труду, поэтому заведомо была обречена на промахи, недочеты и ляпсусы. Тем не менее, ясно осознавая это, мы решили выпустить книгу в свет, потому что лучше так, чем никак. Ведь труды О.Ткаченко по мерянике весьма труднодоступны в тех регионах, где меряне жили более 12 веков и около 300 лет назад сошли с арены истории, оставшись лишь в генах и языке коренных жителей.

Монографии и статьи, вошедшие в данное издание, предоставил нам автор. Подготовку компьютерной формы и вычитку части 1-й сделал Е.Шиховцев, части 2-й — Г.Неганова, части 3-й — О.Шевцова. Приложение составил из писем О.Ткаченко и других присланных им материалов Е.Шиховцев, рукописные тексты О.Ткаченко были переведены в компьютерную форму О.Шиловой и А.Бессоновой, основную часть сканирования выполнил Р.Алексеев.

Ранняя редакция приложения была напечатана в костромской газете «Тень» № 30 в декабре 2004 года.

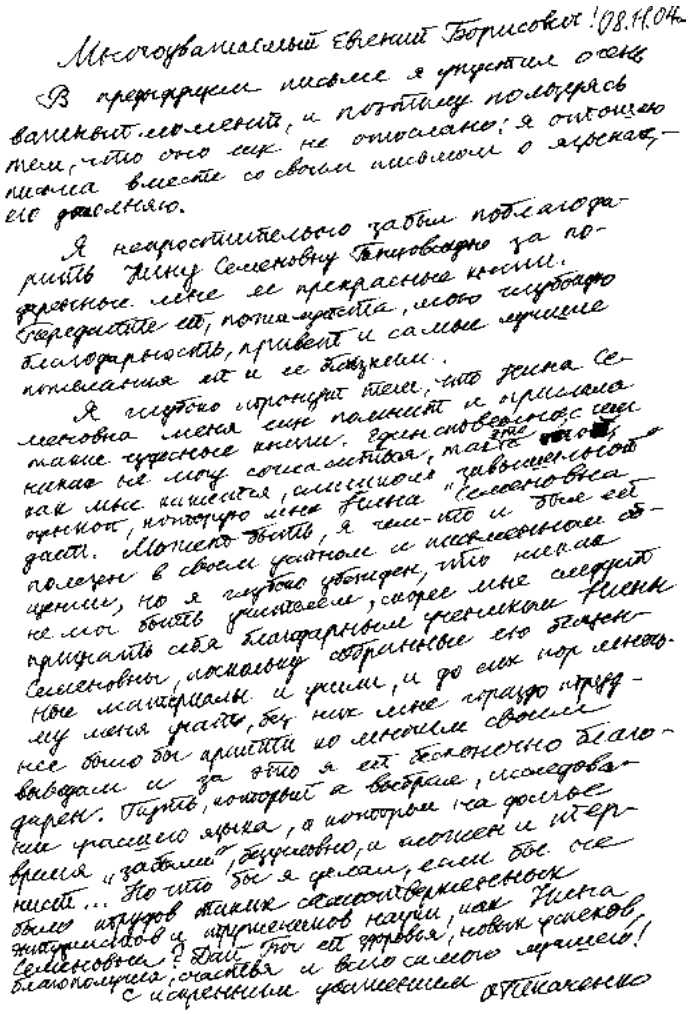
Для удобства читателей интернет-версии (и бумажного издания) Е.Шиховцев предложил идею двух шрифтов, основного и вспомогательного, предназначенного для изображения многочисленных специальных значков и символов лингвистического аппарата разнообразных языков, привлекаемых О.Ткаченко. Р.Алексеев создал эти два шрифта, и с ними была начата верстка книги.

В 2005-2006 годах корректорскую и редакторскую работу над книгой вела в основном О.Шевцова, она же при небольшом содействии Е.Шиховцева сделала первую верстку книги, которая была выслана автору в Киев и вскоре вернулась в Кострому с правкой О.Ткаченко, который с образцовой скрупулезностью вычитал и проект книги и публикацию в «Тени», тем самым устранив значительное количество опечаток и прочих погрешностей.

Летом 2006 года О.Ткаченко с супругой смогли на неделю посетить Кострому, что дало новый импульс к завершению черновой верстки книги. Возвращенные в издательство гранки с авторской правкой и дополнениями легли на редакторский стол А.Соловьевой, которая при участии Е.Шиховцева и с помощью Г.Божковой завершила к лету 2007 года подготовку чистовой верстки книги.

Вновь тщательно вычитанная автором корректура по возвращении в Кострому была перебелена и наконец отправлена в типографию ООО «Полиграфресурс».

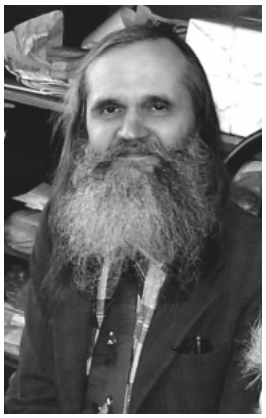
О результатах судить читателям. «Подсудимых» можно видеть на следующей странице.



образец рукописи

Алла Васильевна Бессонова и Ольга Сергеевна Шилова перепечатывали рукописи

Роман Иванович Алексеев сканировал тексты и создал компьютерные шрифты



Евгений Борисович Шиховцев задумал издать эту книгу и сумел довести дело до конца с общей помощью

Галина Валентиновна Божкова и Антонина Васильевна Соловьева завершили подготовку книги

Оксана Евгеньевна Шевцова наконец встретилась с Орестом Борисовичем и его женой Ларисой Ивановной